Orientalia et Classica

XV

DISCIPVLI MAGISTRO

Orientalia et Classica



Russian
State University
for the Humanities

Orientalia
et Classica
Papers of the Institute of Oriental
and Classical Studies

Issue XV

DISCIPVLI MAGISTRO

Festschrift for N.A. Fedorov

on his Eightieth Birthday

Moscow

2008

Российский
государственный гуманитарный
университет

Orientalia
et Classica
Труды Института восточных культур
и античности

Выпуск XV

DISCIPVLI MAGISTRO

К 80-летию Н.А. Федорова

Москва

2008

УДК 800(091)
ББК 80я43
D611

Составители
Гринцер Николай Павлович
Торшилов Дмитрий Олегович

Художник
Михаил Гуров

ISBN 978-5-7281-1050-7

Содержание

DISCIPVLI MAGISTRO

Николаю Алексеевичу Федорову – мифу и человеку 11

DE LITTERIS LATINIS

А.В. Андреев, Н.Н. Казанский. Материалы к словарю антонимов латинского языка.. 17

А.М. Белов. Вопрос о морах (оппозиция арифметической кратности в греческом и латинском языках)................... 53

А.И. Солопов. «Черное» и «белое» в латинской топонимии..... 74

А.Е. Кузнецов. Начало римской драмы — хронологические разногласия в древнеримской филологии........................ 82

М.М. Сокольская. Еще раз о IV эклоге 110

О.В. Зубакина. Пиндар и Гораций: композиция оды 4.8............ 130

Н.В. Драчёва. Термин «ratio» в лингвистической теории Марка Теренция Варрона (на материале трактата «De Lingua Latina»)... 150

А.Б. Черняк. Гельвидий Приск и его пьеса «Парис и Энона» (*Suet*. Dom. 10, 4)... 162

П.П. Шкаренков. Язык риторической мысли (к вопросу о трансформации латинского языка в поздней античности) 170

DE LITTERIS GRAECIS

Н.К. Малинаускене. Формирование понятий чувственного восприятия в эпоху Гомера ... 183

В.В. Файер. Текстологическая работа александрийских филологов: нерешенные проблемы ... 193

А.В. Захарова. Миф об аргонавтах в архаическом греческом эпосе ... 207

З.А. Барзах. Θυμῷ βέλη (Soph. OT 892–893: текст и интерпретация) ... 224

И.В. Рыбакова. «Морские формулы» в «Аргонавтике» Аполлония Родосского: восприятие и переосмысление традиции ... 232

Н.В. Брагинская. Залив и «запазуха», или Опыт вертикального чтения греческой прозы: «Левкиппа и Клитофонт» ... 248

О.Л. Левинская. Осел с лирой (об одной греческой поговорке) ... 270

Л.И. Грацианская. Северное Причерноморье в представлениях Страбона ... 278

Э.В. Янзина. Античный кулачный бой. Опыт интерпретации греческих и латинских спортивных терминов ... 292

DE POSTERIS

М.М. Позднев. Катарсис в раннем Средневековье: рецепция Ar. *Poet.* 49b27 (... δι᾽ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν) сиро-арабскими переводчиками ... 333

А.В. Бармин. Крестоносцы в Константинополе ... 345

Г.В. Вдовина. Франсиско Суарес об *analogia entis:* проблема аналогии сущего в схоластике XVI в. ... 370

И.И. Ковалева. Рим Кавафиса ... 393

М.Я. Паит. Гораций, Державин и Капнист: заметки к теме..... 416

В.В. Зельченко. Об одном латинском переводе Ф.Е. Корша..... 438

Письма А.Н. Шварца и Ф.Е. Корша С.И. Соболевскому. *Публикация, комментарии А.И. Любжина* 448

А.В. Подосинов. О чтении, переводе и издании латинских авторов в средней школе 473

Приложение. Первая речь Цицерона против Катилины 482

Публий Вергилий Марон. Первая песнь «Энеиды» 500

VERSIONES

Д.В. Кейер (Dionysius Keyer). Русская лирика в латинских переложениях 511

Софокл. Эдип-царь. Второй стасим (OT 863–910)

Пер. З.А. Барзах 513

Герод. Мимиямб третий (Учитель). *Пер. Е.С. Иванюк* 515

Гораций. Оды I 7, II 14. *Пер. Д.А. Литвинова* 521

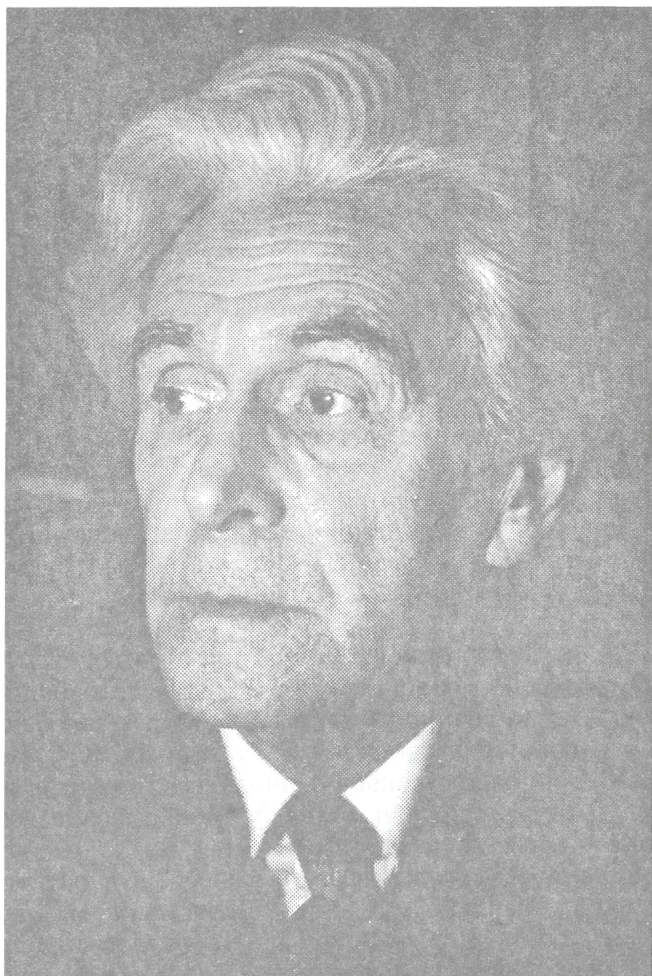
Нонн Панополитанский. Дионисиада. Книга первая (отрывок). *Пер. Р.Н. Златинского* 523

[Марк Фабий Квинтилиан]. Пчелы бедняка («Большие декламации», 13). *Пер. М.С. Касьян* 528

Джон Фишер. Молитва к Богу Отцу, написанная в лондонском Тауэре. *Пер., предисловие А.Л. Касаткиной* 543

Приложение

«Научить читать, то есть понимать...» Интервью с Н.А. Федоровым 558



NICOLAO FJODOROV A. F. OCTOGENARIO
DONVM NATALICIVM A DISCIPVLIS
VIRO INGENIOSO GRAMMATICO
PERITISSIMO
MAGISTRO VENERABILI
GRATO ANIMO OBLATVM

Николаю Алексеевичу Федорову – мифу и человеку

Этот сборник называется «Ученики – учителю», и название как нельзя более точно отражает его суть и суть человека, которому он посвящен. На страницах этой книги представлены несколько поколений классиков, причем разница в возрасте между старейшими и самыми молодыми авторами составляет десятки лет, но практически всех их объединяет одно немаловажное обстоятельство. Все они в то или иное время учились одному из двух главных языков своей профессии у Николая Алексеевича Федорова. Большинство училось прямо и непосредственно, с неизменным восхищением и священным трепетом сидя у него на занятиях, другие постигали латынь по его учебнику, третьи встретились с ним впервые уже после окончания периода ученичества – и немедленно осознали, что применительно к Николаю Алексеевичу и латыни (а эти два понятия ныне почти равнозначны) этот период не завершится никогда.

Студенчество в принципе склонно окружать профессоров неким мифологическим ореолом – впрочем, далеко не всех. Истории, передающиеся из уст в уста и от поколения к поколению, рассказывают обычно о тех, кто сумел поразить молодых и покорить их души не только высочайшей ученостью, но и особым складом характера, человеческим обаянием и искренностью. Однако чаще всего студенческий фольклор повествует о делах «минувших дней», а его образы далеко не всегда четко персонифицированы: «Был один преподаватель, который...». Главный герой фольклора классических отделений московских (и не только московских) университетов имеет свою вполне очерченную индивидуальность и свое, личное имя – Lupus, он же Николай Алексеевич Федоров. И хотя версий происхождения этого прозвища великое множество, я бы хотел подчеркнуть одну несомненную его интерпретацию. Это, безусловно, тот самый Lupus in fabulis, т. е. персонаж, самый сутью своей предназначенный для увековечивания в мифологических преданиях. Характерно, что преданиями этими упиваются не только молодые; классики разных поколений придирчиво сравнивают: «А у вас он уже кидался расческой?» (столь же неизменный атрибут Н. А., как перуны Зевса или лира Аполлона), «А у вас он уже смущал

девиц чтением Плавта или сам еще смущался?» (избирательное отношение его к женскому полу и собственная избранность – тоже постоянный мотив). Реальность этих характерных черт и особенностей поведения засвидетельствована многолетней непрерывной традицией, но традиция эта, чем дальше, тем больше, напоминает то ли богатырскую сказку, то ли истории о чудесных мудрецах.

Отдельная сторона этого образа – «прижизненный памятник», поставленный себе Н.А. и его замечательным, но, увы, уже умершим, соавтором Валентиной Иосифовной Мирошенковой. Знаменитое обозначение «Мирошенкова–Федоров» надолго стало и еще дольше останется символом приобщения юношества к Катуллу и Цицерону. Учебникам латинского языка вообще везло на двойное авторство, и их гордые именования чем-то напоминают череду сменяющих друг друга пар римских консулов: «Я учился по Попову–Шендяпину» звучит похоже на «В консульство Марка Красса и Лутация Катула». Но «Мирошенкова–Федоров» как-то разом, сразу после первой публикации, прочно вытеснили и заместили и Попова с Шендяпиным, и Боровского с Болдыревым, а череда многочисленных переизданий последних лет окончательно подтвердила, что теперь свет латыни urbi et orbi будет нести прежде всего эта, некогда зеленая[1], а впоследствии расцветившаяся и другими цветами радуги книжка. А учебники, как никакое научное исследование, возносят их авторов на мифологический пьедестал, окончательно отрываясь от их личности и делая вполне расхожими фразы «Федорова знаю» или «Федорова не хватило», смысл которых не вполне ясен непосвященным.

Но в том-то и дело, что ни затрепанный студенческими руками учебник, ни признанная всем академическим сообществом репутация великого знатока, «истины в последней инстанции» («если чего не понимаешь в латыни и никто не понимает, спроси у Федорова»), ни тома великолепных переводов (второго типа изданий, создаваемых тоже «на века») – ничто из впечатляющего и, бесспорно, уже легендарного послужного списка не способно затмить человеческого образа Николая Алексеевича, столь дорогого всем, кто имел и имеет счастье его знать, с ним соприкасаться в качестве ученика, знакомого, друга или коллеги. Самое главное,

---

[1] Так, помнится мне, Николай Алексеевич утверждал, что она была голубой, Мария Сергеевна Касьян пыталась примирить нас «цветом морской волны». Подобные вариации лишь подчеркивают мифологичность образа.

что способен дать учитель и чем только он может привлечь внимание и интерес ученика, – это живое ощущение своего предмета, неравнодушие к нему, а следовательно, и к тем, кто его постигает. Не так часто к этому оказываются готовы преподаватели вполне «жизненных» дисциплин – что уж говорить о мертвых языках, на которых, после бесконечного трудоемкого заучивания парадигм, «и поговорить-то не с кем». Но стоит столкнуться с Н.А., и оказывается – есть с кем! Во-первых, с ним самим, способным не только по памяти цитировать страницами классические тексты, но и легко и изящно беседовать на латыни на вполне животрепещущие темы. А во-вторых, при его, Федорова, посредстве чтение классических авторов тоже, оказывается, можно превратить в диалог, ибо для Н.А. эти авторы более чем живы и более чем, как это было принято говорить в недавние времена, «актуальны». Потому он так живо пересыпает свои комментарии римских нравов аллюзиями на реалии нашей эпохи (заодно просвещая молодое поколение по части прошлого их собственной страны); потому столь неподдельны его личностные пристрастия и антипатии к давно почившим мыслителям и политикам. Всякий, кому случилось в присутствии Н.А. нелицеприятно отозваться о личности, исторической роли или писаниях его главного любимца, Цицерона, знает, как близко к сердцу, чуть ли не на собственный счет принимает он подобные оценки, глядя на обидчика с горестным сожалением.

Именно эта живость восприятия латыни и всего, что на ней написано и сказано, и стала главной составляющей всех занятий Н.А. Он много писал о том, что собственно и составляет живую ткань языка, – о лексике и семантике; но главной сферой его научной деятельности стала сама живая ее форма – перевод. Нет нужды лишний раз утверждать, что для классических языков и памятников античной культуры эта работа представляет собой сколь научное исследование, столь и художественный труд, – и потому так часто повторяемое Н.А. самоуничижительное «Какой я ученый!» следует считать не более чем кокетством (простите, Николай Алексеевич!). И опять-таки характерно, что и в этой области он обращался и обращается к тому, что или, вернее, кто его наиболее живо интересует, – конечно, к Цицерону! Или к тому, что представляет собой живую традицию античного наследия в последующие эпохи. Именно поэтому так много Николай Алексеевич переводил труды великих просветителей: Лейбница, Локка, Гоббса и других; неслучайно именно он первым в нашей стране составил и выпустил хрестоматию латин-

ских средневековых и ренессансных текстов. Ему всегда хотелось «продлить» реальное бытование латыни как можно ближе к нашему времени, и таким мостом становились, в частности, Средневековье и Возрождение. Показательно, что в своем интервью студентам РГГУ Михаил Леонович Гаспаров в ответ на вопрос, интересовала ли его уже в студенческие годы медиевистика, сказал: «Этим стали интересоваться уже в последующие годы, когда много стал преподавать энергичный и нескучный человек Федоров. К нам [классикам] его тогда еще не пускали, считалось, что молод»[2].

Гаспаров обладал поразительным свойством одним-двумя штрихами определить суть человека или явления. Так и в данном случае: сказать «энергичен, не скучен и молод» означает обрисовать Николая Алексеевича – что пятьдесят лет назад, что сейчас. Одно изменилось – слава богу, его уже давно пускают к классикам. И за то, что нам всем, от мала до велика, было дано встретиться с ним, мы искренне благодарны судьбе.

Н.П. Гринцер

---

[2] См.: Кентавр. Studia classica et mediaevalia. М.: РГГУ. № 3. 2006. С. 382.

DE LITTERIS LATINIS

А.В. Андреев, Н.Н. Казанский

МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ АНТОНИМОВ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

Научно-педагогическая деятельность Николая Алексеевича Федорова представляет собой один из наиболее ярких и светлых примеров смиренного служения классической филологии. Его учебник, выдержавший не одно издание, известен всем и представляет собой неоценимый вклад в образование юношества всей нашей страны. Говоря о Николае Алексеевиче, хочется все время говорить об уникальности как человеческой, так и профессиональной.

Замечательный педагог, волшебник, прессующий время на своих лекциях так, что успевает добротно объяснить намного больше материала из разделов латинской грамматики, чем это под силу другим, Николай Алексеевич сохраняет природную живость, открытость характера и многочисленные увлечения – всем известно, что он завзятый театрал. Живое знание предмета позволяет юбиляру – одному из очень немногих в мире – комментировать латинскую поэзию на латинском же языке.

Преклоняясь перед способностями и бесконечно ценя его вклад в преподавание латинского языка в России, нам хотелось бы подарить юбиляру что-то такое, чего до сих пор не было. Имеется достаточное количество словарей латинского языка, изданных даже в нашем Отечестве, – латинско-русские словари[1] и

[1] См.: Обозрение латинских словарей и план нового латинско-русского словаря Аф. Ананьева (М., 1849), который анализирует следующие словари: Христофора Целлария краткой латинской лексикон с российским и немецким переводом для употребления Санктпетербургской гимназии. СПб., 1795; Полной латинской Геснеров лексикон с латинским переводом. Ч. 1–2. М., 1796; Латинс-

русско-латинские словари[2], словари синонимов латинского языка[3], разнообразные грамматики и многие другие пособия. Но словаря латинских антонимов нет во всем мире. Именно поэтому мы почтительно преподносим юбиляру не совершенный и не завершенный труд, к сожалению, но материалы, которые все-таки могут способствовать преподаванию латинского языка уже в настоящее время, а в будущем – появлению полноценного словаря антонимов.

А

ABESSE (не быть, отсутствовать) – противоп. ADESSE (присутствовать, находиться рядом)

ABNUERE (отвергать просьбу или желание) – противоп. ADNUERE, NUERE (кивать в знак согласия, соглашаться)

кий лексикон с российским переводом... трудами Ф. Розанова... Изд. 2. М., 1805; Латинско-российский лексикон... составленный И. Кронебергом ... Изд. 4. М., 1841; Карманный латинско-русский словарь, составленный А. Болдыревым... Изд. 2. М., 1841; Краткий латино-русский этимологический словарь. С Шеллерова немецкого 6 издания к употреблению на русском приспособлен И.Я. Соколовым. СПб., 1841; Ручной латино-русский словарь, составленный по новейшему изданию Шеллерова словаря, пересмотренному Георгом (Георгесом), и по словарям Фреунда (Фрейнда), Гедерика (Гедериха), Керхнера и Люнемана. СПб., 1847. Реализацией плана стал: Полный латинский словарь, составленный по современным латинским словарям Ананьевым, Яснецким и Лебединским. М., 1862. В дореволюционной гимназии чаще всего использовались словари: *Шульц Г.* Латинско-русский словарь. СПб, 1877; *Петрученко О.* Латинско-русский словарь. Изд. 9. М., 1914 (репринт – М., 1994). В советское время появились: Латинско-русский словарь / Сост. А.М. Малинин. 2-е изд. М., 1961; Латинско-русский словарь И.Х. Дворецкого и Д.Н. Королькова. М., 1949; *Дворецкий И.Х.* Латинско-русский словарь. 2-е изд. М., 1976.

[2] *Орлов А.И.* Полный русско-латинский словарь. М., 1876; *Мусселиус В.* Русско-латинский словарь. 2-е изд. СПб., 1900 (репринт – М., 2003); Lingua latina. Русско-латинский словарь / А.В. Подосинов, А.М. Белов. 2-е изд. М., 2004; *Громыко И.Н.* Русско-латинский словарь. 2-е изд. Минск, 2004. Особое место среди таких словарей занимает вышедший под редакцией Я.М. Боровского словарь: *Кирпичников М.Э., Забинкова Н.Н.* Русско-латинский словарь для ботаников. Л., 1977.

[3] Краткая латинская синонимика, изложенная по Дёдерлейну Яковом Ильенковым. СПб., 1845 (сейчас готовится новое издание, материалы которого использованы в данной статье); Латинская синонимика Шмальфельда / Пер. А. Страхова (посмерт. изд.). М., 1890.

ABOMINARI (стараться отвратить плохое предзнаменование) – противоп. OMEN ACCIPERE (принимать удачное предзнаменование)

ABSOLVERE (завершить, стать совершенно свободным от трудов) – противоп. INCHOARE (начинать действие)

ABUNDANTIA (изобилие, богатство) – противоп. EGESTAS (гнетущая бедность и нужда)

ABUNDARE (быть в излишке) – противоп. EGERE, INDIGERE (обозначает недостаток нужного предмета)

ACCLIVIS (наклонный, отклоняющийся от горизонтальной оси) – AEQUUM (означает горизонтальную плоскость, которой противопоставлена возвышающаяся или понижающаяся)

ACER (двигающийся решительно, энергично) – противоп. LENTUS (выражает мешкотное, но беспрерывное движение)

ACER (рьяный, пламенный, действующий с жаром, с энергией) – противоп. FRIGIDUS (холодный и потому лишенный энергии)

ACERBUS (щиплющая, жгучая горечь) – противоп. MITIS (мягкий, нежный)

ADDERE (прибавлять, добавлять) – противоп. DEMERE (отнять часть из целого)

ADDICERE (присуждать что-либо) – противоп. INTERDICERE (воспрещать в силу должностной власти)

ADESSE (присутствовать, находиться рядом) – противоп. ABESSE (не быть, отсутствовать)

ADHIBERE (допускать, вводить в контакт) – противоп. PROHIBERE (держать в отдалении, воспрещать приближение)

ADIICERE (добавлять, присоединять) – противоп. DEMERE (отнять часть из целого)

ADIMERE (отнять у кого-либо собственность или часть собственности) – противоп. DARE (дать), REDDERE (возвратить)

ADIUVARE (помогать) – противоп. IMPEDIRE (препятствовать, мешать)

ADMIRARI (восхищаться, уважать) – противоп. DESPICERE, DESPECTARE (не ценить)

ADMITTERE (допускать, позволять войти) – противоп. ARCERE (удерживать, обуздывать и возбранять вход)

ADNUERE (кивать в знак согласия, соглашаться) – противоп. ABNUERE, RENUERE (отвергать просьбу или желание)
ADSCENDERE (восходить, подниматься) – противоп. DESCENDERE (нисходить, спускаться)
ADVENA (родившийся в другой стране, чужестранец) – противоп. INDIGENA (уроженец данной страны, коренной житель)
ADVENIRE (прийти, прибыть, достигнуть цели) – противоп. REVENIRE (возвращаться, не совершив задуманный путь)
ADVERSARI (придерживаться противоположного мнения, быть несогласным) – противоп. ASSENTARI (изъявлять свое согласие)
AEGRE (с трудом) – противоп. FACILE (легко)
AEGRITUDO (болезнь) – противоп. SANITAS (здоровое состояние)
AEQUUM (означает горизонтальную плоскость, которой противопоставлена возвышающаяся или понижающаяся) – SUPERIOR (возвышающийся), INFERIOR (понижающийся) и ACCLIVIS (наклонный, отклоняющийся от горизонтальной оси)
AEQUUS (сам себе равный и неизменный) – противоп. VARIUS (разнообразный, в разных ситуациях различный)
AESTUARE (чувствовать жар) – противоп. ALGERE (чувствовать холод)
AFFIRMARE (утверждать со всей уверенностью) – противоп. DUBITARE (быть неуверенным, сомневаться)
AGER (обозначает землю, не занятую строениями, лесами, деревьями) – противоп. URBS, OPPIDUM (город), RUS, VICUS (деревня), HORTUS (сад), SILVA (лес)
AGRESTIS (прилагательное, отражающее грубость нравов) – противоп. HUMANUS (цивилизованный, утонченный)
AIO (утверждать то, что другой отрицает, или произносить утвердительно свое мнение о чем-либо) – противоп. NEGARE (не без основания отрицать)
ALACER (обнаруживающий свою радость, сильно выказывая деятельность или к ней порывы; *alacritas* проявляется в глазах бегающих, пламенных и дышащих мужеством) – противоп. TERRITUS (напуганный и потому удерживающийся от деятельности)
ALBUS (белый) – противоп. ATER (черный)
ALGERE (чувствовать холод) – противоп. AESTUARE (чувствовать жар)

ALIENIGENA (родившийся в другой стране, чужестранец) – противоп. INDIGENA (уроженец данной страны, коренной житель)
ALIENUS (чужой) – противоп. PRIVUS (собственный)
ALIQUANDO (два или несколько раз) – противоп. SEMEL (единожды)
ALIQUOT (несколько) – противоп. OMNES (все без изъятия)
ALITES (птицы, полет которых наблюдали и толковали) – противоп. OSCINES (птицы, пение и крик которых толковали) *(оба слова из языка авгуров)*
ALTUS (простирающийся на большое расстояние вверх или вниз) – противоп. HUMILIS (простирающийся на короткое расстояние от поверхности)
AMARUS (неприятно горький) – противоп. DULCIS (сладкий)
AMBULARE (прогуливаться) – противоп. INCEDERE (размеренно и гордо вышагивать)
AMBULARE (тихо прогуливаться) – противоп. STARE (стоять на месте), CUBARE (лежать), CURRERE (бежать), SALIRE (прыгать)
AMICUS (друг) – противоп. INIMICUS (неприятель)
AMITTERE (терять, лишаться) – противоп. RETINERE (удерживать)
AMNIS (большая река) – противоп. MARE (море)
AMOR (любовь) – противоп. ODIUM (ненависть)
AMPLUS (больших размеров, значительный) – противоп. EXIGUUS (малый по своему состоянию)
ANGUSTUS (узкий) – противоп. LATUS (широкий)
ANIMAL (животное как существо, одаренное жизнью) – противоп. INANIMUS (неживой, неодушевленный)
ANIMANS (живой, имеющий жизнь) – противоп. EXANIMUS (бездыханный, безжизненный)
ANIMUS (душевное мужество) – противоп. TIMOR (страх, происходящий из чувства)
ANTE PROVISUS (предвиденный заранее) – противоп. SUBITUS (неожиданный, внезапный)
ANTIQUUS (древний; тот, который существовал, а теперь более не существует) – противоп. NOVUS (новый)
APERIRE (обнаруживать) – противоп. OBTEGERE, OCCULERE, OCCULTARE (скрывать что-либо вещественное)

APERTE (ясно, явственно, так, что всякий может знать) – противоп. OCCULTE (скрыто)

APERTUS (о месте: открытое, незащищенное от солнца) – противоп. OPACUS (тенистый, доставляющий приятную прохладу)

APPETERE (стремиться к чему-либо, желать что-либо) – противоп. SPERNERE, SPERNARI, ASPERNARI (не желать чего-либо, быть равнодушным, презирать)

APRICUS (открытый для солнца) – противоп. OPACUS (тенистый, доставляющий приятную прохладу)

ARCERE (удерживать, обуздывать и возбранять вход) – противоп. ADMITTERE (допускать, позволять войти)

ARCTUS (тесный, ограниченный) – противоп. LAXUS (обширный)

ARDUUS (неудободостигаемый) – противоп. PRONUS (простой, достигаемый без каких-либо препятствий)

ARIDUS (потерявший свою влажность от действующего внутри жара) – противоп. HUMIDUS (мокрый, влажный)

ARTITUS (образованный, *в лит. редкое*) – противоп. INERS (необразованный, неопытный, невежда)

ARVUM (пашня, поле, определенное для посева хлебных растений) – противоп. PABULUM, PASCUUM (пастбище), PRATUM (луг), OLIVETUM (плантация олив)

ASPERNARI (не желать чего-либо, быть равнодушным) – противоп. APPETERE, CONCUPISCERE (стремиться к чему-либо, желать что-либо)

ASSENTARI (изъявлять свое согласие) – противоп. ADVERSARI (придерживаться противоположного мнения, быть несогласным)

ASSENTIRI (соглашаться, одобрять) – противоп. NEGARE (не без основания отрицать), DISSENTIRE (быть несогласным)

ASSERERE (схватывать, зажимать) – противоп. OMITTERE (оставлять, покидать по причине трусости или от забвения своей обязанности, своего долга)

ASSEVERARE (с важностью утверждать) – противоп. IOCARI (делать шуточное или легкомысленное утверждение)

ASSUMERE (принимать) – противоп. REPUDIARE (отвергать)

ATER (черный) – противоп. ALBUS (белый)

AUSTERITAS (строгость, суровость) – противоп. HILARITAS (высшая степень радости)

AUSTERUS (строгий в мыслях, уклоняющийся от шуток и всего мелочного, а в искусствах, науках и в житейском обращении всегда соблюдающий важность и точность, которые близко граничат с сухостью) – противоп. IUCUNDUS (приятный в общении)

AUXILIUM (OPEM) FERRE (помогать находящемуся в нужде и опасности) – противоп. DESERERE, DESTITUERE (оставлять, покидать)

B

BALBUTIRE (лепетать, произносить нечленораздельные звуки) – противоп. FARI (говорить, произносить членораздельные звуки)

BELUA (неразумное животное) – противоп. HOMO (означает человека без различия пола, как противоположность животному)

BENIGNITAS (благотворит людям, уделяя им что-нибудь из своего имущества) – противоп. MALIGNITAS (скупость, жадность)

BONUS (хороший) – противоп. MALUS (плохой)

C

CALERE (быть теплым) – противоп. FRIGERE (быть холодным)

CALIDUS (умеренно теплый) – противоп. FRIGIDUS (умеренно холодный)

CALVUS (плешивый) – противоп. CAPILLATUS (густоволосый)

CAMPUS (низменность и равнина) – противоп. MONS (гора) и COLLIS (холм)

CANDIDUS (ярко-белый) – противоп. NIGER (самый черный)

CAPILLATUS (густоволосый) – противоп. CALVUS (плешивый)

CARERE (иметь недостаток в чем-либо, быть лишенным, не иметь) – противоп. HABERE (обладать, иметь)

CARMINA (стихотворения) – противоп. PROSA (прозаический текст)

CASU (случайно) – противоп. SUA SPONTE (по собственному усмотрению, рассуждению)
CASUS (случайное происшествие) – противоп. CULPA (проступок, т. е. peccatum, delictum, maleficium, scelus, flagitium или nefas, которые вменяются в вину только разумным существам)
CELARE (таить, умалчивать) – противоп. FATERI (признавать, обнаруживать, показывать)
CELEBRIA (оживленное, многолюдное место) – противоп. TESCA (пустыри, в которых почти никогда не слышно человеческого голоса)
CELER (быстрый) – противоп. TARDUS (медленный)
CESSARE (переставать что-либо делать, оставлять что-либо) – противоп. INCIPERE, COEPISSE (начинать)
CESSARE (медлить, мешкать) – противоп. PROPERARE (спешить из-за наличия душевной энергии)
CIBUS (пища) – противоп. POTIO (питье)
CICUR (смирный, ручной) – противоп. FERUS (дикий)
CIS (по эту сторону) – противоп. TRANS, ULTRA (по ту сторону)
CITUS (быстрый) – противоп. TARDUS (медленный)
CIVIS (житель данной страны) – противоп. EXTRANEUS, EXTERNUS (чужестранец), PEREGRINUS, HOSPES (временно пребывающий на какой-либо земле)
CIVIS (гражданин) – противоп. LIBERTINUS (вольноотпущенник)
CLAM, CLANCULUM (тайно, тайным образом) – противоп. PLANE, PALAM (открыто, публично, на глазах у всех)
CLAMARE (кричать) – противоп. TACERE (молчать)
CLEMENTIA (милосердие и человеколюбие) – противоп. CRUDELITAS (жестокосердие)
CLIVUS (плоскость, мало-помалу возвышающаяся или понижающаяся) – противоп. AEQUUM (означает горизонтальную плоскость, которой противопоставлена возвышающаяся или понижающаяся)
COEPISSE (начинать) – противоп. CESSARE, DESINERE, DESISTERE (переставать что-либо делать, оставлять что-либо), FINIRE (заканчивать)
COLLIS (холм) – противоп. CAMPUS (низменность и равнина)
COLONUS (арендатор земли какого-либо частного владельца) – противоп. DOMINUS (хозяин земли)

COMINUS (вблизи) – противоп. EMINUS (издали)
COMITAS (благоволение, снисходительность, благорасположение) – противоп. SEVERITAS, GRAVITAS (суровость, грубость, жестокость) и даже FEROCIA (слово, которым римляне означали непокорность своих подданных)
COMMUNIS (общий) – противоп. PROPRIUS (означает исключительную собственность)
COMPENDIUM (ухваченная выгода) – противоп. DISPENDIUM (утрата, издержка)
CONARI (пытаться сделать что-либо) – противоп. PERFICERE (совершить, довести до конца)
CONCUPISCERE (страстно желать) – противоп. SPERNERE, SPERNARI, ASPERNARI (не желать чего-либо, быть равнодушным)
CONFESTIM, CONTINUO (без остановки, немедленно, проворно) – противоп. EX INTERVALLO (некоторое время спустя)
CONFITERI (допускать, соглашаться) – противоп. INFITIARI (говорить «нет», имея в виду для себя какую-либо выгоду)
CONSORS (причастный к чему-либо) – противоп. EXSORS (непричастный)
CONSTAT (достоверно известно) – противоп. FAMA EST (известно из слухов)
CONSUMMARE (доводить до конца, оканчивать) – противоп. INCHOARE (начинать действие)
CONTAGIUM (эпидемия, распространившаяся болезнь) – противоп. MORBUS (недуг только одного существа)
CONTAMINATUS (запятнанный, ритуально нечистый) – противоп. PURUS (чистый)
CONTEMNERE (не бояться чего-либо) – противоп. TIMERE, METUERE (бояться)
CONTINENTIA (умеренность) – противоп. LIBIDO (необузданность в наслаждениях)
CONTINUARE (продолжать) – противоп. ORDIRI (начинать), TERMINARE (в переносном смысле: рассуждая, приходить к заключению)
CONTUMACIA (непокорность) – противоп. OBSEQUIUM (повиновение, подчинение)
COPIA (изобилие, богатство) – противоп. INOPIA (беспомощное состояние, совершенная скудость)
COPIOSUS (богатый) – противоп. INOPS (бедный)

CORDATUS (рассудительный) – противоп. EXCORS (неразумный)
CORRIGERE (улучшать так, что целое совершенствуется и ближе подходит к своей идее) – противоп. DEPRAVARE (искажать, коверкать)
CRASSUS (толстый, полный) – противоп. TENUIS (тонкий)
CREBRO (часто, многократно) – противоп. RARO (редко)
CREMARE (сжигать тело) – противоп. HUMARE (предавать прах земле)
CRUDELITAS (жестокосердие) – противоп. CLEMENTIA (милосердие и человеколюбие)
CUBARE (лежать) – противоп. AMBULARE (тихо прогуливаться)
CULPA (проступок, как-то: peccatum, delictum, maleficium, scelus, flagitium или nefas, которые вменяются в вину разумным существам) – противоп. CASUS (случайное происшествие), NECESSITAS (неизбежность, необходимость)
CULTA (LOCA) (возделанные земли) – противоп. VASTA (LOCA) (невозделанные пустоши)
CUNCTI (все вместе собранные) – противоп. DISPERSI (рассеянные, рассредоточенные)
CUPIDITAS (сильное желание чего-либо) – противоп. MODERATIO (спокойное состояние души, умеренность в поступках)
CURA (забота о чем-либо) – противоп. INCURIA (недостаток в заботливости и внимании к чему-либо)
CURRERE (бежать) – противоп. AMBULARE (тихо прогуливаться), GRADIRI, INGREDI (спокойно ступать, аккуратно идти), STARE (стоять на месте)
CURRU (на повозке, колеснице) – PEDETENTIM (пешком)
CURSIM (бегóм) – противоп. GRADATIM (шагом)
CURVUS (искривленный) – противоп. RECTUS (прямой)

D

DAMNUM (потеря, в которой мы сами виновны) – противоп. LUCRUM (лично заслуженная и трудом полученная прибыль)
DARE (дать) – противоп. ADIMERE (отнять у кого-либо собственность или часть собственности)

DEESSE (обозначает отсутствие предмета) – противоп. ESSE (обозначает наличие предмета)

DEESSE (отсутствие чего-нибудь в самом предмете) – противоп. SUPERESSE (наличие чего-нибудь в избытке)

DEFENDERE (защищать) – противоп. OMITTERE (оставлять пост по причине трусости или из-за забвения своего долга)

DEFORMIS (некрасивый) – противоп. FORMOSUS (красивый)

DEINDE (затем) – противоп. STATIM, PROTINUS (без отлагательства)

DEMERE (отнять часть из целого) – противоп. ADDERE, ADIICERE (прибавлять, добавлять)

DENSUS (означает тесно сближенные предметы) – противоп. RARUS (редкий)

DEPRAVARE (искажать, коверкать) – противоп. CORRIGERE (улучшать так, что целое совершенствуется и ближе подходит к своей идее)

DESCENDERE (нисходить, спускаться) – противоп. ADSCENDERE (восходить, подниматься)

DESERERE (оставлять, покидать) – противоп. AUXILIUM (OPEM) FERRE, OPITULARI (помогать находящемуся в нужде и опасности)

DESERTA (LOCA) (необитаемые пустыни) – противоп. HABITATA (LOCA) (обитаемые, населенные места)

DESINERE, DESISTERE (переставать что-либо делать, оставлять что-либо) – противоп. COEPISSE, INCIPERE (начинать)

DESPECTARE, DESPICERE (не ценить) – противоп. ADMIRARI, SUSPICERE (восхищаться, уважать), REVERERI (чувствовать благоговение)

DESTITUERE (оставлять, покидать) – противоп. AUXILIUM (OPEM) FERRE, OPITULARI (помогать находящемуся в нужде и опасности)

DETRIMENTUM (потеря, урон, ущерб) – противоп. EMOLUMENTUM (прибыль)

DEUS (бог) – противоп. HOMO (человек)

DICERE (говорить) – противоп. SILERE, TACERE (молчать, не издавать ни звука)

DIES (m) (день) – противоп. NOX (ночь)

DIFFICILIS (сложный, неудобоисполнимый) – противоп. FACILIS (легкий)

DISPENDIUM (утрата, издержка) – противоп. COMPENDIUM (ухваченная выгода)
DISPERSI (рассеянные, рассредоточенные) – противоп. CUNCTI (собранные вместе)
DISSENTIRE (быть несогласным) – противоп. ASSENTIRI (соглашаться, одобрять)
DIU (днем) – противоп. NOCTU (ночью)
DIVES (богатый) – противоп. PAUPER (бедный)
DOLOR (внутреннее чувство скорби) – противоп. GAUDIUM (внутренняя радость)
DOMESTICUS (местный, родной) – противоп. EXTRANEUS (иностранный, чужой)
DOMINUS (хозяин, владелец земли) – противоп. COLONUS (арендатор земли какого-либо частного владельца)
DOMINUS (хозяин, владелец дома) – противоп. INQUILINUS (постоялец какого-нибудь частного дома)
DOMINUS (хозяин, господин) – противоп. SERVUS (раб)
DUBITARE (быть неуверенным, сомневаться) – противоп. AFFIRMARE (утверждать со всей уверенностью)
DULCIS (сладкий) – противоп. AMARUS (неприятно горький)

E

EBRIUS (пьяный) – противоп. SOBRIUS (трезвый)
EDITUS (возвышенный) – противоп. PLANUS (равнинный)
EFFETUS (бесплодный) – противоп. FECUNDUS (плодородный)
EGENS, EGENUS (бедствующий, нуждающийся) – противоп. LOCUPLES (достаточный, зажиточный)
EGERE (обозначает недостаток нужного предмета) – противоп. ABUNDARE (быть в излишке)
EGESTAS (гнетущая бедность и нужда) – противоп. ABUNDANTIA (изобилие, богатство)
ELOQUI (высказывать) – противоп. RETICERE (умалчивать, утаивать что-либо)
EMERE (покупать) – противоп. VENDERE (продавать)
EMINUS (издали) – противоп. COMINUS (вблизи)
EMOLUMENTUM (прибыль) – противоп. DETRIMENTUM (потеря, урон, ущерб)

EQUO (на коне) – противоп. PEDETENTIM (пешком)
ESCA (пища) – противоп. POTIO (питье)
ESSE (обозначает наличие предмета) – противоп. DEESSE (обозначает отсутствие предмета)
ESURIES (чувство голода) – противоп. SITIS (чувство жажды)
EVERTERE (выкапывать и вырывать то, что внизу укреплено) – противоп. FUNDARE (делать твердое основание для чего-либо, укреплять)
EX INTERVALLO (некоторое время спустя) – противоп. CONFESTIM, CONTINUO (без остановки, немедля, проворно)
EXANIMUS (бездыханный, безжизненный) – противоп. ANIMANS (живой, имеющий жизнь)
EXCORS (неразумный) – противоп. CORDATUS (рассудительный)
EXIGUUS (маленький, ничтожный) – противоп. AMPLUS, GRANDIS (больших размеров, великий, значительный)
EXILIS (тощий, худой, слабый, незначительный) – противоп. GRANDIS (больших размеров, великий, значительный), UBER (обильный, богатый, полный)
EXITIUM (гибель) – противоп. SALUS (спасение)
EXITUS (конец, конечная точка, результат) – противоп. INITIUM (начало)
EXPERS (непричастный, не участвующий в чем-либо) – противоп. PARTICEPS (принимающий участие в чем-либо)
EXSORS (непричастный) – противоп. CONSORS (причастный к чему-либо)
EXSPECTATUS (ожидаемый) – противоп. REPENTINUS (внезапный, неожиданный)
EXTERNUS, EXTRANEUS (чужестранец) – противоп. CIVIS (житель данной страны)
EXTRANEUS (иностранный, чужой) – противоп. DOMESTICUS (местный, родной)
EXTRANEUS (не принадлежащий к семье, хозяйству) – противоп. FAMILIARIS (принадлежащий к семье, хозяйству)
EXTREMUM (конечная точка) – противоп. PRINCIPIUM (начальная точка)
EXTREMUS (выражает самую крайнюю часть какого-либо пространства или поверхности) – противоп. INTIMUS, MEDIUS (внутренний, срединный)

F

FACILE (легко) – противоп. AEGRE (с трудом)
FACILIS (легкий) – противоп. DIFFICILIS (сложный, неудобоисполнимый)
FAMA EST (известно из слухов) – противоп. CONSTAT (достоверно известно)
FAMES (голод как следствие недостатка в средствах питания) – противоп. SATIETAS (сытость, изобилие)
FAMILIARIS (принадлежащий к семье, хозяйству) – противоп. EXTRANEUS (не принадлежащий к семье, хозяйству)
FAMULUS (раб) – противоп. HERUS (господин, хозяин)
FARI (говорить, произносить членораздельные звуки) – противоп. INFANTEM ESSE (быть маленьким и потому неспособным членораздельно говорить), BALBUTIRE (лепетать, произносить нечленораздельные звуки)
FATERI (соглашаться, говорить «да») – противоп. INFITIARI (говорить «нет», имея в виду для себя какую-либо выгоду)
FATERI (признавать, обнаруживать, показывать) – противоп. CELARE, RETICERE (таить, умалчивать)
FAVOR (благорасположение) – противоп. INVIDIA (неблагорасположение, ненависть)
FECUNDUS (плодородный) – противоп. EFFETUS (бесплодный)
FEMINA (всеобщее выражение для существа женского пола, к какому бы классу живых существ оно ни принадлежало) – противоп. MAS (существо мужского пола)
FERA (дикое животное) – противоп. PECUS (домашнее животное)
FERITAS (жестокость) – противоп. HUMANITAS (человеколюбие)
FERUS (дикий) – противоп. CICUR (смирный, ручной)
FERVIDUS (жаркий, кипящий) – противоп. GELIDUS (холод на точке замерзания)
FESTINUS (спешащий, поспешный, желающий достигнуть цели в самое короткое время) – противоп. SEGNIS (медленный, вялый)
FIDUCIA (уверенность) – противоп. TIMOR (страх)
FINIRE (заканчивать) – противоп. COEPISSE, INCIPERE (начинать), PERGERE (продолжать)

FIRMUS (твердый, крепкий, сильный, уверенный) – противоп. INFIRMUS, VACILLANS (бессильный, слабый), IMBECILLUS (слабый, хилый, немощный)

FLERE (плакать) – противоп. RIDERE (смеяться)

FLUERE (течь по наклонности) – противоп. STARE (стоять, не двигаться)

FLUIDUS, FLUXUS (текучий, жидкий) – противоп. SOLIDUS (твердый)

FLUMEN (река) – противоп. STAGNUM (запруженная вода)

FORMOSUS (красивый) – противоп. DEFORMIS (некрасивый)

FREMERE (издавать нечленораздельные, ворчащие или рычащие звуки) – противоп. TACERE (не произносить ни одного звука, молчать)

FREQUENTER (часто, многократно) – противоп. RARO (редко)

FRIGERE (быть холодным) – противоп. CALERE (быть теплым)

FRIGIDUS (холодный и потому лишенный энергии) – противоп. ACER (рьяный, пламенный, действующий с жаром, с энергией)

FRIGIDUS (умеренно холодный) – противоп. CALIDUS (умеренно теплый)

FUNDARE (делать твердое основание для чего-либо, укреплять) – противоп. EVERTERE (выкапывать и вырывать то, что внизу укреплено)

G

GAUDIUM (внутренняя радость) – противоп. DOLOR (внутреннее чувство скорби)

GELIDUS (холод на точке замерзания) – противоп. FERVIDUS (жаркий, кипящий)

GLORIOSUS (восхитительный, великолепный) – противоп. TURPIS (достойный осуждения или презрения)

(G)NAVUS (деятельный, усердный) – противоп. INERS (бездеятельный)

GRACILIS (тонкий, стройный, грациозный) – противоп. OBESUS, OPIMUS (пухлый, толстый и потому неповоротливый)

GRADATIM (шагом) – противоп. CURSIM (бего́м), SALTUATIM (скачками, вприпрыжку)

GRADIRI (спокойно и правильно идти) – противоп. SERPERE (ползти), CURRERE (бежать), STARE (стоять)
GRANDIS (больших размеров, великий, значительный) – противоп. EXIGUUS (маленький, ничтожный), EXILIS (тощий, худой, слабый, незначительный), SUBTILIS (тонкий, утонченный), MINUTUS (маленьких размеров, крошечный)
GRATIA (благосклонность, расположение) – противоп. INVIDIA (неблагорасположение, ненависть)
GRATIA (отсутствие вознаграждения, платы) – противоп. PRETIUM (плата за отпущенный товар)
GRATIA (благосклонность, оказываемая нам другими) – противоп. OFFENSA, OFFENSIO (обида, оскорбление)
GRAVITAS (суровость, грубость, жестокость) – противоп. COMITAS (благоволение, снисходительность, благорасположение)

H

HABERE (обладать, иметь) – противоп. CARERE (иметь недостаток в чем-либо, быть лишенным, не иметь)
HABITATA (LOCA) (обитаемые, населенные места) – противоп. DESERTA (LOCA) (необитаемые пустыни)
HERUS (господин, хозяин) – противоп. FAMULUS (раб)
HILARIS (-US) (веселый, жизнерадостный) – противоп. SEVERUS (серьезный; тот, который не шутит)
HILARITAS (высшая степень радости) – противоп. TRISTITIA (печаль), AUSTERITAS, SEVERITAS (строгость, суровость)
HOMO (означает человека без различия пола, как противоположность животному) – противоп. BELUA, PECUS (неразумное животное)
HOMO (человек) – противоп. DEUS (бог)
HONESTUS (благородно мыслящий и поступающий) – противоп. TURPIS (нравственно уродливый)
HORTUS (сад) – противоп. AGER (обозначает землю, не занятую деревьями, поле)
HOSPES (гость, временно пребывающий на какой-либо земле) – противоп. CIVIS (житель данной страны)
HOSTIS (враг, неприятель во время войны) – противоп. PACATUS (покоренный, подчиненный враг)

HUMANITAS (человеколюбие) – противоп. FERITAS (жестокость)
HUMANUS (цивилизованный, утонченный) – противоп. AGRESTIS (прилагательное, обозначающее грубость нравов)
HUMARE (предавать прах земле) – противоп. CREMARE (сжигать тело)
HUMIDUS (мокрый, влажный) – противоп. ARIDUS (потерявший свою влажность от действующего внутри жара)
HUMILIS (простирающийся на короткое расстояние от поверхности) – противоп. ALTUS (простирающийся на большое расстояние вверх или вниз)
HUMILIS (низкий) – противоп. SUBLIMIS (высокий, возвышенный)
HUMUS (земля) – противоп. SUBLIME (верхний слой воздуха)

I

IACERE (лежать) – противоп. STARE (стоять)
IGNAVIA (лень, нерадение, празднолюбие) – противоп. INDUSTRIA (деятельность, трудолюбие)
ILLUSTRIS (сияющий, наполненный светом) – противоп. OBSCURUS (темный, мрачный, тусклый)
IMBECILLUS (слабый, хилый, немощный) – противоп. FIRMUS, VALIDUS (твердый, крепкий, сильный, уверенный)
IMPEDIRE (препятствовать, мешать) – противоп. IUVARE, ADIUVARE (помогать)
IMPERARE (приказывать) – противоп. PARERE (повиноваться)
IMUS (низший) – противоп. SUMMUS (высший)
INANIMUS (неживой, неодушевленный) – противоп. ANIMAL (животное как существо, одаренное жизнью)
INANIS (ничего не содержащий, пустой) – противоп. PLENUS (полный, наполненный)
INCEDERE (размеренно и гордо вышагивать) – противоп. AMBULARE (прогуливаться)
INCHOARE (начинать действие) – противоп. PERFICERE, CONSUMMARE (доводить до конца, оканчивать), ABSOLVERE (завершить, стать совершенно свободным от трудов)

INCIPERE (начинать) – противоп. CESSARE, DESINERE, DESISTERE (переставать что-либо делать, оставлять что-либо), FINIRE (оканчивать)

INCURIA (недостаток в заботливости и внимании к чему-либо) – противоп. CURA (забота о чем-либо)

INDIGENA (уроженец данной страны, коренной житель) – противоп. ADVENA, ALIENIGENA (родившийся в другой стране, чужестранец)

INDIGERE (обозначает недостаток нужного предмета) – противоп. ABUNDARE (быть в излишке)

INDUSTRIA (деятельность, трудолюбие) – противоп. IGNAVIA (лень, нерадение, празднолюбие)

INERS (бездеятельный) – противоп. (G)NAVUS (деятельный, усердный), PROMPTUS (быстрый, энергичный, проворный, расторопный)

INERS (необразованный, неопытный, невежда) – противоп. ARTITUS (образованный, *в лит. редкое*)

INFANTEM ESSE (быть маленьким и потому неспособным членораздельно говорить) – противоп. FARI (говорить, произносить членораздельные звуки)

INFERIOR (понижающийся) – противоп. AEQUUM (означает горизонтальную плоскость, которой противопоставлена возвышающаяся или понижающаяся), SUPERIOR (возвышающийся)

INFERIOR (более низкий по положению, уровню, качеству) – противоп. PAR (равный, стоящий на одном уровне)

INFIMUS (низший по статусу) – противоп. SUPREMUS (высший, верховный)

INFIRMUS (бессильный, слабый) – противоп. FIRMUS (твердый, крепкий, сильный, уверенный)

INFITIARI (говорить «нет», имея в виду для себя какую-либо выгоду) – противоп. CONFITERI (допускать, соглашаться), FATERI (соглашаться, говорить «да»)

INGENUUS (свободнорожденный) – противоп. LIBERTINUS (вольноотпущенник)

INGREDI (спокойно и правильно идти) – противоп. SERPERE (ползти), CURRERE (бежать), STARE (стоять)

INIMICUS (неприятель) – противоп. AMICUS (друг)

INITIUM (начало) – противоп. EXITUS (конец, конечная точка, результат)

INNOCENTIA (невинность, невиновность) – противоп. NOXIA (преступление, предполагающее нанесение вреда)
INOPIA (беспомощное состояние, совершенная скудость) – противоп. COPIA, OPULENTIA (изобилие, богатство)
INOPS (бедный) – противоп. COPIOSUS, OPULENTUS (богатый)
INQUILINUS (постоялец какого-нибудь частного дома) – противоп. DOMINUS (хозяин, владелец дома)
INTERDICERE (воспрещать в силу должностной власти) – противоп. ADDICERE (присуждать что-либо), PERMITTERE (разрешать, позволять)
INTERDIU (днем) – противоп. NOCTU (ночью)
INTERIRE (погибать, исчезать) – противоп. RESTARE (оставаться)
INTERITUS (гибель) – противоп. SALUS (спасение)
INTIMUS (внутренний) – противоп. EXTREMUS (выражает самую крайнюю часть какого-либо пространства или поверхности)
INVIDIA (неблагорасположение, ненависть) – противоп. GRATIA, FAVOR (благосклонность, благорасположение)
INVITATUS (по приглашению) – противоп. SUA SPONTE (по собственной воле, побуждению)
INVITUS (нежелающий) – противоп. VOLUNTARIUS (действующий добровольно)
IOCARI (делать шуточное или легкомысленное утверждение) – противоп. ASSEVERARE (с важностью утверждать)
IOCOSUS (шутливый) – противоп. SERIUS (серьезный)
IRACUNDIA (раздражительность, вспыльчивость) – противоп. MANSUETUDO (милосердие, снисходительность, мягкость, великодушие)
IUBERE (приказывать что-либо сделать) – противоп. VETARE (воспрещать в силу закона)
IUCUNDUS (приятный в общении) – противоп. AUSTERUS (строгий в мыслях, уклоняющийся от шуток и всего мелочного, а в искусствах, науках и в житейском обращении всегда соблюдающий важность и то́чность, которые близко граничат с сухостью)
IUCUNDUS (веселый, шутливый) – противоп. SERIUS (серьезный)
IUGUM (верхняя часть горы) – противоп. RADICES MONTIS (подножие горы)

IUGUM (горная цепь) – противоп. MONS (гора)
IUVARE (помогать) – противоп. IMPEDIRE (препятствовать, мешать)
IUVENIS (юноша) – противоп. VETUS (HOMO) (старый человек лет пятидесяти)
IUXTA (рядом, в непосредственной близости) – противоп. PROCUL (вдалеке, на некотором отдалении)

L

LACUS (озеро) – противоп. MARE (море)
LAETITIA (радость) – противоп. TRISTITIA, MAESTITIA (грусть)
LARGUS (щедрый) – противоп. PARCUS (бережливый)
LATUS (широкий) – противоп. ANGUSTUS (узкий)
LAUDARE (хвалить) – VITUPERARE (укорять, порицать)
LAXUS (обширный) – противоп. ARCTUS (тесный, ограниченный)
LENIS (кроткий, смирный) – противоп. VEHEMENS (опрометчивый, стремительный, гневливый, действующий необдуманно, по страсти)
LENTUS (медленный, медлительный) – противоп. VELOX, PERNIX (быстрый, проворный)
LENTUS (выражает мешкотное, но беспрерывное движение) – противоп. ACER (двигающийся решительно, энергично)
LIBENTER (охотно, добровольно) – противоп. TAEDIO (против воли, с отвращением)
LIBERTINUS (вольноотпущенник) – противоп. CIVIS (гражданин), INGENUUS (свободнорожденный)
LIBERTUS (вольноотпущенник) – противоп. SERVUS (раб)
LIBIDO (необузданность в наслаждениях) – противоп. CONTINENTIA (умеренность)
LIBIDO (чувственное желание) – противоп. RATIO (разум, рассудок), VOLUNTAS (воля)
LIQUERE (быть жидким) – противоп. RIGERE (быть жестким, твердым)
LOCUPLES (достаточный, зажиточный) – противоп. EGENS, EGENUS (бедствующий, нуждающийся)
LONGE (в большом отдалении) – противоп. PROPE (рядом)

LOQUI (говорить) – противоп. SILERE (не издавать ни одного звука, молчать)
LUCRUM (лично заслуженная и трудом полученная прибыль) – противоп. DAMNUM (потеря, в которой мы сами виновны)
LUDUS, LUSUS (игра, шутливое настроение) – противоп. SERIA (серьезность, рассудительность)
LUES (эпидемия, распространившаяся болезнь) – противоп. MORBUS (недуг только одного существа)
LUX (свет) – противоп. TENEBRAE (сумерки, темнота как недостаток в свете)
LUXURIOSUS (любящий роскошь) – противоп. SEVERUS (строгий, суровый, ненавидящий всякое легкомыслие)

M

MACER (худощавый) – противоп. PINGUIS (жирный, тучный)
MADIDUS (мокрый, смоченный) – противоп. SICCUS (имеющий сухую поверхность)
MAESTITIA (грусть) – противоп. LAETITIA (радо́сть)
MAGNA EX PARTE (по большей части) – противоп. OMNINO (всецело)
MAGNUS (большой) – противоп. PARVUS (маленький)
MALIGNITAS (скупость, жадность) – противоп. BENIGNITAS (благотворительность)
MALUS (плохой) – противоп. BONUS (хороший)
MANSUETUDO (милосердие, кротость, мягкость) – противоп. SAEVITIA (кровожадная жестокость), IRACUNDIA (раздражительность, вспыльчивость)
MARE (море) – противоп. AMNIS (большая река), LACUS (озеро)
MARE (море как водная стихия) – противоп. TERRA (суша)
MARITUS (муж, супруг) – противоп. UXOR (жена, супруга)
MAS (существо мужского пола) – противоп. FEMINA (общее выражение для существа женского пола, к какому бы классу живых существ оно ни прина́длежало)
MEDITATUS (заранее обдуманный и приготовленный) – противоп. SUBITUS (неожиданный, внезапный)
MEDIUS (срединный) – противоп. EXTREMUS (выражает самую крайнюю часть какого-либо пространства или поверхности)

MERACUS (чистый, без примеси) – противоп. TEMPERATUS (в надлежащей мере смешанный)
MERUS (беспримесный, цельный) – противоп. MIXTUS (смешанный)
METUERE (бояться) – противоп. CONTEMNERE (не бояться чего-либо)
METUS (боязнь, имеющая основание в размышлении) – противоп. SPES (надежда)
MINUTUS (маленьких размеров, крошечный) – противоп. GRANDIS (больших размеров, великий, значительный)
MITIS (мягкий, нежный) – противоп. ACERBUS (щиплющая, жгучая горечь)
MIXTUS (смешанный) – противоп. MERUS (беспримесный, цельный)
MODERATIO (спокойное состояние души, умеренность в поступках) – противоп. CUPIDITAS (сильное желание чего-либо)
MONS (гора) – противоп. CAMPUS (низменность и равнина)
MONS (гора) – противоп. IUGUM (горная цепь)
MONTOSUS (гористый) – противоп. PLANUS (равнинный)
MORBUS (недуг только одного существа) – противоп. LUES, CONTAGIUM, PESTILENTIA (эпидемия, распространившаяся болезнь)
MORS (смерть) – противоп. VITA (жизнь)
MULIER (замужняя или овдовевшая женщина) – противоп. VIRGO (всякая незамужняя женщина, молодая или старая)
MULIER (женщина любого возраста) – противоп. VIR (мужчина)
MUNDITIA (чистота, опрятность) – противоп. PAEDOR (нечистоплотность, небрежение о теле)
MUNDUS (чистый, опрятный, нарядный) – противоп. SORDIDUS, SPURCUS (грязный, нечистый)

N

NECESSITAS (неизбежность, необходимость) – противоп. CULPA (проступок, как-то: peccatum, delictum, maleficium, scelus, flagitium или nefas, которые вменяются в вину разумным существам)
NECESSITATE (по необходимости) – противоп. SUA SPONTE (по собственному усмотрению, рассуждению)

NEGARE (не без основания отрицать) – противоп. AIO (утверждать то, что другой отрицает, или произносить утвердительно свое мнение о чем-либо), ASSENTIRI (соглашаться, одобрять)
NEGLIGERE (оставлять без внимания, не заботиться) – противоп. TUERI (наблюдать, заботиться, предохранять)
NEGOTIUM (занятие, деятельность) – противоп. OTIUM (отсутствие занятий, досуг)
NEMO (никто) – противоп. OMNES (все без изъятия)
NEUTIQUAM (ни в каком случае, ни коим образом) – противоп. UTIQUE (непременно, во что бы то ни стало)
NIGER (самый черный) – противоп. CANDIDUS (ярко-белый)
NITOR (лоск, чистота, опрятность) – противоп. SQUALOR (неряшество, нечистоплотность)
NOCTU (ночью) – противоп. DIU, INTERDIU (днем)
NONNUMQUAM (иногда) – противоп. SAEPE (часто), NUMQUAM (никогда), SEMPER (всегда)
NOVICIUS (новый, новенький) – противоп. VETUSTUS (старый, старинный)
NOVUS (новый) – противоп. ANTIQUUS, PRISCUS (древний; тот, который существовал, а теперь более не существует)
NOXIA (преступление, предполагающее нанесение вреда) – противоп. INNOCENTIA (невинность, невиновность)
NUERE (кивать в знак согласия, соглашаться) – противоп. ABNUERE (отвергать просьбу или желание), RENUERE (выражать несогласие, не одобрять)
NUMQUAM (никогда) – противоп. NONNUMQUAM (иногда), SEMPER (всегда)

O

OBESUS (пухлый, толстый и потому неповоротливый) – противоп. GRACILIS (тонкий, стройный, грациозный)
OBLIQUUS (косой, косвенный, направленный в сторону) – противоп. RECTUS (прямой)
OBSCURUS (темный, мрачный, тусклый) – противоп. ILLUSTRIS (сияющий, наполненный светом)
OBSEQUIUM (повиновение, подчинение) – противоп. CONTUMACIA (непокорность)
OBTEGERE (скрывать что-либо вещественное) – противоп. APERIRE (обнаруживать)

OBTINERE (занимать, удерживать) – противоп. RELINQUERE (оставлять)
OCCULERE, OCCULTARE (скрывать что-либо вещественное) – противоп. APERIRE (обнаруживать)
OCCULTE (скрыто) – противоп. APERTE (ясно, явственно, так, что всякий может знать)
OCCUPATIO (занятие) – противоп. VACATIO (освобождение от обязанностей, свобода)
OCCUPATUS (занятый) – противоп. VACUUS (бесхозный, никем не занятый)
ODIUM (ненависть) – противоп. AMOR (любовь)
OFFENSA, OFFENSIO (обида, оскорбление) – противоп. GRATIA (благосклонность, оказываемая нам другими)
OLIVETUM (плантация олив) – противоп. ARVUM (пашня, поле, определенное для посева хлебных растений)
OMEN ACCIPERE (принимать удачное предзнаменование) – противоп. ABOMINARI (стараться отвратить плохое предзнаменование)
OMITTERE (оставлять, покидать по причине трусости или от забвения своей обязанности, своего долга) – противоп. ASSERERE (схватывать, зажимать), DEFENDERE, TUTARI (охранять, защищать)
OMNES (все без изъятия) – противоп. NEMO (никто), UNUS (один), ALIQUOT (несколько)
OMNINO (всецело) – противоп. MAGNA EX PARTE (по большей части)
OPACUS (тенистый, доставляющий приятную прохладу) – противоп. APERTUS, APRICUS (о месте: открытое, незащищенное от солнца)
OPIMUS (пухлый, толстый и потому неповоротливый) – противоп. GRACILIS (тонкий, стройный, грациозный)
OPITULARI (помогать находящемуся в нужде и опасности) – противоп. DESERERE, DESTITUERE (оставлять, покидать)
OPPIDUM (небольшой город) – противоп. URBS (большой город, преимущественно Рим), RUS, VICUS (деревня)
OPTIMATES (политическая партия аристократов) – противоп. POPULARES (народная партия)
OPULENTIA (изобилие, богатство) – противоп. INOPIA (беспомощное состояние, совершенная скудость)
OPULENTUS (богатый) – противоп. INOPS (бедный)

ORDIRI (начинать) – противоп. CONTINUARE, PERGERE (продолжать)
OSCINES (птицы, пение и крик которых толковали) – противоп. ALITES (птицы, полет которых наблюдали и толковали) (*оба слова из языка авгуров*)
OTIUM (отсутствие занятий, досуг) – противоп. NEGOTIUM (занятие, деятельность)

P

PABULUM (пастбище) – противоп. ARVUM (пашня, поле, определенное для посева хлебных растений)
PACATUS (покоренный, подчиненный враг) – противоп. HOSTIS (враг, неприятель во время войны)
PAEDOR (нечистоплотность, небрежение о теле) – противоп. MUNDITIA (чистота, опрятность)
PAENE (едва) – противоп. PLANE (совершенно)
PALAM (открыто, публично, на глазах у всех) – противоп. CLAM, CLANCULUM (тайно, тайным образом)
PAR (равный, стоящий на одном уровне) – противоп. INFERIOR (понижающийся), SUPERIOR (возвышающийся)
PARATUS (приготовленный, подготовленный) – противоп. SUBITO, SUBITUS (неожиданный, внезапный)
PARCUS (бережливый) – противоп. LARGUS (щедрый)
PARERE (повиноваться) – противоп. IMPERARE (приказывать)
PARTICEPS (принимающий участие в чем-либо) – противоп. EXPERS (непричастный, не участвующий в чем-либо)
PARVUS (маленький) – противоп. MAGNUS (большой)
PASCUUM (пастбище) – противоп. ARVUM (пашня, поле, определенное для посева хлебных растений)
PAUPER (бедный) – противоп. DIVES (богатый)
PECULIARIS (собственный) – противоп. UNIVERSALIS (всеобщий)
PECUS (домашнее животное) – противоп. FERA (дикое животное)
PECUS (неразумное животное) – противоп. HOMO (означает человека без различия пола, как противоположность животному)
PEDETENTIM (пешком) – противоп. CURRU (на повозке, колеснице), EQUO (на коне), VOLATU (по воздуху), VELIS (под парусом)

PERDERE (терять так, что предмет погибает) – противоп. SERVARE (сохранять в целости)
PEREGRINUS (временно пребывающий на какой-либо земле) – противоп. CIVIS (житель данной страны)
PERFICERE (доводить до конца, оканчивать) – противоп. INCHOARE (начинать действие)
PERFICERE (совершить, довести до конца) – противоп. CONARI (пытаться сделать что-либо)
PERGERE (продолжать) – противоп. ORDIRI (начинать), FINIRE (заканчивать)
PERMITTERE (разрешать, позволять) – противоп. INTERDICERE (воспрещать в силу должностной власти)
PERNIX (быстрый, проворный) – противоп. LENTUS (медленный, медлительный)
PESTIFER (гибельный) – противоп. SALUTARIS (спасительный)
PESTILENS (поражающий гибельной болезнью) – SALUBER (приносящий здоровье)
PESTILENTIA (эпидемия, распространившаяся болезнь) – противоп. MORBUS (недуг только одного существа)
PEXI (расчесанные волосы) – противоп. SPARSI (растрепанные волосы)
PICTURA (картина, живопись) – противоп. SIGNUM (всякое произведение пластики)
PINGUIS (жирный, тучный) – противоп. MACER (худощавый)
PLACIDUS (тихий, спокойный) – противоп. TURBIDUS (неспокойный, встревоженный, бурный)
PLANE (совершенно) – противоп. PAENE, VIX (едва)
PLANE (открыто, публично, на глазах у всех) – противоп. CLAM, CLANCULUM (тайно, тайным образом)
PLANUS (равнинный) – противоп. EDITUS (возвышенный), MONTOSUS (гористый), SAXOSUS (скалистый, каменистый)
PLENUS (полный, наполненный) – противоп. INANIS (ничего не содержащий, пустой)
POEMATA (стихотворения) – противоп. PROSA (прозаический текст)
POENA (наказание) – противоп. PRAEMIUM (почетная награда, которая дается для того, чтобы отличить кого-либо)

POLLUTUS (оскверненный, порочный) – противоп. SANCTUS (священный, т. е. находящийся под покровительством богов и защищенный от осквернения)
POPULARES (народная партия) – противоп. OPTIMATES (политическая партия аристократов)
PORRO IRE (идти дальше) – противоп. REDIRE (возвращаться)
POSTEA (потом, позже) – противоп. STATIM, PROTINUS (тотчас, без отлагательства)
POSTREMUS (самый последний в каком-либо установленном ряду) – противоп. PRIMUS, PRINCEPS (первый)
POTIO (питье) – противоп. CIBUS, ESCA (пища)
PRAEMIUM (почетная награда, которая дается для того, чтобы отличить кого-либо) – противоп. POENA (наказание)
PRAETERIRE (проходить мимо) – противоп. RESTARE (оставаться)
PRATUM (луг) – противоп. ARVUM (пашня, поле, определенное для посева хлебных растений)
PRAVUS (кривой) – противоп. RECTUS (прямой)
PRETIUM (плата за отпущенный товар) – противоп. GRATIA (отсутствие вознаграждения, платы)
PRIMUS, PRINCEPS (первый) – противоп. POSTREMUS (самый последний в каком-либо установленном ряду)
PRINCIPIUM (начальная точка) – противоп. EXTREMUM (конечная точка)
PRISCUS (древний; тот, который существовал, а теперь более не существует) – противоп. NOVUS (новый)
PRIVUS (собственный) – противоп. ALIENUS (чужой)
PROBARE (одобрять, считать годным, достойным) – противоп. REPREHENDERE (останавливать на пути заблуждения, порицать, укорять)
PROCUL (вдалеке, на некотором отдалении) – противоп. IUXTA (рядом, в непосредственной близости)
PROFANUS (несвященный, нечистый, людской) – противоп. SACER (священный, т. е. принадлежащий богам)
PROFICISCI (отправляться, уезжать) – противоп. REVERTI (возвращаться)
PROFITERI (открыто заявлять, объявлять) – противоп. RETICERE (умалчивать, что-либо таить на душе)
PROHIBERE (держать в отдалении, воспрещать приближение) – противоп. ADHIBERE (допускать, вводить в контакт)

PROLOQUI (высказывать) – противоп. RETICERE (умалчивать, утаивать что-либо)
PROMPTUS (быстрый, энергичный, проворный, расторопный) – противоп. INERS (бездеятельный), SEGNIS (медленный, вялый)
PRONUS (простой, достигаемый без каких-либо препятствий) – противоп. ARDUUS (неудободостигаемый)
PROPE (рядом) – противоп. LONGE (в большом отдалении)
PROPERARE (спешить из-за наличия душевной энергии) – противоп. CESSARE (медлить, мешкать)
PROPERUS (спешащий, поспешный, желающий достигнуть цели в самое короткое время) – противоп. SEGNIS (медленный, вялый)
PROPRIUS (означает исключительную собственность) – противоп. COMMUNIS (общий)
PROSA (прозаический текст) – противоп. CARMINA, POEMATA (стихотворения)
PROTINUS (тотчас, без отлагательства) – противоп. DEINDE (затем), POSTEA (позже, потом)
PROXIMUS (ближайший) – противоп. ULTIMUS (наиболее удаленный)
PRUDENS (умный, имеющий правильные практические взгляды) – противоп. STULTUS (имеющий недостаток практической мудрости, глупый)
PULCHER (красивый) – противоп. TURPIS (с отталкивающей наружностью, безобразный, мерзкий)
PURUS (чистый) – противоп. CONTAMINATUS (запятнанный, ритуально нечистый)

Q

QUAESTUS (постоянно добываемый барыш) – противоп. SUMPTUS (затраты, издержки, расходы)

R

RADICES MONTIS (подножие горы) – противоп. IUGUM (верхняя часть горы)
RARO (редко) – противоп. CREBRO, FREQUENTER (часто, многократно)

RARUS (редкий) – противоп. DENSUS (означает тесно сближенные предметы)
RATIO (разум, рассудок) – противоп. LIBIDO (чувственное желание)
RECENS (недавний) – противоп. VETUS (старинный)
RECTUS (прямой) – противоп. PRAVUS (кривой), CURVUS (искривленный), OBLIQUUS (косой, косвенный, направленный в сторону)
RECUSARE (отвергать предмет неприятный, требующий усилий и самоотвержения) – противоп. SUSCIPERE (принимать, воспринимать)
REDDERE (возвратить) – противоп. ADIMERE (отнять у кого-либо собственность или часть собственности)
REDIRE (возвращаться) – противоп. PORRO IRE (идти дальше)
REFRAGARI (действовать против) – противоп. SUFFRAGARI (выражать публичную поддержку) (*оба слова из политической лексики*)
RELINQUERE (оставлять) – противоп. OBTINERE (занимать, удерживать)
REMISSUS (беззаботный, беспечный) – противоп. SEVERUS (серьезный, тот, который не шутит)
RENUERE (отвергать просьбу или желание) – противоп. ADNUERE, NUERE (кивать в знак согласия, соглашаться)
REPENTE (вдруг, сразу, неожиданно) – противоп. SENSIM (медленно, постепенно, понемногу)
REPENTINUS (внезапный, неожиданный) – противоп. EXSPECTATUS (ожидаемый)
REPREHENDERE (останавливать на пути заблуждения, порицать, укорять) – противоп. PROBARE (одобрять, считать годным, достойным)
REPUDIARE (отвергать) – противоп. ASSUMERE (принимать)
RESTARE (оставаться) – противоп. PRAETERIRE (проходить мимо), INTERIRE (погибать, исчезать)
RETICERE (умалчивать, утаивать что-либо) – противоп. PROLOQUI (высказывать), PROFITERI (открыто заявлять, объявлять), FATERI (признавать, обнаруживать, показывать)
RETINERE (удерживать) – противоп. AMITTERE (терять, лишаться)

REVENIRE (возвращаться, не совершив задуманный путь) – противоп. ADVENIRE (прийти, прибыть, достигнуть цели)
REVERERI (чувствовать благоговение) – противоп. DESPICERE, DESPECTARE (не ценить)
REVERTI (возвращаться) – противоп. PROFICISCI (отправляться, уезжать)
RIDERE (смеяться) – противоп. FLERE (плакать)
RIGERE (быть жестким, твердым) – противоп. LIQUERE (быть жидким)
ROGATUS (по просьбе) – противоп. SUA SPONTE (по собственному побуждению)
RUS (деревня) – противоп. AGER (обозначает землю, не занятую строениями)
RUSTICUS (необразованный) – противоп. URBANUS (образованный, элегантный, изящный)

S

SACER (священный, т. е. принадлежащий богам) – противоп. PROFANUS (несвященный, нечистый, людской)
SAEPE (часто) – противоп. SEMEL (единожды), NONNUMQUAM (иногда), SEMPER (всегда)
SAEVITIA (кровожадная жестокость) – противоп. MANSUETUDO (милосердие, кротость, мягкость)
SALIRE (прыгать) – противоп. AMBULARE (тихо прогуливаться), STARE (стоять на месте)
SALTUATIM (скачками, вприпрыжку) – противоп. GRADATIM (шагом)
SALUBER (приносящий здоровье) – PESTILENS (поражающий гибельной болезнью)
SALUS (спасение) – противоп. EXITIUM, INTERITUS (гибель)
SALUTARIS (спасительный) – противоп. PESTIFERUS (гибельный)
SALVE (приветствие при входе, встрече) – противоп. VALE (приветствие при выходе, прощании)
SANCTUS (священный, т. е. находящийся под покровительством богов и защищенный от осквернения) – противоп. POLLUTUS (оскверненный, порочный)
SANITAS (здоровое состояние) – противоп. AEGRITUDO (болезнь)

SATIETAS (сытость, изобилие) – противоп. FAMES (голод как следствие недостатка в средствах питания)
SAXOSUS (скалистый, каменистый) – противоп. PLANUS (равнинный)
SECURITAS (свобода от забот) – противоп. SOLLICITUDO (беспокойство)
SECURUS (беззаботный) – противоп. SOLLICITUS (беспокойный)
SEGNIS (медленный, вялый) – противоп. PROPERUS, FESTINUS (спешащий, поспешный, желающий достигнуть цели в самое короткое время), PROMPTUS (быстрый, энергичный, проворный, расторопный)
SEMEL (единожды) – противоп. ALIQUANDO (два или несколько раз), SAEPE (часто)
SEMPER – противоп. NONNUMQUAM (иногда), SAEPE (часто)
SENSIM (медленно, постепенно, понемногу) – противоп. REPENTE (вдруг, сразу, неожиданно)
SERIA (серьезность, рассудительность) – противоп. LUDUS, LUSUS (игра, шутливое настроение)
SERIUS (серьезный) – противоп. IOCOSUS, IUCUNDUS (веселый, шутливый)
SERPERE (ползти) – противоп. GRADIRI, INGREDI (спокойно и правильно идти)
SERVARE (сохранять в целости) – противоп. PERDERE (терять так, что предмет погибает)
SERVUS (раб) – противоп. LIBERTUS (вольноотпущенник)
SERVUS (раб) – противоп. DOMINUS (хозяин, господин)
SEVERITAS (суровость, грубость, жестокость) – противоп. COMITAS (благоволение, снисходительность, благорасположение)
SEVERITAS (строгость, суровость) – противоп. HILARITAS (высшая степень радости)
SEVERUS (строгий, суровый, ненавидящий всякое легкомыслие) – противоп. LUXURIOSUS (любящий роскошь)
SEVERUS (серьезный, тот, который не шутит) – противоп. HILARIS (US) (веселый, жизнерадостный), REMISSUS (беззаботный, беспечный)
SICCUS (имеющий сухую поверхность) – противоп. MADIDUS (мокрый, смоченный)
SIGNUM (всякое произведение пластики) – противоп. PICTURA (картина, живопись)

SILERE (молчать, не издавать ни одного звука) – противоп. DICERE, LOQUI (говорить)
SILVA (лес) – противоп. AGER (обозначает землю, не занятую лесом)
SIMPLEX (простодушный, наивный) – противоп. VERSUTUS (пронырливый, хитроумный, находчивый)
SINGULI (каждый по отдельности) – противоп. UNIVERSI (все вместе)
SITIS (чувство жажды) – противоп. ESURIES (чувство голода)
SITUS (пренебрежение, долговременное неупотребление) – противоп. USUS (использование)
SOBRIUS (трезвый) – противоп. EBRIUS (пьяный)
SOLIDUS (твердый) – противоп. FLUIDUS, FLUXUS (текучий, жидкий)
SOLLICITUDO (беспокойство) – противоп. SECURITAS (свобода от забот)
SOLLICITUS (беспокойный) – противоп. SECURUS (беззаботный)
SOLUTUS (растворенный, рассосредоточенный) – противоп. SPISSUS (густой, сплоченный между собой)
SORDIDUS (грязный, нечистый) – противоп. MUNDUS (чистый, опрятный, нарядный)
SPARSI (растрепанные волосы) – противоп. PEXI (расчесанные волосы)
SPERNARI, SPERNERE (не желать чего-либо, быть равнодушным, презирать) – противоп. APPETERE (стремиться к чему-либо, желать чего-либо), CONCUPISCERE (страстно желать)
SPES (надежда) – противоп. METUS (боязнь, имеющая основание в размышлении)
SPISSUS (густой, сплоченный между собой) – противоп. SOLUTUS (растворенный, рассосредоточенный)
SPURCUS (грязный, нечистый) – противоп. MUNDUS (чистый, опрятный, нарядный)
SQUALOR (неряшество, нечистоплотность) – противоп. NITOR (лоск, чистота, опрятность)
STAGNUM (запруженная вода) – противоп. FLUMEN (река)
STARE (стоять на месте) – противоп. AMBULARE (тихо прогуливаться), GRADIRI, INGREDI (спокойно и правильно идти), CURRERE (бежать), SALIRE (прыгать)
STARE (стоять, не двигаться) – противоп. FLUERE (течь по наклонности)

STARE (стоять) – противоп. IACERE (лежать)
STATIM (без отлагательства) – противоп. DEINDE (затем), POSTEA (позже, потом)
STREPERE (издавать громкий звук, кричать) – противоп. TACERE (не произносить ни одного слова, молчать)
STULTUS (имеющий недостаток практической мудрости, глупый) – противоп. PRUDENS (умный, имеющий правильные практические взгляды)
SUA SPONTE (по собственному усмотрению, рассуждению) – противоп. CASU (случайно), NECESSITATE (по необходимости), INVITATUS (по приглашению), ROGATUS (по просьбе)
SUBITUS (неожиданный, внезапный) – противоп. ANTE PROVISUS (предвиденный заранее), MEDITATUS (заранее обдуманный и приготовленный), PARATUS (приготовленный, подготовленный)
SUBLIME (верхний слой воздуха) – противоп. HUMUS (земля)
SUBLIMIS (высокий, возвышенный) – противоп. HUMILIS (низкий)
SUBTILIS (тонкий, утонченный) – противоп. GRANDIS (больших размеров, великий, значительный)
SUFFRAGARI (выражать публичную поддержку) – противоп. REFRAGARI (действовать против) (*оба слова из политической лексики*)
SUMMUS (высший) – противоп. IMUS (низший)
SUMPTUS (затраты, издержки, расходы) – противоп. QUAESTUS (постоянно добываемый барыш)
SUPERESSE (наличие чего-нибудь в избытке) – противоп. DEESSE (отсутствие чего-нибудь в самом предмете)
SUPERIOR (возвышающийся) – AEQUUM (означает горизонтальную плоскость, которой противопоставлена возвышающаяся или понижающаяся), PAR (равный, стоящий на одном уровне)
SUPREMUS (высший, верховный) – противоп. INFIMUS (низший по статусу)
SUSCIPERE (принимать, воспринимать) – противоп. RECUSARE (отвергать предмет неприятный, требующий усилий и самоотвержения)
SUSPICERE (восхищаться, уважать) – противоп. DESPICERE, DESPECTARE (не ценить)

T

TACERE (молчать, не издавать ни одного звука) – противоп. DICERE (говорить), CLAMARE (кричать), STREPERE (издавать громкий звук, кричать)
TAEDIO (против воли, с отвращением) – противоп. LIBENTER (охотно, добровольно)
TARDUS (медленный) – противоп. CITUS, CELER (быстрый)
TEMPERATUS (в надлежащей мере смешанный) – противоп. MERACUS (чистый, без примеси)
TENEBRAE (сумерки, темнота как недостаток света) – противоп. LUX (свет)
TENUIS (тонкий) – противоп. CRASSUS (толстый, полный)
TERMINARE (*в переносном смысле*: рассуждая, приходить к заключению) – противоп. CONTINUARE (продолжать)
TERRA (суша) – противоп. MARE (море как масса воды)
TERRITUS (напуганный и потому удерживающийся от деятельности) – противоп. ALACER (обнаруживающий свою радость, сильно выказывая деятельность или порывы к ней; *alacritas* проявляется в глазах бегающих, пламенных и дышащих мужеством)
TESCA (пустыри, в которых почти никогда не слышно человеческого голоса) – противоп. CELEBRIA (оживленное, многолюдное место)
TIMERE (бояться) – противоп. CONTEMNERE (не бояться чего-либо)
TIMOR (страх) – противоп. FIDUCIA (уверенность), ANIMUS (душевное мужество)
TORRIDUS (высохший от внешнего жара) – противоп. UVIDUS (влажный)
TRANS (по ту сторону) – противоп. CIS (по эту сторону)
TRISTITIA (грусть, печаль) – противоп. LAETITIA (радость), HILARITAS (высшая степень радости)
TUERI (наблюдать, заботиться, предохранять) – противоп. NEGLIGERE (оставлять без внимания, не заботиться)
TURBIDUS (неспокойный, встревоженный, бурный) – противоп. PLACIDUS (тихий, спокойный)
TURPIS (с отталкивающей наружностью, безобразный, мерзкий) – противоп. PULCHER (красивый)

TURPIS (нравственно уродливый) – противоп. GLORIOSUS (восхитительный, великолепный), HONESTUS (благородно мыслящий и поступающий)

TUTARI (охранять, защищать) – противоп. OMITTERE (оставлять, покидать по причине трусости или от забвения своей обязанности, своего долга)

U

UBER (обильный, богатый, полный) – противоп. EXILIS (тощий, худой, слабый, незначительный)

ULTIMUS (наиболее удаленный) – противоп. PROXIMUS (ближайший)

ULTRA (по ту сторону) – противоп. CIS (по эту сторону)

UNIVERSALIS (всеобщий) – противоп. PECULIARIS (собственный)

UNIVERSI (все вместе) – противоп. SINGULI (каждый по отдельности), UNUSQUISQUE (каждый)

UNUS (один) – противоп. OMNES (все без изъятия)

UNUSQUISQUE (каждый) – противоп. UNIVERSI (все вместе)

URBANUS (образованный, элегантный, изящный) – противоп. RUSTICUS (необразованный)

URBS (большой город, преимущественно Рим) – противоп. OPPIDUM (небольшой город), RUS, VICUS (деревня)

USUS (использование) – противоп. SITUS (пренебрежение, долговременное неупотребление)

UTIQUE (непременно, во что бы то ни стало) – противоп. NEUTIQUAM (ни в каком случае, никоим образом)

UVIDUS (влажный) – противоп. TORRIDUS (высохший от внешнего жара)

UXOR (жена, супруга) – противоп. MARITUS (муж, супруг)

V

VACATIO (освобождение от обязанностей, свобода) – противоп. OCCUPATIO (занятие)

VACILLANS (бессильный, слабый) – противоп. FIRMUS (твердый, крепкий, сильный, уверенный)

VACUUS (бесхозный, никем не занятый) – противоп. OCCUPATUS (занятый)
VALE (приветствие при выходе, прощании) – противоп. SALVE (приветствие при входе, встрече)
VALIDUS (твердый, крепкий, сильный, уверенный) – противоп. IMBECILLUS (слабый, хилый, немощный)
VARIUS (разнообразный, в разных ситуациях различный) – противоп. AEQUUS (сам себе равный и неизменный)
VASTA (LOCA) (невозделанные пустоши) – противоп. CULTA (LOCA) (возделанные земли)
VEHEMENS (опрометчивый, стремительный, гневливый, действующий необдуманно, по страсти) – противоп. LENIS (кроткий, смирный)
VELIS (под парусом) – противоп. PEDETENTIM (пешком)
VELOX (быстрый, проворный) – противоп. LENTUS (медленный, медлительный)
VENDERE (продавать) – противоп. EMERE (покупать)
VERSUTUS (пронырливый, хитроумный, находчивый) – противоп. SIMPLEX (простодушный, наивный)
VETARE (воспрещать в силу закона) – противоп. IUBERE (приказывать что-либо сделать)
VETUS (старинный) – противоп. RECENS (недавний)
VETUS (HOMO) (старый человек лет пятидесяти) – противоп. IUVENIS (юноша)
VETUSTUS (старый, старинный) – противоп. NOVICIUS (новый, новенький)
VICUS (деревня) – противоп. AGER (обозначает землю, не занятую строениями)
VIR (мужчина) – противоп. MULIER (женщина любого возраста)
VIRGO (всякая незамужняя женщина, молодая или старая) – противоп. MULIER (замужняя или овдовевшая женщина)
VITA (жизнь) – противоп. MORS (смерть)
VITUPERARE (укорять, порицать) – LAUDARE (хвалить)
VIX (едва) – противоп. PLANE (совершенно)
VOLATU (по воздуху) – противоп. PEDETENTIM (пешком)
VOLUNTARIUS (действующий добровольно) – противоп. INVITUS (нежелающий)
VOLUNTAS (воля) – противоп. LIBIDO (чувственное желание)

А.М. Белов

ВОПРОС О МОРАХ
(оппозиция арифметической кратности в греческом и латинском языках)

Введение

О древнегреческом и латинском языках принято говорить как о языках моросчитающих [Трубецкой 2000; Тронский 1962]. Однако далеко не всегда под термином «мора» понимают одно и то же. Исследователей греческого языка мора обыкновенно интересовала постольку, поскольку различие греческих акута и циркумфлекса можно трактовать как функцию места ударения [Jakobson 1937/1962; Тронский 1962]; при этом «количественные» отношения открытых и закрытых слогов в метрике рассматривались иной раз как частный случай долготного противопоставления слогоносителей, когда закрывающий слог согласный берет на себя длительность второй моры. В латинском языке, в котором именно «количественное» противопоставление слогов определяет как место ударения, так и ритмическую структуру текста, термин *мора* вызывал еще больше недоумений, так как при описанном выше понимании требовал принятия теорий о музыкальном ударении или циркумфлексе, ставящих еще больше новых вопросов.

При этом характерной особенностью моровой проблемы для латинского языка явилось еще и то, что моровое противопоставление слогов в нем воспринималось самими первооткрывателями учения – Р.О. Якобсоном и Н.С. Трубецким – как данность, из-за чего сама теория латинских мор – к большому удовлетворению сторонников музыкального ударения и заметной тревоге их противников – приняла статус аксиомы. Но у такого положения была и обратная сторона: некоторые наиболее активные противники тона в латинском языке, в

частности У.С. Аллен [Allen 1969; 1973], не имея особого почтения к латинской море и одновременно не видя серьезных доказательств ее существования, стали вообще настаивать на безморовой оппозиции латинских слогов по фонологическому весу. Поскольку эти взгляды нашли к настоящему времени многочисленных сторонников, являясь при этом источником многих распространенных заблуждений, становится понятным, что доказательству существования латинских мор и выявлению их особенностей следует уделить несколько больше внимания, чем это обычно делается.

Критерии морового счета

Традиционно-упрощенное понимание моры в том виде, в каком мы находим его, например, у И. М. Тронского, – это дискретное проявление колич5ества, своеобразный квант долготы. *«Просодическое количество бывает двух родов: оно может сводиться к простому различию в относительной длительности долгих и кратких гласных, как это имеет место, например, в немецком языке; с другой стороны, оно может сопровождаться двухсоставностью долгого гласного, который содержит две "моры"* <...> *В таких языках долгий гласный приравнивается двум кратким. В латинском языке долгота была двухморная»* [Тронский 2001: § 62]. Своему утверждению ученый приводит следующие доказательства:

1) *традиция*: учение о латинском циркумфлексе;
2) *графика*: использование удвоенных гласных букв для одного долгого звука (AARA, LEEGE I^2.1438);
3) «приравнение одного долгого двум кратким в системе ударения и в стихе» [Там же].

К сожалению, ни один из трех приведенных аргументов не может служить доказательством тому утверждению, которое было заявлено автором выше. И вот почему:

двубуквенное обозначение долготы встречается и в тех языках, где нет моровой оппозиции по долготе, например в голландском; причем в ряде этих языков данная графическая система используется гораздо более последовательно, чем в латинском, где *«долгота i никогда не выражалась с помощью удвоения»* [Тронский 2001: § 103], а сама система написания была создана не традицией, а рекомендована поэтом Акцием: к ней *«иногда прибегают в надписях конца II и начала I в. до н. э.»* [Там же];

тождество 2 = 1+1, действительно присущее как правилам ударения, так и стихам, не может доказать «моровой долготы» в том понимании, какое предлагает сам И.М. Тронский, по той причине, что оно имеет дело с «долготой» слога, а не гласного;

что касается циркумфлекса, то он, как признает отчасти и сам И.М. Тронский [Тронский 1951], с точки зрения системы классического латинского языка явно не фонологичен и доказательством служить не может. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся.

Несравненно более всеобъемлющее понимание моры, основанное на типологическом анализе просодии различных языков, приводил еще задолго до И.М. Тронского Н.С. Трубецкой [Трубецкой 2000: 200–205]. У него выделяются пять типов моросчитающих языков, причем, что особенно важно, различается моровое противопоставление слогов и слогоносителей. По этой классификации греческий язык будет попадать как в группу *г* (с двумя типами ударения в долгих слогоносителях), так и в группу *в* (с количественным противопоставлением слогов), тогда как латинский относится автором к группе *в*. Такое различие есть непосредственное продолжение теории Р.О. Якобсона о силлабической море, связанной не с длительностью гласного, а с просодическими особенностями всего слога в целом [Jakobson 1937/1962]. Однако если Якобсон видит эти особенности именно в длительности слога, из-за чего и формулирует правило, по которому латинское ударение падает на саму силлабическую мору, то Трубецкой не настаивает на последовательном расположении мор в двуморных слогах латинского языка и говорит об ударении, которое покрывает слог, содержащий в себе требуемую мору – в обоих случаях вторую от конца, не считая последнего слога. В принципе такое понимание моровой природы латинского ударения представляется наиболее удачным, поскольку не противоречит ни данным латинской фонологии, ни предполагаемому динамизму ударения. Разве что двусоставность закрытых слогов латинского языка принимается Н.С. Трубецким как данность.

Тем не менее У.С. Аллен высказывает решительный протест против такого понимания природы латинского слога, называя теории Якобсона и Трубецкого терминологическим жонглерством[1] [Allen 1973: 162]. Здесь надо сразу сказать, что Аллен периодически путает взгляды одного и другого: например, на одной и той же с. 162 он

---

[1] *«But may there not perhaps be in it more of symbolic sleight-of-hand than of phonological validity?»*

вначале приписывает мысль о том, что ударение падает на силлабическую мору, Трубецкому, а затем, разбирая пример *pŏs.ci.mus*, вновь критикует за нее Якобсона, из чего можно заключить, что работы и того и другого ему в равной степени были мало известны[2]. Аллен утверждает, что равенство двух легких слогов одному тяжелому действительно наблюдается только под ударением, тогда как метрическая латинская поэзия, созданная под греческим влиянием, не может служить тому доказательством. Те же случаи, когда такое тождество наблюдается в языке, в частности различие веса слогов у глаголов $III_{(i)}$ и IV спряжений по закону Покровского (*căpĭ-*, но *dormī, audī*), он пытается свести к новой формуле 22 = 1 [Allen 1973: 164–169], по которой одному тяжелому слогу соответствует группа из двух легких только под ударением. Это же соотношение, по мнению ученого, характерно и для ранней латинской поэзии. Что же касается классической латинской метрики, то он просто объясняет ее построение греческим влиянием. Таким образом, Аллен пытается заменить арифметические правила четности собственной теорией акцентных матриц, которая уже была описана выше. В качестве примера непригодности морового счета по правилам Якобсона Аллен дает уже упомянутое *pŏs.ci.mus*, где вторая мора, которая должна нести ударение, оказывается согласным; критикуя эту теорию, Аллен пишет и о словах *lā.ti.us* и *re.lā.tus*, в которых гласный *ā* фонологически не отличается, тогда как под ударением оказываются различные моры. Попробуем ответить на вопрос о том, нужно ли нам считать критику Аллена справедливой. Для этого нам необходимо сопоставить правила выделения мор с теми правилами, которые предлагает вводить У.С. Аллен.

Самый главный авторитет в вопросах просодической типологии Н.С. Трубецкой, поделивморосчитающие языки на пять групп, не оставил, однако, окончательной формулировки списка необходимых и достаточных критериев моросчитания. Это тем не менее вполне можем сделать и мы, опираясь на его собственные правила. Совершенно очевидно, что главным отличительным признаком моросчитания служат арифметические правила четности – а лучше говорить: *кратности* – в языке: когда одной «большой» фонологической структуре соответствует кратное число «малых», простых единиц – например, *2 = 1·2* или *3 = 1·3*. Но,

[2] Очень вероятно, что источником заблуждения явилась для Аллена недоступная мне диссертация А.Е. Белла [Bell 1970].

принимая во внимание все рассуждения о пространстве и времени в языке, о связи части и целого и т. д., мы понимаем, что кратность эта может проявляться тоже в двух видах – в виде парадигматического правила, предполагающего указанное арифметическое тождество, и в виде определенной временно́й организации единиц, отражающей это правило. Поэтому нам необходимо говорить о *парадигматических* и *синтагматических правилах кратности.* Кроме того, не следует забывать о том, что моровое различие между слогами оказывается еще и особой фонологической оппозицией, действующей для слогов данного языка. Поэтому три первых критерия моросчитания[3] можно сформулировать следующим образом:

1) в языке действует фонологическая оппозиция слогов, отличная от ударности / безударности;
2) в языке действуют *правила парадигматической кратности*: это значит, что в языке существуют правила, которые описываются подстановкой одного n-морного слога или n одноморных слогов в позицию p;
3) в языке выполняются *правила синтагматической кратности*: это значит, что для последовательности слогов S предполагается членимость на p (т. е. на группы из или n одноморных слогов, или одного n-морного слога).

Все эти правила прямо или косвенно вытекают из классификации Н.С. Трубецкого. Не хватает в ней только одного, последнего, правила, которое, однако, оказывается ключевым для морового противопоставления. Дело в том, что просодическая система, построенная на трех только что выявленных критериях, в качестве как максимальной, так и минимальной единицы будет предполагать последовательность из n мор: иными словами, всеми возможными структурами для, например, двуморного языка окажутся только <◦◦> или <•> – как в синтагматике, так и в парадигматике. Такой язык будет иметь правила тождества *2 = 1+1*, но не будет иметь правил кратности, поскольку двуморному слогу одноморный не противопоставляется, что в общем-то противоречит правилу 1. Такой язык окажется языком *матричного*, но не *морового* строя. Поэтому нам совершенно необходимо ввести еще один, последний, критерий:

---

[3] Попутно хотелось бы выразить огромную благодарность моему научному консультанту А.Е. Кузнецову за помощь в формализации моросчитания.

4) одноморный слог может быть самостоятельной ритмической единицей:
   a) в парадигматическом смысле: допускается подстановка одномерного слога в *n*-морную позицию *p*, например, <◦> в позицию для <◦◦> или <•>;
   b) в синтагматическом смысле: силлабические последовательности *S* не могут быть поделены на <◦◦> или <•> без остатка.

Критерий самостоятельности одноморной единицы был предложен А.М. Девайном и Л.Д. Стефенсом [Devine & Stephens 1982; 1994].

Пример. Рассмотрим греческие просодические правила.

В греческом языке действуют две интересующие нас оппозиции: по долготе слогоносителя, эксплуатируемая ударением, и по весу слога, эксплуатируемая ритмикой. Рассмотрим их на предмет кратности и самостоятельности одноморного сегмента.

Для оппозиции по длительности. Постановка баритонного ударения предполагает различные комбинации длительности: *δώρων* = *δώματα* ≠ *τὸ δῶρον*. Отсюда видно, что долгому парадигматически соответствуют два кратких и, наоборот, двум кратким – один долгий (ударение всегда на третьем сегменте). С другой стороны, правила ударения предполагают членение сегментов *δώ-ρων* *<2>+<2>* и *δώ-(μα-τα)* *<2>+<1+1>* без вариантов: например, не **<2+1>+<1>*. Мы видим далее, что форма *τὸ δῶρον* доказывает просодическую самостоятельность одноморного сегмента – как способного иметь ударение, так и не иметь при том, что он оказывается еще и в остатке, если эту последовательность расчленить. Значит, оппозиция по длительности в греческом языке моровая.

Для оппозиции по весу. Арифметическая кратность и самостоятельность одноморного элемента – как парадигматическая, так и синтагматическая – видна из членения слова на стопы, открытого А.М. Девайном и Л.Д. Стефенсом [Devine & Stephens 1982; 1994]: так, мы видим, что в словах *γενομένων* и *ἄνθρωπον*, предполагающих членение *γενο-μέ-νων* (Т-А-Т) и *ἄν-θρω-πον* (Т-А-Т), тесис может заполняться последовательностью *<1+1>* или *<2>*, а арсис может иметь как двумерный, так и одномерный сегмент. Кроме того, синтагматическая четность видна и в греческой поэзии, где наблюдается тождество *<1+1>* = *<2>*, а анкепсы по-

зволяют ставить одномерный слог в двумерную позицию. Значит, оппозиция по весу в греческом языке тоже моровая.

Сходным образом рассмотрим слоги латинского языка. Помимо оппозиции по ударности / безударности в латинском языке имеется вторая совершенно бесспорная оппозиция по весу. В парадигматике она видна из правила постановки ударения, а также из ряда других примеров: из распределения глагольных основ по $III_{(i)}$–IV спряжениям, где *<căpi>* и *<săpĭ>* противопоставляются основам с двуморными корнями *<au-dī>*, *<dor-mī>* и *<ăpĕ-rī>* (закон Покровского); из перфектных форм глаголов, где суффикс *-ŭ-* использовался в словах преимущественно с легкими слогами в корне: *<mŏnŭ>-ī, <hăbŭ>-ī, <stătŭ>-ī*, а двуморные корни предпочитали другие средства словообразования: *<fuls>-ī, <mōv>-ī*. Возражение Аллена о тождестве 22 = 1, наблюдаемом только под ударением, неубедительно. Во-первых, совершенно непонятно противопоставление форм *cắpis, cắpit, cắpio* формам *áudīs, ắpĕrīs, ímpedīs*[4] [Allen 1973: 164], ведь если отличие ударного легкого слога от безударного, по Аллену, объяснимо, то причем же тут пример *áudīs*? Во-вторых, под правила Аллена подпадают весьма употребительные глаголы *sălīō, uĕnīō* и *ŏrior*, также имеющие во многих формах классического языка ударение на легком корневом слоге, но изменяющиеся, за редкими исключениями у *ŏrior*, по четвертому спряжению. Пример *impĕdīre,* представляющий собой, очевидно, глагольное образование со связным корнем, должен рассматриваться вместе с *fulgŭrīre* и представлять собой особую категорию глаголов: в них мы видим прекрасный пример просодической самостоятельности одноморного слога в трехморном трохеическом корне, а потому причислять их к формам типа *capiō* нет никаких оснований. Против же второго закона, не имеющего, как кажется, никаких очевидных исключений, кроме *<texu>-ī, <pāru>-ī*, а также многосложных *<oportu>-it, <aperu>-ī*, Аллен вообще не высказывает никаких возражений.

Синтагматическое членение по морам мы можем наблюдать как на примере всех тех же трех указанных явлений, так и в стихах. Здесь надо сразу отметить, что все́ попытки свести метрические приемы латинского стихосложения к греческому влиянию и тем самым исключить их из рассмотрения представляются весьма

[4] Форму *cuporet (Lucr. De rerum nat. I, 71)* надо, видимо, трактовать как изменение веса слога в угоду метру.

странными. Дело в том, что если вопрос о критериях того, в полной или не в полной мере та или иная стихотворная система может отражать богатство языка, еще требует своего ответа [Гаспаров 1995: 30], то сам факт, что система стихосложения, имеющая свою традицию в языке, нацелена на эксплуатацию фонологических средств языка (так называемый ритмический словарь), представляется современной науке очевидным [Гаспаров 1995: 23–30, 31–35; Devine & Stephens 1980]. При этом происхождение самой стихотворной традиции имеет лишь второстепенное значение. В нашем случае полезно будет рассмотреть один хороший пример: ямбический триметр. Имевший довольно прозрачную метрическую схему в греческой поэзии, он, будучи заимствован римской, значительно изменил свою организацию: в частности, число анкепсов, которое в греческом стихе было равно трем (по одному в начале метра), римлянами было доведено до пяти [West 1982: 187]. Схема размера стала заметно изощреннее, но все равно осталась метрической. Поэтому есть все основания полагать, что этот размер отражает просодическую структуру латинского языка и тем самым, как и другие метрические схемы, может служить доказательством существования латинских (силлабических) мор.

Просодическая самостоятельность одноморного слога подтверждается и теорией Ю.В. Откупщикова о склонности латинского языка к нечетному числу мор [Откупщиков 2001: 285–286].

Если же теперь мы захотим определить свойства оппозиции по долготе / краткости, то увидим, что она в латинском языке действительно полностью покрывается оппозицией по весу. Приходится признать, что у нас нет оснований утверждать фонологичность латинского циркумфлекса; нет причин каким-то иным образом мотивировать временну́ю членимость гласных. Поэтому оппозиция по долготе, если ее вообще выделять для латинского языка классической эпохи, моровой считаться не может. В этом можно видеть коренное отличие латинской просодии от греческой.

Силлабические и вокалические моры

Итак, мы будем называть морой единицу противопоставления фонологически двусоставных слогов односоставным без какой-либо другой конкретизации этого понятия.

Однако мы видели, что греческий язык продемонстрировал нам свою способность оперировать одновременно двумя типами моровых отношений, один из которых определяет различие по длительности, а другой – по весу. В этом смысле представляется необходимым разграничивать понятия *вокалических* и *силлабических* мор. Надо сказать, что, хотя сами термины, особенно последний, неоднократно встречаются в довольно обширной литературе по вопросу, четкого разделения этих понятий мы не находим даже у Н.С. Трубецкого. Например, та путаница в понимании моры, которая наблюдалась в теории И.М. Тронского, есть прямое следствие этой неопределенности. Следует, впрочем, сказать несколько слов и в поддержку классификации Н.С. Трубецкого. Дело в том, что сам автор классификации, как мы уже видели [Трубецкой 2000: 195], справедливо настаивает на принадлежности просодического «количества» слогу, а не гласному. Тем самым в терминах Трубецкого оба вида моровых отношений не имеют заявленного основания для разграничения.

Тем не менее мы видим, что двусоставность двуморовых компонентов в обоих случаях неодинакова. И различием здесь будет ***временна́я реализация моровых отношений***. Силлабические моры различают слоги абстрактно – безотносительно своего расположения во времени. Такая абстракция была названа лингвистами фонологическим весом [Hyman 1985; Allen 1973]. Вокалические моры различают слоги конкретно: двуморовый слог представляет собой последовательную временну́ю реализацию мор[5], результатом чего почти всегда оказывается членимость слогоносителя. Поэтому моры и названы *вокалическими*: они гораздо теснее связаны именно со слогоносителями, хотя ими вовсе не обязательно должны быть гласные звуки. Например, для ведийского или сербского языка есть смысл говорить о вокалических морах при слогообразующих согласных, а некоторые языки, например западногренландский эскимосский, стремятся так строить свои закрытые слоги, чтобы длительность закрывающих согласных соответствовала длительности одноморного слогоносителя [Nagano-Madsen 1990].

Однако лучше всего вокалические моры будут заметны, если к ним возможно применить один из тех критериев, который

[5] Такое разделение мор во многом напоминает предложенное Ф.Ф. Фортунатовым учение о «прерывистой» и «непрерывистой» долготе [Фортунатов 1895].

использовал Н.С. Трубецкой при выделении фонем: «*два звука... нельзя... считать вариантами одной фонемы, если они в данном языке могут следовать друг за другом как члены звукосочетания, притом в таком положении, в каком может встречаться один из этих звуков без сопровождения другого*» [Трубецкой 2000: 55]. Поскольку вокалические моры, подобно фонемам, оказываются существующими во времени фонологическими единицами, то говорить об их наличии в просодической системе языка мы можем в том случае, если в ней есть такая позиция, в которой взаимная перестановка мор оказывается допустимой и фонологически значимой. К примеру, в греческом языке этим законом определяется различие акута и циркумфлекса: *φώς*/*φῶς*; в греческих словах типа *δώρων* и *λόγων*, где ударение всегда приходится на вторую от начала мору в двуморных слогах, различие между акутом и циркумфлексом невозможно, однако о вокалических морах можно судить из противопоставления ударного двуморного и ударного одноморного слогов: *<oó>*/*<óø>*, где *ø* – комбинаторная «нулевая» мора.

Это правило хорошо применимо для тех языков, в которых существует кульминативная мелодическая корреляция, т. е. акцентная вершина всегда приходится именно на мору; отсутствие вокалических мор, само собой разумеется, исключает мелодическую корреляцию. Однако неверно обратное – что отсутствие такой корреляции исключает существование вокалических мор. Например, в датском [Трубецкой 2000: 203, 230–231] действует фонологическое противопоставление двуморных слогоносителей, имеющих посередине гортанную смычку («толчок»), тем, которые не имеют таковой; при этом отчетливо видно различие в артикуляции двух «половинок» слогоносителя. В ряде других языков, таких как финский, временна́я членимость двуморного слогоносителя доказывается пролеганием морфологической границы между его частями [Там ж.: 200].

В моей предыдущей статье [Белов 2004] было показано, что данные римских грамматиков о циркумфлексе позволяют видеть в нем комбинаторный вариант акута на долгом гласном. Если выразить это в терминах вокалических мор, то ударение падает всегда на первую «мору» гласного (вне зависимости от того, сколько их в нем можно выделить), что исключает возможность любой фонологической перестановки. С другой стороны, оппозиция по долготе в латинском языке полностью закрывается оппозицией по весу. Это

не дает оснований утверждать, что выделение вокалической моры для латинского языка оправданно[6].

Итак, получается, что все языки – как моросчитающие, так и нет – на основании моровых оппозиций могут быть разделены на четыре группы: имеющие обе оппозиции, имеющие только вокалические, только силлабические моры и не имеющие мор вовсе. Примеры представлены в табл. 1

Таблица 1

Два типа моровых отношений в типологической перспективе

	силлабические моры +	*силлабические моры –*
вокалические моры +	древнегреческий	литовский сербохорватский
вокалические моры –	латинский классический арабский	русский и другие слогосчитающие

Трудно сразу ответить на вопрос, являются ли силлабические и вокалические моры в таких языках, как греческий, двумя различными фонологическими оппозициями или же двумя возможными вариантами проявления одной. Мне представляется, что вокалические моры есть частный случай оппозиции слогов по весу: все-таки весовое противопоставление, как уже сказано, оказывается наиболее абстрактным. В таком случае те языки, в которых силлабические моры имеют тенденцию превращаться в вокалические (как в японском и эскимосском), назовем условно ***морометрическими,*** а те, в которых имеется лишь оппозиция по весу (как в латинском), – ***моросиллабическими***[7].

[6] Такое понимание (латинских) мор может показаться противоречащим теории Трубецкого, говорившего о том, что в латинском языке долгие слогоносители приравниваются двум кратким [Трубецкой 2000: 201]. Однако *приравнивается* не значит *членим:* главное отличие вокалических мор от силлабических именно в том, что, хотя они все функционально «приравнены» двум одноморным элементам, первые членимы во времени, а вторые нет.

[7] Приведенные термины (ввиду отсутствия общепризнанных русских аналогов) представляют собой вольный перевод английских *mora-timed* и *syllable weight language* соответственно.

И те и другие имеют противопоставление слогов по весу, причем тяжелые слоги в них фонологически двусоставны (имеют две моры), а легкие воспринимаются как односоставные. В морометрических языках моры в слогах стремятся располагаться последовательно и изохронно; двуморовость в таких языках тесно [Hoequist 1983] (или даже напрямую [Han 1962]) связана с акустической длительностью; эти языки предпочитают – или используют исключительно – открытые слоги, в них царит музыкальное ударение и квантитативная система стихосложения. В моросиллабических языках (арабский), наоборот, моры не стремятся к последовательному расположению в слоге и изохронии, а противопоставление слогов по весу фонологически сводится лишь к различию двуморных и одноморных слогов, без различия в последовательностях мор внутри них; поэтому в таких языках невозможна, в частности, оппозиция острого и облеченного ударений.

> От вышеперечисленных языков, имеющих оппозицию по весу (т. е. «некульминативную корреляцию геминации») следует отличать так называемые языки с кульминативной мелодической корреляцией – литовский, словенский, сербохорватский и ряд других, где моровое противопоставление существует только в составе акцентного контура слова. В большинстве таких языков двуморные слоги фонологически противопоставляются одноморным только под ударением, поскольку критерий моровости и есть выделение ударением одной из частей слога[8].

Мы видим, что эти описания морометрического и моросиллабического типов в значительной степени соответствуют строю греческого и латинского языков. Мысли о глубоком типологическом сходстве между греческой и японской просодическими системами можно найти и у Девайна и Стефенса [Devine & Stephens 1985: 145], фактически причисляющих греческий к морометрическим языкам.

Итак, латинский язык может быть отнесен к моросиллабическим. Но был ли древнегреческий язык морометрическим?

---

[8] В словенском все безударные слоги одноморны; в кашубском все ударные двуморны [Трубецкой 2000: 220]. В различных сербохорватских говорах безударная долгота допустима по разным данным лишь в некоторых позициях – обычно сразу перед ударением или после него [Николаева 1996: 177]. См. также: [Нахтигал 1963: 176–191].

Изначально, видимо, да. Поскольку решающим доводом здесь служит характер греческого ударения, то говорить о морометричности древнегреческого языка не приходится, вероятно, с тех пор, когда в нем стали действовать законы, выводящие место ударения напрямую из силлабического веса (Уиллера, Вандриеса), когда в греческих диалектах начались процессы вытеснения оппозиции ударения – в дорийском на втором слоге от конца, в эолийском на первом. Более того, как мы увидим в дальнейшем, есть основания утверждать, что в ионийско-аттическом диалекте последовательная «вокализация» мор происходила не во всех тяжелых слогах, а лишь в некоторых – непосредственно причастных ударению. Тем самым получается, что древнегреческий язык исторического периода не представляет собой чистого морометрического образца, хотя местами с поразительной точностью ему соответствует. Вообще морометричность не есть отличительная черта индоевропейской просодии. Поэтому с гораздо большей вероятностью можно утверждать, что определенные сходства греческого языка, скажем, с японским или эскимосским есть следствие того влияния, которое греческая просодия испытала со стороны догреческого субстрата. В частности, расшифровка кипрского письма, в корне своем происходящего из крито-минойского, дала основания предположить, что в критском языке, имевшем, очевидно, лишь открытые слоги без сложных чередований и отличавшемся совпадением силлабических и морфологических границ, *«предполагаемая морфонологическая система напоминает, например, японскую, но также и эскимосскую»* [Широков 1983: 12]. Так или иначе, окончательный ответ на этот немаловажный вопрос предстоит дать будущим расшифровщикам критского письма.

Греческое ударение в свете вокалических и силлабических мор

Итак, мы предположили, что в языках с силлабическим весом вокалические моры есть частный случай силлабических. Для того чтобы наглядно представить себе, как комбинируются друг с другом вокалические и силлабические моры, рассмотрим правила древнегреческого ударения. Важной особенностью древнегреческого языка окажется то, что временна́я членимость двуморного слога будет фонологически видна только при соблюдении двух

условий: (1) слог должен иметь долгий (двуморный) слогоноситель, т. е. последовательное воспроизведение во времени двух мор краткого закрытого слога, как это есть, например, в эскимосском языке [Nagano-Madsen 1990], фонологически недоказуемо; а доказуема такая членимость (2) только в том случае, когда долгий двуморный слог эксплуатируется греческим ударением. Причем важной особенностью греческого ударения является то, что вокалические моры фонологичны не только в ударном слоге (как это бывает, например, в словенском языке), но еще и в последнем. Это видно из примеров *δῶρον* и *δώρων* соответственно.

При этом очевидно, что фонологическая членимость последнего (заударного) слога исключает фонологическую членимость ударного и наоборот: иначе был бы допустим вариант **δῶρων*, который должен был бы фонологически противопоставляться слову *δῶρον*. Из этого наблюдения с неизбежностью следует вывод о том, что ***членимость на вокалические моры в древнегреческом языке возможна только в одном-единственном слоге слова, которым может быть либо последний слог, либо ударный***. Все прочие слоги, как силлабически двуморные, так и силлабически одноморные, с точки зрения греческого ударения выглядят как нечленимые, а значит, вокалически одноморные. Если применить к морам нотные символы, то вокалические моры можно изобразить в виде мелодической последовательности из двух одинаковых нот (a), а силлабические в виде созвучия из тех же нот построенного (b), или одной «нечленимой» ноты удвоенной длительности (c):

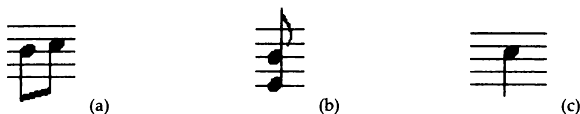


Рис. 1. Иллюстрация временнóй численности слога

Отсюда следует, что нечленимое во времени силлабически двуморное «созвучие» воспринималось греческим ударением аналогично вокалически одноморной последовательности. Такое понимание в значительной степени расходится с теориями, критикуемыми И.М. Тронским [Тронский 1962: 51, примеч. 7]. В частности, Ж. Вандриес, весьма близко подошедший к разрешению проблемы «четвертой моры» (т. е. ударения типа *ἄνθρωπος*), говорит о том, что с точки зрения тонической длительности второй слог

этого слова равносилен одной море (что правильно) [Vendryès 1945: § 55, § 57]; однако неразделение силлабических и вокалических мор как нечленимых и членимых единиц не позволило ему убедительно объяснить, почему один конкретный слог греческого языка, будучи «долгим», на деле оказывается «кратким». Это и вызвало справедливое возмущение И.М. Тронского, который, однако, не предлагает никакого другого объяснения, кроме правила Р.О. Якобсона [Jakobson 1937/1962], говорившего о том, что *«гласные моры, находящиеся между ударной морой и конечной гласной морой слова, не могут принадлежать двум разным слогам»*[9]. Однако и Якобсону сильно мешало традиционное понимание мор, представляющее их в виде ряда последовательно идущих элементов слога; но если мы, продолжая линию Трубецкого, откажемся от этого как от обязательного условия, то станет очевидным, что непринадлежность двух мор разным слогам есть как раз *следствие запрета на членимость* моровой последовательности. Это отчасти пытались формализовать и Е. Курилович, вводя правило «конечного ансамбля» [Kuryłowicz 1958: 107], и У. Аллен, не вполне точно говоривший о том, что для древних греков было важно не число заударных слогов, но их общая длительность [Allen 1973: 237 sqq.].

Описание греческого ударения в терминах силлабических и вокалических мор позволяет сильно упростить задачу описания места греческого ударения. Мы признаем, что все тяжелые слоги силлабически двуморны, а некоторые из них могут быть двуморными еще и вокалически. Например, второй слог слова *ἄνθρωπος* тяжелый и тем самым силлабически двуморный – в этом он тождествен первому слогу того же слова (ἄνθ-); при этом они в равной степени вокалически одноморны[10]. Первый слог слова *δῶρον* тоже тяжелый и тоже силлабически двуморный; но ко всему прочему он еще и членимый во времени, а значит, и вокалически двуморный. Точно таким же будет и последний слог слова *δώρων*; однако ударный слог в нем, хотя и будет членим, но члениться будет условно: он содержит одну полную вокалическую мору и одну нулевую («мертвую» [Тронский 1962: 50]), поскольку, будучи долгим, слог не допускает циркумфлекса: *δ{øó}ρ{oo}ν*.

---

[9] Русский перевод цитируется по И.М. Тронскому.

[10] Предвидя возможные возражения, еще раз подчеркну, что оба эти слога предполагается считать *вокалически* одноморными не потому, что они краткие – они долгие! – но потому, что они оба нечленимы во времени.

Существованию вокалических мор лишь в отдельных слогах древнегреческого слова могут быть приведены следующие доказательства:

1) *из фонологии ударения*, как об этом уже сказано выше;
2) *от противного*: фонологическая членимость неконечных безударных слогов очевидно недоказуема;
3) *из индоевропейской типологии*: членимость таких слогов (см. п. 2) недоказуема и для других индоевропейских языков, имеющих музыкальное ударение, например, *в словенском языке все безударные слоги являются одномерными* [Трубецкой 2000: 220]; вообще, как было сказано выше, тотальная морометрия индоевропейским языкам не свойственна;
4) *из действия эпического сокращения*: М. Уэст [West 1982: 12] приводит 38 «наглядных» (*«overt»*) примеров эпического сокращения, когда слог, традиционно считающийся в языке долгим, занимает в метрике одноморную позицию; из них только один (!) случай *οἶος* представляет более или менее бесспорный пример сокращения вокалически двуморного гласного; все прочие 37 случаев, в особенности сокращения *η* и *ω*, происходят исключительно тогда, когда эти фонемы занимают вокалически одноморные позиции: *ἥρωες* [Tyrt. 17], *δηΐοιο* [Hom. Ilias, 2,415], *Θρηΐξιν* [Arch. 93, 6] etc. Очевидно, что структуру, схематично изображенную на рис. 1(c) или даже 1(b), проще представить как метрически одноморную единицу, нежели последовательность типа 1(a).

Итак, получается, что в ионийско-аттическом диалекте греческого языка полным вокалически двуморным слогом (т. е. имеющим две полные вокалические моры) мог быть только один слог в слове – или последний, или предпоследний ударный, что как раз вполне удачно сочетается с теорией особого статуса последнего слога или кульминативной функцией ударения. При этом нечленимое во времени силлабически двуморное «созвучие» воспринималось греческим ударением аналогично вокалически одноморной последовательности[11].

---

[11] Ср. латинский моровый счет для *Mūsắque*, метрически и ритмически трактуемое по-разному.

Позиция ударения в слове в этом случае будет определяться следованием одной из двух акцентных парадигм: *окситонической* (на последнем слоге) и *баритонической* (на третьей вокалической море от конца), установленными В. Дыбо [Дыбо 1961]. Это хорошо соотносится с предложенной В.Б. Касевичем [Касевич 1997] типологией о слого- и моросчитающем статусе древнегреческого языка.

Таким образом, краткие правила греческого ударения для ионийско-аттического диалекта классической эпохи можно сформулировать следующим образом.

1. Место ударения исконно определялось как счетом вокалических мор, так и счетом слогов (ср.: [Касевич 1997]).
2. Вокалических мор в слове столько, сколько в нем гласных, или на одну больше[12].
3. В последнем случае дополнительная мора может прирастать за счет членения одного из слогов – или последнего слога, или ударного.
   a) Последний слог вокалически членим, если содержит долгий гласный[13]: *λόγων*.

      NB (3a'): членимость последнего слога может иногда наблюдаться также в том случае, если он, имея краткий гласный, закрывается группой *согласный* + *s* (т. е. ψ или ξ): *φιλοκόλαξ*. Это явление, именуемое законом Гудвина, объясняется очевидно повышенной длительностью консонантной группы с *s* [Златоустова et al. 1997: 81]; следует отметить, что античные грамматики относили σ к полугласным звукам.
   b) Ударный слог вокалически двуморен, если (1) содержит долгий гласный и при этом (2) он второй от конца, а (3) последний слог слова вокалически одноморен: *δῆμος*[14]. В дорийском диалекте следует признать обратный (в отличие от ионийского) порядок следования нулевой и вокалической мор (øó: *δᾶμος*) [Тронский 1962: 92–94]; впрочем, можно предположить, что членимости гласного в таких случаях не происходило.

---

[12] При этом нулевая мора, будучи всего лишь признаком значимого отсутствия полной вокалической моры, при подсчете не учитывается.

[13] Кроме случаев количественной перестановки, где его долгота была вызвана вторичными причинами: πόλεως < πόληος.

[14] При несоблюдении последнего условия ударный слог может содержать еще только нулевую мору.

4. Существовали две акцентные парадигмы: *окситоническая* и *баритоническая* (ср.: [Дыбо 1961; 2003]).
5. Окситоническая всегда сохраняет ударение на последнем слоге: *καλός*. Если он, будучи одноморным в форме, становится двуморным при словоизменении, то ударение, стремясь оставаться на той же море, будет образовывать циркумфлекс: *καλοῦ*.

   В эолийском диалекте окситоническая парадигма за некоторыми особыми исключениями не действует [Тронский 1962: 96].
6. Баритоническая парадигма предполагает ударение натретьей море от конца; при этом греческий язык предпочитает, чтобы эта мора по возможности находилась в третьем слоге: ἄλογος, ἄνθρωπος. Однако примерно в трети случаев вокалически двуморным оказывается второй от конца ударный слог: γλυκεῖα. Выбор того или иного слога обусловливается причинами, лежащими вне классической греческой акцентной синхронии.

   Слова 3-го склонения, у которых в начальной форме последний слог двуморен и акутирован, могли представлять как окситоническую (*πατήρ, πατρός*), так и баритоническую (*σωτήρ, σωτῆρος*) парадигмы. Односложные слова такого вида имели прямые падежи в баритонезе и косвенные в окситонезе (*θήρ, θηρός, θῆρα*).

Таковы были древнейшие правила греческого ударения. Но со временем к ним добавились еще и новые, основанные уже на счете не вокалических, но силлабических мор. Для аттического диалекта ими стали 1) закон Уилера для окситонической парадигмы и 2) закон Вандриеса для баритонической.

7. Первый предполагает перенос окситонного ударения на второй слог в словах дактилического исхода: *παρθένος* < **παρθενός; Ρωμύλος* < **Ῥωμυλός*.
8. Второй предполагает перенос ударения на третий слог в словах амфибрахической структуры: *βέβαιος* < **βεβαῖος* (но *ἀρχαῖος*). Однако если принять во внимание все сказанное выше о силлабических и вокалических морах, то удивительным покажется не сам перенос ударения, но отсутствие переноса в словах типа *ἀρχαῖος*. Дело в том, что почти все прочие варианты исхода греческого слова для баритонической парадигмы также предполагают ретракцию ударения, вызванную в каждом случае

своими правилами. В самом деле: последовательность ⏓ ⏑ ⏑ и ⏕ — подчиняется правилу 6, ⏑ — ⏑, описываемому законом Вандриеса, и лишь — — ⏑ (*ἀρχαῖος*) ведет себя по-особому, препятствуя перемещению ударения. Получается, что именно этот случай, а вовсе не «закон Вандриеса», должен рассматриваться как акцентный закон.

9. Наконец особыми для греческого ударения оказываются те случаи, когда на него накладываются дополнительные ограничения, связанные с уже другими процессами – морфологическими и т. д. Сюда следует, по всей вероятности, относить такие случаи, как, например, различие в ударении аористных императива и инфинитива (παίδευσαι/παιδεῦσαι) или колумниальное ударение в ряде слов 3-го склонения (как ὁδούς, ὁδόντος и в особенности в причастиях: λυθέντος, λυθέντες) и т. д.
   У окситонических в начальной форме слов 3-го склонения косвенные падежи, образованные за счет приращения дополнительного слога, имеют естественную баритонезу (*ὀδούς, ὀδόντος; σωτήρ, σωτῆρος*). При этом ударение во всей парадигме стремится сохраняться на одном и том же слоге словоформы вследствие принципа колумниальности. См. также: [Тронский 1962: 87 sqq.].

Все эти явления не противоречат основным правилам ударения, однако имеют ограничение крайней позиции баритонезы.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

a. Мора – это единица противопоставления фонологически двусоставных и односоставных слогов без какой-либо конкретизации этого понятия; принадлежность того или иного языка к моросчитающим может быть проверена действием правил арифметической кратности.
b. В ряде языков абстрактные (силлабические) моры способны создавать или быть тождественными конкретным вокалическим, располагаясь последовательно в слоге и вызывая его временну́ю членимость. Музыкальное ударение невозможно без временно́й членимости хотя бы одного, ударного, слога.

c. Языки, в которых имеются только силлабические моры, названы *моросиллабическими* языками; языки, в которых силлабические моры тождественны вокалическим, – *мором*е*трическими* языками.
d. Латинский язык должен быть признан языком моросиллабическим, что исключает возможность существования в нем музыкального ударения. Древнегреческий занимал некое промежуточное место между языками одной и другой группы, более тяготея к моросиллабическим, однако сохраняя в себе ряд морометрических явлений, унаследованных, очевидно, от догреческого субстрата. К ним следует относить существование вокалических мор не только в ударном, как у ряда других индоевропейских языков, но и в последнем слоге; при этом временна́я членимость этих слогов была взаимоисключающей.
e. Основные принципы греческого ударения вполне могут быть описаны законами сочетаемости двух явлений: установленной членимостью слогов и действием окситонической / баритонической акцентной парадигмы. Ряд отступлений от этих принципов объясняется, вероятно, различными напластованиями, произошедшими за многовековую историю древнегреческой акцентной системы [Тронский 1962].

Литература

Белов 2004 – *Белов А.М.* Римские грамматики как источник по латинской акцентологии // Сравнительно-историческое исследование языков: современное состояние и перспективы. М., 2004.

Гаспаров 1995 – *Гаспаров М.Л.* Избранные статьи (О стихе. О стихах. О поэтах). М., 1995.

Дыбо 1961 – *Дыбо В.А.* Сокращение долгот в кельто-италийских языках и его значение для балто-славянской акцентуации // Вопросы славянского языкознания. М., 1961.

Дыбо 2003 – *Дыбо В.А.* Балто-славянская акцентологическая реконструкция и индоевропейская акцентология // Славянские языки. XIII международный съезд славистов. Любляна, 2003. Доклады российской делегации. М., 2003. С. 131–162.

Златоустова et al. 1997 – *Златоустова Л.В. и др.* Общая и прикладная фонетика. М., 1997.

Касевич 1997 – *Касевич В.Б.* Типологический взгляд на древнегреческое ударение // Индоевропейское языкознание и классическая филология. Памяти И.М. Тронского. СПб., 1997.

Нахтигал 1963 – *Нахтигал Р.* Славянские языки. М., 1963.
Николаева 1996 – *Николаева Т.М.* Просодия Балкан. М., 1996.
Откупщиков 2001 – *Откупщиков Ю.В.* О склонности латинского языка к четному числу мор // Opera philologica minora. СПб., 2001.
Тронский 1951 – *Тронский И.М.* К вопросу о латинском ударении // Памяти академика Льва Владимировича Щербы. Л., 1951.
Тронский 1962 – *Тронский И.М.* Древнегреческое ударение. М.; Л., 1962.
Тронский 2001 (= 1960) – *Тронский И.М.* Историческая грамматика латинского языка. М.; Л., 2001 (1960).
Трубецкой 2000 – *Трубецкой Н.С.* Основы фонологии. М., 2000.
Фортунатов 1895 – *Фортунатов Ф.Ф.* Об ударении и долготе в балтийских языках // Русский филологический вестник. 1895. Вып. 38. С. 252–297.
Широков 1983 – *Широков О.С.* История греческого языка. М., 1983.
Allen 1969 – *Allen W.S.* The Latin Accent: a Restatement // Journal of Linguistics, 1969. № 5. P. 193–203.
Allen 1973 – *Allen W.S.* Accent and Rhyme. Cambridge University Press, 1973.
Bell 1970 – *Bell A.E.* A State Process Approach to Syllabicity and Syllable Structure. Ph.D. Dissertation. Stanford, 1970.
Devine & Stephens 1980 – *Devine A.M., Stephens L.D.* Latin Prosody and Meter: Brevis Brevians // Classical Philology, 1980. Vol. 75, 2. April. P. 142–157.
Devine & Stephens 1982 – *Devine A.M., Stephens L.D.* Towards a New Theory of Greek Prosody: The Suprasyllabic Rules // TAPA, 1982. 112. P. 33–63.
Devine & Stephens 1985 – *Devine A.M., Stephens L.D.* Stress in Greek? // TAPA, 1985. 115. P. 125–152.
Devine & Stephens 1994 – *Devine A.M., Stephens L.D.* The Prosody of Greek Speech. Oxford, 1994.
Han 1962 – *Han M.S.* Japanese Phonology. Tokyo, 1962.
Hoequist 1983 – *Hoequist C.E.* Syllable Duration in Stress-, Syllable- and Mora-Timed Languages // Phonetica, 1983. 40.
Hyman 1985 – *Hyman L.M.* A Theory of Phonological Weight. Dordrecht, 1985.
Jakobson 1937/1962 – *Jakobson R.* On ancient Greek prosody (1937) // Selected Writings. Vol. 1. Phonological Studies. 's-Gravenhage, 1962.
Kuryłowicz 1958 – *Kuryłowicz J.* L'accentuation des langues Indoeuropénnes. Krakow, 1958.
Nagano-Madsen 1990 – *Nagano-Madsen Y.* Quantity Manifestation and Mora in West Greenlandic Eskimo: Preliminary Analysis // Working Papers in General Linguistics and Phonetics. Lund university, 1990. 36. P. 123.
Vendryès 1945 (1902) – *Vendryès J.* Traité d'accentuation grécque. P., 1945 (1902).
West 1982 – *West M.L.* Greek Metre. Oxford, 1982.

А.И. Солопов

«ЧЕРНОЕ» И «БЕЛОЕ» В ЛАТИНСКОЙ ТОПОНИМИИ

Общеизвестен тот факт, что в некоторых топонимических системах значительная роль отводится цветообозначениям. Одним из наиболее типичных случаев широкого использования цветообозначений в географической номенклатуре является топонимия тюркских народов: см., например, турецкие названия рек Кызылырмак (букв. «красная река»), Ешильырмак («зеленая река»), Карасу («черная река»). Такой способ образования топонимов известен и в славянской (Белая Русь, Черная Русь, Червонная Русь, Белое море, Черное море), и в германской (Schwarzwald, Weißenfels, Weißenstein), и в других топонимических системах. Нередко при этом цветообозначения, используемые в топонимии, истолковываются не в своем прямом значении, а в каких-то иных, чаще всего как обозначения частей света[1]. Наиболее частотными в топонимических системах, использующих цветообозначения, как правило, являются обозначения черного и белого цветов (см. приведенные выше примеры).

Употреблялись ли цветообозначения в латинской топонимии (и, шире, в греко-римской географической номенклатуре), а если употреблялись, то в каких случаях? Обобщающего исследования этой проблемы, по-видимому, никогда не проводилось, поэтому нижеследующие соображения неизбежно будут иметь характер предварительных замечаний.

---

[1] См., например: *Мурзаев Э.М.* Топонимика и география // Российская академия наук. Институт географии. М., 1995. С. 92.

Анализ топонимов, приведенных в «Атласе греко-римского мира» Ричарда Тальберта[2], наиболее авторитетном на сегодняшний день справочнике по греко-латинской географической номенклатуре, показывает, что хотя цветообозначения и используются в латинской топонимии в качестве одного из способов образования названий, однако это происходит в весьма редких случаях; при этом и число различных цветообозначений, встречающихся среди латинских топонимов, весьма ограниченно. Больше одного раза среди латинских топонимов фигурируют только три прилагательных: albus, niger и ruber[3]; по одному разу засвидетельствованы еще три цветообозначения: ater [Ater mons (Plin. n. h. V 35) LBY, 35 D4; 36 B2], candidus [Candidum promunturium (Mela I 34; Plin. n. h. V 23; Solin. 27, 1) TUN, 32 E2[4]], è caesius [Caesia silua[5] (Tac. ann. I 50) GER, 11 H1; 12 B1]. (Здесь и далее для удобства ориентации в материале сохраняются сиглы атласа Тальберта.)

Таким образом, и в латинской топонимии цветообозначения представлены в основном черным и белым цветами. Рассмотрим относящиеся к этому типу названия подробнее.

Что касается названий с прилагательным albus, трудность их выделения и классификации, отмеченная уже Жаком Андре в его классической книге о латинских цветообозначениях[6], состоит

---

[2] Barrington Atlas of the Greek and Roman World / Ed. Richard J.A. Talbert. Princeton; Oxford, [2000].

[3] Saxa Rubra (Cic. Phil. II 31, 77; Liu. II 49, 12; Tac. hist. III 79) ITL, 43 B2, Rubrum mare, Rubra ITL, 39 F5, *Rubrenses ITL, 48 B3, Ad Rubras? ALG, 31 G4, Ad Rubras SPN, 26 D4.

[4] Помимо этого мыса [ныне также называемого белым – Бланко, или Эль-Абьяд (фр. Cap Blanc); другое название – Энгела, Рас-Энгеля], известен одноименный мыс (Candidum promunturium) на юге Галлии, упоминаемый Авиеном [Auien. or. marit. 602 (ed. Holder)]. В атласе Тальберта этого второго топонима нет (см. карту 15 Arelate – Massilia).

[5] В атласе Тальберта составители соответствующей карты (11 Sequana – Rhenus), Гейзельгроув (C. Haselgrove) и Кунов (J. Kunow) выражают (вопросительным знаком) неуверенность в правильности первой части топонима, обозначающего лесистую местность в Германии (совр. Heissi-Wald); если эта неуверенность обоснованна, список латинских цветообозначений в топонимах сокращается до пяти. Ж. Андре (см. след. примеч.) не указывает на использование caesius в топонимии.

[6] *André J.* Étude sur les termes de couleur dans la langue latine. P., 1949. P. 26.

в том, что явно не все топонимы, образованные от корня alb-, содержат в себе латинское прилагательное в собственно цветовом значении «белый»: иногда у нас есть все основания подозревать иноязычное происхождение, как, например, в латинском названии Эльбы (Лабы) – Albis ~is, m. [R. g. D. A. V 12; Mela III 3; Vell. II 106, 2; II 106, 3 (flumine Albi); Sen. Med. 374 (Albin Persae... bibunt), Tac. Germ. 41; ann. I 59; II 14; II 19; II 22; II 41; IV 44; Claudian.] GER, 10 F3; 2 F3; 12 F1, а иногда сама форма топонима препятствует ее анализу в качестве прилагательного: например, топонимы Alba как названия нескольких рек, во-первых, не могут быть поняты как прилагательные к слову «река», коль скоро все такие имена нарицательные – мужского или среднего рода (fluuius, flumen, amnis), и, во-вторых, не согласуются при такой интерпретации с правилом, по которому названия рек мужского рода. При этом бóльшая часть (если не все) топонимов с корнем alb- в конечном счете восходит к тому же и-е. корню *albh-, что и латинское albus. Благодаря серии исследований последнего времени, среди которых особое место занимают труды В.П. Калыгина[7], известно, что этот корень в и.-е. топонимии (преимущественно в названиях гор и рек), в принципе сохраняя исходное значение «белый, светлый», приобретает дополнительный оттенок – «связанный с верхним миром» – в контексте противопоставления верхнего мира нижнему (характеризуемому обыкновенно словами с корнем *dubn-). Известно, что и сами римляне ассоциировали названия типа Alba с прилагательным albus «белый» (достаточно вспомнить легенду об основании Альбы-Лонги), что подтверждается на грамматическом уровне трактовкой соответствующих топонимов как адъективных: см. у Плиния urbs Alba (Plin. n. h. III 10), но oppidum Album (III 48)[8]. Тем не менее с точки зрения современного уровня науки такие топонимы можно квалифицировать как относящиеся к латинскому прилагательному «белый» только через посредство народной этимологии.

---

[7] Последняя работа: *Калыгин В.П.* Кельтская космология // Представления о смерти и локализация Иного мира у древних кельтов и германцев / Редколлегия: В.П. Калыгин (научное редактирование), Т.А. Михайлова (отв. ред.), Т.В. Топорова. М., 2002 (Язык. Семиотика. Культура. Series minor). С. 82–129.

[8] Наблюдение Ж. Андре (*André J.* Op cit. P. 26).

Таким образом, из рассмотрения исключаются топонимы[9]:

1) с основой alb-:

города в форме женского рода: Alba SPN, 25 C3, Alba Docilia ITL, 39 D5, Alba Fucens ITL, 42 E4; 44 D1, Alba Heluiorum FRA, 17 D4, Alba Longa? ITL, 43 C3 [прилаг. Albanus ~a ~um (Cic. Mil. 85)[10]], Alba Pompeia ITL, 39 C4 (производное Castra Albana ITL, 43 C3; 44 C2);

города среднего рода: Album Ingaunum (или Albingaunum) ITL, 16 F1 и Alb(i)um Intimilium (или Albintimilium) ITL, 16 E2;

другие населенные пункты: Albanum CRO, 20 F4; 21 A4, округ Albanus pagus Beneuentanorum (CIL. IX 1455; III 37);

область Albanus ager (Cic. agr. II 66; Liu. I 22, 3; VI 42, 6; VII 11, 3; VII 39, 8; Colum. III 8, 5; Plin. n. h. XIV 25) (часто в сокращенной форме аблатива in Albano);

гидронимы: две реки Alba (ITL, 47 C3 и SPN, 25 H3), озеро Albanus lacus ITL, 43 C3, ручей Albanus riuus;

горы Albanus mons ITL, 43 C2; 44 C2, Alba GER, 12 C4;

роща Albanum nemus (Liu. V 15, 2);

микротопоним arx Albana (Liu. VII 24, 9) и многочисленные поместья fundus Albanus [Cic. Clu. 141) или Albanum [Cic. Phil. VIII 9 (pl.)];

2) с расширенной (диминутивной или квазидиминутивной) основой albul-: река Albula ITL, 42 F3, населенные пункты Albulae ALG, 29 D1, Aquae Albulae ITL, 43 C2, Aquae Albulae ITL, 43 C2; 44 D2;

3) с основой albun(e)-: гидроним (название реки) Albunea ITL, 43 C3;

4) основа с расширением urn- (засвидетельствована и помимо ономастики как название рыбы alburnus): гора Alburnus mons ITL, 45 B3; 44 H4, населенные пункты Alburnus Portus ITL, 45 A4; 44 G5, Alburnus Maior ROM, 21 F3;

---

[9] Среди топонимов ниже учитываются, как и в атласе Тальберта, также этнонимы, так как практически их трудно отделить от топонимов, и, как известно, все этнонимы могли использоваться и для обозначения места.

[10] Жители городов, содержавших в названии элемент Alba, дифференцировались названиями Albani (впервые Cato orig. fr. 22) и Albenses; этот грамматический вопрос обсуждался Цезарем, Варроном и Квинтилианом (Caes. anal. fr. 12; Varr. l. L. VIII 35; Quint. inst. I 6, 15).

5) с другими производными или омонимичными основами: реки Albinia ITL, 42 A3, Albis GER, 10 F3; 2 F3; 12 F1 и [Albanta] AUS, 20 B3, гора Albius mons SVN, 20 B4, города (и другие населенные пункты) Albinnum FRA, 17 F2; 18 C4, Albocela SPN, 24 F3, Albona CRO, 20 B4, этнонимы Albici FRA, 15 E2, Albiones SPN, 24 E1;

6) название кавказского народа албан и Албании (совр. Дагестан и Азербайджан) и их производные: Albani (r.g D. A. 5; Liu. per. 101; Mela III 39; Flor. I 40; Colum. I 3, 6; Plin. n. h. VI 29; VI 38; VII 98; Tac. ann. II 68; IV 5; VI 33 al.; hist. I 6; Hist. Aug.) GEO, 88 D1, Albania (Flor. I 40; Frontin. str. II 3, 14; Plin. n. h. I 6 a al.; Gell. IX 4, 6) AZE/RUS, 88 F3, перевал Albana porta (Val. Fl. III 497) RUS, 88 G2, река Albanus (Plin. n. h. VI 39) GEO, 88 F3, море Albanum mare, 88 H3;

7) Albanopolis ALB, 49 B2, производное от иллирийского этнонима (неясно, имеют ли к двум последним гнездам отношение топонимы Albaniana NET, 10 A4 и Albania IRQ, 92 A2);

8) производные от антропонимов Albiana FRA, 48 D3, *Albianum AUS, 19 E2.

Проведя такую процедуру исключения, мы получаем весьма скромный список из семи топонимов (или шести различных форм, используемых как топонимы):

- порт Albus portus [Itin. Ant. 407, 1 (Portus Albus)] SPN, 26 E5 [совр. Торре-де-Сан-Гарсия (Torre de S. García)];
- три станции: Vallis Alba SYR, 69 F2 (дорожная станция) (Valle Alba Not. dign. or. XXXII 42; Inscr. *(lapides miliarii* (ed. M. Dunand): Rev. Bibl. 40 (1931), 238–240; 420; 423–425)) (совр. Хан-эль-Манкура), Ad Gallinas Albas ITL, 43 B1; 44 B2 [совр. Прима-Порта (Prima Porta)] и Ad Turres Albas ITL, 44 C3;
- два мыса: Album promunturium (Plin. n. h. V 75) LEB, 69 B3 [совр. Эль-Абьяд (арабск. «белый мыс»)] и promunturium Album (Plin. n. h. III 3) (в Африке, напротив Испании);
- горы Albi montes (Plin. n. h. XVI 141; XXXI 44) (Белые горы на Крите, греч. Λευκὰ ὄρη).

Близкое по значению к albus цветообозначение candidus встречается в греко-латинской географической номенклатуре еще реже[11], фигурируя только в одном топониме Candidum promunturium.

[11] Вопреки мнению Ж. Андре, полагавшему (*André J.* Op. cit. P. 26), что это прилагательное в топонимии вовсе не засвидетельствовано.

Еще менее частотны в латинской топонимии обозначения черного цвета. Исключив из общего числа латинских топонимов несколько явно омонимичных (название африканской реки Nigris fl. ALG, 34 D3 с производным названием жителей ее берегов Nigritae (Mela I 22; III 104; ALG, 29 E3[12]) и название реки в Колхиде Nigrus fl. Tab. Peut. XI 1 (Nigro); Geogr. Rau. V 10 (Nigro; GEO, 87 G2[13]), а также случай субстантивированного употребления прилагательного niger, видимо, близкого к современному понятию «негр» (Putea Nigrorum LBY, 37 B1, совр. Кбеба), мы получаем лишь четыре топонима (или три различные формы):

- известный благодаря спору с донатистской ересью населенный пункт Casae Nigrae (Aug. retract. I 1; Cresc. II 1, 2; coll. 3, 24; 3, 31) ALG, 34 F3 [иначе – Nigrae (Tab. Peut. IV4), совр. Négrine]; прилагательное (употр. как название жителя) Casensis ~e Aug. coll. 3, 36; 3, 38; Don. 13, 17; 16, 20: Donatus a Casis Nigris = Donatus Casensis;
- две горы Niger mons FRA, 14 H3 (совр. St. Georges-Nigremont) и Niger mons [Plin. n. h. V 37 (mons nomine Niger)] LBY, 36 D3 (ныне горы Эс-Сода);
- остров Corcyra Nigra Ins. CRO, 20 D7, совр. Корчула [греч. Κόρκυρα Μέλαινα, для отличия от собственно Коркиры (Corcyra Ins. GRE, 54 A2; 1 G3)].

Не вполне ясна принадлежность основы nigr- к части речи (прилагательное или существительное – по аналогии с Album?) в топониме Nigrum Pullum NET, 10 A4 [вторая часть – от pullus «темный»?; совр. Звammердам (Zwammerdam)].

Близкое по смыслу к niger цветообозначение ater встретилось в латинской топонимии только один раз – в названии горы Ater mons [совр. пустынное каменистое плато Эль-Хáмра (что, однако, значит по-арабски «красная»), или Хамáда-эль-Хáмра][14].

---

[12] Впрочем, Ж. Андре считал, что этноним Nigritae производен от прилагательного niger (Ibid. P. 54). Несомненно, именно так этот этноним воспринимался и многими римлянами.

[13] Возможно, ошибочное чтение вместо Mogrus (греч. Μῶγρος Arrian. peripl. P. E. 7, 5; 8, 1); у Плиния Старшего, однако, Nogrus (Plin. n. h. VI 12). Отождествляется с грузинской рекой Супсой.

[14] Ж. Андре, по-видимому, полагал, что ater в топонимии не используется (*André J.* Op. cit. P. 54).

Причина того, что названия черного цвета в латинской топонимии встречаются реже, чем названия белого цвета, вполне ясны. Для римлян черный цвет ассоциировался с неблагоприятным знамением (omen), что влияло как на авгуральную практику, так и на употребление слова niger в литературе (solem nigrum Hor. sat. I 9, 73)[15]. Видимо, система географической номенклатуры всячески стремилась избавиться от таких названий, даже если они по каким-либо причинам возникали. Например, вряд ли случайно то, что употребляемое Августином прилагательное от Casae Nigrae – Casensis – образовано так, как будто элемента Niger не существует: это совсем не типично для производных от топонимов этого времени и этих мест [ср., например, Hipponeregiensis или Hipponiregiensis от Hippo Regius)[16]. Именно стремлением избавиться от названия с корнем nigr-, скорее всего, следует объяснить тот факт, что названная (видимо, по имени основателя) от антропонима Nigrinus или Nigrinius береговая станция в Нижней Мёзии фигурирует на Певтингеровой карте и у Равеннского Анонима в аблативной форме Nigrinianis [Tab. Peut. VIII 2; Geogr. Rau. IV 7 (P. 186, 19 Pinder)], а в других источниках – как Candidiana [Itin. Ant. 223; Not. dign. Or. XL 24 (milites primi Moesiaci, Candidiana); Proc. aedif. IV 7, 9 (Κανδιδιάνα)] BUL, 22 D4 (совр. Малык-Преславец)[17]. Примечательно, что если здесь действительно имело место переименование, то оно должно было происходить уже в христианскую эпоху: принцип выбора благоприятного названия оказывается в этом случае более стойким, чем религия, которая его породила.

Вопрос, таким образом, не в том, почему названий с корнем nigr- так мало, а в том, почему они все-таки существовали. Обращает на себя внимание тот факт, что из пяти топонимов, содержа-

---

[15] Другие примеры употребления прилагательного niger в значении «неблагоприятный» см. у Андре (Ibid. P. 57).

[16] Впрочем, в других источниках Casae Nigrae известны как Nigrenses Maiores, что представляет собой по форме этникон, образованный от второй части названия. В одном из церковных документов начала V в. этот населенный пункт упоминается трижды, с варьированием форм: Lucrus episcopus plebis Nigrensium Maiorum; Ianuarianus, episcopus Casensium Nigrensium; Ianuarianus episcopus Casensium <Nigrensium> (Gesta collationis Carthaginiensis a. 411, cognitio 1, cap. 133; cognitio 1, cap. 149; cognitio 1, cap. 157).

[17] Попутно название также сменило форму с nom. pl. на fem. sing.

щих название черного цвета, три, т. е. больше половины, локализуется в Африке: Casae Nigrae, mons Niger, mons Ater. Кроме того, среди них нет ни одного локализуемого на территории Италии: остальные два топонима относятся к Галлии и Иллирии, а Nigrum Pullum (если мы должны его учитывать) – к нижнему Рейну.

Обратившись теперь к названиям с обозначениями белого цвета, можно заметить, что и они также локализуются в основном вдалеке от Рима: в Сирии, Африке (два топонима!), Греции, Испании. Правда, в отличие от niger, прилагательное albus все же встречается и в топонимах Италии, но только в названиях станций – населенных пунктов, занимавших в римской географической иерархии одно из последних мест.

Таким образом, можно констатировать, что, хотя именование населенных пунктов посредством цветообозначений в принципе использовалось в латинской топонимии, для нее этот способ не был характерен и имел маргинальный характер, проявляясь преимущественно в случаях контактного взаимодействия греко-римской географической номенклатуры с топонимическими системами других народов.

А.Е. Кузнецов

НАЧАЛО РИМСКОЙ ДРАМЫ – ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ В ДРЕВНЕРИМСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

Sed obscura est historia Romana.
Cicero De RP. II. 36

Римляне знали, что первым поэтом в Городе был некий Ливий, носивший греческое прозвище Андроник. Множество авторов свидетельствуют, правда без указания сроков, о том, что Ливий – начинатель римской драмы или же вообще римской поэзии. Хотя речь шла о событии, имевшем место отнюдь не в глубине веков, до нас дошли две точные, но совершенно различные даты постановки *первой римской драмы,* на которые указывали римские ученые. Впрочем, большинство авторов говорит о приоритете поэта Ливия, не утруждая себя исчислением лет, и «Брут» Цицерона (72, 73)[1] является единственным источником, в котором сопоставляются обе даты: поэт и ученый Акций относил это событие к 197 г., Аттик и сам Цицерон – к 240 г. (в «Хронике» Кассиодора – 239 г.). В дальнейшем эти две даты (и другие, связанные с ними) будем называть соответственно *поздней* и *ранней*. Современная наука отнеслась к сообщаемым в «Бруте» датам с бóльшим доверием, чем ко многим другим образцам «точной хронологии» древних. Историки римской литературы считают возможным выбирать, и выбор делается обычно в пользу Аттика, несмотря на то что Маркони[2] в монографии, посвященной этому вопросу, доказывает превосходство хронологии Акция.

---

[1] Текст и перевод этого места дан в Приложении к настоящей статье.

[2] Marconi 1966; обозрение проблемы Ливия Андроника можно найти также в Matingly 1971; Suerbaum 1968; Carratello 1977; последние два автора придерживаются традиционной, варроновской точки зрения.

Теория Маркони заключается в следующем.

1. 240 год был установлен как дата первой римской драмы Варроном, положение это давно является общепринятым, но то выдающееся значение, которое придает ему Маркони[3], объясняется из другого тезиса.

2. «Варроновская» дата ошибочна, она была введена из чисто умозрительных соображений: Ливий Андроник был менее совершенным поэтом (по Маркони rozzo = primus), чем Энний и Невий, поэтому в хронологии Варрона начало поэтической деятельности Ливия опережает на один год рождение Энния и на пять лет – первые драмы Невия. Еще до Маркони исторический метод «Брута» был связан с перипатетической концепцией развития (точнее, совершенствования[4]) Дальманном, который считал первоисточником этого учения для Рима трактат *De poetis* Варрона[5].

3. Хронология Акция должна быть признана правильной, но Акций при этом не мог считать Ливия первым римским поэтом[6].

В этой статье я пытаюсь пересмотреть основные аргументы Маркони и доказать следующие три тезиса:

– поздняя хронология не исключала того, что Ливий считался первым поэтом;
– хронологические противоречия не зависят исключительно от историко-литературных теорий, хотя, вероятно, мотивированы в некоторой (не поддающейся точной оценке) степени этими теориями;
– состояние наших источников не позволяет отдать предпочтение одной из датировок – скорее и поздняя, и ранняя хронологии являются равно недостоверными.

---

[3] ...di questa data l'unico responsabile... deve essere Varrone (Marconi 1966, p. 181).

[4] Αὔξησις (Soph. Elench. 183b22), результатом которого должен быть τελείωσις, – оба термина имеют биологическое происхождение и указывают на рост организма или зародыша.

[5] Dahlmann 1962 – эта книга в значительной части посвящена терии совершенствования.

[6] Мнение, впервые обоснованное в Anna 1954 г. (содержание этой статьи известно мне по Anna 1984) и поддержанное Дальманном (Dahlmann 1962, p. 581).

Хронологические проблемы в древнеримской филологии

То, что начало поэзии вообще столь тесно связывается в римской ученой традиции с началом драмы, является важным фактом, доказывающим, что историко-филологические разыскания развивались в республиканском Риме под влиянием идей, известных нам из «Поэтики» Аристотеля. Несомненно, степень его нельзя переоценивать (и лишь с величайшей осторожностью можно говорить о влиянии доступного нам текста «Поэтики»); но сама республиканская филологическая наука необширна: в действительности речь идет об эрудиции и интеллектуальных предпочтениях немногих личностей, и по отношению к Цицерону знакомство с наследием Аристотеля не нуждается в доказательствах.

Детальный обзор всех свидетельств далеко переступает границы нашей темы, но рассмотрение общего контекста высказываний о начале римской драмы представляется необходимым. Несомненно, что для большинства авторов вопрос о *первенстве* Ливия был частью спекулятивных исторических построений в духе Аристотеля. Прежде всего, сама проблема *начала* и *начинателя* именно в перипатетической школе становится непременной частью научного метода как одно из приложений теории ἀρχή. Однако сам Аристотель в «Поэтике» не касается вопросов хронологии (кроме весьма общего замечания о том, что Эпихарм жил много раньше Хионида и Магнета[7]) и не указывает никаких дат, что, конечно, не было следствием конспективности его изложения. Сама история драматических жанров рассматривается Аристотелем не как череда фактов, а как последовательное раскрытие природы – трагедии или комедии. Этот – чисто телеологический (конечно, не «эволюционистский») – взгляд на вещи менее всего предполагает интерес к конкретным событиям, и кажется, что точные даты (например, год, когда Эсхил ввел второго актера) противоречили бы интеллектуальному стилю «Поэтики»[8]. Поэтому уже сам факт

---

[7] 1148a33: ἐκεῖθεν γὰρ ἦν Ἐπίχαρμος ὁ ποιητὴς πολλῷ πρότερος ὢν Χιωνίδου καὶ Μάγνητος – но это место Else (1967, p. 113–117) признает интерполяцией (Kassel in app.); окружающий это предложение текст помечен у Else как добавление, сделанное самим Аристотелем.

[8] Нет свидетельств о том, что Аристотель интересовался вопросом хронологии Гомера (в текстах, составляющих Fr. 20 Gigon (76 Rose³), говорится об

обращения римских ученых к хронологическим вопросам при разработке темы развития жанров нуждается в объяснении. Возможно, наиболее важным здесь окажется самый поздний из наших testimonia, сокращение некоего трактата *De comoedia:*

> Excerpt. De Com. V, 4 (Wessner): comoediam apud Graecos dubium est quis primus invenerit – apud Romanos certum est: et comoediam et tragoediam et togatam primus Livius Andronicus repperit.

Здесь мы встречаемся с чисто римской постановкой темы первого поэта: значимо не столько то, что комедия появилась в Риме благодаря некоему конкретному лицу, а то, что у греков (конечно, это прежде всего сам Аристотель) этот первый поэт по имени доподлинно не известен, римляне же о нем знают точно. Так теоретические построения Аристотеля, для которого «начало комедии скрыто» (1449b1), усилиями римских грамматиков являлись в облике исторически документированных (в действительности же иллюзорных) фактов. Сообразно с этим в цицероновских текстах (*Brutus* 72, 73; *Tusc.* I. 1, 3) датитровка драм Ливия Андроника вспоминается в связи с темой запоздалости римской поэзии (и вообще художественной культуры)[9].

Эта же схема сопоставления греческой и римской поэзии применяется к эпическому жанру Цицероном в «Бруте» (§ 71): о греческих поэтах, которые «были до Гомера»[10], можно лишь судить гадательно, в Риме же известны по имени и по текстам поэты, которые стадиально и во времени предшествуют римскому Гомеру–Эннию: Ливий и Невий.

Такую же ассоциацию мы видим и у Авла Геллия (XVII, 21), который последовательно устанавливает *синхронизм* политической истории Рима и литературной истории Эллады (например,

отечестве Гомера, время которого Аристотель относил к баснословной древности) – вопросом, занимавшим многих, в том числе самого Цицерона (Tusc. I, 3; V, 7; De Nat. Deorum III, 11; De RP II, 18), Варрона и Акция (Gellius III. 11, 5–7 = Accius Fr. 6 FPL; Varro Fr. 69 Funaioli; Aristoteles Fr. 20, 5 Gigon).

[9] Сам топос «культурного отставания» не является римским изобретением (вспомним о платоновском Египте), примечательное соответствие находим у Климента Александрийского (Stromata. 1, 16, 79, 1).

[10] Знаменитое изречение отражает текст Poet. 1448b28; Цицерон осведомлен, конечно, о якобы более древних поэтах, но присоединяется к известному ему мнению Аристотеля, отрицавшего подлинность поэм Орфея [De Nat. Deorum I, 107 = 27 Gigon (7 Rose³)].

во время диктатора Авла Постумия «были знамениты» Софокл, Еврипид, Гиппократ, Демокрит и Сократ: *A. Gell.* XXI, 16–18), но начало римской культурной истории – первая драма Ливия – подано как случившееся «примерно сто шестьдесят лет *после* смерти Софокла и Еврипида и около пятидесяти двух лет *после* смерти Менандра» (§ 40–42). Подобным образом построено и вступление к книге *De Grammaticis et Rhetoribus* Светония, которое начинается с рассуждения о позднем появлении свободных искусств в Риме и продолжается изложением точных исторических обстоятельств возникновения римской грамматической науки.

Очерк зарождения римской драмы, сохраненный с некоторыми различиями[11] в «Истории» Тита Ливия (VII, 2) и у Валерия Максима (II, 4) – в дальнейшем будем называть первоисточник этих двух изложений «Историей зрелищ», – не уклоняется от этой традиции. Его автор (который, вероятно, опирался на Варрона[12]) приводит точную консульскую дату для самой ранней стадии: ludi scaenici учреждаются в Риме в 364 г., *C. Sulpicio Petico C. Licinio Stolone consulibus.* Сценические зрелища этой эпохи соответствуют фаллическим, ямбическим и сатировским песням, упоминаемым в «Поэтике», место же Ливия Андроника точно устанавливается благодаря близкому текстуальному совпадению:

Livius VII. 2, 9	Aristoteles 1449b5
Liuius *post aliquot* annis, qui ab saturis[13] ausus est primus argumento fabulam serere	τὸ δὲ μύθους ποιεῖν... τῶν δὲ Ἀθήνησιν Κράτης πρῶτος ἦρξεν ἀφέμενος τῆς ἰαμβικῆς ἰδέας καθόλου ποιεῖν λόγους καὶ μύθους.

[11] Waszink 1948, p. 238.

[12] Акция? – таково, в частности, мнение (строго недоказуемое), высказанное в Hendrickson 1898 и встретившее возражения Лео, который посвятил особую статью сопоставлению Тита Ливия и Горация: оба очерка истории римской драмы Лео считает unvarronisch, но только горациев – vorvarronisch (Leo 1904, p. 72); новые аргументы в пользу варроновского происхождения собрал Waszink 1948; см. Приложение II к настоящей статье.

[13] У Валерия Максима (II 4, 4) paulatim deinde ludicra ars ad saturarum modos perrepsit, a quibus primus omnium poeta Liuius ad fabularum a quibus primus omnium poeta Liuius ad fabularum argumenta spectantium animos transtulit... Оба историка несомненно преднамеренно избегают точной (и даже приблизительной) датировки. Если это умолчание содержалось в самой «Истории зрелищ», то это – аргумент против того, что непосредственно Варрон был автором этого текста.

Сближение saturae – ἡ ἰαμβικὴ ἰδέα опирается на 1449a5 οἱ μὲν ἀντὶ τῶν ἰάμβων κωμῳδοποιοὶ ἐγένοντο и 1449a20: ...ἐκ μικρῶν μύθων καὶ λέξεως γελοίας διὰ τὸ ἐκ σατυρικοῦ μεταβαλεῖν: τὸ σατυρικὸν здесь является примитивной формой трагедии и стадиально совпадает с ямбическими стихами как примитивной формой комедии[14]. Для римского автора это совпадение является не только стадиальным, но и материальным: вспомним, что Ливий Андроник считался основоположником и трагического, и комического жанров.

Таким образом, и здесь предметом исторических и хронологических разысканий является стадиально самый древний период, о котором Аристотель дает лишь самое общее представление. Наконец, идея совершенствования, в котором поэзия Ливия представляется начальной стадией, является предпосылкой и для Квинтилиана (X. 2, 7; cf. Horat. Ep. II. 1, 62).

В перипатетической школе хронология литературы изучалась преимущественно в связи с дидаскалиями, и римские филологи также занимались составлением дидаскалиев. Однако вопрос о достоверности и происхождении этих документов для нас оказывается несущественным, поскольку нет никаких следов влияния дидаскалиев на форму или содержание текстов, в которых говорится о первенстве Ливия Андроника. Но эти же свидетельства обнаруживают устойчивую связь с двумя концепциями: «совершенствования» и «позднего появления искусств». Как можно предположить, таким и был первоначальный контекст, в котором проблема Ливия Андроника вошла в поле зрения римской филологической науки.

Первый поэт и теория совершенствования

Итак, все наши источники восходят к тексту (или текстам), излагавшему историю римской драмы, следуя в целом аристотелевской концепции совершенствования, и в деталях – к «По-

[14] Напомним, что литературная сатура занимает в жанровой таблице Квинтилиана (X 1, 93) место ямбографии. Приведенные здесь строки 1449a20–21 Else (1967, p. 164–182) считает интерполяцией, отражающей учение перипатетика Хамелеонта, которая, однако, проникла в «Поэтику» «намного позднее Хамелеонта». При этом в изложении Тита Ливия и Валерия Максима обнаруживается не только дословная близость известному (интерполированному?) тексту Аристотеля, но и те же содержательные противоречия, на которые опирается Else. Ни в тексте, ни в аппарате Касселя эти изъятия не отражены.

этике». Основная слабость аргументации Маркони заключается, как мне представляется, именно в том, что итальянский исследователь предполагал – априорно и совершенно бездоказательно, – что Акций не придерживался этой концепции. Однако текст «Брута» достаточно ясно говорит о том, что Акций (как и другие филологи) считал Ливия автором первой римской драмы. Иначе Цицерона следовало бы обвинить в нелепости аргументации или недобросовестном цитировании (во всяком случае первое было менее всего свойственно великому оратору). Но в действительности нет никакого противоречия между поздней хронологией и теорией первенства Ливия, и пафос, с которым Цицерон выражал свое недоумение по этому поводу, был чисто риторическим. Приложимость слова *primus* к творчеству поэта зависит не столько от хронологии, сколько от эстетической оценки. Кроме того, понятие *primus* не является абсолютным.

Это может доказать самое краткое рассмотрение «Брута».

Нетрудно заметить, что слово *primus* является ключевым в изложении истории красноречия, которое построено Цицероном по телеологической схеме *inventio–perfectio*, и «Брут», вероятно, является наиболее полным и развернутым приложением этой схемы к истории литературы. Развитие начинается на заре истории, в гомеровские времена (§ 27, 28, 39, 40), затем появляется *первый* оратор, Перикл (§ 27), с которого начинается подлинное искусство и *doctrina* (§ 44), он же определяется как *почти совершенный* (§ 45), затем следуют *совершенный* оратор Лисий и *вполне совершенный* Демосфен (§ 35). Кроме того, Сократ стал *первый* философствовать о нравах (§ 31), Исократ – *первый*, кто стал «соблюдать ритм и размер» в прозаической речи (§ 32), Деметрий *первый* сделал речь «нежной и сладкой» (§ 38), Корак и Тисий *впервые* написали учебник риторики (§ 46). Этот принцип соблюдается и в основной, римской, части «Брута»: *primus est M. Cornelius Cethegus* (§ 57), далее следует Катон Старший – римский Лисий (§ 63), далее, начиная с Катона, Цицерон ищет полного совершенства[15] и находит его в Антонии и Крассе, римских Демосфене и Гипериде (§ 138).

В схеме *inventio–perfectio* понятие первенства является не хронологическим, а аксиологическим, оно определяется не тем,

---

[15] Brutus 137: ...quae fuerit ascensio et quam in omnibus rebus difficilis optimi perfectio atque absolutio...

что некто является самым древним, а тем, что он оценивается как самый лучший на определенной стадии, потому в ряду совершенствования мы встречаемся с целым рядом *первых*. Кроме того, история имеет и предысторию, и нет противоречия в том, что Цицерон объявляет первым оратором Корнелия Цетега, речи которого не были ему известны, хотя и до Цетега были ораторы, представленные сохранившимися и знакомыми Цицерону текстами. Кроме того, стадиальное тождество Катон=Лисий не было общепринятым, поэтому и Катон, выдвинувшийся после Цетега, и более ранний Аппий Клавдий, и другие ораторы могли бы при ином взгляде на вещи получить статус *primus*, и дата *первого римского оратора* могла бы колебаться в границах примерно ста лет.

Начало книги *De Grammaticis et Rhetoribus* Светония показывает, как могли ставиться и разрешаться такого рода противоречия в римской филологии.

De Gramm. et Rhet. 1: initium quoque eius (grammatices) mediocre exstitit, siquidem antiquissimi doctorum... Livium et Ennium dico... nihil amplius quam Graecos interpretabantur, aut si quid ipsi Latine conposuissent praelegebant. nam quod nonnulli tradunt duos libros de litteris syllabisque, item de metris ab eodem Ennio editos, iure arguit L. Cotta non poetae sed posterioris Ennii esse cuius etiam de augurali disciplina volumina ferantur. [2] Primus igitur, quantum opinamur, studium grammaticae in urbem intulit Crates Mallotes, Aristarchi aequalis...

Светоний признает существование старейших *doctores*, которые, по его мнению, не могут быть признаны *первыми*, а представляют лишь *посредственное начало*[16], поскольку деятельность их не была достаточно ученой, чтобы претендовать на статус настоящей грамматики (труды «другого Энния», как видим, были вполне грамматическими). Таким образом, одни и те же писатели могут быть (в зависимости от оценки) отнесены к разным стадиям: примитивной до-грамматики или подлинной первой грамматики.

Рассмотрим с этой точки зрения упоминавшийся уже текст Авла Геллия (XVII. 21) исходя из предположения, что *весь* § 45 этой главы представляет собой изложение посвященного Невию

[16] Близость этого места к parva principia Тита Ливия заставляет думать о том, что и этот топос восходит к Варрону (Waszink 1948, p. 236).

связного отрывка из книги Варрона (*De poetis* Fr. 56 Funaioli). Содержание этого отрывка восстанавливается следующим образом:

(1) В 235/519 г. Невий поставил драмы (fabulas apud populum dedit).

(2) Поэма *Bellum Punicum* доказывает, что Невий служил в армии в Первую Пуническую войну. Уже Фр. Лео заметил, что здесь Варрон полемезировал с кем-то из своих предшественников, относившим время жизни Невия к более позднему времени[17].

(3) Однако поэт и грамматик Порций Лицин утверждал, что музы появились у «воинственного народа» лишь в эпоху Второй Пунической войны, что, как можно догадаться, Варрон признает ошибочным.

Все это совпадает, включая цитату из оппонента, с § 72, 73 «Брута», но аргументация Цицерона более развернута: *ошибка Акция* в том, что Плавт и Невий поставили множество драм (multas scl. *fabulas* docuerant) до указанной Акцием даты.

Конечно, мы должны признать, что Акций и Порций Лицин отрицали существование римских *fabulae* до (округленно) 200 г., но это совсем не означает, что они отрицали всякую поэтическую деятельность до этого срока. Как Цицерон признавал ораторов до Цетега, а Светоний – *doctores* до Кратета Пергамского и его римских учеников, так и филологи, которые придерживались поздней хронологии, могли, не нарушая своих теорий, утверждать, что и Плавт, и Невий, и тот же Ливий писали нечто для *сценических игр* и в более ранние годы, но эти плоды их сочинительства не могут быть оценены как настоящие *fabulae* и настоящая поэзия.

Внутренние противоречия теории совершенствования

Теория совершенствования слишком умозрительна, и даже греческий материал, которым оперировал Аристотель, подчиняется ей не без труда. Неудивительно, что попытки приложить теорию к истории римской поэзии должны были приводить к весьма противоречивым результатам. Текст «Брута» свидетельствует об этом достаточно красноречиво. Цицерон рисует детальную картину развития ораторского искусства, после пространного рас-

[17] Leo 1912, p. 67.

суждения о достоинствах стиля Катона он делает отступление, цель которого – показать, что творения, созданные на ранних ступенях искусства, ценны и значимы (тема, затронутая уже в прологе к комедии *Casina* Плавта). Здесь схема *inventio–perfectio* демонстрируется на примере живописи, скульптуры и эпической поэзии (§ 70–76), и это отступление кратко, но схема развития представлена здесь полно и законченно. Наконец, рассуждение о *древнем римском эпосе* дает Цицерону повод вспомнить о драмах Ливия. Livianae fabulae поставлены в один ряд с Odyssia Latina, однако другие эпические поэты – Невий и Энний – не получают никакой характеристики как поэты драматические, и никаких точных соотношений между эпосом и драмой не устанавливается, и нет никаких указаний на то, что Цицерон (или его источник) составлял из наследия этих поэтов (вместе с Плавтом) исторический ряд совершенствования драмы. Таким образом, хотя перипатетическая история драмы является источником и основной составной частью теории, именно этот жанр описан у Цицерона очень смутно и невразумительно. «Брут» в этом смысле не является исключением.

В «Истории зрелищ» в точнейших деталях излагается развитие, предшествующее Ливию Андронику, вплоть до переломного момента преобразования *saturae* в *fabulae*. Дальнейший текст значительно более труден для интерпретации, ясно, однако, что автор доказывает: первичные fabulae претерпели значительные преобразования. Кто был *первым* преобразователем на каждой стадии, в «Истории зрелищ» не сообщается, но нам по цитатам позднейших лексикографов известны три названия драм Ливия Андроника, отнесенные Риббеком к паллиате, и девять, без сомнения относящихся к мифологическим трагедиям; представляется поэтому невероятным, что эти произведения могут быть отождествлены с первичными *fabulae*, появившимися, как видно из приведенного выше отрывка (Liv. VII. 2, 9), в результате преобразования фольклорной сатуры. Таким образом (если только автор «Истории зрелищ» не отрицал подлинность текстов, из которых Ноний и Фест делают выписки с пометой Livius in...), придется признать, что полное развитие драмы совершилось в рамках творчества одного поэта.

Эти странности кажутся вполне объяснимыми в контексте «Поэтики».

Рассуждая о переменах в аттической драме, Аристотель говорит о развитии, происходящем в течение V в., вершиной которого был трагический театр Софокла и Еврипида. Этот исторический период развития отчетливо противопоставлен периоду более раннему. Народная дорийская «драма» (1448b1), импровизация и дифирамб (1449a11)[18] являются материалом, из которого создается трагедия благодаря совершенно определенным преобразованиям в метрике, содержании, структуре, которые, как результат *деятельности*, не могут быть анонимными: Аристотель исследовал этот вопрос с большей тщательностью, чем это видно в «Поэтике», и по позднейшим источникам мы знаем о месте, которое он отводил Ариону (начинатель дифирамба) и Феспиду (изобретатель пролога и «речей»)[19]. Такого же рода изменения Аристотель постулирует и для комедии: τὰ φαλλικά (при рукописном φαυλικά 1449a12) преобразуются в упорядоченный драматический текст (1449b4) благодаря введению масок, пролога, установленного числа актеров и, наконец, повествования (μῦθος). Аристотель также определяет направление будущего совершенствования комедии: от брани – к смеху (οὐ ψόγον ἀλλὰ τὸ γελοῖον, 1448b38), и на этом пути конечной ступенью предстояло стать Новой Комедии. Но уже для старейших римских драматургов образцом были развитые формы аттической драмы, и было бы нелепо предполагать, что Плавт ради торжества теории начинал с подражания Евполиду и Кратину, а уже затем обратился к Менандру, а Ливий Андроник сочинял в начале своей карьеры трагедии с одним и двумя актерами (но вспомним о Феспиде и Эсхиле у Горация!), – именно поэтому ни Цицерон, ни другие авторы не дают для римских драматических поэтов стадиальной иерархии, как это делает Аристотель для Эсхила и Софокла. При том что римские грамматики не располагали именами поэтов более старых, чем Ливий, Невий, Плавт и Энний, а все они (будучи старше или младше в пределах двух поколений) творили на рубеже III–II вв. до н. э., приложение схем «Поэтики» к римской литературной истории становилось нелегкой задачей. Фаллическим и ямбическим песням удачно со-

---

[18] Предложение, относящееся к дифирамбу 1449a10–13, и текст о дорическом τὸ δρᾶν 1448a38 Else (p. 155 sqq.) считает взаимозависящими интерполяциями, сделанными самим Аристотелем.

[19] Else 1967, p. 159 [Proclus apud Phot. Bibl. cod. 239 p. 320 Bekker = 919 Gigon (677 Rose[3])].

ответствуют фесценинские стихи, но что было делать с главным историческим тезисом Аристотеля, который требовал выявления личного вклада исторически засвидетельствованных поэтов в совершенствование жанра? Единственное возможное решение мы находим в «Истории зрелищ»: начальная стадия представляется как ранний этап творческой деятельности одного из старейших поэтов. Последователи Аристотеля должны были хорошо знать, что *должное* выше действительного, но из торжества системы происходили и определенные требования к хронологии: для реального драматического наследия *первого* поэта и его современников, которое представляло исключительно поздние стадии трагического и комического жанров, последователи теории совершенствования должны были устанавливать насколько возможно более поздние даты, чтобы освободить историческое пространство для фантастических примитивных форм.

К такому же выводу нас приводит и рассмотрение вопроса о соотношении эпоса и драмы.

Известно, что одной из главных идей «Поэтики» было развитие комедии и трагедии по образцу совершенной эпической поэзии Гомера, и ради этой теории Аристотель настаивал на сомнительном гомеровском авторстве травестийной поэмы «Маргит»[20]. Для римских последователей Аристотеля эта теория представляла еще большие – и непреодолимые – трудности, и как раз ранняя хронология драмы дает совершенно катастрофические последствия. Цицерон, не расходясь, вероятно, с общим мнением, относил появление поэмы Bellum Punicum к самому концу III в.[21] (возможно, точно к 208 г.: об этом ниже) – в это же время начинается деятельность Энния. С датой «240 г.» первая драма будет на 30–40 лет предшествовать сколько-нибудь развитому эпосу. Мы не знаем, была ли определена дата для «Одиссеи» Ливия, но здесь самая ранняя хронология не смогла бы спасти теорию ввиду признанного несовершенства этой поэмы.

---

[20] Else 1967, p. 145.

[21] Marmorale 1953, p. 174. Добавим к этому, что Невий (а не Ливий) назван в одном из свидетельств изобретателем сатурнова стиха (Diomed. I 512, 18), но проблема в том, что сатурнов стих не рассматривается нашими источниками как размер исключительно эпоса; так, Гораций (Ep. II 158, Brink ad loc.) упоминает horridum Saturnium в контексте становления драмы, подобную картину дают и другие testimonia о сатурновом стихе (Luiselli 1967).

Напротив, переместив возникновение римской драмы к началу 190-х, грамматики могли если не устранить, то сгладить эту несообразность, так как к этому времени не только существовали поэмы Ливия и Невия, но (теоретически) могли уже появиться первые книги «Анналов»[22].

Итак, именно поздняя, а не ранняя хронология Ливия Андроника может быть мотивирована перипатетической теорией совершенствования. Но в действительности хронологическая картина, созданная римскими грамматиками, была более сложной.

Хронология «Гимна» Ливия

Время постановки первой драмы является далеко не единственной хронологической проблемой, связанной с поэтом Ливием.

В 200 г. в Риме по случаю ужасных знамений был совершен молебен, причем исполнялась «песнь», сочиненная неизвестным, из других источников Лицинием Тегулой:

XXX. 12. 10 ea (scl. res divinae) uti fierent C. Aurelius consul ex decemuirorum responso curauit. *carmen*, sicut patrum memoria Liuius, ita tum condidit P. Licinius Tegula.

Сообщение о песни самого Ливия Андроника помещено под 207 г. (XXVII. 37), что делает выражение *patrum memoria* совершенно неуместным, тем более что немного раньше о прежних *prodigia* дважды говорится как о бывших *proxime*[23].

Фр. Лео считал слова *patrum memoria* простой оговоркой историка[24] – мнение, отменяющее, но не разрешающее вопрос.

[22] Конечно, эти поэмы могут быть прототипом только для исторической и мифологической трагедии. Μαργίτης, несмотря на авторитет Аристотеля, считался преимущественно неподлинным – автор «Истории зрелищ» не усматривает первоисточник драмы в какой-либо разновидности нарративной поэзии.

[23] XXX. 12, 8: ...sicut proxime C. Claudio M. Liuio consulibus deportatus similis prodigii fetus erat... (9) decemuiri ex libris res diuinas easdem quae proxime secundum id prodigium factae essent imperarunt. – Консульская дата 207 г. здесь может быть глоссой, отображающей очевидную связь с рассказом в XXVII. 37.

[24] Leo 1913, S. 58, Bem. 2: hier (XXXI. 12, 10) vergreift sich Livius, der soeben auf den Vorgang von 207 mit *proxime* (12, 8) zurückgewiesen hat, im Ausdruck. Ed. Fraenkel (1931 col. 600) замечает, что к этому нечего добавить.

Если все же попытаться дать этому противоречию объяснение, то это можно сделать двумя способами.

Во-первых, слова *patrum memoria* могли бы быть употреблены историком в каком-то особом смысле, но все такие истолкования, придуманные ad hoc, оказываются искусственными[25].

Реальное употребление в текстах этого словосочетания показывает, что попытки найти какое-либо иное объяснение, правдоподобное и лежащее в границах филологического здравого смысла, были бы бесплодными. Роковое *patrum memoria* означает именно то, что представляется на первый взгляд: *«на памяти отцов»*. Некоторые комментарии в связи с этим спорным вопросом будут необходимы.

Кроме Тита Ливия, выражение *patrum memoria* встречается в республиканской прозе у Цезаря, Саллюстия и Цицерона в довольно однообразных контекстах. Во всех случаях то, что происходило *patrum memoria*, представляется не просто как более или менее удаленное прошлое, а как правовой прецедент или (у Цезаря) как факт, предопределяющий важное решение должностного лица. Такие прецеденты тем убедительнее, чем новее (что вполне согласуется с римскими правовыми порядками), поэтому прошлое разделяется на несколько уровней давности: *exoleta vetustas* противопоставляется близкому прошлому и бывшему *nostra memoria* «в наше время» в отличие от «бывшего совсем недавно» (*recens*). Такое разделение ясно прослеживается по текстам и может быть сопоставлено с теоретическими суждениями о категории *tempus* в *De Inventione* Цицерона[26]. С осторожностью можно признать в словосочетаниях *nostra (patrum) memoria* судебный modus loquendi. В нескольких случаях авторы говорят о датируемых событиях, имевших место *patrum memoria:* этот срок колеблется в

---

[25] Marconi 1966. Несмотря на возражения Маркони, позднейший Оксфордский комментарий к Титу Ливию толкует это загадочное место так: «as the senators remembered» not «as their ancestors remembered» (Briscoe 1973, p. 91). Правильный, по мнению комментатора, перевод совершенно фантастичен.

[26] I. 40: quae aut propter vetustatem obsoleverint aut incredibilia videantur, ut iam in fabularum numerum reponantur; et quae iam diu gesta et a memoria nostra remota tamen faciant fidem vere tradita esse, quia eorum monumenta certa in litteris exstent; et quae nuper gesta sint, quae scire plerique possint; et item quae instent in praesentia... – Ср.: *De Oratore* I. 8.

очень широких границах: 30–85 лет, т. е. одно или два поколения, в среднем – 50 лет[27].

Необходимо поэтому предположить, что в 200 г., с одной стороны, были приняты во внимание *prodigia* 207 г., с другой – взята за образец песнь, сложенная намного раньше. Следовательно, *carmen* Ливия, послуживший образцом для Лициния Тегулы, должен быть датирован примерно 255 г.

В свое время было предложено несколько гипотез, исходящих из этой посылки: ясно, что все они предполагают истинность ранней хронологии.

В рецензии на исследование Маркони Mattingly допускал, что в 207 г. «был вновь использован гимн, созданный для какого-то более раннего случая»[28]. Истинность или ложность этого объяснения доказать невозможно: историк говорит: «discerent conditum ab Livio poeta carmen», – но была ли песнь создана 30–40 лет или несколько дней назад, это не сказано с полной определенностью, хотя *carmina* такого рода сочинялись, вероятно, специально для каждого случая.

В книге Маркони наибольшее внимание уделяется опровержению гипотезы, которую предложил C. Cichorius[29]: по этой гипотезе Ливий сочинил *Carmen Saeculare* для столетних игр, справлявшихся в 249 г. Но здесь достаточно заметить, что обряды 207 и 200 гг. никаким образом не связаны с культом столетних игр и гипотетический столетний гимн не мог послужить образцом для Лициния Тегулы.

Однако противоречие в рассказе Тита Ливия можно объяснить иначе.

---

[27] Здесь ограничимся указанием на наиболее важные тексты: Cicero In Verr. II. 3, 125, Post Red. Ad Quirit. 7, Pro Domo sua, 123; Caes. B.G. I. 12, 5; 1. 40, 5; II. 4, 2; Sall. Cat. 32; для Тита Ливия *patrum memoria* относится к эпохе Суллы (XXX, 45 , 6), другие примеры: XXII. 60, 11; XXVII. 8, 9; XXXIV. 4, 6; XXXVII. 51, 1; *auorum memoria* соответствует 343–217 гг. (XXII. 60, 11); в XXXII. 22, 10 имеется такая же несообразность, как и в случае с Тегулой.

[28] Mattingly 1971, p. 685; теория «двух песен» была предложена в Barwick 1923.

[29] Cichorius 1922. Проблема столетних игр 249 г. в деталях излагается в: Marconi 1966, p. 133 sqq. Marconi отстаивает позднюю датировку Ливия Андроника и, следовательно, выступает как решительный противник гипотезы Cichorius'a (обновленной Verdièr 1983).

Описания обрядов 200 и 207 гг. заимствованы из разных источников: автор свидетельства о Лицинии Тегуле относил деятельность Ливия Андроника к середине III в., поэтому *carmen* поэта Ливия справедливо описывается как составленный *patrum memoria,* считая от времени Лициния. Этот источник находился в согласии с хронологией Варрона и Аттика. Но сам эпизод молебна 207 г. взят Титом Ливием из другого источника, который придерживался поздней хронологии[30].

Таким образом, годы 207 и приблизительно 255 (вычисляемый из *patrum memoria*) есть поздняя и ранняя дата одного события – написания поэтом Ливием своей знаменитой песни. Эти две даты находятся в полном согласии с двумя датами появления первой драмы: 197 г. и 240 г. В обоих случаях Ливий сперва сочиняет песнь и несколько лет спустя ставит драму, которую наши источники единодушно признают первой в Риме.

Такая последовательность событий находит косвенное подтверждение в тексте самого Тита Ливия.

Известно, что древние *carmina* вовсе не были стихотворными произведениями. Тит Ливий многократно упоминает или цитирует *carmina*, но только в XXVII. 37 подчеркивается, что составитель «песни» Ливий – *poeta*, и даже обсуждаются поэтические достоинства *carminis* в выражениях, близких к тексту «Истории зрелищ»: carmen... illa tempestate forsitan laudabile rudibus ingeniis, nunc abhorrens et inconditum si referatur[31].

Два более ранних эпизода показывают, что Тит Ливий не предполагает существования в Риме в конце III в. метрически правильной поэзии по греческому образцу.

---

[30] Хорошо известны примеры несообразностей в тексте Тита Ливия, объясняемых использованием противоречащих источников (Walsh 1966, p. 1946–1951).

[31] inconditis inter se iocularia fundentes uersibus (VII. 2, 6). В первых 20 книгах Тита Ливия «inconditus» употребляется только по отношению к содатским триумфальным песням (e.g. *carmina incondita* IV. 20, 3). Это прилагательное очень неохотно сочетается со словами, обозначающими упорядоченное множество: у Тита Ливия находим passim «i. turba, multitudo» (e.g. XXI. 57, 13), но единичны словосочетания «i. agmen (XLII. 66, 8), acies» (XLIV. 39, 1), сюда же относится и «i. versus» – сочетание, которое не встречается в республиканской прозе (у Тита Ливия еще XXXVIII. 13, 2, но см.: Cicero De Off. III, 82 и, в особенности, De Or. III, 175).

(1) В 216 г. Кв. Фабий Пиктор доставил в Рим ответ Дельфийского оракула и перевел его на латинский язык: перевод, цитируемый Титом Ливием, представляет собой прозаический текст, обычный для римских *carmina* (XXIII. 11, 4).

(2) В 212 г. по приказу претора в Риме были изъяты всевозможные пророчества, среди которых оказались *«carmina Marciana»* (XXV. 12, 2)[32]. Тит Ливий приводит две «Марциевы песни», из которых первая, предрекавшая Каннскую катастрофу, похожа на искаженный дактилический гекзаметр[33]. Кажется правдоподобным, что источники этих двух эпизодов рассматривают римскую поэзию как находящуюся in statu nascendi в конце III в., а песнь 207 г. – как едва ли не первое выступление первого римского поэта. При этом возможно, что дельфийский эпизод и «carmen Marcianum» намекают на постепенное проникновение в Рим гекзаметра. Но драмы Ливия не были *incondita carmina*, более того, позднейшие грамматики считали, что именно Ливий Андроник использовал гекзаметр (частью неправильный μείουρος) в трагедии (?) *Ino*[34]. Поэтому следует признать, что источники Тита Ливия относили начало драматического творчества Ливия-поэта ко времени после написания гимна.

Двойная хронология ранней римской литературы

Поздняя и ранняя хронология засвидетельствована и для Невия и Плавта, хотя здесь разница не столь значительна. Некие *veteres commentarii*, цитируемые Цицероном (*Brutus*, 60, вероятно, то же, что и *antiqui commentarii*, упоминаемые в § 73), относили смерть Невия к 204 г., консульству Марка Корнелия Цетега и Пу-

---

[32] Vates hic Marcius inlustris fuerat – необходимо обратить внимание на эти слова Тита Ливия, которые являются отзвуком обсуждаемой ниже (примеч. 38) формулы *clarus habetur* (или *insignis, inlustris* – все эти вариации находим в XVII. 21 Авла Геллия); это, как я думаю, показывает, что упоминание о Марциевых пророчествах могло быть включено в «Анналы» Аттика.

[33] Сходство это настолько велико, что метрическая реконструкция этого пророчества (как и двух других *carmina*) была помещена в FPL (1927) с примечанием: «versus heroicos a Livio leviter caligatos restituerunt viri docti» – из последующих изданий FPL эти мнимые поэмы изъяты.

[34] Ribbeck Scaen. 3, vol. I, p. 4. Ясно, что текст этого отрывка не может принадлежать Ливию Андронику, но ошибочная атрибуция представляется древней; литературу вопроса см.: Cignolo 2002 ad Terentiani Mauri v. 1931.

блия Семпрония Тудитана, Варрон же – к более позднему сроку, опираясь на какой-то синхронизм между Невием и Плавтом.

Как видно из замечания Цицерона, *veteres commentarii* утверждали (как и Варрон), что Невий и Плавт закончили свой жизненный путь почти одновременно – синхронизм, подтверждаемый Иеронимом, который относит смерть Невия к 201 г. (144-я Олимпиада), Плавта – к 200 г. (143-я Олимпиада)[35]. Таким образом, варроновская дата кончины Невия должна быть 188–183 гг.

С другой стороны, исчисление возраста Ливия Андроника, которое является главным аргументом против Акция в *Brutus* 73, сделано на основании того предположения, что постановка первой драмы совпадает с ἀκμή поэта[36]. Соответствующий год рождения будет 238/237, а по ранней хронологии – приблизительно 280. Это соотносимо с тем, что Цицерон пишет (два года спустя после «Брута») в *De Senectute* 50:

quam gaudebat bello suo Punico Naevius! quam Truculento Plautus, quam Pseudolo! vidi etiam senem Livium; qui cum sex annis ante quam ego natus sum, fabulam docuisset Centone Tuditanoque consulibus, usque ad adulescentiam meam processit aetate.

Итак, по смыслу этого места, Ливий дожил до глубокой старости, и Катон был свидетелем его последних лет. Но Цицерон знал, что Катон с ранней юности находился на военной службе, и его личное знакомство с поэтом могло бы состояться лишь в 208 г., поскольку в 209 г. Катон находился в армии Фабия Максима в Таренте, а в 207 г. – в армии консула Клавдия Нерона[37]; в 204 г. избранный квестором Катон вновь покидает Рим. Далее представляется, что слова *usque ad adulescentiam meam processit aetate* указывают на как можно более раннюю дату смерти Ливия, т. е. 208/207 г., хотя и немного более поздняя дата не противоречит хронологическим презумпциям Цицерона. (Все эти соображения относятся и к Bellum Punicum.) Если бы и Акций полагал, что поэт умер в

---

[35] Plautus... moritur – исправления *moratur* (Hertz) и *clarus habetur* (Ritschl) мотивированы тем, что от Иеронима ожидается правильная дата (конъектуры цитируются по изданию Helm-Treu).

[36] Заметим, что с ἀκμή совпадает сообщаемая Варроном дата первой драмы Невия – 235 г., Энний «был привезен в Рим» Катоном в 204 г. в возрасте 35 лет (Nepos Cato 1.4; Astin 1973, 16), и эта традиция, как можно предположить, была в согласии с совпадающей с ἀκμή датой первой драмы Энния.

[37] Astin 1973, p. 7. Cicero De Sen. 10; Nepos Cato 1.2.

полные 70 лет, то соответствующая дата была бы ок. 170 г., что вполне согласно со свидетельством того же Иеронима, который под 188/187 г. сообщает: Titus Livius tragoediarum scriptor *clarus habetur*[38]. Мы не знаем с точностью, какие даты для Невия и Плавта были установлены самим Акцием, но, как было отмечено выше, поздняя датировка для Невия косвенно засвидетельствована в *Noctes Atticae*.

Эти противоречия можно суммировать следующим образом:

	Ранняя хронология	Поздняя хронология
Рождение Ливия	ок. 280	ок. 240
Рождение Невия	ок. 275	?
Гимн Ливия	ок. 255	207
Первая драма	240	200
Драмы Невия	235	?
Смерть Ливия	208/207	ок. 170
Смерть Невия	204	188–183
Смерть Плавта	200	184

Итак, «ошибка», столь изумлявшая Цицерона, объясняется не внутренней несообразностью доктрины Акция, а тем, что и Цицерон, и, очевидным образом, Варрон смешивали поздние и ранние даты. Если существовали источники, относившие смерть Невия и Плавта примерно к 200 г., то неудивительно, что все наследие этих поэтов было датировано этими же авторитетами «до консульства Корнелия и Минуция», но Акций мог доказывать, что все *fabulae* (в их развитой форме) были созданы в течение 15–20 лет после Второй Пунической войны, и относить кончину

[38] Ср. Leo. Op. Cit. S. 58. Bem. 3. Вопреки обычному пониманию (в частности, Marconi 1966, p. 209, sqq.) выражение *clarus habetur* и другие подобные, восходящие, вероятно, к «Анналам» Аттика (Anna 1973), означают просто «пользовался известностью» и не указывают на ἀκμή – это видно из тех мест «Хроники» Иеронима, в которых такие формулы могут быть интерпретированы хронологически: Plato et Xenophon nec non alii Socratici clari habentur (a. D. 374 – Платон родился, по Иерониму, в 425 г.); Sophocles et Euripides clari habentur (a. D. 469); Aristophanes clarus habetur et Sophocles poeta tragicus (a. D. 438).

поэтов к значительно более позднему сроку. Старость Плавта во время написания комедий *Truculentus* и *Pseudolus* представляется именно попыткой примирить две хронологические концепции – так же, как и старость Невия[39].

Сохранилось свидетельство, указывающее на такого рода ученые уловки. Авл Геллий говорит о том, что среди ходивших под именем Плавта комедий были сочинения древних поэтов, Плавтом переделанные: neque tamen dubium est quin... veterum poetarum fuerint et ab eo retractatae et expolitae sint (III. 3, 13). Хотя *retractatae* означает собственно «заново поставленные», кажется вероятным, что речь идет о чем-то большем, чем исправление стиля, и – если подразумеваются перемены в структуре и содержании – эта гипотеза[40] должна была объяснить «исчезновение» архаической комедии, представленной некогда творениями «древних поэтов» в их первозданном виде.

Источники противоречий

Ученость древних грамматиков предполагала в первую очередь собирание всех мнений и суждений о предмете. Столь важный вопрос, как появление поэзии в Риме, не мог не стать предметом разногласий. Удивительно скорее то, что мы располагаем всего лишь двумя датами этого события. Кроме того, статус хронологии в древней науке отличался от привычного нам. В истории новых литератур годы жизни писателей редко могут быть предметом научных разысканий, но для древней филологии (и даже для

---

[39] Цицерон пишет, что представление о языке первого римского оратора, Корнелия Цетега, можно составить ex Naevianis scriptis – «по писаниям Невия», умершего, по Цицерону, в консульство того же Цетега и Тудитана (*Brutus* 60), а это с необходимостью предполагает, что «писания» были созданы в конце жизни поэта.

[40] Непосредственным источником для Авла Геллия был Варрон (De comoediis Plautinis Fr. 88 Funaioli). Другое место из Варрона может иметь отношение к этой проблеме: quae tunc velut ad sedandam pestilentiam diligenter repetita atque reparata, nisi postea eodem modo neglecta atque usurpata latitarent, non utique magnae peritiae Varronis tribuereetur, quod scribens de aedibus sacris tam multa ignorata commemorat (Augustinus. De Civ. Dei III 17, 3) – не следует ли здесь видеть не только некие забытые обряды, но и древнейшую драматическую поэзию?

историографии) хронология была проявлением особо изощренной учености, не всем доступной и мало для кого интересной. Исторические же, а тем более телеологические, построения предполагают весьма неопределенное и приблизительное представление о времени (*ratio temporum*), а не точный счет лет (*enumeratio annorum*). Наконец, что имеет далеко не последнее значение, мы должны не упускать из виду темноту и недостоверность в целом плохо документированной ранней римской истории.

Однако главная причина противоречивости наших сведений по хронологии ранней литературы Рима заключается в том, что противоречивы сами первоисточники – древние теории развития, которые, в свою очередь, основаны на древних типологиях жанров. Прежде всего это типология драмы, известная нам, возможно, лучше всего, хотя лишь в самых общих и часто неясных чертах. Но таких типологических проблем гораздо больше: для понимания истории драмы необходима реконструкция древнеримских концепций эпоса, сатуры, наконец, понятия *carmina*. Последнее особенно важно для выявления теоретического фона ранней хронологии. Детальное рассмотрение этого вопроса в настоящей статье невозможно, но здесь достаточно вспомнить о том значении, которое Цицерон придавал «древней латинской поэзии».

Насколько тесно картина литературной истории, созданная древнеримской филологической наукой, связана с общей теорией литературы, видно из текстуальных совпадений «Поэтики» и «Истории зрелищ», которые показывают, что автор римского трактата не просто подражал Аристотелю, но вполне последовательно опирался на «сатиро-дифирамбическую» теорию происхождения драмы. Если наиболее важные параллели в греческом тексте являются интерполяциями, вдохновленными этой теорией (как это пытался доказывает Else), то следует признать: тот текст «Поэтики», которым пользовался автор «Истории зрелищ» (возможно, в начале I в. до н. э.), уже содержал эти дополнения.

С другой стороны, влияние такого рода общих концепций нельзя переоценивать. То обстоятельство, что ранняя и поздняя хронологии устанавливаются для серии связанных между собой дат, еще не доказывает единого происхождения каждого из этих рядов. Авторство Акция для всей поздней хронологии остается правдоподобной, но недоказуемой гипотезой, а метод, применяя который Варрон обосновал раннюю датировку Невия, заключался в исторической и биографической интерпретации текстов,

но для Ливия Андроника этот метод не мог быть использован с большим успехом. Кроме того, нет никаких указаний на то, что Варрон изучал биографию Ливия столь же основательно, как Невия. Итак – quam tangere ut non potuit, discedens ait, – мы должны согласиться с тем, что хронология начального периода римской литературы уже в древности представляла собой смесь недостоверных утверждений и гипотез самого разного происхождения.

Приложение I. Свидетельства Цицерона

Brutus 72: atqui hic Livius [qui] primus fabulam C. Claudio Caeci filio et M. Tuditano consulibus **[240]** docuit anno ipso ante quam natus est Ennius, post Romam conditam autem quarto decumo et quingentesimo, ut hic ait, quem nos sequimur. est enim inter scriptores de numero annorum controversia. (73) *Accius* autem a Q. Maxumo quintum consule captum Tarento scripsit Livium annis XXX post **[209]** quam eum fabulam docuisse *et Atticus scribit et nos in antiquis commentariis invenimus;* docuisse autem fabulam annis post XI **[198]** C. Cornelio Q. Minucio consulibus **[197]** ludis Iuventatis, quos Salinator Senensi proelio voverat. – А ведь *этот Ливий первый поставил драму в консульство Гаия Клавдия, сына Клавдия Слепого, и Марка Тудитана, как раз за год до рождения Энния, а от основания Рима – в год 514, как говорит Аттик, которому я следую (ведь в счете лет* [scl. эры ab Urbe condita] *писатели между собой несогласны). Но Акций пишет, что Ливий был взят в плен Квинтом Максимом в Таренте спустя 30 лет после того года, когда он поставил (впервые) драму, – как о том пишет и Аттик, и, как я нашел, старинные записки. Что касается постановки драмы, то (Акций утверждает, что) это произошло еще 11 лет спустя в консульство Гаия Корнелия и Квинта Минуция* [Q. Minucius C. f. C. N. Rufus] *на играх Ювенты, обещанных Салинатором в сражении при Сене* **[207]**.

Сроки, приводимые Цицероном, нужно понимать так, что даты первой драмы по «по Аттику» и «по Акцию» разделяет 41 полный год. Далее Цицерон приводит аргументы против поздней хронологии:

Brutus 73: in quo tantus error Acci fuit, ut his consulibus XL annos natus Ennius fuerit: quoi aequalis fuerit Livius, minor fuit aliquanto is, qui primus fabulam dedit, quam ii, qui multas docuerant

ante hos consules, et Plautus et Naevius[41] – *в этом ошибка Акция столь велика, что получается, что Эннию при этих консулах* (Гаий Корнелий и Квинт Минуций) *было 40 лет и Ливий был ему сверстником: тот, кто первый поставил драму,* [*сам*] *немного моложе, чем и Плавт, и Невий, которые много раз ставили драмы до этих консулов.*

В более поздних своих сочинениях Цицерон дважды упоминает о Ливии, придерживаясь хронологии, принятой в «Бруте». Счет в годах ab Urbe Condita был непривычен и требовал непомерной акрибии, поэтому в *Tusc. I. 1, 3* Цицерон указывает для «драмы Ливия» ту же консульскую дату, что и в «Бруте», но год – annis *fere cccccx post Romam conditam.* В *De Senect.* 50 – консульскую дату и синхронизм с Катоном Старшим.

Обратимся к чисто хронологическому аспекту свидетельства Цицерона. Вопрос о характере и достоверности старинных записок является, вероятно, неразрешимым. Дело не в значении слова *commentarii* (которое все же может быть выявлено с достаточной точностью), а в том, что нет строго определенных структурных или содержательных критериев, в силу которых к некоторому тексту можно приложить это название. Сам термин не встречается до Цицерона (но *commentarii* – уже у Плавта: Truc. 736; 738), поэтому более ранние «*commentarii*», цитируемые разными авторами (например, Varro De Lingua Lat. VI. 90), вероятно, назывались изначально по-иному. В любом случае состояние римской хронологии было таково, что, даже если записки были сборником магистратских актов, получить точную дату какого-либо события на основании этих документов было бы нелегко. Выкладки такого рода всегда содержат бóльшую или меньшую погрешность (тем бóльшую, чем старее первоисточник!), связанную (помимо недостоверности самой исторической материи) с несоразмерностью хронологических систем, применяемых разными авторами. Дата ab Urbe condita взята Цицероном из «Анналов» Аттика, который был, вероятно, первым римским историком (помимо самого Варрона), принявшим варроновскую эру. Авторитет этой книги, появившейся на свет между 54 и 46 гг., был очень высок, но, как указывает Mattingly, мы не должны пренебрегать словами *et nos invenimus:* Цицерону могли быть доступны книги из библиотеки

[41] Brutus 72, 73 = Atticus Fr. Peter HRR2. 5 = Fr. 1 Funaioli; Accius Fr. 16 ('Didascalica') Morel-Buechner = Fr. 18 Funaioli.

Луция Элия Стилона[42]. Неизвестный автор старинных записок пользовался консульским годом или другой системой: Олимпиадами или псевдоэрой, считая годы от какого-либо события. Что касается Акция, то он, вероятно, указывал в своем труде на консульство Кв. Минуция, но его версия консульских фаст несомненно отличалась от принятой Цицероном. Однако, возможно, Акций говорил о годе, когда Минуций был не консулом, а плебейским эдилом (201), когда в Риме были устроены сценические игры (Liv. XXXI. 4, 4).

Что касается второй части обсуждаемого текста (§ 73), как и *De Senectute* 50, то доказательства спекулятивного происхождения хронологических утверждений Цицерона были приведены в § 5 этой статьи.

О синхронизме Невия и Плавта сказано у Цицерона так:

Brutus 60 (= Varro Fr. 299 Funaioli): illius autem aetatis qui sermo fuerit ex Naevianis scriptis intellegi potest. his enim consulibus, ut in veteribus commentariis scriptum est, Naevius est mortuus; quamquam Varro noster diligentissumus investigator antiquitatis putat in hoc erratum vitamque Naevi producit longius. nam Plautus P. Claudio L. Porcio viginti annis post illos quos ante dixi consulibus mortuus est Catone censore – ***что касается языка эпохи Цетега, то о нем можно судить по писаниям Невия. Ведь, как написано о том в старинных записках, он умер при этих консулах; впрочем, наш Варрон, дотошный исследователь древностей, полагает, что это ошибка: ведь Плавт умер спустя двадцать лет после названных консулов – при Публии Клавдии и Луции Порции в цензорство Катона.***

Это понимание (которого придерживались Дальманн и Маркони[43]) встречает авторитетные возражения, мотивы которых – спасение варроновской хронологии от очевидного затруднения. Варрон, вероятно, *не знал* точных дат жизни Невия, хотя по тексту Цицерона нельзя сказать, *давал* ли он точную дату в своей книге *De poetis*[44]. Но именно Варрон установил, что Невий служил во время Первой Пунической войны, поэтому наиболее вероятная варроновская дата рождения Невия – 275 г. (или более ранняя: по

[42] Mattingly 1971, p. 682.

[43] 'The unstated assumption is that Plautus was Naevius' contemporary. Yet why should Plautus not have outlived his contemporary?' (Douglas 1966, p. 51).

[44] Marmorale 1953, p. 131 sqq; Fraenkel 1931; 625. Marconi 1966, p. 267.

Марморале, который опирается на те же варроновские testimonia и умозрительные соображения, «действительная» дата – 275–270 гг.). Хотя нет ничего невероятного в том, что поэт благополучно дожил почти до ста лет, многим интерпретаторам кажется необходимым отодвинуть варроновскую дату смерти Невия к 200 г. Марморале утверждает, что *producit longius* «не может указывать на слишком значительный промежуток». Более решительна аргументация Mattingly: *Они* [Дальманн и Маркони] не*правильно перевели nam Plautus... в Brutus 60. «Nam» отсылает назад к illius autem aetatis qui sermo fuerit... Невий был единственным надежным свидетелем о разговорном и письменном языке эпохи ганнибаловой войны, поскольку он умер почти одновременно с заключением мира. Плавт представлял, скорее, язык послевоенного поколения*[45].

Но спорный текст имеет совсем иной смысл. Проблема, которой мне пришлось коснуться выше, в том, что Цицерон устанавливает лингвистический синхронизм между Невием и Цетегом, который Невия несомненно моложе. Цетег был курульным эдилом в 213 г., цензором в 209 г., консулом в 204 г. и проконсулом в 203 г.: на рубеже веков ему было, следовательно, 40–50 (или даже меньше) лет; Плавту же, по представлениям Цицерона (напомню, что De Sen. 50 не имеет никакого документального веса), – 50–60, а Невию – около 80 лет. Однако было бы трудно утверждать, что Цетег-оратор (не privatus!) произносил речи языком Плавта, поэтому Цицерон вынужден брать в свидетели не Плавта, а эпического поэта Невия, используя двусмысленное слово *scripta* (ср. § 29, где эта же формула отнесена к Фукидиду).

Приложение II. Варрон и Порций Лицин

Poenico bello secundo Musa pinnato gradu
intulit se bellicosam in Romuli gentem feram...

Fr.1 FPL. Знакомство Варрона с поэмой Порция Лицина подтверждается другой цитатой (De Lingua Latina V. 163 = Fr. 2 FPL), но того же нельзя сказать с определенностью о Цицероне: имя автора, цитируемого в De Fin. I, 5 (= Fr. 5 FPL dubium = Fr. 3 Funaioli), испорчено.

[45] Mattingly 1971, p. 685.

Согласование *bellicosam* грамматически спорно[46], все же (вместе с другими соображениями) контекст Горация, который перефразировал это место Порция Лицина, решительно говорит против *bellicosa musa*[47].

Однако эпитет *bellicosus* по отношению к Риму вовсе не является тривиальным, поскольку применяется к враждебным и варварским народам: таково употребление и Цезаря (e.g. B.G. I. 10, 2), и Цицерона (e.g. Pro lege Manilia 28), и других авторов, – sed bellicosis fata Quiritibus Горация (III. 3, 57), возможно, не будет исключением, так как слова эти вложены в уста Юноны; сюда же относится ряд bellicosi–acres–feroces в осуждающей характеристике, данной консулам в Liv. XXVI. 26, 11 (ср. о Тулле Гостилии I. 31, 5 sqq.). Поэтому Светоний (De Gramm. 1) *bellicosa etiam tum civitate* и Тит Ливий (VII. 2, 3) *bellicoso populo* (cf. I. 20, 2) воспроизводят изречение Порция Лицина и не дают оснований для выводов Frassinetti[48]: e quibus adiect. «bellicosus» Romanae genti cui adprime congruet Latinos scriptores volgo adplicavisse colligitur. Можно думать, скорее, о буквальном переводе греческого ἔθνος πολεμικόν.

Бл. Августин, который описывает картину, очень близкую к «Истории зрелищ», говорит среди прочего: ... quia populo bellicoso... ludorum scenicorum delicata subintravit insania... (De Civ. Dei I 32). Поскольку Августин прямо указывает на «Antiquitates» Варрона как на свой источник в этом вопросе[49], то можно было бы предположить, что выражение *bellicosus populus* наследуется латинскими культурологическими текстами (1) непосредственно из Варрона (2) вместе с рядом идей, которые были связно изложены Варроном вместе с цитатой из Порция Лицина (поэтому «Antiquitates» представляются более подходящим местом для Varronis Fr. 56 Funaioli, чем «De poetis»). Однако вторая гипотеза несомненно ошибочна: даже если dictum Порция Лицина распространился через посредничество Варрона, то отличия в текстах о «воинственном народе» слишком значительны, чтобы говорить об «Истории зрелищ» как об их общем первоисточнике, а о Варроне как об авторе «Истории зрелищ».

[46] Обзор вопроса: Anna 1973, p. 202 sqq.
[47] Brink 1982 p. 185, 205.
[48] Frassinetti 1954, p. 385.
[49] Waszink 1948, p. 228.

Литература

Anna 1954 – *D'Anna G.* Contributo alla cronologia dei poeti latini arcaici. II. La prima rappresentazione di una fabula di Livio Andronico // Rendiconti dell'Istituto Lombardo, Classe di Lettere, Scienze morali e storiche. 87.

Anna 1973 – *D'Anna G.* Alcune osservazioni sulle fonti di Gellio, N.A. XVII, 21 e sulla cronologia geronimiana dei poeti latini arcaici // Archeologia Classica. Rivista della Scuola naz. di Archeologia, XXV–XXVI. P. 166–237.

Anna 1984 – *D'Anna G.* Il problema delle origini delle poesia latina nel Brutus di Cicerone // Ciceroniana V (Rivista di Studi Ciceroniani). P. 81–90.

Astin 1973 – *Astin A.B.* Cato the Censor. Oxford.

Barwick 1933 – *Barwick K.* Das Kultlied des Livius Andronicus // Philologus XLII. P. 201–221.

Beare 1940 – *Beare W.* When did Livius Andronicus come to Rome // Class. Quart. 34. P. 11–19.

Brink 1963 – *Brink Ch. O.* Horace and Varro // Varron: six exposes et discussions... Geneve. P. 173–206 (Fondation Hardt. Entretiens. T. 9).

Brink 1982 – Horace on Poetry. Epistles book II: the Letters to Augustus and Florus / By Ch.O. Brink. Cambridge.

Briscoe 1973 – *Briscoe J.* A Commentary on Livy: Books XXXI–XXXIII. Oxford.

Carratello 1977 – *Carratello U.* La biografia di Livio Andronico // Giornale Italiano di Filologia. Rivista trimestrale di Cultura XXIX. P. 1–28.

Cichorius 1922 – *Cichorius C.* Das älteste carmen saeculare // Römische Studien. Leipzig. S. 1–7.

Cignolo 2002 – Terentiani Mauri De Litteris, De Syllabis, De Metris / A cura di Ch. Cignolo. Hildeseim: Olms.

Dahlmann 1963 – *Dahlmann H.* Studin zu Varro 'De poetis'. Wiesbaden (Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaften Klasse, Jahrgang 1962; 10).

Douglas 1966 – M. Tulli Ciceronis Brutus / Ed. A.E. Douglas. Oxford.

Else 1967 – *Else G.F.* Aristottle's Poetics: the argument. Cambridge (Mass.).

FPL 1995 – Fragmenta Poetarum Latinorum Epicorum et Lyricorum praeter Ennium et Lucilium. Post W. Morel [ed. 1 anni 1927] novis curis adhobitis edidit Carolus Buechner [ed. 2 anni 1982]. Editionem tertiam curavit Jürgen Blänsdorf. Studgardiae et Lipsiae.

Fraenkel 1931 – *Fraenkel E.* Livius Andronicus // RE Spl. V 598–607.

Frassinetti 1954 – *Frassinetti P.* Explanationes ad Porcium Licinum, Petronium et Minucium Felicem // Athenaeum XXXII. P. 384–392.

Hendrickson 1894 – *Hendrickson G.H.* The Dramatic Satura and the Old Comedy in Rome // American Journal of Phil. 15. P. 1–30.
Hendrickson 1898 – *Hendrickson G.H.* A pre-Varronian chapter of Rman literary history // American Journal of Phil. 19. P. 285–311.
Leo 1904 – *Leo F.* Livius und Horaz über die Vorgeschichte des römischen Dramas // Hermes. 39. P. 63–77.
Leo 1912 – *Leo F.* Plautinische Forschungen zur Kritik und Geschichte der Komödie. Berlin.
Leo 1913 – *Leo F.* Geschichte der Römischen Literatur. Bd. 1: Die Archaische Literatur. Berlin.
Marconi 1966 – *Marconi G.* La chronologia di Livio Andronico // Atti della Academia Nazionale dei Lincei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche; Ser. 8. Vol. 12. Roma.
Marmorale 1953 – *Marmorale E.V.* Naevius Poeta. Firenze.
Mattingly 1957 – *Mattingly H.B.* The Date of Livius Andronicus // The Classical Quarterly 7(51). P. 159–163.
Mattingly 1971 – *Mattingly H.B.* [Marconi. La chronologia di Livio Andronico] // Gnomon. 43.
Suerbaum 1968 – *Suerbaum W.* Untersuchungen zur Selbstdarstellung ältrer römischer Dichter: Livius Andronicus, Naevius, Ennius. Hidelsheim (Spudasmata. Bd. 19).
Verdière 1983 —*Verdière R.* Horace et Livius Andronicus // Latomus XLII. P. 383–387
Walsh 1966 – *Walsh P.G.* Livy: His historical aims and method. Cambridge.
Waszink 1948 – *WaszinkJ.H.* Varro, Livy and the History of Roman Dramatic Art // Vigiliae Christianae 2. P. 224–242.

М.М. Сокольская

ЕЩЕ РАЗ О IV ЭКЛОГЕ

IV эклога – о младенце, с рождением которого наступит золотой век, – текст, который классическая филология давно устала комментировать. Конечно, имея дело с произведениями, написанными на злобу дня, от которых нас отделяют тысячелетия, не приходится удивляться, если за недостатком данных мы иногда не вполне понимаем, о чем речь. Но, как правило, лакуны в наших познаниях имеют четкие контуры, так что если отдельные детали и не поддаются восстановлению, то общий смысл сказанного задается удовлетворительным для нашего разумения образом. Однако с IV эклогой дело, как кажется, обстоит не так благополучно.

Возьмем образцовый современный текст, призванный подготовить широкого читателя к восприятию эклоги:

> Мир <между Октавианом и Антонием в год консульства Азиния Поллиона (40 г. до н. э.)> был скреплен браком Антония с сестрой Октавиана и браком Октавиана со Скрибонией, дочерью видного римского сенатора. От обоих браков ожидались сыновья, рождение которых должно было упрочить достигнутый союз; у самого консула Поллиона тоже в этом году родился сын. В такой обстановке образ младенца-миротворца в эклоге, посвященной Поллиону... становится не столь уж удивительным. Надежды оказались обманчивы: у Антония сыновья не родились, у Октавиана родилась дочь Юлия, впоследствии обвиненная в разврате и скончавшаяся в ссылке[1].

[1] *Гаспаров М.Л.* Вергилий, или Поэт будущего // Гаспаров М.Л. Об античной поэзии. СПб.: Азбука, 2000. С. 125.

М.Л. Гаспаров суммирует здесь со своей характерной афористической краткостью то, что принято писать последние полвека в любом комментарии к IV эклоге, и в этой лаконической сводке непроизвольный комизм, не столь явный в многостраничных монографиях или историях античной литературы, достигает пластической выпуклости. Оказывается, в этой обстановке всеобщей беременности Вергилию неизбежно должен был пригрезиться чудесный младенец мужского пола!

К такому решению комментаторской проблемы классическая филология шла долго. Пути ее М.Л. Гаспаров суммирует несколькими строками выше: «Христианство не сомневалось, что Вергилий здесь предсказал рождение Христа; ученые нового времени нашли здесь отголоски греко-иудейских “сивиллиных вещаний”, а сквозь них – библейских пророчеств. Но повод к написанию эклоги был, по-видимому, гораздо более земной»[2].

«Земной» повод к написанию эклоги[3] – филологическая реакция на сделавшую в свое время эпоху книгу Э. Нордена «Рождение младенца»[4], где текст Вергилия трактуется как проявление восточного мессианизма, распространенного в то время в Риме. В свою очередь Норден протестует прежде всего против восходящего еще к античной языческой комментаторской традиции, в особенности к Сервию, поиска «исторического» младенца. Невозможно не согласиться с его призывом: «Пусть в остальном спор об интерпретации эклоги продолжается – но в одном пункте пора бы достичь согласия: забавная игра с вопросом “а был ли мальчик?” должна быть прекращена»[5]. Таким образом, комментаторская традиция Нового времени описала полный круг; при этом выводы ее (несмотря на массу интересных попутных наблюдений) не вышли за пределы того, что было уже сказано к V в. н. э. Если Норден доказывает правоту христианских аполо-

---

[2] *Гаспаров М.Л.* Вергилий, или Поэт будущего // Гаспаров М.Л. Об античной поэзии. СПб.: Азбука, 2000. С. 125.

[3] «diesseitig-römischer Charakter» (в противоположность «мистически-восточным» объяснениям), как выражались немецкие ученые (*Deubner L.* Gnomon I 1925, 167 – цит. по: *Radke G.* Vergils Cumaeum Carmen. Gymnasium, 1959. P. 217). Это направление в интерпретации эклоги возобладало в особенности с появлением книги: *Jachmann G.* Die vierte Ekloge Virgils. Pisa, 1952. Яхман приходит к выводу, что младенец – ожидавшийся ребенок Скрибонии и Октавиана.

[4] *Norden E.* Die Geburt des Kindes. Leipzig, 1924.

[5] Ibid. P. 12.

гетов, увидевших в младенце Спасителя [правоту в том смысле, что как евангельская история, так и IV эклога – тексты, восходящие к традиции ближневосточной мессианской литературы, в случае Вергилия – через посредство Сивиллиных оракулов, один из которых (утраченный) и лежит, по мнению Нордена, в основе стихотворения], то его критики недалеко ушли от Сервия, считавшего эклогу поздравлением Азинию Поллиону с ожидаемым рождением сына[6].

Возражения против последнего («исторического», или «политического») типа экзегезы очевидны: во-первых, поэтические пророчества такого рода – всегда ex eventu. Предполагать, что Вергилий заранее воспевает будущие подвиги младенца мужеского пола, который на деле оказался девочкой, умер сразу после рождения и т. д., абсурдно, поскольку все эти возможности поэт не мог не учитывать. Кроме того – что еще важнее, – как поздравление ко дню рождения чьего бы то ни было сына текст не выдерживает никакой критики. Об отце и отцовстве в эклоге вообще не упоминается (разве что косвенно в стихе 26, но здесь можно подозревать искажение рукописной традиции – об этом пойдет речь ниже), а главное, космические преобразования, связанные с этим рождением, звучат даже не преувеличенной лестью, а просто бессмыслицей по отношению к реальному отпрыску любой, сколь угодно высокопоставленной, семьи, при том что сам ребенок – скорее пассивный созерцатель, чем активный вершитель этих событий. При ближайшем рассмотрении тема эклоги – не младенец, который приведет с собой золотой век, а золотой век, который начнется с рождением младенца.

[6] Впрочем, уже у Сервия заметны характерные колебания в том, посвящено ли стихотворение *консульству* Поллиона или рождению его сына. В комментарии к строке 3 (si canimus silvas, silvae sint consule dignae) он поясняет выражение «пусть леса будут достойны консула» следующим образом: «то есть пусть им будет придана честь, чтобы они были достойны *консула, то есть сына консула* Азиния Поллиона». Об этом сыне, «cui nunc V. genethliacon dicit (поздравление к рождению которого произносит здесь Вергилий)», Сервий сообщает фантастические подробности: этот Салонин, названный так в честь города Салона в Далмации, завоеванного в том же году Поллионом, якобы засмеялся сразу после рождения (это сведение, очевидно, возникло из попытки объяснить risu cognoscere matrem в конце эклоги), «что было для родителей несчастливым предзнаменованием: ибо известно, что этот мальчик умер в первую же пору младенчества (на девятый день)».

Однако и Нордену приходится подвергать текст во многих его ключевых моментах насилию, чтобы придать ему желаемый «восточный» характер. Так, из текста Вергилия никак не следует, что упомянутая в стихе 6 Дева была матерью младенца, а его появляющаяся в заключительных строках мать – Девой. Более того, Дева упомянута в контексте[7], хорошо знакомом из античной литературной традиции: речь идет о Праведности, или Добродетели (Деве Праведности, «партенос Дикэ» Гесиода, «Труды и дни», 256); «стыд и справедливость», по словам Гесиода (200–201), покинули землю, когда наступил железный век (у Арата землю покидает в аналогичном случае дева Астрея, она же Справедливость, – «Феномены», 133–6)[8]. О «возвращении пренебрегнутой Добродетели» (neglecta redire Virtus) упоминается и у Горация в Carmen saeculare, и это гораздо более близкие и очевидные параллели к Вергилию, чем пророчество Исайи, на которое ссылается Норден[9].

---

[7] Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna («вот возвращается и Дева, возвращается царство Сатурна»).

[8] «Феномены» Арата были в I в. до н. э. настолько популярны в Риме, что существовали уже и по-латыни (в переводе Цицерона). Соответствующий миф (в связи с созвездием Девы) звучит у Цицерона так (105–138): «...sed nec femineos spernens invisere coetus, / Leti expers, generi mortali mixta resedit, / nomine Justitiae gaudens ; senibusque coactis, / sive foro in magno, seu latipatente platea, / civiles populis dictabat sedula leges. / Nec mala lis fuerat, necdum discordia nota, / nec fera seditio furiarat mobile vulgus, / saeva nec audaces fuerant freta pressa carinas: / sed bubus tracto sulcantes vomere terras, / malebant tenui contenti vivere cultu, / sufficiente Dea justis pleno omnia cornu / Haec manet, in sanctis dum gens manet aurea terris/ Sed non argenti nimis est laetata metall; / moribus at versis, prior est quoque versa voluntas, / raraque pejori junxit sua numina genti. / Sola sed ex raucis descendens montibus ibat / sub noctem, nulli teneris blandita loquelis. / Sed simul ac magnas hominum venisset ad urbes, / improba terrificis sic ulta est crimina verbis : / Non ego me dignor posthac monstrare videndam, / degener o primae proles nunc altera prolis, / degeneres iterumque iterumque habitura nepotes. / Tunc fera bella hominum generi, caedesque nefandae / impendent, culpamque comes sua poena sequetur. / Sic ait, et populos intenta etiam ora tenentes / linquit et ad montes silvarumque avia tendit. / Haec aetas vitam liquit, sobolemque reliquit. / Ferrea tum vero proles exorta repente est, / ausaque funestum prima est fabricarier ensem, / et gustare manu victum domitumque juvencum».

[9] Так без колебаний понимает упоминание Девы Сервий, то же пишут и современные комментаторы, таково и непосредственное восприятие читателя, знакомого с античной литературой, – казалось бы, нет смысла повторять эти рассуждения. Однако привычка видеть в IV эклоге особенно загадочный, «многозначный» текст приводит к тому, что, например, в современном комментированном издании *Буколик* R. Coleman'a (Cambridge, 1977. P. 131–132, 133 ad loc.) после упоминания Арата и Гесиода сообщается: «...more important however is the role of the Virgin in oriental Apocalyptic»; а в примечании к строке 7 (nova proge-

Упомянув Carmen saeculare, мы подошли еще к одному контексту, важному (как давно уже замечено[10]) для понимания IV эклоги: к идее смены saecula. Как ни странно, не так-то легко

nies) говорится, что, хотя это выражение вписывается в гесиодовскую традицию, согласно которой каждый новый век характеризуется новосозданным людским племенем, все же «the birth of a child is a widespread apocalyptic symbol in Near-Eastern religion». Снова приводятся египетские упоминания девы, рождающей младенца, и пророчество Исайи на тот же предмет. И хотя автор отмечает, что из текста не следует, чтобы Дева была матерью младенца или же матерью nova progenies (на самом деле из текста довольно явственно следует обратное), все же рассуждение завершается многозначительно-расплывчатым выводом: «Certainly the assimilation of the Virgin Mother of the Wonder Child from oriental prophecy to the virgin Dike-Astraia of greek mythology would provide a plausible starting point for the complementary development of the poem's two dominant themes – the return of the Golden Age and the birth and growth of the Child». Однако предположение, что Вергилий в своей поэзии «ассимилировал» (в пределах полустишия) все со всем, не способствует лучшему пониманию его поэзии. О nova progenies см. ниже. Спустя 17 лет после книги Колемана вышло новое издание эклог с введением и комментариями на английском языке: *Clausen W.* A Commentary on Virgil. Eclogues / Edited with an Introduction and Commentary. Oxford; Clarendon, 1994. Здесь снова отождествление младенца предпринимается на основании соображений о политической конъюнктуре 40 г. до н. э., так что он оказывается ожидаемым (но никогда не существовавшим) сыном Антония от Октавии. Привожу отрывок из опубликованной в Bryn Mawr Classical Review (20.09.1995) рецензии на эту книгу (автор James Clauss), чтобы показать, как мало сдвигов (за исключением призывов к резиньяции) произошло в подходах к этому тексту: «What then of the unnamed child of the Fourth *Eclogue*? On the Basis of the Allusion to the Pact of Brundisium, Packed into Mention of Pollio's Consulship, and to Hercules at *Ec.* 4.15–17, Clausen reasonably concludes that the child was the expected offspring of Anthony and Octavia. Failure to appreciate the second allusion, given Anthony's claim of descent from Hercules, it is argued, has caused scholars to miss the point. He states: "In the year 40 BC... Anthony, not Octavian, was 'the greatest prince o' the world', and of this their contemporaries, spectators of the mighty drama, could be in no doubt. In the year 40 BC, Octavian was a sickly if determined and ruthless young man; the future Augustus unimaginable" (p. 125). The argument is hard to resist. Still I – and I am not alone in this – find it hard to believe Vergil would have risked investing such a magnificent poem in a boy who might not – and did not – exist. If the poet wanted to celebrate an important political birth, he would have been wiser to follow the example of Callimachus in the *Hymn to Delos* and predict the birth of a dynast after the fact. Instead, I prefer to follow Clausen's pronouncement that identification can prove to be an "inadequate response" to so allusive, and I would add mysterious, a poet. Vergil didn't tell; perhaps we shouldn't ask, or at least harbor our suspicions without insisting».

[10] См. в вышедшем в 1920 г. томе Pauly-Wissowa (2. Reihe, Hbb. 2) статью Ludi saeculares (M.P. Nilsson): «...но полнозвучнейшим свидетельством влияния на умы "секулярной" идеи является написанная в 40 г. до н. э. IV эклога Вергилия...» (стлб. 1708, с дальнейшими интересными соображениями).

подобрать русский перевод для этого важного понятия римской культуры. Carmen saeculare принято переводить как «юбилейный гимн», Ludi saeculares – как «вековые игры», а строка 5 эклоги IV: magnus ab integro saeclorum nascitur ordo переведена в цитированной выше статье М.Л. Гаспарова как «великий строй *столетий* рождается в нетронутой цельности»[11]. Между тем saeculum вовсе не обязательно насчитывал сто лет; в частности, Август настаивал (и Гораций включил это настояние в начало своей праздничной кантаты) на том, что продолжительность saeculum – 110 лет. Но таким раз навсегда установленным промежутком может определяться лишь saeculum civile, «государственный век», необходимое в административных целях огрубление действительной ситуации. Что же до saeculum naturale, как рассказывает Цензорин[12], автор III в н. э., реферирующий Варрона, старшего современника Вергилия, то длина его для каждого поколения различна. Причем Цензорину, как и нам, знакома проблема неоднозначности слов «век» (в смысле «срок человеческой жизни») и «поколение», поэтому он старается дать возможно более точное определение: «Век – это длиннейший срок человеческой жизни, ограниченный рождением и смертью. Поэтому те, кто считает веком 30 лет, думается, сильно заблуждаются. По Гераклиту, этот срок зовется γενεά, так как в этом промежутке заключен круг поколения; а кругом поколения он называет время, пока природа обратится от одного человеческого посева к следующему...»[13]

Хотя Цензорин ссылается здесь на греческих авторов, для латинского понятия saeculum важно упоминание о посеве. Сло-

[11] То, что перевод выполнен прозой, а не стихами, не должно вводить читателя в заблуждение относительно его задач: здесь передано не «техническое» содержание, а как раз поэтически-торжественное звучание вергилиевой строки. Буквально же сказано: «большой ряд поколений нарождается с самого начала», где magnus ordo = magnus annus (представление из халдейской астрологии о круговороте времен как месяцев космического «большого года», который, завершившись, повторяется сначала); это отождествление подтверждается выражением magni... menses в строке 12.

[12] De die natali, XVII.

[13] *Цензорин.* Книга о дне рождения / Пер. В.Л. Цымбурского // Вестник древней истории. 1986. № 3. С. 228. Saeculum est spatium vitae humanae longissimum partu et morte definitum. Quare, qui annos triginta saeculum putarunt, multum videntur errasse. Hoc enim tempus genean vocari Heraclitus auctor est, quia orbis aetatis in eo sit spatio. Orbem autem vocat aetatis, dum natura ab sementi humana ad sementim revertitur.

во saeculum (неясной этимологии, возможно, как многие термины римского календаря и культа, этрусского происхождения) по одной из версий происходит от serere – «сеять»[14]. Saeculum – это людской «посев», которым небо в определенное время заселяет землю[15]. Так пишет и Вергилий: «...вот посылается с высокого неба новое поколение (iam nova progenies coelo demittitur alto)» (7). Таким образом, жизнь человеческого рода не течет единым непрерывным потоком, а членится на отрезки, имеющие четкую границу. Более того, жизнь и нравы людей внутри каждого такого отрезка кардинально различны, и, что, может быть, еще важнее, различны их отношения с богами: небо не всегда равноудалено от земли. Об этом рассказывает Плутарх в связи с событиями 88 г. до н. э. («Сулла»,): «...с безоблачного, совершенно ясного неба прозвучал трубный глас, такой пронзительный и горестный, что все обезумели от страха перед величием этого знамения. Этрусские толкователи объявили, что чудо это предвещает смену поколений и преображение всего сущего. Существует, говорили они, восемь человеческих поколений, различающихся между собой нравами и укладом жизни, и для каждого божеством отведено и исчислено время, ограниченное кругом большого года. Когда же этому кругу приходит конец и начинается новый, всякий раз то ли из земли, то ли с неба приходит какое-нибудь удивительное знамение, чтобы те, кто размышлял над такими вещами и умудрен в них, тотчас поняли, что в мир явились люди, и живущие, и мыслящие по-иному, и боги пекутся о них больше или меньше, чем о прежних»[16]. Поскольку эти границы поколений («веков») не даны нам в опыте, важнейшей проблемой становится их определение и правильное истолкование относящихся сюда знамений. Об этом также рассказывает Цензорин (XVII): «Но хотя истина и скрывается во тьме, однако о том, каковы естественные века в каждом государстве, учат как будто этрусские обрядовые книги. Говорят, в них

---

[14] Lateinisches Etymologisches Wörterbuch von A. Walde. 3. neubearbeitete Auflage von J.B. Hofmann. Heidelberg, 1954. Bd. 2 [статьи Saeculum (S. 460–461) и Sero (S. 522); Sero образовано с удвоением от корня sē (или sēi); среди приводимых параллелей особенно интересно готское manaseþs – «человечество, мир», собственно «человеческий посев» (Menschensaat)].

[15] Ср. определение первого значения слова: Oxford Latin Dictionary: The Body of Individuals Born at a Particular Time, Generation.

[16] Пер. В.М. Смирина.

написано, что начала столетий определяются так: “в который год основывается город или государство – проживший дольше всех из рожденных в этот день определяет днем своей смерти размер первого века; а из остающихся в этот день в государстве тот, кто провел самую долгую жизнь, опять же определяет своей смертью конец второго века. И затем так же размечаются сроки остальных. Но поскольку люди о том в неведении, посылаются божественные знамения, указывающие, что каждый из веков окончен”. Эти знамения этруски, опытные в гаруспиции и в своей науке, усердно наблюдая, занесли в книги. Поэтому в “Тускской истории”, написанной, по Варрону, в восьмом их веке, содержится и то, сколько веков было дано этому племени, и каков был каждый из них, и какими знамениями были отмечены их исходы. И написано так, что четыре первые века были по сто лет, пятый – 123, шестой – 119, седьмой – столько же, восьмой тогда еще длился, оставались девятый и десятый, по истечении которых должен был наступить конец этрусскому имени»[17].

Итак, проблема ожидаемого конца saeculum занимала умы, очевидно, в течение всего I в. до н. э., и «вековые игры», наконец отпразднованные Августом в 17 г., были завершением долгого подготовительного периода, ответом на давно назревшее ожидание. В той же главе Цензорина рассказывается, опять же со ссылкой Варрона, сколь запутанным оказался вопрос как о предполагаемой дате конца очередного saeculum, так и о предыдущих празд-

---

[17] Вестник древней истории. 1986. № 3. С. 229.

Sed licet veritas in obscuro latet, tamen in unaquaque civitate quae sint naturalia saecula, rituales Etruscorum libri videntur docere, in quis scriptum esse fertur initia sic poni saeculorum: quo die urbes adque civitates constituerentur, de his, qui eo die nati essent, eum, qui diutissime vixisset, die mortis suis primi saeculi modulum finire, eoque die qui essent reliqui in civitate, de his rursum eius mortem, qui longissimam egisset aetatem, finem esse saeculi secundi. Sic deinceps tempus reliquorum terminari. Sed ea quod ignorarent homines, portenta mitti divinitus, quibus admonerentur, unumquodque saeculum esse finitum. Haec portenta Etrusci pro haruspicii disciplinaeque suae peritia diligenter observata in libros rettulerunt. Quare in Tuscis historiis, quae octavo eorum saeculo scriptae sunt, ut Varro testatur, et quot numero saecula ei genti data sint, et transactorum singula quanta fuerint quibusve ostentis eorum exitus designati sint, continetur. Itaque scriptum est quattuor prima saecula annorum fuisse centenum, quintum centum viginti trium, sextum undeviginti et centum, septimum totidem, octavum tum demum agi, nonum et decimum superesse, quibus transactis finem fore nominis Etrusci.

нованиях «вековых игр» – когда они отмечались и отмечались ли вообще: «А у римлян, по мнению некоторых, века разграничивались вековыми играми. Но если этому верить с определенностью, то неопределенной окажется сама величина римского века. Ведь не только неизвестно, сколько было в прошлом промежутков времени, которые должны были знаменоваться этими играми, но даже сколько их должно было быть»[18]. Следующее за этим ученое и сложное рассуждение, долженствующее обосновать соответствующую хронологию, точнее, две конкурирующие хронологии с циклами в 110 и в 100 лет, показывает, насколько животрепещущим был этот вопрос задолго до 17 г. Подробное обсуждение этой хронологии, сравнительные таблицы предлагаемых разными источниками дат представлены в той же статье – Saeculares ludi в RE, для нас же интересно то, что предыдущие игры были отпразднованы, по мнению Варрона, в 149 г. до н. э., так что к моменту консульства Поллиона подходил срок следующих.

В особенности же обострилось ощущение достигнутого предела, необходимости очищения и примирения с богами после мартовских ид 44 г. до н. э. Среди многочисленных чудес и знамений, последовавших, согласно традиции, за убийством Цезаря, особое место занимает «sidus Iulium», «stella crinita», «хвостатая звезда», о которой Светоний в биографии божественного Юлия (88) рассказывает так: «Он [Цезарь] погиб на пятьдесят шестом году жизни и был сопричтен к богам не только словами указов, но и убеждением толпы. Во всяком случае, когда во время игр, которые впервые в честь его обожествления давал его наследник Август, хвостатая звезда сияла в небе семь ночей подряд, появляясь около одиннадцатого часа, то все поверили, что это душа Цезаря, вознесенного на небо. Вот почему изображается он со звездою над головой»[19]. Однако же были и другие истолкования. Сервий в ком-

[18] Вестник древней истории. 1986. № 3. С. 229. Romanorum autem saecula quidam ludis saecularibus putant distingui; cui rei fides si certa est, modus Romani saeculi est incertus: temporum enim intervalla, quibus ludi isti debeant referri, non modo quanta fuerint retro ignoratur, sed ne quanta quidem esse debeant scitur.

[19] Пер. М.Л. Гаспарова. Periit sexto et quinquagesimo aetatis anno atque in deorum numerum relatus est, non ore modo decernentium, sed et persuasione vulgi. Siquidem ludis, quos primos consecrato ei heres Augustus edebat, stella crinita per septem continuos dies fulsit, exoriens circa undecimam horam, creditque est animam esse Caesaris in caelum recepti; et hac de causa simulacro eius in vertice additur stella.

ментарии к эклоге IX, 47, рассказав ту же историю, добавляет следующее: «Но гаруспик Вулкаций сказал на сходке, что это комета, означающая конец девятого века и начало десятого, но поскольку он разглашает эту тайну против воли богов, то сейчас погибнет на месте; и, не успев закончить речь, тут же на сходке скончался. Об этом рассказывает Август во второй книге воспоминаний о своей жизни»[20].

Неудивительно, что в эпоху гражданских войн и полного разброда в государстве, обнаружившего также полное падение нравов, люди говорили, что «настали последние времена». Для нас здесь важно, что в Риме конца республиканской эпохи, в отличие, например, от позднейшей христианской Европы, это ощущение связывалось не с ожиданием конца света, а с представлением о цикличности, о том, что после железного века вновь может наступить золотой (если, конечно, люди одумаются и не упустят случая примириться с богами).

Учение о «saecula» наглядно воплощало идею такого обновления без предшествующего разрыва, без мировой катастрофы. При этом в обновленных Августом «вековых играх» ученые отмечают смещение акцентов по сравнению с тем, что реконструируется как архаическая традиция. Если изначально речь шла о похоронах минувшего века и праздник был посвящен в основном подземным богам, Диту и Прозерпине, то игры 17 г. – празднество рождения нового века. Отмечается также смещение в I в. значения выражения «saeculum condere»: изначально оно означало «заканчивать старый век», теперь же приобретает значение «основывать новый saeculum»[21]. Божества, которым теперь в первую очередь приносятся жертвы, – это Парки (Мойры), богини, определяющие судьбу новорожденного, Илифии (римск. Люцина) – богини-родовспомогательницы и мать-земля. Эти божества упомянуты в «вековом оракуле»[22], прорицании Сивиллиных книг, на основании которого был в 17 г. составлен ритуал празднества, отраженный в

[20] Vulcatius haruspex in contione dixit cometen esse qui significaret exitum novi saeculi et ingressum decimi, sed quod invitis diis secreta rerum pronuntiaret, statim se esse moriturum, et nondum finita oratione in ipsa contione concidit. Hoc etiam Augustus in libro secundo de memoria vitae suae complexus est.

[21] RE, art. cit., col. 1716, со ссылкой на Виссова (о характере игр 17 г.) и Узенера (о выражении saeculum condere).

[22] Приведен у Зосима, «Новая история», II, 6.

точности и в сочиненной по этому случаю Горацием праздничной кантате. Принято писать, что Август едва ли не лично непосредственно к случаю выдумал этот ритуал и заказал подходящий к нему оракул. Тем интереснее, что наша эклога, не имеющая отношения к официальному празднованию и государственному заказу, перечисляет тот же ряд божеств, что и оракул у Зосимы, и Гораций в Carmen saeculare: Люцина, Парки, Аполлон. Свидетельствует это, очевидно, вовсе не о том, что Вергилий уже в 40 г. был «на службе у власти» (которая в это время еще и установиться-то не успела), как это часто представляют, а о том, что Август в своей культурной и религиозной политике умел прислушиваться к чаяниям века, воплощать в официальный ритуал то, что было – еще во времена его ранней молодости – актуально для общества. Творческая инициатива в художественном оформлении принципата исходила оттуда, откуда ей следует исходить, – от художников; иначе эта эпоха не стала бы золотым веком латинской поэзии.

Если акцент в представлении о смене веков смещается с конца века предыдущего на начало наступающего, то неудивительно было бы (и, как кажется, заложено в ритуале с призыванием Илифий), чтобы решающей вехой стала считаться не смерть последнего представителя предшествующего поколения, а рождение первого представителя нового. Об этом-то младенце, как нам представляется, и говорит IV эклога. Поэту вольно было представить (это, на наш взгляд, легко допустимая поэтическая вольность), что такая честь – открыть своим рождением новый век, «новый посев» людей, самим Юпитером посланный с неба, – выпадет непременно мальчику (а не девочке), и притом такому, который в будущем прославит себя великими подвигами, которые поэт сможет когда-нибудь, если боги продлят его дни, воспеть. Во всяком случае, здесь пророчеству не грозило разоблачение в ближайшее время по естественным причинам, как это было бы при преждевременном поздравлении счастливому отцу. А поэтические пророчества по самой своей сути должны быть неопровержимы, а потому возможны, очевидно, только в двух случаях – либо ex eventu, либо тогда, когда проверить их истинность принципиально невозможно. Перед нами, видимо, второй случай.

Обратимся подробнее к самому тексту Буколик. Каков бы ни был порядок написания эклог, в существующем сборнике IV эклога занимает место вслед за III, где ее адресат, старший друг поэта, полководец, политический деятель и в то же время поэт-

«неотерик» Азиний Поллион, близкий в молодости к Катуллу, также упомянут в тональности, характерной для дружеских взаимных обращений «новых поэтов». В III эклоге два пастуха ведут шутливое поэтическое состязание. Ближе к концу (84–87) их диалог приобретает такой вид:

Дамет: Поллион любит нашу Музу, хоть она и сельская простушка.
Пиэриды, вскармливайте телку своему читателю!
Меналк: Поллион и сам сочиняет новые стихи: вскармливайте быка,
Который уже бьет рогом и взрывает копытами песок.

Эклога IV как бы подхватывает это обращение к другу-поэту, не гнушающемуся сельскими песнями, но по особенному поводу: Поллиону предстоит стать консулом, т. е. не просто занять высшую должность в государстве (значение самой по себе должности в эпоху господства триумвиров уже не то, что во времена Республики), но и увековечить свое имя в календаре. Скоро настанет год, который навсегда станет называться «годом консульства Поллиона и Кальвина». Причем перед нами редкий случай, когда у Вергилия (работавшего, как известно, исключительно медленно) было достаточно времени, чтобы подготовить поздравление: консулов на 42–38 гг. до н. э. триумвиры назначили заранее, еще в 43 г. до н. э., так что Поллион был consul designatus в течение нескольких лет (зато реально отправлять свою должность ему пришлось лишь несколько месяцев, но для содержания эклоги это совершенно не важно: 40-й год нашего летосчисления все равно назывался в римском календаре с первого своего дня годом Поллиона и его коллеги). Собственно, Вергилий мог сочинить свое поздравление в любой момент в промежутке с 43 по конец 41 г. до н. э., а это, судя по всему, время, когда о приближающемся конце saeculum много говорили. Не раз отмечалось, что и на монетах конца 40-х годов часто встречаются рог изобилия, кадуцей и солнце – символы золотого века. К тому же Сивиллины книги, к которым в обычное время могли обращаться лишь «квиндецимвиры», члены специально для этого существовавшей «коллегии пятнадцати», и то исключительно по специальному постановлению сената ввиду особых знамений и с условием хранить в тайне полученные оракулы, – Сивиллины книги, точнее отдельные оракулы из них, во время гражданских войн ходили по рукам и переписывались по

всему Риму, так что по завершении этого бурного периода Августу пришлось в 12 г. до н. э. приказать все ходящие по Риму предсказания представить на рассмотрение претору, затем массу «апокрифов» сжечь, а немногие признанные подлинными торжественно передать на хранение в палатинский храм Аполлона. Поэтому даже если ритуал «вековых игр» и не намечался официально на 40 г. до н. э. (у нас нет об этом свидетельств, если не считать таковым саму эклогу), вполне могло существовать мнение в кругах эрудитов (к которым, несомненно, относились и Поллион, и Вергилий), что именно в этом году правильно было бы их отпраздновать. Книги Варрона с такого рода подсчетами также появились в это время: Antiquitates в 41 г. до н. э., а книга De gente populi Romani, откуда Августин цитирует место, видимо, обосновывающее правильность «saeculum» в 110 лет[23], в 43 г. Поскольку Варрон датировал предыдущие игры 149 г. (в переводе на наше счисление), можно предположить, что 40 г. мог представляться ближайшей подходящей датой для давно ожидаемого ритуала[24].

Итак, другу подобает по такому исключительному случаю особое поздравление: paulo maiora canamus! Впрочем, Вергилий не обещает ничего исключительного, никакого «юбилейного гимна», ничего, что делало бы IV эклогу качественно несопоставимой с девятью ее сестрами. Это по-прежнему «пастушеская песнь» (silvae), но «в чуть более серьезном тоне», «достойная консула». Что же особенного может сказать поэт об этом годе? Оказывается, «настало "последнее время" кумского предсказания... возвращается царство Сатурна... с высокого неба посылается новое поколе-

---

[23] Aug. De civ. dei 22, 28: «Marcus Varro ponit in libris quos conscripsit de gente populi Romani, cuius putavi verba ipsa esse ponenda: "Genethliaci quidam scripserunt" inquit "esse in renascendis hominibus quam appelant παλινγενεσίαν Graeci. Hac scripserunt confici in annis numero quadringentis quadraginta ut idem corpus et eadem anima, quae fuerint coniuncta in homine aliquando, eadem rursus redeant in comiunctionem» («Марк Варрон пишет в сочинении "О происхождении римского народа", и я считаю нужным привести его собственные слова: некоторые генетлиаки писали, что у людей бывает повторное рождение, которое греки называют "палингенесия"; они пишут, что по истечении четырехсот сорока лет то же тело и та же душа, некогда соединенные в человеке, снова приходят в то же соединение»).

[24] Так, по крайней мере, трактует это Гардтхаузен в старой, но очень полезной работе «Август и его время» (*Gardthausen V.* Augustus und seine Zeit. Erster Theil. Zweiter Band. Leipzig; Teubner, 1896. S. 1007).

ние...», но все это при том условии (modo), если Люцина, богиня рождений, окажется благосклонной к рождающемуся младенцу, «с рождением которого только и закончится железное племя, и возникнет по всему миру племя золотое» (8–9). М.Л. Гаспаров переводит в цитировавшейся статье: «К рождающемуся младенцу, *пред которым* иссякнет железный и взойдет золотой род по целому миру...» По-латыни:

tu modo nascenti puero, quo ferrea primum
desinet ac toto surget gens aurea mundo...

Конечно, перевод аблатива quo зависит от общего представления о смысле фразы и даже, если позволительно так выразиться, о смысле младенца. И все же самое простое с точки зрения грамматики решение – что это ablativus absolutus, причастие которого дополняется из первой половины строки: «к рождающемуся младенцу, с рождением которого...», т. е. «nascenti puero, quo nascente...». То есть «момент рождения младенца есть момент рождения золотого поколения». Из этой фразы не следует, чтобы младенец в каком-либо активном смысле «приводил» золотой век; значение abl. abs. здесь чисто временнóе. «Пассивную роль» младенца не раз с удивлением отмечали комментаторы. Он просто растет – и вместе с ним растет и набирает силу золотой век.

Из текста эклоги решительно невозможно догадаться (как убедительнее всего доказывают вековые комментаторские усилия), кто отец младенца. Можно даже утверждать, что он вовсе не упомянут (что при нашем толковании неудивительно). Однако это утверждение требует обоснования. Две строки – 17-я (pacatumque reget patriis virtutibus orbem) и 26-я (ac simul heroum laudes et facta parentis) – могут быть приведены в опровержение. В первом случае «отеческие доблести» скорее всего надо понимать в общем смысле, как «доблести предков»; во втором случае получается (вместе со строкой 27): «когда ты начнешь читать хвалы героям и деяния отца». Еще Нордена (исходившего из того, что мальчик – божественный Спаситель) удивляла эта предстоящая младенцу не мистическая деятельность чтения, и он предполагал какое-нибудь другое, не известное современным читателям значение для legere. В то же время, если исходить из того, что отец ребенка – адресат эклоги и, следовательно, еще жив, непонятно, почему о его деяниях мальчику придется «читать», а не просто

слышать или даже видеть их. Между тем в одной из рукописей V в. н. э. читается «facta parentum». Конечно, это свидетельство одной (хотя и древней) рукописи против многих. Но учитывая, что чтение parentis согласуется с преобладавшей в то время интерпретацией эклоги как пророчества о Христе (как и с распространенным мнением, что Вергилий имеет в виду Августа) и что общее представление о смысле текста влияет на передачу деталей не только у переводчика, но и у переписчика, можно считать, что parentum заслуживает предпочтения как lectio difficilior. Фраза же в целом получается вполне осмысленной и означает примерно: «когда ты пойдешь в школу», – поскольку «хвалы героям» (мифология) и «деяния отцов» (история) и составляли основную материю обучения.

Что до матери младенца, упоминаемой в последних строках эклоги, то контроверза по ее поводу не историческая, а текстологическая:

Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem
(matri longa decem tulerunt fastidia menses)
incipe, parve puer: qui non risere parenti,
nec deus hunc mensa, dea nec dignata cubili est.

Чтение parenti – конъектура, в рукописях стоит parentes, что заставляет понимать qui как эквивалент cui (через написание quoi); dat. sing. представлен и в некоторых рукописях. Это место цитируется у Квинтилиана (Inst.or. IX, 3.8) в таком же виде, как в рукописях Вергилия, однако из его комментария следует, что он читал qui (понимая его как подлежащее) risere. Вопрос сводится к тому, кто кому улыбается: мать младенцу или младенец матери. В зависимости от того, кто является подлежащим предпоследней строки, меняется и толкование risu: «улыбкой узнавать мать» (т. е. «показывать улыбкой, что узнаешь мать») или «узнавать мать по ее улыбке». В упоминавшейся статье М.Л. Гаспарова перевод такой[25]: «Мальчик, начни в улыбке узнавать свою мать! долгою мукой были ей десять твоих месяцев. Мальчик, начни! ведь кого обошли улыбкою мать и отец, того ни бог не допустит к трапезе, ни богиня к ложу». Это решение нельзя назвать общепринятым. Coleman замечает в своем комментарии (ad loc. P. 148), на наш взгляд справедливо, что чтение cui non risere parentes «gives easy

[25] *Гаспаров М.Л.* Указ. соч. С. 125.

grammar but feeble sense». Гаспарову улыбка матери понадобилась, чтобы сказать, что «не плотская любовь, а материнская – вот для Вергилия символ его золотого века. Для античности этот образ так необычен, что IV эклога на две тысячи лет осталась самым загадочно-привлекательным произведением древней поэзии». Между тем, поскольку строки содержат эмфатическое, повторяющееся обращение к мальчику, естественнее предположить, что его и просят улыбаться, чтобы вознаградить мать за десятимесячные страдания (и картина получается в самом деле очень живая, в лучшем александрийском вкусе: то, что педиатры обозначают как «комплекс оживления» младенца при виде знакомого лица). Последние же строки вообще не получили внятного толкования, поскольку фраза Сервия proinde nobilibus pueris editis in atrio domus Iunoni lectus Herculi mensa ponebatur («потому что при рождении мальчика в благородных семействах в атрии дома ставилось ложе Юноне и стол Геркулесу») решительно ничего не объясняет. Те, кто настаивал на сверхъестественном происхождении младенца, видели в этих строках указание на risus praecox (который, по мнению Сервия, указывал, что сын Поллиона – не жилец на этом свете). Однако живая бытовая картинка этим предположением разрушается, а строки не становятся осмысленнее. Во всяком случае непонятно, причем тут трапеза бога и ложе богини. Не объясняя этого, все комментаторы, однако, делали одно молчаливое допущение: речь как будто о том, если кто-то кому-то (младенец матери или родители младенцу) не улыбнется, то младенец будет за это наказан – причем наказан лишением таких благ, для достижения которых одной улыбки (в любом направлении) явно недостаточно. Этот маловразумительный сюжет неизбежно возникает при чтении, если исходить из того, что младенец – определенное лицо, перед которым стоят индивидуальные задачи.

Между тем, если предположить, что Вергилий возвращается в конце эклоги к тому, с чего начал, как бы вкратце суммируя сказанное, то текст, может быть, окажется более простым. От младенца в начале эклоги требовалось только одно – родиться (tu modo nascenti puero .. casta fave Lucina). Затем на протяжении всей эклоги говорилось о том, как будет возрастать и укрепляться вместе с ним золотой век. Кажется естественным, если Вергилий заключит этот рассказ пожеланием: «Только расти благополучно!» (о хрупкости младенческой жизни в те времена помнили очень хорошо). Похоже, именно так понимал эти строки блаженный Иероним,

судя по тому, как он использует этот образ в одном из своих посланий (ep. 130, 6): «Putasne frustra infans parvulus, et qui vix *matrem risu et vultus hilaritate cognoscat*... morbo opprimitur regio» (издатель в Патрологии Миня делает примечание «expressum ex illo Virgilii versu Ecl. IV <...>»)[26] («уж не думаешь ли ты, что напрасно совсем крошечный ребенок, едва еще узнающий мать улыбкой и радостным выражением лица... поражается разлитием желчи»). Цензорин говорит, что младенцы до 40-го дня жизни «не умеют улыбаться и находятся в опасности» (sine risu nec sine periculo sunt) и что по прошествии этого срока («тессаракосты») в семьях новорожденных отмечается специальный праздник[27] в знак того, что мать и младенец миновали опасный период (и будут, следовательно, жить дальше). Таким образом, говоря: «Только начни, малыш, улыбаться матери, только начни!» – Вергилий, как нам кажется, всего лишь говорит «только останься жив, минуй благополучно опаснейшую фазу младенчества». Понятно, что без этого минимального условия мальчику не достичь никаких будущих благ. Но почему все-таки «трапеза бога и ложе богини»?

Еще в начале эклоги (строки 15–16) о младенце говорилось, что он «примет жизнь богов и увидит героев вместе с богами, и сам будет им заметен» (ille deum vitam accipiet divisque videbit / permixtos heroas et ipse videbitur illis). О том, что в счастливые времена героев боги нередко общались с людьми и показывались им, говорится в схожих словах в «Эпиталамии Пелея и Фетиды» у Катулла:

praesentes namque ante domos inuisere castas
heroum, et sese mortali ostendere coetu,
caelicolae nondum spreta pietate solebant.

(Прежде, пока благочестие еще не было презрено людьми, жители небес нередко посещали благочестивые дома героев и показывались на людских сборищах.)

Стихотворение Катулла заканчивается словами:

quare nec talis dignantur uisere coetus,
nec se contingi patiuntur lumine claro.

(И поэтому они [боги] не удостаивают посещением такие сборища и не позволяют к себе прикоснуться при дневном свете[28].)

[26] PL, t. XXII (1845), p. 1120.
[27] Cens. de die nat. XI.
[28] Cat. 64, 385–387, 407–408.

Эпиллий Катулла вообще не безразличен для понимания IV эклоги, поскольку в этой последней содержится по крайней мере одна явная, несомненно рассчитанная на узнавание цитата оттуда: рефрен песни Парок у Катулла

currite ducentes subtegmina, currite, fusi.

(строки 326, 332, 336, 341, 346, 351, 355, 360, 364, 370, 374) отразился у Вергилия как

«Talia saecla» suis dixerunt «currite» fusis
concordes stabili fatorum numine Parcae.

Не раз отмечалась исключительная лексическая и даже метрическая близость между IV эклогой и 64-м стихотворением катулловского сборника[29]. Наиболее яркие примеры – «nautica pinus» (строка 38) как обозначение корабля (заключающее в себе парадокс, а тем самым и осуждение мореплавания как противоестественного занятия, в котором выросшее в горах дерево оказывается во власти чуждого ему элемента); «et altera quae vehat Argo dalectos heroas» (строки 34–35) (у Катулла аргонавты названы lecti iuuenes, Argiuae robora pubis, строка 4); полустишие priscae vestigia fraudis – о «первородном грехе» человечества, связанном с противоестественными умениями (мореплавание, вспахивание земли железом и проч.), ассоциируемыми с фигурой Прометея. У Катулла Прометей появляется, неся на себе ueteris uestigia poenae (строка 294)[30].

Существенна и тематическая близость обоих стихотворений. Тема Катулла, по крайней мере в «рамочной» части эпиллия, т. е. в повествовании о браке Пелея и Фетиды, – счастье поколения героев, к которому боги стояли так близко, что смертный мог взять в жены богиню с согласия самого Юпитера, и все боги пировали гостями у него на свадьбе –

tum Thetidis Peleus incensus fertur amore,
tum Thetis humanos non despexit hymenaeos,
tum Thetidi pater ipse iugandum Pelea sensit.

---

[29] Сводку и библиографию по этому вопросу см.: *Berg W.* Early Virgil (Eclogues). L., 1974. P. 162–166.

[30] Это завершение гекзаметра так полюбилось Вергилию, что он еще спустя 20 лет сделал из него знаменитое veteris vestigia flammae в IV песни «Энеиды» (строка 23).

o nimis optato saeclorum tempore nati[31]
heroes, saluete, deum genus! o bona matrum
progenies, saluete iter... (19–24)

(Тогда, говорят, Пелей воспылал любовью к Фетиде, тогда Фетида не презрела брака со смертным, тогда сам отец согласился соединить Фетиду с Пелеем. О, рожденные в желаннейший из всех веков герои, божественный род, привет вам! о, доброе потомство матерей, привет вам снова!)
– и несчастье нынешнего поколения, погрязшего в разврате и бесчестье, с которым боги уже не желают иметь ничего общего.

Пелей как тот из смертных, кому выпало величайшее счастье делить ложе с богиней и трапезу с богами, не индивидуальная интерпретация мифа у Катулла. В этом качестве он фигурирует уже в Илиаде, где Гера говорит (XXIV, 59–63):

... богиню Фетиду
Я взлелеяла, я возрастила и милой супругой
Мужу вручила Пелею, любезному всем нам, бессмертным.
Все вы, бессмертные, были на браке...[32]

В IV Немейской оде Пиндара (65–68) о Пелее говорится то же самое: «Он взял в жены одну из высокопрестольных Нереид и видел прекрасный круг владык земли и моря, пришедших к нему на пир и принесших дары»; в VI Истмийской оде он назван «блаженный зять богов» (строка 25)[33]. У Катулла Пелей – смертный, чья высшая близость с богами делает его самым ярким примером тех блаженных времен, когда небо не было наглухо отделено от земли, когда боги и люди находились в живом общении. Теперь это не так, по вине людской испорченности. Как сказано в приведенном выше отрывке из Плутарха, с каждым новым поколением в мир приходят «люди, и живущие, и мыслящие по-иному, и боги пекутся о них больше или меньше, чем о прежних». Младенец Вергилия – представитель нового поколения, которое снова будет в такой же тесной дружбе с богами, как поколение героев. Если он благополучно вырастет, ему суждено то, что выпало на

[31] Ср. IV эклога, 53: o mihi tum longae maneat pars ultima vitae!

[32] Правда, в этом месте «Илиады» речь идет о том, что боги, пировавшие на свадьбе, вероломно не пощадили Ахилла, отпрыска этого брака.

[33] См. об этом: *Klingner Fr.* Catulls Peleus-Epos. München, 1956.

долю Пелея, – «делить трапезу с богом и ложе с богиней». А если поэт доживет до этого счастливого времени, то сможет воспеть его подвиги, и уж тогда его не победят в поэтическом состязании ни Орфей, ни Лин, ни даже сам аркадский Пан у себя в Аркадии! – этими ироническими гиперболами подхвачена начатая в III эклоге тема поэтического состязания.

Так велико было на протяжении многих веков внимание к IV эклоге, благодаря которой изображение ее автора попало даже на стены Благовещенского собора в Кремле, что трудно воспринимать этот текст как органичную составную часть сборника, в который он включен, и поэтической традиции, к которой он принадлежит. Однако наши нынешние (тоже исторически обусловленные) представления о том, что такое «понимать» текст, подталкивают к движению именно в этом направлении.

О.В. Зубакина

ПИНДАР И ГОРАЦИЙ: КОМПОЗИЦИЯ ОДЫ 4.8

Ода 4.8 (*Donarem pateras...*) – одна из самых «стройных» и «программных» од Горация – сравнительно редко становилась предметом композиционного анализа. В основном исследователи пытались решить многочисленные текстологические трудности (в частности, число строк не кратно четырем в отличие от других од, написанных первым асклепиадовым стихом, а 17-й стих является метрическим гапаксом)[1]. Между тем анализ построения этой оды, примыкающей к пиндаровскому циклу и занимающей центральное положение в четвертой книге од, может многое дать для понимания соотношения «пиндаровского», «каллимаховского» и «римского» в творчестве Горация. Не имея возможности обсуждать здесь текстологические вопросы, мы будем рассматривать оду целиком, включая «сомнительные», по мнению некоторых издателей, стихи 17 и 33 (тем более что их исключение не повлекло бы никаких изменений в структуре оды).

Оду можно условно разделить на три части, каждая из которых начинается с изображения материальных ценностей, отвергаемых по принципу *recusatio*, за которым следует «правильное решение» – выбор в пользу поэзии.

---

[1] Проблемными считаются стихи 15–19. См.: *Lachmann K.* Philologus. 1846. № 1. P. 164–166.*Jachmann G.* Philologus. 1935. № 90. P. 331–340. *Harrison S.J.* The Praise Singer: Horace, Censorinus and Odes 4.8 // The Journal of Roman Studies. 1990. Vol. 80. P. 31–43; *Syndikus H.P.* Die Lyrik des Horaz. Eine Interpretation der Oden. Band II: Drittes und viertes Buch, 2001. P. 48–68.

Donarem pateras grataque commodus,
Censorine, meis aera sodalibus,
donarem tripodas, praemia fortium
Graiorum, neque tu pessuma munerum
ferres, divite me scilicet artium
quas aut Parrhasius protulit aut Scopas,
hic saxo, liquidis ille coloribus
sollers nunc hominem ponere, nunc deum.
sed non haec mihi vis, nec tibi talium
res est aut animus deliciarum egens:
gaudes carminibus; carmina possumus
donare, et pretium dicere muneri.

non incisa notis marmora publicis,
per quae spiritus et vita redit bonis
post mortem ducibus, non celeres fugae
reiectaeque retrorsum Hannibalis minae
non incendia Karthaginis inpiae
eius qui domita nomen ab Africa
lucratus rediit clarius indicant
laudes quam Calabrae Pierides, neque
si chartae sileant quod bene feceris,
mercedem tuleris.

quid foret Iliae
Mavortisque puer, si taciturnitas
obstaret meritis invida Romuli?
ereptum Stygiis fluctibus Aeacum
virtus et favor et lingua potentium
vatum divitibus consecrat insulis.
dignum laude virum Musa vetat mori
caelo Musa beat. sic Iovis interest
optatis epulis inpiger Hercules,
clarum Tyndaridae sidus ab infimis
quassas eripiunt aequoribus ratis,
ornatus viridi tempora pampino
Liber vota bonos ducit ad exitus.

Я бы мог, Цензорин, любезно подарить своим товарищам приятные подарки – чаши и медную утварь, подарил бы и треножники – награду сильных греков, и ты получил бы великолепные дары, если, конечно, я был бы богат произведениями искусства, что явили Паррасий или Скопас, искусные в создании как людей, так и богов, один из камня, а другой жидкими красками. Но у меня иное положение, да и твое имущество и душа не нуждаются в такой роскоши. Ты любишь песни – песни я могу дать и назвать стоимость дара.

Ни мрамор с высеченными надписями, в котором дыхание и жизнь возвращаются к достойным вождям после смерти, ни быстрое бегство Ганнибала, по которому бумерангом ударили собственные угрозы, ни сожжение нечестивого Карфагена тем, кто возвратился, стяжав себе имя от покоренной Африки, не возвещают славы яснее, чем калабрийские пиериды; и ты не извлечешь пользы, если таблички умолчат о твоих деяниях.

Чем стал бы сын Илии и Марса, если бы завистливое молчание свело на нет достоинства Ромула? Доблесть, милость и язык могущественных поэтов приобщают Эака к островам Блаженных, выхватив его из стигийских волн. Мужу, достойному славы, Муза не дает умереть, к небу Муза возносит. Так не знающий отдыха Геракл участвует в заветных пирах Зевса, ясные звезды Тиндариды выхватывают из глубины вод разбитые суда, увенчанный зеленым побегом винограда Либер приводит чаяния к доброму исходу.

Соотнесение поэтического творчества с дарением чаши восходит к зачину седьмой олимпийской оды Пиндара:

Φιάλαν ὡς εἴ τις ἀφνειᾶς ἀπὸ χειρὸς ἑλὼν
ἔνδον ἀμπέλου καχλάζοισαν δρόσῳ
δωρήσεται
νεανίᾳ γαμβρῷ προπίνων
    οἴκοθεν οἴκαδε, πάγχρυσον, κορυφὰν κτεάνων,
<…>
καὶ ἐγὼ νέκταρ χυτόν, Μοισᾶν δόσιν, ἀεθλοφόροις
ἀνδράσιν πέμπων, γλυκὺν καρπὸν φρενός,
ἱλάσκομαι,
Ὀλυμπίᾳ Πυθοῖ τε νικώντεσσιν·

Подобно тому, кто, приняв из изобилующей руки чашу, изнутри пенящуюся виноградной влагой, отпив, станет передавать

молодому зятю – из дома в дом, всю из золота, как высшее достояние <...>, так и я, посылая наградоносным мужам текучий нектар – дар муз, сладкий плод души, стараюсь о милости к ним, победившим в Олимпии и Пифо.

Здесь чаша – не альтернатива песне, а метафора, описывающая ее «механизм»: сначала Муза дарует поэту вдохновение (вино в чаше), затем поэт, отпив из нее, т. е. восприняв и переведя на земной язык божественное содержание песни, посылает ее победителю, а также богу, отметившему победителя своим благоволением. Таким образом, Гораций, сохраняя тему (поэзия) и последовательность (сравнение с дарением чаши, затем обещание песни), меняет смысл на противоположный, превращая пиндаровское уподобление песни и чаши в противопоставление. Он как бы раскалывает пиндаровскую метафору на два элемента, первый из них подвергает «овеществлению» (чаша) и противопоставляет его второму (песня). Примерно так же он поступает со второй пиндаровской цитатой, задействованной в этом зачине. Треножники, чаши и медь – *praemia fortium Graiorum* – отсылают к Кастору и Иолаю из первой истмийской оды[2], которые τριπόδεσσιν ἐκόσμησαν δόμον καὶ λεβήτεσσιν φιάλαισί τε χρυσοῦ γευόμενοι στεφάνων νικαφόρων[3]. Драгоценные награды и венки – стандартные метонимии триумфа, они почти тождественны друг другу, причем венки у Пиндара являются атрибутом как победителя, так и поэта. Гораций же вводит скрытое противопоставление: *praemia fortium* – явная аллюзия на стоящих в такой же метрической позиции (второе полустишие первого асклепиадова стиха) *praemia frontium* из первой оды[4] (где, в свою очередь, намечено противопоставление атлетов[5] и поэта[6], немыслимое у Пиндара, постоянно подчеркивавшего взаимозависимость героя, дающего повод для

---

[2] Реминисценция отмечена Харрисоном: *Harrison S.J.* Op cit. P. 34.

[3] I.1.19–22: украсили дом треножниками и золотыми чашами и сосудами, отведав победоносных венков.

[4] 1.1.29: *doctarum hederae praemia frontium.*

[5] 1.1.3–4: *Sunt quos curriculo pulverem olympicum Collegisse juvat* (некоторым нравится колесницей сбирать олимпийскую пыль).

[6] 1.1.29–30: *Me doctarum hederae praemia frontium Dis miscent superis* (меня же причисляет к богам плющ – награда ученых голов). Еще четче это противопоставление выражено в оде 4.3 (*Quem tu, Melpomene, semel...*).

общения с Музой, и поэта, приобщающего героя к бессмертию). Тем самым Гораций противопоставляет грубых греков с их материальными ценностями римлянам, для которых высшей наградой являются *hederae*, предназначенные поэтам.

Этот прием – переработка греческого источника, в ходе которой происходит «овеществление» одного из элементов единого образа, – встречается у Горация довольно часто[7] и восходит к эллинистической поэтике, основной принцип которой можно, вслед за Питером Бингом[8], определить как «artistic disjunction» (нарушение художественной условности, дающее эффект «остранения»). Так, в александрийской псевдогимнической лирике в центре внимания часто оказывается неожиданная реалистическая подробность[9], отвлекающая от «воспевания» и гротескным образом заостряющая некоторые черты пародируемого жанра. Например, Феокрит в третьей идиллии пародирует классический пиндаровский ход, известный как «break-off»[10] (внезапное прерывание хвалы или увещевания), меняя при этом пиндаровскую мотивировку (умолкаю, чтобы не превысить меру и не рассердить богов) на комически-бытовую: Ἀλγέω τὰν κεφαλάν, τὶν δ' οὐ μέλει. οὐκέτ' ἀείδω[11]. Случай, более близкий к горациевскому «контрастному овеществлению», находим в каллимаховском гимне к Делосу, где обыгрывается непременная составляющая пиндаровской хвалы – воспевание города, откуда происходит победитель, и бога, покровительствующего этому городу. Каллимах разбивает эту связку, противопоставляя другие города, понимаемые «конкретно», как городские стены, Делосу, который не нуждается в ограде, так как его охраняет божество[12].

---

[7] Например, в оде 3.16 (*Inclusam Danaen turris aenea...*): образ золотого дождя, в виде которого Зевс спустился к Данае, становится золотом материальным, и вся история превращается в аллегорию взятки (деньги всюду проникнут), после чего Гораций противопоставляет этому продажному миру себя, бедного поэта.

[8] *Bing P.* The Well-read Muse. Present and Past in Callimachus and the Hellenistic Poets. Göttingen, 1988.

[9] См:. Zanker о «гипертрофированном реализме» эллинистической поэзии: *Zanker C.* Realism in Alexandrian Poetry: a Literature and its Audience. Broom Helm, 1987

[10] Термин Элроя Банди, принятый в западном пиндароведении.

[11] *Idyll.* 3.52: Голова болит, а тебе все равно. Больше не буду петь.

[12] *In Del.* 25: τείχεα μὲν <..>κε πέσοιεν· θεὸς δ' ἀεὶ ἀστυφέλικτος (стены... могут пасть, а бог вечно незыблем).

Замечательно, как Гораций перерабатывает этот александрийский прием. Он как бы доводит его до предела и «переворачивает», так что «овеществленный» элемент метафоры (чаша) не «остраняется», «снижая» пиндаровский образ, но создает смыслообразующую антитезу (материальное vs поэзия), которая выполняет ту же композиционную функцию, что и пиндаровское уподобление, – это зачин, открывающий «пространство» произведения, в котором может реализоваться его «цель». Для Пиндара такой целью была максимально эффективная хвала победителю, «узаконивающая» милость к нему божества, а поскольку прославление тождественно песне, то метафорическое описание самого процесса ее создания (божество внушает поэту песнь, обеспечивающую бессмертие, а он передает ее герою, точно чашу с вином) является очень «конструктивным», сразу задавая «божественное измерение» хвалы. Целью же горациевской оды является утверждение «августовской идеологии» (Рим – величайшее государство, так как в нем сложилась четкая система ценностей, сводимая к тезису «сила духа выше материи», поэтому он одержал столько побед, – но бессмертными они станут только благодаря поэзии), и противопоставление чаши и песни открывает ему возможность вписать пиндаровский сюжет в «стоическую» парадигму (духовное лучше материального), которая является хорошей основой для утверждения парадигмы «политической» (Рим превосходит другие страны) и «литературной» (поэт выше прочих смертных). «Стоическую» схему, лежащую в основе первой части оды, выдает лексика – прежде всего определение *commodus*. Для стоиков понятие *commodum* стоит в ряду негативных ценностей, подобно *voluptas* и т. п.[13] Слово *deliciae* (nec *tibi talium res est aut **animus deliciarum egens***) отсылает к стоическому термину, обозначающему наслаждение физической стороной жизни, в том числе едой и предметами роскоши[14], к которым мудрый должен быть равно-

[13] Cic.De fin.5.45.11: *commodum corporis*.

[14] Cic.Parad.Stoic.1.10.7: *aut argenti ad avaritiam aut amoenitatum ad delectationem aut supellectilis ad delicias aut epularum ad voluptates* (или к жадности до серебра, или к наслаждению прелестями природы, или к избалованности утварью, или к смакованию яств) – постыдную склонность ко всему этому, по словам Цицерона, питают современные римляне.

душен[15]. Эта аллюзия напоминает о стоицизме Катона, еще раз утверждая «римские» ценности в противовес греческим. С другой стороны, согласно стоической концепции только прекрасное является благом (*summum bonum*) – в данном случае им оказывается *carmen*.

Сюжетное оформление для этой схемы (шутливое обращение к другу, которому сначала наобещали подарков, а потом отказали по бедности, зато пообещали предоставить «утонченные» радости) Гораций, видимо, заимствовал из 13-го стихотворения Катулла. Оно начинается с ироничного обещания, за которым следует фамильярное обращение к другу: *Cenabis bene, mi Fabulle, apud me*[16]... – так же строится шутливое начало горациевской оды: *Donarem pateras* <...> *commodus, Censorine*. Затем и у Катулла, и у Горация идет обещание «в общих чертах» – до первого слова четвертого стиха включительно, а оставшиеся четыре слова в этом стихе представляют собой типично катулловское ироничное уточнение с усилительным отрицанием: *non sine candida puella*[17] у Катулла, в горациевском варианте – *neque tu pessuma munerum*. Далее следуют более конкретные обещания: Катулл перечисляет яства, Гораций – скульптуры и картины. Наконец рассказчик разоблачает себя: Катулл делает комическое признание – сам он обеспечить эту роскошь не в состоянии (*nam tui Catulli plenus sacculus est aranearum*)[18], в то время как Гораций коротко констатирует: *sed non haec mihi vis*. В обмен Катулл предлагает более «возвышенные» дары: *amores* и *quid suavius elegantiusvest*[19], т. е. *unguentum*, «мазь», Гораций же вполне серьезно обещает подарить песню.

Итак, Гораций выстраивает из исходно пиндаровских элементов стоическую (и, шире, «горацианско-августовскую») «парадигму», наложив ее на сюжет шутливого стихотворения Катулла. Интересно, что воплощает он эту схему в «динамичной» композиции, сходной с композицией од Пиндара. Последняя

---

[15] Sen.Dial.1.4.9.1: *Fugite* ***delicias****, fugite enervantem felicitatem qua* ***animi*** *permadescunt* (избегайте роскоши, избегайте расслабляющего преуспевания, от которого размокает дух); Cic.Tusc.Disp.5.78.8: ***deliciis*** *otio languore desidia* ***animum*** *infecimus* (мы отравляем дух избалованностью, праздностью, бездействием, расслабленностью).

[16] Ты хорошо пообедаешь у меня, Фабулл.

[17] причем с симпатичной девушкой.

[18] ведь у твоего Катулла кошелек полон паутины.

[19] любовь и нечто более сладкое и утонченное.

была подробно описана Элроем Банди[20] и его последователями (ода строится таким образом, чтобы хвала постепенно нарастала по мере приближения к кульминации – непосредственному прославлению победителя). Например, зачин подводит к восхвалению города победителя, удостоенного милости богов, затем это восхваление оттеняется «страшной историей» о гневе богов, призванной подчеркнуть следующий цикл хвалы, относящейся уже к отцу героя, а потом следует еще более устрашающая иллюстрация, подготавливающая кульминацию – ликующее прославление победителя. Ода 4.8 строится по такому же принципу: внимание постепенно фокусируется на объекте прославления – поэзии. В первой части подарки следуют в порядке «от материального к духовному», соответствующем порядку перечисления адресатов: сначала банальные *pateras, aera* и *tripodas,* предназначенные безымянным *sodalibus,* затем скульптуры и картины, обещанные другу Цензорину. И именно в этот момент Гораций прибегает к ретардации (опять-таки пиндаровский прием: чем дольше затягивается кульминация за счет введения дополнительных мифологических примеров, сентенций и пр., тем эффектнее будет выглядеть финальная хвала). Вместо того чтобы закончить ирреальный период на *artibus* и «перейти к делу», он вводит три «декоративных» уточнения: *Quas aut Parrhasius protulit aut Scopas, Hic saxo, liquidis ille coloribus Sollers nunc hominem ponere, nunc deum.* Фигура «или–или» встречается у Горация настолько часто, что Грегсон Дэвис в своей замечательной и интересной книге даже обозначил ее специальным термином: «парные уточнения» – «complementaries» (бывают еще в виде *seu..seu* и *vel...vel*)[21]. Видимо, мы имеем дело со специфическим горациевским приемом, ведущим свое происхождение от эллинистической поэзии: см., например, начало каллимаховского гимна к Зевсу, где воспевающий не может решить, как обратиться к богу: πῶς καί νιν, Δικταῖον ἀείσομεν ἠὲ Λυκαῖον[22]. Как и в случае с «александрийским овеществлением», здесь возникает комический эффект, нарушающий жанровую условность

[20] *Bundy E.* Studia Pindarica // University of California. Publications in Classical Philology. 1962. Vol. 18. № 1–2.

[21] *Davis G.* Polyhymnia. The Rhetoric of Horatian Lyric Discource. Berkeley, 1991. P. 163.

[22] *In Jov.*5: «...как будем воспевать его – как [Зевса] Диктейского или Ликейского?»

(в гимне нельзя колебаться в выборе обращений и делиться своими сомнениями, чтобы не прервать «инерцию воспевания», иначе получится пародия на гимн, позволяющая автору продемонстрировать свою эрудицию)[23]. Однако Гораций использует нарочитую затянутость и избыточность «complementaries» несколько иначе: он помещает их в самом конце ирреального периода, где уже наметилось движение от *pateras* к *artes*, чтобы высветить таким образом давно ожидаемую «развязку» (*carmina possumus donare*) – аналог пиндаровской «кульминации» (т. е., как и в случае с «овеществлением одного из элементов пиндаровской метафоры», он использует александрийский прием так, что тот не нарушает композиционную логику оды, а, наоборот, усиливает ее)[24].

Интересно, что переход к «первой кульминации» строится строго по правилам пиндаровской риторики: за длинным ирреальным периодом следует «стоическая» сентенция в форме отрицания (*sed non haec mihi vis...*), затем констатация «реального положения дел» (*gaudes carminibus*), заканчивающаяся ключевым *carmen*, с которого начнется «кульминация» (*carmina possumus donare*). Ср., например, подготовку кульминации в первой строфе

---

[23] Точно так же у Феокрита (*Idyll.*1.65) традиционное обращение к божеству («где Вы были, Музы, когда умирал Дафнис?») остраняется и пародируется за счет «парных уточнений» ἦ κατὰ Πηνειῶ καλὰ τέμπεα, ἢ κατὰ Πίνδω; («в прекрасных долинах Пенея или Пинда?»): автор хвастается своим знанием «исторической географии» и иронизирует – в таком контексте список мест подчеркивает не всесилие Муз, способных перемещаться повсюду, а их безответственность («где вы там разгуливали, когда умирал Дафнис?!!»).

[24] Представляется, что это справедливо для всех случаев использования Горацием «парных уточнений», в частности для оды 1.12 (*Quem virum aut heroa* ***lyra vel acri tibia*** *sumis celebrare, Clio?*), отсылающей к зачину O.2.2: «τίνα θεόν, τίν' ἥρωα, τίνα δ' ἄνδρα κελαδήσομεν». Гораций переворачивает пиндаровскую (от бога к человеку) последовательность и одновременно «замедляет темп» (поскольку и ответ предполагается более пространным, чем в греческом источнике). После дословно переведенного *quem virum* и чуть более «вальяжного» *aut heroa* должен появиться третий участник, которому суждено стать героем оды, – и им, вопреки читательскому ожиданию, подсказывающему «бога», оказывается «избыточное» *lyra vel acri tibia*. Тем самым поэтическая вольность Горация оказывается в «ударной позиции», на месте божества, – мы снова видим, как александрийский прием, использовавшийся для «прерывания гимнической инерции», встраивается Горацием в «целенаправленную» композицию пиндаровского типа.

восьмой пифийской оды: сначала философская сентенция[25], затем «отрицательная иллюстрация» из «реальности», которая заканчивается именем Аполлона, – и он же начнет следующий колон, прославляющий победителя[26].

Весь этот отрывок содержит еще один пиндаровский подтекст. Его сюжет – подарок другу как жест доброй воли – воспроизводит не только зачин шестой олимпийской оды, но и один из ключевых образов Пиндара: уподобление отношений воспевающего и воспеваемого связи между проксенами, которые обмениваются подарками и гостят друг у друга[27]. Именно поэтому подарки называются *munera*, т. е. почетный, «социально значимый» дар. Таким образом, в стихах 1–12 мы видим не только динамику

[25] Типичный пиндаровский «гномический переход» («gnomic transition» – термин Банди).

[26] P.8.13–20: κέρδος δὲ φίλτατον, / ἑκόντος εἴ τις ἐκ δόμων φέροι / βία δὲ καὶ μεγάλαυχον ἔσφαλεν ἐν χρόνῳ. / Τυφὼς Κίλιξ ἑκατόγκρανος οὔ νιν ἄλυξεν, / οὐδὲ μὰν βασιλεὺς Γιγάντων· δμᾶθεν δὲ κεραυνῷ / τόξοισί τ' **Ἀπόλλωνος· ὃς** εὐμενεῖ νόῳ / Ξενάρκειον ἔδεκτο Κίρραθεν ἐστεφανωμένον / υἱὸν ποίᾳ Παρνασσίδι Δωριεῖ τε κώμῳ. (Выгода милее всего, когда ее получают от добровольного дарителя; сила же и надменного в свое время зыблет. Тифон Киликиец о ста черепах и даже царь гигантов не волновались об этом, но перуном и стрелами укротил их Аполлон – который [ныне] благожелательно принял Ксенархова сына из Кирры, увенчанного парнасским растением и дорийским песнопением.)

[27] «Прагматика» проксенической метафоры состоит в том, чтобы убедить бога «не завидовать» успеху поэта и победителя, поскольку они оплатили свою выгоду (κέρδος), а также побудить воспеваемого заплатить поэту достойную плату, поскольку тот сполна «вознаградил» его труд песней, приносящей эстетическое наслаждение и бессмертную славу. О победителе часто говорится, что он φιλόξεινος (гостеприимен), сам поэт называет себя его проксеном (ξεῖνός εἰμι – №. 7.61 и пр.). Песню Пиндар называет ὕμνων θησαυρός (P. 6.78), «сокровищем гимнов» (она является «валютой» – показателем ценности победы и одновременно объектом обмена), а также κτέαυα, «имуществом», – победитель, удостоенный хвалы, оставляет своему роду «ценнейшее достояние – радость доброго имени» (P.11.58: εὐώνυμον κτεάνων κρατίσταν χάριν). В P. 6.51–52 принцип действия хвалебной песни описывается глаголом ἀμείβομαι (стандартный термин для обозначения обмена дарами между проксенами): благочестивый, «сладкий» нрав победителя (γλυκεῖα φρὴν) «обменивается» (ἀμείβεται) на такой же сладкий «долбленый труд пчел» (μελισσᾶν τρητὸν πόνον), т. е. песню. Об «экономическом» аспекте эпиникиев см.: *Kurke L.* The Traffic in Praise: Pindar and the Poetics of Social Economy. Ithaca, 1991.

от «материального» к поэзии, но и движение от александрийско-катулловской условности (***donarem** commodus... neque pessuma **munerum***) к «римскому» утверждению (*carmina possumus donare*) и «пиндаровской» формулировке (*et pretium dicere **muneri***). Значение *pretium* тут близко к пиндаровской «плате» (μισθός), которую поэт получает от адресата оды. И μισθός, и *pretium* означают «реальную цену» произведения, но если пиндаровский μισθός появляется в контексте «взаимовыгодных» финансовых отношений заказчика и исполнителя песни[28], причем настолько часто, что получение платы может метонимически обозначать саму песню[29], то Гораций говорит о ценности поэзии вообще[30].

«Вторая попытка» (ст. 13–22) строится так же, как и первая: сначала «*recusatio*»[31], в основу которого положен пиндаровский зачин, затем «утверждение», где Гораций восстанавливает *status quo* песни, используя при этом пиндаровскую «проксеническую» лексику. Сама антитеза «скульптура–поэзия» (*non incisa notis marmora publicis per quae spiritus et vita redit... post mortem ducibus... clarius indicant laudes quam Calabrae Pierides*) отсылает к зачину пятой немейской оды:

Οὐκ ἀνδριαντοποιός εἰμ', ὥστ' ἐλινύσοντα ἐργά-
ζεσθαι ἀγάλματ' ἐπ' αὐτᾶς βαθμίδος
ἑσταότ'· ἀλλ' ἐπὶ πάσας
ὁλκάδος ἔν τ' ἀκάτῳ, γλυκεῖ' ἀοιδά,
στεῖχ' ἀπ' Αἰγίνας διαγγέλλοισ', ὅτι
Λάμπωνος υἱὸς <...>

Я не создатель статуй, чтобы делать неподвижные изваяния, стоящие на одном и том же постаменте. Но – на грузовом корабле и в челне – ступай из Эгины, сладостная песня, всюду возвещая, что сын Лампона...

---

28 P.11.41: Μοῖσα, τὸ δὲ τεόν, εἰ μισθοῖο συνέθευ παρέχειν φωνὰν ὑπάργυρον (Муза, если ты сдана внаем, чтобы за плату издавать посеребренный звук...) и пр.

29 P.1.75: ἀρέομαι πὰρ μὲν Σαλαμῖνος Ἀθαναίων χάριν μισθόν – «молю о милой плате афинян у Саламина» (т. е. о воспевании победы Афин в Саламинской битве).

30 Ср. Ars Poetica, 299: *pretium nomenque poetae* (цена и имя поэта).

31 Понятие употребляется условно, не в строгом значении термина. Синдикус в своем комментарии к этой оде пользуется словосочетанием Negative Aussage – «отрицательное утверждение» (*Syndikus H.P.* Op. cit. P. 48–68).

Пиндар подчеркивает «мобильность», действенность своей песни, противопоставляя ее поэзии статичной и однообразной, чьи образы сравниваются с неподвижными статуями[32]. Гораций же поступает с пиндаровским сравнением так же, как и с метафорой «чаша–песня» в первой части: он «овеществляет» первый его компонент, так что статуи оказываются уже не символом вялой поэзии, а реальными памятниками, которые противопоставляются песне (в рамках все той же схемы «материальное vs духовное»).

Второй источник славы, противопоставленный поэзии, – исторические события сами по себе, а именно поражение Ганнибала от рук Сципиона Африканского: *reiectaeque* ***retrorsum*** *Hannibalis* ***minae*** *Non incendia Karthaginis impiae Eius qui* ***domita*** *nomen ab Africa lucratus rediit.* В этом описании Гораций задействует еще один пиндаровский источник – на этот раз отрывок из второй олимпийской оды[33]:

<…> τῶν δὲ πεπραγμένων
ἐν δίκᾳ τε καὶ παρὰ δίκαν ἀποίητον οὐδ' ἄν
Χρόνος ὁ πάντων πατὴρ
δύναιτο θέμεν ἔργων τέλος·
λάθα δὲ πότμῳ σὺν εὐδαίμονι γένοιτ' ἄν.
ἐσλῶν γὰρ ὑπὸ χαρμάτων πῆμα θνᾴσκει
παλίγκοτον δαμασθέν,
ὅταν θεοῦ Μοῖρα πέμπῃ
ἀνεκὰς ὄλβον ὑψηλόν[34].

<...> и справедливым, и несправедливым делам даже Время, отец всего, не смогло бы положить конец. Но при счастливом жребии может наступить забвение. Ибо для добрых людей страдание, вспыхивающее вновь и вновь, умирает, укрощенное радостью, когда божья Доля посылает ввысь высокое счастье.

Пиндаровский смысл – все дела остаются, сколько бы времени ни прошло, но благодаря богу гложущее (**παλίγκοτον** – «заново гневающееся», угрожающее, т. е. вновь и вновь возвращающееся) страдание хороших людей может утихнуть, покорившись

[32] Ср. P.8.32–34: τράχον ἴτω τεὸν χρέος, ὦ παῖ, … ἐμᾷ ποτανὸν ἀμφὶ μαχανᾷ (мальчик, пусть твое деяние бежит бегом, обретя крылья в моем мастерстве).

[33] Та самая ода, чей зачин послужил основой для 1.12 (*Quem virum aut heroa...*).

[34] O.2.15–22.

(**δαμασθέν**), – меняется Горацием на противоположный: все деяния стираются из памяти с течением времени, но благодаря поэту может ожить страдание злого Ганнибала, его вернувшиеся к нему угрозы (reiectae **retrorsum... minae**), покорение его страны (**domita** ab Africa). Здесь Гораций снова прибегает к «контрастному овеществлению», разбив пиндаровский образ (страдание добрых укрощается вопреки законам времени) на «сниженное» описание конкретного поражения Ганнибала («страдание укрощается») и триумфа Сципиона («добрых») – и противопоставленную им «вневременну́ю» славу поэзии. Гораций как бы говорит: чтобы вырваться из «сансары», недостаточно сочетания достоинств самого человека и воли бога (как у Пиндара) – это находится во власти поэта.

В целом вторая часть строится так же, как и первая: блок начинается с перечисления «материальных» конкурентов песни, причем ретардация увеличивается по мере усиления «аргументов». Сначала появляются сами памятники, потом «возвышенное» определение к ним: *per quae spiritus et vita...* – аналог *praemia fortium Graiorum*, служившего приложением к *pateras* и *aera*. Затем упоминается новый источник славы, еще более действенный, – сами деяния, т. е. победа над Ганнибалом. Этот аргумент соответствует *artibus*, обещанным Цензорину в первой части: повышается «качество» (может, кто-то и не увидит статуй отдельных вождей, но все запомнят Пунические войны), появляются конкретные имена (по контрасту с безымянными *sodalibus* и *bonis ducibus*), наконец, само описание отличается большей искусностью – триумф римлян показан «глазами Другого» – как *celeres fugae* Ганнибала и пожар в Карфагене (соответственно и в стихах 1–12 о втором подарке говорится уже не от первого лица, а как бы «со стороны Цензорина»: *neque tu pessuma munerum ferres*). При этом ретардация нарастает по мере приближения к кульминации: на первый пример как начальной (утварь), так и второй части (статуи) приходится по три строки, а на второй, более «сильный» (*artes* и военные победы), – по пять. Таким образом, экспрессивность неуклонно возрастает вплоть до *laudes* (*non... clarius indicant laudes*), знаменующее переход к кульминации: *quam Calabrae Pierides* (в первой части в роли такой «связки» между «recusatio» и кульминацией было слово *carmen*)[35]. Следующее за этим замечание *neque si chartae sileant*

[35] *Carm.* 4.8.11–12: *gaudes carminibus; carmina possumus donare.*

quod bene feceris, mercedem tuleris подчеркивает, что здесь Гораций говорит именно об устной поэзии, связывая свою ориентацию на греческую устную лирику (Пиэриды – частое у лириков и особенно у Пиндара название Муз)[36] с социальной востребованностью поэта: только поэзия Энния (уроженца Калабрии) позволила увековечить деяния римлян. Этот мотив будет подхвачен в следующей оде: до нас дошли имена только тех греческих героев, которые были воспеты поэтами, остальные исчезли из памяти, *carent quia vate sacro*[37]. Тем самым Гораций как бы эксплицирует свои притязания на принадлежность к лирической традиции, заявленные в конце первой оды, – *quodsi me lyricis vatibus inseres*[38].

Подчеркивая, что только лирическая поэзия является залогом «выгоды» (*mercedes*), Гораций снова возвращается к пиндаровской «проксенической» образности: как *pretium*, которым заканчивалась первая кульминация, соответствует μισθός, так же и *mercedes* является аналогом пиндаровского κέρδος («прибыль»). При этом в движении от *carmen* к *Calabrae Pierides* заметна та же закономерность, что и в движении от *pretium* (μισθός) к *mercedes* (κέρδος). С одной стороны, это движение от песни «вообще» (*carmen*) к уникальной поэзии Горация, сочетающей социальную востребованность и греческую традицию (*Calabrae Pierides*). С другой стороны, это переход от «объективной ценности поэзии» (*pretium*) к «выгоде», которая «остается» у поэта или героя «после всего» (так у Сципиона навеки «осталась» его слава). Следует отметить, как Гораций использует пиндаровский термин. У Пиндара κέρδος часто принимает такое же значение, как и в данной оде Горация, – «безусловная выгода» героя[39] или поэта. Но в тех случаях, когда κέρδος (или его перифрастическое описание) появляется в конце композиционного блока или эпиникия в целом

---

[36] Обычно Гораций использует латинское название – *Camenae*.

[37] Поскольку у них нет вещего певца (4.9.28).

[38] *Carm.* 1.1.35: если причислишь меня к лирическим певцам. Как напомнил Дэнис Фини, это очень смелое пожелание, так как список лириков не подлежал пересмотру. Канон был составлен еще Аристофаном Византийским и включал девять поэтов: это Алкман, Алкей, Сапфо, Стесихор, Пиндар, Вакхилид, Ивик, Анакреонт, Симонид. См.: *Feneey D.* Horace and Greek Lyric Poets // Horace, 2000: a Celebration. Essays for the Bimillenarium. L.,1993. P. 41–63.

[39] I.1.50: ὃς δ' ἀμφ' ἀέθλοις ἢ πολεμίζων ἄρηται κῦδος ἁβρόν, εὐαγορηθεὶς κέρδος ὕψιστον δέκεται (Кто в спортивных состязаниях или на войне стяжает пышную славу, тот, прославленный, получает высшую прибыль).

(обычно после бурной кульминации), за ним обязательно следует так называемый пиндаровский break-off («обрывание хвалы»), когда поэт или предостерегает героя от гордыни, или прерывает собственную песнь, говоря, что нужно знать меру при получении выгоды[40]. Таков и случай горациевской оды (*mercedes* появляется в самом конце композиционного блока, сразу после кульминации), но у Горация нет никакого «break-off» – согласно его концепции, поэт не подвластен ограничениям.

Замечательно, что начало каждого нового блока подхватывает мотив «второго аргумента» из «*recusatio*» предыдущего блока, но уже в «преображенном» виде. Так, «второй аргумент» первой части (художественные произведения Скопаса и Паррасия) вводит образ «статуй», но в «материальном» значении. После «кульминации» (переход в область «идеального» – *carmen*) начинается «recusatio» второй части, и начинается оно с темы статуй, но уже в более «возвышенном» контексте – как средство дарования бессмертия героям, после чего вводится второй аргумент: «даже подвиги не приносят такой верной славы, как поэзия». За кульминацией, где Гораций намекает на Энния (*Calabrae Pierides*), следует третье «recusatio», начинающееся, соответственно, с темы «деяния сами по себе не остаются в памяти», но уже в преломлении римской поэзии вообще и энниевской в частности (именно Энний описал миф о Ромуле, включая его вознесение на небо, в первой книге «Анналов»): *quid foret Iliae Mavortisque puer, si taciturnitas Obstaret meritis invida Romuli?* Этот риторический вопрос задает финальное крещендо:

ereptum Stygiis fluctibus Aeacum
virtus et favor et lingua potentium
vatum divitibus consecrat insulis.
dignum laude virum Musa vetat mori
caelo Musa beat. sic Iovis interest
optatis epulis impiger Hercules,
clarum Tyndaridae sidus ab infimis
quassas eripiunt aequoribus ratis,
ornatus viridi tempora pampino
Liber vota bonos ducit ad exitus.

Концовка еще раз возвращает нас ко второй олимпийской оде (подтекст, остающийся «за кадром» на протяжении горациев-

[40] N.11.47: κερδέων δὲ χρὴ μέτρον θηρευέμεν

ской оды). Центральная часть обеих од[41] повествует о героях прошлого, чья судьба подтверждает основной тезис автора (у Пиндара – идею непрочности человеческого счастья, у Горация – утверждение, что только поэзия прославит Рим). В качестве иллюстрации приводится судьба мифологических персонажей: сначала отрицательных (у Пиндара рассказывается о проклятых предках героя из рода Кадма, у Горация – о поражении Ганнибала), потом положительных (у Пиндара это Ферон, чья победа показывает, что божество уже давно сменило гнев на милость по отношению к его роду, у Горация – Сципион, символизирующий непобедимость Рима). Заканчиваются оды «эпическим» изображением загробной жизни. При этом внешне Гораций следует за Пиндаром: сначала появляется Эак – судья в подземном царстве[42], затем Острова Блаженных[43]. Однако смысл меняется на прямо противоположный: у Пиндара все умершие, и в подземном царстве, и на Островах Блаженных, находятся в подчинении «судьи» – загадочный τις вершит суд в Аиде[44] над ἀπάλαμνοι φρένες, «бесполезными душами», а праведные души живут «под правым судом Радаманта», βουλαῖς ἐν ὀρθαῖσι Ῥαδαμάνθυος[45]. У Горация, наоборот, *virtus et favor et lingua potentium vatum* решает участь Эака, выхватив его из Стикса, точно в голливудском фильме, и перенеся на Острова Блаженных. При этом Гораций дает понять, что он-то и является этим *potens vates,* – именно он, изображая в оде 2.13 умерших поэтов (Сапфо и Алкея) в «краю блаженных» (*sedes piorum*), недоступном теням простых смертных, упомянул рядом с ними Эака[46]. Получается, что не Эак, которому обречены все смертные, имеет власть над поэтом, но поэт над Эаком, более того, упомянув Эака рядом с поэтами, Гораций оказал ему честь, приобщив (*consecrat*) к их бессмертной славе, и вообще сделал одолжение (иначе тот

[41] *Pi.*O.2.22–56; *Carm.*4.8.15–20.

[42] O.2.59–60: ἀλιτρὰ κατὰ γᾶς δικάζει τις ἐχθρᾷ λόγον φράσαις ἀνάγκᾳ (некто под землей судит преступления, произнося слово с ужасной неизбежностью).

[43] O.2.70: μακάρων νᾶσον.

[44] Скорее всего это именно Эак, который традиционно, в том числе в «Горгии» Платона и «Лягушках» Аристофана, является судьей в царстве мертвых.

[45] O.2.75.

[46] 2.13.22–25: *et iudicantem vidimus Aeacum sedesque discretas piorum et Aeoliis fidibus querentem Sappho* (и видим творящего суд Эака, и обособленное обиталище благочестивых, и Сапфо, жалующуюся на эолийских флейтах).

вечно прозябал бы в стигийских болотах). Тем самым Гораций заставляет переосмыслить традиционную модель отношений Эака (*iudicantem Aeacum*) и благочестивых поэтов (*sedes piorum*), представленную в оде 2.13: поэты не обязаны соблюдать *pietas* по отношению к богам и правителям загробного мира, наоборот, скорее Эаку следует относиться к поэтам с *pietas*, «снизу вверх», потому что его судьба зависит от их воли.

Замечательно, что обыгрывание пиндаровского образа (Острова Блаженных), в ходе которого поэт и Эак как бы меняются местами, приходится на 25-й и 27-й стихи. Они как бы обрамляют и иллюстрируют основной тезис, сформулированный в 26-м стихе (*virtus et favor et lingua potentium*), где содержится аллюзия на еще одно место из второй олимпийской оды – обращение к Зевсу с просьбой не оставить своей милостью род Ферона, предки которого добились успехов,

<...> πλοῦτόν τε καὶ χάριν ἄγων
γνησίαις ἐπ' ἀρεταῖς.
ἀλλ' ὦ Κρόνιε παῖ Ῥέας, ἕδος Ὀλύμπου νέμων
ἀέθλων τε κορυφὰν πόρον τ' Ἀλφεοῦ,
ἰανθεὶς ἀοιδαῖς
εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόμισον
λοιπῷ γένει

...живя в богатстве и милости при врожденных доблестях. Ты же, о Кронид, сын Реи, блюдущий обиталище Олимпа, исход состязаний и брод Алфея, смягчившись под действием песен, милостиво доверь отцовскую пашню и последующему роду.

Эпитеты отражают «разделение полномочий»: бог оказывает «милость» (εὔφρων), герой проявляет доблесть (γνησίαις ἐπ' ἀρεταῖς), поэт же своей песнью обеспечивает герою благоволение бога, которого он услаждает, смягчает (ἰανθεὶς ἀοιδαῖς) песнью. Гораций же передает поэту в придачу к песенному дару и функцию героя – доблесть, и функцию божества – милость:

virtus et favor et lingua potentium
vatum.

Эту «божественность» поэта подчеркивает enjambement, разделяющий *potentium* и *vatum*: *potens* – традиционный эпитет бога[47], поэтому строка *virtus et favor et lingua potentium* читается как «доблесть, благоволение и язык богов», и только взглянув на следующую строку, читатель понимает, что речь идет о поэте. При чтении вслух этот эффект должен был быть еще сильнее, поскольку у слушателя, в отличие от читающего, не было возможности «пробежать глазами» текст с привычной ему скоростью: после *potentium* чтец делал обязательную паузу, за это время слушатели уже привыкали к мысли о богах, сосредоточивших в себе все функции пиндаровской триады, – тем неожиданнее звучал новый стих, где весь комплекс «монополизированных» талантов в одно мгновение передавался поэту.

Финал представляет собой гимн поэзии, причем ее герои перечисляются в том же порядке, что и в 1.12 (*Quem virum aut heroa...*), являющейся переложением все той же второй олимпийской оды Пиндара: сначала *dignum laude virum*, потом герои – Геракл и Тиндариды, потом бог – Вакх. Последние шесть строк представляют собой «бесконечный» итератив, напоминая концовку пиндаровской оды, где χάρματα от победы Ферона уподобляются бесчисленному песку. Эта «итеративность» и составляет «механизм поэтического бессмертия»: Геракл не умирает, но восходит на небо каждый раз, когда читаются стихи об этом. Выбор персонажей не случаен – они символизируют основные источники горациевской литературной репутации: Пиндара, с его одами о Геракле, Алкея, писавшего о Тиндаридах и кораблекрушении, и эллинистической «легкой поэзии». Кроме того, характеристики героев символизируют качества поэта: Геракл *epulis Iovis interest*, подобно приравненному к божествам поэту, Тиндариды выхватывают корабли из вод, как поэты выхватывали Эака из Стикса, Либер *vota bonos ducit ad exitus*, подобно тому, как поэт осуществляет желание людей обрести бессмертие.

В целом можно сказать, что ода построена по правилам пиндаровской риторики, призванной постепенно утвердить хвалу в соответствии с законами «психологического ожидания». В качестве иллюстрации приведем краткий обзор композиции первой истмийской оды, выполненный Элроем Банди: «Вступительное

---

[47] *diva potens Cypri* (1.3.1), *potenti maris deo* (1.5.15), *Musa potens* (1.6.10), *Naiadum potens* (3.25.14), *potens Diana* (Carm.Saec.1) и др.

оттенение обещало нам Геродота, но в первом крещендо он уступил место Кастору и Иолаю; второе крещендо снова обещало нам Геродота, но он уступил место своему отцу Асоподору, оттенение в стихах 41–45 обещало нам Геродота и подогревало наш энтузиазм услышать о его подвигах – сейчас наконец мы услышим о них <...> Первое и второе крещендо оттеняют третье»[48]. Такое же «волновое» движение от одного блока к другому по принципу «два шага вперед, один назад» мы видим и у Горация. Ода состоит из трех блоков, каждый из которых построен по «пиндаровской» схеме (напряжение нарастает по мере приближения к кульминации: каждый новый пример все «ближе» к «песне», при этом он занимает больше строк, чем предыдущий). При этом блоки, в свою очередь, вводятся по принципу пиндаровских «волн», так что каждая новая «волна» начинается чуть дальше, чем предыдущая. Первая часть: я бы подарил треножники товарищам, подарил бы скульптуры другу, – но подарю песню (и небольшое уточнение – «назвав ее стоимость»). Вторая «волна» (уже в плоскости «увековечивающего искусства»): ни скульптурные памятники героям, ни самые громкие победы не увековечат римскую славу так, как это сделает горациевская поэзия – греческая по форме и римская по содержанию (и уточнение о «прибыли»). Третья волна (уже в плоскости «Рим и вечность»): поэзия создает людей (разве без поэзии была бы римская история?), поэзия создает богов, и, наконец, кульминация: поэзия приобщает к божественному, т. е. к бессмертию, она образует единое культурное пространство, существующее вечно.

Заключительный образ – Вакх – часто появляется в конце стихотворений августовских поэтов, Горация в том числе, обычно в контексте «вино и радости жизни». Однако вино в конце в сочетании с образом чаши в начале, а также положение этой оды в сборнике (ровно посередине книги) отсылают еще и к стихотворению 4.6 Проперция. Возможно, ода задумывалась Горацием как

---

[48] «The opening foil promised us Herodotos, but he yielded place in the first crescendo to Kastor and Iolaos; the second crescendo promised us Herodotos again, but he yielded place to his father Asopodoros; the foil of lines 41–51 promised us Herodotos, and whetted our enthusiasm to hear of his exploits; now at last we shall hear of them <...> The first and second crescendo are foil for the third» (*Bundy E.* Studia Pindarica // University of California Publications in Classical Philology. 1962. Vol. 18. № 2. P. 68).

последняя «реплика» в его поэтическом диалоге с Проперцием. В своей последней книге, состоящей из одиннадцати стихотворений, Проперций поставил программное (восхваляющее поэзию и Цезаря) стихотворение *Sacra facit vates...* шестым по счету, т. е. ровно посередине книги. Заканчивалось оно словами:

sic noctem **patera**, sic ducam **carmine**, donec
iniciat radios in mea **vina** dies.

Так проведу ночь за чашей, за песнью, пока день не бросит лучи в мое вино.

Издавая в 13 г. до н. э. четвертую книгу од, Гораций обращается к этой «находке» Проперция[49], который умер за три года до этого, и помещает программное *Donarem pateras...* в центре – восьмой среди пятнадцати од.[50] Он как бы подхватывает проперциевские заключительные образы *patera* и *carmen* (употребленные во вполне традиционном контексте – поэт, слагающий стихи за чашей вина), ставит *patera* в начало, скрестив ее с пиндаровской метафорой φιάλα=Μοισᾶν δόσις из зачина O.7, *vina* – в конец, соответствующий открытому финалу в O.2, а *carmen* делает темой оды, первая часть которой выстроена на базе катулловского комического сюжета, а следующие две – серьезного пиндаровского, реализует эту конструкцию по законам пиндаровской «динамичной» композиции и выделяет готовую оду при помощи проперциевского приема. Тем самым Гораций вписывает умершего Проперция в бессмертную поэтическую традицию и одновременно предлагает свой вариант центрального программного стихотворения, отправной точкой для которого является пиндаровская лирика.

---

[49] Предположение высказано Харрисоном. *Harrison S.J.* Op. cit. P. 43.

[50] В первом издании од, включавшем первые три книги, Гораций, очевидно в подражание каллимаховским Αἴτια, поместил свои поэтические манифесты или в начале, или в конце книги (1.1 *Maecenas atavis..*, 2.20 *Non usitata nec tenui fera..*, 3.30 *Exegi monumentum...*). Все эти оды написаны тем же первым асклепиадовым стихом, что и рассматриваемая ода 4.8, – размер, больше нигде у Горация не встречающийся.

Н.В. Драчёва

ТЕРМИН «RATIO» В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ МАРКА ТЕРЕНЦИЯ ВАРРОНА

(на материале трактата «De Lingua Latina»)

В трактате «De Lingua Latina» Варрон ставит перед собой задачу представить систематизированное изложение сведений о латинском языке на основе всестороннего анализа лингвистических учений античности. Довольно длительное время эти учения оставались областью исследований таких наук, как философия, критика текста, риторика и логика. Грамматика же как отдельная наука оформляется относительно поздно. Ж. Коллар считает, что сложившийся в ходе таких исследований «некий технический словарь сохраняет в большинстве случаев отпечатки своего прошлого»[1]. В связи с этим фактом Варрон сталкивается с отсутствием единообразного терминологического аппарата. Он уделяет особое внимание созданию универсальной грамматической терминологии на латинском языке. В качестве базы для образования латинских грамматических терминов Варрон использует термины древнегреческих грамматиков и философов, занимавшихся проблемами изучения языка, отдавая предпочтение стоической лингвистической теории. Следует отметить, что при переводе древнегреческих терминов на латинский язык Варрон старается придать термину более конкретное грамматическое значение, в меньшей степени имеющее философскую окраску.

Термин «ratio» является одним из основополагающих в лингвистической теории Варрона. Наиболее полно значение этого термина раскрывается при изложении Варроном спора между сторонниками аналогии и сторонниками аномалии в языке.

---

[1] *Collart J.* L'œuvre grammaticale de Varron // Varron, grammaire antique et stylistique latine. P.: Belles lettres, 1978. P. 5.

Анализируя условия правильности аналогии, разработанные предшественниками, Варрон замечает: «Если бы происхождение этих сходств было правильно определено и оттуда ratio брала бы начало, то меньше ошибок было бы в изменении слов» (quarum similitudinum si esset origo recte capta et inde orsa ratio, minus erraret<ur> in declinationibus v<er>borum) (X, 11, 1–3)[2].

По мнению Варрона, для правильного определения происхождения сходств главнейшими являются два критерия – materia и figura.

Оппозиция materia–figura встречается в трактате дважды. «Я считаю, что существуют только два вида первооснов, согласно которым должны рассматриваться сходства: из них одна заключена в материи слов, другая – словно в форме материи, которая возникает в процессе изменения слов» (ego principia prima duum generum sola arbitror esse? ad quae similitudines exigi oporteat: e quis unum positum in verborum materia, alterum ut in materiae figura, quae ex declinatione fit) (X, 11–12).

Во втором фрагменте (X, 36) речь идет о том, что нельзя требовать аналогии, если рассматривать, с одной стороны, изменение amor–amoris, а с другой – amores–amorum. Несмотря на одинаковый переход из падежа в падеж, материя у сравниваемых пар различна. В первом случае изменение происходит в единственном числе, во втором – во множественном.

По мнению Б.М. Никольского, противопоставление materia–figura Варрон связывает со стоической оппозицией ὕλη – σχῆμα[3]. В стоической философии выделяются два начала (ἀρχαί): активное (τὸ ποιοῦν) и пассивное (τὸ πάσχον). Пассивное начало представляет собой бескачественную сущность (ἄποιος οὐσία), или материю (ὕλη). Материя сама по себе неподвижна и бесформенна. Чтобы привести ее в движение и придать ей форму, необходима некая причина, т. е. активное начало (SVF II, 311). Форма (σχῆμα) не является внутренним свойством материи, но материя всегда неразрывно связана с каким-либо качеством и всегда пребывает в одной из своих форм (SVF I, 88). Ὕλη обозначает как всеобщую

---

[2] Здесь и далее текст Варрона цит. по: *M. Terentii Varronis*. De Lingua Latina quae supersunt / Ed. G. Goetz et F. Schoell. Amsterdam: Verlag Adolf M. Hakkert, 1964.

[3] *Никольский Б.М.* Теория πάθος в античной грамматической традиции (дипломная работа). М., 1992. С. 40–41, 62.

первичную материю, так и качественно определенную материю, характеризующую часть сущего (ἐπὶ μέρους). Все названные понятия, которые относятся к теории πάθος, а также сама теория в целом подробно рассматриваются стоиками в разделе «Физика». Однако, учитывая стремление стоической философии к объединению различных областей знаний[4], вполне закономерным представляется перенесение теории πάθος в область грамматики. Исходя из этого Варрон в своем учении представляет materia как стоическую ὕλη ἐπὶ μέρους. Figura же сохраняет у него значение стоической σχῆμα как любой формы, в которую облекается языковая единица в процессе изменения, т. е. внешний вид слова в широком смысле. Следует отметить, что такое употребление термина «figura» коренным образом отличается от грамматической традиции, сложившейся со времен Дионисия Фракийского. И греческие, и римские грамматики представляли figura / σχῆμα как различение простых и составных слов. Варрон признает подобное разграничение и выдвигает его в качестве одного из условий правильности аналогии: он говорит о категории сложных слов (genus vocabulorum compositicium) и настаивает на требовании рассматривать сложные слова (verba composita) отдельно от простых (verba simplicia). Однако термин «figura» в данном случае он не употребляет.

При выведении собственных условий правильности аналогии (X, 21–26) Варрон перечисляет те критерии, которые необходимы для признания слов сходными. Во-первых, слова должны иметь сходные начальные формы (materia). Во-вторых, у слов должны быть сходные парадигмы изменения (figurae vocis). Лишь при наличии такого двойного сходства есть возможность признать у сравниваемых слов наличие совершенного сходства, требуемого аналогией. Варрон дает две параллельные четырехчленные классификации условий правильности аналогии. В первую классификацию включены условия, без которых нельзя приступить к построению парадигмы:

1) род (genus);
2) вид (species), т. е. имя должно соотноситься с именем, глагол с глаголом и т. д.;
3) падеж (casus);
4) окончание (exitus).

---

[4] *Гринцер Н.П.* Стоическая доктрина: картина мира и система языка // Балканские чтения-I: Симпозиум по структуре текста. М., 1990. С. 16–19.

Образно говоря, «факультативный» характер остальных условий, которые вошли во вторую классификацию, виден из общей вводной формулировки: item refert – также важно. В.В. Каракулаков[5] считает, что подобная формулировка является своеобразным указанием на то, что эти условия, несмотря на их важность, приходится привлекать не в каждом случае:

1) число (numerus);
2) образ – звуковая форма слова при изменении (figura vocis);
3) неизменяющиеся звуки, непосредственно соседствующие с изменяющимися (ea quae proxuma sunt neque commoventur);
4) различение простых и составных слов. Учитывая желание Варрона систематизировать свое лингвистическое учение и его пристрастие к параллельным классификациям, можно предположить, что в лакуне в качестве четвертого пункта указывалось именно это условие.

Исключив из этих классификаций те условия, в которых проявляются изменения, а именно figura vocis, включающую в себя падежную форму (casus) с соответствующим окончанием (exitus), можно получить набор признаков, качественно определяющих материю. Эти признаки относятся ко всей парадигме. В данном случае материя качественно определяется видом (species), родом (genus), числом (numerus), неизменяющимися звуками, непосредственно соседствующими с изменяющимися (ea quae proxuma sunt neque commoventur). А новое качество – падеж (casus) – становится причиной определения материи, т. е. ее оформления в ту или иную форму (figura). Всякое подобное изменение происходит согласно некоторому глобальному правилу системно-логических взаимоотношений в языке, т. е. согласно ratio.

Пользуясь термином на протяжении всего изложения, четкую дефиницию ratio Варрон приводит в X книге: «Я расскажу о четырех положениях, которые содержатся в изменении слов: что такое сходное, что – несходное, что представляет собой ratio, которая называется λόγος, каково соразмерное изменение, иначе говоря ἀνὰ λόγον, что такое обыденная речь; эти положения, после того как будет

[5] *Каракулаков В.В.* Роль Варрона в развитии учения об «условиях правильности аналогии» в системе словоизменения // Вопросы русского и общего языкознания. Душанбинский гос. пед. ин-т. Душанбе: ИРФОН, 1965. С. 148

раскрыта их суть, смогут разъяснить происхождение аналогии и аномалии, каковы эти явления и какого вида они бывают» (dicam de quattuor rebus, quae continent declinationes verborum: quid sit simile ac dissimile, quid ratio quam appellant λόγον, quid pro portione quod dicunt ἀνὰ λόγον, quid consuetudo; quae explicat<a>e declarabunt analogiam et anomalia<m>, unde sit, quid sit, cuius modi sit) (X, 2, 1–5).

Определение ratio как λόγος указывает на то, что Варрон рассматривает данное понятие, равно как и понятия materia, figura, с точки зрения лингвистической теории стоиков. Необходимо подчеркнуть, что стоический λόγος в значении ratio – это общефилософский термин, имеющий широкий спектр значений, таких как природный, божественный, космический закон существования, активное начало, приводящее в движение материю. Именно изучением понятия λόγος занимается философия (SVF, IV, p. 91–92). Варрон стремится конкретизировать данное понятие, придав ему значение лингвистического термина. Для него ratio – это система функционирования λόγος в языке, т. е. логическая система взаимоотношений в языке, основанная на законах причинно-следственной связи. «Ибо кто отрицает, что есть ratio аналогии, не видит не только природу речи, но даже природу мироздания; кто же видит, но говорит, что ей не нужно следовать, сражается против природы, а не против аналогии» (quare qui negant esse rationem analogiae, non vide<n>t naturam non solum orationis, sed etiam mundi; qui autem vident et sequi negant oportere, pugnant contra naturam, non contra analogian) (IX, 33, 1–3).

В некоторых моментах Варрон прямо ассоциирует ratio с аналогией, подтверждая природную закономерность системных изменений в языке. «Многие изучают, должна ли наука о речи следовать несходству или сходству, так как от сходства происходит ratio, которая называется аналогией, а оставшаяся часть называется аномалией» (in verborum declinationibus disciplina loquendi dissimilitudinem an similitudinem sequi deberet, multi qu<a>esierunt, cum ab his ratio quae ab similitudine oriretur vocaretur analogia, reliqua pars appellaretur anomalia) (X, 1, 1–4). При объяснении, что такое ratio соразмерного изменения, которое по-гречески называется ἀνὰ λόγον, Варрон приводит следующий пример: «...если две вещи, несхожие между собой в какой-либо части, но имеющие некую одинаковую ratio, сравниваются с двумя другими вещами, которые имеют такую же ratio, т. е. эти слова попарно имеют один

и тот же λόγος, то каждая пара по отдельности называется аналогичной, а сопоставленные вместе четыре слова представляют аналогию» (...quae res inter se aliqua parte dissimiles rationem habent aliquam, si ad eas duas alterae duae res collatae sunt, quae rationem habeant eandem, quod ea verba bina habent eundem λόγον, dicitur utrumque separatim ἀνάλογον, simul collata quattuor ἀναλογ<ί>α) (X, 37–38).

Важность понятия ratio подчеркивается мыслью о том, что в речи народ должен следовать ratio, а каждый в отдельности должен следовать за народом, как на корабле каждый должен слушаться кормчего, а кормчий подчиняться ratio (IX, 6, 1–9). Ratio является для Варрона той основой, которая позволяет установить правило изменения слов и в словообразовании, и в словоизменении. Особое внимание при этом он уделяет анализу сходств и несходств в языке. «Поэтому сначала необходимо сказать о сходстве и несходстве, так как эти понятия являются основой всех изменений и содержат в себе ratio слов» (de similitudine et dissimilitudine ideo primum dicendum, quod ea res est fundamentum omnium declinationum ac continet rationem verborum) (X, 3, 1–3).

С точки зрения Варрона наука о речи носит троечастный характер. Первая часть объясняет, каким образом слова были установлены для вещей (impositio), вторая – каким образом слова, отклонившись от установленных, приобрели различия (declinatio), третья – каким образом слова, разумно (ratione) соединяясь между собой, выражают мысль. Этим делением речи обусловлена структура трактата, который состоял из трех частей. Первая часть посвящена этимологии, вторая – морфологии, третья – синтаксису. Ratio действует в равной мере в каждой из этих частей: и в этимологии, и в морфологии, и в синтаксисе.

В рассуждениях Варрона о происхождении слов, которые базируются на стоическом учении об установлении названий для вещей, ratio служит подтверждением закономерности закрепления за тем или иным явлением определенного наименования. «Природный» характер языка мыслится им не просто как соответствие между словами и вещами, а как соответствие между связями в языке и связями в мире (VI, 39).

Третья часть трактата, посвященная синтаксису, не сохранилась. Однако Варрон обращается к этой теме и во второй, «морфологической», части, которая описывает спор аналогистов и аномалистов. «...Как они [слова], соединяясь между собой согласно ratio,

выражают мысль...» (...ut ea inter se ratione coniuncta sententiam efferant...) (VIII, 1, 4–5). Д. Бланк считает, что это – одно из первых упоминаний функционирования λόγος / ratio в сфере синтаксиса у античных грамматиков[6]. Данный варроновский тезис был положен в основу дальнейших исследований синтаксических связей в языке. В частности, особое внимание действию ratio в синтаксисе уделяет Аполлоний Дискол.

Варрон подчеркивает универсальность ratio и в морфологии: «...ведь какой ratio ты научишься изменять одно слово, ею же ты сможешь пользоваться в бесконечном числе слов» (...qua enim ratione in uno vocabulo declinare didiceris, in infinito numero nominum uti possis) (VIII, 6, 4–5). Однако для этого необходимо, чтобы, как отмечалось выше, у слов была одинаковая материя. Если кто-нибудь неправильно изменяет слово, то он не отменяет правила, существующие в языке, а обнаруживает свое незнание. То же происходит и в случаях, когда в языке существуют две параллельные формы слова: одна – «правильная», другая – «неправильная». Говорящий, который следует «неправильной» форме, не устраняет ratio языка. Тот же, кто употребляет «правильную» форму, утверждает языковые аналогии (IX, 112).

При рассмотрении declinatio, которая в понимании Варрона означает любое изменение слова, он выделяет два вида изменений. Один вид он называет естественным склонением – genus naturale. Этот вид представляет собой словоизменение. В нем проявляется постоянство, господствует аналогия, изменения происходят согласно ratio. Второй вид называется произвольным склонением – genus voluntarium. Этот вид представляет собой словообразование. В нем проявляется непостоянство, господствует аномалия (X, 15–16). Варрон признает, что такое господство не абсолютное, что и в произвольном изменении слов следует обращать внимание на природу, и в естественном – на произвольность. «Но те, кто призывает нас в речи следовать частично обыденной речи, частично ratio, не так уж далеки от истины, потому что обыденная речь и аналогия между собой теснее связаны, чем некоторые думают. Так как из некой обыденной речи произошла аналогия, и из нее же в равной степени – аномалия. Поэтому так как обыденная речь состоит из несходных и сходных слов, а также из их изменений,

[6] *Blank D.L.* Ancient Philosophy and Grammar. The Syntax of Apollonius Dyscolus. Chico, California: Scholars press, 1982. P. 25.

то ни аномалия, ни аналогия не должны быть отвергаемы» (sed ii qui in loquendo partim sequi iube<n>t nos consuetudinem partim rationem, non tam discrepant, quod consuetudo et analogia coniunctiores sunt inter se quam iei credunt, quod est nata ex quadam consuetudine analogia et ex hac <consuetudine item anomalia. Quare quod> consuetudo ex dissimilibus et similibus verbis eorumque declinationibus constat, neque anomalia neque analogia est repudianda) (IX, 2, 1–3; 3, 1–3). Более того, если говорящий следует обыденной речи в допустимых пределах, он делает это не без ratio (IX, 8, 1–5).

Однако Варрон настаивает на том, что в сфере словоизменения должна преобладать аналогия и изменения слов должны происходить, основываясь на ratio. Он порицает тех, кто отдает предпочтение обыденной речи в этом виде declinatio, и рассуждает о том, что в речь необходимо вводить формы, образованные согласно ratio. Но делать это нужно не насильственно, а постепенно, как можно реже употребляя «неправильные» формы. Варрон сравнивает этот процесс с тем, как кормилица отучает ребенка от груди и переводит его на более разнообразное питание. По его мнению, со временем «неправильные» формы будут забыты и их легче будет заменить формами, которые содержат в себе ratio. Главную роль в этом Варрон отводит поэтам, в большей степени – драматургам, так как речь персонажей воспринимается зрителями как обыденная, а следовательно, быстрее усваивается народом. При этом не следует избегать нового слова, введенного согласно ratio, даже если оно не сразу воспринимается (IX, 13–17, 20). Важно лишь, чтобы новая форма была органичной для данной языковой структуры, в противном случае необходимо отдавать предпочтение форме обыденной речи. «Ведь если в обыденной речи слова в чем-то неправильно изменяются, но это не может быть произнесено другим образом без оскорбления слуха многих, то в этом случае ratio речи показывает, что следует пренебречь ratio слов» (nam si qua perperam declinavit verba consuetudo, ut ea aliter sine offensione multorum <efferi non possint>, hinc [o]rationem verborum praetermittendam ostendit loquendi ratio) (IX, 35, 1–8).

В произвольном склонении, как было сказано выше, преобладают формы обыденной речи. «В этом виде существует многое, в чем мы следуем больше обыденной речи, чем ratio слов» (multa sunt item in hac specie in quibus potius consuetudinem sequimur quam rationem verborum) (VIII, 57, 6; 58, 1). Говоря о словообразовании, а именно об образовании уменьшительных слов и имен

собственных (VIII, 79; VIII, 82; IX, 71), Варрон подчеркивает, что в них недостает многих форм и что они часто не сохраняют ratio соразмерного изменения, но происходит это всегда по уважительной причине, без которой данные изменения не отходят от ratio. Таким образом, можно утверждать, что в этом виде declinatio аналогия также присутствует.

Разделив declinatio на два вида, Варрон объясняет, что все эти изменения осуществляются двумя путями: словоизменение – поперечным, словообразование – прямым. Он сравнивает свою морфологическую модель с игральной доской (X, 22). Поперечная (transversa) парадигма представляет собой образование косвенных падежей от прямого, прямая (derecta или directa) – образование прямого падежа от прямого, т. е. образование начальных форм слов. Одним из примеров прямого изменения слов является образование родовых форм имени. Варрон утверждает, что для подобного образования необходимо, чтобы природа этих понятий могла переходить через три рода, как в doctus docta doctum. У слова же femina нет форм feminus femina feminum, так как у этого понятия нет оснований для образования родовых форм. Варрон поясняет, что для них были установлены особые и отдельные слова (singularibus ac secretis vocabulis appellati sunt). То есть если в основе слова не лежит природа и употребление, то не следует в нем искать ratio подобного вида, и образование родовых форм у этого слова невозможно (IX, 58).

Подобным делением declinatio на прямую и поперечную Варрон создает образную картину взаимосвязей в языке, что позволяет ему представить процесс изменения слов как некую систему координат, тесно связывающую между собой словообразование, в котором господствует аномалия, и словоизменение, в котором господствует аналогия. Таким образом, по его мнению слова имеют двойную переплетенную ratio: прямую и поперечную (X, 44). Варрон неоднократно возвращается к мысли о связи и взаимопроникновении аналогии и аномалии в языке, настаивая на том, что не следует искать существования этих явлений в чистом виде. На основании этого можно сделать вывод, что описание спора между аналогистами и аномалистами было выбрано Варроном в качестве удобной, наглядной формы изложения своих лингвистических взглядов. Такой же точки зрения придерживается Ж. Коллар[7]. Он считает, что

[7] *Collart J.* Op cit. P. 13.

Варрон, доводя аргументацию и тех и других до крайней степени, использует этот спор для выражения своего собственного мнения. Даже если принимать во внимание утверждение Д. Фелинга[8] о том, что этот спор является выдумкой самого Варрона, нельзя не согласиться, что подобный методологический прием позволяет наглядно представить язык как стройную логическую систему, функционирующую согласно ratio, а не догмам, установленным приверженцами той или иной школы.

Действие ratio не ограничивается категорией имен. Варрон, изучая закономерности изменений у глаголов, приходит к выводу, что образование глагольных форм тоже подчиняется ratio. Однако он подчеркивает, что у глаголов тоже необходимо учитывать оппозицию materia–figura, например, недопустимо смешивать формы инфектного и перфектного ряда (IX, 95–96). «...Так как какую ratio имеет legebam к lego, такую же имеет lego к legam. В этом почти все люди допускают ошибки, потому что неправильно изменяют глаголы в трех временах, когда хотят выразить соразмерное изменение. Ведь так как есть формы глаголов инфектного ряда, как lego и legis, а есть – перфектного ряда, как legi и legisti, то они должны в спряжении сочетаться каждый со своим видом. И поэтому правильным будет соотношение lego к legebam, а неправильным является соотношение lego к legi, так как legi обозначает нечто завершенное» (...quod quam rationem habet legebam ad lego hanc habet lego ad legam. in hoc fere omnes homines peccant, quod perperam in tribus temporibus haec verba dicunt, cum proportione volunt pronuntiare. nam cum sint verba alia infecta, ut lego et legis, alia perfecta, ut legi et legisti, et debeant sui cuius<que> generis in coniungendo copulari, et cum recte sit ideo lego ad legebam, non recte est lego ad legi, quod legi significat quod perfectum) (X, 47–48). Ж. Коллар считает, что Варрон был первым римским грамматиком, обратившим внимание на необходимость различения незавершенного и завершенного действия[9].

При изучении слова как единства звучания и значения Варрон указывает на существование трех видов аналогии:

1) в вещах (in rebus);
2) в звучаниях (in vocibus);
3) и в том и в другом (in utroque) (X, 63–72).

---

[8] *Fehling D.* Varro und die grammatische Lehre von der Analogie und der Frexion, II. Glotta, 1957. Bd. 36.

[9] *Collart J.* Op cit. P. 15.

Первые два вида он определяет как простые, или неполные, аналогии (analogiae inchoatae), а последний вид – как двойную, или совершенную, аналогию (analogia perfecta). Варрон приходит к выводу, что именно совершенная аналогия требуется в речи и что все виды аналогии связаны между собой ratio. «...Аналогия имеет три вида, первый – в вещах, второй – в звучаниях, третий – и в том и в другом. Два первых – это простые виды, третий – двойной. Следует отметить, что это между собой связано ratio» (...ubi analogia, [a]tria, unum quod in rebus, alterum [alterum] quod in vocibus, tertium quod in utroque, duo priora simplicia, tertium duplex, animadvertendum haec quam inter se habeant rationem) (X, 63–64).

Варрон обращает внимание на то, что каждый из названных видов проявляется в словах в разной степени в зависимости от их принадлежности к той или иной части речи. Важно отметить, что в основе варроновской классификации частей речи лежит исключительно морфологический принцип. Понятие articuli (члены) включает в себя местоимения, которые Варрон разделяет на provocabulum (вопросительные, относительные местоимения) и pronomen (личные, указательные местоимения). Сохраняя стоическое деление членов по признаку неопределенности–определенности, Варрон определяет provocabulum как infinitum (неопределенные), pronomen – как finitum (определенные). Термин «nominatus» (именование), принадлежащий, по мнению В.В. Каракулакова[10], Варрону, объединяет в себе такие понятия, как vocabulum и nomen, соответствующие стоическим προσηγορία (имя нарицательное) и ὄνομα (имя собственное). Классифицируя их по степени определенности, Варрон рассматривает vocabulum как ut infinitum (почти неопределенные), а nomen – как ut finitum (почти определенные). Так, Варрон замечает, что в членах (in articulis) преобладает аналогия в вещах, а в именованиях (in nominatibus) она больше сохраняет свою ratio в сходстве звучаний (X, 19).

Таким образом, можно сделать вывод, что термином «ratio» Варрон обозначает универсальное логическое правило взаимоотношений в языке, действующее и в сфере словоизменения, и в сфере словообразования. Учитывая всеобъемлющее значение

---

[10] *Каракулаков В.В.* «Пергамская» и морфологическая классификация частей речи у Варрона // Вопросы русского и общего языкознания. С. 122.

стоического λόγος, с которым Варрон ассоциирует ratio, и широту семантического поля слова «ratio» в латинском языке (взаимоотношения, разум, метод, принцип, порядок, основание, правило, закон, система, теория), довольно сложно подобрать точный эквивалент для перевода варроновского термина. Анализируя контексты трактата «De Lingua Latina», в которых встречается этот термин, можно было бы предложить в качестве его перевода термин «системно-логическое правило языка».

А.Б. Черняк

ГЕЛЬВИДИЙ ПРИСК И ЕГО ПЬЕСА «ПАРИС И ЭНОНА» (*Suet.* Dom. 10,4)*

О том, что этот сенатор был казнен Домицианом не просто за принадлежность к так называемой стоической оппозиции, а за пьесу, иносказательно высмеивавшую развод императора с супругой и вскоре последовавшее примирение, сообщает нам только Светоний[1]. В этом нет ничего удивительного: он явно использовал соответствующие (ныне утраченные) книги «Историй» Тацита, где события последних лет правления Домициана освещались гораздо подробнее, чем в дошедшем до нас «Агриколе». Более пристальный анализ à la Гилилов[2] – этого, на первый взгляд, не очень значительного происшествия – приводит, как мне кажется, к довольно существенной корректировке политической и культурной истории Рима конца I в. н. э.

---

* Приношу искреннюю благодарность профессору Д. ден Хенгст (D. den Hengst, Амстердам) и моему коллеге А.И. Фалилееву за дружескую помощь в изготовлении и пересылке ксерокопий отсутствующих в наших библиотеках книг.

[1] Suet. Dom. 10,4: *Helvidium Priscum, quod scaenico exodio sub persona Paridis et Oenones divortium suum cum uxore taxasset* («Казнил он и Гельвидия Младшего, заподозрив, что в исходе одной трагедии он в лицах Париса и Эноны изобразил развод его с женою». Пер. М.Л. Гаспарова. М., 1993. С. 214). Exodium – это мим, исполнявшийся специальным актером после трагедии, чтобы поднять настроение зрителей, ср.: *Suet.* Tib. 45: *Atellanicum exodium; Iuv.*VI 71; *Schol.* ad *Iuv.*III 173, см.: *Suetonii Tranquilli.* C. De vita Caesarum. Libri VII–VIII / Ed. George W. Mooney. L., 1930. P. 561 *a.l.*

[2] См.: *Гилилов И.М.* Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого феникса. М.: Артист, режиссер, театр, 1997.

Стоическая (философская) оппозиция и Домициан

Эта группа представлена в любопытной диссертации Р. Гетца под 93 г.[3], когда она подверглась репрессиям. Открывает список наш Гельвидий, вероятно, в силу родственных связей: сын казненного в 74 г. претора Гельвидия Приска и пасынок Фаннии, дочери Пета Тразеи (Фразеи), на сцене добровольной кончины которого обрывается 16-я книга «Анналов». Далее у Гетца идут Юний Арулен Рустик (114–117), его брат Юний Маврик (117–120) и Геренний Сенекион (120–123). Все эти персонажи фигурируют и в «Агриколе», но их иерархия совсем другая[4]: сначала упомянуты Рустик, лично знавший Тразею, и самый старший из всей группы – Сенекион[5]; младший Гельвидий и Маврик появляются только в финале[6].

---

[3] *Goetz R.M.* Freunde und Feinde des Kaisers Domitian. Eine prosopographische Untersuchung. In.-Diss. München, 1978. S. 109 ff.

[4] *Agr.* 2,1: *Legimus, cum Aruleno Rustico Paetus Thrasea, Herennio Senecioni Priscus Helvidius laudati essent, capitale fuisse, neque in ipsos modo auctores, sed in libros quoque eorum saevitum, delegato triumviris ministerio ut monumenta clarissimorum ingeniotum in comitio ac foro urerentur. scilicet illo igne vocem populi Romani et libertatem senatus et conscientiam generis humani aboleri arbitrabantur, expulsis insuper sapientiae professoribus atque omni bona arte in exilium acta, ne quid usque honestum occurreret* («Мы читаем, что было возбуждено уголовное дело за восхваление Пета Тразеи Аруленом Рустиком и Гельвидия Приска Гереннием Сенекионом и что казни подверглись не только сами авторы, но и их книги: было поручено триумвирам осуществить акт сожжения на комиции, на форуме, достопамятных творений замечательнейших талантов. Конечно, огнем этим думали уничтожить голос римского народа, независимость сената и совесть рода людского; кроме того, из Рима были изгнаны учителя мудрости и отправлено в ссылку всякое благородное искусство, дабы нигде не осталось ничего честного»). Там, где не упоминается автор перевода, это, если речь идет о Таците, моя правка перевода В.И. Модестова.

[5] Cass. Dio. LXVII,13,2.

[6] *Agr.* 45,1: *...mox nostrae duxere Helvidium in carcerem manus; nos Maurici Rusticique visus, nos innocenti sanguine Senecio perfudit* («...Но вскоре мы нашими собственными руками отвели в темницу Гельвидия: в нас [запечатлелись] лица Маврика и Рустика, нас запачкал своей невинной кровью Сенекион»). Тут немало преувеличений: в частности, руки на Гельвидия наложил только один человек, некий претор Публиций Керт, которому Плиний за это действие в 98 г. вчинил процесс; в ходе его обвиняемый умер (от инфаркта?). См.: *Plin.* Epist.IX,13,2: *...nullum (scelus) atrocius videbatur quam quod in senatu senator senatori, praetorius consulari, reo iudex manus intulisset;* ср.: *Ogilvie-I.Richmond R.M.* Corn. Taciti De vita Agricolae. Oxford, 1967. P. 308 *ad loc.*

Любопытно, что трое из этой четверки были консулярами[7]; только Сенекион, не пожелавший продолжить свою сенаторскую карьеру, остался квестором. Трое остальных получили суффектные консульства: Рустик – в сентябре–декабре 92 г., согласно сохранившимся «Фастам»[8], прочие гипотетически, но с очень большими основаниями – в туманном 93[9], т. е. буквально накануне процесса (точная дата последнего, впрочем, неизвестна[10]). Конкретная причина, вынудившая императора наказать людей, которых он сам совсем недавно поощрил, пока еще никем не установлена[11].

Развод с Домицией

Кратковременные размолвки в императорской семье в принципе плохо датируются: это не столь уж важное государственное событие, хотя в жизни общества они играют видную роль, давая

---

[7] Это не следует непосредственно из Светония, ср. *Suet.* Dom. 10,2: *Complures senatores, in iis aliquot consulares interemit... Iunium Rusticum, quod Paeti Thraseae et Helvidi Prisci laudes edidisset appellassetque eos sanctissimos viros; cuius criminis occasione philosophos omnis urbe Italiaque summovit* («Многих сенаторов, и среди них несколько консуляров, он отправил на смерть... Юний Рустик – за то, что издал похвальные слова Тразее Пету и Гельвидию Приску, назвав их мужами непорочной честности: по случаю этого обвинения из Рима и Италии были изгнаны все философы»). (Пер. *М.Л. Гаспарова*, см. примеч. 1).

[8] Inscr. It. XIII 1, p. 1921; AE 1949, 23 Z.27.

[9] О Юнии Маврике см.: *Goetz R.M.* Op. cit. P. 116–120 (он был близким другом Нервы и входил в consilium Траяна, см.: *Plin.* Epist. IV, 22, 3–6; Epit. Caes. 12,5 [пир у Нервы]); Джонс менее категоричен, см.: *Jones B.W.* Domitian and the Senatorial Order. Philadelphia (Memoirs of the Am, Philos. Soc. 132), 1979. P. 110: «*cos. suff.* 81/96»; в монографии (*Idem.* The Emperor Domitian. L. [Routledge], 1992) этот вопрос вообще не рассматривается; о Гельвидии см.: *Plin.* Epist. IX, 13,2 (см. примеч. 7); *Jones B.W.* Domitian... P. 105: «before 87 or in 93»; *Idem.* The Emperor Domitian P. 122, 187, 236, n. 21.

[10] *Agr.* 45,1: *mox ... mox* может означать и весьма отдаленную во времени точку. Ср.: *Jones B.W.* The Emperor Domitian. P. 119–120, 122: «Late in 93 (*Plin.* Epist. III, 11, 2–3) ... seven people were brought to trial». Кроме четырех вышеупомянутых мужчин по этому делу проходили три женщины: Гратилла (жена Рустика), Фанния (она в третий раз была отправлена в изгнание) и ее мать Аррия.

[11] Ср. попытки объяснения: *Goetz R.M.* Op. cit. P. 124; *Jones B.W.* Domitian... P. 41; *Idem.* The Emperor Domitian. P. 38 (влияние Домиции), а также общее замечание: The Emperor Domitian. P. 198: «In many ways, Domitian remains an enigma».

пищу всяческим кривотолкам и слухам. Вот что сообщает нам Светоний (3,1):

Inter initia principatus...deinde uxorem Domitiam, ex qua in secundo suo consulatu filium tulerat alteroque anno <...> consalutavit Augustam, eandem Paridis histrionis amore deperditam repudiavit intraque brevt tempus impatiens discidii quasi efflagitante populo reduxit («В начале своего правления... затем он провозгласил Августой свою жену Домицию, с которой во втором своем консульстве он родил сына, а на второй год... он развелся с ней, когда она безумно влюбилась в актера Париса, но вскоре, не перенеся разлуки, снова женился на ней, якобы по требованию народа»).

Дата развода, согласно Светонию, вроде бы падает на первые годы правления Домициана[12]. Из прочих свидетельств только пассаж Диона Кассия содержит хронологическую информацию: история с Парисом имела место до смерти Юлии в 89/90 г.[13] (см. ниже). В целях более точной датировки исследователи комбинируют оба сообщения Светония, т. е. пытаются установить, в какие годы имя Августа вследствие развода исчезает в надписях, в *Acta fratrum Arvalium* и на монетах. На данный момент (материал время от времени пополняется) возможны две датировки: между 82–84 гг. и после 91 г.[14] Предпочтение традиционно отдается первой[15]. Впрочем, Джонс вообще снимает этот вопрос, полагая, что формального развода не было, да и сам факт адюльтера кажется ему маловероятным; увлечение Домиции талантливым актером и последующее убийство Париса он, однако, не оспаривает[16]. Джонс, как и Диндорф в своем издании Диона Кассия, датирует конфликт 83 г.[17]

---

[12] Ср.: *Janssen J.* Suetonii Vita Domitiani. Diss. Groningae; Hagae, 1919. P. 17 *a.l.*: «...neque tamen certum».

[13] *Cass. Dio.* LXVII, 3,2: «Жену свою Домицию он вознамерился казнить за прелюбодеяние, но по совету Урса (Ursus *cos. suff.* 84? –*А.Ч.*) выслал ее, а пантомима Париса убил из-за нее посреди улицы... И с того времени он стал жить открыто со своей племянницей, т. е. с Юлией, как с женой».

[14] См.: *Suetonio.* Vita di Domiziano / Intr., trad. e comm. a cura di F. Galli. Roma, 1991. P. 63, n. 24.

[15] *Janssen J.* Op. cit.; *Mooney G.W.* Op. cit. P. 519 *ad loc.*

[16] *Jones B.W.* The Emperor Domitian... P. 34–35.

[17] Ibid. P. 35: «But he did not divorce her, she was probably exiled *c.* 83».

Отношения с Юлией

Сообщение Светония о пьесе Гельвидия (*Suet.* Dom. 10,4, см. выше) явно неполно, так как в нем не упомянута племянница императора Юлия. Рядом с треугольником Домициан–Домиция–Парис существовал и другой: Домициан–Юлия–Домиция[18]. О том, что император любил ее, хотел на ней жениться, но почему-то заставил ее сделать аборт, от которого она умерла, ходили упорные слухи[19]. Тем не менее Джонс не придает им значения[20]: для него важнее, что Марциал в двух соседних эпиграммах (*Mart.* VI, 2 и 4) упоминает *Lex Iulia de adulteriis*, а между ними помещает эпиграмму о Юлии, которая на небесах позаботится о долгой жизни будущего наследника, рождение которого ожидалось (или только предполагалось)[21], т. е. ни о каком инцесте не могло быть и речи[22]. Эта позиция английского ученого (как и вообще обе его монографии) заслуживает всяческого уважения: совать свой нос в чужие семейные тайны, даже двухтысячелетней давности, все равно неприлично.

---

[18] Это вроде бы следует из анализа пьесы Гельвидия, т. е. фигуры Эноны, см.: *Jones B.W.* The Emperor Domitian... P. 187: «It was cleverly chosen for the chief characters were Paris and Oenone. She was Paris's first wife whom he had deserted for Helen and who, on learning that he had been wounded by an arrow, refused to return and cure him. The parallels are obvious – Paris is Domitian, Helen Julia and Oenone Domitia – and rendered all the more piquant by two factors: Paris was also the name of Domitia's alleged lover (*Dom.* 3,1) and Domitian himself was known to be particularly fond of archery (*Dom.*19)». Но, см. ниже.

[19] Ibid. P. 36, 38–39; *Suet.* Dom. 22; *Plin.* Epist. IV, 11, 6; *Iuv.* II, 29–33.

[20] Ibid. P. 39–40.

[21] *Mart.* VI, 3: *Nascere Dardanio promissum nomen Iulo, / Vera deum suboles; nascere, magne puer: / Cui pater aeternas post saecula tradat habenas, / Quique regas orbem cum seniore senex. / Ipsa tibi niveo trahet aurea pollice fila / Et totam Phrixi Iulia nebit ovem.* Не очень ясно, кто именно собирался родить императору наследника. Возможно, Домиция (см.: *Jones B.W.* The Emperor Domitian... P. 37) – в знак окончательного примирения. Любопытно, что Юлия выступает здесь в роли Парки: вероятно, в свое время ее не раз видели на Палатине с прялкой в руках – уклад жизни Августа и Ливии как-то сохранялся и при Флавиях.

[22] «Obviously, the rumours linking Domitia and Paris were current during Domitian's reign, whereas those linking Julia's death with a supposed affair with her uncle were not. They were invented after his death» (Ibid. P. 40).

Немного о датах и что из этого следует

К сожалению, полностью обойти этот вопрос молчанием невозможно: слишком многое на нем завязано.

Так или иначе и не столь уж важно, от чего именно, но Юлия умерла в 89/90 г.[23] Актер Парис был убит, как нам говорят, в 83 г. Из четырех участников этой семейной драмы в 93 г. в живых оставалась только императорская чета. Фарс Гельвидия, стоивший ему жизни, в этих обстоятельствах явно был не очень актуальным (а).

Но есть и (б) ожидаемый наследник из эпиграммы Марциала. Домиция, конечно, в любом случае могла родить: в 93 г. ей было всего 35 лет[24] (римских девочек выдавали замуж очень юными), но гораздо вероятнее, что эти ожидания связывались с недавним примирением супругов после нескольких лет разрыва.

Далее (в) существует посвященная Парису эпиграмма Марциала, написанная после смерти Домициана[25]; маловероятно, что она могла возникнуть тринадцать лет спустя или что поэт рассчитывал пережить своего принцепса, т. е. написал ее около 83 г. «в стол».

(г) Возможно, под Парисом следует понимать мима, а не императора, а под Эноной – его жену; Елена (Домиция) фигурировала в пьесе где-то на втором плане. Фарс Гельвидия, так сказать, неправильно интерпретировали: вряд ли он осмелился бы на открытую сатиру. Разумеется, в этом случае опечалившее весь город несчастье (Парис был очень любим и при жизни, и даже после смерти[26]) должно датироваться где-то 91/92 г.

Так как эпиграфика не противоречит этой датировке (а для Джонса, как мы видели, она вообще не очень существенна), то на нашем пути остается только одно препятствие – Дион Кассий. Но он был греком и жил почти двести лет спустя; кроме того, его ловят и не на таких неточностях. Впрочем, можно в конце концов и принять хронологическую последовательность Диона, т. е. смерть

---

[23] См.: *Vinson M.P.* Domitia Longina, Iulia Titi and the literary tradition // Historia, 1989. 38. P. 431–450, особенно P. 436.

[24] О Домиции см.: *Jones B.W.* The Emperor Domitian... P. 33–38. Она прожила долгую жизнь.

[25] Mart. XI, 13: *Quisquis Flaminiam teris, viator, / noli nobile praeterire marmor. / urbis delicias salesque Nili / ars et gratia, lusus et voluptas, / Romani decus et dolor theatri / atque omnes Veneres Cupidinesque / hoc sunt condita, quo Paris, sepulcro.*

[26] Место его смерти поклонники усыпали цветами, см.: *Cass. Dio.* Loc. cit. (см. примеч.13).

Париса – смерть Юлии: оба события вполне могут уместиться в рамках одного года – например, 90 г. н. э.

Взамен новая датировка многое объясняет. Казнь Париса, хотя, может быть, и вполне заслуженная, несомненно должна была вызвать неудовольствие, и Домициан как опытный администратор решил смягчить его, раздавая суффектные консульства представителям стоической оппозиции: Арулену Рустику, Маврику и Гельвидию (см. выше). Но даже такой неожиданной щедростью ему не удалось задобрить этих строгих моралистов. Так как консульские списки составлялись на два года вперед, то 92/93 годы получения предполагают 90/91 годы назначения.

Процесс сенаторов-стоиков

Выше мною было высказано предположение, что Гельвидий в своей пьесе имел в виду вовсе не то, что приписывает ему Светоний. Вероятно, именно это обстоятельство и побудило близко знавшего несчастного консуляра Плиния Младшего сразу же после смерти императора начать процесс против претора Керта, наложившего в сенате руки на неудачливого драматурга, и даже опубликовать написанную им обвинительную речь[27]. Если бы дело Гельвидия было рассмотрено в сенате по всем правилам, его наверняка не постигло бы столь суровое наказание. Но вина его несомненна: а) он неосторожно выбрал сюжет (видимо, Париса любили не только римские дамы, но и римские сенаторы); б) консуляру явно не подобало заниматься драматургией – ничуть не более, чем английскому лорду времен Елизаветы.

Что поставили в вину авторам биографий Тразеи и Гельвидия Старшего, нам неизвестно. Но сам всплеск литературной активности стоиков в 93 г. выглядит несколько подозрительным. Вероятно, это сошло бы им с рук, но и они, судя по всему, не удержались от намеков на недавний скандал. Кроме того, они наверняка слишком уж выпячивали добродетели своих жен и родственниц[28],

---

[27] *Plin.* Epist. VII, 30, 4 *libellos meos de ultione Helvidi*; IX, 13, 23.

[28] Что и как можно было написать о женах стоиков, демонстрирует пассаж из «Агриколы», посвященный жене римского генерала: Agr. 6, 1 *vixerunt mira concordia, per mutuam caritatem et in vicem se anteponendo, nisi quod in bona uxore tanto maior laus, quanto in mala plus culpae est.* («Жили они в удивительном согласии, благодаря взаимной любви и взаимному предпочтению друг другом, а в подобных обстоятельствах тем больше заслуг и принадлежит доброй жене, чем больше

за что последние поплатились ссылкой. Немалую роль, конечно, сыграло возмущение императора (и его ближайших советников) их вульгарной человеческой неблагодарностью.

Самое поразительное то, что Тит Авидий Квиет, друг Тразеи, Аррии и Фаннии (равно как и Плиния Младшего[29]), тоже получивший консульство в 93 г., не подвергся никаким санкциям. Видимо, он ничего предосудительного не писал и даже не говорил лишнего. Более того, в следующем году он был проконсулом Ахайи[30] – при Домициане честные и дельные люди делали карьеру независимо от их убеждений. Он был также другом Плутарха[31].

Репрессиям подверглись не только сами вышеупомянутые стоики, но и написанные ими книги: они были сожжены на форуме. Об этом сообщает только Тацит[32], причем упоминает биографии Тразеи и Гельвидия Старшего. Но и пьеса Гельвидия Младшего тоже должна была удостоиться той же участи. Тацит намеренно умолчал о ней: в разряд *monumenta clarissimorum ingeniorum* она явно не входила. Но Тацит и его отношения со стоиками и Домицианом это совсем другая и гораздо более сложная тема[33].

Alexander Tscherniak

Helvidius Priscus iunior exodiumque suum Paris et Oenone (Suet. Dom.10,4).

Helvidius praetoris Helvidii Prisci filius A.D. 93 occisus monet divortium Domitiani imperatoris cum uxore non 83, ut vulgo creditur, sed potius A.D. 90 accidisse, quod etiam ex epigrammate Martialis in mimi Paridis, Domitiae adulteri, sepulcrum (Mart. XI 13, sc. post Domitiani mortem) sequitur. tunc perspicuum est Domitianum scandalum timentem consulatos stoicis Aruleno Rustico fratrique eius Maurico ac Helvidio filio tribuisse, mox cachinnis eorum indignatum irritatumque morte aut relegatione ingratos damnasse.

вины принадлежит дурной».) (Пер. *В.И. Модестова*). Жену Агриколы звали Домиция Декидиана, Домициану такие рассуждения вряд ли могли понравиться, но они и принадлежат редакции 97/98 г., см. мою статью: *Tscherniak A*. Tacitus in schwerer Zeit: Zur Entstehung des «*Agricola*»// Hyperboreus. XIII (в печати).

[29] См.: *Plin*. Ep. VI, 29, 1; IX, 13, 15–16; *Jones B.W*. Domitian... P. 44; см. также: *Fasti Potentini*: AE 1949, 23, 29.

[30] См.: Sylloge^3 II 822.

[31] Плутарх посвятил ему свой трактат *De sera numinis vindicta*; см.: *Hanslik R*. Art. *Avidius* nr. 6 // Der kleine Pauly I, 1979. 788.

[32] *Agr*. 2, 1, см. примеч. 4.

[33] См.: *Tscherniak A*. Op. cit.

П.П. Шкаренков

ЯЗЫК РИТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
(к вопросу о трансформации латинского языка в поздней античности)

В одном из писем VII книги своих «Variae» Кассиодор уделяет особое внимание описанию двух придворных короля Теодориха – родных братьев Киприана и Опилия. Братья предстают образцами физического и морального совершенства, что находит свое отражение в композиции письма – характеристики героев даются параллельно, и они практически тождественны: «...он, Опилий, до такой степени вобрал в себя все достоинства своего брата, что неизвестно <...> кто из них был более достоин похвалы. Если один искренне предан своим друзьям и свято чтит дружеские узы, то и другой также честно выполняет данные им обеты. Если одному из них неизвестно, что такое жадность, то другому не менее чужда алчность <...> Итак, они знают, что значит быть преданными своим королям, ибо никогда не поступали вероломно по отношению к своим коллегам...»[1]

Противоположную информацию можно почерпнуть из Боэция. Оба брата, как утверждает философ, выступили против него с ложными обвинениями, причем если Киприан просто называется доносчиком, то про Опилия сказано, что он был приговорен судом к изгнанию за многочисленные служебные злоупотребления и над ним, как над простым преступником, даже нависнет угроза клеймения, если он откажется покинуть Равенну в назначенный королем день[2].

---

[1] *Cassiod.* Var. VII, 17.

[2] *Боэций.* Утешение философией I, 4 (пер. В.И. Уколовой): «Затем Опилион и Гауденций, им королевская цензура повелела за многочисленные преступления удалиться в изгнание. Когда же они, не желая подчиниться, устремились

Не менее противоречивые суждения высказывались о личности крупного чиновника Парфением, который являлся magister officiorum франкского короля Теодоберта. В письме Аратора Парфений оценивается необычайно высоко в самых восторженных выражениях[3]. Его имя, как свидетельствует автор послания, полностью соответствует присущей Парфению «чистой скромности» и воздержанности. Высокий государственный муж был необычайно любезен с ним во время их встречи в Равенне, и именно под его руководством Аратор смог насладиться совершенством произведений Цезаря, а также оценить достоинства светской и духовной поэзии. Парфений побудил его изложить стихами Священное Писание, и поэт с удовольствием представил на суд своего старого друга готовое переложение.

Противоположный образ Парфения запечатлен в «Истории франков» Григория Турского. Автор сообщает, что этот самый Парфений был во всех отношениях чрезвычайно неприятной личностью, отличавшейся крайней грубостью и невоспитанностью. К тому же он собственноручно убил ни в чем не повинную жену и друга, а через несколько лет после письма Аратора (датируемого 544 г.) сам погиб от рук разъяренной толпы, которой был ненавистен своей жадностью[4]. Кажется необъяснимым, что одному и тому же человеку могут даваться столь противоположные характеристики.

Если предположить, что Кассиодор, рисуя портреты Киприана и Опилия, сознательно искажал действительность, преследуя определенные политические цели, то почему подобная деятельность явно не встречала осуждения при дворе? Вероятно, государственную власть вполне устраивала одна из главных установок позднеримских литераторов – стремление придать формальный блеск всем своим корреспондентам[5]. Уже в предисловии к «Vari

под защиту святого убежища и об этом стало известно королю, тот приказал: если они не покинут город Равенну в предписанный срок, то после клеймения оба будут изгнаны». О Киприане известно только то, что, будучи королевским референдарием, он донес королю о письмах, якобы отправленных сенатором Альбином византийскому императору Юстину, что послужило поводом для начала массовых репрессий среди римской аристократии, во время которых погибли Боэций и Симмах; PLRE 2: «Opilio 4», «Cyprianus 2».

[3] *Arator.* Epistula ad Parthenium; ср.: *Cassiod.* Var. VIII, 19; CIL IX, 1596.

[4] *Григорий Турский.* История франков (III, 36); PLRE 2: «Parthenius 3».

[5] Ср.: *Enn.* 314. 29ff; другая точка зрения: Liber Pontificalis 53. 3–5.

ae» Кассиодор говорит, что его цель – воздать «достойную хвалу» высшим сановникам и при этом описать их в «свете исторической реальности». Продолжая рассуждения, он называет «Variae» зеркалом своей души, заглянув в которое потомки смогут узнать его, ведь вряд ли может существовать произведение, противоречащее характеру человека, поскольку известно, что отделанный результат самых сокровенных сердечных излияний автора, выраженных в совершенной художественной форме, может рассказать о нем больше и правдивее, чем даже его собственные дети[6].

В другом месте «Variae» Кассиодор говорит о себе как о стороннике «прозрачного» ораторского искусства, т. е. такого красноречия, которое является выражением искренних чувств и переживаний оратора, идет непосредственно из глубины его души, ибо тогда в нем, как в зеркале, отражаются моральные устои автора. Таким образом, ничто не может служить более надежным свидетельством внутреннего мира человека, нежели рассмотрение тех слов, которыми он выражает свои мысли[7].

Не в меньшей мере характер говорящего проявляется в содержании и в тоне речи[8]. Даже поза и манера поведения могут сообщить очень многое: человек всегда будет пользоваться почетом и уважением, если не только его голос остается спокойным, но и весь его внешний вид, манера держать себя неизменно служат образцом невозмутимости и благородной сдержанности[9]. «Нравы служащих нам чиновников мы узнаем по их лицу и голосу. Если выражение лица спокойное, если дело излагается голосом сдержанным и ровным, то тогда мы полагаем, что сообщаемые факты заслуживают доверия, ибо все сказанное в состоянии смятения не может приниматься в расчет, так как, по нашему мнению, никогда не бывает правдивым...»[10]

Киприан и Опилий, по-видимому, овладели этим искусством придворного общения в совершенстве. Киприан, во всяком случае, должен был в нем отличиться, так как известно, что именно его Теодорих направил в Византию с дипломатической миссией[11].

---

[6] *Cassiod.* Var. 4. 19–27.

[7] *Cassiod.* Var. V, 22, 3.

[8] *Cassiod.* Var. V, 21, 2.

[9] *Cassiod.* Var. VIII, 14, 3–4.

[10] *Cassiod.* Var. VI, 9, 3–4; и ср.: III, 6, 3.

[11] *Cassiod.* Var. V, 40, 5.

Столь обычное для «Variae» внимание к внешней стороне дела, к ритуальным формам проявления чувств является одной из основных примет времени, характерной чертой данного исторического периода. Во многом это объясняется полной оторванностью образования, основанного на изучении классических образцов, от какой бы то ни было социальной реальности. Чрезвычайная любовь к стереотипам, привычка пользоваться готовыми штампами приводили к тому, что любой человек, независимо от своих моральных качеств, представал перед нами образцом совершенства.

Таким образом, единственный язык, который слышали вокруг себя высшие представители государственной власти и знатнейшие аристократы, был язык непрерывного славословия, постоянных восхвалений, на которые не скупилась позднеримская риторика, имеющая в своем распоряжении целый набор соответствующих слов, таких как: *lux, splendor, jubar, decus, serenitas, claritas, radius, coruscare, rutilare, fulmen, aura, fax, lampas, lumen, gloria, laus, praeconia, tituli, insignia, micare, ornamentum*. Их постоянное употребление является одной из характернейших черт как «Variae», так и всей поздней римской литературы.

В «Variae» мы находим следующее замечание: «Это великое свидетельство жизни человека не может быть названо просто “славным” (*clarum*), но только “славнейшим” (*clarissimum*), поскольку считается, что практически все прекрасно в том, к кому обращаются столь блестящим именем в превосходной степени (*tanti fulgoris superlativo nomine vocitatur*)»[12]. Этот позднеантичный институционализированный мир, который предстает перед нами в «Variae», мы видим как преломленное под определенным углом зрения отражение в зеркале кассиодоровской риторики, где степень искажения напрямую зависит от положения героя в государственной иерархии[13].

В латинском языке поздней античности пристрастие к гипотаксису (т. е. подчинительной конструкции), который являлся характерной чертой стиля литературы классического периода,

---

[12] *Cassiod*. Var. VII, 38.

[13] *Cassiod*. Var. VII, 35. Дж. О'Доннел (*O'Donnell J.J.* Cassiodorus. Berkeley; Los Angeles; London, 1979. P. 5) назвал Остготское королевство «миром, отраженным в зеркале». *Enn*. 12.9–13; ср.: *Fronto*. Ad Marcum Caesarem et Invicem, III, 12. Что касается Variae, то О'Доннел говорит о «ностальгии по блестяще отточенной риторике серебряной латыни» (Ibid. P. 96).

постепенно ослабевало. На смену приходили конструкции с более простым синтаксисом, где связи между простыми предложениями и между частями сложного поддерживались чередой частиц, из которых наиболее распространенными были *enim* и *nam* («ибо», «ведь»)[14]. С отходом от сложной, периодической структуры предложения главное внимание при передаче смысла начинает уделяться не глаголам, на которых в сущности и держался классический риторический период, а все в большей мере различным сочетаниям существительных.

Можно выделить несколько взаимосвязанных факторов, обусловивших резкий количественный рост числа абстрактных существительных в поздней латыни. Во-первых, на смену четкости и лаконичности латинского языка классического периода, который стремился к ясному формулированию рациональных доводов, апеллируя больше к разуму, чем к эмоциям, пришли иные эстетические установки[15]. С определенной долей условности сложившуюся эстетическую концепцию можно было бы назвать «новой чувственностью». Несмотря на то что многие новые слова и выражения находят смысловые аналоги в словарном составе языка золотого века, они тем не менее стремятся создать вокруг себя некое барочное изобилие. Отказ от принципа словесной экономии в поздней латыни реализуется как выполнение центральной эстетической задачи – вновь осознанной необходимости отгородиться от реального мира. Отсюда появление и частое употребление таких слов, как *districtio* («суровость»), *interminatio* («угроза»), *nimietas* («чрезмерность»), *oblocutio, depraedatio, hostilitas, incivilitas, indisciplinatio* etc., большинство из которых появляется в источниках не раньше III в. н. э. Все они наличествуют в «Variae».

Стоит упомянуть и о постоянно нарастающей в поздней латыни тенденции заменять личные местоимения абстрактными наименованиями, в частности титулами и многочисленными почетными званиями. Подобные абстрактные понятия можно встретить иногда и в сочинениях писателей классического периода, даже в переписке Цицерона, но их повсеместное распространение в позднем латинском языке (в бюрократических документах,

[14] *Cassiod.* Var. VIII, 26, 3–4; X, 31, 2–3; *Fridh A.J.* Etudes critiques et syntaxiques sur les Variae de Casiodore. Göteborg, 1950. P. 62–82.

[15] *Ауэрбах Э.* Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М., 1976. С. 92–93, 104–105.

в формулах, в описаниях различных протокольных церемоний, в эпистолографии или даже у сугубо религиозных писателей) во многом объясняется вновь ощущаемой потребностью в «спасительном изобилии слов»[16].

В поздней Римской империи существовала четко разработанная иерархическая система титулов и официальных обращений к членам императорского дома, сенаторам и чиновникам различного ранга в зависимости от их нахождения на той или иной ступени служебной лестницы, начиная с *nostra / vestra serenitas* или *mansuetudo* (при обращении к императору) через *celsitudo, sudlimitas* или *magnitudo* (в титулатуре чиновников высшего и среднего звена) до *devotio tua* (для рядовых служащих различных канцелярий и служб). Зародившаяся еще во времена принципата, систематизированная и унифицированная в *Notitia dignitatum*, в «Variae» Кассиодора эта система достигла наивысшей степени четкости и проработанности[17].

Кроме того, постоянному использованию абстрактных существительных в поздней латыни во многом способствовали изысканные литературные пристрастия представителей высших образованных слоев общества, которые, желая дистанцироваться от реального мира, драпировали его узорной тканью из абстрактных понятий, обтекаемых и утонченных выражений[18]. Многие из встречающихся у поздних авторов абстрактных существительных появились уже в «золотой» латыни, но только начиная с конца III в. мы находим их в таком изобилии. Большинство из них образуются от прилагательных (например, *carus / caritas*), и писатели часто нанизывали их одно на другое, создавая длинные цепочки слов, состоящие из подобных существительных: их громоздкость, неудобопроизносимость часто представляли реальную сложность для чтения, письма, а тем более для произнесения вслух. Такой

---

[16] *Muller H.F.* L'Époque mérovingienne. Essai de synthèse de philologie et d'histoire. N.Y., 1945. P. 161, а также выше: P. 157–158.

[17] *Fridh A.J.* Terminologie et formules dans les Variae de Cassiodore. Etudes sur le développment du style administratif aux derniers siècles de l'antiquité. Stockholm, 1956. P. 106–109.

[18] Вот несколько изысканных примеров, сочетающих в себе как вышеприведенные качества, так и отвечающие требованию эвфонии: *cervicositas, flexibilitas, numerositas, officiositas*. Ср.: *Zimmermann O.J.* The Late Latin Vocabulary of the Variae of Cassiodorus. Washington, 1944; а также: *Fridh A.J.* Contributions à la critique et l'interprétation des Variae de Cassiodore. Göteborg, 1968. P. 33f.

строй речи вряд ли был совместим с четкой, высокоподвижной, может быть, иногда чрезмерно систематизированной структурой классической латыни в период ее расцвета как синтетического языка.

Все основные ценностные характеристики поздней античности и наметившиеся тенденции к их изменению, отразившиеся в развитии латинского языка, могут быть рассмотрены методом «ключевой лексики», выделяющим те слова, которые хотя и имелись в языке, но до определенного момента оставались относительно редкими[19]. Тем не менее исходя из потребностей языка практически постоянно образовывались и совсем новые абстрактные существительные, чаще всего по принципу аналогии: *Trinitas, puritas, profunditas, moralitas, resurrectio, sanctificatio, pollutio, dilectio, manifestatio, afflictio, illuminatio, adunatio*[20].

Нет ничего удивительного в том, что авторы этого периода, следуя требованиям эвфонии, очень часто используют различные слова со значением сладостности и приятности. Для такого рассудительного традиционалиста, как Квинт Аврелий Симмах, слово *mel* («мед») было не более чем метафорой для обозначения стилистического великолепия[21]. У христианских писателей, особенно у авторов посланий, это слово становится одной из наиболее часто встречающихся метафор для обозначения духовного начала, особенно когда оно заключается в письменном слове. К слову *mel* в эпистолярном или ином контексте можно добавить *dulcedo* («сладость»), *suavitas* («приятность»), *favus* («соты») и *nectar*[22] или же слова, связанные с освежающим отдыхом: *fons, irrigare, refrigerare*; с пищей: *ubertas, cibus, pastus, lac*; с удовольствиями[23].

Подобный язык не создавался в расчете на потребности управленческого делопроизводства, но его распространение в

[19] *Fridh A.J.* Op. cit. P. 155–156.

[20] Все эти слова встречаются в основном у христианских авторов или, как, например, *profunditas* и *puritas*, являются характерными признаками поздней античности в целом.

[21] *Symm.* Ep. I, 24.

[22] Ср.: *Paulinus Nol.* Ep. 21,6; *Sid.* Ep. IV, 28; Vita Honorati // PL 50. 1261 B–C: «blanda... dulcia... mel... dulcedinis»; *Victor Vitensis* 4, 8–10 и т. д. У Симмаха примеры подобного словоупотребления встречаются гораздо реже.

[23] *Prudentius.* Cathemerinon IV, 33; *Sid.* Ep. III, 12; Fausti aliorumque epistulae // MGH. AA. Vol. VIII. P. 271, 22–7; *Enn.* 18. 12–14; Vita Caesarii I, 52; *Cassiod.* Instit. I, 17, 1; Epp. Austrasicae 12.

самых разнообразных контекстах связано с активным проникновением деятелей христианской церкви в социальную сферу. Или даже с их все более усиливающимся влиянием на духовную атмосферу эпохи (идет ли речь о Павлине Ноланском или о посвященном в сан Сидонии; о Рурикии или Эннодии, когда последний говорит в меньшей степени как аристократ, а больше как представитель церкви; о позднем Кассиодоре, когда он стал «обращенным» и удалился от мирских дел). Частота употребления этих слов сохраняется на века, и их актуализация самым непосредственным образом связана с важнейшими культурными процессами эпохи.

Рассматриваемый нами «новый» латинский язык отражает скорее некий культурный сдвиг, нежели упадок культуры или образованности как таковой. Произведения позднеримских авторов, таких как Сидоний Аполлинарий и – даже в большей мере – Авит Вьеннский, свидетельствуют о редкостной образованности, изысканности, утонченности интеллектуального сообщества тогдашней Европы. Это был мир, в котором культурный человек уже не чувствовал себя удовлетворенным, имея простое, житейское имя, как, например, *Naevius* или *Balbus*, часто получаемое из-за физических недостатков, но стремился носить имя, связанное либо с внешним блеском, как *Asterius, Celestinus, Orientius, Fulgentius,* либо с добродетелями как *Constantius*, либо с библейскими персонажами, такими как *Petrus* или *Johannes.*

Позднеримское общество было очень высоко институционализированным не только в политической и правовой сферах с множеством абстрактных существительных для обозначения и описания различных ритуалов, церемоний, судебных процессов, политических и административных функций, но также в сфере общественной морали и религии. Император и высшие чиновники обладали теми же самыми добродетелями, описывались в тех же самых категориях, что и деятели церкви[24]. Только в том случае действия человека имели значение, если они соответствовали санкционированной модели поведения, связанной с исполнением определенной социальной роли[25], в которой сами действующие

[24] Ibid. P. 37–40; *Fichtenau H.* Arenga: Spätantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformeln. Graz; Cologne, 1957. P. 93–95.

[25] *MucMullen R.* Some Pictures in Ammianus Marcellinus // Art Bulletin. 1964. № 46. P. 435–438.

лица могли добиться успеха только в той степени, в какой они воплощали в себе необходимые моральные идеалы[26].

При доминировании такого способа восприятия мира неудивительно, что мы все реже встречаем в текстах описания конкретных людей с только им присущими индивидуальными качествами. Личность человека скрывается за набором идеальных атрибутов, состав и количество которых зависит от места, занимаемого данным человеком в обществе. Господствующей тенденцией стала замена имени императора, должностного лица, аристократа, церковного иерарха абстрактными фразами типа *tua serenitas*, *tua pietas* и т. п. Эти примеры наглядно показывают, как конкретные личности становятся воплощением исполняемых ими функций. Существует целое исследование, посвященное рассмотрению тех абстрактных терминов, которые встречаются в «Variae», их количественному составу, взаимозаменяемости, иерархии[27].

Это пристрастие к изображению идеальных качеств, представленных в отрыве от конкретных действующих лиц в форме абстрактных существительных, тесно связано с чрезвычайной частотой употребления в произведениях поздней античности слова *semper* («всегда»). Если люди и их идеальные образы суть одно и то же, то тогда можно сказать, что все их поведение, существование определяются неким постоянством, некой неизбежностью, неизменностью[28]. Мир идеальных образцов является и миром банальностей, общих мест, обычно морализаторского толка, которыми часто злоупотребляли писатели рассматриваемого периода, при этом, правда, представлялось много возможностей для употребления слова *semper*[29].

В тесной связи с описываемыми процессами, когда определенный набор качеств должен был заменить конкретную индивидуальность, может быть рассмотрена еще одна характерная черта словесного искусства этой эпохи (особенно V и VI вв.) – частое

---

[26] *Гуревич А.Я.* Категории средневековой культуры. 2-е изд., испр. и доп. М., 1984. С. 313.

[27] *Fridh A.J.* Terminologie et formules dans les Variae de Cassiodore. Etudes sur le développment du style administratif aux derniers siècles de l'antiquité. Stockholm, 1956. К этому, несомненно, можно отнести и постепенное исчезновение звательного падежа из поздней латыни (*O'Donnell J.J.* Op. cit. P. 95).

[28] Примеры из императорских указов см.: *O'Donnell J.J.* Op. cit. P. 34.

[29] *Paulinus Pel.* Eucharisticon, 540: «...instabilis semper generaliter aevi».

употребление слов *insignia* и *tituli* по отношению к нравственным качествам по аналогии с титулами и знаками отличия чиновников[30].

Такое усиление внимания к внешней атрибутике можно проследить и в развитии изобразительных искусств, особенно искусства позднего Рима. Начиная с IV в. статуи римских императоров и государственных деятелей все меньше передают индивидуальные особенности конкретной личности, концентрируя все внимание на внешних признаках их высокого положения[31]. Средневековое искусство, как известно, также придавало очень большое значение точному воспроизведению всех символов власти, деталей одежды, позе сильных мира сего светского и духовного звания, нимало не заботясь о передаче портретного сходства, поэтому по этим произведениям нельзя судить о том, как выглядели те или иные выдающиеся личности прошлого «на самом деле»[32].

Говоря о процессе усвоения классической культуры церковью на Западе, Э. Ауэрбах отмечает: «Начиналась эпоха, которой суждено было долго продлиться, когда высшие слои общества не обладали ни образованием, ни книгами, ни даже языком, на котором бы они могли описать культурную ситуацию, сложившуюся в реальных жизненных условиях. Был усвоенный в процессе обучения язык <...> но это был язык общей культуры»[33]. Поэтому неудивительно, что, когда в начале IX в. Эйнхард задумал написать биографию такой колоссальной фигуры, как Карл Великий, чье значение выходило далеко за пределы категорий, связанных со сферой святости и благочестия, ему пришлось складывать в единое целое мозаику цитат из «Жизнеописания двенадцати Цезарей» Светония, написанного во II в.[34]

---

[30] *Enn.* 105, 19–20; 138, 20; 186, 17; *Cassiod.* Var. II, 3; III, 6, 3; AL II, 2, 1376, 6; 1385, 6; 1411, 13; 1414, 14, 1430, 7; 1445, 7; 1516, 3. В подобном метафорическом контексте часто употребляются и *gemmae*.

[31] *MucMullen R.* Op. cit. P. 445–450; также см.: *Salvianus.* De gubern. Dei IV, 33 («когда человек меняет свои одежды, он немедленно меняет свой пост»).

[32] *Morris C.* The Discovery of the Indívidual, 1050–1200. L., 1972; *Ullmann W.* The Individual and Society in the Middle Ages. L., 1967. P. 43f; *Grabar A.* Plotin et les origines de l'esthétique médiévale // Cahiers Archologiques. 1945. № I. P. 19.

[33] *Auerbach E.* Literary Language and Its Public in Late Latin Antiquity and in the Middle Ages / Transl. from the German by R. Manheim. L., 1965. P. 255.

[34] *Morris C.* Op. cit. P. 8.

DE LITTERIS GRAECIS

Н.К. Малинаускене

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ В ЭПОХУ ГОМЕРА

Предметом настоящего исследования являются слова, которые в древнегреческом языке обозначают наиболее общие понятия из сферы чувственного восприятия. Здесь имеются в виду, конечно, не логические понятия, а так называемые бытовые, или языковые, понятия, которые соотносятся с логическими и часто являются базой для их развития[1]. По наличию или отсутствию тех или иных слов из этой области, по степени их абстракции, по их этимологическим связям в известной степени можно судить о формировании соответствующих понятий чувственного восприятия в раннюю эпоху античности.

Изучение сенсорной лексики — задача детального исследования. Здесь можно выделять лексико-семантические группы разного уровня в зависимости от степени абстрактности значений рассматриваемых слов. Так, наиболее широко представленным слоем лексики чувственного восприятия являются обозначения конкретных качеств конкретных предметов (в древнегреческом языке, например, ἐρυθρός - *красный*, πικρός - *горький*). Далее следуют общие обозначения этих конкретных качеств (ἐρυθρότης - *краснота*, πικρότης - *горечь*). Еще более абстрактными представляются слова, обозначающие общие понятия: χρώς - *цвет*, γεῦσις - *вкус*. С другой стороны, в языке можно выделить обозначения зрения, вкуса как качеств уже не объекта, а субъекта восприятия, из которых наиболее абстрактным надо считать обозначение чувства вообще.

[1] См., например: *Ветров А.А.* Методологические проблемы современной лингвистики. М., 1973. С. 77–78; *Степанов Ю.С.* Основы общего языкознания. М., 1975. С. 13.

В отечественной науке большинство исследований лексики чувственного восприятия (в основном диссертационных) проводилось именно на материале конкретных обозначений объективных качеств предметов внешнего мира, прежде всего в области современных языков. Причем в первую очередь внимание ученых привлекали цветообозначения. Им посвящены многочисленные научные статьи и диссертации[2]. Опубликован также каталог названий цвета в русском языке[3]. Постепенно стали появляться исследования, посвященные лексике из других областей чувственного восприятия, проведенные на материале одного или двух-трех языков в сравнительном плане[4]. Сенсорные обозначения рассма-

---

[2] Укажем некоторые из них (в хронологическом порядке): *Юрик В.А.* Опыт структурного анализа семантического поля цвета в русском и латышском языках // Уч. зап. Латвийского гос. ун-та им. П. Стучки. Т. 25, вып. III А. Рига, 1958; *Грановская А.М.* Прилагательные, обозначающие цвет, в русском языке XVII—XX вв. Дис .... канд. филол. наук. М., 1964; *Садыкова М.* Слова, обозначающие цвет и окраску в узбекском языке. Дис .... канд. филол. наук. Ташкент, 1964; *Сакаян Д.Г.* Сложные прилагательные, обозначающие цвет, в современном немецком языке. Дис .... канд. филол. наук. М., 1964; *Москович В.А.* Семантическое поле цветообозначений (опыт типологического исследования семантического поля). Дис....канд. филол. наук М., 1965; *Грановская А.М.* Цветообозначения в истории русской лексики // Русская историческая лексикология. М., 1968; *Пелевина Н.Ф.* Теория значения и опыт построения семантических полей (значение света и цвета). Дис .... д-ра. филол. наук. Л., 1971; *Масленникова К.И.* Система цветообозначений современного французского языка. Дис .... канд. филол. наук. Л., 1972; *Чирнер Х.* Семантический объем прилагательных, обозначающих цвет, в русском языке в сопоставлении с немецким. Дис .... канд. филол. наук. М., 1973; *Арнгольд Г.И.* Становление системы цветообозначений в немецком языке. Дис .... канд. филол. наук. Минск, 1977; *Фрумкина Р.М. и др.* Экспериментальное изучение семантических отношений в группе слов-цветообозначений. М., 1982; *Павлюченкова Т.А.* Прилагательные со значением цвета в языке русских былин. Дис .... канд. филол. наук. М., 1984; *Кузнецова И.С.* История переносных употреблений цветообозначений в памятниках русской письменности XVII—XVIII веков. Дис .... канд. филол. наук. М., 1989; *Творонович О.Е.* Социальное и индивидуальное в семантике производного слова (на материале производных имен существительных с общим значением «носитель цветового признака»). Дис .... канд. филол. наук. Киев, 1992.

[3] Каталог названий цвета в русском языке / Василевич А.П. и др. М.: Смысл, 2002.

[4] *Шрамм А.Н.* Очерки по семантике качественных прилагательных. Л., 1979; *Он же.* Аспекты семасиологии исследования качественных прилагательных. Дис .... д-ра филол. наук. Л., 1980.

тривались и в работах общего характера. Так, А.Н. Шрамм в классификации качественных прилагательных выделяет эмпирийные прилагательные, которые в дальнейшем подразделяются в зависимости от того, каким органом чувств воспринимается признак: обонянием, зрением и т. д.[5] Имеются также работы, авторы кото-

[5] Больше всего имеется исследований по вкусообозначениям, например: *Ширина Л.И.* Прилагательные вкуса в современном русском языке (Опыт структурно-семантического исследования). Дис. ... канд. филол. наук. Ташкент, 1971; *Куценко А.В.* Семантическая структура прилагательных-вкусообозначений и их лексическая сочетаемость в английском и русском языках. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1979; *Лечицкая Ж.В.* Прилагательные вкуса в современном русском языке (в аспекте номинации). Дис. ... канд. филол. наук. М., 1985; *Герасимова К.М.* Лексикографическая и семантическая интерпретация прилагательных вкусового ощущения. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1986; *Гронская Н.Э.* Семантическая структура русского многозначного слова. Опыт контрастивного анализа прилагательных вкуса. Дис. ... канд. филол. наук. Нижний Новгород, 1995.

Меньше представлены исследования зрительных (нецветовых обозначений, например: *Гудавичюс А.* Лексико-семантическая группа зрительного восприятия в русском и литовском языках (Опыт семантической типологии). Дис . ... канд. филол. наук. Вильнюс, 1970; *Кретов А.А.* Семантические процессы в лексико-семантической группе глаголов зрительного восприятия современного русского языка. Дис .... канд. филол. наук. Воронеж, 1980.

Немного работ по звукообозначениям, например: *Глушич О.Д.* Существительные-звукообозначения в русском языке и их функционирование в художественной речи. Дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1986; *Денисенко О.И.* Микрополе «звучащий» как целостный фрагмент лексико-семантической системы языка. Дис. ... канд. филол. наук. Харьков, 1988.

Среди обозначений осязания исследуются в основном слова, обозначающие тепловое восприятие, например: *Токарева Т.Е.* Лексико-семантическая группа прилагательных, обозначающих температуру в современном русском языке. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1976; *Павлова И.С.* Русские прилагательные, обозначающие тепловое восприятие (сопоставительно с болгарским и чешским языками). Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1978; *Нестерская Л.А.* Анализ лексико-семантической группы прилагательных как лексической микросистемы современного русского языка (прилагательные осязания). Дис. ... канд. филол. наук. М., 1979.

Исследования обозначений запаха совсем малочисленны, например: *Сидельников В.П.* Лексика со значением «запах» в русском языке. Дис. ... канд. филол. наук. Харьков, 1983.

Имеются отдельные работы по сравнению выражения в языке разных ощущений, как правило, на ограниченном материале, например: *Заякина Т.А.* Синонимические ряды с прилагательными, выражающими осязательные, обонятельные и слуховые ощущения // Вопросы лексики и словообразования русского языка. Фрунзе, 1977. Вып. 1. С. 23–26 (на материале Паустовского).

рых исследуют лексику различных древних языков специально[6] или в связи с современными[7].

В данной статье мы обратимся к материалам языка Гомера, отражающего древнейший этап в становлении системы лексики древнегреческого языка. Необходимость такого рода исследований отмечалась А.Ф. Лосевым в работе, написанной в послевоенные сороковые годы и опубликованной в 1954 г., в которой дан пример детального анализа зрительных терминов в эстетическом аспекте[8]. Отдельные группы гомеровской лексики чувственного восприятия нам уже приходилось анализировать в диссертации о гомеровских цветообозначениях и ряде статей по другим лексико-семантическим группам[9]. Не менее важным, чем исследование

---

[6] *Лукина Г.Н.* Прилагательные с первичным значением вкусового признака в древнерусском языке IX–XIX вв. // Лексикология и словообразование древнерусского языка. М., 1966; *Суровцева М.А.* К истории выражения цветовых значений в древнерусском языке XI–XVI вв. Дис .... канl. филол. наук. М., 1967; *Корыхалова Т.П.* Развитие лексико-семантической группы имен существительных со значением сенсорных качеств в латинском языке III в. до н. э. – II в. н. э. Дис .... канд. филол. наук. Л., 1968; *Чекалина Е.М.* Семантическое поле цветообозначений в старофранцузском языке // Вопросы филологии. Л., 1970. Ч. II. С. 85–100; *Мурьянов М.Ф.* К интерпретации старославянских цветообозначений // Вопросы языкознания. 1978. № 5. С. 93–109; *Федоров Н.А.* Становление эстетической лексики Цицерона. Дис .... канд. филол. наук. М., 1981 (вторая глава посвящена лексической группе со значением *сладкий, приятный*).

[7] *Макаров В.В.* К проблеме лексико-семантической дифференциации романских языков. Дис .... д-ра. филол. наук. М., 1972 (о вкусообозначениях в романских языках с привлечением латинского материала).

[8] *Лосев А.Ф.* Эстетическая терминология ранней греческой литературы // Уч. зап. МГПИ им. В.И. Ленина, 1954. Т. 83, вып. 4. С. 77–100.

[9] *Садыкова Н.К.* Цветообозначения у Гомера. Дис .... канд. филол. наук. М., 1975; *Она же.* История семантики древнегреческих слов χρώς, χρόα и χρῶμα // Античная балканистика-2. Предварительные материалы. М., 1975; *Малинаускене Н.К.* Семантика «зрения» — «свечения» в античности // Из истории античной культуры. М.: МГУ, 1976; *Она же.* Развитие семантики слов, выражающих понятие цвета в древнегреческом языке // Kalbotyra (Языкознание). Уч. зап. высш. уч-х. зав-ий Лит. ССР. XXXIV (2). Вильнюс, 1983. С. 101–108 (на лит. яз., резюме на нем. яз.); *Она же.* Обозначения вкуса в поэмах Гомера // Античная культура и современная наука. М., 1985. С. 144–148; *Она же.* Обозначения запаха в поэмах Гомера // Филологические записки. Вып. 7. Воронеж, 1996. С. 156–161; *Она же.* Восприятие мира в гомеровском эпосе (обозначение тепла и холода) // Образ мира – структура и целое. Лосевские чтения. Логос. 1999. № 3. С. 496– 509.

каждой такой конкретной области, связанной с той или иной сферой чувств (цветовые, вкусовые, обонятельные и т. д. термины), нам представляется рассмотрение слов, обозначающих сами эти чувства: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание.

Надо отметить, что некоторые элеметы из данной сферы были представлены в крито-микенский период развития древнегреческого языка. Это становится очевидным из материалов «Предметно-понятийного словаря греческого языка»[18]. В нем, а именно в разделе «Человек», выделены подразделы: «Чувственное восприятие», «Зрение», «Слух», «Обоняние», «Вкусовые ощущения», «Осязание» и далее — «Цвет ткани». Цветообозначениям в греческом языке крито-микенского периода посвящена специальная работа М.Д. Петрушевского[19]. Воссозданию более полной картины в этой области естественно препятствует фрагментарность имеющегося материала.

Безусловно, нужно иметь в виду и ограниченный характер гомеровских текстов как с точки зрения их объема, так и с точки зрения их стилистической принадлежности. Это, бесспорно, накладывает определенные ограничения на возможные выводы. Тем не менее эпос Гомера представляет собой своеобразную энциклопедию жизни древних греков. Поэтому чувственная сфера познания мира, столь важная в древнейшие эпохи, не может быть не представлена в нем достаточно полно, хотя и в определенном соответствии с уровнем развития языка того времени.

Прежде всего надо отметить, что у Гомера нет слова с общим значением *чувство, ощущение* (αἴσθησις)[20]. Это существительное появляется позднее и, как правило, в философских сочинениях[21]: в значении *чувственное восприятие, ощущение*, например, у Филолая (Philol. 13), Архита (Archyt. 1), Гиппократа (Hp. VM 9), Аристотеля (Arist. A Po 99 b 35); в форме множественного числа в значении *чувства* — у Демокрита (Democr. 9 и др.), Гиппократа

[18] Предметно-понятийный словарь греческого языка. Крито-микенский период / Сост. В. П. Казанскене, Н.Н. Казанский. Л., 1986. С. 76—77, 85.

[19] *Petruševski M.D.* Les désignations de couleur en grec mycénien // Atti e memorie del I Congresso internazionale di micenologia. Roma, 1967.

[20] *Gehring A.* Index Homericus. Leipzig, 1891.

[21] *Liddell H.G., Scott R.A.* Greek-English Lexicon with Revised Supplement / Rev. and augm. by H.C. Jones. Oxford, 1996. Далее все сокращения в указаниях на источники приводятся в соответствии со списком сокращений данного словаря.

(Hp. I, 23), Платона (Theaet. 156 b; R 507 e и др.), в единственном числе – при обозначении отдельных чувств: ἡ τοῦ ὁρᾶν αἴσθησις (Plat. R 507 e), ἀπ' ὄψεως ἤ τινὸς ἄλλης αἰσθήσεως (Plat. Phlb. 39 b); в значении *орган* или *место восприятия* у Ксенофонта (Mem. I 4.6), Аристотеля: *πάσας τὰς αἰσθήσεις ἐν τῇ κεφαλῇ εἶναι* (Fr. 95) и т. д. Употребление такого абстрактного существительного именно в сочинениях научного характера вполне естественно.

У Гомера отсутствует и глагол αἰσθάνομαι – *ощущать, чувствовать*, к которому восходит производное существительное αἴσθησις – *чувство*. Этот глагол вообще употребляется очень широко, представлен, в частности, у Эсхила (Pr. 957), Софокла (Ph. 75), Еврипида (Hipp. 603), Аристофана (Pax. 209), Ксенофонта (Mem. 3. 11. 8), Лисия (Lys. 9, 4), Гиппократа (Off. 1), Платона (Tht. 184 e) и др., т. е. в языке как художественной, так и научной литературы. Отсутствие в эпосе общего термина для обозначения *чувства* и даже для обозначения действия *чувствовать* обязательно нужно иметь в виду при дальнейшем рассмотрении гомеровского материала.

Чувства гомеровского грека всегда конкретны: он мог видеть (ὁράω), слышать (ἀκούω), мерзнуть (ῥιγόω), но не мог «чувствовать» вообще. Заметим, что и этимологически древнегреческий глагол αἰσθάνομαι (из *ἀϝισ-θ-) связан с глаголом более конкретного значения ἀΐω – *слушать, воспринимать* и родствен лат. audire (< *auiz-dh-jo ?) – *слушать*[14].

Из обозначений отдельных чувств у Гомера представлено прежде всего обозначение зрения ὄψις, засвидетельствованное в поэмах четыре раза. В значении *зрение* это существительное употребляется один раз. О встрече Пенелопы с Одиссеем в XXIII песни «Одиссеи» (94–95) говорится:

ὄψει δ' ἄλλοτε μέν μιν ἐνωπαδίως ἐσίδεσκεν
ἄλλοτε δ' ἀγνώσασκε κακὰ χροῒ εἵματ' ἔχοντα

То на него подымая глаза, убеждалась, что вправду
Он перед ней; то противное мыслила, в рубище жалком
Видя его...

(Здесь и далее русский текст «Одиссеи» дан в пер. В.А. Жуковского.)

[14] *Frisk H.* Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1960. Bd. I. S. 45.

В данном контексте форма ὄψει *зрением* еще почти равна ὀφθαλμοῖσιν, т. е. *глазами* (ср. Ил. XX 205), как об этом говорится чуть выше (Од. XXIII 91–92):

...εἴ τί μιν εἴποι
ἰφθίμη παράκοιτις, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν.

...какое разумная скажет
Слово супруга, его там своими глазами увидя.

В «Илиаде» существительное ὄψις употребляется в значении *вид,* например, в сцене прощания Гектора с Андромахой (Ил. VI 468, ср. XXIV 632):

ἂψ δ᾽ ὁ πάις πρὸς κόλπον ἐυζώνοιο τιθήνης
ἐκλίνθη ἰάχων, πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχθείς...

Но младенец назад, пышноризой кормилицы к лону
С криком припал, устрашася любезного отчего вида...

(Здесь и далее русский текст «Илиады» дан в переводе Н.И. Гнедича.)

Слово ὄψις этимологически восходит к древнему индоевропейскому корню, который мы встречаем в некоторых формах греческого глагола со значением *видеть*[18], например: ὄψομαι (Fut.), ὄπωπα (Perf.), ὀφθῆναι (Aor. pass.), οφθήσομαι (Fut. pass.), ὦμμαι (Perf. med.), а также в существительных: ὄμμα – *глаз,* ὄπις – *око,* ὤψ – *глаз, лицо,* ὄσσε (dual.) – *глаза*, ὀφθαλμός – *глаз.* Этот индоевропейский корень *ok^{u}- засвидетельствован также в лат. oculus, ст. сл. око, лит. akis, др. инд. akši, арм. Akn – *глаз* и др. Исследователи связывают его с охотничьей терминологией (*še/ok$^{[h]}$)[19].

К указанному индоевропейскому корню восходит и гомеровское существительное ὀπωπή – *зрение*, встречающееся в поэмах четыре раза, например в рассказе Киклопа о том, как Одиссей лишил его зрения (Од. IX 512): χειρῶν ἐξ Ὀδυσῆος ἁμαρτήσεσθαι ὀπωπῆς – *что рука одиссеева зренье мое уничтожит.* Это суще-

[18] Ibid.

[19] *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. I–II. Тбилиси, 1984. С. 121, 696–697, 786.

ствительное имеет у Гомера и значение *видение, вид* в выражении ἀντῆσαι ὀπωπῆς – *попасть на вид, в поле зрения* (Од. III 97, IV 327, XVII 44). Характерно, что после Гомера существительное ὀπωπή используется крайне редко и в основном в значении *глазное яблоко*, например у Аполлония Родосского (AR 2, 109). Его, очевидно, вытесняет слово ὄψις, которое и стало абстрактным обозначением зрения у Гераклита (Heraclit. 55), Демокрита (Democr. 11) и других авторов, в том числе у Платона (Cra. 396 b) и Аристотеля (de An. 428 a 6 и т. д.).

Что касается обозначения слуха в древнегреческом языке ἀκουή, то такое значение появляется у этого слова (в форме ἀκοή) после Гомера: у Геродота (Hdt. I 38) в выражении διεφθαρμένος τὴν ἀκοήν – *лишенный слуха, глухой* и особенно у Платона (ὄψις τε καὶ ἀκοή – Phd. 65 b – *зрение и слух*). У Гомера же ἀκουή встречается шесть раз и может означать *звук*: ἕκαθεν δέ τε γίγνετ' ἀκουή – *издали звук раздается* (о звуке боя — Ил. XVI 634). Чаще же ἀκουή в поэмах Гомера имеет значение *весть, молва:*

ἐς Πῦλον ἠγαθέην μετ' ἀγαυοῦ πατρὸς ἀκουήν

... чтоб скорее достигнуть
В Пилос, любезный богам, и узнать об отце отдаленном
(Од. II 308, ср. IV 701, V 19, XIV 179, XVII 43).

Этимологию этого слова толкуют двояко: это может быть сложение *напрягать слух* из корня ἀκ- со значением *острый* и οὖς – *ухо*: ἀκ-ουσ-jω, означающее *иметь острое ухо*, т. е. *слушать внимательно*. Другая точка зрения, более распространенная в последнее время, — это сближение с глаголом κοέω – *слушать, замечать* (у Гомера данный глагол отсутствует) и трактовка начальной α- или как протетической, или как аугментативной, или даже как нулевой ступени к *en- *в*[18].

Обозначение обоняния ὀσμή, засвидетельствованное в таком значении, например у Демокрита (Democr. 11), Ксенофонта (X. Hier. I 4 — о чутье собак), Аристотеля (Arist. Sens. 440 b 28 и сл.), в гомеровском эпосе (в форме ὀδμή < *od-mā) имеет только конкретное значение *запах* (6 раз). Причем этот запах может быть

[18] *Chantraine P.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. P., 1968. T. I. P. 50—51; *Frisk H.* Op. cit. Bd. I. S. 57—58.

как приятным, так и неприятным: δεινὴ δὲ θεείου γίγνεται ὀδμὴ ἐξ αὐτῆς... *...из древа разбитого вьется зловонный серный дым* (Ил. XIV 415), ср. о неприятном запахе тюленей (Од. IV 406, 442, 446), о благовонии от кедра (Од. V 59), о благоухании вина (Од. IX 210).

Этимологически существительное ὀδμή связано с глаголом ὄζω – *благоухать* (Од. V 60, IX 210) и имеет индоевропейское происхождение (ср. лат. odor – *запах*, лит. uosti – *чуять*, арм. hot – *запах*)[18].

В гомеровском эпосе вообще не представлены обозначения понятий «вкус» и «осязание». Слово ἁφή – *осязание* встречается в более поздних текстах: у Платона (R 523 e) и Аристотеля (de An. 424 a 12), как и γεῦσις – *вкус* — у Демокрита (Democr. 11) и Аристотеля (EN 1118 a 26; de An. 422 a 29, часто в свидетельствах об учении Демокрита).

Существительное ἁφή по происхождению связано с глаголом ἅπτω – *прикреплять, привязывать,* тем самым и *прикасаться, дотрагиваться.* Этимология же глагола ἅπτω неясна. Этот глагол широко представлен у Гомера и в указанном, и в некоторых близких к нему значениях. Например: *прикрепить* в Од. XI 278, *приладить* в Од. XXI 408, *прикоснуться* к коленям в Ил. I 512, Од. VI 147 или к подбородку в Од. XIX 473. В эпосе Гомера имеются и формы префиксального глагола от того же корня ἀμφαφάω – *ощупывать* (Од. VIII 196, ЧМ 462).

Таким образом, хотя у Гомера и отсутствует абстрактное обозначение понятия «осязание», семантически его появление уже подготавливается наличием глаголов с общими значениями *прикасаться, ощупывать.*

Обозначение вкуса γεῦσις, также отсутствующее у Гомера, этимологически соотносится с глаголом γεύω (чаще γεύομαι), восходящим к основе индоевропейского происхождения (ср. лат. gusto – *пробовать* и gustus – *вкус,* гот. kiusan, др. в.нем. kiosan – *пробовать,* др.-инд. joşayate – *пробовать*[19]).

Глагол γεύομαι во вкусовом значении представлен у Гомера один раз:

[18] *Chantraine P.* Op. cit. T. III. P. 777; *Frisk H.* Op. cit. 1972. Bd. II. S. 353—355.

[19] *Chantraine P.* Op. cit. T. I. P. 218; *Frisk H.* Op. cit. Bd. I. S. 302.

...τάχα δὴ καὶ ἔμελλεν Ὀδυσσεὺς
αὖτις ἐπ' οὐδὸν ἰὼν προικὸς γεύσεσθαι Ἀχαιῶν·

И, много собрав, Одиссей уже готов был
Сесть на порог свой, чтоб данной насытиться пищей
(Од. XVII 413).

Четырежды этот глагол имеет переносное значение *испробовать, испытать* (отведать копья – Ил. XX 258, XXI 61; Од. XXI 98 и отведать кулаков – Од. XX181).

Проведенное исследование убеждает нас, что в гомеровском эпосе представлен один из начальных этапов развития абстрактной лексики чувственного восприятия. Здесь отсутствует обозначение общего понятия «чувство» и начинается формирование обозначений отдельных чувств. В поэмах это пока только существительное ὄψις, которое наряду со значением, выражающим объективное качество (*вид, внешность*), реализует и значение, связанное с субъектом восприятия этого качества (*зрение*), т. е. в нем совмещены значения как объективное, так и субъективное.

То, что субъективное (и в данном случае более абстрактное) значение формируется прежде всего именно в сфере зрительного восприятия, вполне закономерно. Ведь зрение для человека – практически наиболее значимое чувство, с помощью которого человек получает бóльшую часть информации из внешнего мира.

В истории древнегреческого языка уже после Гомера аналогично протекало и развитие понятий «слух» и «обоняние» на базе засвидетельствованных у Гомера объективных значений слов ἀκουή - *звук* и ὀδμή - *запах.* И наконец, хотя в эпосе еще отсутствуют обозначения вкуса и осязания (позднегреческие γεῦσις и ἀφή), а также обозначения процессов «пробование на вкус» и «прикосновение», но уже есть основа для их формирования в глаголах со значениями *пробовать* (γεύομαι) и *прикасаться* (ἅπτω).

Таким образом, в гомеровский период развития древнегреческого языка была заложена база в области сенсорной лексики (прежде всего зрительной и слуховой), накоплен богатый языковой материал различной степени абстракции, который подвергся дальнейшему обобщению и осмыслению в эпоху классики. Специфика развития семантики сенсорных обозначений в этот период заключается, по-видимому, в сосуществовании языковых фактов, отражающих последовательные этапы на пути от обозначения объективного качества к обозначению субъективного восприятия этого качества.

В.В. Файер

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА АЛЕКСАНДРИЙСКИХ ФИЛОЛОГОВ: НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Работа александрийских филологов над изданиями Гомера и комментариями к ним – один из весьма подробно исследованных вопросов классической филологии. Им занимаются давно, но несмотря на обилие исследований и постоянное появление новых данных согласие по многим фундаментальным аспектам проблемы так и не достигнуто. Между тем решение этого вопроса важно не только само по себе: оно влияет на сотни строк в «Илиаде» и «Одиссее» и, следовательно, на множество античных текстов, зависящих от Гомера. Попробую дать краткий обзор этих проблем и возможных путей их решения в современной науке.

1. Начну я тем не менее с некоторых известных нам данных, которые в целом принимаются современной наукой. Александрийские филологи (по крайней мере некоторые) пользовались в своих работах различными рукописями Гомера, которые, согласно схолиям, делились по качеству на χαριέστεραι – *более образованные* и δημώδεις – *простонародные,* а также происходили из различных мест (Кипр, Крит, Массалия, Синопа, Арголида и Эолида). Орфография текстов, очевидно, различалась, и александрийцы учитывали возможные ошибки при транскрипции. Так, в Il.7.238 Аристофан читает βοῦν, а Аристарх βῶν, что схолии объясняют таким образом: ἐν τοῖς παλαιοῖς ἐγέγραπτο BON ὅπερ οὐκ ἐνόησαν οἱ διορθωταί. Речь здесь идет об известном историческом событии: в 403 г. в Афинах вместо «старого» аттического алфавита был законодательно введен ионийский, в котором различно отражались звуки [ŏ], [ō] и [o], а также [ĕ], [ē] и [e].

Работа филологов над текстом состояла в выборе или изобретении правильного варианта для каждого отдельного случая, а также в создании комментария и снабжении данной строки одним из специально разработанных критических знаков. Все эти чтения и комментарии, как явствует из знаменитой рукописи Venetus A, некоторое время бытовали в изложении четырех ученых: Дидима, Аристоника, Геродиана и Никанора. Первому, ученику Аристарха, принадлежит сочинение «Об Аристарховом издании»; второй, младший современник Дидима, составил работу «О знаках», изобретенных александрийскими филологами; третий, живший при Адриане, посвятил свой труд просодии «Илиады»; четвертый же, работавший во времена Марка Аврелия, занимался проблемами пунктуации. Наиболее вероятно, что схолиаст пользовался не всеми этими работами по отдельности, а одним еще более поздним и, очевидно, сокращенным компендиумом на их основе. Возможно, что этим же источником пользовался и византийский филолог Евстафий, который, комментируя Гомера, регулярно ссылается на неких Апиона и Геродора.

Влияние александрийцев на рукописную традицию можно рассматривать под двумя углами зрения. С одной стороны, в середине II в., т. е. к концу жизни Аристарха, традиция заметно унифицируется. До этого момента в Египте были чрезвычайно распространены так называемые дикие папирусы с большим числом добавочных строк, уникальных чтений и других особенностей. Папирусы же, появившиеся после этой текстологической стандартизации, мало чем отличаются от большинства средневековых рукописей (так называемые вульгаты).

2. Рассмотрим теперь некоторые спорные аспекты работы александрийских издателей Гомера. Задав первый вопрос: «Какими текстами располагали Зенодот и Аристарх?», мы сталкиваемся с проблемой так называемой **писистратовой рецензии**. Целый ряд античных свидетельств[1] можно трактовать так: поэмы Гомера были впервые собраны, приведены в порядок и записаны в Афинах во времена Писистрата. Еще одно свидетельство[2] приписывает Гиппарху установление на Панафинейских играх такого порядка, что следующий рапсод начинал рецитировать поэму Гомера с того места, на котором закончил предыдущий.

[1] Cic. De oratore III, 34 et 137; Paus. VII, 26, 6; Elian. VH XIII, 14; Liban. Decl. I, 1, 73; сюда же относят сообщение историка Диэвхида (см. Diog. Laert. I, 57).

[2] [Plato] Hipparchus 228 b9.

Отсюда возникает представление о писистратовой рецензии как об «общем голосе древних» (Ф.А. Вольф) и о заметных изменениях, которые афиняне внесли в текст Гомера. Однако тщательное исследование этого вопроса привело многих ученых к мысли, что легенда о записи и редактировании Гомера при Писистрате была придумана в эллинистический период по аналогии с деятельностью тогдашних филологов, которых поддерживали правители (прежде всего Птолемеи в Египте)[3]. Более раннее свидетельство автора «Гиппарха», собственно, ни о какой редакции не говорит: всем выступавшим на Панафинеях рапсодам предписывалось следовать общей сюжетной канве. Свидетельство же Диэвхида, как отмечает М.М. Покровский, «показывает, что рукописи Гомера, конечно, уже существовали и до Писистрата»[4].

Таким образом, резюмирует Р. Дженко: «Полноценная “Писистратова рецензия” – это, разумеется, научная теория, а не подлинная традиция; она была неизвестна во времена александрийцев. Если бы у кого-то был официальный писистратовский текст, мы бы об этом, конечно, знали. Слабое изображение афинян в обоих эпосах доказывает, что они мало меняли текст, если вообще меняли»[5].

Значит ли все это, что Афины не играли существенной роли в доалександрийской традиции Гомера? П. Шантрен уверен в обратном: «Неизвестно, когда тексты поэм были впервые записаны, но ясно, что все наши рукописи определенно восходят к аттическим экземплярам»[6]. С ним согласны специалист по эллинистическим гомеровским папирусам С. Вест и выдающийся филолог А.И. Зайцев, который ссылается на «орфографические особенности папирусов и средневековых рукописей». Интересно, что последний там же говорит о «молниеносности проникновения гомеровских поэм всюду, где только звучала эллинская речь», подчеркивая, что «Илиада» и «Одиссея» распространялись в письменном виде[7].

---

[3] *Pfeiffer R.* History of Classical Scholarship from the Beginnings to the End of the Hellenistic Age. Oxford, 1968.

[4] *Покровский М.М.* Гомеровский вопрос // История греческой литературы. М.; Л., 1946. Т. I. С. 110.

[5] *Janko R.* Introduction // The Iliad: A Commentary/ General Editor G.S. Kirk. Cambridge, 1985. Vol. 4. P. 39.

[6] *Chantraine P.* Grammaire homerique. P., 1958. Vol. 1–2. P. 5.

[7] *West S.* The Transmission or the Text // A Commentary to a Homer's Odyssey / By A. Heubeck, S. West, J.B. Hainsworth. Oxford, 1988. Vol. 1. P. 39. *Зайцев А.И.* Древнегреческий героический эпос и «Илиада» Гомера // Зайцев А.И. Избранные статьи. СПб., 2003. С. 243–245.

Получается, что, несмотря на широкое распространение текстов Гомера в греческом мире, все наши рукописи почему-то зависят от афинского варианта. По этой и другим причинам тезис о решающей роли Афин вызывает сомнения. Так, А. Лески в своем авторитетном компендиуме по греческой литературе призывает нас не думать «о систематическом влиянии аттического алфавита»[8]. Р. Дженко подчеркивает, что, «хотя поверхностные черты доказывают большую роль Афин в традиции... весьма маловероятно, что все позднейшие рукописи происходят оттуда»[9]. Да и сами орфографические особенности могут трактоваться иначе: Ж.-Ф. Нарделли, ссылаясь на фундаментальное исследование С.Т. Теодорссона, пишет, что «фонология этих аттицизмов часто свидетельствует о постклассической датировке»[10]. Таким образом, афинские черты рукописей могут на поверку оказаться александрийскими.

3. Перейдем теперь непосредственно к деятельности александрийцев, начав с весьма сложной проблемы – **принципов работы Зенодота**.

Заслугой филолога считается изобретение критического знака для атетезы. Обычно говорят, что Зенодот использовал этот знак, когда сомневался в подлинности данной строки, но не решался удалить ее вовсе. Такое изобретение свидетельствует об осторожности Зенодота; Ф.А. Монтанари, подчеркивая различие между простым исправлением слов и созданием критико-методологического инструментария, называет открытие Зенодота «большим прорывом»[11]. Но есть и другое объяснение: филолог помечал в своем экземпляре строки, которые следует выпустить при последующем переписывании. Такая трактовка, наоборот, свидетельствует об издательском радикализме Зенодота.

Многие из строк, подвергнутых атетезе, – повторы. Однако, как доказывает К. Никау, у Зенодота не было никакого особенного предубеждения против повторяющихся строк, поскольку тогда

[8] *Lesky A.* Geschichte der griechischen Literatur. Bern; Muenchen, 1963. S. 94.

[9] *Janko R.* Op. cit. P. 36.

[10] *Nardelli J.-F.*, rec.: M.L. West (ed.), Homerus Ilias... // Bryn Mawr Classical Review, 2001; *Teodorsson S.-T.* The Phonemic System of the Attic Dialect, «Studia Graeca et Latina Gothoburgensia 22». Lund, 1974.

[11] *Montanari F.A.* Alexandrian Homeric Philology. The Form of the Ekdosis and the Variae Lectiones // Epea pteroenta. Festschrift für Wolfgang Kullmann zum 75. Geburstag. Stuttgart, 2002. P. 130.

бы ему пришлось вдобавок удалить еще тысячи стихов[12]. Таким образом, ясно, что повторяемость, если вообще учитывалась, была для Зенодота второстепенным критерием.

Еще больше вопросов вызывают разночтения Зенодота: многие из них очень экзотичны, иные явно ошибочны, а некоторые даже неприемлемы метрически. Показательно недоумение С. Вест в ее комментарии к «Одиссее». С одной стороны, исследовательница предлагает серьезно рассмотреть эти чтения как lectiones difficiliores, потому что иные из них кажутся необъяснимыми. С другой стороны, оговаривается она, если варианты Зенодота действительно являются конъектурами, то «они предполагают настолько своевольное отношение к тексту, что создают сильное предубеждение против всех его странных чтений»[13].

Среди немногих защитников Зенодота стоит упомянуть Дж. Боллинга, который доказывает, что «ни Зенодот, ни Аристофан, ни Аристарх не атетировали строку, если ее засвидетельствованность не казалась им совершенно недостаточной»[14]. Однако эта точка зрения широкой поддержки не получает: Г. Эрбсе называет книгу Боллинга «радикальной и односторонней», и даже его сторонник М. Апторп считает тезис о консерватизме Зенодота «неочевидным и спорным»[15].

Наиболее распространенную «антизенодотову» точку зрения выражает Р. Дженко: для него бóльшая часть чтений Зенодота – конъектуры, возникшие из-за непонимания грамматики или синтаксиса, из-за попытки удалить повтор, «непоследовательность» или «непристойность», а также для стандартизации текста[16]. М. Вест полагает, что Зенодот не занимался сличением рукописей, но иногда правил с помощью конъектур свой вариант текста, который содержал множество явно неверных чтений. Эти варианты были впоследствии приписаны Зенодоту, так как в его комментариях не осталось указаний на их ошибочность. С другой стороны, зенодотов экземпляр, полагает М. Вест, сохранил неко-

[12] *Nickau K.* Untersuchungen zur textkritischen Methode des Zenodotos von Ephesos. Berlin; New York, 1977.

[13] *West S.* The Transmission or the Text. P. 43.

[14] *Bolling G.M.* The Athetized Lines of the Iliad. Baltimore, 1944. P. 30.

[15] *Erbse H.* Uber Aristarchs Iliasausgaben // Hermes. 1959. 87. S. 285; *Apthorp M.J.* The Manuscript Evidence for Interpolation in Homer. Heid, 1980. P. XV.

[16] *Janko R.* Op. cit. P. 24.

торое количество чтений, не связанных с аттической традицией, и в этом его ценность[17].

В ответ Ф.А. Монтанари высмеивает представление о «парадоксальном Зенодоте, который, несмотря на свой вкус и интерес к гомеровскому тексту, старается не смотреть на другие копии, которые могли ему попадаться, не отмечать, в чем они отличаются от его копии, и не задается вопросом о причинах этих различий»[18]. Действительно, согласно исследованиям А. Ренгакоса, занимавшегося гомеровскими реминисценциями у эллинистических поэтов, александрийцы много цитировали, сопоставляли различные варианты и т. п.[19] Более того, сверка рукописей была обычной практикой в эллинистических скрипториях, как показывают данные С. Вест[20]. «Вероятно ли, – спрашивает Ф.А. Монтанари, – если справщик скриптория сравнивал копии и исправлял их, как полагалось ремесленнику», что такой процедурой не пользовался образованный интеллектуал Зенодот?[21]

Издатель «Илиады» и «Одиссеи» Г. ван Тиль также обращает внимание на то, что квалификация Зенодота должна была гарантировать его чтения от метрических неправильностей: филолог «был учеником поэта Филита и коллегой поэта Каллимаха, которого он процитировал в своем издании Гомера (schol. П 234) От него дошли две эпиграммы безупречными дистихами»[22]. «Должно быть, – предполагает Тиль, – Зенодот записывал неэпические формы и глоссы не как разночтения, а как сравнительный материал». Считая многие необычные формы параллельными местами, ван Тиль перетолковывает и критические знаки: так, аристархова διπλῆ περιεστιγμένη получает у него значение не «так неправильно читает Зенодот», а «см. комментарий Зенодота». διχῶς следует понимать как «у Гомера есть еще и такой вариант», а οὕτως примерно как NB.

[17] *West M.L.* Praefatio // Homeri Ilias / Ed. M.L. West. Stuttgart; Lipsiae, 1998. Vol. 1. P. VII.

[18] *Montanari F.A.* Op. cit. P. 134.

[19] *Rengakos A.* Der Homertext und die hellenistischen Dichter. Hermes Einzelschriften 64. Stuttgart, 1987.

[20] *West S.* The Ptolemaic Papyri of Homer (Papyrologica Coloniensia 3). Köln, 1967. P. 133, 137, 223, 263.

[21] *Montanari F.A.* Op. cit. P. 135.

[22] *Thiel H. van.* Zenodot, Aristarch und andere // ZPE. 1992. 90. S. 4.

Об идее Тиля одобрительно высказались Р. Дженко и Д. Шенкефельд, однако многие (Н. Ричардсон, Ж. Иригуэн и А. Ренгакос) с ней не согласились, а М. Шмидт в особой статье подверг построения Г. ван Тиля подробному разбору и последовательной критике[23].

Подытожить вышеизложенное можно было бы словами С. Вест: «Современные ученые сильно расходятся в оценке работы Зенодота. Некоторые считают его осторожным и консервативным, другие – безответственным и эксцентричным»[24].

4. Необходимо упомянуть и вопрос о том, **сколько Аристарх подготовил «изданий» Гомера и как они выглядели**.

Во многих случаях схолии говорят об аристарховой традиции во множественном числе: αἱ Ἀριστάρχου (ἐκδόσεις), ἐν τοῖς Ἀριστάρχου ὑπομνήμασι и т. п. Нередко нам известно о двух мнениях филолога: διχῶς αἱ Ἀριστάρχου. Традиционное объяснение этих данных таково: вначале Аристарх создал ὑπόμνημα («комментарий»), предметом которого была ἔκδοσις («издание»), созданная, очевидно, Аристофаном Византийским. Позже Аристарх сделал свое издание и написал к нему комментарий. После смерти филолога ученики создали на основе его записей исправленное издание[25]. Таким образом, всего было два аристарховых издания и два комментария[26].

Однако все эти данные можно понять и иначе. Так, издатель схолиев к «Илиаде» Г. Эрбсе предположил, что ὑπομνήματα обозначает одно сочинение Аристарха – «Комментарии». Более того, термин ἐκδόσεις означает не «издания», а издаваемые Аристархом «поправки» к отдельным местам Гомера. Что касается двойных чтений, то для их объяснения необязательно предполагать, что изданий было несколько. Так, в схолии к Il.9.222 Аристарх пишет, что вместо чтения вульгаты лучше бы подошел один из двух вариантов: ἄμεινον οὖν εἶχεν ἄν φησὶν ὁ Ἀρίσταρχος εἰ ἐγέγραπτο

---

[23] *Schmidt M.* Variae Lectiones oder Parallelstellen: Was notierten Zenodot und Aristarch zu Homer? // ZPE. 1997. 115. Там же библиография откликов на идею ван Тиля.

[24] *West S.* Op. cit. P. 41.

[25] Важным свидетельством на этот счет служит сохраненное в схолиях название труда ученика Аристарха Аммония: Περὶ τοῦ μὴ γεγονέναι πλείονας ἐκδόσεις τῆς Ἀρισταρχείου διορθώσεως (ad K 397).

[26] *Pfeiffer R.* Op. cit. P. 217.

ἄψ ἐπάσαντο ἢ αἶψ' ἐπάσαντο. Очевидно, здесь филолог предлагает читателю на выбор две конъектуры, не настаивая ни на одной из них[27].

Вслед за Эрбсе Тиль указывает, что маргинальные схолии имеют античное происхождение и именно их, наряду с комментариями, следует считать первоисточником наших схолиев. Тиль подчеркивает, что «издание» в нашем смысле слова, т. е. полный критически установленный текст, «не мог возникнуть до изобретения книгопечатания, когда стало возможным создавать абсолютно точные копии текстов». Исследователь считает неисторичным мнение, что аппарат античного издания мог строиться на пословном сличении различных рукописей, так как происхождение вариантов уже для первой копии становилось проблематичным[28].

5. Среди вопросов, которые касаются деятельности александрийских филологов, ключевая проблема – **что есть чтения Аристарха: рукописные варианты или конъектуры**? Этот вопрос обсуждается со времен Ж.-Б. Вилуазона и Ф.А. Вольфа, изучавших новонайденные схолии А и пришедших к противоположным выводам. В XIX в. решающее слово в защиту Аристарха сказал К. Лерс, а особенно ярким апологетом Аристарха был А. Рёмер, который доходил до того, что все почему-либо неудовлетворительные чтения, приписанные античному филологу, объяснял или ошибкой традиции, или делом рук других александрийцев.

В наше время немало гомероведов склоняются к тому, что большинство чтений Аристарха и других александрийцев – конъектуры. Решающее влияние на мнение ученых оказал М. ван дер Фальк, который после тонкого филологического анализа схолиев пришел именно к такому выводу. Его мнение разделяют авторы кембриджского комментария к «Илиаде» Дж.С. Керк и Р. Дженко. «В целом, – пишет первый из них, – я согласен в ван дер Фальком... что “чтения Аристарха – почти всегда субъективные и личные догадки” и что “городские издания” – сравнительно недавний продукт эллинистической и, в особенности, александрийской критики»[29].

---

[27] *Erbse H.* Op. cit. Еще одно объяснение множественного числа αἱ Ἀριστάρχου принадлежит М. Весту (см. ниже).

[28] *Thiel H. van.* Introduction // Homeri Odyssea / Ed. H. van Thiel. Hildesheim; Zuerich; New York, 1991. P. XXVIII.

[29] *Valk M. van der.* Researches on the Text and Scholia of the Iliad. 2 Bande. Leiden, 1963–1964; *Kirk G.S.* Introduction // The Iliad: A Commentary, General Editor G.S. Kirk. Cambridge, 1985. Vol. I. P. 43; *Janko R.* Op. cit. P. 24–25.

Сторонники этой позиции не отрицают, что Аристарх обращался к различным рукописям, сличая несходные чтения. Однако соответствующие свидетельства схолий совершенно необязательно означают, что он поступал так всегда или даже систематически. Вполне вероятно, что Аристарх консультировался с рядом источников только в тех случаях, когда нуждался в дополнительных аргументах в пользу сомнительного чтения или конъектуры.

В этой связи интересно мнение М. Веста, который полагает, что схолиями, указывающими на сравнение нескольких рукописей, мы обязаны не Аристарху, а Дидиму. Действительно, разумно предположить, что такие словосочетания, как αἱ Ἀριστάρχου ἐκδόσεις, принадлежат не самому Аристарху, а кому-то из его учеников. Аристарх, по мнению Веста, «исследовал язык и узус Гомера»[30], а Дидим сличал две рукописи, которые он считал аристарховыми (αἱ Ἀριστάρχου), с другими изданиями, что и отразилось в наших схолиях. Таким образом, Вест как бы смещает акцент в вопросе, вынесенном в заголовок данного раздела. В ответе на критику Г. Надя и А. Ренгакоса исследователь говорит, что не согласен с позицией М. ван дер Фалька, однако его собственная точка зрения отличается лишь немногим. Действительно, утверждая, что Аристарх не сличал систематически чтения различных рукописей, Вест предлагает лишь более мягкую формулировку все того же тезиса о конъектурном происхождении многих вариантов филолога.

К каким же выводам с текстологической точки зрения привело Аристарха его исследование? Обычно в этой связи приводится приписываемый ему тезис «объяснять Гомера из Гомера». Он предполагает методологию выбора чтений без опоры на рукописную традицию; впрочем, Аристарх, судя по всему, аналогистической логикой не злоупотребляет.

Реконструируя эстетические взгляды Аристарха, В. Бахманн доказывает на материале схолиев к А 5–6 приверженность филолога к аристотелевой концепции целостности художественного произведения[31]. Аристотель на примере Гомера говорит, что μῦθος должен быть подражанием действию «единому и целому» (1451а), и указывает на примере трагедии, что подобно чле-

---

[30] *West M.L.* Op.cit. P. VII–VIII.

[31] *Bachmann W.* Die aesthetischen Anschauungen Aristarchs in der Exegese und Kritik der homerischen Gedichte. Nuernberg, 1902–1904. Bd. I. S. 11.

нам живого организма художественное произведение «не только должно иметь эти части в порядке, но и объем должно иметь не случайный» (1450b).

Соглашаясь с Бахманном, Д. Шенкефельд пишет, что эллинистические филологи рассматривали Гомера как «искусного поэта» и строили на этом свою текстологическую практику. На примере схолиев к B 681 и A 143 он доказывает, что Аристарх разделял взгляды, согласно которым противоречия и длинноты (с точки зрения эллинистической эстетики) признавались инородными вставками. Именно таковы важнейшие резоны атетез у Аристарха, полагает исследователь. Даже если он активно пользовался рукописями, то выискивал в них те варианты, которые согласовывались с его концепцией[32].

Действительно, проблема длиннот активно обсуждалась в эллинистической Александрии: достаточно вспомнить знаменитое каллимахово сравнение плохих поэтов с большими, но мутными реками[33]. Едва ли возможно напрямую отнести это сравнение к Гомеру, но тем естественнее было для последователей Каллимаха сокращать текст «Илиады» и «Одиссеи»[34].

6. Завершу мой краткий экскурс проблемой, которую можно назвать **«парадокс двойного стандарта»**.

Кроме выбора «правильного» чтения внутри гекзаметрического стиха, важной составляющей работы Аристарха и его предшественников была оценка аутентичности всей строки или целого фрагмента. Г. Надь удачно называет эти два типа вариантов «горизонтальными» и «вертикальными» чтениями соответственно.

В первой половине XX в. Дж. Боллинг сосредоточился на доказательстве «правильности» вертикальных чтений Аристарха, а также на оправдании Зенодота. Он, в частности, доказывал, что вульгата, освобожденная от плохо засвидетельствованных строк, полностью совпадает в отношении numeri versuum с изданием Аристарха. Аргументацию в пользу влияния последнего на число

[32] *Schenkeveld D.M.* Aristarchus and Homeros philotechnos // Mnemosyne, 1970. Ser. IV. Vol. XXIII.

[33] Hymn. Apoll. 105–113.

[34] Интересно, что Дж. Боллинг, доказывающий, что numerus veruum Аристарха определялся только текстологическими причинами, пишет, что ему принадлежит самая краткая версия Гомера, не считая случайных пропусков (*Bolling G.M.* The External Evidence for Interpolation in Homer. Oxford, 1925. P. 11).

строк вульгаты уточняет и обобщает современный последователь Боллинга М.Дж. Апторп: (1) принимаемые Аристархом строки имеются в вульгате, хотя бы они и были слабо засвидетельствованы ранее; (2) исключаемые Аристархом строки или вовсе отсутствуют в вульгате или плохо в ней засвидетельствованы; (3) строки, плохо засвидетельствованные после Аристарха, не упоминаются в схолиях (кроме тех случаев, когда говорится, что у Аристарха их не было); (4) после смерти Аристарха исчезают «дикие папирусы»[35].

Эта сторона деятельности александрийских филологов также не вполне ясна. Первая трудность состоит в следующем: схолии сообщают, что некоторые строки Аристарх опускает, а другие, считая неподлинными, лишь помечает особым знаком, атетируя. Обычно наличие этих двух категорий считают доказательством осторожности великого филолога. Получается, что Аристарх вычеркивал лишь те строки, которые оказывались неподлинными при исследовании традиции. Другие же стихи, в аутентичности которых Аристарх не был полностью уверен, отмечались особым знаком и отсылали к комментарию.

Такая интерпретация деятельности Аристарха, если она верна, действительно свидетельствует о его высшей филологической квалификации, тем более что опущенных строк гораздо меньше, чем сомнительных. Таково мнение, например, Р. Дженко: «Критерии аристарховых пропусков явно документальны: если стих хорошо засвидетельствован, но вызывает сомнение по внутренним причинам, он атетирует этот стих»[36]. Сходное мнение, хотя и под другим углом зрения, приводит ван Тиль в предисловии к своему изданию «Одиссеи»: «Александрийцы использовали атетезу и критические знаки прежде всего, чтобы комментировать литературоведческие, а не текстологические вопросы»[37].

Таким образом, возникает парадокс: современные гомероведы различным образом подходят к проблеме горизонтальных и вертикальных вариантов. Первые отметаются как субъективные конъектуры, вторые одобряются как документально мотивированные. Это «двойной стандарт», полагает Г. Надь. Получается, что такой же «двойной стандарт» применяли и современники

[35] *Bolling G.M.* Op. cit.; *Apthorp M.J.* Op. cit. P. 1.
[36] *Janko R.* Op. cit. P. 27.
[37] *Thiel H. van.* Introduction. P. XXVII.

Аристарха: как говорилось выше, горизонтальные чтения филолога довольно мало повлияли (если вообще повлияли) на рукописную традицию, а его numerus versuum, как следует из исследований Дж. Боллинга и М. Апторпа, оказал на вульгату решающее воздействие.

Общепринятого объяснения обсуждаемого парадокса, кажется, пока не существует. Иногда выдвигается книготорговое объяснение: покупатели папирусов стремились получить лучший аристарховский вариант Гомера, причем соответствие этому стандарту проверялось путем подсчета числа строк. В ученые проблемы книготорговцы и их клиенты не вдавались, поэтому в традицию не попало большинство горизонтальных вариантов александрийцев. Подсчет numeri versuum, напротив, существовал в бытовой практике как средство контроля за расходом папируса: так исчезла вертикальная вариативность, характерная для «диких папирусов»[38]. Впрочем, как отмечает М. Хаслам, «это решение кажется скорее легким, чем удовлетворительным». Действительно, если покупатели так нуждались в аристарховом тексте, почему бы его попросту не копировать? «Эта гипотеза, – пишет М. Хаслам, – подчеркивает проблему “аристархова издания”. Если мы задаемся вопросом, какую форму принимало античное критическое издание, мы скорее должны думать о комментариях или маргинальных схолиях, чем о новонаписанном тексте с учеными чтениями»[39].

Получается, что александрийцы (или только Аристарх) повлияли на традицию путем выбора некоего базового текста, который и стал переписываться, но с которым сами филологи были в сотнях чтений не согласны. В рамках этого объяснения пропущенные строки – те, что отсутствовали в этой базовой рукописи, а атетированные – те, которые не нравились издателям. Таким образом, атетезы оказываются не свидетельством осторожности александрийцев, а указанием на противоположное их свойство.

Небезынтересным является изучение александрийских разночтений в метрико-просодическом плане. Исследование метрических вариантов (дактиль vs. спондей) и элизий показывает любопытную тенденцию: чем меньше отличие двух вариантов, тем

[38] См., например: *Apthorp M.J.* Op. cit. P. 9–10; *West S.* The Transmission or the Text. P. 47.

[39] *Haslam M.* Homeric papyri and transmission of the text // A New Companion to Homer / Ed. I. Morris and B. Powell. Leiden; New York; Koeln, 1997. P. 84.

лучше просматривается тенденция Зенодота и Аристарха. Если речь идет о незначительных отличиях, оба филолога предпочитают спондеи и варианты без элизий, если же речь идет о более значительной правке (несколько слов или даже строк), то метрико-просодический аспект александрийские издатели игнорируют[40]. Возможно, дальнейшее исследование этого вопроса сможет пролить свет на проблему «двойного стандарта».

Завершу рассмотрение этой проблемы двумя гипотезами, опровергающими одну из частей обсуждаемого парадокса. Так, М. ван дер Фальк доказывает, что александрийцы вообще не влияли на традицию в целом. По его мнению, «дикие папирусы» – чисто египетский феномен, связанный с известной региональной изолированностью. Когда Египет становится полноправным культурным центром греческого мира, в нем получает распространение нормальная версия Гомера, стандартизованная по архаической вульгате. Таким образом, по мнению Фалька все боллинговы аргументы – и стандартизация папирусов во II в. до Р. Х., и совпадение их в числе строк с нашей вульгатой – имеют иное убедительное объяснение. Однако гипотеза Фалька, кажется, не находит поддержки у большинства специалистов.

Если гипотеза Фалька отрицает влияние Аристарха на число строк вульгаты, то объяснение, предложенное Д.Е. Афиногеновым[41], отрицает вторую часть парадокса: незначительность влияния александрийцев на горизонтальные варианты. Ученый предположил, что Аристарх на самом деле решительно повлиял на традицию во всех отношениях, но только бо́льшая часть его разночтений нам неизвестна. Схолии, согласно этой гипотезе, сохранили преимущественно варианты Аристарха, отвергнутые традицией, так как факт их отвержения нужно было прокомментировать; при этом огромное количество его чтений было просто принято по умолчанию.

---

[40] *Файер В.В.* К вопросу о метрических предпочтениях александрийцев // Индоевропейское языкознание и классическая филология. СПб., 2004. С. 273–276; *Он же.* К вопросу о роли элизии в александрийской текстологии // Там же. 2003. С. 109–112.

[41] Эта гипотеза была высказана Д.Е. Афиногеновым в ходе обсуждения моего доклада на VIII чтениях памяти И.М. Тронского «Индоевропейское языкознание и классическая филология» в 2004 г. Насколько мне известно, в такой формулировке решение обсуждаемого парадокса ранее не предлагалось.

Самое слабое место этой гипотезы – предположение об огромном количестве незасвидетельствованных чтений. Действительно, если общее число известных чтений Аристарха приближается к 900 и более 70% из них отвергнуты традицией, значит, нам неизвестны многие сотни горизонтальных вариантов, которые должны удовлетворять двум условиям: (1) широко бытовать до Аристарха и (2) исчезнуть или почти исчезнуть после него. Если для примера предположить, что традиция приняла 70% вариантов филолога, то этих неизвестных нам горизонтальных чтений будет более 1600. Представляется, что даже «дикие папирусы» и вольные цитаты из авторов не смогут подтвердить столь смелого предположения при всех их возможных расхождениях с нашим текстом Гомера. К тому же основное отличие «диких папирусов» от вульгаты состоит, по утверждению исследователей, прежде всего в вертикальных, а не в горизонтальных вариантах, что противоречит предположению Д.Е. Афиногенова.

Таким образом, приходится констатировать, что все существующие объяснения обсуждаемого парадокса оказываются в различных отношениях спорными или неудовлетворительными. Однако то же самое, хотя, вероятно, и в менее утвердительной форме, можно сказать и об остальных затронутых в этой главе проблемах. Поскольку многие из перечисленных проблем хорошо обследованы в фактологическом отношении, что не привело к появлению их общепринятой интерпретации, я решил подробно обследовать метрический аспект текстологической работы александрийцев, который остается слабо изученным сравнительно с другими. Эта проблематика касается фактов, которые, будучи введенными в научный оборот, смогут повлиять на имеющиеся интерпретации одной из ключевых проблем гомероведения.

А.В. Захарова

МИФ ОБ АРГОНАВТАХ В АРХАИЧЕСКОМ ГРЕЧЕСКОМ ЭПОСЕ*

Аполлоний Родосский в начале «Аргонавтики» вспоминает о своих предшественниках (οἱ πρόσθεν ἀοιδοί, I 18). Схолии не дают никакого разъяснения к этому месту, но нам известны две доклассические поэмы, рассказывавшие о плавании аргонавтов: анонимная Ναυπάκτια, или Ναυπακτικά, и, возможно, поэма Эвмела Коринфского под названием Κορινθιακά[1].

Известно об этих поэмах очень мало, содержание их большей частью утеряно или растворилось в анонимных мифологических testimonia. Правдоподобно, что к этим двум поэмам восходит много различного материала, не исключая и свидетельства старейших историков-логографов (прежде всего Ферекида[2]). На схолиях к Аполлонию основано мнение Бернабе, что содержание «Навпактики» можно восстановить по фргаментам Геродора[3]. Однако точная атрибуция этого материала невозможна, столь же проблематично распределение информации между двумя поэма-

---

* Тезисы этой статьи были напечатаны в сборнике: Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского. СПб., 2004. С. 71–77.

[1] Эвмел жил во время Архия, основателя Сиракуз, ок. 730 г. до н. э. «Коринфиака» – история коринфских царей от Гелиоса до Главка. Павсанию и Аристобулу (источнику Климента Александрийского) был известен, вероятно, только ее прозаический пересказ (ср. FGrHist 451 T 1).

[2] На этом настаивал Мэтьюс (*Matthews V.J.* Naupaktia and Argonautika // Phoenix, 1977. Vol. XXXI. P. 189–207).

[3] Poetarum Epicorum Graecorum Testimonia et Fragmenta / Ed. A. Bernabé. P. 1. Leipzig, 1987. P. 123.

ми. Поэтому мы будем придерживаться общепринятого подбора фрагментов.

От «Навпактики», которая будет главным предметом этой статьи, сохранилось около 10 фрагментов[4]. Датировать поэму можно лишь очень приблизительно. Terminus post quem Хаксли считает основание эретрийцами колонии на Керкире[5]; terminus ante quem можно считать использование поэмы Ферекидом и Хароном (см. о нем ниже). Итак, речь идет о VII–VI вв. до н. э.

Автор «Навпактики»

В схолиях автор поэмы не называется по имени, а обозначается (с мелкими вариациями) как *тот, кто написал «Навпактику»*, например, ὁ δὲ τῶν Ναυπακτικῶν, *или* ὁ δὲ τῶν Ναυπακτικῶν ποιητὴς (fr. 1). То, что схолии устойчиво пользуются этой формулой, указывает, что данное обозначение было принято в александрийских каталогах и комментариях.

Особое положение занимает Павсаний, который приводит два мнения о ее авторстве: одно — принятое «многими», другое (к которому присоединяется Павсаний) – принадлежащее Харону из Лампсака, раннему и плодовитому логографу.

> Paus. X 38, 11 (*Testimonium* Bernabe): τὰ δὲ ἔπη τὰ Ναυπάκτια ὀνομαζόμενα ὑπὸ Ἑλλήνων ἀνδρὶ ἐσποιοῦσιν οἱ πολλοὶ Μιλησίῳ· Χάρων δὲ ὁ Πύθεὼ φησιν αὐτὰ ποιῆσαι Ναυπάκτιον Καρκίνον. ἑπόμεθα δὲ καὶ ἡμεῖς τῇ τοῦ Λαμψακηνοῦ δόξῃ· τίνα γὰρ καὶ λόγον ἔχοι ἂν ἔπεσιν ἀνδρὸς Μιλησίου πεποιημένοις ἐς γυναῖκας τεθῆναί σφισιν ὄνομα Ναυπάκτια – *Эпическая поэма, которую эллины называют «Навпактской», приписывается многими милетскому мужу* (?). *Однако Харон, сын Пифея*[6], *говорит* (FGrHist 262 F 4), *что ее сочинил Каркин Навпактский. Следуем и мы мнению лампсакского <историка>: как, в самом деле, объяснить, что поэме милетского мужа о женщинах могло быть дано название «Навпактской»?*

---

[4] В настоящей работе использовано упомянутое издание Бернабе, два комментария Хаксли: *Huxley G.L.* Greek Epic Poetry from Eumelos to Panyassis. Cambridge (Mass.), 1969 и уже упомянутый комментарий Мэтьюса.

[5] *Huxley G.L.* Op. cit. P. 73.

[6] В «Суде» (χ 136) сын Пифокла: Χάρων, Λαμψακηνός, υἱὸς Πυθοκλέους, γενόμενος κατὰ τὸν πρῶτον Δαρεῖον, οθʹ ὀλυμπιάδι· μᾶλλον δὲ ἦν ἐπὶ τῶν Περσικῶν, κατὰ τὴν οεʹ ὀλυμπιάδα, ἱστορικός.

Необычное выражение ἀνδρὶ Μιλησίῳ указывает, вероятно, на порчу рукописной традиции (не следует ли видеть в ἀνδρὶ окончание собственного имени?). Греческая поэтическая культура не любила анонимности, поэтому существование текста под этниконом «Милетец» кажется неправдоподобным.

Мотивы, по которым Павсаний приписывает поэму Каркину, – это, во-первых, древность Харона, а во-вторых, тривиальное соображение: если бы поэму написал милетский поэт, то не оказалось бы никаких резонов назвать ее навпактской[7]. Однако мнение Харона было в древности отвергнуто. О самом Каркине из Навпакта ничего не известно.

Название и содержание поэмы

Следует обратить внимание на то, что источники называют поэму по-разному: один только Павсаний пишет Ναυπάκτια (ἔπη), схолии к Аполлонию и другие фрагменты ссылаются на Ναυπακτικά. Разные названия отсылают к разным жанровым традициям: первое – к названиям поэм типа Κύπρια («Киприи», точнее, «Кипрская поэма»), названиям, указывающим на родину автора и не имеющим никакого отношения к содержанию. Этот тип редок, почти уникален. Названия же на -κά указывают именно на содержание, а если они образованы от географического названия – на вполне определенный и повсеместно распространенный в греческой литературе тип сочинения – хорографический, посвященный истории и достопримечательностям определенного города или области. Вероятно, именно их распространенность и была причиной возникшей уже в древности и закрепленной схолиями к Аполлонию ошибки; впрочем, остается еще гадать, откуда взялось представление о «милетце». По-русски поэму правильней было называть

[7] Неправдоподобным представляется и мнение Хаксли (p. 68–69), согласно которому *Милетец* состязался на празднике в Навпакте с местным поэтом Каркином, а «Навпактика» есть «не поэма о Навпакте, а сказка, продекламированная на празднике в этом городе». Таким образом, милетское происхождение поэмы обосновано тем, что в период ранней колонизации Черного моря Милет был заинтересован в мифе об аргонавтах. Эта гипотеза исходит из переоценки роли мифа об аргонавтах в поэме. То, что мы располагаем фрагментами почти исключительно из этой части поэмы, объясняется только характером наших источников – схолиев к «Аргонавтике» Аполлония Родосского.

«Навпактиями» (по аналогии с «Киприями»), а еще правильнее – «Навпактской поэмой» (ср. лат. carmen Naupactium).

О том, что поэма не была хорографической, ясно свидетельствуют Павсаний и Харон, описывая ее как ἔπη πεποιημένα ἐς γυναῖκας. Предлог ἐς употреблен в дистрибутивном смысле, по аналогии с такими конструкциями, как εἰς δύο ἄγειν τὸν λόχον – «вести отряд по двое» (Xen. Cyr. II. 3, 21; cf. Liddell-Scott ‘εἰς’ III measure or limit, without reference to time). Таким образом, формулировка Харона переводится как «эпическая поэма, построенная *по* женщинам», что может указывать только на генеалогический принцип распределения материала, известный нам по поэме Гесиода Γυναικῶν (или ἡρωϊνῶν) κατάλογος. В этой поэме перечислялось потомство богов от смертных женщин. Повествование было построено по разделам, в которых, назвав героиню, поэт рассказывал о нескольких поколениях ее потомков. Гесиод, по легендам, умер именно в Навпакте, и можно фантазировать, что он принес туда традицию генеалогического эпоса. На генеалогическое построение поэмы указывает и еще одно ее упоминание у Павсания, где Γυναικῶν κατάλογος и «Навпактика» перечислены как произведения одного жанра рядом с «генеалогиями» других поэтов:

> Paus. IV 2, 1 (fr. 12 Bernabe): πυθέσθαι δὲ σπουδῇ πάνυ ἐθελήσας, οἵ τινες παῖδες Πολυκάονι ἐγένοντο ἐκ Μεσσήνης, ἐπελεξάμην τάς τε Ἠοίας καλουμένας καὶ τὰ ἔπη τὰ Ναυπάκτια, πρὸς δὲ αὐτοῖς ὁπόσα Κιναίθων καὶ Ἄσιος ἐγενεαλόγησαν. – *Желая узнать, родились ли дети у Поликаона от Мессены, я искал это в так называемых «Эоях» и в Навпактской поэме, а кроме того, и в генеалогиях Кинефона и Асия.*

Более того, из сохранившихся фрагментов поэмы ни один не говорит о Навпакте и о Локриде. Трудно сказать, в связи с чем поэму упоминал Харон, – проще всего предположить, что в связи с пребыванием аргонавтов в родном Лампсаке или его окрестностях на Пропонтиде (у него было два сочинения о Лампсаке). Лампсак расположен на древней территории бебриков, где Полидевк сразился с Амиком, и в одном из храмов Лампсака вполне могли показывать его ремни для кулачного боя или другую оставшуюся от аргонавтов реликвию. Однако это вовсе не обязательно; среди названий книг Харона в «Суде» обращает на себя внима-

ние Κτίσεις πόλεων ἐν βιβλίοις β', «Основания городов» в двух книгах, сочинение, в которое могли войти любые материалы из «Навпактики», относящиеся к локальной истории, мифологии и хорографии.

Слово «Навпакт» можно перевести как «место, где происходила постройка корабля». Но корабль аргонавтов строился не в Навпакте, в чем сходятся все мифологические источники. В Навпакте сооружался флот Гераклидов для похода в Пелопоннес. Исходящее из хорографической трактовки поэмы предположение Мэтьюса[8], что в «Навпактике» корабль «Арго» строился именно в Навпакте, вряд ли обоснованно.

Конечно, мало вероятно, что строительство «Арго» совсем не упоминалось в поэме. Эта тема связана с «культурным» мифом о строительстве первого корабля, каковым нередко называли именно «Арго». Начальные строки «Аргонавтики» Аполлония (контекст, в котором Аполлоний упоминает о οἱ πρόσθεν ἀοιδοί) указывают с большой вероятностью, что в «Навпактике» эпизод плавания в Колхиду начинался с описания сооружения «Арго»[9]. К сожалению, ни одно из свидетельств о строительстве «Арго» не связано с «Навпактикой». Единственный текст, для которого можно установить косвенную связь с нею, — схолии к Аполлонию Родосскому (I 4):

> ὁ μὲν Ἀπολλώνιος καλεῖ τὴν Ἀργὼ ἀπὸ Ἄργου τοῦ κατασκευάσαντος, Φερεκύδης (3 fg. 106 J.) δὲ ἀπὸ Ἄργου τοῦ Φρίξου υἱοῦ. ταύτην δὲ λέγουσι πρώτην ναῦν γεγενῆσθαι. — *Аполлоний дает «Арго» имя от Арга, его построившего, Ферекид же – от Арга, сына Фрикса. Говорят, это был первый корабль.*

Предполагаемая зависимость Ферекида от «Навпактики» позволяет думать, что и этот отрывок восходит к поэме Каркина, но доказать это невозможно.

Место аргонавтики в поэме

Путешествие за золотым руном является единственным повествовательным эпизодом, известным из «Навпактики». Однако в поэме миф о золотом руне мог быть относительно небольшим

[8] *Matthews V.J.* Op. cit. P. 191.

[9] Источник пролога к «Медее» Еврипида точно не известен.

эпизодом. Искусство и разнообразие, с которым Гомер вплетает различные повествования в свой текст, предостерегают нас от каких-либо предположений о возможном месте мифа об аргонавтах в композиции поэмы. Ясно, однако, что рассказ собственно о подвиге аргонавтов не мог быть столь же пространным, как у Аполлония, и нельзя исключать возможности, что его объем в «Навпактике» вполне мог быть примерно равным объему мифа о Мелеагре в «Илиаде». Мы не располагаем указаниями на то, как неизвестный поэт мотивировал свое обращение к этому рассказу. Поиск генеалогической мотивации является гадательным. Если исходить из привычных версий, из мифографии Гесиода и Аполлодора, то естественней всего предположить, что героиней, в повествование потомках которой был вставлен рассказ об аргонавтах, была Тиро, мать Пелия и бабушка Ясона[10]. Однако возможно и другое объяснение, связанное с положением Медеи в мифической истории Коринфа. Как мы знаем из фрагментов, восходящих к Эвмелу[11], Коринф был родинойЭэта. Хотя об этом часто забывали позднейшие авторы, переезжая с Ясоном из Иолка в Коринф, Медея возвращалась на родину (а иначе, между прочим, эту поездку вообще трудно объяснить). Эвмел называл мать Ээта Антиопой[12], чаще ее называют иначе, но не исключено, что именно в рассказе о ее потомстве автор «Навпактики» говорил об аргонавтах.

Павсаний в подборке свидетельств, относящихся к древнему культу Мермера и Ферета (сыновей Медеи) в Коринфе (II 3, 6 sqq., где содержится и fr. 9 «Навпактики»), приводит пересказ большого отрывка из Эвмела (II 3, 10 = Corinthiaca, fr. 5 Bernabe):

> Εὔμηλος δὲ Ἥλιον ἔφη δοῦναι τὴν χώραν Ἀλωεῖ μὲν τὴν Ἀσωπίαν, Αἰήτῃ δὲ τὴν Ἐφυραίαν... — *Эвмел говорил, что Гелиос отдал страну Асопию Алоэю, а Ээту – Эфиру*[13]...

---

[10] Hes. fr. 30 sqq. Merkelbach – West, Hom. Od. XI 235–259, Apld. I 9, 7 sqq.

[11] Кроме упоминания у Павсания (II 3, 9), еще в: schol. Ap. Rhod. III 242; IV 1212; schol. Pind. Ol. XIII 74; schol. ad Lyc. 174, 22 sqq.

[12] Sch. Pind. Ol. XIII 74.

[13] Об отождествлении Эфиры и Коринфа у Эвмела см.: *Huxley G.L.* Op. cit. P. 63 и статью: *Jameson M.* Labda, Lambda, Labdakos // Corinthiaca, Studies in Honor of Darrell A. Amyx. University of Missouri Press, Columbia, 1986. P. 7. Различные Эфиры названы схолиастом к Пиндару (VII 53, 5) и Страбоном (VII 7, 10).

Миф о *разделе земель* между братьями, сыновьями Гелиоса, несомненно отражает какие-то династические и внутридинастические отношения. Роль Медеи здесь очень значительна. Мы знаем, что после отбытия Ээта в Колхиду его доля перешла к Буну, сыну Гермеса и Алкидамии, а после Буна – к Эпопею, сыну Алоэя (источник – тот же фрагмент Эвмела). С Медеей род Ээта вернулся в Коринф – хотя и ненадолго.

Несмотря на то, что мы в точности не знаем, к какой генеалогии был привязан миф об аргонавтах в «Навпактике», несомненно, что если он излагался у Эвмела, то там был привязан к Коринфу. А о том, что он там излагался или упоминался, говорит, во-первых, логическая необходимость, во-вторых, строки Аполлония, которые схолиаст считает заимствованными у Эвмела (fr. 19 Bernabe, обозначенный издателем как dubium). Эти строки, описывающие произрастание спартов из земли[14], вполне могли находиться в соответствующем месте рассказа Эвмела об испытаниях Ясона в Колхиде. Медея рассказывала о них Идмону или Ясону, вероятно, предупреждая их.

Эпизоды плавания в Колхиду

Обратимся к сохранившимся эпизодам плавания.

Fr. 2 = Herodianus, De prosodia catholica, 3,1

ἀλλ' ὃ μὲν οὖν ἐπὶ θινὶ θαλάσσης εὐρυπόροιο
οἰκία ναιετάασκε πολύῤῥην πουλυβοώτης.
(ἐπὶ θινὶ Cramer, Bernabe, οὖν ἐπινευσί MSS)
Он ведь на берегу обширного моря
Населял дома, имея много овец и быков.

Отрывок из генеалогии; возможно, текст происходит из каталога аргонавтов. Если это так, то речь идет не об Эсоне, так как родословие Язона должно было бы предшествовать каталогу.

Fr. 3 = Schol. Apoll. Rhod. II 297–301.

[14] Мы опускаем вопрос о путанице, имевшей место в схолиях.

У Аполлония Бореады Калаид и Зет преследуют гарпий до островов Строфады, где Ирида повелевает аргонавтам вернуться назад. Гарпии скрываются в пещерах Крита (Ap. Rhod. II 273 sqq.).

κευθμῶνα Κρήτης [II 278]: κοιλάδα τῆς Κρήτης κατέδυσαν. τοῦτο δέ φησι καὶ Νεοπτόλεμος. ὁ <δὲ> τὰ Ναυπακτικὰ ποιήσας (fg 3 Kink.) καὶ Φερεκύδης ἐν Ϛ φασὶν εἰς τὸ σπέος αὐτὰς φυγεῖν τῆς Κρήτης τὸ ὑπὸ τῷ λόφῳ τῷ Ἀργινοῦντι. — *Они спустились в углубление на Крите. Это говорит и Неоптолем* (FGrHist 702 F 4a). *Автор же «Навпактики» и Ферекид* (FGrHist 3 F 29) *в шестой книге говорят, что они убежали в пещеру на Крите, которая под холмом Аргинунта.*

Аполлоний через эпизод с гарпиями объясняет происхождение названия островов («поворотные»), и трудно удержаться от предположения, что автор «Навпактики» связывал название критского холма с «Арго».

Мэтьюс предлагает дополнить этот фрагмент другим текстом Ферекида из схолиев к Аполлонию Родосскому (II 271):

Ὅτι διὰ τοῦ Αἰγαίου πόντου καὶ τοῦ Σικελικοῦ αὐτὰς ἐδίωκον, Φερεκύδης ἐν ἕκτῃ φησί. – *О том, что через Эгейское море и Сицилийское их (гарпий) преследовали (сыновья Борея), говорит Ферекид в шестой книге.*

Схолиаст (Apoll. II 296–97a) не упоминает «Навпактику» среди авторитетов, согласно которым гарпии *не были убиты*, однако и Филодем (П. εὐσεβ. p. 18 Gomp. = FGrHist I p. *28) не называет «Навпактику» среди источников, согласно которым гарпии *были убиты* Бореадами.

Аргонавты в Колхиде

Fr. 6 (4+7. 8 Kinkel).

Для нас интерес представляют не те несколько строк поэмы, которые составляют данный фрагмент, а комментарии схолиастов (помещены в аппарате Бернабе).

I. Schol. Ap. Rhod. 4. 86, 266–267:

Ὁ μὲν Ἀπολλώνιος νυκτός φησι πεφευγέναι τὴν Μήδειαν ἐπὶ τὴν ναῦν, Αἰήτου συνέδριον ἔχοντος Κόλχων περὶ διαφθορᾶς τῶν ἡρώων· ὁ δὲ τὰ Ναυπακτικὰ πεποιηκὼς ὑπὸ Ἀφροδίτης φησὶ τὸν Αἰήτην κατακοιμηθῆναι, ἐπιθυμήσαντα τῇ αὑτοῦ γυναικὶ [Εὐρυλύτῃ] συγγενέσθαι, δεδειπνηκότων παρ' αὐτῷ τῶν Ἀργοναυτῶν καὶ κοιμωμένων· διὰ τὸ βούλεσθαι αὐτὸν ναῦν ἐμπρῆσαι (следует цитата). – *Аполлоний говорит, что ночью Медея убежала на корабль, пока Ээт держал совет с колхами, как погубить героев. Автор «Навпактики» говорит, что Ээту Афродита внушила желание лечь спать, так как он возжелал соединиться со своей женой Эврилитой, когда аргонавты, отобедав у него, заснули. Ведь он замышлял сжечь корабль.*

II. Schol. Apoll. Rhod. IV 66:

παρὰ [δὲ] τῷ τὰ Ναυπακτικὰ πεποιηκότι οὐκ ἔστι κατὰ τὴν ἰδίαν προαίρεσιν ἐξιοῦσα ἡ Μήδεια, ἀλλ' ἐφ' ἑστίασιν καλουμένων τῶν Ἀργοναυτῶν κατ' ἐπιβουλήν, ἐνστάντος τοῦ τῆς ἀναιρέσεως αὐτῶν καιροῦ, προτραπομένου δὲ τοῦ Αἰήτου ἐπὶ τὴν Εὐρυλύτης τῆς γυναικὸς συνουσίαν, Ἴδμονος ὑποθεμένου τοῖς Ἀργοναύταις ἀποδιδράσκειν, καὶ Μήδεια συνεκπλεῖ. – *У автора «Навпактики» не по собственному желанию вышла (?) Медея, но когда аргонавтов со злым умыслом позвали на пир и когда представился удобный случай их убить, и в это время у Ээта появилось желание сочетаться любовью с женой Эврилитой, а Идмон убедил аргонавтов бежать, то и Медея уплыла с ними вместе.*

К сожалению, схолий несколько сумбурен (перевод передает синтаксическую перегруженность оригинала). Общий смысл все же представляется таким: у Аполлония спасение аргонавтов было результатом некоторой интриги и совершилось при сознательном участии Медеи (προαίρεσις), что и заставило Медею бежать вместе с мореплавателями; у Каркина бегство Медеи было делом случая (это подтверждается следующим фрагментом); трудное в данном контексте слово ἐξιοῦσα может быть объяснено только в связи с рассказом Аполлония, у которого Медея *выходит* из дворца к стоянке аргонавтов.

Fr. 7 = Schol. Ap. Rhod. IV 86:

Ὁ δὲ Ἴδμων συνῆκε τὸ γεγονὸς, καί φησι·
Φευγέμεναι μεγάροιο θοὴν διὰ νύκτα μέλαιναν·
τὴν δὲ Μήδειαν τὴν ποδοψοφίαν ἀκούσασαν, ἀναστᾶσαν ἐξορμῆσαι. Λέγει δὲ καὶ Ἡρόδωρος ταῦτα.
Φευγέμεναι codd. φευγεμεν εκ Meineke

Идмон же понял происшедшее и говорит:
«Бежим из дворца быстро наступившей темной ночью».
Медея, услышав топот ног, встала и отправилась [*с ними*]. *Говорит и Геродор* (31 F 53) *то же самое.*

Как видно из следующего фрагмента, Медея взяла с собой и руно. Мотивы, заставившие ее следовать за беглецами, не могут быть установлены. Ясно только, что аргонавты не предполагали увозить Медею. Или же они были столь напуганы, что решили бежать и без руна, и без девушки?

Fr. 8 = Schol. Apoll. Rhod. IV 87:

ὁ μὲν Ἀπολλώνιος μετὰ τὸ φυγεῖν τὴν Μήδειαν ἐκ τοῦ Αἰήτου οἴκου πεποίηται ὑπισχνουμένην τὸ κῶας τῷ Ἰάσονι· ὁ δὲ τὰ Ναυπακτικὰ γράψας συνεκφέρουσαν αὐτὴν τὸ κῶας κατὰ τὴν φυγήν, κατὰ τὸν αὐτοῦ οἶκον κείμενον [τοῦ Αἰήτου]. – *Аполлоний рассказывает, что Медея после бегства из дома Ээта обещает Ясону руно. Написавший «Навпактику» – что она во время бегства взяла с собой руно, лежавшее в доме самого* [*Ээта*].

Шестой, седьмой и восьмой фрагменты «Навпактики» указывают на то, что пребывание аргонавтов в Колхиде и похищение золотого руна описывались иначе, чем у Аполлония Родосского (IV 83) и других мифографов. Только вмешательство Афродиты, внушившей Ээту страсть к жене Эврилите[15], и пророческий дар Идмона спасли жизнь аргонавтам. Уже во время бегства за ними последовала Медея, взявшая с собой золотое руно. Этот эпизод, конечно, воспроизводит обольщение Зевса в «Илиаде». Мэтьюс[16] считает, что в «Навпактике» Афродита помогает аргонавтам по

[15] Имя жены Ээта у Гесиода (958–960) – Идия, существовало еще несколько версий (schol. Ap. Rhod. III 240).

[16] *Matthews V.J.* Op. cit. P. 199.

собственной воле, а не повинуясь желанию Геры. Его аргументы основаны на том, что в сохранившихся фрагментах «Навпактики» Гера не упоминается, но Афродита почиталась в Фессалии. У Еврипида (527–528) Медея благодарит Афродиту за помощь в путешествии по морю. Возможно, Геру как покровительницу аргонавтов ввел в эпос Эвмел, так как в Коринфе культ Геры был важен[17].

В отношении сюжета фрагменты дают вполне ясную картину: Медея предстает второстепенным персонажем. Вся сверхъестественная помощь приходит к Ясону от прорицателя Идмона. Вмешательство Афродиты происходит помимо Медеи. К сожалению, фрагменты не дают возможность реконструировать собственно эпизод похищения золотого руна. Однако ясно, что Медея всего лишь следует за беглецами, и едва ли речь может идти о какой-то целенаправленной помощи с ее стороны или о сговоре с аргонавтами.

Не сохранились фрагменты «Навпактики», которые относились бы к подвигам Ясона. Однако один из фрагментов Эвмела[18] позволяет думать, что роль Идмона была столь же решающей и в эпизоде с зубами дракона:

Schol. Apoll. Rhod. III 1354:

οὗτος καὶ οἱ ἑξῆς στίχοι εἰλημμένοι εἰσὶ *παρ'* Εὐμήλου, *παρ'* ᾧ φησι Μήδεια *πρὸς* Ἴδμονα. – *Этот и последующие стихи взяты у Эвмела, у которого Медея говорит <их> Идмону.*

Это подтверждает сделанное выше предположение о положении мифа об аргонавтах в поэме. Внутри мифа о золотом руне роль Медеи второстепенная, но для коринфской генеалогической мифологии Медея была важна сама по себе — более, чем подвиги Ясона и аргонавтов.

Дети Медеи: коринфская версия

Понятно, что в центре коринфских династических интересов оказываются дети Медеи (у Павсания названы по разным

---

[17] Археологический комментарий к культу детей Медеи см.: *Will É.* Korinthiaka. Recherches sur l'histoire et la civilisation de Corinthe des origines aux guerres médiques. P., 1955. P. 97 sqq. (Le rituel médéen de l'Héraion urbain).

[18] Fr. 19 (dubium) Bernabe = Apoll. III 1354–1358; *Huxley G.L.* Op. cit. P. 67.

источникам *Мермер, Ферет, Мед, Поликсен* и *Эриопида,* у других авторов встречаются и другие имена).

Здесь важно продолжение упомянутого выше фрагмента 5 Эвмела, в котором политические интересы Коринфа связаны с потомством Медеи. Видимо, Эвмел и «Навпактика» предлагали несколько разные версии. Тем не менее этот текст хорошо показывает интенцию этой генеалогической темы и позволяет сделать некоторые предположения о содержании самой анонимной поэмы.

Paus. II 3, 11:

βασιλεύειν μὲν δὴ δι᾽ αὐτὴν Ἰάσονα ἐν Κορίνθῳ, Μηδείᾳ δὲ παῖδας μὲν γίνεσθαι, τὸ δὲ ἀεὶ τικτόμενον κατακρύπτειν αὐτὸ ἐς τὸ ἱερὸν φέρουσαν τῆς Ἥρας, κατακρύπτειν δὲ ἀθανάτους ἔσεσθαι νομίζουσαν, τέλος δὲ αὐτήν τε μαθεῖν ὡς ἡμαρτήκοι τῆς ἐλπίδος καὶ ἅμα ὑπὸ τοῦ Ἰάσονος φωραθεῖσαν... – *Благодаря ей Ясон правил в Коринфе, у Медеи появлялись дети, но каждый раз, относя в святилище Геры рожденного [ребенка], она там его прятала, думая, что спрятанные будут бессмертными. Наконец и она поняла, что ошибалась, и Ясон ее подстерег...*[19]

Эта история связывает гибель детей Медеи с этиологическим коринфским мифом, который несколько иначе (и более связно и полно) излагается у схолиаста Пиндара. Медея прекратила голод в Коринфе, отвергла любовь Зевса, и за это Гера подарила детям Медеи «бессмертие» (т. е. божественный статус). Поэтому после их смерти коринфяне стали почитать их под именем Μιξοβάρβαροι[20]. В тексте, приводимом Павсанием, нельзя не

[19] Реальный смысл слова κατακρύπτειν неясен. Пикар (L'Héraion de Pérachore et les enfants de Médée, RA, XXXV, 1932. P. 218 sqq) доказывал, что, подобно Фетиде с младенцем Ахиллом, Медея помещала детей в огонь. Согласно Виллю (с. 89) имеется в виду закапывание детей в землю по аналогии с плодами, которые падают в землю, чтобы возродиться вновь.

[20] Sch. Pind. Ol. XIII 74 (текст включен в: Corinthiaca fr. 5 Bernabe): ἄλλως Μηδείας μέμνηται ὅτι ἐν Κορίνθῳ κατῴκει καὶ ἔπαυσε Κορινθίους λιμῷ κατεχομένους θύσασα Δήμητρι καὶ νύμφαις Λημνίαις. ἐκεῖ δὲ αὐτῆς ὁ Ζεὺς ἠράσθη, οὐκ ἐπείθετο δὲ ἡ Μήδεια τὸν τῆς Ἥρας ἐκκλίνουσα χόλον διὸ καὶ Ἥρα ὑπέσχετο αὐτῇ ἀθανάτους ποιῆσαι τοὺς παῖδας. ἀποθανόντας δὲ τούτους τιμῶσι Κορίνθιοι, καλοῦντες μιξοβαρβάρους. – *По-другому вспоминают о Медее, что она жила в Коринфе и спасла коринфян, угнетаемых голодом, совершив жертвоприношение Деметре и Лемносским нимфам. Там же ее полюбил Зевс, но Медея не подчинилась, уклоняясь от гнева Геры, из-за чего Гера обещала*

заметить определенного рационализма и критицизма (сопоставление с версией схолиаста делает это ясным) — видимо, к Павсанию он пришел в изложении кого-то из логографов. Примечательно, что ни одна из этих двух версий не знает ужасов и колдовства классического мифа[21]; скорее имеет место мифологический сюжет типа рассказов о Фетиде и Ахилле или Деметре и Демофонте – о богине, пытающейся сделать дитя бессмертным и трагически непонятой застигшим ее отцом. Во фрагментах, относящихся к добыванию руна, колдовские способности Медеи также не засвидетельствованы.

Разоблачение Медеи имеет неожиданные последствия: Ясон удаляется в Иолк, потом уходит (неизвестно куда) и Медея. Завершение истории раскрывает ее династическую цель: удаляясь, Медея передает власть Сизифу (τούτων δὲ ἕνεκα ἀπελθεῖν καὶ Μήδειαν παραδοῦσαν Σισύφῳ τὴν ἀρχήν). Используя этиологический миф, Эвмел устраняет неуместных в этой династической картине детей Медеи, а гибель детей создает повод для удаления из Коринфа и Ясона, и самой Медеи[22].

Дети Медеи: версия «Навпактики»

Что из мифологии Эвмела могло быть включено в «Навпактику»? Фрагмент 9 «Навпактики», в котором речь идет о детях Медеи, только поверхностно противоречит Эвмелу: Ясон из Иолка уезжает на Керкиру вместе с детьми, из которых Павсаний упоминает Мермера.

Fr. 9 = Paus. II 3, 9:

ἔπη δὲ ἔστιν ἐν Ἕλλησι Ναυπάκτια ὀνομαζόμενα· πεποίηται δὲ ἐν αὐτοῖς Ἰάσονα ἐξ Ἰωλκοῦ μετὰ τὸν Πελίου θάνατον ἐς Κόρκυραν μετοικῆσαι καί οἱ Μέρμερον μὲν τὸν πρεσβύτερον τῶν παίδων ὑπὸ λεαίνης διαφθαρῆναι θηρεύοντα ἐν τῇ πέραν

ей сделать бессмертными детей. Их, умерших, почитают коринфяне, называя «Миксоварвары».

[21] Сама Медея известна как изготовительница снадобий по многим весьма древним источникам (см. специальный раздел в словаре Рошера: Medea als Zauberin. Bd. II, 2483), но никаких видимых проявлений этого искусства в архаических аргонавтиках нет, как их нет и у древнего мифографа Геродора, который, вероятно, использовал «Навпактику» (*Matthew V.J.* Op. cit. P. 202).

[22] О династических построениях Эвмела см: *Huxley G.L.* Op. cit. P. 74.

ἠπείρῳ· Φέρητι δὲ οὐδέν ἐστιν ἐς μνήμην προσκείμενον. – *Есть у эллинов поэма, которая называется «Навпактской». В ней рассказывается, что Ясон после смерти Пелия переселился из Иолка на Керкиру, и у него Мермер, старший из детей, был убит львицей, когда охотился на противолежащем материке. О Ферете нет ничего, что осталось в памяти.*

Все же оба поэта излагают по-разному одну историю. Прежде всего заметим, что оба они фиксируют одинаковое положение дел в Коринфе: род Ээта покинул этот город, на этот раз уже навсегда. Далее речь идет о детях Ясона, рожденных самой Медеей, что проясняется из комментария Аполлодора в схолиях к «Одиссее».

Apollodorus apud schol. Hom. Od. I 259 (Ἴλου Μερμερίδαο) = Fr. 170c Müller:

Ἰάσων ἅμα τῇ Μηδείᾳ ἐν Ἐφύρᾳ τῆς Θεσπρωτίας παραγενόμενος ἴσχει Φέρητα, οὗ Μέρμερος, οὗ Ἴλος, οἵτινες ἐβασίλευσαν Θεσπρωτίας, ὡς ἱστορεῖ Ἀπολλόδωρος ὁ Ἀθηναῖος. – *Ясон вместе с Медеей, явившись в Эфиру Феспротийскую, заводит* [*сына*] *Ферета, от которого* [*родился*] *Мермер, от которого — Ил; они правили в Феспротии...*

Едва ли этот отрывок не связан с текстом Павсания. Выражение ἐν τῇ πέραν ἠπείρῳ у Павсания указывает на Феспротию. Что касается генеалогии, то расхождения здесь ничтожны. Источник Павсания легко мог потерять из виду Ферета, поскольку ожидал, что он был сыном Ясона (в соответствии с коринфским этиологическим мифом). Кроме того, Ил упоминается в «Одиссее» как современник, и по хронологическим соображениям (которые обычно принимались в расчет мифографами) его было удобней считать внуком Ясона, а не правнуком.

Таким образом, зависимость фрагмента Аполлодора от «Навпактики» представляется вероятной, и мы можем предположить, что в ней излагалась генеалогия царей Феспротии. Помимо скрещивания феспротийской линии с потомством Медеи, «Навпактика», вероятно, не вступала в существенные противоречия с генеалогией Эвмела, хотя мы не знаем, до какой степени две версии совпадали.

В отличие от Эвмела династические интересы автора «Навпактики» лежат на крайнем западе Эллады. Эту периферию гре-

ческого мира он благодаря генеалогии привязывает к одному из центральных мифологических родов. Медея *приходит* на эти земли и делается основательницей одного из древних местных родов. Дети Медеи здесь, напротив, оказываются полезны: через гомеровского Ила, сына Мермера, царский дом Эфиры в Феспротии возводится к Медее и Ясону.

Если вернуться собственно к нарративному материалу, то мы должны предположить, что автор «Навпактики» принимал миф о смерти коринфских детей Медеи, но рассказывал, что в Феспротии Медея родила других детей. Следовательно, версию ее ссоры с Ясоном он отвергал. Поэтому миф в изложении схолиаста Пиндара (Ol. XIII 74, приведен выше), у которого нет никакого намека на эту ссору, кажется более близким к «Навпактике», чем к Эвмелу, у которого гибель детей повлекла за собой разделение супругов.

Смерть детей Медеи является архаичной частью коринфской мифологии[23]. Характерно, что позднейшие авторы не отваживались отбросить этот эпизод, но уже не понимали его смысл. Избыточность детей Медеи для фабулы хорошо видна в трагедии Еврипида. Схолии (273) приводят рационализирующие версии грамматиков Пармениска и Дидима, которыми едва ли возможно воспользоваться для реконструкции мифологии Эвмела или «Навпактики».

Схолиаст к Пиндару (Nem. VII 53) называет четыре Эфиры, включая феспротийскую, но стих I 259 «Одиссеи» он цитирует как упоминание об Эфире в Фессалии. Поскольку фессалийские корни Медеи надежно выявлены[24], то представляется вероятным, что поэт «Навпактики» перенес на запад мифологический материал, связанный первоначально с Фессалией. Здесь могли быть использованы, прежде всего, хорографические мифы: так, Seeliger,

[23] Вилль (*Will É.* Op. cit. P. 117) считает, что культ Медеи и ее детей существовал в Коринфе издревле и лишь потом культ Геры сменил культ Медеи в главном городском святилище.

[24] В Вилль (P. 119) приводит разные мнения своих предшественников: Виламовиц (Griech. Trag., Medea, P. 9 sq.) и Seeliger, автор статьи в словаре Рошера, а также Séchan (*Séchan L.* La légende de Médée // Revue des Études Grecques. XL, 1927. P. 236) считают Медею фессалийским божеством, чей культ был принесен в Коринф. Robert (*Robert C.* Die griechische Heldensage // Preller. Griechische Mythologie. 2 vol. Berlin, 1920–1921. Vol. I. P. 185) считает, наоборот, что древнее коринфское божество было внесено в фессалийский миф. Сам Вилль полагает, что было несколько Медей, так же как и Ариадн, Елен и т. д.

автор статьи о Медее в словаре Рошера, предлагает видеть в Ферете эпоним города Феры в Фессалии (Bd. II, 2490).

Ожидаемая фессалийская тема, магия, находит соответствие в Феспротии: у Гомера Ил представлен обладателем некоего страшного яда (φάρμακον ἀνδροφόνον, Od. I 262 и схолии к этому месту). Однако, как мы могли заметить выше, ни от «Навпактики», ни от поэмы Эвмела не сохранилось упоминаний о магических способностях Медеи.

Медея и структура поэмы

Суммируем сделанные выше наблюдения. Прежде всего становится ясным, что формула ἐς γυναῖκας указывает на Антиопу-Персу-Эфиру, которая (или которые) родила (или родили) от Гелиоса Алоэя, Ээта и Кирку[25]. Однако мы не знаем, сколько возлюбленных Гелиоса и под какими именами были приняты поэтом «Навпактики», как не знаем точно и их детей (кроме Ээта). Все же ясно, что главным генеалогичеким узлом должна быть признана именно Эфира.

Поскольку принцип мифологической рубрикации был *женщины, родившие от богов*, то Медея не могла возглавлять особой рубрики.

Роль мифа об аргонавтах в поэме была весьма скромной и вспомогательной. Какими бы ни были причины отъезда Ээта в Колхиду (которую нужно понимать как *тридевятое царство*, а не реальное место), для обоих авторов архаических аргонавтик (Эвмела и автора «Навпактики») этот отъезд — часть генеалогической схемы. Оба они используют сюжет о плавании Ясона как удобный способ вернуть род Ээта из Колхиды в Элладу. Соединение Медеи с мифом о золотом руне, возможно, является находкой одного из этих поэтов. Таким образом, нет необходимости в том, чтобы за разработкой этого сюжета стояли колонизационные интересы на Черном море[26].

Классическая мифология Медеи изображает ее, во-первых, как героиню любовных историй, во-вторых, как чародейку. Фрагменты архаических аргонавтик не сохранили следов ни того ни

[25] О Кирке нет упоминаний в сохранившихся фрагментах Эвмела и «Навпактики».

[26] Хаксли (p. 63) указывает на отсутствие таких интересов у Коринфа.

другого. Это не должно означать, что Медея у Эвмела и в «Навпактике» была совершенно лишена этих черт. Обособление сюжета о золотом руне, Ясоне и Медее должно было привести к нарушению первоначальных мотиваций и перемещению в этот миф того материала, который был привязан к другим эпизодам коринфской мифологии. Так, мы могли заметить, что сюжет о детях Медеи первоначально совершенно не зависел от мифа об аргонавтах и имел собственный генеалогический и культовый смысл.

Литература

Poetarum Epicorum Graecorum Testimonia et Fragmenta / Ed. A. Bernabé. Leipzig, 1987. P. 1.

Huxley G.L. Greek epic poetry from Eumelos to Panyassis. Cambridge (Mass.), 1969.

Matthews V.J. Naupaktia and Argonautika // Phoenix. 1977. Vol. XXXI. P. 189–207.

Jameson M. Labda, Lambda, Labdakos // Corinthiaca, Studies in Honor of Darrell A. Amyx. University of Missouri Press, Columbia, 1986.

Odelberg P. Sacra Corinthia, Sicyonia, Phliasia. Uppsala, 1896.

Picard Ch. L'Héraion de Pérachore et les enfants de Médée // Revue Archéologique. 1932. XXXV. P. 218.

Robert C. Die griechische Heldensage // Preller. Griechische Mythologie. 2 vol. Berlin, 1920–1921.

Roussel P. Médée et le meurtre de ses enfants // Revue des études anciennes. XXII. P. 157 sqq.

Séchan L. La légende de Médée // Revue des Études Grecques. XL.1927.

Will É. Korinthiaka. Recherches sur l'histoire et la civilisation de Corinthe des origines aux guerres médiques. P., 1955.

З.А. Барзах

ΘΥΜΩΙ ΒΕΛΗ
(Soph. OT 892–893: текст и интерпретация)

Во II Стасиме трагедии Софокла «Царь Эдип» – самой величественной и самой загадочной песне этой трагедии – во второй строфе Хор призывает кару Божью на голову безымянного преступника (v. 882–891):

Εἰ δέ τις ὑπέροπτα χερ-
σὶν ἢ λόγῳ πορεύεται,
Δίκας ἀφόβητος οὐδὲ
δαιμόνων ἕδη σέβων,
κακά νιν ἕλοιτο μοῖρα,
δυσπότμου χάριν χλιδᾶς,
εἰ μὴ τὸ κέρδος κερδανεῖ δικαίως
καὶ τῶν ἀσέπτων ἔρξεται,
ἢ τῶν ἀθίκτων ἕξεται ματᾴζων.

Если же чрез меру некто
Дланью иль словом перейдет,
Уже не страшася Правды
И Богов престол не чтя,
Да будет сражен судьбою
За надменность тщетную,
Когда неправым делом богатеет,
Когда в нечестие он впал
Иль неприкосновенного коснулся.

После этих слов – тем более страшных, что зритель, в отличие от Хора, прекрасно знает, о чьем преступлении и о какой каре пойдет речь далее, – следуют строчки, текст которых большин-

ство исследователей признают ненадежным, а их смысл не вполне понятен даже после многочисленных конъектур (v. 892–3):

– Τίς ἔτι ποτ' ἐν τοῖσδ' ἀνὴρ θυμῷ βέλη
ἔρξεται ψυχᾶς ἀμύνειν;

θυμοῦ N^ps, s. l. DXs θεῶν Hermann | εὔξεται Jebb ἀρκεσει Enger

Чтение θυμοῦ, по-видимому, является довольно ранней попыткой исправить малопонятное θυμῷ βέλη, которое находим в большинстве рукописей; приведенные конъектуры призваны приблизить текст Софокла к интерпретации, даваемой схолиями, где βέλη поняты как θεία δίκη. Так, Джебб, принимающий в текст конъектуры θεῶν и εὔξεται, интерпретирует получившийся текст следующим образом: «Если справедливость и религия втоптаны в грязь, кто дерзнет похвалиться, что избежит Божьего гнева?»[1]

Кажется, единственная – и притом довольно смелая – попытка спасти текст большинства рукописей принадлежит Камербееку: принимая текст θυμῷ и ἔρξεται, он интерпретирует рукописный текст как «Who will abstain from warding off (from the πόλις) with passion (θυμῷ) the shafls wich wound his soul (βέλη ψυχᾶς)», понимая под «стрелами, ранящими душу», ὕβρις Эдипа, в которую он неизбежно впадет, если откажется от намерения разыскать убийцу Лаия, и которую надо будет «вырвать из города»[2]. Все это весьма остроумно, однако ни Эдип не подавал ни малейшего основания предполагать, что он откажется от расследования убийства Лаия и тем более впадет в ὕβρις, ни в высшей степени лояльный Хор не давал никакого повода видеть в себе потенциального бунтовщика.

Так есть ли какая-нибудь возможность понять рукописный текст без привлечения «гнева Богов» и двух конъектур?[3]

---

[1] The Oedipus Tyrannus of Sophocles / Ed., notes by R. Jebb. Cambridge, (1885) 1958. P. 98: «If justice and religion are tramped unto foot, can any man dare to boast that he will escape the divine wrath?»

[2] *Kamerbeek J.C.* The Plays of Sophocles. Commentaries. IV. The Oedipus Tyrannus. Leiden, 1967. P. 178–179; *Idem.* Comments on the Second Stasimon of the Oedipus Tyrannus // WS. 79 (1966). 80–92, esp. 88.

[3] Соображения метрики, увы, ничего не дают: текст соответствующего стиха антистрофы (ст. 906) также не вполне надежен.

Прежде всего, если мы принимаем рукописное ἕρξεται, θυμῷ (или θυμοῦ) βέλη никак нельзя понимать, вслед за схоластами, как «гнев Богов». Бессмысленно говорить, что некто «воздержится (или не воздержится) от того, чтобы отражать гнев Богов от души своей»: гнев Богов – это нечто, от чего каждый хотел бы, но никто не может уберечь свою душу. Следовательно, θυμῷ (θυμοῦ) βέλη приходится понимать как нечто более «субъективное», по крайней мере как нечто, что человек волен по своему выбору пустить в свою душу или попытаться «отразить» от нее.

Далее, можно ли принимать чтение θυμῶ βέλη? Это словосочетание представляет собой существительное, управляющее дательным падежом, а такая конструкция в греческом языке вполне возможна. Дательным падежом могут управлять отглагольные существительные или существительные, называющие или подразумевающие действие, причем дательный падеж при них употребляется в том же значении, что и при соответствующем глаголе. Например, Pl.Resp. 466c κοινωνία τοῖς ἀνδράσιν (cf. κοινωνεῖν τινι), Thuc. 4.23 ἐπιδρομὴ τῷ τειχίσματι (cf. ἐπιτρέχειν τινί); Soph. Trach. 668 τῶν σῶν Ἡρακλεῖ δωρημάτων (cf. δωρήματα διδόναι τινί); Eur. IT 388 τὰ Ταντάλου θεοῖσιν ἑστιάματα (cf. ἑστιάματα προσφέρειν τινί)[4].

Существительное βέλος родственно глаголу βαλεῖν; соответственно, при βέλος дательный падеж θυμῷ будет означать то же самое, что при глаголе βαλεῖν. А словосочетание θυμῷ βαλεῖν (ἐν θυμῷ βαλεῖν, ἐς θυμὸν βαλεῖν, θυμῷ ἐμβαλεῖν) в греческом языке существует и означает «помнить или размышлять о чем-либо», причем часто «размышлять о чем-то болезненном, неприятном», «тревожиться, беспокоиться (о чем-либо)». Для ахейских воинов это может быть напоминание о том, что «у обратившихся в бегство не остается ни славы, ни силы» (Il. XV 561–566), для гордого геродотовского царя – «древнее слово» о том, что «в начале дела конца не видно» (Hdt. VII.51.3) или что «у добрых господ рабы дурные, а у дурных – добрые» (Hdt. 8.68.1)[5]; очень скоро после разбираемого места Иокаста, все еще пытаясь отвратить Эди-

---

[4] *Schwyzer E., Debrunner A.* Griechische Grammatik. 5th ed. München, 1988. Bd. II. S. 153; *Kühner R., Gerth B.* Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. 4th ed. Leverkusen, 1955. Bd. II. § 424. S. 426–427; *Smyth H.W.* A Greek Grammar. 5th ed. Harvard, 1968. § 1529.

[5] Cf. Aesch. PV 705–706.

па от тревожных мыслей о данном когда-то оракуле, скажет (OT 975): Μὴ νῦν ἔτ' αὐτῶν μηδὲν ἐς θυμὸν βάλῃς – «Не бери это в голову».

Таким образом, в словосочетании θυμῷ βέλη можно видеть оживление стершейся языковой метафоры: если можно что-то θυμῷ βαλεῖν, значит, есть θυμῷ βέλη – «стрелы для духа». Такого рода «буквализация» стершихся языковых метафор – прием, весьма обычный у Софокла.

Например, в OT 49–51 (ἀρχῆς δὲ τῆς σῆς μηδαμῶς μεμνώμεθα / στάντες τ' ἐς ὀρθὸν καὶ πεσόντες ὕστερον, / ἀλλ' ἀσφαλείᾳ τήνδ' ἀνόρθωσον πόλιν) соседство слов στάντες, πεσόντες и ἀνόρθωσον заставляет вспомнить о внутренней форме существительного ἀσφαλεία, связанного с глаголом σφάλλω[6]. В том же прологе, несколько строк спустя (OT 65), вполне обычное εὕδειν в значении «быть беспечным» подкреплено соседним ὕπνῳ и ἐξεγείρειν[7]. В «Филоктете», когда Неоптолем говорит, что является «свидетелем» (μάρτυς – v. 319) несправедливости Атридов, Филоктет тут же подхватывает эту метафору, нагромождая юридическую лексику (ἔγκλημα 322, ἐγκαλῶν 328, ξυμμαρτυρῶ 438) и обращая пустынный берег в зал суда[8]. В той же трагедии «коммерческая» метафора διεμπολᾷ λόγοισι (579) применяется к посланному Одиссеем Купцу[9]. Примеры можно было бы умножать.

Наиболее близкую параллель к разбираемому месту находим в «Антигоне». Здесь Тиресий, предрекая Креонту его падение, завершает свою речь словами (Ant. 1084–1086):

Τοιαῦτά σου, λυπεῖς γάρ, ὥστε τοξότης
ἀφῆκα θυμῷ καρδίας τοξεύματα
βέβαια, τῶν σὺ θάλπος οὐχ ὑπεκδραμῇ.

Как лучник, эти стрелы я пустил в тебя,
Твой ранить дух – тебе не вырвать более
Из сердца их надежные зазубрины.

---

[6] Jebb, ad loc.

[7] Jebb, ad loc.: «The addition of ὕπνῳ rises and invigerates a trite metaphor».

[8] *Falkner T.M.* Containing Tragedy: Rhetoric and Self-Representation in Sophocles' Philoctetes // CA. 17,1 (1998) 25–58, esp. P. 50.

[9] Ibid. P. 35–36.

Большинство комментаторов понимают здесь θυμῷ как dativus modi: «с гневом» или «во гневе»[10]. На это можно возразить: даже если пророк говорит под влиянием гнева, ему не следовало бы в этом признаваться, так как это сразу поставило бы под сомнение его слова[11], тем более что несколько строчек спустя он гордо предоставляет смущенному царю «давать волю своему гневу с теми, кто помоложе» (1086–1087: Ὦ παῖ, σὺ δ' ἡμᾶς ἄπαγε πρὸς δόμους, ἵνα / τὸν θυμὸν οὗτος ἐς νεωτέρους ἀφῇ). Скорее, θυμῷ здесь – дательный падеж направления, то, куда метят стрелы Тиресия.

Таким образом, разбираемые строки следует переводить так: «В таком случае (т. е. если некто будет совершать преступления, не страшась Правды и Богов) кто воздержится от того, чтобы отражать от своей души то, что причиняет боль, то, что должно обеспокоить, заставить задуматься, θυμῷ βέλη?»

Может вызвать сомнения странная «анатомия», предполагаемая такой интерпретацией: стрелы ранят «дух» (θυμός), а отражают их почему-то от «души» (ψυχή). Для того чтобы устранить это противоречие, достаточно вспомнить, что, по наблюдению Э. Роде[12], с V в. и в прозе, и в драме ψυχή систематически обозначает совокупность всех духовных функций и способностей человека и включает в себя такие частные понятия, как θυμός, νόος, μένος, ἦτορ, а иногда и употребляется вместо всех этих слов. Сам Софокл сближает понятия θυμός, и ψυχή, когда в «Электре» (218–219) Хор говорит о δύσθυμος ψυχά героини.

Слово θυμός в трагедии – даже за пределами словосочетания θυμῷ βαλεῖν (ἐς θυμὸν βαλεῖν) – обозначает то, что испытывает гнев, ужас и боль (Aesch. Ag. 547, Suppl. 566–7), что «слишком высоко поднимается» в минуту смятения (Soph. OT 915–916), что сотрясается от грома (Soph. OC 1465), что поражает ἄτη (Soph. Ant. 1096–1097). Причем ясно, что в трагедии софокловской тревога не может быть напрасной, а гром и ἄτη не могут не быть посланы богами. Пока человек не отражает от своей души θυμῷ βέλη, он страдает; но тот, кто успешно делает это, не может быть не только героем, но и зрителем трагедии.

---

[10] Jebb, ad loc.: in my anger. Kamerbeek, ad loc.: with passion.

[11] Ср. OT 404–405, где Хор отказывается верить взаимным обвинениям Эдипа и Тиресия, так как оба говорят под влиянием гнева.

[12] *Rohde E.* Psyche. Tübingen, 1910. Bd. II. S. 141–142. Anm. 2.

Интересно, что в близком значении слово θυμός может употребляться и в прозе. Так, для Платона (Resp. IV, 14, 439E5–440D4) θυμός – та часть души, которая испытывает боль при виде страданий другого, а свои страдания считает заслуженными, если они таковыми являются; та часть, которая сражается с ἐπιθυμία на стороне разума и справедливости и возмущается, когда ἐπιθυμία совершает насилие над нашей волей. Вот первое, что мы узнаем от Платона о θυμός и ἐπιθυμία: когда некий Леонтий, сын Аглайона, шел со стороны Пирея в город и проходил мимо Северной стены, где сбрасывали в ров трупы казненных, ἐπιθυμία подсказывала ему заглянуть в ров, а θυμός повелевал закрыть лицо плащом и пройти мимо (Plat. Resp. 439E5–440A6).

Из этого значения слова θυμός развилось понятие ἐνθύμιον. По определению Виламовица, это нечто близкое к немецкому Gewissensscrupel или латинскому religionem habere, т. е. беспокойная совесть, почти что «страх Божий»[13]. Ἐνθύμιον – это то, что поражает человека, оправдавшего убийцу (Antiph. IIγ10), осудившего на смерть невиновного (Id. IIIδ9) или осквернившего святыню (Hdt. VIII, 54)[14], причем не всегда ясно, идет ли речь о чем-либо столь «субъективном», как неспокойная совесть, или о чем-то более «объективном», т. е. тревоге, вызываемой духом убитого или оскорбленным божеством.

Это слово мы встречаем и у Софокла. Когда Эдип, услышав рассказ Иокасты об убийстве Лаия, начинает предполагать, что убийцей мог быть он, Иокаста, еще не понимающая его опасений, спрашивает (OT 739): Τί δ' ἐστί σοι τοῦτ', Οἰδίπους, ἐνθύμιον.

Нокс видит здесь трагическую иронию: Иокаста употребляет это слово в обыденном значении «беспокойство», но это слово может обозначать еще и тревогу, которую дух убитого вызывает в убийце, а Эдип опасается именно того, что является убийцей[15].

Заметим, что θυμός для Софокла – слово совершенно особое. По наблюдению того же Нокса[16], именно θυμός — «домини-

---

[13] *Euripides*. Herakles. Erkl. von U. von Wilamowitz-Moellendorff. Berlin, 1895. Bd. II. S. 162.

[14] *How W.W., Wells J.* A Commentary on Herodotus. Oxford, 1936. Vol. II. P. 253 ad loc. «ἐνθύμιον – remorse». См. также: *Lloyd A.B.* Herodotus. Book II. Commentary. Leiden, 1993. P. 216.

[15] *Knox B.M.W.* Oedipus at Thebes. 2nd ed. Yale, 1998. P. 91.

[16] *Knox B.M.W.* The Heroic Temper. Berkeley, 1966. P. 29 et passim.

рующая черта» героев Софокла, причем это слово далеко не всегда обозначает гнев, но чаще – страстность, неспокойный дух, «heroic temper» – именно то, что зачастую является причиной несчастий героя, что делает его фигурой бесконечно одинокой – и почти божественной.

Здесь мы подходим к вопросу об интерпретации этих строк в контексте II Стасима – и всего II Стасима в контексте трагедии. «Если будут совершаться сознательные, умышленные преступления в явном презрении к Богам и их законам, – говорит Хор, – то никто из людей не воздержится от того, чтобы отталкивать от себя все, что беспокоит, что причиняет боль, что заставляет задуматься». Ибо, поясняет поэт далее, если такие дела в чести, τί δεῖ με χορεύειν, «какой смысл вообще в существовании жанра трагедии» (895–896)[17]. Эти строки объясняют предыдущие, ибо трагедия – это как раз то, что призвано причинить боль и пробудить мысль.

Мысль о том, что даже одно преступление, совершенное в презрении к Богам и Правде и оставшееся безнаказанным, может уничтожить совесть и веру во всех людях, высказывается у Софокла в другом месте, в «Электре»: здесь героиня выражает опасение, что если ее отец останется неотмщенным, ἔρροι τ' ἂν αἰδὼς ἁπάντων τ' εὐσέβεια θνατῶν (El. 249–250). Более того, в заключении II Стасима трагедии «Царь Эдип», через несколько строк после слов о θυμῷ βέλη, Хор сетует на то, что «божественное уходит» (ст. 910: ἔρρει δὲ τὰ θεῖα): под угрозой едва ли не сам миропорядок.

Всякие попытки как-либо соотнести фигуру неизвестного преступника из II Стасима, который ὑπέροπτα χερσὶν ἢ λόγῳ πορεύεται с образом Эдипа, обречены на неудачу: совершенно очевидно, что здесь речь идет о сознательном, умышленном преступлении. Хор боится как раз того, что станет возможным оправдание преступления, внутреннее согласие с ним: тогда из мира исчезнет совесть и страх Божий, тогда потеряет смысл само творчество трагического поэта, тогда «уйдет божественное».

С самого начала ясно, что Эдип – человек, менее всего склонный θυμῷ βέλη ψυχᾶς ἀμύνειν. Когда о том, что он сын Лаия и Иокасты, еще нет и речи, а только возникает предположение, что

[17] В понимании этих строк мы следуем Э. Доддсу (*Dodds E.R.* On Misunderstanding Oedipus Rex // The Ancient Concept of Progress. Oxford, 1973. P. 64–77, esp. P. 75).

он мог быть убийцей Лаия, он, не реагируя на утешения Иокасты, немедленно посылает за свидетелем (ст. 857–860) и, по словам Иокасты, ἔστι τοῦ λέγοντος, ἢν φόβους λέγῃ (917). Когда все указывает на то, что можно забыть о страшном пророчестве, он все же отказывается перестать думать о нем (975–976), а на успокоительные рассуждения Иокасты, убежденной, что следует εἰκῇ ζῆν, ὅπως δύναιτό τις, отвечает репликой, потрясающей по своей «нелогичности» (984–986):

Καλῶς ἅπαντα ταῦτ' ἂν ἐξείρητό σοι,
εἰ μὴ 'κύρει ζῶσ' ἡ τεκοῦσα· νῦν δ' ἐπεὶ
ζῇ, πᾶσ' ἀνάγκη, κεἰ καλῶς λέγεις, ὀκνεῖν.

Все то, что говоришь ты, замечательно,
Но мать моя жива; пока жива она,
Мне следует бояться, хоть права и ты.

На протяжении всей трагедии сначала Тиресий, потом Иокаста и наконец Пастух пытаются уберечь Эдипа от страшной истины – только он не хочет уберечь себя от нее и не хочет оправдывать и щадить себя, когда истина открывается.

Подробнее о значении II Стасима в контексте трагедии «Царь Эдип» я надеюсь сказать в другом месте. Пока можно добавить, что приведенная интерпретация ст. 892–893 подтверждает мысль, высказанную когда-то Камербееком: образ Эдипа в этой трагедии есть то, что спасает мир от бессмысленности[18].

---

[18] *Kamerbeek J.C.* Comments on the Second Stasimon. P. 82: The world we see is one saved from meaninglessness by Oedipus' heroism.

И.В. Рыбакова

«МОРСКИЕ ФОРМУЛЫ» В «АРГОНАВТИКЕ» АПОЛЛОНИЯ РОДОССКОГО: ВОСПРИЯТИЕ И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТРАДИЦИИ

Поэма Аполлония Родосского «Аргонавтика» всегда занимала и продолжает занимать исследователей, и при этом их подход к ней, как водится, радикально менялся. Раньше это произведение считалось неудачным подражанием поэмам Гомера. Аполлония упрекали прежде всего в том, что он лишил повествование внутреннего единства и драматичности, отличающих «Илиаду» и «Одиссею». «Аргонавтика» представляет собой серию эпизодов, объединенных лишь хронологической последовательностью. Кроме того, поэма Аполлония значительно уступает произведениям Гомера по своим размерам. И персонажи в «Аргонавтике», за исключением Медеи, охарактеризованы бледно[1].

Некоторые исследователи считают, что в произведении Аполлония гомеровская модель намеренно перевернута. Целью автора было низвергнуть прежние эпические идеалы. На смену герою-воину, предпочитающему умереть рано, но со славой, приходит пассивный герой-любовник. Протагонистами в поэме «становятся не Ахилл и Патрокл, а Парис и Елена»[2]. Поэтому «Аргонавтику» правильнее было бы назвать не эпосом, а «антиэпосом»[3].

Наиболее радикально настроенные исследователи считают, что Аполлоний противопоставляет свою поэму гомеровской

---

[1] *Fraser P.* Ptolemaic Alexandria. Oxford, 1972. Vol. I. P. 625–626; *Тронский И.М.* История античной литературы. М., 1983. С. 216.

[2] *Nyberg L.* Unity and Coherence. Studies in Apollonius Rhodius Argonautica and Alexandrian epic tradition. Lund, 1992. P. 111.

[3] *Beye C.R.* Jason as Love-hero in Apollonius' Argonautika // Greek, Roman and Byzantine Studies. Cambridge, 1969. № 10. P. 34.

традиции и ее можно рассматривать только с точки зрения александрийской поэтики. Такой взгляд как нельзя лучше отражен в самом названии исследования М. Де Форест «“Аргонавтика” Аполлония Родосского: каллимаховский эпос»[4].

Мы считаем, что в сложившейся ситуации к вопросу о месте поэмы Аполлония Родосского в древнегреческой эпической традиции необходимо вернуться еще раз, сосредоточившись прежде всего на уровне лексико-стилистического анализа и еще более узко – на разборе эпических формул. Формулы как неотъемлемый эпический прием – это тот конкретный материал, на котором механизм взаимодействия текстов Аполлония и Гомера проявляется наиболее ярко.

По мнению некоторых исследователей, например Р. Альбиса, уже в самом начале, во вступлении к «Аргонавтике», Аполлоний стремился «воссоздать ситуацию создания эпической поэмы непосредственно в присутствии слушателей»[5].

Поэт начинает свое произведение следующим образом:

Ἀρχόμενος σέο Φοῖβε παλαιγενέων κλέα φωτῶν
μνήσομαι οἳ Πόντοιο κατὰ στόμα καὶ διὰ πέτρας
Κυανέας βασιλῆος ἐφημοσύνῃ Πελίαο
χρύσειον μετὰ κῶας ἐύζυγον ἤλασαν Ἀργώ (1–4).

Начав с тебя, Феб, я вспомню о славе древних мужей, которые, по приказанию царя Пелия, провели хорошо скрепленный «Арго» через устье Понта и через Темные скалы за золотым руном.

Первая строка напоминает гимн[6], с которого, по свидетельству Пиндара, как правило, начиналось исполнение эпоса: «Гомериды, певцы сшитых слов, часто начинают с проэмия к Зевсу» (Нем. 2, 1–3). Эпические поэты, состязаясь на религиозных праздниках, перед началом песни обращались к богам, чтобы сни-

---

[4] *DeForest M.M.* Apollonius Argonaútica: A Callimachean Epic. Leiden; New York; Cologne, 1994.

[5] *Albis R.V.* Poet and Audience in the Argonautica of Apollonius. Boston, 1996. P. 8.

[6] Ср., например, зачин гомеровского гимна «К Афине»:
Παλλάδ' Ἀθηναίην κυδρὴν θεὸν ἄρχομ' ἀείδειν
Я начинаю петь славную богиню Афину Палладу.

скать их расположение[7]. Такого рода гимны были собраны под названием «Гомеровские гимны». Проэмием, вступлением к песне, Фукидид называет гимн «К Аполлону» (3, 104). Гимны «К Деметре», «К Афродите», «К Аполлону» и «К Гермесу» заканчиваются словами: «αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ' ἀοιδῆς» («А я вспомню тебя и другую песнь»). Г. Надь называет это «стартовым концом песни»[8].

Таким образом, Аполлоний воссоздает историческую ситуацию исполнения эпической поэмы: гимн к божеству предшествовал основному рассказу. Кроме того, нужно отметить, что гимны были очень популярны в александрийскую эпоху, в частности в этом жанре работал Каллимах. Во втором, пятом и шестом гимнах Каллимаха мифологическое повествование обрамляется авторским описанием обстоятельств, при которых исполняется песня. Например, в пятом гимне описывается, как изображение Афины выносят из храма, омывают и облачают в новые одежды. Поэт наблюдает за исполнением этого ритуала и рассказывает мифы, связанные с этим божеством. Миф часто объясняет происхождение составляющих современного певцу религиозного обряда. В то же время благодаря такому соотнесению прошлого и настоящего автор вступает во взаимодействие со своим повествованием, а это влечет за собой возрастание авторского начала по сравнению с «Гомеровскими гимнами». Таким образом, гимнический зачин «Аргонавтики» может служить отсылкой и к новой поэтической эстетике.

Древние эпические поэты начинали свои произведения с обращения к божеству. По античным представлениям, «сама поэзия исходит от богов, бессмертные становятся своего рода истоком творчества, давая поэту некий импульс»[9]. Гомер описывает процесс создания песни на примере Демодока: «ὁ δ' ὁρμηθεὶς θεοῦ ἤρχετο, φαῖνε δ' ἀοιδήν» («Он начал с вдохновившего его бога и явил свою песню») (Od. 8, 499).

Во вступлениях к «Илиаде» и «Одиссее» Гомер подчеркивает, что его поэмы рождаются благодаря руководству муз: «Гнев, богиня, воспой...», «муза, скажи мне о том многоопытном муже...».

---

[7] *Nagy G.* Pindar's Homer. The Lyric Possession of an Epic Past. Baltimore; London, 1990. P. 353–354.

[8] *Nagy G.* Homeric Questions. Austin, 1996. P. 85.

[9] *Гринцер Н.П., Гринцер П.А.* Становление литературной теории в Древней Греции и Индии. М., 2000. С. 28.

Таким образом, обращение к Аполлону в поэме Аполлония является знаком преемственности. Но вместе с тем оно имеет и дополнительное, внутреннее композиционное обоснование. Из-за оракула Аполлона Пелий послал Ясона за золотым руном. Герой отправляется в путь после того, как бог пообещал ему успех в предприятии. Таким образом, Аполлон подвигает поэта рассказать о событиях, причиной которых был он сам. Аполлоний стремится создать впечатление, что божественное вдохновение переносит его в мифологические времена и как будто он сам присутствует при описываемых событиях. Этого он достигает благодаря хронологической последовательности в изложении[10] и авторским замечаниям по ходу повествования.

В отличие от Гомера автор «Аргонавтики» начинает поэму от первого лица: «Я вспомню о славе древних мужей». Прославление героев было постоянной темой эпоса. Об их славе в «Одиссее» поет Демодок (8, 73), а в «Илиаде» – Феникс (9, 524) и Ахилл (9, 189). Перефразировав формулу κλέα ἀνδρῶν и использовав в дальнейшем формульное выражение κλείουσιν ἀοιδοί (1, 18; 1, 59), Аполлоний подчеркивает традиционность своего материала. Вместе с тем он противопоставляет себя предшественникам:

Νῆα μὲν οὖν οἱ πρόσθεν ἔτι κλείουσιν ἀοιδοί
Ἄργον Ἀθηναίης καμέειν ὑποθημοσύνῃσι·
νῦν δ' ἂν ἐγὼ γενεήν τε καὶ οὔνομα μυθησαίμην
ἡρώων, δολιχῆς τε πόρους ἁλός, ὅσσα τ' ἔρεξαν
πλαζόμενοι... (1, 18–22)

Еще прежде поэты славили, как Арг построил по наставлениям Афины корабль. Я же теперь [назову] имена героев и расскажу об их происхождении и о том, что они совершили, долго блуждая по морским путям...

Таким образом, Аполлоний, с одной стороны, подчеркивает свою оригинальность, а с другой – выступает как продолжатель

---

[10] Р. Альбис (Op. cit. P. 52) считает, что перечисление событий в хронологическом порядке придает субъективность повествованию. Ср. рассказ Одиссея о своих испытаниях.

традиции[11]. При этом его новаторство проявляется прежде всего в уточнении различных фактических подробностей (имена, события, географические названия), весьма напоминающем труд ученого филолога-комментатора.

В этом месте поэмы поэт в первый раз упоминает муз, назвав их ὑποφήτορες. Этим словом обозначались специальные жрецы в Дельфах, которые принимали от Пифии оракул и объясняли его тем, кто обращался к богу с вопросом[12]. Поэт нередко уподобляется жрецу в античной лирике. Пиндар обращается к Музе: «Муза, вещай, я пророк твой» (fr. 150 Snell). Поэт истолковывает слова божества, выступая в роли посредника между ним и людьми[13]. Из александрийцев[14] образ поэта-жреца использует в 22-й идиллии Феокрит, описывая бой Полидевка с Амиком:

Πῶς γὰρ δὴ Διὸς υἱὸς ἀδηφάγον ἄνδρα καθεῖλεν;
εἰπέ, θεά, σὺ γὰρ οἶσθα· ἐγὼ δ' ἑτέρων ὑποφήτης
φθέγξομαι ὅσσ' ἐθέλεις σὺ καὶ ὅππως τοι φίλον αὐτῇ
(Idill 22 116–118).

Как сын Зевса победил прожорливого мужа? Скажи, богиня, ведь ты знаешь. А я, как истолкователь, расскажу другим, что желаешь и как тебе угодно.

---

[11] Акцентирование собственной оригинальности в разработке традиционной темы было характерно для александрийских поэтов. Ср.: *Каллимах*. Гимн «К Аполлону»:

ὤπολλον, πολλοί σε Βοηδρόμιον καλέουσι,
πολλοὶ δὲ Κλάριον, πάντῃ δέ τοι οὔνομα πουλύ
αὐτὰρ ἐγὼ Καρνεῖον ἐμοὶ πατρώιον οὕτω (69–71).

Аполлон, многие зовут тебя Боэдромием, многие – Кларием, у тебя много имен повсюду, я же зову Карнеем. Так мне завещано отцом.

Вместе с тем Каллимах показывает, что, приводя редкое культовое имя бога, он следует местной традиции.

[12] *Albis R.V.* Op. cit. P. 20–21; *Beye P.* Epic and Romance in the Argonautica of Apollonius. Carbondale, 1982. P. 14–15.

[13] *Гринцер Н.П., Гринцер П.А.* Указ. соч. С. 42.

[14] Важно отметить, что директор Мусейона имел официальный титул – «жрец Муз» (*Pfeiffer R.* Geschichte der klassischen Philologie. Von Anfaengen bis zum Ende des Hellenismus. Rowohlt, 1970. S. 125).

Весьма показательно, что Феокрит использует практически тот же термин, что и Аполлоний, – ὑποφήτης. Однако характерным образом в «Аргонавтике» как Пифия выступает поэт, а музы превращают полученный им «оракул» в поэтическое произведение. Таким образом, Аполлоний утверждает свой авторский статус: поэт играет в поэме ведущую роль.

Необходимо отметить еще одну черту, отличающую «Аргонавтику» от «Илиады» и «Одиссеи». Во вступлениях к гомеровским поэмам обозначаются общая тема и ключевые эпизоды повествования. Аполлоний, заявив о своем намерении воспеть плавание аргонавтов, кратко намечает их конкретный маршрут – «через устье Понта и через Темные скалы» – еще одно проявление «учености», которую В.П. Завьялова выделяет как общую черту эллинистической поэзии, состоящую, в частности, в «перенасыщении поэтического текста географическими названиями»[15].

Таким образом, воссоздавая структуру зачина, Аполлоний ориентировался на «Илиаду» и «Одиссею» и вместе с тем отталкивался от них, учитывая литературные предпочтения своего времени. Но имитирует ли он стиль гомеровских поэм, который является сутью устной поэзии? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть основные положения «устной теории» М. Пэрри и А. Лорда.

Необходимость творить быстро и безостановочно в присутствии слушателей обусловила особую технику сложения устных поэм. Поэт, как правило, разрабатывает несколько тем, естественным образом перетекающих одна в другую. А. Лорд дает следующее определение темы: это «группа понятий и представлений, регулярно используемых при передаче сюжета в формульном стиле традиционной поэзии»[16]. Процесс сложения стихов происходит посредством формул и формульных выражений.

По определению Пэрри, формула – это «группа слов, встречающихся в одних и тех же метрических условиях и служащая для выражения того или иного основного смысла»[17]. Она играет вспомогательную роль. Эпический поэт всегда имеет наготове

[15] *Завьялова В.П.* О функционально-стилистическом значении антономасии в гимнах Каллимаха. / Вопросы классической филологии. М., 1980. Вып. 7. С. 98.

[16] *Лорд А.Б.* Сказитель. М., 1994. С. 83.

[17] *Parry M.* The Making of Homeric Verse. Oxford, 1971. P. 272.

фразу, которой он может заполнить любое место в строке. Развивая теорию Пэрри–Лорда, Г. Надь показывает, что «использование формул управляется скорее традиционной темой, чем сопутствующим им метром»[18]. Таким образом, формула – средство выражения поэтической темы, которая для устной поэзии, как правило, традиционна. Этим обусловливается постоянство формульных выражений. Как пишет Лорд, «наиболее устойчивыми оказываются те формулы, которые выражают понятия, чаще всего встречающиеся в эпической поэзии: имена действующих лиц, основные действия, обозначения времени и места»[19]. В процессе творчества эпический поэт перестраивает старые и создает новые обороты, выражающие то или иное привычное понятие. По уже имеющемуся образцу рождаются новые формулы.

Художник, творящий в рамках традиции, вместе с тем проявляет свою индивидуальность. Эпическая поэма при каждом исполнении создается из традиционных элементов по-новому. С.М. Боура назвал такой способ сложения текста импровизацией[20]. Лорд считает этот термин неподходящим для творчества эпического певца, поскольку тот создает песню только из узкого круга тем, «для которых у него есть наработанный материал»[21].

М. Пэрри рассматривал формулу как застывшее словосочетание, отпечатавшееся в памяти поэта, которое он постоянно использует в определенном месте строки. Исследование традиционных выражений, проведенное Дж.Б. Гейнсвортом[22], показало, что это не совсем так. Сложение стихов не механический процесс. Если первоначальный вид формулы не может быть использован в определенном месте строки, возможны варианты его изменения. Поэт меняет порядок слов, расширяет или сокращает формулу, вставляет слова между ее компонентами. Например, первоначальная формула νηῒ μελαίνῃ, когда поэт меняет порядок слов, принимает вид μελαίνῃ νηῒ, когда он ее расширяет – μεγακήτει νηῒ μελαίνῃ, стягивает вновь – μεγακήτει νηῒ. Существительное и эпитет могут не быть разделены другими словами παρὰ νηυσὶ θοῇσι и разделены παρὰ νηυσὶ μάχην ἐμάχοντο θοῇσιν.

[18] *Надь Г.* Греческая мифология и поэтика. М., 2002. С. 44.
[19] *Лорд А.Б.* Указ. соч. С. 47.
[20] *Боура С.М.* Героическая поэзия. М., 2002.
[21] *Lord A.B.* Epic Singers and Oral Tradition. Ithaca; London, 1991. P. 77.
[22] *Hainsworth J.B.* The Flexibility of the Homeric Formula. Oxford, 1968.

В данной работе мы ставим перед собой задачу сравнить механизмы оперирования формулами Гомера и Аполлония на примере понятия «море», поскольку плавание по морю заявлено как тема поэмы в первых строках «Аргонавтики». За основу нашего сопоставительного анализа мы возьмем результаты исследования «морских формул» Д.Л. Пэйджа[23], который рассматривал их в качестве ключевых в «Илиаде» и «Одиссее». Согласно ему, в поэмах использовано семнадцать формул со словами *πόντος, ἅλς, θάλασσα* и *πέλαγος*. Они состоят из существительного и эпитета: *εἰς ἅλα δῖαν, πολιῆς ἁλὸς* и в Acc., *ἁλὸς πολιῆς, ἁλὸς πολιοῖο, ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, θαλάσσης εὐρυπόροιο, πολιῆς... θαλάσσης* и в Acc., *εὐρέι πόντῳ* и в Acc., *οἴνοπι πόντῳ, ἠεροειδέι πόντῳ,·πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ, πόντον... ἰχθυόεντα, πόντον... κυμαίνοντα, πόντον ἐπ' ἰχθυόεντα, πόντον ἐπ' ἀτρύγετον, πέλαγος μέγα*.

На основании этих данных Пэйдж делает следующие выводы. С каждым существительным употребляется определенное прилагательное. Например, со словом *θάλασσα* – *πολύφλοισβος* – «многошумный» и *εὐρύπορος* – «с широкими путями». Только прилагательные *πολιὸς* – «седой» и *ἀτρύγετος* – «пустынный» могут употребляться более чем с одним существительным. У Гомера за каждой метрической позицией закреплена определенная формула. Этот принцип, получивший в рамках «устной теории» название «принцип экономии», нарушен в поэмах только один раз: вместо традиционного выражения *πολυφλοίσβοιο θαλάσσης* Гомер употребляет *θαλάσσης εὐρυπόροιο*.

При исследовании Пэйдж не учитывал возможность изменения формул. Его выводы необходимо скорректировать в контексте наблюдений Гейнсворта. То, что Пэйдж считает разными формулами, на самом деле порой является модификациями одной, как, например, сочетания *πολιῆς ἁλὸς, ἁλὸς πολιῆς* и *ἁλὸς πολιοῖο*. Таким образом, количество формул сокращается. Пэйдж отмечает, что выражение *εὐρέα πόντον* один раз занимает нетрадиционную позицию в строке. Гейнсворт рассматривает такие случаи как проявления подвижности формулы, вызванной трудностями, возникшими у поэта при составлении конкретного

[23] *Page D.L.* History and the Homeric Iliad. Berkeley, 1959. P. 225–228.

стиха[24]. В выражении πόντον ἐπ' εὐρύν, которое Пэйдж не считает формульным, наблюдаются перестановка слов и вставка между ними элидированной формы предлога ἐπί. Далее Пэйдж признает синонимами слова ἅλα и θάλασσα и допускает возможность обмена эпитетами между ними. Вместе с этим он считает нетрадиционным словосочетание ἀτρυγέτοιο θαλάσσης только потому, что оно употребляется Гомером лишь один раз. Выражение ἐκ πόντου βὰς ἰοειδέος, с его точки зрения, нетрадиционно, поскольку это единичный случай, когда существительное πόντος стоит в родительном падеже. С точки зрения Гейнсворта, изменение падежа могло быть вызвано необходимостью употребить формулу в непривычном для поэта месте.

При анализе образа моря в «Аргонавтике» сразу обращает на себя внимание то, что Аполлоний, в отличие от Гомера, избегает говорить о нем непосредственно. Πόντος как центральный мотив заявлен в начале поэмы, затем исчезает и появляется изредка[25]. В «Аргонавтике» использовано только одно гомеровское словосочетание со словом πόντος – πόντου μεγακήτεος (4, 318). У самого Гомера это выражение является гапаксом (Od. 3, 158). Из формул со словом ἅλς задействовано только вызывающее сомнение у Пэйджа словосочетание βαθείης... ἁλός.

Понятие моря Аполлоний выражает через такие слова, как ὕδωρ, κῦμα, λαῖτμα и οἶδμα. Поэт по одному разу употребляет гомеровские определения к существительному ὕδωρ: ἁλμυρὸν – «морской» (1, 574) и ἄσπετον – «огромный» (1, 1235). Словосочетание ἁλμυρὸν ὕδωρ является формульным в «Одиссее» (Od. 4, 511; 5, 100; 9, 252; 15, 474). В 5, 100 формула расширена прилагательным ἄσπετον. У Аполлония существительное и эпитет разделены: ἁλμυρὸν ἀθρόοι ὕδωρ, ἄσπετον ἔβραχεν ὕδωρ.

Поэт по одному разу использует следующие гомеровские определения к слову κῦμα: λάβρον – «стремительная» (2, 594) и κυλινδόμενον – «накатывающаяся» (2, 732). У Гомера эпитет λάβρον служит для создания атмосферы нависшей опасности:

---

[24] Например, место в строке, где обычно стоит данная формула, может быть уже занято. См.: *Hainsworth J.B.* Op. cit. P. 30.

[25] Дж. Перадотто (*Peradotto J.* Man in the Middle Voice. Name and narration in the Odyssey. Princeton, 1990. P. 101–102) отмечает, что в «Одиссее» наблюдается то же самое явление: имя главного героя в первых строках поэмы не упоминается, а затем временами появляется и снова исчезает.

ἐν δ' ἔπεσ' ὡς ὅτε κῦμα θοῇ ἐν νηῒ πέσῃσι
λάβρον ὑπαὶ νεφέων ἀνεμοτρεφές... (Il. 15, 625).

И обрушился, как стремительная волна, вздымаемая ветром, с облаков обрушивается на быстрый корабль...

Чтобы сохранить это тревожное настроение, Аполлоний использует словосочетание κῦμα λάβρον и формулу μέγα κῦμα, когда описывает проход «Арго» между Бродячими скалами. Согласно Гомеру, опасность для мореплавателей в этом месте заключается именно в волнах, ударяющихся о скалы:

κῦμα μέγα ῥοχθεῖ κυανώπιδος Ἀμφιτρίτης (Od. 12, 60).

Шумит большая волна синеглазой Амфитриты.

У Аполлония выражение употреблено в конце четвертой – начале пятой стопы:

καί σφισιν ἀπροφάτως ἀνέδυ μέγα κῦμα πάροιθεν (2, 580).

И неожиданно перед ними поднялась большая волна.

В «Одиссее» формула в этой метрической позиции стоит в 5, 296 и 5, 313. Аполлоний сохраняет заложенную Гомером в образ волны идею гибели. Когда Одиссей покидает остров Калипсо, он попадает в бурю:

«νῦν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι».
ὣς ἄρα μιν εἰπόντ' ἔλασεν μέγα κῦμα κατ' ἄκρης,
δεινὸν ἐπεσσύμενον, περὶ δὲ σχεδίην ἐλέλιξε.
τῆλε δ' ἀπὸ σχεδίης αὐτὸς πέσε, πηδάλιον δὲ
ἐκ χειρῶν προέηκε· μέσον δέ οἱ ἱστὸν ἔαξε
δεινὴ μισγομένων ἀνέμων ἐλθοῦσα θύελλα (5, 312–317).

«Теперь мне суждено умереть печальной смертью». Как только он это сказал, сверху со страшной силой обрушилась большая волна, и вода вокруг плота закружилась. Он [Одиссей] упал с плота, выпустив из рук руль. Сильный порыв встречных ветров, налетев, сломал мачту пополам.

Как Одиссею, аргонавтам, благодаря искусству кормчего, чудом удается избежать смерти:

νηὸς ὑπὲρ πάσης κατεπάλμενον ἀμφικαλύψειν,
ἀλλά μιν ἔφθη Τῖφυς ὑπ' εἰρεσίῃ βαρύθουσαν
ἀγχαλάσας· τὸ δὲ πολλὸν ὑπὸ τρόπιν ἐξεκυλίσθη,
ἐκ δ' αὐτὴν πρύμνηθεν ἀνείρυσε τηλόθι νῆα
πετράων, ὑψοῦ δὲ μεταχρονίη πεφόρητο (2, 583–587).

[Показалось], что, обрушившись, волна накроет весь корабль, но Тифий ее опередил: он ослабил тяжесть корабля, приказав перестать грести. И вся волна ушла под киль и, со стороны кормы высоко подняв корабль, унесла его от скал. И долго сверху носила.

В четвертой книге формула μέγα κῦμα вновь используется при описании прохода «Арго» через Планкты. Тем самым Аполлоний подчеркивает параллельность эпизодов внутри своего произведения. В 924-м стихе формула предстает в модифицированном виде: во-первых, меняется падеж, в котором стоят компоненты, а во-вторых – между ними стоит предлог ὑπὸ. Это влечет за собой изменение метрической позиции:

ἄλλοθι δὲ Πλαγκταὶ μεγάλῳ ὑπὸ κύματι πέτραι (4, 924).

Вдали под большой волной гудели Блуждающие скалы.

В формульном выражении κῦμα μέλαν у Гомера компоненты всегда разделены вставными словами: μέλαν δέ ἑ κῦμ' ἐκάλυψεν (Od. 5, 353), μέλαν δέ ἑ κῦμα κάλυψεν (Il. 23, 693) – «и черная волна ее скрыла». В «Аргонавтике» формула употребляется два раза в начале строки, существительное и эпитет при этом не разделены: κῦμα μέλαν κριῷ ἅμ' ἐπικλύσαι· (1, 257) – «черная волна вместе с бараном захлестнула»; κῦμα μέλαν κωφόν τε καὶ ἄβρομον· (4, 153) – «черная волна, шумящая и бесшумная». Аполлониевское словосочетание κῦμα μέλαν является вариацией гомеровского μέλαν δέ ἑ κῦμα. Оно получилось в результате изменения порядка слов и соответственного стяжения гомеровской формулы.

Весьма характерно, что гомеровские формулы по большей части появляются в «Аргонавтике» в тех эпизодах, которые прямо перекликаются с гомеровскими поэмами. Так, Аполлоний ис-

пользует словосочетание κῦμα κυλινδόμενον, когда аргонавты проплывают место, где открывается вход в подземное царство:

ἀσπασίως ἄκρης Ἀχερουσίδος ὅρμον ἵκοντο.
ἡ μέν τε κρημνοῖσιν ἀνίσχεται ἠλιβάτοισιν,
εἰς ἅλα δερκομένη Βιθυνίδα· τῇ δ' ὑπὸ πέτραι
λισσάδες ἐρρίζωνται ἁλίβροχοι, ἀμφὶ δὲ τῇσιν
κῦμα κυλινδόμενον μεγάλα βρέμει· αὐτὰρ ὕπερθεν
ἀμφιλαφεῖς πλατάνιστοι ἐπ' ἀκροτάτῃ πεφύασιν (2, 728–734).

Радостно они пришли в гавань Ахеронтского мыса. Он поднимается крутыми утесами, глядясь в Вифинское море, а под ним укоренились омываемые морем гладкие скалы. Вокруг них сильно шумит, накатываясь, волна, а над ними на мысе растут раскидистые платаны.

Аполлониевское описание в целом соответствует гомеровскому: мыс, утес, шум волн, ударяющихся о скалы, тенистые деревья (Od. 10, 508–515). От себя, демонстрируя свою эрудицию, александрийский поэт дает только указание, где это место находится, – «в Вифинском море».

Словосочетание κῦμα κυλινδόμενον является гомеровской формулой (Od. 9, 147; 14, 315). В 9, 147 существительное и причастие разделены прилагательным: κύματα μακρὰ κυλινδόμενα. В 14, 315 меняется число, в котором стоит существительное, и глагольная форма; кроме того, выражение расширяется прилагательным: μέγα κῦμα κυλίνδον. В «Аргонавтике» компоненты формулы не разделены и словосочетание стоит в начале строки: κῦμα κυλινδόμενον. Возможно, эта формула существовала в традиции помимо Гомера или Аполлоний реконструирует ее первоначальный вид из Гомера.

Когда аргонавты, миновав остров Гелиоса, приближаются к царству феаков, используется формула μέγα λαῖτμα:

πεῖρον ἁλὸς μέγα λαῖτμα κεχαρμένοι, ὄφρα καὶ αὖτις (4, 980).

Радостно рассекая глубокую пучину моря.

У Гомера это словосочетание регулярно употребляется в конце четвертой – начале пятой стопы. У Аполлония формула появляется в традиционном месте в 4, 1694:

αὐτίκα δὲ Κρηταῖον ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θέοντας

Тут же проносясь над глубокой пучиной критского моря.

В какой-то мере варьирование Аполлонием традиционных формул становится еще одним вариантом своеобразного поэтического «комментария», к которому поэт прибегает на всех уровнях своего произведения. Так, мы уже отмечали, что Аполлоний стремится по возможности определить местонахождение основных пунктов маршрута его героев. Поэтому мы не можем согласиться с О.В. Смыкой в том, что «Аполлоний нигде не дополняет и не уточняет Гомера»[26]. Ее замечание справедливо, когда гомеровский текст содержит в себе исчерпывающую информацию. Например, Аполлонию нечего добавить к описанию острова Гелиоса:

Θρινακίην δ' ἐς νῆσον ἀφίξεαι· ἔνθα δὲ πολλαὶ
βόσκοντ' Ἠελίοιο βόες καὶ ἴφια μῆλα.
ἑπτὰ βοῶν ἀγέλαι, τόσα δ' οἰῶν πώεα καλά,
πεντήκοντα δ' ἕκαστα. γόνος δ' οὐ γίνεται αὐτῶν,
οὐδέ ποτε φθινύθουσι. θεαὶ δ' ἐπιποιμένες εἰσί,
νύμφαι ἐϋπλόκαμοι, Φαέθουσά τε Λαμπετίη τε,
ἃς τέκεν Ἠελίῳ Ὑπερίονι δῖα Νέαιρα.

Ты попадешь на остров Тринакию. Там пасется много быков и тучных овец Гелиоса. Семь стад быков, столько же прекрасных стад овец. В каждом стаде их пятьдесят. Они не рожают и не умирают. Пасут их богини, нимфы с прекрасными волосами, Фаэтуса и Лампетия, которых родила Гелиосу, сыну Гипериона, божественная Неера.

Когда же Аполлонию предоставляется возможность прокомментировать гомеровский текст, он ее не пропускает. Когда аргонавты проплывают мимо острова Калипсо, поэт указывает его название:

αἰπεινήν τε Κερωσσόν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἐοῦσαν
Νυμφαίην παράμειβον, ἵνα κρείουσα Καλυψὼ
Ἀτλαντὶς ναίεσκε... (4, 573–574).

Мимо крутого Керосса и дальше лежащей Нимфеи, где живет повелительница Атлантида Калипсо...

[26] *Смыка О.В.* Некоторые замечания об источниках «Аргонавтики» Аполлония Родосского // Вопросы классической филологии. М., 1973. Вып. 5. С. 118.

Аполлоний также сообщает о родителях и местонахождении сциллы Кратайи, матери гомеровской Сциллы (в «Одиссее» она упоминается в 12, 124):

ἠὲ παρὰ Σκύλλης στυγερὸν κευθμῶνα νέεσθαι
(Σκύλλης Αὐσονίης ὀλοόφρονος, ἣν τέκε Φόρκῳ
νυκτιπόλος Ἑκάτη, τήν τε κλείουσι Κράταιιν) (4, 827-829).

Не заплыть в ненавистные тайники Сциллы (губительной Сциллы, которая живет в Авзонийских водах, которую родила Форку ночная Геката и которую называют Кратайей).

В «Аргонавтике» можно найти малоизвестные сведения и о сиренах:

νῆα δ' ἐυκραὴς ἄνεμος φέρεν· αἶψα δὲ νῆσον
καλὴν Ἀνθεμόεσσαν ἐσέδρακον, ἔνθα λίγειαι
Σειρῆνες σίνοντ' Ἀχελωίδες ἡδείῃσι
θέλγουσαι μολπῇσιν ὅτις παρὰ πεῖσμα βάλοιτο.
τὰς μὲν ἄρ' εὐειδὴς Ἀχελωίῳ εὐνηθεῖσα
γείνατο Τερψιχόρη, Μουσέων μία, καί ποτε Δηοῦς
θυγατέρ' ἰφθίμην, ἀδμῆτ' ἔτι, πορσαίνεσκον
ἄμμιγα μελπόμεναι... (4, 891–898).

И умеренный ветер нес корабль, и вскоре прекрасный остров Цветущий, где звонкие сирены, дочери Ахелоя, сладкими песнями зачаровывали тех, кто около них бросал причалы. Их, прекрасных, родила, разделив с ним ложе, Терпсихора, одна из муз. И они когда-то согласною песней величали мощную дочь Део, тогда еще девушку...

В своей поэме Аполлоний дает более древние названия острова Схерия, который населяют феаки, и объясняет их. Название Дрепана связано с преданием об оскоплении Кроноса, из крови которого произошли жители острова. Этот фрагмент важен не только тем, что Аполлоний приводит необщеизвестную версию мифа, согласно которой из крови Кроноса появились гиганты (Теогония, 185), на что обращает внимание А.А. Тахо-Годи[27].

[27] *Тахо-Годи А.А.* Стилистический смысл хтонической мифологии в «Аргонавтике» Аполлония Родосского // Вопросы классической филологии. М., 1973. Вып. 5. С. 81.

Здесь поэт объясняет, почему феакийцы «родные богам». Таким образом, в «Аргонавтике» находит отражение и критическая работа Аполлония с гомеровским текстом – основное занятие александрийских филологов.

Согласно другому мифу, Деметра научила жатве серпом титанов, древних жителей острова, за то, что они приютили любимую нимфу богини Макриду (4, 988–992). Отсюда второе название острова – Макрида. Ученый поэт приводит в своем произведении сведения, почерпнутые из разных источников. С нашей точки зрения, в этом фрагменте следует обратить внимание также на то, что остров феаков находится Κεραυνίῃ εἰν ἁλὶ, в Керавнийском море. Здесь опять находит отражение интерес александрийских поэтов к географическим подробностям.

Но «комментарий» не исключает творческого осмысления традиционных поэтических приемов. Аполлоний не ограничивается готовыми гомеровскими формулами, а создает на их основе свои. В основу одной из сквозных его формул легло выражение πόρους ἁλός – «пути моря». Оно встречается один раз в «Одиссее» (12, 259) как альтернатива более традиционному выражению ὑγρὰ κέλευθα – «влажные пути» (Аполлоний использует его один раз в 1, 574). Одиссей рассказывает Алкиною о своих странствиях и утверждает, что встреча со Сциллой и Харибдой была самым страшным испытанием «в пути по морю». В «Аргонавтике» это выражение стоит в той же метрической позиции в 1, 20–2, где поэт заявляет о своем желании сначала перечислить аргонавтов, а затем рассказать об их приключениях. Аполлоний устанавливает связь между путешествием Одиссея и экспедицией героев своего произведения. Поэт использует это выражение без изменений в 1, 361, а в нескольких местах вставляя слова между компонентами формулы – πόρους κείνης ἁλός (1, 986), πόρους δολιχῆς ἁλὸς (4, 486) или разделяя ее компоненты – πόρους μαίεσθ' ἁλός (4, 1556).

Другой формулой Аполлония, которой он заканчивает строку, является словосочетание ὑπεὶρ ἅλα ναυτίλλοιντο – «плыли по морю» (1, 236; 1, 918; 4, 299). В ее основе лежит гомеровское словосочетание ὑπεὶρ ἅλα (Il. 23, 227; 24, 13; Od. 3, 73; 4, 172; 9, 254).

По образцу гомеровского выражения ὑπεὶρ ἅλα Аполлоний создает свое – διὲξ ἁλὸς (1, 1157). Оно легло в основу формулы διὲξ ἁλὸς οἶδμα νέοντο· – «плыли через морские валы», которую

поэт использует как лейтмотив поэмы (1, 1014; 4, 659). В 2, 351 вариант διὲξ ἁλὸς расширяется – μάλα πουλὺ διὲξ ἁλὸς.

Интересно, что в свою очередь формула Аполлония διὲξ ἁλὸς οἶδμα νέοντο будет воспринята как традиционная писателями V в. н. э. Нонном (Деяния Диониса. 1, 20; 2, 124) и Квинтом Смирнским (Послегомеровские события. 8, 262; 12, 432).

Подведем некоторые итоги. Как справедливо замечает О.В. Смыка, «профессиональная работа над текстом Гомера дала Аполлонию возможность глубочайшим образом вникнуть в стихию гомеровского языка, стиля, образов, и весь этот материал стал для ученого также и предметом литературоведческого осмысления – ведь для работы по эпическому образцу необходимо четкое осознание частей и элементов, его составляющих, и связей между ними»[28]. Устная литература служит моделью для литературного эпоса, и способы «работы» с этой моделью видны в том числе и на лексико-стилистическом уровне. В произведении Аполлония два базовых элемента устной поэзии – формула и тема – вполне отрефлексированы и потому приобретают новый смысл и вступают в новое взаимодействие. Традиционная формула становится цитатой, прямой отсылкой к гомеровскому тексту и поэтому возникает прежде всего в эпизодах, напрямую связанных с «Илиадой» и «Одиссеей». Такие эпизоды можно счесть вариациями на заданную, традиционную литературную «тему». Таких отсылок немного, что тем более оттеняет эти примеры формальной и содержательной преемственности. Наряду с этим Аполлоний использует гомеровский материал, дополняя и комментируя его. Отталкиваясь от традиции, Аполлоний создает свои формулы, но пользуется ими в полном соответствии с традиционными принципами устной поэзии. Эти новые постоянные выражения становятся связующими лейтмотивами повествования. Таким образом, александрийский поэт включает себя в эпическую традицию и одновременно окончательно преобразует ее из устной в литературную.

[28] *Смыка О.В.* Эпитеты Зевса в «Аргонавтике» Аполлония Родосского // Вопросы классической филологии. М., 1980. Вып. 7. С. 59.

Н.В. Брагинская

ЗАЛИВ И «ЗАПАЗУХА», ИЛИ ОПЫТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ПРОЗЫ: «ЛЕВКИППА И КЛИТОФОНТ»

Оценка Ахилла Татия, которого почти два века принято было ругательски ругать, а не то что пренебрегать им, как Ксенофонтом Эфесским, за последние десятилетия претерпела большие изменения. Странности его прозы, которые так часто относили на счет литературного несовершенства, представляются ныне инструментами продуманной поэтики. Мне приходилось уже писать об этой перемене[1]. После оценки романов с позиций «аристократических» как явления, относящегося ко времени упадка греческой культуры, лишенного достоинств высокой классики, маргинального и второстепенного, сначала пришло время оценок от лица уже не «аристократов», но «высоколобых». Роман считали литературой городских низов времен империи, сопоставляли с современной массовой литературой, розовым женским романом. Автор и читатель подбирались под персонаж: роман «из жизни рабов» («Жизнеописание Эзопа») написан рабом или вольноотпущенником для своей среды, а романы с выдвинутой женской ролью – женщиной и уж во всяком случае – pour les dames. Если бы не достаточно подробные сведения об авторах «Золотого осла» и «Сатирикона», боюсь, следуя этой логике, мы считали бы «Метаморфозы» романом для ослов, а «Сатирикон» прозиметром для импотентов.

Постепенный отказ от априорно низкой оценки за последние полтора-два десятка лет ведет к осмыслению особенностей

---

[1] *Брагинская Н.В.* Влажное слово. М., 2003. С. 181 и сл.

«Левкиппы и Клитофонта» скорее в терминах изысканности, нежели безвкусицы[2].

Пересмотру подверглась и сама персона Ахилла Татия. Александрийский ученый, астроном и историк Ахилл Татий долгое время, вопреки «Суде», где это одно лицо, считался лишь соименником легкомысленного автора «Левкиппы и Клитофонта». Время его жизни приходится на II в. н. э., а роман Ахилла Татия датировали в разное время по-разному, но всегда более поздним периодом. Папирусные находки заставили изменить датировку романа[3], и тогда историк и астроном оказался не только тезкой и земляком, но и современником романиста. А затем стали рушиться и барьеры между произведениями этих якобы двух авторов, тем более что о трудах ученого Ахилла, сохранившихся фрагментарно, автор, писавший для «Суды», знал и в стиле его исторических трудов усматривал такую же красочность, что и в романах. Нет никаких серьезных оснований не верить «Суде» и отличать ученого александрийца Ахилла Татия, жившего в I–III вв., от романиста Ахилла Татия, жившего там же и тогда же[4].

---

[2] *Bartsch S.* Decoding the Ancient Novel: the Reader and the Role of Description in Heliodorus and Achilles Tatius. Princeton, 1989; *Протопопова И.А.* Ксенофонт Эфесский и поэтика иносказания. М.: РГГУ, 2001. С. 347–386; *Nakatani S.* A Reexamination of Some Structural Problems in Achilles Tatius' *Leucippe and Clitophon* // Ancient Narrative. 2003. Vol. 3. P. 63 sqq.; ср.: *Anderson G.* Eros Sophistes: Ancient Novelists at Play. Chico, 1982. P. 32.

[3] Сначала в 1914 г. Б. Гренфеллом и А. Хантом был опубликован Оксиринхский папирус с фрагментом из Ахилла Татия, который датировали IV в., но с большей уверенностью – III в., и Ахилл стал современником Гелиодора: *Grenfell B.P., Hunt A.S.* The Oxyrhynchus Papyri. L., 1914. Vol. X. P. 135–142, pl. VI. А. Вольяно опубликовал второй папирус, который специалисты единодушно датировали второй половиной II в., см.: *Vogliano A.* Un Papiro di Achille Tazio // Studi Italiani di Filologia Classica. 1938. Vol. 15. P. 121–130. Еще один фрагмент II в., Pap. Oxyrynch. 3837, был найден в 1989 г.: *Plepelits K.* Achilles Tatius // The Novel in the Ancient World / Ed. G. Schmeling. Leiden: Brill, 1996. P. 392.

[4] Suda, Lexicon alpha. 4695: «Ахилл Статий, александриец, написавший о Левкиппе и Клитофонте и другие любовные истории в 8 книгах. Стал в конце концов христианином и епископом. Написал "О сфере" и "Этимологии", а также "Смешанную историю", упомянув там многих великих мужей, достойных восхищения. Слог его во всех сочинениях подобен слогу в сочинениях любовных. Выдержки из его сочинения "О мироздании" были использованы как введение к "Явлениям" Арата». См. новое издание фрагментов его сочинений «О мироздании», «О жизни Арата», «Об истолковании явлений»: Achillis quae feruntur astronomica et in Aratum opuscula / Ed. Georgius Di Maria. Palermo: [s. n.], 1996.

Подобные «метаморфозы» исследовательского видения многое могут сообщить нам о нашей собственной эпохе, но в настоящей статье я оставлю в стороне историко-научную проблематику. Очевидно, что я присоединюсь к тем, кто считает Ахилла Татия автором чрезвычайно далеким от примитивности, наивности или фольклорности, писателем, который легко играет на всех инструментах, жонглирует условностями, перебирает жанры, как торговец самоцветы, раскланивается с философской и риторической топикой, кивает на мистерии, подмигивает парадоксографии, а из перволичной формы повествования виртуозно извлекает остраненность и пародийность.

Однако представления о литературной притязательности Ахилла Татия возникли у меня не из чтения современных, преимущественно английских и американских, журналов по классической филологии. Прочитав однажды по-гречески первый абзац и еще не имея никакого готового собственного мнения о романе, я увидела скопление звуковых повторов, а затем аллитерации сложились в анаграмму. Зная, как часто усмотрение в тексте анаграмм, а в прозе это тем более дело небывалое[5], предшествует по-

[5] М.Л. Гаспаров говорил, что не знает опытов анаграмм в прозе, имея в виду преимущественно русскую прозу. Он указал только на нарочитый случай анаграммы – акролог, когда по первым буквам слов вычитывается некий дополнительный текст. А именно, в фельетоне Амфитеатрова «поверх текста» по первым буквам слов прочитывается брань в адрес царской цензуры. Самый фельетон выглядит очень нелепым и диким, и его искусственность должна, видимо, навести на мысль о какой-то разгадке подобного бреда. Однако самое общее содержание фельетона, тоже бранное, спрятанному в нем тексту не противоречит; цитируется в книге М.Л. Гаспарова «Русские стихи 1890-х–1925-х годов в комментариях» (М., 1993. С. 24). Подпись «Г.П. Уткин» под статьей, посвященной Я. Эльсбергу, в Краткой литературной энциклопедии тоже можно считать анаграммой в прозе. Имя главного героя «Котлована» А.П. Платонова *Вощев* – анаграмма некоторых нагруженных выражений: ВЕЩЕстВО суЩЕстВОВания, ВсЕОбЩЕЕ суЩЕстВОВаниЕ, будуЩЕЕ ОбЩЕстВО, тОВариЩ, ВОзВраЩЕниЕ, суЩЕстВО... А «Ювенильное море» – анаграмма имени главного героя (*Н. Вермо*) из повести Платонова. Или наоборот. Есть авторы, которые находят анаграммы в древнерусской литературе, хотя не всегда ясно, со стихотворным или прозаическим материалом имеет дело исследователь: *Матхаузерова С.* «Словоизвитие» и «самовитое слово» // Исследования по древней и новой литературе. Л., 1987. С. 283–284; *Николаева Т.М.* Звуки в тексте // Николаева Т.М. От звука к тексту. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 447–449.

мещению автора в психиатрическую лечебницу, я решила подождать с обнародованием своих наблюдений. По прошествии семи лет, продолжая «видеть» анаграмму и не видя смирительной рубашки, решаюсь предложить ее на общее рассмотрение. Включена анаграмма – к ней самой я возвращусь позже – в открывающее роман описание Сидонской гавани. Анаграмму можно видеть, а можно не видеть, на остальное ее присутствие не повлияет. Однако, как писал В.Н. Топоров, «анаграмма выступает как средство проверки связи между означаемым и означающим (если говорить о внутритекстовых отношениях) и между текстом и достойным его, т. е. понимающим его читателем, выступающим как дешифровщик криптограмматического уровня текста (если говорить о прагматическом аспекте семиотического исследования текста)»[6]. Именно обнаружение анаграммы заставило меня с иной степенью пристальности вглядываться в текст Ахилла и в свое время предложить участникам семинара проследить, как используются на протяжении романа слова μυστήριον, ἄδυτον, ἀπόῤῥητον, а главное – в каком месте все эти три слова встречаются вместе. Ответ на этот вопрос, неожиданно приведший еще и к анализу цветовой символики романа, был дан И.А. Протопоповой и вошел в ее книгу, в главу «Поэтика отражений»[7]. Термин нахожу удачным и буду им пользоваться.

Итак, начало романа:

«Сидон – град на море, море [Ас]Сирийское, мать финикийцев сей град, а народ – фиванцев отец. Двойная просторная гавань в заливе нежно обнимает морской простор; там, где с правой стороны залив вдается в сушу, выкопано второе устье, и вода втекает еще и туда, так что получается вторая гавань, чтобы торговые суда зимовали в тихой воде, а на лето выходили в открытый морю залив гавани».

В сюжете ни гавань, ни ее устройство не получат никакого продолжения. Ни рассказчик, ни герой никогда более туда не возвратятся, и «ружье» никогда не выстрелит. Для филологии предыдущего этапа тут нет никакой загадки. Экскурсы и описания, включенные в античный роман, до недавнего времени толко-

---

[6] *Топоров В.Н.* Об анаграммах в загадках // Исследования в области балто-славянской духовой культуры: Загадка как текст. 2. М.: Индрик, 1999. С. 69.

[7] См.: *Протопопова И.А.* Ксенофонт Эфесский и поэтика иносказаний. М., 2001. С. 347–363, особенно с. 358 и сл.

вались как отступления, вставки, служащие украшению повествования и развлекательным целям, связь с целым им не вменялась и не обнаруживалась[8].

В самом деле, может быть, никакой особой задачи искать тут и не надо? Просто автор начинает с описания места, делает это с документальной точностью и подробностью. Иоанн Фока считал, что место описано верно[9], археологические исследования древнего порта подтвердили, что экфрасис Ахилла Татия топографически точен[10]. Описание создает впечатление правдивости повествователя, а всему рассказу сообщает статус подлинной истории. Таким образом географический экскурс заключает вымышленный рассказ в «документальную» рамку – прием, широко представленный и в античной, и в новоевропейской литературе: найденная рукопись, переписка, кипарисовый ларец с таинственными письменами. Всё? Нет, не всё.

Хотя в саму гавань ни герой, ни повествователь не возвратятся[11], поэтика ее описания важна для понимания поэтики целого. Описание гавани выполнено в нарочитой технике статических назывных и паратаксических предложений. Она применяется в начале книги еще три раза. За описанием гавани сразу же следует

---

[8] Применительно к Ахиллу Татию, например: *Rommel.* Die naturwissenschaftlich-paradoxographischen Exkurse bei Philostratos, Heliodoros und Achilleus Tatios. Stuttgart, 1923; *Sedelmeier-Stoeck D.* Studien zu Achilleus Tatios // Wiener Studien. 1959. 72. S. 113–143. Cf. *Mittelstadt M.* Longus; Daphnis and Chloe and Roman Narrative Painting // Latomus. 1967. 26. P. 753.

[9] См.: *Vilborg E.* Achilles Tatius: Leucippe and Clitophon. A Commentary, Studia Graeca et Latina Gothoburgensia XV (Göteborg, 1962). Test. X и p. 18–19.

[10] См.: *Poidebard A., Lauffray J.* Sidon, aménagements antiques du port de Saida. Étude aérienne, au sol et sous-marine, 1946–1950. Aperçu historique sur les ports anciens de Méditerranée orientale par R. Mouterde. Préf. d'Ibrahim 'Abel-el 'Al. Beyrouth, 1951. P. 51–56.

[11] Топонимы начинают и заканчивают роман, первое слово которого «Сидон», а последнее «Византий», куда герои отправятся, переждав в Тире сезон бурь. «Невозвращение к началу» Ахилл мог позаимствовать из Платонова «Протагора» или «Пира», тем более что на «Федра» аллюзии у него определенно есть; см.: *Hunter R.L.* A Study of Daphnis and Chloe, Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 40; *Winkler J.J.* (trans.) Achilles Tatius, *Leucippe and Clitophon,* in B.P. Reardon (ed.) Collected Ancient Greek Novels. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1989. 284, n. 72; *Whitmarsh T.* (trans.), *Morales H.* (intro.) Achilles Tatius, *Leucippe and Clitophon.* Oxford: Oxford University Press, 2002. XX–XXII, n. 146.

знаменитое описание картины «Похищение Европы», которая находится здесь же, в святилище. Экфрасис начинается в той же манере: «Картина Европы, море финикиян, земля сидонян. На земле луг и хор дев. Бык море переплывает, на спине его дева прекрасная восседает, на быке едучи морем на Крит. Луг несметными цветами густо порос, с ними в соседстве фаланга дерев и кустов. Деревья стоят часто, листья растут тесно; ветки зелень смыкают, и для цветов служит крышей листьев сплетение»[12]. Такое же скопление эмфатически простых предложений начинает описание самой Европы, когда от ее позы автор переходит к описанию ее тела[13]: «Хитон спереди до лона, хлена оттуда донизу тело скрыла. Бел хитон, хлена багряна, тело сквозь одежду проступало. Пуп глубок, живот упруг, стан тонок, тонкий, к поясу сузясь, после круглился. Сосцы груди нежно выдавались: хитон, поясом стянутый, сосцы облегал, и оказался зеркалом тела хитон»[14].

Декламационные асиндетоны нарочито выделяют границы частей и сопоставляют эти части. Описание гавани и картины принадлежат анонимному рассказчику. Возле картины он встречает служителя Астарты Клитофонта, тот перенимает роль повествователя, чтобы уже никогда ее не отдать. Переход от анонимного рассказа о встрече с Клитофонтом к собственно повествованию Клитофонта о своей жизни маркирован точно тем же приемом. Клитофонт начинает так: «Родом я финикиец, Тир – мое отечество, имя мне Клитофонт, отец Гиппий, брат отца – Сострат, не совсем брат, но отец у них один; а матери – у того из Византия, а у моего отца из Тира»[15].

Отсюда начинается собственно роман. Но еще один всплеск подобного описания внешности приходится на появление в

---

[12] 12 12 1.1.2.5–3.6.

[13] Leucippe et Clitophon 1.1.10.5–11.4: χιτὼν ἀμφὶ τὰ στέρνα τῆς παρθένου μέχρις αἰδοῦς· τοὐντεῦθεν ἐπεκάλυπτε χλαῖνα τὰ κάτω τοῦ σώματος. λευκὸς ὁ χιτών· ἡ χλαῖνα πορφυρᾶ· τὸ δὲ σῶμα διὰ τῆς ἐσθῆτος ὑπεφαίνετο. 1.1.11 βαθὺς ὀμφαλός· γαστὴρ τεταμένη· λαπάρα στενή· τὸ στενὸν εἰς ἰξὺν καταβαῖνον ηὐρύνετο. μαζοὶ τῶν στέρνων ἠρέμα προκύπτοντες· ἡ συνάγουσα ζώνη τὸν χιτῶνα καὶ τοὺς μαζοὺς ἔκλειε, καὶ ἐγίνετο τοῦ σώματος κάτοπτρον ὁ χιτών.

[14] Ср. Nonn. Dion. XLII 449–53.

[15] Ὁ δὲ ἄρχεται τοῦ λέγειν ὧδε· Ἐμοὶ Φοινίκη γένος, Τύρος ἡ πατρίς, ὄνομα Κλειτοφῶν, πατὴρ Ἱππίας, ἀδελφὸς πατρὸς Σώστρατος, οὐ πάντα δὲ ἀδελφός, ἀλλ᾽ ὅσον ἀμφοῖν εἷς πατήρ· αἱ γὰρ μητέρες, τῷ μὲν ἦν Βυζαντία, τῷ δὲ ἐμῷ πατρὶ Τυρία.

романе главной героини, Левкиппы. Клитофонт видит в ней подобие Селены, изображенной на некой картине едущей на быке. Какой он однажды видел Селену, такова Левкиппа: «Взор в неге страстный, кудри златые, злато витое, бровь черна, чернота иссиня; бела щека, белизна к середине румянится и к пурпуру тянется, каким лидийка слона красит[16]. А рот ее – розы цветок, когда роза уста лепестков едва приоткрыла»[17]. Это нижняя граница вводной части, отсюда начинается любовная история. Героиня описывается по аналогии с картиной, причем, как и в «Похищении Европы», – это снова дева, едущая на быке. Так похожа на Европу, только все же не Европа. Иногда предлагали исправить текст и заменить Селену Европой, но делать этого не нужно[18]. Речь идет не о той же самой картине, какую рассказчик видит в святилище Астарты, и тем не менее неслучайно Левкиппа предвосхищается одновременно и Европой и Селеной: обе они ипостаси Астарты. Лукиан, современник Ахилла, рассказывает о двух воззрениях на Астарту, в святилище которой, как мы помним, служит Клитофонт: 1) Астарта – та же Селена, 2) а храм Астарты в Сидоне изначально был посвящен Европе[19].

Разница двух описаний тоже достойна внимания. У Европы описаны тело и поза. Ни слова о лице. Когда Клитофонт встречает Левкиппу, его завораживает лицо, и ни слова не говорит он о теле.

Таким образом, во вводной части располагаются пять паратаксических фрагментов: три от имени рассказчика, два от имени Клитофонта. Все они в том или ином смысле экфрастические. От имени рассказчика идет описание реальной гавани и нарисованных пейзажа и портрета Европы (только тело без лица), разграниченных паратаксическим фрагментом; от имени Клитофонта – описание самого себя, сводящееся к «анкете», и описание героини, ее портрета, но через сравнение с изображением Селены на быке. Таким образом это описание снимает противопоставление описа-

[16] Имеется в виду слоновая кость.

[17] 1.4.3: ὄμμα γοργὸν ἐν ἡδονῇ· κόμη ξανθή, τὸ ξανθὸν οὖλον· ὀφρὺς μέλαινα, τὸ μέλαν ἄκρατον· λευκὴ παρειά, τὸ λευκὸν εἰς μέσον ἐφοινίσσετο καὶ ἐμιμεῖτο πορφύραν, εἰς οἵαν τὸν ἐλέφαντα Λυδία βάπτει γυνή· τὸ στόμα ῥόδων ἄνθος ἦν, ὅταν ἄρχηται τὸ ῥόδον ἀνοίγειν τῶν φύλλων τὰ χείλη.

[18] См.: *Vilborg E.* Op. cit. P. 21; ср.: *Mignogna E.* Europa o Selene? Achille Tazio e Mosco o il ritorno dell' «inversione» // Maia. 1993. 43.2. P. 177–183.

[19] Luc. De Dea Syr. 4.

ния с «натуры» и с «картины», потому что речь идет о Левкиппе, похожей на Селену, но сама Селена поминается ради Левкиппы. О быке при этом не сказано ничего, ясно, что его упоминание служит замыканию контура вводной части.

Паратаксические описания переходят от самого большого масштаба – обзора морского берега и гаваней – к меньшему, картине луга и дев на нем, затем к одной фигуре, видимой издалека (поэтому лицо не описано), затем к автопредставлению Клитофонта (дистанция вообще отсутствует), и, наконец, его глазами мы видим глаза и лицо героини.

Разумеется, подобие картинных дев на быке бросается в глаза, и о смысле и значении описания «Похищения Европы» в романе в целом написано достаточно много[20], да и вообще это

[20] Одним из первых ценителей этого описания был автор подробного очерка истории описаний произведений искусства Пауль Фридлендер: *Friedländer P.* Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius: Kunstbeschreibungen Justinianischer Zeit. Leipzig; Berlin, 1912. В последние десятилетия экфрасисы вообще и роль их в эпосе и романе стала темой исключительно модной (см.: *Cheney D.* The Garden Ekphrasis: Visual Aspects of the Ancient Novel. M.A. Diss. Calgary Unv., 1999. P. 92–99). Все сходятся на том, что экфрасисы у Ахилла соотнесены с нарративом, хотя трактуют это соотнесение по-разному. Восемь книг романа распадаются у Ахилла на четыре блока по две книги (1–2: знакомство, любовь, бегство из Тира; 3–4: опасности и разлука; 5–6: любовь Мелиты к Клитофонту и Терсандра к Левкиппе; 7–8: суды над Клитофонтом, Левкиппой и Мелитой, брак Левкиппы и Клитофонта). Описания произведений искусства начинают первые три блока. Главное описание, соотнесенное с целым сюжета, находится в рамочном вступлении от рассказчика. Два других экфрастических включения (3.6–8 и 5.3) соотнесены с последующими событиями проще, от избражения отвлекается одна какая-то черта (Филомелу умыкнули, Левкиппу тоже), но по мере укорочения отбрасываемой ими вперед тени их профетическая роль становится предметом обсуждения у героев (3.6.2; 5.4.1–2), тогда как перед «Похищением Европы» обсуждают силу Эрота, а все прочие импликации (умыкание, переезд через море, опасности, брак, подобие героинь и проч.) подразумеваются. Впрочем, Г. Эндерсен благодаря онирокритике находит и в таинственном символе граната в начале второго блока предвосхищение и пленения Левкиппы, и ее показного «потрошения»: *Anderson G.* The Mystic Pomegranate and the Vine of Sodom: Achilles Tatius 3.6' // American Journal of Philology. 1979. Vol. 100. P. 516–518. Экфрасисы исчезают в последнем блоке, вместе с Тихе и Эротом, которых постоянно упоминали герои как вершителей своих судеб, причем картины предвещали события, которые управлялись этими божествами. Приключения завершены, роман идет к счастливому концу, картин, – а в каждой следующей нарастало насилие над

один из самых знаменитых экфрасисов, а вот экфрасис гавани, гораздо более скупой и «фактический», внимания к себе не привлек, как и структурная роль членящих текст паратаксических фрагментов.

Я полагаю, что описание гавани небезразлично для построения всей первой книги. Для его анализа ключом мне послужат некоторые точные повторы. Так последовательность из четырех слов – κατὰ πλευρὰν ἐπὶ δεξιά – повторяется на небольшом расстоянии дважды: первый раз как часть описания гавани и второй – как часть описания девы Европы: ὁ κόλπος κατὰ πλευρὰν ἐπὶ δεξιὰ κοιλαίνεται (*с правой стороны залив вдается в сушу*) сказано о гавани, а о деве, что она сидит на спине быка κατὰ πλευράν, ἐπὶ δεξιὰ συμβᾶσα τὼ πόδε (*не верхом, а боком, обе ноги свесив направо*).

Повтор этой последовательности из четырех слов (в современном издании они отличаются запятой) трудно объяснить ошибкой переписчика, потому что нет никакой «ошибки», оба фрагмента осмысленны. Бедность словаря вменить Ахиллу тоже не удастся[21]. Если автор хотел предложить нам сравнение девы и гавани, тогда включить в него некую «рифму» было бы разумной тактикой. Посмотрим теперь, нет ли еще каких-нибудь перекличек в описаниях гавани, пейзажа и портрета на картине.

Трижды в нашем фрагменте повторяется наречие ἠρέμα – «слегка», «плавно», «нежно». Оно используется здесь почти подряд, во всех трех описаниях 1.1.1; 1.1.4; 1.1.11[22]. И я переведу его здесь одинаково во всех трех случаях: **ἠρέμα** κλείων τὸ πέλαγος –

героиней (Европа–Андромеда–Филомела), больше нет. См. также о роли «Похищения Европы» в романе: *Harlan E.C.* The Description of Paintings as a Literary Device and Its Application in Achilles Tatius, Ph.D. Diss. Columbia, 1965. Ch. III; *Bartsch S.* Decoding the Ancient Novel. Princeton: Princeton University Press. 1989, 41 sqq.; *Garson R.* Works of Art in Achilles Tatius' Leucippe and Clitophon // Acta Classica. 21. (1978). P. 83–86; *Nimis S.* Memory and Description in the Ancient Novel // Arethusa. 31. (1998), 99–122.

[21] См.: *O'Sullivan J.N.* A Lexicon to Achilles Tatius. Berlin, 1980.

[22] В первой книге оно встретится еще дважды: для описания улыбки (10.5.3) и легкой рыси послушного коня (12.2.5); а еще пять этих наречий на пространстве семи книг характеризуют улыбку, оттенки в лице нарисованной Андромеды, увлаженение глаз, обращение к отцу с поцелуем перед сном, впрочем однажды и слегка согнутые ноги крокодила (2.21.5.2; 3.7.3.3; 4.19.2.2; 6.7.1.4; 8.7.5.2).

*гавань **нежно** обнимает морской простор* – в описании гавани; καὶ ὁ ἥλιος **ἠρέμα** τοῦ λειμῶνος κάτω σποράδην διέρρει – *солнце тут и там **нежно** низливается на луг* – в описании сада на картине «Похищение Европы» («луг» здесь – это покрытая цветами земля под деревьями); μαζοὶ τῶν στέρνων **ἠρέμα** προκύπτοντες – *сосцы груди **нежно** выдавались* – в описании самой девы.

Три «нежных» описания относятся к трем мирам, если пользоваться современными понятиями: к описанию мира «неорганического» (вода и земля, море и суша), растительного (деревья сада, трава и цветы, освещенные солнцем), животного (человек, тело девы). Троекратное повторение наречия на тесном пространстве задает нежную, чувственную, эротическую тональность. Во всех трех описаниях – большого географического масштаба (лимен-море и гавань) и масштаба помельче – пейзажа с девушками среди цветов (леймон-луг), а затем девы Европы – господствует изогнутая линия: что-то впадает, вдается, выступает; здесь мягкие переходы моря и суши, света и тени, объятия и взаимопроникновения суши и моря (гавань нежно заключает морской простор в объятия), деревьев и листвы (1.15.2), тела Девы и ее хитона.

В портрете Европы повторена двойная гавань. Дева облачена в хитон, хлену, пеплос и покрывало. О хитоне и хлене сказано выше, а пеплос и покрывало сидящей на быке девы выглядят так: «Обе руки она развела широко в стороны: одну к рогу, другую к хвосту; и той и другой с двух сторон держала над головой покрывало, кру́гом за спиною вздутое; а пазуха пеплоса вся натянулась другой; и это было у живописца ветром. Она же сидела на быке, словно на корабле плывущем, и пеплос служил ей парусом». Про покрывало сказано, что оно натянуто кру́гом за спиной. А складку пеплоса, образующую второй парус, художники и новые, и древние изображали по-разному[23]. Ясно, однако, что здесь две дуги, два наполненных ветром паруса – покрывало и «запазуха», κόλπος, пеплоса.

Пространственный образ двух парусов перекликается с образом двойной гавани, а слово для гавани, вдающейся в сушу, т. е. залива, и для «запазухи» одно и то же: κόλπος. Первое словарное значение слова – *женская грудь, материнское чрево, лоно. Залив*, как и *складка одежды на груди*, – вторичные значения. Ахилл ис-

[23] См.: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. Zürich, IV 1988, IV-1, 76–92; IV-2, 32–48.

пользует оба вторичных значения, оставляя первичное для телесного «семантического эха» и залива, и «запазухи».

Уподобление описания тела земли и тела девы не безразлично, мне кажется, и по отношению к имени этой героини, ведь она Европа, т. е. земля. Таким образом, мы видим, что служебное и безыскусное описание гавани составляет единую систему с таким манифестом поэтики романа, который справедливо усматривали в экфрасисе «Похищения Европы»[24].

Итак удвоение и отражение даны уже в «документальном» вступлении. Гавань двойная, вернее «близнечная»: δίδυμος и есть там второе устье, а садовник внутри нарисованного сада держит двойную кирку δίκελλα, у моря на картине двойной цвет (ἡ χροιὰ διπλῆ): у берега красноватый, в открытом море синий; хитон удваивает тело девы, служит его зеркалом[25].

Добавим к этому, что в описании реального берега море вдается в сушу (κοιλαίνεται), а в описании берега на картине земля «вбрасывается» в море: ἐν δὲ τῷ τοῦ λειμῶνος τέλει πρὸς ταῖς ἐπὶ θάλατταν τῆς γῆς ἐκβολαῖς. Что скалы и волны, о них разбивающиеся, меняются местами, и плывущий по морю бык взбирается на горы волн: «Пену создал он [художник] и скалы, и волны; скалы на земле взгроможденные, пена, скалы убелившая, волна, встающая *горой* и о скалы разбивающаяся в пену. Бык посередь моря нарисован плывущим по волнам, словно восходящим на *горы* волны; бык шествует, ногу сгибая»[26].

Тема сада тоже удваивается, но на пространстве всей первой книги, а не вступления, о котором я говорила до сих пор.

В рамочном введении повествователь и герой, т. е. будущий повествователь, находят место, подходящее для рассказов о любви[27]. Это роща, locus amoenus, которая содержит совершенно со-

[24] Ср. *Martin R.P.* A Good Place to Talk: Discourse and Topos in Achilles Tatius and Philostratus // Michael Paschalis, Stavros Frangoulidis (ed.), Space in the Ancient Novel. Ancient Narrative Supplementum 1. Groningen: Barkhuis & The University Library. Groningen, 2002, 144 sq.

[25] Кстати сказать, Сидон считался в древности местом изобретения стеклянных зеркал.

[26] 1.1.9.4–9.6: ταῦρος ἐν μέσῃ τῇ θαλάσσῃ ἐγέγραπτο τοῖς κύμασιν ἐποχούμενος, ὡς ὄρους ἀναβαίνοντος τοῦ κύματος, ἔνθα καμπτόμενον τοῦ βοὸς κυρτοῦται τὸ σκέλος.

[27] 1.2.3: πάντως δὲ ὁ τοιοῦτος τόπος ἡδὺς καὶ μύθων ἄξιος ἐρωτικῶν.

знательную аллюзию на Платонов «Федр»[28]. Затем пространство рассказчика «внешнего», или рамочного, повторяется еще раз в пространстве рассказчика «внутреннего», или героя. Во вводной части истории Клитофонта, которая приходится на конец первой книги, есть еще одна речь о любви, которая произносится тоже в саду-роще. Герой произносит эротический логос перед Левкиппой, увлекая не саму деву, как Зевс на картине, но ее воображение рассказом о силе Эроса.

Экфрасис сада, созданного художником в «Похищении Европы», а затем описанного словесно, воскреснет с поистине удвоенной силой в экфрасисе сада реального, где встретятся Левкиппа и Клитофонт. Второе описание гораздо больше и подробней, чем первое, и в описании природы, а не картины искусственное, так же как и в первом экфрасисе, систематически предстает в терминах природного, растительное как человеческое, животное как растительное. «Кудри хмеля»[29] соседствуют с «объятиями плюща» и локонами лозы на деревьях[30]. «Яркость цветов отражала оперенье птиц, а крылья были цветником»[31]; из перьев образуются пестрые женские одеяния (столы), деревья, составлявшие на картине в нарисованном саду фалангу, в реальном объединены в панегирей – праздничную толпу; листья образуют кровлю, колонны портика выступают как хор[32]. Хор дев из картины откликается в хоре колонн, венки подруг Европы отзываются в венке садовой ограды. Основные темы первого экфрасиса: переплетение растений, игра света, вода в центре и удвоение – все это будет повторено еще настойчивей. В саду, где герои беседуют о силе Эрота, т. е. о том же, о чем и рассказчик с Клитофонтом в роще под платаном, – «ветви цвели, приникая все вместе одна к другой: у соседок ветки соткались, листья слиплись, плоды обнялись. Вот как тесно общались растения». В переводе невозможно полностью передать фонетическую отделку фразы, а также многозначность слова

[28] Ср. Phaedr. 230 bc.

[29] Эта метафора продолжает общеязыковую метафору κόμη – *крона, листва* и *волосы на голове*. Ср. Nonn. Diön. 6. 211: деревья – локоны, или пряди Геи; 12.179: Кудри Ампелоса превращаются в гроздья.

[30] 1.15.3.

[31] 1.15.8: ἀντέλαμπε δὲ ἡ τῶν ἀνθέων θέα τῇ τῶν ὀρνίθων χροιᾷ, καὶ ἦν ἄνθη πτερῶν.

[32] Примерно те же наблюдения сделал Р. Мартин (Op. cit. P. 146 sq.).

ὁμιλία, что значит *общение, общество*, но также и *беседа* и *любовная связь*[33].

В экфрасисе «Похищения Европы» «вода протекала посреди луга *на картине*, сначала била из земли, а потом орошала цветы и побеги»[34], и возле потока стоял садовник с раздвоенной мотыгой. Он наклонился над вырытым руслом, направляя поток. В саду реальном в конце первой книги мы словно встречаемся с результатом его труда: там выкопан пруд, который стал удваивать реальность: «Посреди цветов бил источник, и ограничивал его (περιεγέγραπτο) вырытый для потока рукотворный четырехугольный пруд. Вода была для цветов зеркалом, так что двойною казалась роща, одна настоящая, а другая – отраженная»[35].

Удвоения, или двойственности, а также взаимопроникновения, просвечивания или слияния встречают читателя уже в «гавани романа», они нарастают в экфрасисе картины – луга и девы, чтобы достичь кульминации в описании реального сада. Сад назван и παράδεισος ἄλσος (1.15.1), «садовой рощей», и соединяет черты цветущего луга, изображенного на картине, и рощи с прозрачным ручьем, куда рассказчик и Клитофонт приходят один рассказывать, другой слушать. В целом начало романа насыщено темой удвоения до такой степени, что представляется уместным видеть здесь настойчиво предлагаемый читателю ключ к поэтике, построенной на удвоении и редупликации, на «отражениях»[36]. И садовник с раздвоенной мотыгой на картине, склонившийся над руслом, дающий ход воде и направляющий ее поток, чтобы он питал растения, начинает казаться автопортретом писателя, стоявшего в начале своего повествования, – изысканной его сфрагидой[37].

---

[33] 1.15.2: ἔθαλλον οἱ κλάδοι, συνέπιπτον ἀλλήλοις ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλον· γείτονες αἱ τῶν πετάλων περιπλοκαί, τῶν φύλλων περιβολαί, τῶν καρπῶν συμπλοκαί. τοσαύτη τις ἦν ὁμιλία τῶν φυτῶν.

[34] 1.1.5.

[35] 1.15.6–7: ὡς δοκεῖν τὸ ἄλσος εἶναι διπλοῦ, τὸ μὲν τῆς ἀληθείας, τὸ δε] τῆς σκιᾶς.

[36] *Протопопова И.А.* Указ. соч. С. 347–386, особенно с. 353.

[37] Р.П. Мартин тоже увидел в садовнике и землекопе «автопортрет автора», и это несколько поддерживает меня в моих толкованиях, далеких от доказательности: «Наконец, образы этого пассажа включают деталь, которую следует считать эквивалентом писателя, вписавшего себя в текст, – садовника. Если

Я бралась объяснить, зачем нужна гавань в начале романа. Один из смыслов ее появления становится понятен, когда мы прочитаем речь Клитофонта, произнесенную им перед Левкиппой и для нее. Гавань представительствует за мир неорганический, мир суши и моря. Подчеркивание подобия неорганической природы – гавани, моря и суши – органической – саду, лугу, деревьям и цветам и, наконец, телу женщины, эротизм этих описаний предвосхищает в образной форме теоретизирование Клитофонта, который расписывает для Левкиппы власть Эрота, простирающуюся на все в мире: не только на всех людей, на всех животных и на растения, но и на неорганический мир руд и рек.

Клитофонт затевает беседу об Эроте с Сатиром, рабом-наперсником, который ему подыгрывает, задавая примерно тот же вопрос, что и рассказчик перед картиной[38]: «Разве Эрот так силен, что огонь его до птиц досягает? – Что там до птиц! – отвечаю. – То не диво, он и сам ведь крылат, но этот огонь достигает растений и гадов, думаю, что и каменьев. Вот ведь руда магнесийская любит железо, только увидит, тотчас, к себе притянувши, прильнет, словно пламень любовный в ней спрятан. А разве это не поцелуй влюбленной руды и железа возлюбленного?»[39] Затем идет рассказ о любви мужской и женской финиковых пальм[40], а следом – о люб-

---

романист, сплетающий слова, подобен тому, кто создал эту возделанную, взращенную обитель из переплетенных листьев и дерев, тогда Брейгелевский штрих – маленький человек с киркою, направляющий поток воды на лугу, не что иное, как обобщенный автопортрет» (Op. cit. P. 146). Р. Мартин указывает затем на связь садовника, упорядочивающего землю, с «культивированием» историй, которыми, как могилами героев, полна греческая земля, и ссылается при этом на садовника и рассказчика из «Героика» Филострата. Добавим к этому, что еще один садовник – «мудрый земледелец» из «лекции» Клитофонта, который соединяет мужскую и женскую пальмы, не способные жить в разлуке (см. ниже примеч. 39), поступает подобно романисту, ведущему своих героев через разлуку к браку.

[38] Рассказчик из вступления смотрит на картину и изрекает по поводу Эрота: «Как такой младенец владычествует над небом, землей и морем?»

[39] 1.17.1–2.

[40] 1.17.4–5: «Мужская пальма любит женскую, и если при рассадке он окажется отсаженным далеко от женщины, то влюбленный мужчина засыхает. Земледелец понимает, однако, что печалит дерево, и, взойдя на пригорок, примечает, куда пальма склонилась, ибо клонится она в сторону любимой. А узнавши, лечит болезнь дерева. Берет отросток пальмы женской и в сердце пальмы мужской вставляет. И душа растения одушевилась, а умирающее тело снова ожило и воскресло, радуясь объятиям с возлюбленной. Таков брак растений».

ви рек[41], тем самым тема объятий воды и земли (руды, камня, железа) из описания гавани повторяется, но как тема любви между собою разных вод и камней-металлов («металлы» по античным представлениям – землеобразные вещества). Однако завершает трактат о космическом Эросе повествование о браке стихии морской и сухопутной в форме парадоксографической страсти сухопутной змеи ехидны к мурене – морской змее[42]. Лекция Клитофонта заканчивается, таким образом, «мистерией эроса гадов», как он говорит, на границе моря и суши, гадов, представляющих обе эти стихии.

В своей популярной лекции Клитофонт ничего не говорит о человеческой любви, наставляя Левкиппу через иные примеры. Эрот предстает космической силой, разлитой в мире, что контрастно дополняет типичного putto на картине «Похищение Европы».

Дева Европа, как мы помним, описывалась «в терминах» и образах гавани, места встречи суши и моря; слова и образы, пошедшие на описание гавани, использовались в ее портрете. Реальная дева Левкиппа предстает в конце книги не в море, а в саду, и читатель после антропоморфных описаний растений и параллелей между гаванью и девой уже подготовлен к описанию героини как луга цветов, к тому, что «локон плюща» отзовется «локоном, завитым сильнее, чем плющ», что «краса тела ее соперничала с цветами луга. Цветом нарцисса сияло ее лицо, розы цвели на ее щеках, фиалкой переливался луч очей, а локоны круче вились, чем плющ. Вот какой цветник был на лице у Левкиппы». Портрет насадил садовник, писатель расписал луг[43].

Еще одна функция географического экфрасиса – нести в себе название романа.

---

[41] 1.18.1–2: «И еще есть брак у речек, морем разделенных. Влюбленный – поток Элейский, любимая – криница Сикилийская. И вот он мчится по морю, как по равнине. А море сладкого влюбленного в соленой волне не растворяет, а расступается пред его током, и руслом для реки становится морской распадок. Вот как провожает море жениха Алфея к невесте Аретусе! Во время же Олимпийских торжеств многие опускают в речные потоки разные дары, и он тотчас несет их к возлюбленной, вот каково вено реки».

[42] 1.18.3–5.

[43] 1.19.1–2. И.А. Протопопова заметила, что при описании лица Левкиппы на сравнения в ход пошли все цветы как реального, так и рисованного пейзажа (Указ. соч. С. 352).

Мы знаем, что начало произведения было предметом особой заботы античных авторов. Приведу несколько фактов. Известно, что Платон многократно переделывал вроде бы малозначительную фразу, начинающую диалог «Государство»: «Вчера по дороге в Пирей...»[44]. Сама ее незначительность говорит о том, что фонетическая и риторическая отделка первых строк даже прозаического произведения требовала особенного внимания. В начале «Картин» Филострата Старшего текст организован так:

Ὅστις μὴ ἀσπάζεται
τὴν ζωγραφίαν,
ἀδικεῖ τὴν ἀλήθειαν,
ἀδικεῖ καὶ σοφίαν.

Прозаическая фраза устроена как силлаботоническое стихотворение с концевой рифмой. Античному стихосложению и то и другое чуждо, с точки зрения греческой литературы это никакое не стихотворение и не «четверостишие», а повышенная степень фонетической и ритмической организации, которая, так сказать, «случайно» совпала со стихотворной формой совершенно иной эпохи.

О том, что значащую фонику начальных фраз внимательный античный читатель «видел» и считал достойной внимания, свидетельствует, например, Катулл. Строки, открывающие знаменитый эпиллий о свадьбе Пелея и Фетиды, насыщены литературными аллюзиями, демонстрацией одновременно преемственности и отталкивания от предшественников. Об этом подробно говорит, в частности, Р.Ф. Томас, разбирая модели, которым сознательно следует Катулл, и то, как он демонстрирует свое превосходство над этими моделями[45]. Если говорить только о самом начале эпиллия, то особенно созвучным моим соображениям о функции описания гавани у Ахилла Татия показалось предположение Томаса о специфической нагрузке описания корабля «Арго». «Арго» не играет никакой роли в дальнейшем, для описании свадьбы Пелея

---

[44] Dion. Hal. De comp. verb. 25. 208 (212–218 Usener-Radermacher): «Всем изучающим словесность известны рассказы о трудолюбии Платона, в том числе и о том, как после его смерти нашли, говорят, дощечку с разными вариантами начала “Государства”: “Вчера шел я в Пирей с Главконом, сыном Аристона...”» (*Пер. М. Гаспарова*).

[45] См.: *Thomas R.F.* Catullus and the Poetic Reference (Poem 64. 1–18) // The American Journal of Philology. Vol. 103, 2 (Summer, 1982). P. 144–164.

и Фетиды он не нужен. На этом свободном от задач развития сюжета вводном участке помещен полигон литературной игры, на котором и демонстрируется литературное самоопределение Катулла по отношению к традициям Еврипида, Аполлония Родосского и Энния. Как показал К. Квинн, начало 64-го стихотворения пронизано реминисценциями Энниева перевода начала «Медеи» Еврипида[46], которого Энний по своему обыкновению не столько переводил, сколько пересказывал[47]. Энний изменил в передаче начальных строк «Медеи» две вещи: исправил порядок сетований кормилицы, которая начинает с более позднего, а продолжает более ранним, и заменил Пелионскую сосну (πεύκη) Еврипида на ель (abiegnae ... trabes)[48]. Катулл последовал за Эннием, исправил Еврипидову неловкость в изложении порядка событий и начал с Пелиона, но дерево, срубленное на Пелионе, у него не ель, а снова сосна-пиния, как у Еврипида, ель же «пошла» на весла, что соответствует еще одному авторитету, Аполлонию Родосскому, у которого весла «Арго» из ели[49].

Пиния появляется у Катулла в конце первой строки и в начале последней строки периода, открывающего эпиллий, а между двух упоминаний пинии – весла из ели[50]. И «спор» с предшественниками и преемство подчеркнуты. Все это нужно мне, чтобы подготовить мысль о том, что Катулл повторяет аллитерацию, которую он увидел у Еврипида и которой нет у Энния:

Πηλίου πεσεῖν ποτέ πε
Peliaco ... prognatae .... pinus,

и к тому же повторил в точности последовательность Πηλίου ... ποτε в Peliaco quondam[51].

---

[46] Catullus: the Poems; Edited with Introduction, Revised text and Commentary by Kenneth Quinn. London; Macmillan; New York; St. Martin's Press, 1970. P. 299.

[47] Ср.: Cic. De fin 1.4; Acad 1.10.

[48] В самом начале пролога «Медеи» кормилица сначала сетует, что Симплегады пропустили «Арго», а потом, что сосна, или пиния, из которой сделан корабль (возможно мачты), была срублена. У Энния порядок хронологический: Scen. 246–47: Utinam ne in nemore Pelio securibus / caesae accidissent abiegnae ad terram trabes etc.

[49] Ap.Rhod. I. 914.

[50] Pinus ... dicuntur... nasse 1–2
Abiegnis... ...palmis 7
Pinea ...... .texta 10

[51] Сохранение аллитерации замечено Томасом, см.: *Thomas R.F.* Op. cit. P. 155.

Искусство Катулла, в первой же строке ученого эпиллия сплавившего отсылки к двум источникам и при этом исправившего «недостатки» того и другого, показывает такую литературную притязательность, на фоне которой не будет выглядеть необоснованным предположение, что аллитерация начальной строки была не просто заметна, но заметна настолько, что могла перейти барьер жанра и языка: от Еврипида перекочевать к Катуллу.

Посмотрим теперь на звукоповторы в первых строках «Левкиппы и Клитофонта», в описании гавани:

Σιδὼν ἐπὶ θαλάττῃ πόλις· [Ασ]Συρίων ἡ θάλασσα· μήτηρ Φοινίκων ἡ πόλις· Θηβαίων ὁ δῆμος πατήρ. δίδυμος λιμὴν ἐν κόλπῳ πλατύς, ἠρέμα κλείων τὸ πέλαγος· ᾗ γὰρ ὁ κόλπος κατὰ πλευρὰν ἐπὶ δεξιὰ κοιλαίνεται, στόμα δεύτερον ὀρώρυκται, καὶ τὸ ὕδωρ αὖθις εἰσρεῖ, καὶ γίνεται τοῦ λιμένος ἄλλος λιμήν, ὡς χειμάζειν μὲν ταύτῃ τὰς ὁλκάδας ἐν γαλήνῃ, θερίζειν δὲ τοῦ λιμένος εἰς τὸ προκόλπιον.

Я вижу здесь имена героев, с известной определенностью *Левкиппу*, а может быть, и *Клитофонта*. В этом пассаже не просто повторяются отдельные согласные *л, к, п*, но слоги и скопления букв, гласных и согласных. Думаю, что для того чтобы заставить звучать disjecta membra имени Левкиппа, λευ, а для имени Клитофонта κλει-, первые слоги с дифтонгами – элементы более важные, нежели соответствующие изолированные согласные или дифтонги. В описании гавани одиннадцать κ, двенадцать ϖ, двадцать λ, из коих одно сдвоенное, причем эти буквы еще и лепятся друг к другу и к гласным искомых имен.

Скопление согласных имени Левкиппы в одном слове я записала подряд, в соседних словах – через один пробел, в разделенных неслужебными словами – через два пробела. Получилась такая картинка.

πλι--ικ--πλι--πα--λ--κλπ-πλ--κλει-πελ--κλπ-πλευ-επι--κλ--ευ-κ-κ--λι-λλ-λι--λκ--λ--λι-κ-λπ.

Для решения вопроса анаграмма ли перед нами или случайное скопление букв, подсчитывают вероятность тех или иных сочетаний в том или ином языке и на этом фоне рассматривают последовательность, которая представляется анаграм-

мой[52]. Эти методики плохо подходят для литературы на мертвых языках, для которых не существует «просто» языкового материала, на фоне которого можно было бы рассматривать те или иные скопления как неслучайные. Поэтому для сравнения я взяла наугад совершенно произвольные фрагменты такого же размера из этого же романа.

1.6.2.5 – 3.7

τὰς ἀλγηδόνας· ὅταν γὰρ ἀναπαύηται τὸ σῶμα, τότε σχολάζει τὸ **ἕλκος** νοσεῖν· τὰ δὲ τῆς ψυχῆς τραύματα, μὴ **κινουμένου** τοῦ σώματος, **πολὺ** μᾶλλον ὀδυνᾷ. ἐν ἡμέρᾳ μὲν γὰρ ὀφθαλμοὶ **καὶ** ὦτα **πολλῆς** γεμιζόμενα **περιεργίας** ἐ**πικου**φίζει τῆς νόσου τὴν ἀ**κ**μήν, ἀντι**π**εριάγοντα τὴν ψυχὴν τῆς εἰς τὸ **π**ονεῖν σχολῆς· ἂν δὲ ἡσυχίᾳ τὸ σῶμα **πεδηθῇ**, **καθ᾽** ἑαυτὴν ἡ ψυχὴ γενομένη τῷ **κακῷ κυ**μαίνεται.

Здесь не попалось ни одного ευ или κλευ, ни одного λπ, κλει, κλπ, ни одного ων, и пять раз, казалось бы, неизбежное ει; десять λ, два сдвоенных, восемь π, девять κ, причем сочетания «нужных» букв в одном слове редки: ελκ, π-λ (дважды) и πικ, они не скапливаются, далеко отстоят друг от друга:

λ-π--λ-λκ--κι--πλ-λλ--λ--πλλ--π-πικ.--κ–π--π-λ--πε--κκ-κ

И еще один такой же произвольный фрагмент:

1.8.3. 1–4.3

ἔστι δέ σοι συνιέναι τὸ μέγεθος τοῦ **κακοῦ καὶ ἀπ᾽** αὐτῆς τῆς τοῦ γάμου **παρασκευῆς**· βόμβος αὐ**λ**ῶν, δι**κλ**ίδων **κτύπος**, **πυρσῶν** δᾳδουχία. ἐρεῖ τις ἰδὼν τοσοῦτον **κυ**δοιμόν· "Ἀτυχὴς ὁ μέ**λλ**ων γαμεῖν· ἐ**π**ὶ **πόλ**εμον, δο**κ**ῶ μοι, **πέμπ**εται." ἀ**λλ᾽** εἰ μὲν ἰδιώτης ἦσθα μουσι**κ**ῆς, ἠγνόεις ἂν τὰ τῶν γυναι**κ**ῶν δράματα· νῦν δὲ **κ**ἂν ἄ**λλ**οις **λ**έγοις, ὅσων ἐνέ**πλ**ησαν μύθων γυναῖ**κ**ες τὴν σ**κ**ηνήν· <ὁ>

[52] См. о программе компьютерного анализа эвфонической структуры текста: *Гогешвили А.А.* Еще раз об анаграммах в начале «Энеиды» // Colloquia classica et indo-europeica II. Классическая филология и индоевропейское языкознание / Под ред. Н.Н. Казанского. СПб., 2000. С. 273; о классификации и ранжировании звукоповторов в поэтических текстах см.: *Николаева Т.М.* Функционально-смысловая нагрузка антитез и повторов в «Слове о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве». Комплексные исследования. М., 1988. С. 103–124.

Хотя нужные для построения имени *Клитофонт,* в основном «грамматические» ων и ει, попали в невод в изобилии и есть сочетание κλ, а для *Левкиппы* дифтонг ευ и двенадцать κ, но сочетаются они с «не теми» звуками, кроме, пожалуй, κευ и одного κλ; всего девять π, дважды в одном слове с κ, один вместе с λ и одиннадцать λ, из них три сдвоенных и два раза в одном слове с ϖ и один – с κ.

κκ-κ-π-πκευ-λ-κλ-κπ-π--κ--λλ--π--πλ-κ--ππ-λλ--κ--κ--λλ-λ--πλ--κ-κ

Таким образом, мне представляется, что насыщенность элементами имени Левкиппы в описании гавани выше, чем в произвольно взятом фрагменте, и читается «лучше», чем имя Клитофонта. К анаграммированию героев мы подготовлены самим автором идеи анаграммы, который искал в гимнах Ригведы имена соответствующих богов. А к тому, что это будет имя героини, подготовлены тем, что античные и византийские источники доносят до нас названия романов по имени героини – «Хариклея», «Каллироя» и «Левкиппа», а не более привычные – из двух имен героев. Описание гавани можно считать участком текста, по выражению В.Н. Топорова, «чреватым анаграммой»: оно начинает роман и имеет ясную границу[53], оно состоит из синтаксически разреженной и фонетически перегруженной словесной материи. Непосредственно с сюжетом романа гавань не связана. Как описание «Арго», предназначенное для беспрепятственного развертывания литературной игры, экфрасис гавани и достаточно «досужий», и достаточно заметный (потому что начальный) участок, чтобы вписать туда анаграмму имени героини (или героев)[54].

В романе, который начинается с гавани, есть и бегство героев, и путешествия по морю, но к моменту рассказа герой Клитофонт уже закончил свой авантюрный сюжет и осел в святилище именно в описываемом месте. Двойственность гавани, состоящей из части, выходящей в открытое море, и части замкнутой, где ко-

---

[53] Проблема границы текста, в котором следует обнаруживать звуковые сгущения, беспокоила уже Соссюра; см.: *Соссюр Ф де.* Труды по языкознанию. М., 1977. С 643–644.

[54] См. характеристики чреватых анаграммами участков текстов у В.Н. Топорова: *Топоров В.Н.* К исследованию анаграмматических структур (анализы) // Исследования по структуре текста. М., 1987. С. 196.

рабли могут в зимнее время укрыться от непогоды, в самом общем виде предвосхищает грядущий сюжет: приключения героев, бросаемых волнами реальных и метафорических бурь, завершаются встречей, браком и обретением покоя[55]. В.Н. Топоров находит во вступлении к «Энеиде» главную тему Вергилия – Рим, анаграмму слова Roma[56]. А.А. Гогешвили, хотя и следует принципам поиска и обнаружения анаграмм, сформулированным Топоровым, сам находит в начале поэмы Вергилия иные анаграммы. В четырех сомнительных стихах, которые предшествуют классическому началу поэмы Arma virumque cano, он обнаружил имя Vergili(us), а в ст. 5–11 обнимающую анаграмму Maro, т. е. сфрагиду автора[57]. Методику А.А. Гогешвили я оценить затрудняюсь, но должна признать, что репертуар искомых анаграммируемых высказываний достаточно беден: автор, герой, основная тема и наше предложение не выходят за пределы этого списка.

Первый паратаксический экфрасис несет в себе анаграммированное имя героини, последний вводит ее самое, но имени прямо не называет, ведь Клитофонт еще не знает, как зовут девушку. Зато ее имя «знает» описание Левкиппы как Селены или Селены как Левкиппы: дважды, с достаточной эмфазой в нем повторен корень *левк-*: **λευκὴ** *παρειά*, τὸ **λευκὸν** εἰς μέσον ἐφοινίσσετο καὶ ἐμιμεῖτο πορφύραν. Сначала буквы (στοιχεῖα) имени Левкиппы вплетены в описание стихий (στοιχεῖα), земли и моря, а потом эти буквы, сложившись в первый слог ее имени, всплывают в описании ее лица.

***

В описании «Похищения Европы» есть деталь, отличающая ее от большинства экфрасисов. Никто из авторов экфраз не поминает художника так часто. Ахилл называет его по-разному: ζώγραφος, γραφεύς, τεχνίτης, несколько раз подчеркивает, что речь идет о рисованном, о картине. Даже Филострат, автор «Картин», который не раз «напоминает», что описывает рисованную реальность, уступает тут Ахиллу.

---

[55] Надо сказать, что заканчивается роман тем, что герои остаются на зиму в Тире, чтобы переждать штормовой сезон. Они нашли «тихую гавань», одну из двух описанных в начальном экфрасисе.

[56] См.: *Топоров В.Н.* Указ соч. С. 197–198.

[57] *Гогешвили А.А.* Указ соч. С. 276–282.

Ахилл Татий вывел на небольшом пространстве и автора картины, и садовника, устроителя сада, который направляет в нужное русло воду ручья. Он настойчиво, даже назойливо говорит этим: вот он я! Я творец, я создатель, я насадил этот сад, я нарисовал эту картину, я показываю вам с самого начала: смотрите, следите, будьте внимательны: здесь все продумано, все на своем месте. Ведь и цветы[58] на картине в Сидонской гавани – нарциссы, розы и мирты – растут στιχηδὸν, ряд к ряду, как буквы в строке, как строки в стихе на камне или странице. Цветы уподобляются строчкам, буквы имени героини вписываются в «текст» ландшафта. Конечно, и садовник, и художник – это автор романа. Выведя двух рассказчиков от первого лица, – Клитофонта, который рассказывает о себе, и анонима, который рассказывает о рассказчике, – себя Ахилл Татий вывел в маске садовника, насадившего все эти цветы, и художника, написавшего и цветы, и садовника.

Мы можем сказать, что эти анаграммы – не высокая литература, а баловство. Так, наверное, думал и Фотий: «Ахилл злоупотребил срамным и бесстыдным. И все-таки речь у него течет плавно, а если есть за что ему похлопать, то не за напряжение, но за, так сказать, "щекотку" и дурачества» (οὐ πρὸς τόνον τινὰ ἀλλ' ἐπὶ τὸ γαργαλίζον, ὡς ἄν τις εἴποι, καὶ βλακῶδες παρακεκίνηται)[59].

Но дурачества, присущие Ахиллу, особого рода, это дурачества литературной игры, а такая игра предполагает круг изощренных читателей, высокое авторское самосознание.

---

[58] Это же наблюдение сделал и Р. Мартин: цветы растут в нашем саду «рядами» στιχηδὸν, что по-гречески омонимично выражению «строчками» (Op. cit. P. 46).

[59] Phot. Bibl. 94.73b. 24–35. Как правило, переводчики относят последнюю фразу к стилю Ямвлиха, а не Ахилла (ср.: Поздняя греческая проза. М., 1961. С. 185). Однако следующая за приведенной фраза, действительно характеризующая стиль Ямвлиха, противоречит той, за которой она следует, и начинается с противопоставления Ахиллу Ямвлиха: «А вот Ямвлих, по крайне мере в том, что касается умения выбирать слова, сочетать их и строить повествование, достоин показать свое искусство и свое дарование на самых серьезных предметах, а не только забавах да вымыслах».

О.Л. Левинская

ОСЕЛ С ЛИРОЙ
(об одной греческой поговорке)

Осел как реальное животное и как художественный образ занимает особое место в античной традиции. Он вошел в эту традицию довольно поздно – так поздно, что не успел запечатлеться ни в одном греческом мифе[1], но, войдя (это произошло не ранее VII в. до н. э.), приобрел необычайную популярность. Осел сделался не только неотъемлемой частью греческого быта, но и главным героем небольшой греческой новеллы, знаменитого римского романа, а кроме этого – персонажем множества греческих поговорок. Некоторые из них практически постоянно попадают в поле зрения исследователей, например загадочная поговорка ὄνος ἄγων μυστήρια. Другие привлекают куда меньше внимания, например поговорка ὄνος λύρας. О ней и пойдет речь.

В синтаксическом отношении сочетание ὄνος λύρας неполноценно – родительный падеж λύρας здесь не мотивирован и требует мысленной подстановки управляющего слова. Как мы увидим дальше, эта открытая конструкция дает простор для толкования поговорки и, следовательно, ее применения.

Античные лексикографы и паремиологи объясняют смысл поговорки на редкость единодушно: для них она характеризует категорическую неспособность человека нечто воспринять и/или по достоинству оценить. Приведу контексты, оставляя собственно поговорку без перевода.

---

[1] Об этом подробнее см.: *Левинская О.* В поисках одного сюжета // Studia classica et mediaevalia. М.: РГГУ, 2004.

Плутарх. О поговорках александрийцев, 33.1: Осел лиру слушает.

Павсаний Грамматик 19.1: ὄνος λύρας – у Менандра в «Пугливом». Поговорка целиком: «Осел слушал лиру, и трубу – свинья». Говорится о тех, кто относится без понимания и одобрения.

Стобей. Антология, 3.4.42: Поговорка: «Осел слушал лиру, и трубу – свинья».

Фотий. Лексикон 337.13: ὄνος λύρας – у Менандра в «Пугливом». Поговорка целиком: «Осел лиру слушал, а трубу – свинья». Говорится о тех, кто относится без понимания и одобрения.

Суда. Лексикон 391.1: ὄνος λύρας – у Менандра в «Пугливом». Поговорка целиком: «Осел лиру слушал, а трубу – свинья». Говорится о тех, кто относится без понимания и одобрения.

Михаил Апостолий. Собрание поговорок 12.82.1: «Осел, лиру слушая, шевелит ушами». Говорится о тех, кто необразован, или о тех, кто относится без понимания и одобрения.

Григорий Паремиограф. Поговорки 2.70.1: «Осел лиру слушает». Говорится о необразованных. Ср. 3.29.1: «Осел, лиру слушающий». Говорится о непонятливых.

Диогениан Грамматик. Поговорки 7.33.1: «Осел, лиру слушающий». Говорится о необразованных.

Макарий Хрисокефал. Поговорки 6.38.1: «Осел лиру слушает, а трубу – свинья». Говорится о тупых и чуждых изящного. «Осел, на лире играющий». Говорится о чуждых изящного.

Античные знатоки без колебаний восполняют синтаксическую лакуну глаголом ἀκούειν, «слушать», при котором объект («слушать *что*») действительно обозначается родительным падежом. Следовательно, в русском переводе поговорка ὄνος λύρας должна выглядеть так: «Осел лиру». Образ, который стоит за поговоркой при таком ее истолковании, – юмористический: осел, внимающий безо всякого толку звукам лиры. Именно этот образ присутствует в том варианте поговорки, который практически во всех лексиконах и паремиологических сборниках приводится *как исходный и полный* («Осел лиру слушает, а трубу – свинья»).

В живом употреблении картина несколько иная.

Менандр. «Ненавистный», 295: ...так он сказал // В слезах и мольбах – ὄνος λύρας.

Лукиан. «О неуче, который покупал много книг», 4: А ты хоть и держишь вечно книгу в руках и читаешь, ничего из прочитанного не понимаешь, но точь-в-точь ὄνος λύρας – слушаешь, поводя ушами.

Аристенет. «Письма»,1.17.18: Но ей не было дела до моих слов – ὄνος λύρας.

Афиней. «Пир мудрецов», 8.41.61 (Афиней приводит цитату из комедиографа середины III в. до н. э. Махона):

Какой-то кифаред Клеон, по кличке Бык,
Фальшиво пел, бряцал на лире варварски.
Его услышав, произнес Стратоник наш:
Про лиру и осла была пословица (ὄνος λύρας ἐλέγετο) –
Теперь про лиру и Быка подумаем (νῦν δὲ βοῦς λύρας).
(Пер. Н.Т. Голинкевича)

Любопытный вариант поговорки дает *Кратин* (фр. 229): Ослы от лиры держатся подальше (Ὄνοι δ᾽ ἀπωτέρω λύρας κάθηνται).

Совершенно очевидно, что ни в одном из живых контекстов поговорка не употребляется в том полном варианте, который приведен в ученых сборниках как исходный. Следовательно, мы не знаем, действительно ли этот полный вариант был в ходу. А потому есть некоторые основания предположить как раз обратное: исходным, известным и употребимым вариантом поговорки было именно краткое ὄνος λύρας, а развернутый вариант, приводимый лексикографами, появился как интерпретация, как попытка одновременно мотивировать неполноценный синтаксис и прояснить смысл поговорки.

Что же касается этого самого смысла, то для Менандра, Лукиана и Аристенета поговорка характеризует ту самую ситуацию полной невосприимчивости, своеобразной глухоты, которую подразумевают лексикографы. А вот у Махона поговорка ассоциируется совсем с иной ситуацией: дело здесь не только в том, что он ограничивает ее узкомузыкальным смыслом, – гораздо важнее, что он вспоминает о ней, наблюдая за *неумелым исполнителем*, а не за тупым и невосприимчивым слушателем. Сложно сказать, какой глагол, по мысли Махона, здесь подразумевается, но в данном случае важнее другое: за поговоркой ὄνος λύρας Махон

видит образ не *осла – негодного слушателя*, а *осла – негодного исполнителя*. О том, что поговорку можно понимать и так, свидетельствует Макарий Хрисокефал – он единственный приводит вариант поговорки ὄνος λυρίζων – «осел, играющий на лире». Что же касается Кратина, то он предлагает совершенно особый вариант – «Ослы от лиры держатся подальше». По мнению схолиастов, Кратин соединил две поговорки: одна из них – ὄνος λύρας, а другая – ὄνος κάθηται – (букв. «сидеть ослом»). Считается, что вторая поговорка возникла из игры, чем-то похожей на салки, – пойманный должен сесть, и тогда о нем говорят, что он «сидит ослом».

Итак, мы можем твердо говорить о том, что в IV в. до н. э. (если считать самым ранним контекстом Менандра) или даже во второй половине V в. до н. э. (если учитывать контекст Кратина) у греков была в ходу поговорка, которая соединяла образ осла с образом лиры. Специфическая краткая форма позволяла по-разному обыгрывать ее синтаксически. Иногда авторы просто не затруднялись встроить поговорку в свой синтаксис – так обращаемся с поговорками и мы (например, «клин клином»). А если поговорка все-таки обретала синтаксическую полноценность, то родительный падеж получал *разные* мотивации: Лукиан ставил его в зависимость от глагола ἀκούειν («*слушать* лиру»), а Кратин – от наречия ἀπωτέρω («*подальше* от лиры»).

Произвольное толкование синтаксиса поговорки означало определенную степень свободы в истолковании ее смысла. Действительно, сочетание ὄνος λύρας, соединив парадоксально образы осла и лиры, ничего не сообщало о том, в каких именно отношениях друг с другом они состоят: то ли осел слушает лиру, то ли играет на ней, то ли, наоборот, держится от нее подальше.

В самом явлении синтаксической неполноценности поговорки нет ничего необычного – так устроены многие другие поговорки, хотя бы знаменитая ὗς τὴν Ἀθηνᾶν («свинья Афину» – подразумевается, «поучает»). Необычным, на мой взгляд, является другое – неоднозначное восполнение лакуны – прежде всего синтаксической и, следовательно, смысловой. Создается впечатление, будто греки и сами нетвердо знали, чем мотивирован генетив λύρας и какой образ стоит за поговоркой, а потому использовали ее применительно к разным ситуациям – и глубокого непонимания, и невосприимчивости, и профессиональной непригодности.

И здесь уместно задаться вопросом: как вообще оказались связаны осел и лира? Можно допустить, что образ осла, бессмысленно присутствующего при звуках лиры, появился в результате *бытовых* наблюдений над поведением животного, но вот осел, играющий на лире или, напротив, старающийся держаться от нее подальше, – это образ прямо басенный. Но в греческих баснях он не появляется – басня об осле и лире есть только у Федра, причем даже не в основных рукописях, а в так называемой рукописи Перотти, куда епископ Синоптинский поместил вперемешку свои собственные стихи, басни Федра и гораздо более поздние произведения этого жанра. Там осел находит на лугу лиру и сетует, что не может справиться с инструментом. Нельзя исключить, что этот сюжет появился как отклик на ту самую поговорку ὄνος λύρας, которая из греческой традиции проникла в римскую.

В любом случае басни об осле и лире в греческой традиции нет. Более того, этого образа вообще нет в традиции греческой словесности. Тем интереснее было обнаружить образ *осла с лирой* в традиции Древнего Востока, только не в произведениях словесности, а в иконографии.

На резонаторе арфы из Шумера (ок. 2750 г. до н. э.) изображена сцена, где животные готовятся к празднику: собака несет столик, за ней следует лев с чашей; в следующем фризе изображен сидящий осел с арфой, шакал с систром и тамбурином и медведь, собирающийся, кажется, танцевать (рис. 1).

На рельефной пластине из Египта (Гиераконполис, ок. 3000 г. до н. э.) осел снова музицирует – правда, на этот раз он играет на флейте.



Рис. 1

На египетском папирусе эпохи Нового Царства (так называемый сатирический папирус) мы снова встречаем музицирующих животных, среди которых осел с арфой и лев с лирой (рис. 2).

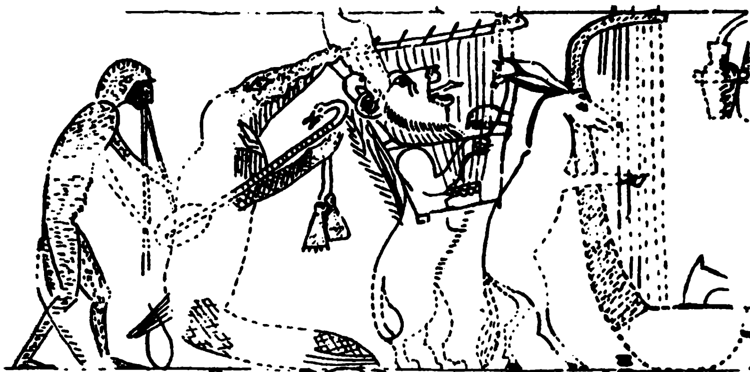


Рис. 2

Осел с лирой изображен и на остраконе из Дейр-эль-Медины (Египет).

На каменной плите из Телль Халафа (Сев. Сирия, IX–VIII вв. до н. э.) изображен еще один праздник зверей: лев играет на лире, перед ним на задних ногах стоит осел с полуоткрытым ртом, их окружает множество других животных с посудой и музыкальными инструментами. Еще один ослик изображен в отдалении от основной фигуры – льва с лирой.

Оказывается, осел с лирой – вполне устойчивый персонаж иконографии Древнего Востока. Более того, это персонаж юмористического типа – во всяком случае, в египетских и сирийских версиях. Интерпретация шумерского изображения сложнее[2]. Еще поразительнее то, что в древневосточных изображениях присутствуют те же ситуации, что создаются греческой поговоркой: в большинстве случаев осел *играет* на лире, но вот в сирийской версии один осел *слушает* игру, а другой *находится поодаль* от исполнителя. Совпадения слишком явные, чтобы быть случайными. Вопрос только в том, могло ли древневосточное изображение

[2] См. об этом: *Pritchard J.* The Ancient Near East in Pictures. Relating to the Old Testament. Princeton, 1969.

(или ряд изображений) стать источником греческой поговорки. И вообще, может ли образ *иконографический* быть источником образа *словесного*?

Этот вопрос не был бы актуален, если бы наряду с иконографической версией образа осла с лирой в древневосточной традиции существовала версия словесная – поговорка, сентенция, басня. Более того, наличие такой версии могло бы объяснить специфический синтаксис греческой поговорки: например, он мог появиться не вследствие редукции полноценной фразы, как думали античные лексикографы, а вследствие перевода или калькирования с чужого языка. Пока мне не удалось обнаружить такой версии в традиции древневосточной словесности, но даже если поиски окажутся успешными, перед нами неизбежно встанут другие, не менее сложные вопросы, прежде всего вопрос о характере языковых контактов.

Но в любом случае греческая поговорка об осле и лире выводит нас к самым увлекательным и актуальным вопросам – о путях формирования греческого фольклора, о взаимодействии образов иконографии и словесности, о связях античного мира с Древним Востоком.

Л.И. Грацианская

СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТРАБОНА

Северное Причерноморье – достаточно удаленная от Рима и во многом загадочная для римлян окраина античной ойкумены. Однако не настолько отдаленная, чтобы не пытаться ввести ее в реальную орбиту римской политики и экономики. Актуальность северопричерноморских реалий для Рима обнаружилась еще в начальную эпоху митридатовских войн, сильно возросла в последние мятежные боспорские годы митридатовой жизни и стала особенно очевидной при Асандре, Аспурге и последовавших бурных событиях боспорской истории.

Эпоха Августа, на протяжении которой творил Страбон, как и предшествовавшая ей эпоха Цезаря, отмечена попытками политического и экономического толка ввести ряд местностей Северного Причерноморья в активный ареал римских интересов. Это и вмешательство в политические дела Боспора при Асандре и после его смерти[1], и начало активной политики Рима, и особенно Августа, в Херсонесе[2], и действия римского ставленника Полемона в Танаисе[3].

Источниковедческая база этих взаимоотношений и вмешательств пока не очень велика, но продолжает интенсивно пополняться в наше время[4].

---

[1] Подробнее см.: Каллистов 1940, с. 65–77; Парфенов 2001, с. 96–115; Сапрыкин 2002, с. 207–223 и др.

[2] Кадеев 1979, с. 55–59; Кадеев 1981, с. 13–15; Кадеев 1989, с. 88; Сорочан 1980, с. 75; Зубарь 1984, с. 12–18.

[3] Шелов 1970, с. 226–235.

[4] См., например, Сапрыкин 2002, с. 207–223.

«География» Страбона, задуманная и написанная как учительное сочинение, долженствующее быть полезным будущим просвещенным государсвенным деятелям проримского толка[5], несет в себе обширный и разнообразный материал по истории, географии и этнографии Северного Причерноморья, отобранный в соответствии с целями и задачами, поставленными перед собой автором. А основной из целей своего сочинения Страбон мыслил пользу (χρεία, ὠφέλεια), которую оно может принести или в смысле возможного подражания, или, наоборот, для избежания возможного отрицательного опыта в будущем[6]. Столь же важно для географа расширение научного и политического кругозора будущего просвещенного государственного деятеля[7].

Заметим, что идея необходимости создания именно политико-географического сочинения, подогреваемая мощными завоеваниями Цезаря и Августа, по-видимому, «носилась в воздухе» Рима второй половины I в. до н. э. Так, собирался писать географическое сочинение Цицерон, сообщивший об этом в письме своему другу Аттику[8] и упоминавший в этом письме географические интересы грамматика Тиранниона, чьим слушателем был Страбон в Риме[9]. Несомненно показательны в этом отношении «Географические комментарии» и карта мира, составленная на основании подробной геодезической съемки Римской империи соратником Августа Марком Випсанием Агриппой[10].

---

[5] Strab. 1. 1. 22–23; 16; 18–19; 5. 1. Подробнее см.: Грацианская 1988. С. 95, 138.

[6] Strab. 1. 1. 19; 22–23; 2. 5. 13; 17 и др. Ср.: Dueck 2000. P. 125.

[7] Strab. 1. 1. 12; 16; 22–23. О политической направленности и предопределенности трудов Страбона см. также: Lassèrre 1982. P. 880–886, 889–896.

[8] Cic. Att. 2. 6. 1. (cf.: Att. 2. 7. 1).

[9] Strab. 13. 1. 54.

[10] Существует несколько точек зрения по поводу «Комментариев» и карты Агриппы, которые недавно критически пересмотрены К. Бродерзеном (Brodersen 1995, s. 268–285), предложившим следующее решение проблемы: проект Агриппы включал только «Комментарии», содержащие географию ойкумены, которые были высечены, подобно «Деяниям Божественного Августа», на камне и выставлены на всеобщее обозрение в Риме. Под термином πίναξ, по мнению Бродерзена, чаще разумеется выгравированная надпись, а не карта (Ibid. S. 280–284), что не кажется мне убедительным. (Ср.: Strab. 2. 1. 1; 2, где πίναξ явно обозначает карту. См. также: Dueck 2000. P. 127–128. Основная библиография: Ibid. №. 64. P. 201).

Силен географический элемент и в Res gestae divi Augusti[11].

Из сочинений Помпония Мелы и Плиния Старшего известно о географическом труде Корнелия Непота[12]. Возможно, что географическое сочинение принадлежало также сыну Тита Ливия, на которого ссылается Плиний Старший[13]. Политико-географические интересы не были чужды и римской поэзии этого времени: Катуллу, Горацию и Вергилию[14], а также грекоязычным ученым и писателям, собравшимся тогда в Риме[15].

Бо́льшая часть Страбоновских материалов литературно-книжного происхождения[16], но, по-видимому, не только книжного, так как Страбон к моменту работы над «Географией» уже достаточно долго находился в Риме[17], был, очевидно, весьма близок к кругу Августа[18] и, вероятно, в какой-то мере владел латинским языком[19]. Таким образом, ему могли быть доступны не только устные и общедоступные (публичные) источники, но и какие-то официальные документальные материалы[20].

Составляя свою гигантскую компиляцию из предварительных выписок, набросков, конспектов, заметок[21], Страбон придерживался определенного плана изложения материала, который прослеживается как в макроструктуре всего сочинения, так и микроструктурах отдельных его частей, причем планы эти общи для всего сочинения[22].

Наличие этих планов позволило позднейшим переписчикам и издателям органично разделить 17 выделенных самим Страбоном книг «Географии» на главы и параграфы[23].

---

[11] Подробнее см.: Dueck 2000. P. 124–125.

[12] Geiger 1985. S. 76–77.

[13] Plin. NH. 1. 5.

[14] Подробнее см.: Dueck 2000. P. 123–124.

[15] Подробнее см.: Dueck 2000. P. 124, 130–144.

[16] Подробнее см.: Грацианская 1988. С. 34–93; Lassèrre 1982. P. 881.

[17] Возможно даже, что он имел римское гражданство. Подробнее см.: Dueck 2000. P. 7–8, 85–86.

[18] Dueck 2000. P. 87–88.

[19] Aly 1957. S. 398; Dueck 2000, P. 88–96.

[20] Aly 1957. S. 17–18, 22–23.

[21] Грацианская 1988. С. 39–40.

[22] Грацианская 1988. С. 39–41, 96 и сл.; Ростовцев 1913–1914. С. 368; Diller 1975, 1975a. A; Aly 1957. S. 373 u. a.

[23] Diller 1975. P. 43; Aly 1957. S. 373.

Страбон мыслил свою «Географию» как своеобразное продолжение или приложение к созданным им ранее «Историческим запискам»[24].

Определяя основную идею «Исторических записок» Страбона, Педех справедливо, на мой взгляд, замечает, что в отличие от Полибия, стремившегося показать, *каким образом* Рим покорил почти всю ойкумену, Страбон своим историческим сочинением хочет продемонстрировать возможности *сохранения завоеванного* в условиях мира[25], проанализировать перспективы дальнейшего мирного существования суперимперии проримского толка. Подобной же идеей, как мне кажется, проникнута и «География»: ведь в ней дается огромный корпус разнохарактерных сведений, могущих положительно воздействовать именно в этом ключе на начинающего государственного деятеля, корпус, расположенный в соответствии со структурными и композиционными закономерностями, действующими на протяжении всей «Географии»[26].

Северопричерноморские материалы сведены Страбоном в основном в VII и XI книгах, но некоторые их реминисценции встречаются и в других книгах, в особенности в I–II и в XII. Страбон сам отмечает определенный *порядок*[27] своих описаний, и трудно отделаться от впечатления, что перед ним все же была карта: во всяком случае описание идет с запада на восток[28], причем сначала, «в первом этаже», – север, потом описываются районы, расположенные соответственно «под ним», т. е. южнее (например, Кельтика, Британия, Альпы – IV книга; Италия – V книга; Южная Италия–Сицилия – VI книга; Истр, Германия, Скифия, Таврика, Север Греции – VII книга; Кавказ, Гиркания, Парфия, Бактрия, Мидия – XI книга; Малая Азия – XII–XIV книги; Индия – XV книга; Африка – XVII книга)[29].

---

[24] Strab. 11. 9. 3. См. также: Грацианская 1988. С. 27–30.

[25] Pédech 1972. P. 408.

[26] Грацианская 1988. С. 96 и сл.; 142–143.

[27] Например: Strab. 7. 1. 1. ; 11. 1. 5 и др.

[28] Север у Страбона повернут на северо-восток. См., например: Strab. 7. 3. 17; 19 и др.

[29] Этот порядок нарушается только в описании Эллады (VIII–X кн.) и в XVI кн., где описание идет практически с северо-востока на юго-запад, что не является, однако, большим нарушением, если учесть, что север у Страбона повернут на северо-восток.

Страбон рассчитывает на достаточно образованного читателя, хорошо и широко знакомого с трудами его предшественников. Так, часто он, ссылаясь на какого-то автора, не цитирует, не пересказывает, не намекает на содержание соответствующего места, а просто пишет: «Смотри, что говорит Геродот о скифском царе...» или «Смотри также, что говорит Хрисипп о боспорских царях...»[30]

Следует также отметить, что историко-географическую информацию, включаемую Страбоном в «Географию», условно можно разделить на две категории: материалы общеобразовательного характера, служащие расширению кругозора начинающего государственного деятеля, и сугубо утилитарные сведения, могущие пригодиться этому деятелю «здесь и сейчас» в его практической деятельности. Эти категории материала (разумеется, в рамках доступного Страбону и имеющегося в его распоряжении) прослеживаются по всему сочинению. Северопричерноморская информация также легко распадается на эти две категории, что лишний раз говорит об органичности этой составной части для всей «Географии».

В полном соответствии со своими теоретическими установками давать в основном материалы, могущие принести пользу начинающему государственному деятелю, и руководствуясь, по-видимому, его возможным синхронным интересом, Страбон представляет свои данные о Северном Причерноморье.

Наиболее интересны, с его точки зрения, Боспор, Херсонес и Танаис, о которых говорится достаточно подробно и информативно[31], причем фактов в распоряжении географа, очевидно, не так уж и много, но манипулирует он ими свободно, успешно и творчески: дважды (при том что размер текста, посвященного этим сюжетам, по сравнению со всем текстом «Географии» мизерен) боспорский[32] и танаисский[33] материалы встречаются в повторах, что является признаком свободного владения ими географом[34]. О разрушенной же Биребистой и не представляющей в данный момент для Рима особого интереса Ольвии Страбон едва упоми-

[30] Strab. 7. 3. 8.
[31] Strab. 7. 3. 18–4. 8; 11. 2.1–14.
[32] Strab. 2. 1. 16–7. 3. 18.
[33] Strab. 7. 4. 5–11. 2. 3.
[34] Грацианская 1988. С. 133–136.

нает[35], но довольно подробно тут же говорит об актуальных для его времени варварских племенах по Истру, Тирасу, Гипанису и Борисфену, причем представляет в основном или современную ему, или хронологически близкую к нему картину их расселения, почерпнув сведения о них из каких-то синхронных источников. Действительно, активный племенной мир этого региона во времена Страбона важнее для предполагаемого адресата «Географии», чем разрушенная и пришедшая в упадок Ольвия.

При этом в перипле устья Тираса (с упоминанием античных поселений Никония, Офиуссы, оставленной без имени Тиры, Башни Неоптолема и Гермонактовой деревни) он явно контаминирует два разновременных источника: эллинистического времени и более поздний, возможно, современный или почти современный ему[36].

Страбоновский перипл Днепровско-Бугского лимана и далее до Калос-Лимена (имени которого Страбон не знает) включительно с историческими и военно-историческими справками о племенах, населяющих Тирасско-Днепровское междуречье, дает нам тоже материалы двух эпох: IV в. до н. э. и позднемитридатовский с постмитридатовским.

Лакуна в перипле между Калос-Лименом и Херсонесом, возможно, частично возникла в результате порчи рукописи[37], однако, скорее всего, испорченное место незначительно, а кусок перипла просто пропущен Страбоном по отсутствию возможного синхронного интереса к этим местностям у адресата «Географии», так же как пропущен и кусок перипла от Балаклавы до Феодосии, где географ ограничился лишь сведениями о Криуметопоне и Карамбисе и беглой информацией о двух горах – Трапезунд и Киммерий, что дало ему повод поведать о сравнительной узости пролива между этими двумя мысами[38], об одноименности горы Трапезунд с городом Трапезунд на южнобережье Черного моря[39], а также о существовании некогда власти киммерийцев на Боспо-

[35] Strab. 7. 3. 17; Виноградов Ю.Г. 1989. С. 263–272.

[36] Подробнее см.: Агбунов 1979. С. 134–136; Агбунов 1984. С. 131–132. Ср. полемику с М.В. Агбуновым в: Бруяко, Карпов 1992. С. 87–97.

[37] Латышев 1909. С. 129–137.

[38] Strab. 7. 4. 3: «...многие из проплывающих пролив говорят, что одновременно видели оба мыса с обеих сторон».

[39] Ibid.

ре[40] – все эти сведения относятся к общеисторическим и общегеографическим, расширяющим кругозор предполагаемого адресата «Географии», но никак не утилитарным.

Зато о Боспоре, власть над которым после Митридата Евпатора перешла к римлянам[41] и царей которого они теперь «*имеют обыкновение* ставить»[42], непосредственно вошедшем в ареал римского влияния, дается значительный объем разнообразной информации: исторической, хозяйственной, зоологической, природно-экологической, военной, политической и чисто географической. Материал этот носит обрывочный характер как с семантической, так и с хронологической точки зрения, что обьясняется, по-видимому, в первую очередь его сборным характером, и вкраплен по преимуществу в перипл, который служит композиционным стержнем повествования. Страбон хорошо знаком со многими эпизодами Митридатовой военной, политической и экономической деятельности, особенно последнего ее этапа: упоминает о покровительстве его Херсонесу[43], достаточно осведомлен о деятельности Диофанта[44], знает подробности битв другого Митридатова полководца, Неоптолема[45], приводит цифру хлебной дани Боспора Митридату[46], рассказывает о борьбе Митридата со скифами под водительством Палака, сына Скилура, и присоединившимися к ним роксоланами под командой Тасия[47].

Околомитридатовские сведения, вероятно, частично почерпнуты географом у Феофана Митиленского, роль которого в сочинении Страбона, по-видимому, сильно преувеличена в страбоновской историографии[48]. К тому же для европейских частей «Географии» исследователь Феофана Фабрициус роль Феофана Митиленского отрицает, правда, замещая его Артемидором Эфес-

[40] Ibid.

[41] Strab. 7. 4. 4: ἡ βασιλεία γεγήνεται Ῥωμαίοις ὑπήκοος.

[42] Strab. 7. 4. 7: καὶ νῦν ὑπὸ τοῖς τῶν Βοσποϱανῶν βασιλεῦσιν, οὓς ἂν Ῥωμαῖοι καταστήσωσιν, ἅπαντά ἐστιν. Употребление конъюнктива с ἂν придает тексту итеративный оттенок.

[43] Strab. 7. 4. 3.

[44] Strab. 7. 3. 17; 4. 7.

[45] Strab. 7. 3. 18 (ср.: 2. 1. 16).

[46] Strab. 7. 4. 6.

[47] Strab. 7. 3. 17.

[48] Подробнее см.: Грацианская 1988. С. 86–88.

ским и Посейдонием[49]. Сам Страбон неоднократно упоминает неких безымянных οἱ δὲ τὰ Μιθριδατικὰ τυγγράψαντες[50].

Представляется, что по околомитридатовской тематике Страбоном могли быть использованы не только книжные источники, но и архивные материалы, равно как и материалы мемуарного характера – и письменные, и в виде семейных преданий. Первые две возможности ему предоставила близость к окружению Августа[51], а последнюю – особенности биографии[52].

Несомненными источниками Страбона по митридатовскому периоду в Северном Причерноморье и на Кавказе являются Артемидор Эфесский[53] и Посейдоний[54]. Мне уже приходилось говорить о преувеличенном количестве атрибуций конкретных сведений Страбона Посейдонию[55], равно как и о гипертрофированном, абсолютизирующем подходе к роли Артемидорова перипла для «Географии» Страбона[56].

Эти преувеличения вызваны гиперкритическим подходом к тексту Страбона, предполагающим существование для каждого его сведения какого-то определенного литературного источника. Мне не раз приходилось говорить и писать, что такой подход, при

[49] Fabricius 1888. S. 174.

[50] Например: Strab. 11. 2. 14 и др. О различных отождествлениях текста Страбона с текстами этих авторов в страбоноведческой историографии см.: Грацианская 1988. С. 87–88.

[51] Страбон сам говорит о том, что распространение римской и парфянской империй предоставило возможность «современным географам» значительно пополнить «практические сведения» в географии, и указывает на особую роль Митридата Евпатора и его полководцев, познакомивших «нас» со странами «за рекой Тирасом до Меотийского озера и морского побережья, которое заканчивается у Колхиды». Таким образом, он может сказать об этих областях «несколько больше своих предшественников» (Strab. 1. 2. 1).

[52] Подробнее см.: Грацианская 1988. С. 15–16.

[53] Ruge 1888; Daebritz R. 1905; Kunze 1892; Neumann K. 1881; Ростовцев 1925 и др.

[54] Munz 1918. S. 5–19; Меликашвили 1959. С. 301–322; Тревер 1947. С. 159 и сл.; Виноградов В.Б. 1975. С. 36–43. Впрочем, Херинг еще в 70-х годах XX в. остроумно заметил, что подобное расширение сферы влияния Посейдония на Страбона вызвано тенденцией приписывать апамейцу все, что неясно и для чего источник пока не определен (см.: Hering 1970, s. 46).

[55] Грацианская 1988. С. 83–86, где и литература вопроса.

[56] Там же. С. 64–66, где и литература вопроса.

котором Страбону отводится слишком мало места в его сочинении, в корне порочен[57].

Последним в ряду литературных источников Страбона по Боспору обыкновенно называют Гипсикрата[58], основываясь на прямой ссылке на него Страбона в пассаже о строительстве стены на перешейке Херсонеса.

Информация о строительстве стены (со ссылкой на Гипсикрата) приведена Страбоном не как самоцель, но как определение к имени Асандра в иллюстрации предыдущих рассуждений самого Страбона по поводу варваров, которые справедливы и не воюют, если им правильно выплачивают арендную плату за пользование их землей, чего не делают сильные люди (правители), убежденные в своей силе и способности отразить любые нападения этих варваров, «подобно тому как, по словам Гипсикрата, сделал Асандр, отделивший стеной перешеек Херсонеса...»[59]

Вторично имя Гипсикрата упомянуто Страбоном в качестве знатока (наряду с Метродором Скепсийским) Северного Кавказа в пассаже о местах обитания амазонок (оба совпадающих мнения Метродора и Гипсикрата противопоставлены мнению Феофана Митиленского)[60]. Считается также возможным, что неведомый Ификрат из Strab. 17. 3. 5, ссылаясь на которого Страбон дает некоторые естественно-научные сведения о стране «внешних эфиопов», идентичен Гипсикрату[61], что едва ли верно.

По мнению М.И. Ростовцева, считавшего «Географию» «механической компиляцией» и ищущего для каждой строки географа литературный источник, для исторических справок по Боспору Страбоном использован, «очень вероятно», только один автор, а именно Гипсикрат[62]. В свое время это утверждение достаточно аргументированно оспорено В.Ф. Смолиным[63], проанализировав-

[57] Там же. С. 35–37 и др.

[58] Ростовцев 1913–1914. С. 379–380; Rostowzew 1931. S. 126–128. О ссылке Страбона, по-видимому, в его историческом сочинении на Гипсикрата упоминает Иосиф Флавий (Flav. Ant. Jud. 14. 8. 3).

[59] Strab. 7. 4. 6. Оставим пока без рассмотрения разницу, существующую в рукописных и конъектурных чтениях по поводу количества башен на 360 стадий стены (по одной или по десять на каждый стадий).

[60] Strab. 10. 5. 1.

[61] Jacoby 1916, col. 434; Funaioli 1916, col. 435.

[62] Ростовцев 1913–1914. С. 376–380.

[63] Смолин 1929. С. 67–71.

шим всю информацию Страбона о постмитридатовских правителях Боспора – Фарнаке[64], Асандре[65], Митридате Пергамском[66], Полемоне I[67] и Пифодориде[68]. Смолин, обращающий внимание на тесную связь предков географа с Митридатом Евпатором, считает, что Страбон большую часть сведений о понтийском царе и его преемниках получил из «семейных хроник»[69], а о Полемоне I, Пифодориде, а может быть, и Митридате Пергамском, возможно, писал «от себя»[70]. Тщательный анализ родственных связей географа и политических деяний его предков[71] приводит к мысли о правомерности мнения В.Ф. Смолина. Представляется также, что биография самого Страбона дает ему достаточно возможностей воспользоваться не только «семейными преданиями», но и материалами официальных и частных архивов как в Амасии, некогда бывшей резиденцией царей Понта, так и, в первую очередь, в Риме, а также достаточно компетентными устными источниками. Учитывая близость Страбона к интеллектуальной и политической элите августовского и тибериевского[72] Рима, среди которой было достаточное количество представителей греческой науки и литературы[73], значительная часть которых происходила, как и Страбон, из восточных греческих полисов[74], а также актуальность для политики Рима этого периода околобоспорских сюжетов[75],

---

[64] Strab. 11. 2. 11; 17; 5, 8; 12. 3; 14; 38; 13. 4. 3.

[65] Strab. 7. 4. 6; 11. 2. 11; 13. 4. 3.

[66] Strab. 11. 12. 17; 13. 4. 3.

[67] Strab. 11. 2. 3; 11; 18; 12. 3. 29; 38; 6. 1; 8. 16.

[68] Strab. 11. 2. 18; 12. 3. 29; 31; 37; 14. 1. 2.

[69] Смолин 1929. С. 70.

[70] Смолин 1929. С. 71. Ср. также: Lassèrre 1984. P. 19–22 – о материалах и рассказах Элия Галла как непосредственном источнике Страбона в описании аравийской кампании последнего (Strab. 16. 2. 22–24).

[71] Грацианская 1988. С. 15–16.

[72] Dueck 2000. P. 85–96; 142–144.

[73] Dueck 2000. P. 130–144, особ. 142–144.

[74] Ibid. P. 134.

[75] Ср., например: Strab. 6. 4. 2 exit., где в *кратком общем очерке* истории Рима и особенно *деяний* Августа упоминается о Боспоре и подвластности его Риму. Ср. также остроумное объяснение отсутствия упоминания у Страбона достаточно долгой и плодотворной деятельности царицы Динамии и даже ее имени отнюдь не проримскими настроениями и пристрастии царицы – Funck 1985. P. 277–280.

эту возможность можно предположить с достаточной долей уверенности.

Не отрицая возможности использования Страбоном в качестве источника по истории постмитридатовского периода в Северном Причерноморье, а особенно на Боспоре, Гипсикрата, не надо упускать из вида и большую вероятность использования здесь внелитературных источников: семейно-мемуарных, в частности устных[76], архивных, как из частных, так и из государственных архивов, а также официальной политической информации, выставляемой в Риме на всеобщее обозрение в эпиграфическом варианте.

Представляется, что материал о деятельности вышеперечисленных постмитридатовских властителей как на Боспоре, так и в других местах в основном взят именно из внелитературных источников.

Отрывочность же исторических справок у Страбона объясняется характером, целями и идеями «Географии». Возможно также, что более объемные и информативные повествовательные куски об этих правителях вошли в состав страбоновских «Исторических записок»[77] и сознательно не повторены им в «Географии».

Таким образом, в представлениях Страбона о Северном Причерноморье четко прослеживается сиюминутная политическая важность некоторых частей этого региона, особенно Боспора, для официального Рима. Именно поэтому эта информация включена в его сочинение. Это вполне естественно, если принять во внимание биографию и воспитание географа, его романофильство, обусловленное не только его жизненным путем, но и, так сказать, генетически[78], его пребыванием в кругу, близком Августу, в частности близкими отношениями с Элием Галлом[79], при котором он, по-видимому, играл роль, сходную с ролью Феофана Митиленского при Помпее или Феопомпа Книдского при

[76] Своего двоюродного деда Стратарха, некогда близкого ко двору Митридата Евпатора, Страбон встречал лично (Strab. 10. 4. 10). Будущая бабка Страбона по материнской линии вышла замуж за брата наместника Колхиды Моаферна, друга Митридата Евпатора (Strab. 11. 2. 18).

[77] Страбон в 11. 9. 3 отмечает схожую ситуацию с парфянской информацией: «Сказав много о парфянских установлениях в шестой книге “Исторических записок” (второй “После Полибия”), остановимся здесь, чтобы не повторяться ...»

[78] Грацианская 1988. С. 15–16.

[79] Strab. 2. 5. 12. См. также: Aly 1957. S. 165–178.

Цезаре. Сведения Страбона об этом регионе получены в основном книжным путем, при этом при всей некритичности его подхода (с нашей, современной, точки зрения) к разновременным и разнохарактерным источникам, четко прослеживаются цели и идея, в соответствии с которой Страбон их компоновал и переосмысливал. Следует также учитывать, что значительное количество материалов, относящихся к этому региону, носит, по-видимому, внекнижный характер.

Библиография

Агбунов 1979: *Агбунов М.В.* Заметки по античной географии Нижнего Поднестровья. 3. К вопросу о городе Офиуссе // ВДИ. №. 2. С. 128–138.

Агбунов 1984: *Агбунов М.В.* Материалы по античной географии Причерноморья. 10. Стадия Страбона // ВДИ. №. 4. С. 124–141.

Болтунова 1947: *Болтунова А.И.* Описания Иберии в «Географии» Страбона // ВДИ. №. 4. С. 142–160.

Бруяко, Карпов 1992: *Бруяко И.В., Карпов В.А.* Древняя география и колебания уровня моря (на примере северо-западной части Черноморского бассейна в античную эпоху) // ВДИ. №. 2. С. 87–97.

Виноградов 1975: *Виноградов В.Б.* Описания Северного Кавказа в «Географии» Страбона (11. 5. 1–8) // Изв. Сев.-Кавк. науч. центра высш. шк. Обществ. науки. Ростов н/Д. № 4. С. 36–43.

Виноградов 1989: *Виноградов Ю.Г.* Политическая история Ольвийского полиса. М.

Грацианская 1988: *Грацианская Л.И.* «География» Страбона. Проблемы источниковедения // ДГ. 1988. С. 6–175.

Зубарь 1994: *Зубарь В.М.* Херсонес Таврический и Римская империя. Очерки военно-политической истории. Киев.

Кадеев 1979: *Кадеев В.И.* Херсонес, Боспор и Рим в I в. до н. э. – III в. н. э. // ВДИ. №. 2. С. 55–79.

Кадеев 1981: *Кадеев В.И.* Херсонес Таврический в первые века н. э. Харьков.

Кадеев 1989: *Кадеев В.И.* О культе римских императоров в античных городах Северного Причерноморья // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР: Тези доповідей. Одеса. С. 88–89.

Каллистов 1940: *Каллистов Д.П.* Политика Августа в Северном Причерноморье // ВДИ. № 2. С. 65–77.

Латышев 1909: *Латышев В.В.* Заметки по древней географии северного и восточного побережья Черного моря. I. К Страбону 7. 4. 2 // PONTIKA. СПб. С. 129–137.

Меликишвили 1959: *Меликишвили Г.А.* К истории Древней Грузии. Тбилиси.

Парфенов 2001: *Парфенов В.Н.* Император Цезарь Август: армия, война, политика. СПб.

Ростовцев 1925: *Ростовцев М.И.* Скифия и Боспор. Л.

Ростовцев 1913–1914: *Ростовцев М.И.* Страбон как источник для истории Боспора // Сб. статей в честь В.П. Бузескула (Сб. харьковского историко-филологического общества, т. 21). Харьков. С. 366–380.

Сапрыкин 2002: *Сапрыкин С.Ю.* Аспург, царь Боспора // Древности Боспора. М. Т. 5. С. 207–223.

Смолин 1929: *Смолин В.Д.* К вопросу об источниках Страбона к Боспорскому царству // ИТОИАЭ. Симферополь. Т. III (60). С. 66–71.

Сорочан 1980: *Сорочан С.Б.* Зовнішня торгівля Херсонеса Таврийского в I ст. до н. е. // Віcн. Харк. ун-ту. № 201.

Тревер 1958: *Тревер К.В.* Очерки по истории и культуре Кавказской Албании. М.; Л.

Шелов 1970: *Шелов Д.Б.* Танаис и Нижний Дон в III–I вв. до н. э. М.

Aly 1957: *Aly W.* Strabon von Amaseia. Untersuchungen über Text, Aufbau und Quellen der Geographica. Bonn.

Brodersen 1995: *Brodersen K.* Terra Cognita. Studien zur römischen Raumerfassung. Hildesheim.

Daebritz 1905: *Daebritz R.* De Artemidoro Strabonis auctore capita tria. Lipsiae.

Diller 1975: *Diller A.* The Textual Tradition of Strabo's «Geography» / With Appendix: The Manuscripts of Eustathius' Commentary on Dionysius Periegetes. Amsterdam.

Dueck 2000: *Dueck D.* Strabo of Amasia. A Greek Man of Letters in Augustian Rome. L.; N. Y.

Fabricius 1888: *Fabricius W.* Theophanus von Mytilene und Quintus Dellius als Quellen der Geographie des Strabon. Strassburg.

Funaioli 1916: *Funaioli.* Hypsikrates 3 // PWRE. Stuttgart. Bd. 9. Col. 434–435.

Funck 1985: *Funck B.* Das Bosporanische Reich aus der Sicht Strabons // Klio. Bd. 67. S. 273–280.

Geiger 1985: *Geiger J.* Cornelius Nepos and Ancient Political Biografy. Stuttgart (= Historia. Einzelschriften 47).

Hering 1970: *Hering W.* Geographie und Römische Politik. Bemerkungen zur Beschreibung Galliens bei Strabon // Acta classica univ. Debrechen. Vol. 6. S. 45–51.

Jacoby 1916: *Jacoby F.* Hypsikrates 1 // PWRE. Stuttgart. Bd. 9. Col. 433–434.

Kunze 1892: *Kunze R.* Symbolae Strabonianae. Leipzig.

Lassèrre 1984: *Lassèrre F.* Histoire de première main dans la Géographie de Strabon // F. Prontera (ed.) Strabone. Contributi allo studio della personalità e dell'opera. Perugia. Vol. 1. P. 11–26.

Lassèrre 1982: *Lassèrre F.* Strabon devant l'Empire romain // Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der Neueren Forschung. 2. Principat. Bd. 30. 1 / Hrsg. von Wolfgang Haase. Berlin; New York. S. 867–896.

Munz 1918: *Munz R.* Quellenkritische Untersuchungen zu Strabo's Geographie mit besonderer Rucksicht auf die posidonianische Sprachtheorie. Basel.

Neumann 1881: *Neumann K.* Strabons Quellen in 11 Buche. I. Kaukasien Halle.

Pédech 1972: *Pédech P.* Strabon historien // Studi Classici in onore di Quintino Cataudella. Catania. Vol. 2. P. 395–408.

Rostowzew 1931: *Rostowzew M.* Scythien und der Bosporus. Berlin. Bd. 1.

Ruge 1888: *Ruge G.* Quaestiones Strabonianae. Leipzig.

Список сокращений

ВДИ –Вестник древней истории.

ДГ – Древнейшие государства на территории СССР / Восточной Европы. Материалы и исследования. Ежегодник. М.: Наука.

ИТОИАЭ – Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. Симферополь.

PWRE –Pauly–Wissowa–Kroll. Realencyclopadie der Klassischen Altertumswissenschaft. Stuttgart.

Э.В. Янзина

АНТИЧНЫЙ КУЛАЧНЫЙ БОЙ. ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГРЕЧЕСКИХ И ЛАТИНСКИХ СПОРТИВНЫХ ТЕРМИНОВ

На протяжении почти всей истории изучения античности ученые хотя и признавали важное значение атлетики и как части ее единоборств в античной культуре, очень немногие из них отдавали себе отчет в том, сколь велико было это значение и как тесно была связана со спортом древнегреческая жизнь во многих ее проявлениях.

Примерно пятую часть своего времени греки проводили за занятиями физической культурой и спортом. Уже с архаической эпохи гимнастические упражнения стали неотъемлемой частью античного образования. Но и после его завершения греки продолжали ежедневно посещать палестры и гимнасии, которые вплоть до глубокой старости оставались их любимым местом отдыха.

Поэтому неудивительно, что спортивные мотивы и терминология, прекрасно знакомые большинству образованных людей античного времени, проникли в самые разные области тогдашней культурной жизни: литературу, риторику, медицину, изобразительное искусство и даже эротическую сферу.

Практически в любом произведении античной литературы, начиная с поэм Гомера и кончая сочинениями христианских писателей, можно встретить образы, сравнения, метафоры, а иногда и непосредственные описания единоборств и атлетических состязаний (более всего их у Пиндара, Аристофана, Платона, Феокрита, Вергилия, Филона Александрийского, Сенеки Младшего, Стация, Валерия Флакка, Плутарха, Лукиана, Галена, Павсания, Иоанна Златоуста и Нонна Панополитанского).

Именно эти места в произведениях древнегреческих и римских авторов вызывают наибольшие затруднения у современных переводчиков, комментаторов и издателей античных текстов.

Причина подобных затруднений скорее всего заключается в отсутствии систематических исследований, которые были бы специально посвящены античным спортивным единоборствам и их терминологии.

После выхода в свет в 1575 г. книги Иеронима Меркуриала *De arte gymnastica* («О гимнастическом искусстве»), первого новоевропейского компендия знаний об античном атлетизме (кстати сказать, выдержавшего несколько изданий[1]), спортивная тематика более двух столетий была неинтересна большинству исследователей античности.

Только начиная с середины XIX в. в связи с подъемом олимпийского движения появляются новые исследования в области античного спорта и единоборств[2], но несмотря на это данная тема до сих пор остается одной из наименее изученных как в отечественной, так и в зарубежной классической филологии.

Главная причина этого состоит, по-видимому, в обширности, фрагментарности и многообразии предоставляемого античными источниками материала, а также в недостаточно глубоком знании исследователями теории и практики физической культуры и спорта.

Таким образом, важнейшей на сегодняшний день задачей остается изучение и приведение в систему обширной, но недостаточно пока известной лексики античных единоборств и состязаний.

В основе подобного изучения должно лежать комплексное рассмотрение всех имеющихся в нашем распоряжении источ-

---

[1] *Mercurialis H.* De arte gymnastica libri sex. Venetiis, 1587.

[2] Классическими признаны труды Иоганна Генриха Краузе (Olympia oder Darstellung der großen Olympischen Spiele. Vienna, 1838; Gymnastik und Agonistik der Hellenen. Leipzig, 1841), Эдварда Нормана Гардинера (Greek Athletic Sports and Festivals. London, 1910; Olympia, its History and Remains. Oxford, 1925; Athletics of the Ancient World. Oxford, 1930), Юлиуса Ютнера (Philostratos über Gymnastik. Leipzig; Berlin, 1909; Über antike Turngeräte. Wien, 1896; Die athletischen Leibesübungen der Griechen. Wien, 1965) и Майкла Полякова (Studies in the Terminology of the Greek Combat Sports. Königstein/Ts., 1982; Combat Sports in the Ancient World: Competition, Violence and Culture. New Haven; London, 1987).

ников: литературных текстов, собраний надписей, папирусов и памятников изобразительного искусства начиная с древнейших времен и кончая последними веками античности.

Непременным условием адекватного истолкования спортивных терминов является понимание того, какие конкретные действия стоят за тем или иным упомянутым в литературе описанием и переносным оборотом. Таким образом, еще одной задачей становится реконструкция практической стороны единоборств во всех деталях, включая применяемые атлетами приемы, условия и правила проведения соревнований и т. д.

Данная статья посвящена рассмотрению практики и терминологии кулачного боя как одного из важнейших видов античных единоборств. Она начинается с краткого экскурса в историю этой спортивной дисциплины и завершается реконструкцией правил, технической и терминологической сторон рассматриваемого вида состязаний. В отдельных случаях для лучшего понимания античных приемов и обозначающих их терминов мы будем обращаться к описаниям и иллюстрациям, предлагаемым в литературе по современным видам спорта, стараясь избегать при этом стилизации античной практики под современность.

Из истории античного кулачного боя

По мнению одного из героев Плутарха (Quaest. conv. 638 e), греческое название кулачного боя πυγμή происходит от слова «кулак» (πυγμή), так как именно эта часть руки в наибольшей мере задействована в данном единоборстве. Другие названия кулачного боя – πυγμαχία, πύκτευσις («кулачный бой»), πυκτοσύνη, ἡ πυκτική («искусство кулачного боя»). Глагол πυκτεύειν («биться на кулаках») впоследствии начал использоваться и при описании гладиаторских боев[3].

[3] Πυγμή: Hom. Il. XXIII, 669; Eurip. Alc. 1031; Anth. Gr. VI, 256; Plato. Leg. 795 b; Demosth. LXI, 24; IG VII 1765 (Феспии) и др. Πυγμαχία: Il. XXIII, 653, 665; Pind. Olymp. XI, 12; Apoll. Rhod. Arg. II, 7, 16; Q. Smyrn. IV, 284; Nonn. Dionys. XXXVII, 485; IG XII 3, 390 (= *Moretti L.* Iscrizioni agonistiche greche, 1953. Roma. № 55) (Фера, сер. I в. н. э.) и т. д. Ἡ πυκτική: Plato. Gorg. 460 d; Alc. 2, 145 d; Aristot. Cat. 10 b 3. Πυκτοσύνη: Xenophan. Frg. II, 4. Πύκτευσις: Gloss. Πυκτεύειν (о кулачных бойцах): Xenoph. Lac. 4, 6; Demosth. IV, 40; Plato. Gorg. 456 d; I Ep. Cor. 9, 26 и др.; (о гладиаторах): Artemid. II, 32; V, 58; ср.: L. Robert. Πυκτεύειν. – Rev. arch. V, Séries XXX (1929), 24 sqq. (Гортин); SEG XXXII 605 (Ларисса, II в. н. э.).

Латинское наименование кулачного боя (*pugil(l)atus*) можно также сопоставить со словом *pugnus* («кулак»)[4].

Соревнования в этом виде спорта возникли довольно рано. Изображения кулачного боя мы находим уже критском сосуде 1500 г. до н. э. (Рис. 1,1а).

Кулачный бой упоминается уже в «Илиаде» Гомера (Il. XXIII, 652–699) и занимает достойное место среди других видов спорта, в которых состязаются герои на похоронах Патрокла. При этом победа в кулачном бою фактически приравнивается поэтом к воинской доблести и наряду с ней признается наивысшим воплощением конечной цели устремлений «героической» эпохи – ἀρετή[5], стоящей у истоков того агонального идеала существования, в котором многие историки античности видят одну из характернейших особенностей греческого понимания жизни.

Схолии к Пиндару приписывают изобретение кулачного боя Тесею (Nem. V, 89 a – οὕτως [ὁ Θησεὺς Ἀθηναῖος] ἐνομίσθη εὑρετὴς τῆς πυγμῆς).

Однако Филострат полагает, что первыми стали практиковать это единоборство спартанцы (Gymn. 9: Πυγμὴ δὲ Λακωνικὸν εὕρημα – «кулачный бой – спартанское изобретение»). Их боевая экипировка не включала в себя шлемов, и, занимаясь кулачным боем, они учились держать удары в голову и защищаться от них. Впоследствии спартанцам было запрещено проводить публичные состязания в этом виде спорта[6], но их пристрастие к кулачному бою тем не менее сохранилось. Подтверждением этому служат слова Платона, который писал, что современные ему «привержен-

---

[4] Ср.: *Walde A., Hofmann J.B.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 3, neubearb / Aufl. von J.B. Hofmann. Heidelberg, 1954. Bd. II. S. 383.

[5] Подтверждением этому могут служить слова Эпея, который, претендуя на первую награду в кулачном бою, говорит следующее (XXIII, 668–671): ἄσσον ἴτω ὅς τις δέπας οἴσεται ἀμφικύπελλον'/ ἡμίονον δ' οὔ φημί τιν' ἀξέμεν ἄλλον Ἀχαιῶν/ πυγμῇ νικήσαντ', ἐπεὶ εὔχομαι εἶναι ἄριστος./ ἦ οὐχ ἅλις ὅττι μάχης ἐπιδεύομαι; οὐδ' ἄρα πως ἦν/ ἐν πάντεσσ' ἔργοισι δαήμονα φῶτα γενέσθαι – «Выступи тот, кто намерен кубок унесть двоедонный. / Меска ж, надеюся я, не отвяжет никто из ахеян, / В битве кулачной победный: горжуся, боец я здесь первый! / Будет того, что меж вами я воин не лучший, – что делать: / Смертному в каждом деянии быть невозможно отличным» (пер. с др.-греч. Н.И. Гнедича. См.: *Гомер*. Илиада. М.: Художественная литература, 1987).

[6] Philostr. Gymn. 9; Plut. Reg. et imp. apophth. 188 e.

цы спартанцев, подражая им, разбивают уши, обматывают руки ремнями и любят гимнастические упражнения» [Protag. 342 b: οἱ μὲν (λακωνίζοντες) ὦτά τε κατάγνυνται μιμούμενοι αὐτούς, καὶ ἱμάντας περιειλίττονται καὶ φιλογυμναστοῦσιν][7].

По мнению Плутарха, кулачный бой возник при подготовке к военным действиям и представлял собой имитацию ударов и защиты от них (Quaest. conv. 640 a: πυγμὴ μέν ἐστι μίμημα πληγῆς καὶ φυλακῆς).

Первыми победителями в кулачном бою считались Аполлон[8], Полидевк[9] и Тидей[10].

В Олимпии соревнования в этом виде спорта среди мужчин начали проводиться на 23-й олимпиаде (688 г. до н. э.)[11], а среди мальчиков – на 41-й олимпиаде (616 г. до н. э.)[12]. Первым победителем во взрослой категории был Ономаст из Смирны, а в детской – Филет из Сибариса.

Создателем кулачного боя как искусства считался Пифагор с острова Самос, который стал победителем на 48-й олимпиаде (588 г. до н. э.)[13].

Римляне признавали полезность кулачного боя и охотно практиковали его. Плутарх рассказывает, что Катон Старший сам обучал своего сына метанию копья, фехтованию, верховой езде, плаванию и кулачному бою (Cato 20, 6: τῇ χειρὶ πύξ παίειν – «ударять рукой в кулачном бою»).

Римляне с удовольствием смотрели соревнования по этому виду спорта. Первая постановка комедии Теренция «Свекровь» (*Hecyra*) в 165 г. до н. э. была сорвана из-за того, что зрители в середине пьесы убежали смотреть на кулачных бойцов и канатоходцев (Ter. Hec. 33).

Любовь римлян к зрелищам подобного рода отмечает и Гораций (Ep. II, 1, 185–186): *media inter carmina poscunt / aut ursum*

---

[7] Ср. Xenoph. Lac. 4, 6.

[8] Paus. V, 7, 10.

[9] Paus. V, 8, 4; Dio Chrys. XXXVII, 14.

[10] Ps-Apollod. Bibl. 3, 66.

[11] Paus. V, 8, 7. Ср.: *Moretti L.* Olympionikai, i vincitori negli antichi agoni olimpici // Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Roma, 1957. Ser. VIII. Vol. VIII. Fasc. 2. № 29.

[12] Paus. V, 8, 9. Ср.: *Moretti L.* Olymp. № 71.

[13] Diog. Laert. VIII, 47 (τοῦτον εἶναι τὸν πρῶτον ἐντέχνως πυκτεύσαντα – «Он первым стал искусно биться на кулаках»). Ср.: *Moretti L.* Olymp. № 88.

aut pugiles: his nam plebescula gaudet – «Посередине пьесы требуют или медведя, или кулачного бойца: им народец рад». Но сами римляне сначала воздерживались от участия в состязаниях по кулачному бою[14]. Поэтому устроители игр часто приглашали атлетов из других мест[15].

Римские императоры также не обходили вниманием состязания кулачных бойцов. Особенно любил смотреть на представителей этого вида спорта Октавиан Август (Suet. Aug. 45, 2), а Калигула между поединками гладиаторов выводил целые отряды кулачных бойцов, привезенных из Африки и Кампании (Id. Cal. 18, 1).

Защитное снаряжение для рук

Древнегреческие кулачные бойцы использовали три типа защитного снаряжения для рук: мягкие кулачные ремни, жесткие кулачные ремни и шаровидные перчатки.

Изобретателем кулачных ремней считался царь бебриков Амик[16].

Мягкие кулачные ремни (*termini technici* – αἱ μειλίχαι, ἱμάντες μαλακώτεροι) упоминаются уже в «Илиаде» Гомера (XXIII, 684). Их подробное описание мы находим у Филострата (Gymn. 10) и Павсания (VIII, 40, 3). Мягкие кулачные ремни представляли собой длинные тонкие полоски из сыромятной воловьей кожи, которыми обматывали ладони так, чтобы пальцы оставались свободными и руку можно было сжать в кулак. Затем ремни закреплялись на предплечье. Этот вид защитного снаряжения часто изображался на греческих вазах VI–V вв. до н. э. (Рис. 2).

В IV в. до н. э. появились жесткие кулачные ремни (*terminus technicus* – ἱμὰς ὀξύς)[17]. Они представляли собой перчатки с отверстиями для пальцев. Отличительным признаком этих ремней было жесткое кожаное кольцо, которое окружало пястные кости. Края кольца были острыми и при ударе могли порезать противника. Указания на это мы встречаем у Аполлония Родосского (Arg. II, 52–53), Квинта Смирнского (IV, 338–339) и Нонна Панополи-

[14] Tac. Ann. XIV, 20.

[15] Liv. I, 35, 9.

[16] Clem. Alex. Strom. I, 16, 76; Schol. Plato. Leg. 796 a.

[17] Paus. VIII, 40, 3; Philostr. Gymn. 10.

танского (Dionys. XXXVII, 507; 510)[18]. Перчатки доходили до середины предплечья или до локтя и иногда были оторочены сверху овчиной (Рис. 3)[19]. Такая длина и отделка перчатки объясняется тем, что кулачные бойцы того времени часто парировали удар противника предплечьем, тогда как в современном боксе этот способ защиты используется довольно редко.

Шаровидные перчатки (*termini technici* – σφαῖραι, τὰ ἐπίσφαιρα) впервые упоминаются у Платона (Leg. 830 a), который предлагает использовать их на тренировках вместо кулачных ремней, считая, что таким образом повысится эффективность занятий: ἀντὶ ἱμάντων σφαίρας ἂν περιεδούμεθα, ὅπως αἱ πληγαί τε καὶ αἱ τῶν πληγῶν εὐλάβειαι διεμελετῶντο εἰς τὸ δυνατὸν ἱκανῶς – «Вместо ремней мы надели бы шаровидные перчатки, чтобы как можно лучше изучить удары и способы их отражения». По мнению Плутарха, атлеты, применяющие шаровидные перчатки, не получают серьезных повреждений, так как такое защитное снаряжение смягчает удар и делает его менее болезненным (Praec. rei publ. ger. 825 e: τῶν μὲν γὰρ ἐν ταῖς παλαίστραις διαμαχομένων ἐπισφαίροις περιδέουσι τὰς χεῖρας, ὅπως εἰς ἀνήκεστον ἡ ἅμιλλα μηδὲν ἐκπίπτῃ, μαλακὴν ἔχουσα τὴν πληγὴν καὶ ἄλυπον). Сохранилось карикатурное изображение кулачного бойца в шаровидных перчатках (Рис. 4). Возможно, что этот тип защитного снаряжения является ближайшим аналогом современных боксерских перчаток[20].

В греческой литературе кулачные ремни, мягкие и жесткие, иногда назывались μύρμηκες («муравьи»)[21]. Известно, что муравьи больно кусаются. Может быть, именно по этой причине ремни кулачных бойцов получили такое наименование. Комментатор Гомера Евстафий рассказывает об анекдотическом случае, приключившемся с одним неудачливым кулачным бойцом, который пропустил много ударов на состязаниях. Покупая участок земли, он узнал о том, что там водятся муравьи. Слово «муравьи» так поразило беднягу, что он тут же поспешил расторгнуть сделку (Comm. ad Hom. Il. IV, 815). Одна из греческих эпиграмм (Anth. Gr. XI, 78) посвящена кулачному бойцу Аполлофану, голова ко-

[18] Ср. Hesych. χ 287.
[19] Philostr. Her. 678, 18.
[20] Подробнее см.: *Poliakoff M.* Studies. P. 88–100.
[21] Hesych. μ 1902; Schol. Pind. Nem. V, 89 a.

торого так изуродована «муравьями», что он смело может отправляться на любые состязания, не опасаясь за свою внешность[22].

В Италии и Иллирии использовались другие типы снаряжения для рук: римские кастеты (*caestus*) и некие приспособления, напоминающие по форме гантели. Такие приспособления часто изображаются на памятниках италийского искусства VII–III вв. до н. э. (Рис. 5, 5а). К сожалению, у нас нет сведений о происхождении, материале и назначении этого типа снаряжения.

Описания римских кастетов встречаются у Вергилия[23] и Стация[24]. Кроме того, об их устройстве мы можем судить по дошедшим до нас изображениям на памятниках искусства (Рис. 6). Кастеты состояли из твердого шара или цилиндра, куда боец помещал свою руку, и перчатки, которая иногда доходила до плечевого сустава. Вокруг пястных костей проходила кожаная полоска, в которую вшивались металлические пластины или шипы. Поэтому кастеты скорее наносили тяжелые повреждения, чем защищали руку[25].

Таким образом, ремни кулачных бойцов со временем становятся все более травмоопасными, а это, в свою очередь, не может не сказаться на манере ведения поединков, в которой начинает преобладать оборонительная тактика.

Условия и правила проведения соревнований

В античности не было ринга в современном понимании этого слова. Но при необходимости судьи могли ограничить площадку, на которой проводилось соревнование. Для этого использовалось специальное ограждение, называвшееся κλῖμαξ («лестница»)[26] (Рис. 7).

---

[22] Другие примеры и комментарии к ним см.: *Poliakoff M.* Studies. P. 54 sqq.

[23] Verg. Aen. V, 404–405: *tantorum ingentia septem / terga boum plumbo insuto rigebant* – «семь бычьих шкур огромного размера с вшитым в них свинцом».

[24] Stat. Theb. VI, 732–733: *nigrantia plumbo / tegmina cruda boum* – «сыромятные бычьи шкуры, чернеющие свинцом».

[25] Впрочем, латинское слово *caestus* могло использоваться и для описания кулачных ремней обычного типа (ср.: Verg. Aen. V, 424).

[26] Eustath. Comm. ad Hom. Il. IV, 817; Hesych. ε 1444.

Перед началом поединка некоторые бойцы проводили разминку. О ней упоминается в произведениях Аполлония Родосского[27], Лукиана[28], Квинта Смирнского[29] и Вергилия[30].

В отличие от современного бокса кулачный бой не имел раундов. Впрочем, атлеты могли по обоюдному согласию прервать поединок, чтобы восстановить дыхание и немного отдохнуть[31].

Продолжительность поединка специально не регламентировалась. Известны случаи, когда кулачные бойцы состязались в течение всего дня[32].

Атлет объявлялся победителем, если он отправлял противника в нокаут (*termini technici* – греч. καταβάλλειν[33], лат. *percellere*[34] – «сбивать с ног ударом») или если его соперник признавал свое поражение (ἀπαυδᾶν)[35]. Боец мог отказаться от продолжения борьбы как устно (ἀπαγορεύειν, ἀπειπεῖν)[36], так и с помощью специального жеста (Рис. 8)[37].

---

[27] Apoll. Rhod. Arg. II, 45–48: πῆλε δὲ χεῖρας / πειράζων εἴθ᾽ ὡς πρὶν εὐτρόχαλοι φορέονται/ μηδ᾽ ἄμυδις καμάτῳ τε καὶ εἰρεσίῃ βαρύθοιεν. / οὐ μὰν αὖτ᾽ Ἄμυκος πειρήσατο – «Полидевк взмахнул руками, проверяя, по-прежнему ли они проворны и не отяжелели ли от усталости и гребли. Что до Амика, то он пробы не делал».

[28] Luc. Herm. 33: ἀσκούμενον πρὸ τοῦ ἀγῶνος... πὺξ κενὴν πληγήν τινα καταφέροντα ὡς τὸν ἀνταγωνιστὴν δῆθεν παίοντα – «Упражняющийся перед состязанием... поражает кулаком пустоту, как будто наносит удары воображаемому противнику».

[29] Q. Smyrn. IV, 344–345: ἄμφω χεῖρας ἑὰς πειρώμενοι, εἴ περ ἔασιν / ὡς πρὶν εὐτρόχαλοι μηδ᾽ ἐκ πολέμου βαρύθοιεν – «Оба (Эпей и Акамант) пробуют свои руки, быстры ли они, как прежде, и не отяжелели ли они от ратных трудов».

[30] Verg. Aen. V, 376–377: *alternaque iactat / bracchia protendens et verberat ictibus auras* – «Дарет поочередно выбрасывает вперед руки и наносит ими удары в воздух».

[31] Apoll. Rhod. Arg. II, 85–87; Dio Chrys. XXVIII, 7; Polyb. Hist. XXVII, 9; Stat. Theb. VI, 798–801.

[32] Dio Chrys. XXVIII, 4; Paus. VIII, 40, 3. Ср.: Inschr. v. Olymp. 54 = Syll.³ 1073.

[33] Dio Chrys. VIII, 18; Plut. In virt. profect. 80 b; Ael. Arist. Λαλιὰ εἰς Ἀσκληπιόν 39 (ср. Hom. Il. XXIII, 689–697) и др.

[34] Verg. Aen. V, 374; Stat. Theb. VI, 805.

[35] Plut. Reg. et imp. apophth. 189 e.

[36] Philostr. Gymn. 9; Dio Chrys. XXVIII, 7. Ср.: Sen. Ben. V, 3, 1.

[37] Theocr. XXII, 128–130: πᾶς δ᾽ ἐπὶ γαίῃ / κεῖτ᾽ ἀλλοφρονέων καὶ ἀνέσχεθε νεῖκος ἀπαυδῶν / ἀμφοτέρας ἅμα χεῖρας – «Теряя сознание, Амик весь распростерся на земле и поднял обе руки одновременно, отказываясь от поединка».

Поединок в кулачном бою мог оканчиваться вничью (*terminus technicus* – ἱερὸν ποιεῖν или просто ἱερά[38]). Но такой исход был скорее исключением, чем правилом[39].

Кулачный бой считался одним из самых опасных видов спорта. Так, стихотворная часть надписи середины I в. н. э. в честь кулачного бойца и панкратиаста Дориклида с острова Фера начиналась словами: Ἁ νίκα πύκταισι δι᾽ αἵματος – «Победа достается кулачным бойцам через кровь» (IG XII 3, 390 = Moretti. Iscr. № 55).

Другой пример мы находим у Павсания (VI, 15, 5), который в своем рассказе о Клитомахе Фиванском описывает эпизод, произошедший с этим прославленным атлетом на 142-х олимпийских играх (212 г. до н. э.). Тогда Клитомах, решив участвовать в соревнованиях и кулачных бойцов, и панкратиастов, обратился к судьям с просьбой, чтобы они объявили поединок в панкратионе раньше, чем он, выступив в кулачном бою, получит травмы (εἰ τὸ παγκράτιον ἐσκαλέσαιντο πρὶν ἢ πυκτεύσαντα αὐτὸν λαβεῖν τραύματα)[40]. Просьба атлета была удовлетворена, но не принесла ему желаемого результата. Клитомах проиграл состязание панкратиастов, но зато стал победителем в кулачном бою.

Повреждения и раны кулачных бойцов иногда изображались и на памятниках античного искусства (Рис. 9).

Поединки кулачных бойцов могли завершаться смертью одного из спортсменов. При этом победа присуждалась оставшемуся в живых атлету, если он не нарушил правила соревнований. В противном случае его лишали награды и с позором изгоняли с места проведения игр. Об одном из таких случаев сообщает нам Павсаний (VIII, 40, 3). На Немейских состязаниях 400 г. до н. э.[41]

---

[38] *Moretti L.* Iscr. P. 201 и др.

[39] Q. Smyrn. IV, 309–310 (ἔλαβον δέ οἱ ἶσον ἄεθλον – «соперники взяли равные награды»); Luc. Ver. hist. 2, 22 (πυγμὴ δὲ ἴση ἐγένετο Ἀρείου τοῦ Αἰγυπτίου... Ἐπειοῦ ἀλλήλοις συνελθόντων – «кулачный бой, произошедший между египтянином Ареем... и Эпеем, закончился вничью»).

[40] Ср.: Artemid. I, 61–62; Liban. LXIV, 119; Gal. Art. addisc. 12 и т. д. Высмеиванию изуродованной внешности кулачных бойцов посвящена целая серия античных эпиграмм: Anth. Gr. XI, 81; 75; 77; ср. Theocr. XXII, 45; Demosth. LXI, 24; Luc. Dial. deor. XV, 1 и др. Отсутствие следов травм и увечий на лице кулачного бойца вызывало в древности удивление (Dio Chrys. XXVIII, 7).

[41] *Klee Th.* Zur Geschichte der gymnischen Agone an griechischen Festen. Leipzig; Berlin, 1918. S. 104.

хозяева игр присудили победный венок уже мертвому Кревгу, так как его противник Дамоксен нарушил их взаимный договор, по которому они должны были наносить друг другу удары поочередно. Дамоксен же не только ударил Кревга в туловище, но, пробив кожу, извлек внутренности соперника наружу, чем и спровоцировал его мгновенную гибель[42].

Однако, несмотря на повышенную травмоопасность кулачный бой был излюбленным занятием греческой аристократии архаической и классической эпохи. Его, в частности, практиковали проспартански настроенные представители афинского высшего общества. Неслучайно в диалогах Платона неоднократно встречаются полушутливые намеки на неких молодцов с «изуродованными ушами» (Gorg. 515 e: τῶν τὰ ὦτα κατεαγότων)[43].

Другим примером может служить семья знаменитого кулачного бойца V в. до н. э. Диагора Родосского, взрастившая несколько поколений олимпийских чемпионов и ведшая свое происхождение от Гераклидов[44].

К сожалению, мы не располагаем полным описанием правил античного кулачного боя. Возможно, они различались в зависимости от времени и места проведения соревнований. Иногда (как, например, в Theocr. XXII, 66–67) правила определялись взаимной договоренностью атлетов.

По свидетельству Плутарха, в кулачном бою были запрещены захваты (Quaest. conv. 638 e: τοὺς δὲ πύκτας οὐδὲ πάνυ

---

[42] Другие примеры смертельного исхода поединков в кулачном бою: Paus. VI, 9, 6 (ср.: Theod. Gr. aff. cur. VIII, 27); Phot. Bibl. 190, 151 a; G. J. M. G. Te Riele. – BCH. 1964. LXXXVIII. P. 186–187 (эпитафия Агафа Демона из Александрии, прозванного Верблюдом). Ср. несчастные случаи, произошедшие во время поединков в панкратионе (Philostr. Im. II, 6; ср. Gymn. 21; Paus. VIII, 40, 1–2; I. Ephesos VII 1, 3446) и борьбы (Syll.³ 274 = Moretti. Iscr. № 29 = *Ebert J.* Griechische Epigramme auf Sieger an gymnischen und hippischen Agone // Abhandlungen der Sächsichen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philosophisch-historische Klasse. Berlin, 1972. 63. Bd. 2. Heft. ([№ 44 Дельфы, 336–332 гг. до н .э.] Hippocr. Morb. popul. V, 1, 14). Ср. также: Schol. Pind. Olymp. V, 34 b; Plato. Leg. 865 a–b; Demosth. XXIII, 53; Aristot. Ath. Pol. 57, 3; Iust. Dig. IX, 2, 7, 4, где обсуждается вопрос о юридической ответственности атлетов, нечаянно убивших своих противников во время состязаний.

[43] Ср.: *Dodds E.R.* Gorgias. Oxford, 1959. P. 357. См. также: Plato. Protag. 342 b и др.

[44] *Gildersleeve B.* Pindar, Olympian and Pythian Odes. N. Y., 1890. P. 182 sq.

βουλομένους ἐῶσιν οἱ βραβευταὶ συμπλέκεσθαι – «кулачным бойцам судьи не позволяют захватывать друг друга, хотя бы сами они и очень хотели этого»).

Существование такого запрета подтверждают изображения на вазах VI и V вв. до н. э., на которых представлены судьи, наказывающие атлетов за захваты различных частей тела противников (Рис. 10).

Наряду с этим мы располагаем другими источниками, в которых сообщается об использовании захватов в кулачном бою. Так, у Феокрита царь бебриков Амик перед нанесением удара захватывает руку Полидевка (XXII, 119): σκαιῇ μὲν σκαιὴν Πολυδεύκεος ἔλλαβε χεῖρα – «Амик схватил левой рукой левую руку Полидевка».

Описание обоюдного захвата противников встречается также у Нонна Панополитанского (Dionys. XXXVII, 525): ἄμφω δ᾽ εἰς ἓν ἵκανον – «Оба [Мелисс и Эвримедонт] сплелись воедино».

Следует отметить, что по сравнению с современным боксом в кулачном бою было меньше ограничений в использовании тех или иных приемов. Бойцам разрешалось наносить удары не только кулаком, но и открытой ладонью (15).

Голова была основной мишенью для ударов. Евстафий, комментируя XXIII песнь «Илиады» (IV, 816), пишет, что кулачные бойцы целились в основном в область рта, глаз и ушей (τὰ κατὰ στόμα καὶ ὀφθαλμοὺς εἰκὸς ἦν κρουσθῆναι, ὧν καὶ αὐτῶν ἐστοχάζοντο πάντως οἱ πύκται, καθὰ καὶ ὤτων)[45].

Спортсменам запрещалось заниматься откровенным членовредительством. Это подтверждает сцена из кулачного боя, представленная на одной чернофигурной амфоре, на которой изображен судья, пресекающий попытку одного из атлетов нанести колющий удар пальцами в глаза противника (Рис. 11 б).

В кулачном бою допускались удары в корпус. Их описания мы находим в произведениях Феокрита (XXII, 109), Павса-

[45] Ср.: Philostr. Gymn. 9, где говорится о причине популярности кулачного боя у древних спартанцев и его роли в военном деле: ὡς οὖν φυλάττοιντο μὲν τὰς κατὰ τοῦ προσώπου πληγάς, πληττόμενοι δὲ ἀνέχοιντο, πυγμὴν ἐπήσκησαν καὶ τὰ πρόσωπα οὕτω (στέγειν) ἐνεγυμνάζοντο – «Чтобы избегать ударов в голову (букв. лицо), а также в случае попадания [спокойно] выдерживать их, они занимались кулачным боем и таким образом упражнялись в защите лицевой части головы от ударов».

ния (VIII, 40, 3), Нонна (Dionys. XXXVII, 520–521), Вергилия (Aen. V, 434) и Валерия Флакка (Arg. IV, 300–301). Так, один из героев Нонна Панополитанского встречает устремившегося на него соперника контрударом в корпус: ἔνθα μὲν Εὐρυμέδοντος ἐπεσσυμένοιο Μελισσεὺς / στήθεος ἄκρον ἔλασσεν – «Тогда Мелисс ударил в край груди бросившегося на него Эвримедонта».

Удары в туловище представлены на памятниках изобразительного искусства. На чернофигурной вазе из Черветери боец, изображенный слева, по всей видимости, пропустил удар в корпус, полагая, что его противник нанесет удар в голову (Рис. 11 в).

Впрочем, удары в корпус использовались в кулачном бою сравнительно редко. На это указывает положение рук бойцов при нанесении ударов. Одну руку они выводили вперед, для того чтобы парировать удар противника, а локоть другой руки, находившейся в состоянии замаха, был поднят до уровня плеча (Рис. 11 а). Такая исходная позиция удобна для нанесения ударов в голову, но при этом атлет оказывался менее защищенным от ударов в корпус. Трудно объяснить, почему в античном кулачном бою мало использовалось такое эффективное средство, как удары в корпус.

Удар в пах засвидетельствован на одной греческой вазе VI в. до н. э. (Рис. 12). Другими источниками мы не располагаем. Поэтому нет оснований утверждать, что на состязаниях разрешалось наносить удары в эту часть тела.

Некоторые авторы сообщают об использовании в кулачном бою ударов ногами по ногам (προσβαίνεσθαι ταῖς τῶν ἀντιπάλων κνήμαις – букв. «наступать на голени противников»)[46]. Тем не менее не сохранилось памятников изобразительного искусства, на которых были бы представлены эти удары.

Скорее всего, применение подобной техники определялось предварительной договоренностью бойцов. Подтверждение этому мы находим в 66–67 стихах XXII Идиллии Феокрита. Перед началом состязания Амик на вопрос Полидевка, будет ли это поединок только в кулачном бою или можно также бить ногами по ногам, отвечает: «Сжав кулаки, не жалей своего искусства» (ПО. πυγμάχος ἦ καὶ ποσσὶ θένων σκέλος, ὄμματα δ᾽ ὀρθά; / АМ. πὺξ διατεινάμενος σφετέρης μὴ φείδεο τέχνης).

---

[46] Philostr. Gymn. 11, 34; ср.: Euseb. Praep. evang. V, 34, 1: ἡ πυκτικὴ τῆς λακτικῆς οὐδὲν διαφέρει – «кулачный бой ничем не отличается от искусства наносить удары ногами».

Техника и терминология кулачного боя
Стили античного кулачного боя

Сохранились свидетельства о существовании по крайней мере двух стилей античного кулачного боя – ионийского и аркадского. В то время как в первом предпочтение отдавалось интеллектуальной составляющей, во втором большую роль играли, по всей видимости, телесная мощь и сила духа бойца.

У истоков ионийского направления стоял первый олимпийский победитель в данной дисциплине Ономаст из малоазийской Смирны (ол. 23 = 688 г. до н. э.)[47]. Согласно Филострату, «этот атлет также написал правила кулачного боя, которые по причине мудрости их составителя стали соблюдать элидцы и которые не вызывали неудовольствия у аркадян из-за того, что были созданы для них человеком, прибывшим из изнеженной Ионии» (καὶ νόμους ἔγραψεν ὁ ἀθλητὴς οὗτος πυκτικούς, οἷς ἐχρῶντο οἱ Ἠλεῖοι διὰ σοφίαν τοῦ πύκτου, καὶ οὐκ ἤχθοντο οἱ Ἀρκάδες, εἰ νόμους ἔγραψεν αὐτοῖς ἐναγωνίους ἐξ Ἰωνίας ἥκων τῆς ἁβρᾶς)[48]. Еще одним представителем ионийской традиции был уже упоминавшийся Пифагор Самосский, который победил на 48-й олимпиаде (588 г. до н. э.) и первым внес в кулачный бой элементы искусства (τὸν πρῶτον ἐντέχνως πυκτεύσαντα... νικῆσαι). Любопытно, что выступление Пифагора на тех олимпийских играх не обошлось без скандала. По словам Эратосфена и Фаворина[49], самосец появился на состязаниях в пурпурной одежде и с длинными распущенными волосами (κομήτην καὶ ἁλουργίδα φοροῦντα). При этом он, несмотря на внешнюю возмужалость, заявил, что будет участвовать в соревнованиях среди мальчиков. Получив в ответ отказ и насмешки, Пифагор вступил в состязание взрослых бойцов, в котором одержал победу над всеми своими соперниками (ἐκκριθῆναί τ' ἐκ τῶν παίδων καὶ χλευασθέντα αὐτίκα προσβῆναι τοὺς ἄνδρας καὶ νικῆσαι).

Претенциозные внешность и поведение Пифагора Самосского до некоторой степени оправдывают широко распространенное в античности мнение о присущей ионийцам склонности

[47] Paus. V, 8, 7; Philostr. Gymn. 12. Ср.: *Moretti L.* Olymp. № 29.

[48] Philostr. Ibid.

[49] Eratosth. Frg. 11 j; Favor. Frg. 59 (utrique apud Diog. Laert. VIII, 47–48). В память об этом атлете сохранились две античные эпиграммы Anth. Gr. app. XI и XXXV. См. также: *Moretti L.* Olymp. № 88.

к изнеженному образу жизни, которая вызывала неодобрение в остальном греческом мире[50]. По-видимому, именно желание отмежеваться от ионийской традиции побудило кулачного бойца начала IV в. до н. э. Филиппа из Аркадии объявить себя приверженцем другого, более древнего, стиля ведения поединка, основателем которого считался герой Полидевк, ставший, согласно преданию, победителем на устроенных Гераклом олимпийских играх[51]. Свою победную эпиграмму Филипп начинает такими словами: ὧδε στὰς ὁ Πελασγὸς ἐπ' Ἀλφειῶι ποκα πύκτας / τὸμ Πολυδεύκειογ χερσὶν ἔφανε νόμον / ἆμος ἐκαρύχθη νικαφόρος – «Так, стоя некогда у Алфея, пеласгический (т. е. аргосский) кулачный боец явил движеньями рук установление Полидевка, когда был объявлен победителем» (Inscr. v. Olymp. № 147 = Moretti. Iscr. № 33).

Боевая стойка

Боевая стойка [*termini technici* – греч. προβολή («выставление вперед»)[52], στάσις («стойка, поза»)[53], лат. *gradus* («шаг, позиция»)[54]] – это исходное положение, из которого боец начинал выполнение различных технических действий и в которое он возвращался после того или иного приема атаки и защиты. Использование боевой стойки позволяло атлету наблюдать за противником и маневрировать перед началом решительных действий, а также в случае необходимости защищаться от атакующего противника. Поражение одного из героев Валерия Флакка в кулачном бою объясняется тем, что он не смог вовремя возвратиться в боевую стойку (Arg. IV, 303–307): *sentit ubi Pollux rationis egentem, / dat genibus iunctis latus effusumque secutus / haud revocare gradum patitur turbatque premitque / ancipitem crebros et liber congerit ictus / desuper averso* – «Как только Поллукс замечает, что Амик уже не контролирует свои действия, он, поставив ноги вместе, поворачивается

[50] См.: Herod. I, 143. Ср.: Philostr. Gymn. 12 и др.

[51] Paus. V, 8, 4. О Полидевке как о кулачном бойце см. также: Hom. Il. III, 237 = Od. XI, 300; Apoll. Rhod. Arg. II, 67 sqq.; Theocr. XXII, 65 sqq.; Ps.-Apollod. Bibl. 3, 134 и т. д.

[52] Theocr. XXII, 120; Philostr. Gymn. 34; ср.: Luc. Anach. 31; Cic. Att. XIII, 21, 3.

[53] Aeschin. Ctesiph. 206; Them. Ἐπὶ τῆς εἰρήνης Οὐάλεντι 139 b.

[54] Val. Fl. Arg. IV, 305.

к противнику боком [и заставляет его промахнуться]. [Затем], не позволяя Амику, находящемуся в неудобной позиции, снова принять боевую стойку, Поллукс теснит замешкавшегося противника и свободно сыплет ударами на обращенного к нему спиной царя бебриков».

На античных памятниках изобразительного искусства кулачные бойцы представлены, как правило, в левосторонних стойках (левая нога находится впереди). Реже встречаются правосторонние стойки (Рис. 11 а).

Положение ног бойца в левосторонней стойке было следующим: левая нога, немного согнутая в колене, ставилась на всю ступню, но при этом лишь слегка касалась пяткой пола; пятка правой ноги поднималась на несколько сантиметров от земли; стопы были расставлены на ширину плеч; вес равномерно распределялся на обе ноги (Рис. 11 а). На дошедших до нас изображениях кулачные бойцы обычно представлены видом сбоку. Поэтому мы не можем точно установить направление их стоп. Возможно, носок левой ноги атлета смотрел вперед или был повернут немного вправо, как в современном боксе. Направление стопы правой ноги определялось поворотом нижней части корпуса спортсмена.

Указания на положение ног в боевой стойке встречаются в произведениях Квинта Смирнского, Вергилия, Стация и Валерия Флакка, герои которых перед началом поединка встают на носки[55].

Корпус кулачного бойца должен был находиться в вертикальном положении. Излишний наклон корпуса вперед признавался ошибочным. Так, Феокрит, описывая поединок Полидевка и Амика, отмечает, что царь бебриков нарушает ход битвы, так как сильно наклоняется вперед, атакуя Полидевка (XXII, 90–91: σὺν δὲ μάχην ἐτάραξε, πολὺς δ᾽ ἐπέκειτο νενευκὼς ἐς γαῖαν).

Голова атлета была отведена назад (Рис. 11 а). Так, например, поступают герои Вергилия (Aen. V, 428): *abduxere retro longe capita ardua ab ictu* – «Энтелл и Дарет далеко назад отвели высоко

[55] Q. Smyrn. IV, 346–347 (ἐπ᾽ ἀκροτάτοις δὲ πόδεσσι / βαίνοντες – «передвигаясь на носках»); Verg. Aen. V, 426 (*constitit in digitos extemplo arrectus uterque* – «Оба [Энтелл и Дарет] встали тотчас же на носки»); Stat. Theb. VI, 750 (*suspensi corpora plantis* – «поднявшись на стопах»); Val. Fl. Arg. IV, 267 (*semper et in digitis* – «постоянно на носках»).

поднятые головы от ударов»[56]. Это нехарактерно для современного бокса, в котором в исходной позиции подбородок подтягивается немного вниз, а ведущее плечо приподнимается, закрывая подбородок.

Левая рука кулачного бойца, принявшего левостороннюю стойку, находилась впереди, на уровне лица. Так, Нонн (Dionys. XXXVII, 508–509) сравнивает поднятую на уровень головы руку атлета со щитом, защищающим тело воина от ранений: *ἑοῦ προβλῆτα προσώπου / λαιὴν χεῖρα φέρων, σάκος ἔμφυτον* – «выставив перед лицом левую руку, как природный щит»[57]. Эта рука использовалась не только для парирования, но и для нанесения ударов противнику (Рис. 13). Правая рука была отведена назад и находилась в состоянии замаха. Локоть правой руки поднимался до уровня плеча.

В кулачном бою могли применяться и другие варианты боевой стойки (Рис. 14).

Удары

В кулачном бою использовались следующие разновидности ударов руками: прямой удар, удар сбоку, удар снизу и удар сверху основанием кулака.

Общими обозначениями этих технических действий в древнегреческом языке чаще всего служили слова *πληγή* («удар»)[58], *πλήσσειν*[59], *τύπτειν*[60], *κόπτειν*[61], *παίειν*[62], *πατάσσειν*[63] («ударять,

---

[56] Ср.: Stat. Theb. VI, 751–752 (*tuto procul ora recessu / armorum in speculis, aditus ad volnera clusi* – «Капаней и Алкидамант отвели свои лица на безопасное расстояние и следят за кастетами друг друга: доступы к ранам закрыты»); Val. Fl. Arg. IV, 266 (*semper cervice reducta* – «Поллукс все время отводит шею назад»).

[57] Ср.: Apoll. Rhod. Arg. II, 68–69: ἀνασχόμενοι ῥεθέων προπάροιθε βαρείας / χεῖρας – «Амик и Полидевк подняли перед лицами тяжкие руки».

[58] Plato. Leg. 830 b; Paus. VI, 10, 2; Plut. Quaest. conv. 640 a; Anth. Gr. XI, 79 и др. Ср. лат. *plaga* (см. примеч. 69).

[59] Hom. Il. XXIII, 695; Theocr. XXII, 105; 124; Philostr. Gymn. 20 и т. д.

[60] Theocr. XXII, 88; Q. Smyrn. IV, 367; Nonn. Dionys. XXXVII, 538 и пр.

[61] Hom. Il. XXIII, 690; Apoll. Rhod. Arg. II, 95; Q. Smyrn. IV, 364; Nonn. Dionys. XXXVII, 538; Ioan. Chrys. Ad Stagirium a daemone vexatur XLVII, 446, 42; In illud, vidi Dominum LVI, 139, 23 и др. Глагол κόπτειν может также относиться и к борьбе: Hom. Il. XXIII, 726; Nonn. Dionys. X, 354; XXXVII, 581–582.

[62] Luc. Herm. 33; Plut. Cato 20, 6 и др.

[63] Aspas. Eth. Nic. comm. 84, 33–34; Ioan. Chrys. Ad Stagirium a daemone vexatur XLVII, 446, 42; Them. Ἐπὶ τῆς εἰρήνης Οὐάλεντι 139 b; Theod. Gr. aff. cur. VIII, 27 и т. п.

бить, поражать»), ἐλαύνειν («гнать, бить»)[64], δέρειν («драть, лупить, сечь, колотить»)[65].

В латинском языке в подобных контекстах использовались, как правило, глаголы *verberare*[66] и *ferire*[67] («ударять, наносить удары»), а также существительные *ictus*[68] и *plaga*[69] («удар»).

По свидетельству Цицерона, при нанесении ударов кулачные бойцы издавали крик. От крика тело напрягалось, и удары получались более сильными (Tusc. II, 56: *pugiles vero, etiam cum feriunt adversarium, in iactandis caestibus ingemescunt, non quod doleant animove succumbant, sed quia profundenda voce omne corpus intenditur venitque plaga vehementior*)[70].

Признак прямого удара – прямолинейное движение ударной части руки к цели. Прямые удары отличаются большой дальностью, и их можно применять в различных тактических целях. В отличие от современного бокса, в кулачном бою прямой удар наносился как кулаком, так и открытой ладонью (Рис. 15, 16).

В XXII Идиллии Феокрита есть два описания прямого удара в голову (88–89; 102–105). В первом случае Полидевк наносит атакующему его противнику контрудар в кончик подбородка: τοῦ δ᾽ ἄκρον τύψε γένειον / Τυνδαρίδης ἐπιόντος (Рис. 17). Во втором случае Полидевк сначала сбивает с толку Амика обманными движениями рук (ἐτώσια χερσὶ προδεικνύς), а затем наносит ему прямой удар кулаком в переносицу, обнажая лоб противника до кости. Этот удар сбивает царя бебриков с ног: τὸν μὲν ἄναξ ἐτάρασσεν ἐτώσια χερσὶ προδεικνύς / πάντοθεν· ἀλλ᾽ ὅτε δή μιν ἀμηχανέοντ᾽ ἐνόησε, / μέσσης ῥινὸς ὕπερθε κατ᾽ ὀφρύος ἤλασε πυγμῇ, / πᾶν δ᾽ ἀπέσυρε μέτωπον ἐς ὀστέον.

Прямой удар в голову мог быть не только одиночным, но и входить в серию из нескольких ударов. Один из героев Квинта Смирнского (IV, 367–368), защитившись уклоном от нападающего на него противника, встречает его наскоком с двухударной серией левой-правой в голову: σκαιῇ χερὶ τύψε μέτωπον, / ἄλλῃ δ᾽

[64] Hom. Od. XVIII, 96; Theocr. XXII, 104; Q. Smyrn. IV, 368 и др.

[65] Anth. Gr. XI, 79; Ioan. Chrys. Ad populum Antiocheum XLIX, 74, 20.

[66] Verg. Aen. V, 377; Ambr. Enarr. in Ps. XXXVI, 55 (PL XIV, 1040) и др.

[67] Cic. Tusc. II, 56 и др.

[68] Verg. Aen. V, 377, 428, 444, 457 sqq.; Stat. Theb. VI, 761, 781, 795, 804; Val. Fl. Arg. IV, 271, 306 и др.

[69] Cic. Tusc. II, 56; Brut. 243 и т. д.

[70] Ср.: Cic. Tusc. II, 40.

ἤλασε ῥῖνας ἐπάλμενος – «левой рукой бьет в лоб, а правой в нос, наскакивая» (Рис. 18).

Удары сбоку наносятся согнутой в локтевом суставе рукой. Кулак бьющей руки спортсмен направляет к цели сбоку, описывая им кривую линию. Предплечье и локоть находятся в одной плоскости с кулаком.

В греческой литературе часто встречаются описания ударов сбоку. В XXII Идиллии Феокрита (118 sqq.) Амик пытается нанести Полидевку удар сбоку, предварительно захватив левой рукой левую руку противника. Мы можем четко определить положение правой руки Амика перед нанесением удара: она находится у его правого бока, между нижними ребрами и верхней частью тазобедренного сустава. Перед ударом Амик отклоняет корпус в сторону, обратную направлению удара, чтобы затем вращением туловища в сторону удара усилить его. Но Полидевк защищается от нападения царя бебриков нырком и наносит ему удар сбоку в левый висок: Ἦτοι ὅγε ῥέξαι τι λιλαιόμενος μέγα ἔργον / σκαιῇ μὲν σκαιὴν Πολυδεύκεος ἔλλαβε χεῖρα, / δοχμὸς ἀπὸ προβολῆς κλινθείς, ἑτέρῳ δ' ἐπιβαίνων / δεξιτερῆς ἤνεγκεν ἀπὸ λαγόνος πλατὺ γυῖον./ καί κε τυχὼν ἔβλαψεν Ἀμυκλαίων βασιλῆα· / ἀλλ' ὅγ' ὑπεξανέδυ κεφαλῇ, στιβαρῇ δ' ἅμα χειρί / πλῆξεν ὑπὸ σκαιὸν κρόταφον καὶ ἐπέμπεσεν ὤμῳ.

Примечательно, что современным боксерам в некоторых случаях рекомендуется после защиты нырком выполнять боковой удар в голову противника[71].

Удары сбоку также упоминаются Гомером[72], Аполлонием Родосским, Филостратом, Квинтом Смирнским и Нонном Панополитанским[73].

---

[71] *Панченко К.Л., Григорьев А.М., Попов А.А.* Бокс. Техническая и тактическая подготовка. Харьков, 1997. С. 104.

[72] Hom. Od. XVIII, 96: ὁ δ' αὐχέν' ἔλασσεν ὑπ' οὔατος – «Одиссей ударил Ира в шею под ухом». Il. XXIII, 689–695: ἐπὶ δ' ὄρνυτο δῖος Ἐπειός, / κόψε δὲ παπτήναντα παρήϊον· οὐδ' ἄρ' ἔτι δὴν / ἑστήκειν· αὐτοῦ γὰρ ὑπήριπε φαίδιμα γυῖα. / ὡς δ' ὅθ' ὑπὸ φρικὸς Βορέω ἀναπάλλεται ἰχθὺς / θίν' ἐν φυκιόεντι, μέλαν δέ ἑ κῦμα κάλυψεν, / ὣς πληγεὶς ἀνέπαλτ' – «Божественный Эпей устремился на Эвриала и ударил оглянувшегося противника в щеку. Тот не смог устоять: его прекрасное тело ослабло. Подобно тому как выскакивает рыба, влекомая порывом Борея, на тинистый берег и [тут же] покрывается темной волною, так отлетел от удара Эвриал». Удар Эпея можно рассматривать и как прямой удар. На это указывает то, что в момент нанесения удара его противник оглянулся. Но сам характер падения Эвриала свидетельствует скорее о нанесении Эпеем удара сбоку.

[73] Apoll. Rhod. Arg. II, 95 (κόψε μεταΐγδην ὑπὲρ οὔατος – «Полидевк, устремившись на Амика, ударил его в область уха»); Philostr. Im. II, 19, 4; Q.

На дошедших до наших дней памятниках изобразительного искусства удар сбоку практически не представлен. Сохранилось описание Филостратом одной из античных картин, на которой был изображен исход поединка между Аполлоном и Форбом (Im. II, 19, 4). Аполлон запечатлен в момент нанесения удара, а его противник изображен уже поверженным на землю. Один из висков Форба поврежден, и из него течет кровь. Сама картина до нас не дошла.

Возможно, что удар сбоку представлен на уже упоминавшейся критской вазе из стеатита 1500 г. до н. э. (Рис. 1, 1 а, ср. Рис. 19).

Удары снизу не упоминаются в античной литературе, но сохранились две греческие вазы, на которых запечатлены бойцы, выполняющие замах для нанесения этой разновидности ударов (Рис. 15, 20).

В современном боксе удары снизу наносятся согнутой в локте рукой. В момент удара рука сжата в кулак и обращена тыльной стороной ладони к противнику. Мишенями для ударов снизу являются голова и корпус противника.

В античном кулачном бою использовался удар сверху основанием кулака. Этот удар запрещен в боксе, но применяется в карате и других современных единоборствах. В начальной фазе удара рука, согнутая в локте, расположена во фронтальной плоскости, кулак находится у головы. В следующей фазе плечо и предплечье выносятся в боковую плоскость. В конечной фазе за счет разгибания локтевого сустава предплечье движется вниз. Ударной поверхностью является нижнее основание кулака.

Павсаний (VI, 10, 2–3) сообщает, что изобретателем удара основанием кулака (ἡ πληγὴ ἀπ᾽ ἀρότρου – «удар как по плугу»)[74] был каристиец Главк, который приладил выпавший из плуга сошник, ударив по нему своей правой рукой, как молотом. С помощью этого удара Главк одержал победу на 65-й олимпиаде (520 г. до н. э.)[75]. Кроме того, он завоевал два венка в Дельфах и

Smyrn. IV, 363–364 (καὶ ὥς Ἀκάμαντα βαρείῃ χειρὶ τυχήσας / τύψε κατὰ κροτάφοιο, χαμαὶ δὲ οἱ ἤλασε γυῖα – «Тем не менее Эпей попал тяжкой рукой в висок Акаманта и повалил противника на землю»); Nonn. Dionys. XXXVII, 538 (ἄφνω γναθμὸν ἔτυψεν ὑπ᾽ οὔατος – «Внезапно Мелисс ударил Эвримедонта в челюсть под ухо»).

[74]См. также: Philostr. Gymn. 20.

[75] *Moretti L.* Olymp. № 134.

стал восьмикратным победителем на Немейских и Истмийских играх.

Этот удар также упоминается Аполлонием Родосским и Вергилием. Во второй песни «Аргонавтики» (90–92) Амик пытается нанести Полидевку удар основанием кулака: ἔνθα δ᾽ ἔπειτ᾽ Ἄμυκος μὲν ἐπ᾽ ἀκροτάτοισιν ἀερθείς / βουτύπος οἷα πόδεσσι τανύσσατο, κὰδ δὲ βαρεῖαν / χεῖρ᾽ ἐπὶ οἷ πελέμιξεν – «Вслед за тем Амик, встав на цыпочки, напряг ноги, подобно забойщику быков, и замахнулся тяжкой рукою на Полидевка». Но сын Зевса умело защищается от действий царя бебриков.

В V песни «Энеиды» (443–448) Дарет, пресекая попытку Энтелла нанести ему удар основанием кулака, заставляет противника промахнуться и потерять равновесие: *ostendit dextram insurgens Entellus et alte / extulit, ille ictum uenientem a uertice uelox / praeuidit celerique elapsus corpore cessit; / Entellus uiris in uentum effudit et ultro / ipse grauis grauiterque ad terram pondere uasto / concidit* – «Энтелл приподнялся и высоко занес правую руку. Но его противник, предвидя удар, направленный сверху вниз, быстро увернулся и отступил. Энтелл, растратив силы на ветер, тяжело рухнул на землю всем своим огромным весом».

Удар основанием кулака нередко изображается на античных вазах. На краснофигурной чаше из Мюнхена представлена начальная фаза этого удара (Рис. 21). Боец, находящийся слева, замахивается для нанесения удара основанием кулака, но соперник не позволяет ему это сделать и в момент подготовки атаки наносит ему прямой удар в голову. Конечная фаза удара основанием кулака изображена на фрагменте краснофигурной чаши из Берлина (Рис. 8), на котором один из атлетов запечатлен во время нанесения удара, а другой уже подает знак о своем поражении.

Защита

В античном кулачном бою использовались такие виды защиты, как парирование, защиты движениями корпуса, головы и ног, комбинированные защиты.

Для обозначения защитных действий кулачного бойца в древнегреческом языке использовались слова εὐλάβεια («осторожность, осмотрительность, избегание»)[76], φυλακή («защита,

[76] Plato. Leg. 830 b.

предосторожность, бдительность»)[77], φυλάσσεσθαι («остерегаться, избегать»)[78], ἀμύνειν («отражать, отбивать, защищать»)[79].

В латинском языке техника защиты характеризовалась, по всей видимости, глаголом *cavere* («принимать меры предосторожности, остерегаться, беречься»)[80].

Целью парирования являлось отведение или прерывание движущейся силы противника. Этот способ защиты выполнялся, как правило, с помощью рук.

Указания на применение парирования (греч. ἀποσείεσθαι, лат. *discutere*, *reicere*) в античном кулачном бою мы встречаем в произведениях Аполлония Родосского, Филона и Стация[81].

Судя по дошедшим до нас памятникам изобразительного искусства, кулачные бойцы зачастую парировали удар противника предплечьем. На одной чернофигурной амфоре из Агригента атлет, находящийся справа, наносит своему противнику удар левой в голову, но тот парирует этот удар блоком левого предплечья наружу (Рис. 22).

На краснофигурной чаше Антифонта из Вульчи боец, представленный слева, парирует удар противника предплечьем правой руки и одновременно отшагивает назад (Рис. 23).

Кулачные бойцы применяли такие техники защиты движением корпуса и головы, которые с точки зрения современного бокса можно охарактеризовать как уклон, отклон и нырок. Эти формы защиты оставляли руки атлета свободными для ответных ударов и позволяли ему активно вести бой.

Уклоны и отклоны обозначались в древнегреческом языке глаголом κλίνειν («склонять, наклонять»)[82] и его производными

---

[77] Plut. Quaest. conv. 640 a; Chryssip. Frg. log. et phys. 998, 19–20 и др.

[78] Philo. Cher. 81; Aspas. Eth. Nic. comm. 84, 33–34; Nonn. Dionys. XXXVII, 511; Eustath. Comm. ad Hom. Il. IV, 817 и др.

[79] Plato. Leg. 795 c; Theocr. XXII, 96 и пр.

[80] Stat. Theb. VI, 771, 780, 793 и др.

[81] Apoll. Rhod. Arg. II, 78 (στῆ ῥ᾿ ἄμοτον καὶ χερσὶν ἐναντία χεῖρας ἔμειξεν – «Полидевк встал крепко и начал смешивать руки с руками Амика»); Philo. Cher. 81 (τὰς ἐπιφερομένας πληγὰς ἑκατέρᾳ τῶν χειρῶν ἀποσείεται – «он отбивает руками наносимые ему удары»); Stat. Theb. VI, 770–771 (*Lacon hos reicit ictus, / hos cavet* – «Спартанец одни удары парирует, других избегает»); 772–773 (*manibus nunc obvia tela / discutiens* – «теперь отбивая руками посланное ему навстречу оружие», т. е. кастеты).

[82] Theocr. XXII, 120.

παρακλίνειν («наклонять в сторону»)[83], *ὑποκλίνειν* («склонять, наклоняться»)[84]. В латинском языке для описания этих технических действий использовались выражения *corpore (caestus) exire* [«уклоняться (от кастетов) движением туловища»][85] и *corpore elabi* («ускользать движением туловища»)[86].

Указания на применение уклона в кулачном бою мы встречаем в произведениях Квинта Смирнского, Филона Александрийского и Гая Светония Транквилла[87].

В поэме Квинта Смирнского «После Гомера» (IV, 367) Эпей, уклонившись от нападающего на него Акаманта, наносит ему серию из двух прямых ударов в голову (*βαιὸν ὑποκλίνας σκαιῇ χερὶ τύψε μέτωπον, / ἄλλῃ δ' ἤλασε ῥῖνας ἐπάλμενος*).

У Филона Александрийского (Cher. 81) атлет избегает ударов, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону (*τὸν αὐχένα περιάγων ὧδε κἀκεῖσε τὸ μὴ τυφθῆναι φυλάσσεται*).

Светоний (De gram. et rhet. 22, 3), рассказывая об известном римском грамматике и риторе Марке Помпонии Марцелле, приводит эпиграмму Азиния Галла, в которой сообщается, что Марк Помпоний некогда был кулачным бойцом и учился защищаться от ударов уклоном головы влево: *qui caput ad laevam didicit glossemata nobis / Praecipit. os nullum vel potius pugilis* – «"Голову влево!" – учил, а теперь языку обучает: / Как хорошо языку в пасти, беззубой от драк»[88].

Еще одним способом, который позволял атлету избежать ударов противника, был отклон назад. На Тускуланской мозаике Императорского периода изображена пара бойцов в римских кастетах. Атлет, находящийся справа, наносит своему противнику прямой удар левой рукой с шагом одноименной ноги вперед. Спортсмен, представленный слева, переносит вес на стоящую сзади ногу и отводит корпус и голову назад на расстояние, необходимое для избежания удара (Рис. 24).

---

[83] Apoll. Rhod. Arg. II, 93.

[84] Q. Smyrn. IV, 367.

[85] Ср.: Verg. Aen. V, 438.

[86] Ibid. 445.

[87] Возможно, техника выполнения уклона, описанная Квинтом Смирнским, Филоном и Светонием, отличалась от современной.

[88] Пер. с лат. М.Л. Гаспарова. См. книгу: *Гай Светоний Транквилл.* Жизнь двенадцати цезарей. М.: Правда, 1988.

После защиты отклоном боец мог нанести любой ответный удар. Сохранился краснофигурный килик, датируемый 490 г. до н. э., на котором атлет, изображенный слева, наносит своему сопернику удар основанием кулака, но тот отклоняется назад и пытается провести встречный прямой удар левой в голову (Рис. 25).

Как и в современном боксе, в античном кулачном бою защита нырком (греч. ὑπεξαναδύεσθαι κεφαλῆ[89], лат. *mergi umeri*[90], *inter caestus subire*[91]) обычно применялась для избежания ударов сбоку (Рис. 26). В XXII Идиллии Феокрита Амик пытается нанести Полидевку боковой удар правой в голову. Полидевк не позволяет противнику осуществить задуманное, «поднырнув» головой под его удар. Удачно защитившись от удара Амика, Полидевк контратакует его ударами в корпус и голову (123–124: ἀλλ᾽ ὅγ᾽ ὑπεξανέδυ κεφαλῆ, στιβαρῇ δ᾽ ἅμα χειρί / πλῆξεν ὑπὸ σκαιὸν κρόταφον καὶ ἐπέμπεσεν ὤμῳ).

Защита нырком упоминается и в римской литературе. В VI песни «Фиваиды» Стация Алкидамант безуспешно пытается защититься от натиска Капанея, который атакует в голову поднимающегося после нырка юношу и сбивает его с ног (802–805: *ecce iterum immodice venientem eludit et exit / sponte ruens mersusque umeris: effunditur ille / in caput, adsurgentem alio puer improbus ictu / perculit eventuque impalluit ipse secundo*).

Указания на применение защиты нырком мы также встречаем у Валерия Флакка. В IV песни «Аргонавтики» Поллукс избегает удара Амика нырком, а затем, пытаясь нанести противнику удары в голову, попадает царю бебриков в корпус (298–301: *tunc caestu elatus utroque / inruit. hos inter Pollux subit et trucis ultro / avolat ora viri nec spes effecta. sed ambae / in pectus cecidere manus*).

К сожалению, мы не располагаем источниками, которые бы позволили нам составить более или менее полное представление о технике защиты движением ног[92]. Можно только сказать, что в античном кулачном бою эти способы защиты играли важную роль. С их помощью атлет изменял дистанцию и заставлял противника промахиваться. Так, на фрагменте одного чернофигурного сосуда

[89] Theocr. XXII, 123.

[90] Stat. Theb. VI, 803.

[91] Val. Fl. Arg. IV, 299

[92] То же самое относится и к передвижениям бойцов при выполнении атакующих действий.

VI в. до н. э. атлет, представленный справа, наносит удар, который явно не доходит до лица противника. Отсюда мы можем сделать вывод, что боец, изображенный слева, в момент удара сделал шаг назад и таким образом избежал его (Рис. 27).

В ходе поединка боец мог использовать комбинированную защиту, т. е. применять одновременно несколько видов защиты от атакующего противника. Таким образом действует Полидевк в «Аргонавтике» Аполлония Родосского. Сначала он избегает удара Амика уклоном головы и принимает своим плечом предплечье противника. Затем, отступив и изменив стойку, наносит царю бебриков удар сбоку в голову с одновременным шагом вперед (II, 92–96: ὁ δ᾽ ἀίσσοντος ὑπέστη, / κρᾶτα παρακλίνας, ὤμῳ δ᾽ ἀνεδέξατο πῆχυν. / τυτθὸν δ᾽ ἄνδιχα τοῖο παρὲκ γόνυ γουνὸς ἀμείβων, / κόψε μεταΐγδην ὑπὲρ οὔατος, ὀστέα δ᾽ εἴσω / ῥῆξεν). Возможно, что комбинированную защиту применяют герои Квинта Смирнского, Вергилия, Стация и Валерия Флакка[93].

---

[93] Q. Smyrn. IV, 358–360; Verg. Aen. V, 444–445; Stat. Theb. VI, 770–773, 792–794; Val. Fl. Arg. IV, 265–268.

Иллюстрации



Рис. 1, 1а
Стеатитовый ритон из Агиа Триады (Крит). Около 1500 г. до н. э.
Ираклион, Археологический музей, 409
(*Miller S.G.* Ancient Greek athletics. New Haven; L., 2004.
Fig. 26, 27).

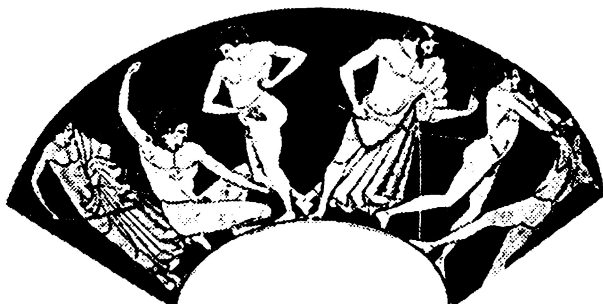


Рис. 2

Кулачные бойцы, представленные слева,
под присмотром судьи обматывают себе руки мягкими ремнями
(*termini technici* – αἱ μειλίχαι, ἱμάντες μαλακώτεροι).
Толедо (Огайо), Музей искусства Толедо, 1961.26
(*Miller S.G.* Op. cit. Fig. 81)

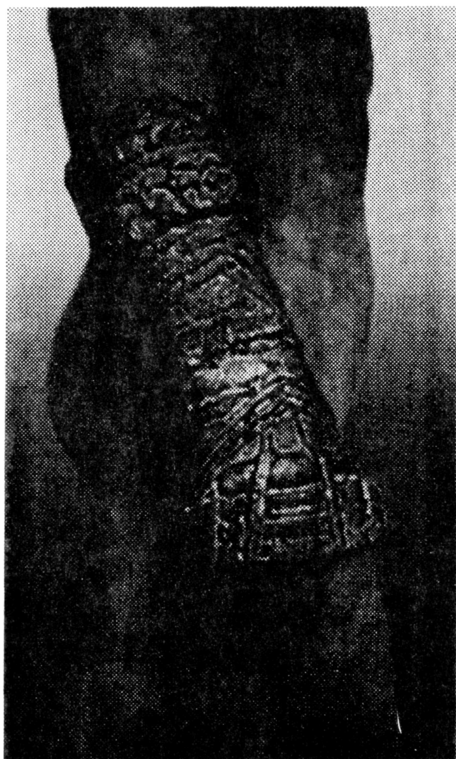


Рис. 3

Жесткие кулачные ремни
(*terminus technicus* – ἱμὰς ὀξύς).
Мраморная статуя кулачного
бойца из Соррента.
Около 200 г. до н. э. Неаполь,
Национальный музей, 119917
(*Miller S.G.* Op. cit. Fig. 85)



Рис. 4

Кулачный боец в шаровидных перчатках
(*termini technici* – σφαῖραι, τὰ ἐπίσφαιρα).
Греко-римская терракота.
Дрезден (*Poliakoff M.* Combat sports. Fig. 85)

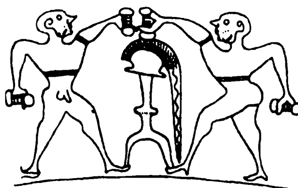


Рис. 5, 5а

Приспособления для рук, используемые в поединках италийскими
и иллирийскими кулачными бойцами.
Иллирийская бронзовая ситула. 800–400 гг. до н.э.
(RE s.v. pugilatus); римский мраморный саркофаг (*Poliakoff M.*
Op. cit. Fig. 76)

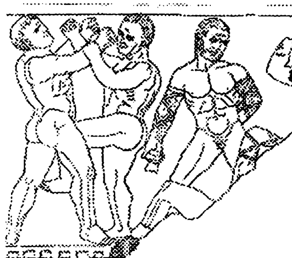


Рис. 6
Римские кастеты (*caestus*). Рельеф в Латеране. Рим, II–III вв. н. э. (*Gardiner Ed.* Athletics. Fig. 177)

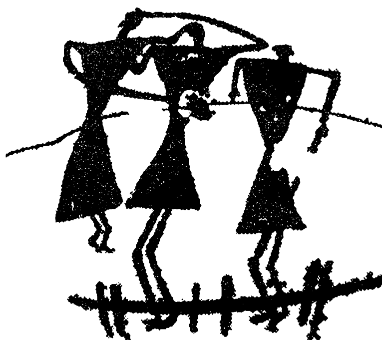


Рис. 7
Специальное ограждение, которое позволяло судьям контролировать дистанцию между бойцами (κλῖμαξ – «лестница»). Италийская ваза (греческое влияние). VI в. до н. э. (*Poliakoff M.* Op. cit. Fig. 81)



Рис. 8

Кулачный боец, изображенный справа, подает знак о сдаче.
Фрагмент краснофигурной чаши. Берлин.
(*Schröder B.* Taf. 90 B)



Рис. 9

Травмы и повреждения кулачных бойцов.
После сильного удара противника атлет с разбитым носом поспешно покидает место поединка. Помещенные рядом с изображением надписи гласят: «Он преследует», «Он бьет кулаком», «Он убегает».
Чернофигурный скифос. 550–525 гг. до н. э. Париж, Лувр, MNC 332
(*Miller S.*G. Op. cit. Fig. 93)



Рис. 10

Судья пресекает попытку бойца захватить своего противника. Панафинейская амфора. Около 510 г. до н. э. Рим, Вилла Джулия, 50680 (*Poliakoff M.* Op. cit. Fig. 83)



Рис. 11. а б в

Чернофигурная амфора Никосфена из Черветери. Вена (*Jüthner J.* Athletischen Leibesübungen. S. 181)



Рис. 12
Удар в пах. Греческая ваза. VI в. до н. э. (*Poliakoff M.* Op. cit. Fig. 89)



Рис. 13
Нокаутирующий удар левой рукой
(*termini technici* – греч. καταβάλλειν, лат. *percellere*).
Греческая ваза. VI в. н. э. (*Poliakoff M.* Op. cit. Fig. 86)



Рис. 14
Кулачный бой. Один из возможных вариантов боевой стойки (*termini technici* – греч. προβολή, στάσις, лат. *gradus*). Римская мозаика. II в. н. э. (*Poliakoff M.* Op. cit. Fig. 79 A)



Рис. 15
Прямой удар открытой ладонью.
Чернофигурная панафинейская амфора. Конец VI в. до н. э.
Санкт-Петербург, Эрмитаж, Стефани, 76
(*Gardiner Ed.* Op. cit. Fig. 183).



Рис. 16

Прямой удар кулаком. Аттический краснофигурный кратер. Около 470 г. до н. э. Флоренция, F.R. 166 (*Gardiner Ed.* Op. cit. Fig. 181)

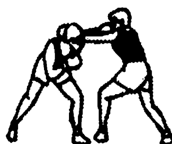


Рис. 17

Бокс. Контрудар прямой левой в голову на атаке прямым левой в голову (*Панченко К.Л., Григорьев А.М., Попов А.А.* Бокс. Техническая и тактическая подготовка. С. 107, рис. 56)

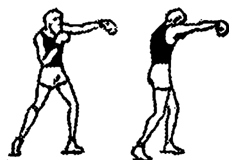


Рис. 18

Бокс. Серия из двух прямых ударов в голову
С. 74, рис. 17

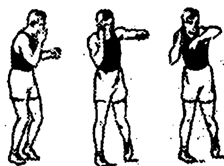


Рис. 19

Бокс. Удар сбоку левой рукой в голову
С. 45, рис. 26

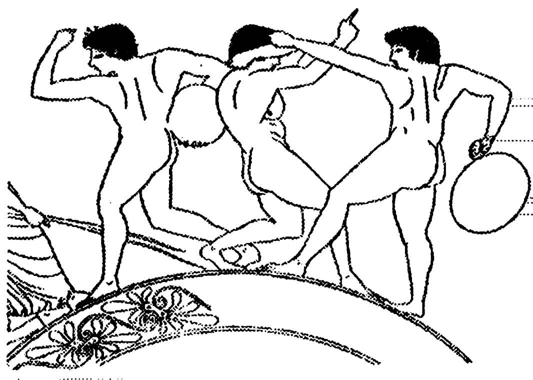


Рис. 20
Замах для удара снизу. Аттический краснофигурный килик. Тарквинии (*Gardiner Ed.* Op. cit. Fig. 186)



Рис. 21
Начальная фаза удара основанием кулака (так называемая ἡ πληγὴ ἀπ᾽ ἀρότρου)
(пара бойцов, представленная слева). Краснофигурная чаша. Мюнхен, Коллекция ваз О. Йана (Jahn), 279 (*Schröder B.* Taf. 89 A)

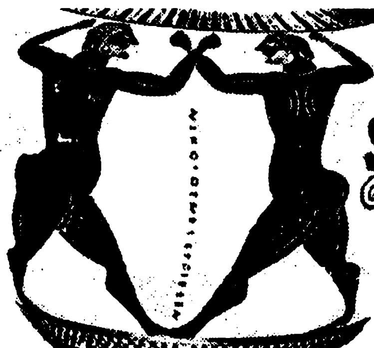


Рис. 22
Парирование удара противника предплечьем (греч. ἀποσείεσθαι, лат. *discutere*, *reicere*). Чернофигурная амфора Никосфена. 3-я четверть VI в. до н. э. Лондон, Британский музей, В 295 (*Gardiner Ed.* Op. cit. Fig. 155 A).



Рис. 23
Парирование удара противника предплечьем с одновременным шагом назад. Краснофигурная чаша Антифонта из Вульчи. Оксфорд (*Ривкин Б И.* В долине Алфея. Олимпийские игры в искусстве Древней Греции. М., 1969. С. 16)



Рис. 24
Рим. Тускуланская мозаика. Императорский период
(*Jüthner J.* Athletischen Leibesübungen. S. 173)



Рис. 25

Отклон назад и попытка нанести встречный прямой удар в голову. Аттический краснофигурный килик Дуриса. Около 490 г. до н. э. Британский музей, E 39 (*Gardiner Ed.* Op. cit. Fig. 173)



Рис. 26

Бокс. Защита нырком (*Панченко К.Л., Григорьев А.М., Попов А.А.* Указ. соч. С. 42, рис. 25)



Рис. 27

Защита перемещением. Фрагмент чернофигурной ситулы из Навкратиса. Середина VI в. до н. э. Лондон, Британский музей, В 124 (*Gardiner Ed.* Op. cit. Fig. 184)

DE POSTERIS

М.М. Позднев

КАТАРСИС В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: РЕЦЕПЦИЯ *Ar.* Poet. 49b27 (...δι᾽ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν) СИРО-АРАБСКИМИ ПЕРЕВОДЧИКАМИ

Рецепцию «Поэтики» Аристотеля можно проследить подробно начиная с IX в. – пример уникальный во всей истории освоения иноязычными культурами поэтологического наследия античности. Вместе с другими частями аристотелевского корпуса «Поэтика» попала в поле зрения сирийских и арабских ученых. Сохранился полный арабский перевод X в., выполненный багдадским логиком Абу Бишром (Матта ибн Юнус, † 940 г.)[1], – памятник, с которым более комментаторов обязаны считаться издатели: хотя источником Абу Бишра был сирийский текст, сопоставление чтений, реституируемых с помощью арабского перевода, с сохранившимися греческими рукописями в свое время произвело революцию в текстологии «Поэтики»[2]. Сирийский перевод, сделанный значитель-

[1] Христианин (Матфей – его христианское имя); жил в монастыре Даир Кунна, затем переехал в Багдад, где выучил многих философов, в частности аль-Фараби; считался первым логиком своего времени: *Brockelmann C.* Geschichte der arabischen Literatur. Leiden, 1943. Bd. 1. S. 228, 332. Перевод «Поэтики» впервые издал Д. Марголиус: Abu Bišr Mattā. Kitāb Aristūtālīs fī al-ši'r [Aristotelis de poetica liber] // Analecta Orientalia ad poeticam Aristoteleam / Ed. D. Margoliouth. L., 1887. P. 1–76 [sinistrorsum].

[2] Арабский текст дал возможность восстановить чтения не дошедшего до нас гипархетипа (предположительно до 700 г.). Σ во многих случаях поддерживает авторитет Riccardianus: Aristotle. On the Art of Poetry. By I. Bywater... P. xxxv–vi; *Tkatsch J.* Die arabische Übersetzung der Poetik des Aristoteles und die Grundlage der Kritik des griechischen Textes. Wien; Leipzig, 1928. Bd. I; Bd. II / Hrsg. von A. Gudeman, Th. Seif. Wien, 1932. Издание Ярослава Ткача (*opus vitae*, так и не доведенное до конца) остается надежнейшим справочником по сиро-арабским переводам «Поэтики».

но ранее арабского (примерно после 700 и до 900 г.)[3], был утрачен еще в Средние века, но по счастливой случайности, подготовленной как успехами просвещения в средневековой Сирии, так и тем интересом, который сирийские и арабские эрудиты испытывали к феномену литературного творчества, фрагмент этого перевода – центральное в «Поэтике» определение вместе с ближайшими пояснениями к нему – сохранил в своей «Книге диалогов» Иаков Бар Шакко (Север, епископ Мар Маттай, † 1242 г.)[4]. Таким образом, самым ранним документом, достойным внимания комментаторов Katharsisstelle, является фрагмент Сирийского анонима (автором обычно называют Ицхака бен Хунайна[5]). Действие трагедии описано здесь следующим образом: **«...посредством жалости (милосердия?) и страха смягчающая (*букв.* разбавляющая) страдание и осуществляющая очищение тех, кто страдает»**[6].

---

[3] Четкие *termini* неопределимы. Исходя из общего взгляда на историю сирийского аристотелизма, Я. Ткач заключает, что перевод бен Хунайна был обработкой ранней версии (VI в.): *Tkatsch J.* Op. cit. Bd. I. P. 96b. Предпочтения заслуживает поздняя датировка (IX в.): *Rescher N.* The Development of Arabic Logic. Pittsburgh, 1964. P. 19. Сам памятник был известен сирийским авторам и до IX в.; имелись примечания к отдельным частям «Поэтики», хотя мы точно не знаем, каков был их характер: *Heinrichs W.* Arabische Dichtung und Griechische Poetik. Hāzim al-Qartāǧannīs Grundlegung der Poetik mit Hilfe aristotelischer Begriffe. Beirut, 1969. P. 114–115; ср.: *Luserke M.* Die Bändigung der wilden Seele. Literatur und Leidenschaft in der Aufklärung. Stuttgart, 1995. P. 89–90, 96.

[4] Новейшее издание: *Sprengling M.* Severus bar Shakko's *Poetics* // The American Journal of Semitic Languages and Literatures. 32 (1915-6). 305b6–306b6.

[5] Источник – сообщение Ибн ан Надима о том, что переводчику Яхье бен Ади не удалось перекупить «Поэтику» в изложении бен Хунайна у своего конкурента Ибрагима бен Абдаллаха: *Ibn an-Nadīm.* Kitāb al-Fihrist / Ed. G. Flügel, J. Roediger. Beirut, 1964. P. 253, 3–4; ср.: *Tkatsch J.* Op. cit. Bd. I. P. 124b–125a (автор доказывает, что подразумевается именно сирийский, а не арабский перевод); *Heinrichs W.* Op. cit. P. 112–113.

[6] Analecta Orientalia... 77 [в арабской пагинации]. Русский перевод отрывка выполнен Д.М. Бумажновым (Санкт-Петербург–Тюбинген), которому я обязан помощью во всем, что связано с сирийским материалом. Также приношу благодарность Луизе Абрамовски (Тюбинген) за детальный грамматический разбор текста Сирийца. Перевод Я. Ткача (Op. cit. Bd. I. P. 155): «per misericordiam et metum temperans (miscens) dolores et faciens purgationem eorum, qui dolent». περαίνω передается через məzăh: первое значение сирийского глагола – «разбавлять», «примешивать» – не дает смысла; интерпретация должна строиться на производном значении – «смягчать», «умалять».

В какой мере этот перевод – интерпретация? Обычно сирийские и арабские переводчики мало задумывались над смыслом исходного текста, рабски следуя букве[7]. Я. Ткач постулирует наличие конкордансов, облегчавших труд ремесленника – механически передавать греческие слова подходящими сирийскими словами или сочетаниями[8]. Такое отношение к задачам переводчика радует текстологов, которые могут с большой долей вероятности восстанавливать чтения греческой рукописи. В нашем случае следует заметить, что сирийский перевод был сделан со списка, содержавшего верное чтение – παθημάτων. Засвидетельствованное Риккардианской рукописью и одним поздним списком с Парижского кодекса, это чтение считалось некогда не более чем гуманистической конъектурой, а иными даже и оспаривалось[9]. Бен Хунайн имел преимущество перед первыми западными переводчиками, работавшими с рукописями другой ветви и вынужденными поэтому считаться с неудовлетворительным μαθημάτων.

Манера Сирийца, сравнимая со «стилем работы» машины, чаще всего лишает нас права судить о том, как он понимал Аристотеля. Тем интереснее случаи отступления от механистического метода, когда в словах греческого источника угадывалось направление

---

[7] *Gabrieli F.* Estetica e poesia araba nell'interpretatione della «Poetica» Aristotelica presso Avicenna e Averroè // Rivista degli studi orientali. 1930. 12. P. 292. Метод, кстати, наследуется у античности. Платон обидел актеров, назвав их ἑρμηνέων ἑρμηνῆς (Ion 535a9), последним «передаточным звеном» в цепи вдохновения. Ранние сирийские переводы отличались большей свободой; переход к строгому буквализму отмечается в конце VI в.: *Brock S.* Studies in Syriac Christianity. History, Literature and Theology. Aldershot; Brookfield, 1992. P. 10–11. Выводы Брока против ранней датировки нашего текста.

[8] *Tkatsch J.* Op. cit. Bd. II. P. 157b.

[9] *Otte H.* Kennt Aristoteles die sogenannte tragische Katharsis. Berlin, 1912. P. 47. Не разобравшись в сирийском тексте, Отте предложил конъектуру πραγμάτων, что было с негодованием отвергнуто многочисленными рецензентами. Самую подробную справку снова дает Ткач (Op. cit. Bd. II. P. 78b–79); (ценны также примечания Гудмана к тексту Ткача: Ibid. II. P. 221). Все попытки воскресить чтение Parisinus заранее обречены на провал. Можно, конечно, рискнуть объяснить ἔλεος и φόβος как μαθήματα или понять τοιούτων изолированно от предыдущей части фразы. Но нельзя игнорировать независимые Riccardianus и Σ, дающие одно и то же чтение с лучшим смыслом. Parisinus оказывается в меньшинстве. Порча возникла механически: παθεῖν / μαθεῖν – нередкая контаминация.

мысли, созвучное собственным поискам[10]. Такое случалось нечасто: слишком уж разнятся объекты их критик. Но об эффекте и значении литературы, какая бы литература ни подразумевалась, рассуждают все. И цитируемый выше текст не является зеркальным отображением греческого. Заметно, что Сирийцу был ясен буквальный смысл слова κάθαρσις, что он не ошибся ни в определении падежа τοιούτων παθημάτων, ни в его аппликации. Ничто не мешало перевести дословно: «осуществляющее очищение таких страданий» (раз уж παθήματα для него равнозначно dolores[11]). Текст не стал бы понятнее, но ведь этого, если верить специалистам, и не требовалось.

Вместо ожидаемого буквализма наблюдаем, таким образом, осмысленную парафразу, попытку толкования, не неожиданную, впрочем, у того, кто, как Бен Хунайн, Абу Бишр или Бар Шакко, принадлежал к кругу философов, занимавшихся вопросами литературы[12]. Во-первых, возникла идея «умаления» и была применена к «страданиям». Туманное же «очищение» совместилось с «теми, кто страдает». Оценим возможности переводчика[13]. Сирий-

[10] Ткач не признает самостоятельности Сирийца, характеризуя текст фрагмента как «Wort für Wort Übersetzung»: *Tkatsch J.* Op. cit. Bd. I. P. 151в., 156а. Иначе – Бергштрессер, в рецензии на первый том издания Ткача (Islam. 20. [1932]. 58–61): там, где контекст казался понятным, Ицхак мог откорректировать Аристотеля исходя из собственных литературных взглядов.

[11] Сирийским ḥāšā переводится πάθημα в значении «страсть», «страдание» (passio, dolor): *Евр.* 2, 9; 2 *Кор.* 1, 5: 6: 7, реже – в смысле «душевное движение» (animi affectio): 1*Фес.* 4, 5 (значения здесь и далее по: Thesaurus Syriacus. Auxit digessit exposuit edidit R. Payne Smith. II. [Oxonii, 1901] *s. vv.*) Теоретически в нашем случае возможен и второй вариант. Тогда вторую часть («очищение тех, кто чувствует») можно было бы понять как purificatio, «очищение от греха» (см. примеч. 14). Будучи не в силах взвесить оба варианта тщательнее, чем это делают специалисты в сирийском, я остаюсь при переводе, предложенном Я. Ткачом.

[12] *Sprengling M.* Op. cit. P. 293; арабские персоналии – в регистре Решера: The Development of Arabic Logic... P. 84–255. Ср. ниже, о Кудаме ибн Джафаре. Отметим, что все ранние переводчики Аристотеля были христианами: *Heinrichs W.* Op. cit. P. 115.

[13] Что не так просто, как кажется. Можно отметить своего рода тенденцию: от критического, даже неодобрительного, отношения к сирийским переводам и шире – к сирийской рецепции античности («не понимали», «искажали» и т. д.), принятого в первой половине минувшего века, ученые перешли теперь к восхищению остроумием и – что для нас важнее – начитанностью сирийских герменевтов. С. Брок в упомянутой книге, имеющей выраженный апологетический характер, часто подводит читателя к мысли о том, что интеллектуальный горизонт образованного сирийца вообще ничем не ограничен.

ской и арабской литературе, в том числе переводной, драма неизвестна (τραγωδία в сирийском тексте честно транскрибирована). Определяться могла специфика воздействия литературы в целом, вернее же – того, что привык считать литературой сирийский толкователь, уловивший – как мог лишь специалист и человек прозорливый, – что речь здесь идет о психологии восприятия.

Для сирийца, жившего в IX в., будь он сколько угодно образованным, литература исчерпывалась сирийскими писателями, т. е. была почти целиком христианской. Все термины, которыми оперирует Ицхак, имеют христианское наполнение; по-видимому, переводчик мыслил в христианских категориях[14]. Перед его глазами были каноны и литургии, Ефрем Сирин, Балай, Кириллона, Иаков Серугский, но не Гомер и Эсхил[15]. О литературном персонаже, а значит и о вчувствовании, он мог рассуждать, читая притчи «Килилы и Димны» или повесть о страданиях Евсевия, папы римского при Юлиане Отступнике. Иллюстрацией сюжета могли

---

[14] Так, κάθαρσις – dukāyā' = «purgatio», «purificatio» (*Евр.* 1, 3; *1 Петр.* 1, 9) или «puritas» (*Евр.* 9, 13); по сути это ближе всего ритуальной чистоте. Перевод ἔλεος – rǎhme' = «misericordia», «commiseratio», «amor» (развилось из этимологического значения слова «viscera»; ср. русск. «благоутробный», т. е. «милосердный»: *Иов.* 6, 14; *Зах.* 7, 9). Средство очищения – сострадание ближнему, милосердие.

[15] Цитируя греческих поэтов (характерно, что Орфей имеет равные права с Гомером и Гесиодом), сирийские авторы VIII–IX вв. черпают материал не из первоисточника: *Brock S.* Syriac Perspectives on Late Antiquity. Aldershot, 1984. P. 28: «Normally a Syriac intermediary should be posited for references to classical literature». В сирийском переводе, очевидно, имелись большие отрывки Гомера; риторический трактат Антония из Тагрита (IX в.) содержит много цитат из обеих поэм: *Raguse H.* Syrische Homerzitate in der Rhetorik von Anton von Tagrit / Paul de Lagarde und die Syrische Kirchengeschichte. Göttingen, 1968. S. 162–175. При этом в одном алхимическом руководстве второй половины VII в. Гомер назван соперником Гиппократа и «творцом зла»: *Пигулевская Н.В.* Культура сирийцев в Средние века. М., 1979. С. 176. Есть и другие примеры подобной трансформации. Будем реалистами: даже если Ицхак бен Хунайн прочел что-то из греческой поэзии, вряд ли он воспринял прочитанное как образцовую литературу. Времена Лукиана давно прошли. Античные сюжеты непривычны для сирийцев; театр – вне пределов их понимания. Автор VIII в. Абрахам бар Дашандад советует «читать рыбаков, не поэтов» (ср. Greg. Naz. *Orat.* 23 [1164, 46–7]: ἁλιευτικῶς, ἀλλ' οὐκ Ἀριστοτελικῶς): *Brock S.* Syriac Perspectives on Late Antiquity... P. 28, 34, n. 128. Та же идеология на Западе обусловила трехсотлетнее забвение античной поэзии и почти полное отсутствие интереса к эстетической проблематике.

служить эпизоды библейской истории. Исходя из таких примеров понять нашего автора не столь трудно: милосердие и страх Божий, внушаемые духовной литературой, умеряют (смягчают, облегчают) страдания верующего и очищают от них душу, т. е. помогают верить и избегать греховных поступков. Не будем ни уточнять, ни оспаривать: приписав Бен Хунайну оригинальный вариант *религиозно-дидактического* толкования, мы, кажется, уже зашли дальше, чем позволяет немногословный по необходимости текст перевода[16]. Усилия Сирийца, во всяком случае, нельзя недооценивать. Бóльшая часть знакомых ему художественных текстов – догматики, жития, полемики, поучения – не могли не наводить на мысль об учительстве как исключительной задаче и функции литературы. Замечательно, что сирийский герменевт не стал переделывать Аристотеля на педагогический лад, как вскоре поступили его арабские преемники.

Интерес последних к теории литературы живее, чем у сирийцев: известны несколько самостоятельных арабских «Поэтик»[17].

---

[16] В котором, однако, есть одна любопытная вставка (Analecta Orientalia... 77, 55; ее автором мог, конечно, быть и Бар Шакко, сохранивший отрывок), начинающаяся со слов ḥrānē āmrīn – «другие говорят». Источником, как тут же становится ясно, служит текст Писания. «Давид, тот великий арфист Святого Духа, назван Трагиком, ибо, когда он поет и играет на арфе, то сетует и стенает, как, например: слезами своими увлажнил я ложе свое» (*Пс.* 6, 7): *Heinrichs W.* Op. cit. 116, Anm. 3. Отличная от аристотелевской концепция состоит в том, что «трагедия» есть нечто сопровождаемое обильными слезами (la-trāgōdiya naqqīpān demᶜē), «плачевная песнь». Марголиус переводит «nenia». Отдаленный гедонистический эффект (по Аристотелю – в понимании Сирийца) противопоставлен непосредственному переживанию болезненных эмоций (согласно «другим» – жаль, что они не названы). Хочется думать, что уже Бен Хунайн – отправляясь от своих примеров – пришел к дуализму «трагедийного» чувствования.

[17] *Крачковский И.Ю.* Арабская поэтика в IX в. // Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. М.; Л., 1956. Т. II. С. 363: «Трудно усматривать следы греческого влияния на возникновение арабской поэтики. Она зародилась в совершенно иной среде – в кругу арабских лингвистов и филологов, исходивших не из какой-либо чужой теории, а из наблюдений над родным языком». О ранних арабских поэтиках («Тахлаб» и др.): *Tkatsch J.* Op. cit. Bd I. P. 107. «Руководство о законах поэтического искусства» аль-Фараби было первой арабской работой по теории литературы, основанной на Аристотеле. Центральный термин у аль-Фараби «подражание» (muḥākāt), цель искусства – «вызывание представлений» (taḫyīl). В эмоциональную деятельность реципиента аль-Фараби не вникает: *Arberry A.J.* Farabi's Canons of Poetry // Rivista degli studi orientali. 17. 1938. P. 266–78.

Соответственно, и к Аристотелю арабские экзегеты более требовательны: «трагедия» не устраивает Абу Бишра; непонятное слово заменяется на «хвалебное стихотворение» (madīh)[18]. Почему найден именно этот эквивалент? Панегирик – мадх – у средневековых арабских критиков возглавляет иерархию поэтических жанров. Расцвет литературы и литературоведения в багдадском халифате, предопределивший появление труда Абу Бишра (932 г.?[19]), начинается с книги его старшего современника Кудамы ибн Джафара «Критика поэзии»[20]. Характеристики мадха Кудама дает непосредственно после определения поэзии[21]. Мадху противостоит поношение – хиджа, жанр не менее консервативный и существовавший, очевидно, еще в доисламской традиции[22]. Комедию «Поэтики» Абу Бишр сближает с этим жанром (и переводит

[18] *Heinrichs W.* Op. cit. P. 108 («Lobgedicht»); *Tkatsch J.* Op. cit. Bd. I. P. 231 («ars encomii»). В рассказе «Искания Аверроэса» [из сборника «Лабиринт» (1962 г.); русский перевод И. Бабкина сохраняет все достоинства оригинала] Хорхе Луис Борхес ошибочно приписал это нововведение Ибн Рушду. Идею, которая легла в основу рассказа, автор почерпнул из устаревшей к его времени книги Э. Ренана: Averroès et l'Averroisme. Paris ,[2]1861. P. 48.

[19] Avicenna's Commentary on the *Poetics* of Aristotle / Ed., transl., comm. by Ismail M. Dahiyat. Leiden, 1974. P. 9.

[20] Кудама и Абу Бишр были знакомы друг с другом; Кудама присутствовал на логическом диспуте, который Абу Бишр вел с багдадским философом и грамматиком аль-Сирафи: *Margoliouth D.S.* The Discussion between Abu Bishr Matta and Abu Said al-Sirafi on the Merits of Logic and Grammar // The Journal of the Royal Asiatic Society. 1905. P. 84. Как и Абу Бишр, Кудама был христианином: *Крачковский И.Ю.* «Реторика» Кудамы ибн Джафара // *Крачковский И.Ю.* Избранные сочинения. Т. II. Р. 381. Об источниках Кудамы, в том числе греческих, см.: The Kitāb Naqd al-šiʿr of Qudama b. Jafar al-Katib al-Bagdadi / Ed. S.A. Bonebakker. Leiden, 1956. P. 36–44.

[21] The Kitāb Naqd al-šiʿr of Qudama b. Jafar... 2; *Фильштинский И.М.* История арабской литературы X–XVIII вв. М., 1991. С. 405–406: «Поэзия – это размеренная речь, рифмующаяся и имеющая смысл». Споры между сторонниками первенства «поэтической идеи» (мотива) и, условно говоря, формалистами, ставившими на первый план «словесное выражение», дают о себе знать во многих памятниках арабской эстетической мысли. Формалисты (аль-Аскари и др.) всегда были влиятельнее: *Крачковский И.Ю.* Поэзия по определению арабских критиков // Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. Т. II. С. 58; *Шидфар Б.Я.* Образная система арабской классической литературы. М., 1974. С. 100–107.

[22] *Фильштинский И.М.* Указ соч. С. 407; *Шидфар Б.Я.* Указ соч. С. 90.

этим словом)[23]. Он не брался пересадить Аристотеля на иранскую почву. Чаще, чем сириец – греческого, Абу Бишр хочет дать осмысленный перевод сирийского текста, и ему приходят на ум ближайшие, *неизбежные* для него соответствия. Перевод «мадх» напрашивался сам собой[24]. Именно в силу самостоятельности арабской литературно-критической традиции Абу Бишр отстоит от сирийского текста существенно дальше, чем этот последний от греческого. Тень оригинала еще можно разглядеть: оппозиция «серьезный–легкомысленный» присутствует в «Поэтике» (48b25–27). Но как поношение у Аристотеля противостоит собственно комическому (48b38: οὐ ψόγον ἀλλὰ τὸ γελοῖον), так, несомненно, и идея энкомия далека от трагического.

Дойдя до психологического раздела определения, Абу Бишр снова радикально переиначивает свой сирийский источник: **«...умеряет страсти и впечатления посредством сострадания и страха, и очищает, и делает чистыми тех, кто чувствует страсть»**[25]. В грамматическом отношении перевод сделан по трафарету с сирийского. Хотя никому не придет в голову изучать «Поэтику» по сиро-арабским переводам и комментариям, нельзя не заметить, что уже первые экзегеты столкнулись с трудностью интерпретации τοιούτων. Проблему синтаксической двойственности τοιούτων Ицхак решил, поместив рядом со «страданиями» людей: их очищение есть избавление от страданий. Точно так же «раздваивается» τοιούτων в новом переводе. Однако если для Си-

[23] *Heinrichs W.* Op. cit. P. 108.

[24] Г. Келли, исследователь Аверроэса и его латинских комментаторов, стремится доказать, что изобретенные Бишром переводы – результат осмысления оппозиции σπουδαῖος / φαῦλος в гл. V «Поэтики» (48b24–27): *Kelly H.A.* Aristotle–Averroes–Alemannus on Tragedy // Viator. 10. 1979. P. 161–172. Идея бесперспективна: Бишр не читал «Поэтику» по-гречески; он всем обязан Бен Хунайну. Аверроэс тем более не знал греческого. Отличия Абу Бишра от Сирийца нужно объяснять особенностями местной арабской традиции.

[25] Avicenna's Commentary... 85: «modifying the emotions and affections by mercy and fear and purifying and cleansing those who are moved»; о разнице с сирийским оригиналом ср.: Ibid. 86: «the concept of catharsis consists not in “purging” pity and fear, but in their modifying effect over “emotions and affections...”»; ср.: *Tkatsch J.* Op. cit. Bd. I. P. 231: «ars encomii... temperat passiones et impressiones per misericordiam et metum et purgat et mundat eos qui patiuntur». Я благодарен В.В. Емельянову (Санкт-Петербург) за помощь в анализе древнеарабского материала – как языкового, так и литературного.

рийца эффект искусства заключался в избавлении от боли, то у Араба он сведен к усмирению страсти[26]. Постараемся прояснить мотивы, приведшие Матту к такому пониманию.

Абу Бишр испытывает непосредственное влияние местной литературной и литературно-критической традиции. Вместе с тем он, человек одной с Ицхаком веры, придерживался определенной философии и, очевидно, сочувствовал тем течениям в арабской поэзии, которые отвечали его мировоззрению. Он мог бы ориентироваться на поэтов, проповедовавших отказ от страстей, – захидов (Абу-ль-Атахия, аль-Мутанабби)[27]. Но как – спросим мы – справляется с этой задачей энкомий? Панегирист редко берется «усмирять» чувства; вызывать болезненные эмоции у слушателя вообще или тем более у того слушателя, который ему важнее других, у своего заказчика, такой поэт тоже не станет. Лаудативная поэзия не подходит для обозначенной в определении Матты задачи, что снова подтверждает наш вывод: замена трагедии на мадх чисто узуальна; иерархически высший арабский жанр[28] заполняет пустующее (ввиду непонятности слова tragodia) первое место греческой жанровой иерархии. Далее, обдумывая психологический эффект поэзии, Матта имеет в виду уже не собственно восхваление, но вместе с ним и всю область *касыды* («оды»?)[29], к которой относится мадх. Это значительно расширяло возможности критика и, как тотчас увидим, сообщало аристотелевскому определению,

---

[26] В аппарате Я. Ткача к соответствующему месту арабского перевода: «‘affectus’ παθήματα; Syrus tantum ‘dolores’»: *Tkatsch J.* Op. cit. Bd. II. P. 6. Глагол ‘adala должен быть понят в смысле «выравнивания», «умерения». Привожу дословный перевод В.В. Емельянова: «...панегирик... умеряет гнев и печаль посредством милосердия и страха, и очищает, и делает чистыми тех, кто мучается страстями».

[27] Зухд у арабов-мусульман во многом порожден подражанием христианству: *Андре Т.* Исламские мистики. СПб., 2004. Ср. об исламском мистицизме в его отношении к искусству: *Масиньон Л.* Методы художественного воздействия у доисламских народов // Арабская средневековая культура и литература. М., 1978. С. 46–59.

[28] Он стал главным при Аббасидах, потому что был более других востребован, служил придворным поэтам источником дохода. Касыда-панегирик превращается в оду под пером больших поэтов (таковы панегирики Ар-Руми; ср. переводы А. Сендыка в сб.: Арабская поэзия Средних веков. М., 1975. С. 331–334).

[29] О взаимоотношении мадха и касыды см.: *Куделин А.Б.* Арабская литература: поэтика, стилистика, типология, взаимосвязи. М., 2003. С. 110–112.

а точнее – тому, что Абу Бишр хотел в нем найти, определенную литературную платформу.

Каноническая касыда, как известно, сложилась в доисламской лирике. Относительная устойчивость композиции не исключала большого разброса тем[30]. «Стоический» пафос при этом отнюдь не редок. Уже в муаллаках Имруулькайса, которого сами арабы считали изобретателем касыды, встречаются заключительные бейты о переменчивости судьбы и бессилии человека перед смертью[31]. Нередок мотив обманутых ожиданий, разочарований в дружбе, несчастной любви. При том что «золотой век» относится к древним образцам неоднозначно, в композиционном отношении абсолютное большинство лириков VIII–X вв. ориентируются на бедуинскую поэзию. Проповедь бесстрастия вряд ли была композиционным штампом в касыде (хватает и обратных примеров), но поэтами определенных взглядов древняя традиция – заключать касыду мыслями о тщете всего земного – постоянно эксплуатируется. Например, мутазилит Ибн ар-Руми неожиданно заканчивает гимн винограднику и его плодам двустишием о том, что «счастье сменится невзгодами» и «от рая шаг до ада». Сторонники зухда решаются утверждать свои этические принципы и в касыдах-панегириках. Так, в одном мадхе аль-Мутанабби, крупнейшего представителя арабской литературы эпохи расцвета (*alias* Мотенеббий; его акмэ совпадает со временем создания перевода Матты), читаем: «О сердце! *Умерь свои страстные желания*! Сколь часто в прошлом я видел тебя проявляющим искреннюю любовь к тому, кто не отвечал тебе искренней любовью»[32]. Создатель жанра «зухдийят» Абу-

---

[30] В зачине обычно обращались к любовной тематике. Аль-Мутанабби по этому поводу иронизирует: «В начале касыды любовный запев считают у нас законом, – / Ужели любой, кто слагает стихи, обязан быть и влюбленным?» (пер. С. Северцева). Точно так же и описания природы «присутствовали в качестве обязательного элемента в касыдах-панегириках почти всех средневековых одописцев»: *Фильштинский И.М.* Указ. соч. С. 95. О рекомендациях средневековых арабских критиков (Ибн Кутайбы и др.) относительно композиции касыды см.: *Куделин А.Б.* Указ. соч. С. 228.

[31] См. переводы Н. Стефановича в сб.: Арабская поэзия Средних веков. С. 30–31, 34–35; ср. стихи Зухайра (Там же. С. 68, пер. А. Сендыка). Страсть в поэзии Зухайра противостоит разуму и должна ему подчиняться.

[32] *Фильштинский И.М.* Указ. соч. С. 71. Тот же аль-Мутанабби, адресуясь к высокопоставленным лицам, иногда в очень вежливой форме советует проявлять сдержанность. Любопытно, что подобные призывы можно, хотя и редко, встретить у представителей совершенно противоположного направления в

ль-Атахия, а позднее аль-Маари, классик арабской философской поэзии, в своих касыдах отстаивают примат разума над чувством (в философии то же у аль-Кинди). Мы можем, следовательно, признать, что касыда давала тому, кто сочувствовал аскетам, достаточно поводов для заключений о названном Маттой эффекте. Вывод (разумеется, лишь гипотетический): сиро-христианская интерпретация (страсти = мучения) сменилась на арабо-христианскую (страсти = чувства), так как арабская поэзия, в первую очередь поэзия захидов, предоставила для этого иллюстративный материал, которым переводчик не преминул воспользоваться, рассчитывая на полное понимание людей своего круга, тех, кто интересовался Аристотелем.

Мысль Абу Бишра строится на существенно ином, нежели у Аристотеля, фундаменте. Вся арабская поэзия была поэзией «от первого лица», лирикой в субстанциальном смысле[33]. Аристотель редко вспоминает о лирических жанрах. Недошедшие главы «Поэтики», возможно, содержали нечто и об этом роде литературы, но вряд ли мы прочли бы о равноправии лирики с драмой и эпосом. Лирика характеризовалась бы для Аристотеля, в первую очередь, неспособностью к объективации действия (задумывался ли он о такой тонкой вещи, как драматизация чувств?) и была бы, вероятно, чем-то пограничным между поэзией и риторикой. Эмоции, по Аристотелю, возникают в связи с событиями. Читателю арабской поэзии доступно наблюдение за эмоциями, но ему редко дано чувствовать. Поэтому поэт на арабском Востоке – не больше чем мудрец, «шаир», и поэтому «la monocorda povera musa beduina», обогатив исламскую культуру, осталась ее пленницей[34]. Разделенные

арабской лирике – страстной поэзии, преклонявшейся перед чувствами (такой сенсуалист – Башшар ибн Бурд). Отношение арабов к страстям – вопрос столь же непростой, как и отношение сирийцев к страданиям. Подробный разбор потребовал бы многих страниц.

[33] Лирика по своей природе созерцательна. Лирик не изображает чувствующих, он наблюдает чувства. Его героя нельзя определить как персонаж; это все тот же автор, каким бы удивительным протеем он ни был. Показательно стремление арабских поэтов «создать» персонаж: так в «Балладе о любви Башшара», написанной *Башшаром* ибн Бурдом. О проблеме лирического героя в арабской поэзии см.: *Шидфар Б.Я.* Указ. соч. С. 30.

[34] *Gabrieli F.* Op. cit. P. 302: «...la monocorda povera musa beduina, ignara del epos, ignara del drammata, tutta ristretta all'espressione di sentimenti e immaggini (non importa naturalmente qui, quanto meccanizate e meccanizabili), in cui... la prima e unica persona era quella del poeta stesso, parlante per bocca propria».

с персонажем (парциальные) эмоции вряд ли могли стать инструментом очищения в доступной Абу-Бишру поэтике. Иное дело – проповедь. Автор конца IX в., печально известный «однодневный халиф» Ибн аль-Мутазз (он выступал и как филолог-теоретик), в афористичных двустишиях описывает приключившуюся с ним болезнь: поэт совершенно изнемог, но стойко борется с недугом, убеждая «врагов» в том, что вполне здоров. Другой пример: аль-Мутанабби оплакивает сына своего высокопоставленного покровителя; траурная элегия заключается пессимистической моралью: «этот мир не стоит того, чтобы жалеть о жизни или мечтать в нем о потомстве»[35]. Таких примеров в современной Абу Бишру поэзии десятки. В качестве суррогата эмоций читателю предлагаются характеристики чувств и медитации по поводу пережитого: полезно быть мужественным, нет смысла грустить об умерших и т. п. Определение Аристотеля было «понятно» арабскому переводчику: морализирующая лирика дискредитирует эмоции, *отучает* от жалости и страха. Данная конструкция, органичная для арабского материала, возникнет вновь много позднее в культуре, хорошо знакомой и с драмой, и с эпосом, и с античностью.

[35] *Фильштинский И.М.* Указ. соч. С. 68.

А.В. Бармин

КРЕСТОНОСЦЫ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

По замечанию Ж. Ле Гоффа, взятие Константинополя западными воинами в 1204 г. является, наряду с захватом Иерусалима в 1099 г. и существующей с того времени враждебностью ислама к Западу, одним из трех наихудших итогов всего крестоносного движения[1]. Не раз учеными высказывалась и та точка зрения, согласно которой именно Четвертый крестовый поход является решающим рубежом в истории разделения греческой и латинской церквей[2]. Подобные мнения основываются во многом на резко отрицательной оценке поведения завоевателей в византийской столице. Так, Г. Острогорский писал, что «в течение трех дней в Константинополе царили грабеж и убийство»[3], а С. Рансимен назвал происшедшее тогда в греческой столице «одной из отвратительных и трагических страниц истории», где «бесчеловечным кошмаром стала расправа с мужчинами, женщинами, детьми, священниками, монахами и монахинями»[4].

Впрочем, не все позднейшие историки высказывались о поведении победителей так плохо, как это делали, среди многих других, Г. Острогорский и С. Рансимен. Например, А.А. Васильев

[1] Interview avec J. Le Goff. Chronique d'un «très grand malheur» // L'histoire. 1995. 191. P. 36–38.

[2] См., например: *Рансимен С.* Восточная схизма. Византийская теократия. М., 1998. С. 107; *Papadakis A., Talbot A.M.* John X Camaterus Confronts Innocent III: an Unpublished Correspondence // Byzantinoslavica. 1972. 33. P. 28; *Geanakoplos D.* Byzantine East and Latin West. N. Y., 1966. P. 44.

[3] *Ostrogorsky G.* Geschichte des byzantinischen Staates. München, 1963. S. 359.

[4] *Рансимен С.* Указ. соч. С. 106–107.

хотя и отмечал, что в 1204 г. «ни церкви, ни церковные святыни, ни памятники искусства, ни частная собственность не были пощажены», но не писал при этом о насилиях и убийствах среди мирного населения[5], а К.Н. Юзбашян в своем рассказе о захвате византийской столицы ограничился словами о том, что западные воины «подвергли ее неслыханному грабежу»[6].

Захват Константинополя 12 апреля 1204 г. был итогом всего предшествовавшего роста напряженности в отношениях между участниками похода и греками. Составными частями постепенного ухудшения обстановки стали пожар при попытке захватить столицу в июле 1203 г., разгром домов местных «латинян» и ответный поджог ими города, нападение византийцев на западные корабли в январе 1204 г.[7] Для крестоносцев, осведомленных о сравнительно недавнем кровавом правлении василевса Андроника I[8] и об ослеплении собственного брата Алексеем III[9], переломной точкой в этой истории стало убийство Алексея IV и воцарение Алексея V Мурцуфла[10]. Согласно Жоффруа де Виллардуэну, с этого времени военные столкновения между западными воинами и греками почти не прекращались[11]. По рассказу Гунтера Пэрисского, описавшего события со слов очевидца, участники похода в случае его продолжения ожидали нападения греческого флота с тыла[12]; на ту же опасность, как и на нехватку продовольствия в лагере крестоносцев, указывает и автор сочинения «О иерусалимской земле» (так называемый Суассонский аноним), также осведомленный о

[5] *Васильев А.А.* Византия и крестоносцы. Пг., 1923. С. 81.

[6] *Юзбашян К.Н.* Внешнеполитическое и внутреннее положение Византии в конце XII века. Четвертый крестовый поход и захват Константинополя // История Византии. М., 1967. Т. 2. С. 345–346.

[7] Об этом последнем событии см.: *Villehardouin G. de* La conquête de Constantinople / E. Faral. P.,1961; рус. изд.: *Виллардуэн Ж. де.* Завоевание Константинополя. М., 1993. Гл. 217–220. См. также: *Clari R. de.* La conquête de Constantinople / Ph. Lauer. P., 1924 (рус. изд.: *Клари Р. де.* Завоевание Константинополя. М., 1986. Гл. 60).

[8] *Клари Р. де.* Указ. соч. Гл. 21.

[9] Там же. Гл. 28.

[10] Там же. Гл. 58–59; *Виллардуэн Ж. де.* Указ. соч. Гл. 208–210.

[11] *Виллардуэн. Ж де.* Указ. соч. Гл. 226.

[12] *Guntherus Parisiensis.* Historia constantinopolitana // Exuviae sacrae constantinopolitanae / P. Riant. Genevae, 1877. T. 1. P. 83.

происходившем от участника событий[13]. Робер де Клари сообщает, что новый византийский император потребовал от руководителей похода в восьмидневный срок покинуть Византию, но те отказали ему, заявив о желании отомстить за убийство Алексея IV и получить сполна обещанную им ранее сумму[14].

Дальнейшее движение в Св. Землю выглядело отныне неосуществимым, так как пропадала надежда не только на военную помощь Византии, но и на получение от нее обещанных Алексеем IV и до сих пор выплаченных лишь отчасти денег, а вместе с тем исчезала и возможность заплатить венецианцам за нанятые у них суда. Решение о втором штурме византийской столицы давало западным воинам пусть и рискованную, но единственную в их положении возможность рассчитаться с республикой св. Марка. Именно порядок выплаты этого долга в случае успешного взятия Константинополя оговаривался прежде всего в заключенном в марте 1204 г. между предводителями крестоносцев и дожем Энрико Дандоло договоре, причем особо предусматривались возможности, согласно которым предполагаемой добычи либо не хватило бы на возмещение предпринятых венецианцами расходов, либо же оказалось в избытке. Далее в документе определялись порядок избрания новых латинских императора и патриарха, раздел светских и церковных владений в империи между победителями. Все западные воины обязывались на год остаться в Византии для ее полного завоевания, о дальнейшем же движении в Св. Землю в соглашении ничего не говорилось[15].

Хотя денежные и военные обязательства перед участниками похода принимал Алексей IV, а в его лице – государственная власть Византии, разграблению подверглись отнюдь не только казенные здания, но также храмы и население города. По приблизительной оценке Жоффруа де Виллардуэна, стоимость снесенного на общий склад захваченного добра составляла около 400 тыс. ма-

---

[13] Contemporary Sources for the Fourth Crusade / A. Andrea. Leiden; Boston; Köln, 2000. P. 234.

[14] *Клари Р. де.* Указ соч. Гл. 62.

[15] PL 215, col. 517–519. См. также: *Виллардуэн Ж. де.* Указ. соч. Гл. 234–235. После своей коронации императором в Константинополе Бодуэн Фландрский заверял папу Иннокентия III в намерении западных воинов двигаться дальше в Св. Землю после полного покорения Византии (Contemporary Sources... P. 109).

рок серебром[16] и порядка 10 тыс. «всяких сбруй и уздечек»; к этому следует добавить 50 тыс. марок, выплаченных венецианцам[17]. Названная сумма намного превышала денежные обязательства Алексея IV перед западным войском, приведшим его на престол, – выплатить участникам похода 200 тыс. марок серебром[18]. Впрочем, претендент на греческий престол также обещал крестоносцам снабжать их продовольствием в течение года, переправить морем в Св. Землю и содержать там в течение года 10 тыс. византийских воинов, наконец, до конца своей жизни обеспечивать пребывание в Палестине 500 «рыцарей»[19]. Впоследствии часть захваченного была по определенным ставкам распределена среди воинов, которым при этом досталось в личную собственность почти 100 тыс. марок серебром, т. е. около четверти завоеванного добра[20].

Сами участники этого целенаправленного опустошения Константинополя, как то явствует из их воспоминаний, вовсе не считали подобный образ действий преступным – при условии, что добыча не утаивалась, а поступала в общее распоряжение[21]. Писавший с чужих слов Гунтер Пэрисский сообщал о «жадном разграблении» западными воинами церкви, где греки в свое время устроили сокровищницу и хранилище св. мощей[22]. Он же с недовольством отзывался о поведении одного аббата по имени Мартин, который при виде происходящего «и сам вознамерился протянуть свои освященные руки к хищению»[23]. Однако же в целом отношение Гунтера к происходившему не отличалось от взглядов

[16] Парижская тройская марка весила 244,7529 г, турская – 233,6 г (*Зварич В.В.* Нумизматический словарь. Львов, 1979. С. 106). Таким образом, названная сумма должна была составить более 90 т серебра.

[17] *Виллардуэн Ж. де.* Указ. соч. Гл. 254–255. См. также: *Клари Р. де.* Указ. соч. Гл. 81.

[18] Из них около 100 тыс. марок, по сообщению Роббера де Клари, уже были выплачены крестоносцам: *Клари Р. де.* Указ. соч. Гл. 56. См. также: *Виллардуэн Ж. де.* Указ. соч. Гл. 193.

[19] Там же. Гл. 93, 188.

[20] Там же, гл. 254. Каждый рыцарь получал 20 марок, конник (конный оруженосец) – по 10 и пехотинец – по 5 марок (L'estoire de Eracles empereur // Recueil des historiens des Croisades. Historiens occidentaux. P., 1859. T. 2. P. 275).

[21] Ср.: *Клари Р. де.* Указ. соч. Гл. 81; Devastatio constantinopolitana // MGH SS, 16. P. 12.

[22] *Guntherus Parisiensis.* Op. cit. P. 105.

[23] Ibid. P. 104.

Жоффруа де Виллардуэна и Робера де Клари, осуждавших не сам захват городских богатств как таковой, а лишь их самовольное и недозволенное присвоение отдельными воинами. Если при этом Робѐр де Клари винил в такого рода хищениях именно знатных рыцарей, наблюдавших за снесенным в одно место добром[24], то Жоффруа де Виллардуэн утверждал, что таковых было немало «как среди малых, так и среди великих». По его словам, многие из них, пойманные с поличным, были по приговору суда повешены[25]. Согласно описавшему около 1229 г. эти события продолжателю Гийома Тирского, сразу за взятием городских стен победители устремились грабить «святую церковь» (по всей видимости, собор св. Софии) и монастыри; впоследствии же движимые взаимной ненавистью и досадой рыцари и бедняки обвиняли друг друга в несправедливом присвоении добычи[26].

Разорение захваченных городов, когда победители не видели различий между достоянием общин, собственностью частных лиц, имуществом храмов или монастырей, было обычным явлением многочисленных войн, и примеры тому могут быть отысканы как в византийском, так и в западноевропейском Средневековье[27]. Однако в случае с разграблением византийской столицы в 1204 г. победители явно считали основанием для такого поведения необходимость взыскать обещанные Алексеем IV средства для выплаты долга венецианцам. По всей видимости, именно по этой причине сами крестоносцы не пытались оправдать себя в своих откровенных рассказах о взятии города. Другой особенностью случившегося тогда являются огромные размеры добычи и, соответственно, нанесенного Константинополю урона. Они объясняются исключительной для того времени величиной города и обилием находившихся в нем сокровищ: Робер де Клари ссылался на

[24] *Клари Р. де.* Указ. соч. Гл. 81.

[25] *Виллардуэн Ж. де.* Указ. соч. Гл. 255.

[26] L'estoire de Eracles empereur. P. 275.

[27] Так, в 1081 г. воины Комнинов, поднявшие мятеж против Никифора III Вотаниата, грабили в Константинополе как частных лиц, так и церкви (*Анна Комнина.* Алексиада / Публ. Я.Н. Любарский. СПб., 1996. С. 111; *Ioannes Zonaras.* Epitome historiarum. Lib. 18, cap. 20 / Ed. L. Dindorf. L., 1871. Vol. 4. P. 234). См. также сообщения о разграблении Синт-Трейдена лувенцами в 1114, 1128, 1136 гг. (MGH SS 10. P. 296, 308, 311), Милана войсками Фридриха I, а также Адриано и Адро венецианцами в 1162 г. (MGH SS 14. P. 77), Альбано Лациале римлянами в 1168 г. (MGH SS 32. P. 1).

заявления греков, согласно которым там были собраны две трети всех земных богатств[28]. Скорее всего, именно тогда многочисленные произведения византийского искусства попали в сокровищницы западноевропейских соборов[29].

Константинополь претерпел также огромный урон от огня, но произошло это не после его взятия крестоносцами, а до и в ходе его второго захвата. Город сильно выгорел, когда западное войско попыталось завладеть им в первый раз в июле 1203 г.[30] Согласно Никите Хониату, опустошительный пожар был устроен 19 августа 1203 г. бежавшими в Перу местными фламандцами, поддержанными частью пизанцев и венецианцев, в отместку за разрушение греками их жилищ[31]. Очень большой ущерб причинил также огонь, бушевавший в Константинополе с вечера 12 апреля 1204 г., когда ворвавшиеся внутрь городских стен крестоносцы подожгли дома, чтобы защититься от ответного натиска византийцев. По оценке Жоффруа де Виллардуэна, тогда «сгорело домов больше, чем их имеется в трех самых больших городах Франции»[32]. Никита Хониат в этом случае ограничился указанием на то, что распространившийся на восток и немного далее монастыря Эвергета огонь разделил кварталы византийской столицы, спускавшиеся оттуда к морю и граничившие с воротами Друнгария[33].

Далеко не столь ясно, однако, обстоит дело с другими обстоятельствами взятия византийской столицы. Наиболее подробный рассказ свидетеля-грека о завоевании Константинополя находится в заключительных главах «Истории» Никиты Хониата, запи-

---

[28] *Клари Р. де.* Указ. соч. Гл. 81.

[29] Сложность заключается в том, что происхождение многих произведений византийского искусства в европейских собраниях трудно установить (см. об этом, в частности: *Орецкая И.А.* IV крестовый поход и судьба византийского культурного наследия // Византия и Запад: Тез. докл. XVII Всероссийской научной сессии византинистов. М., 2004. С. 136).

[30] *Клари Р. де.* Указ. соч. Гл. 46.

[31] *Nicetae Choniatae.* Historia / I. van Dieten. Berlin, 1975. P. 552–555 (далее – *Nicetas Choniates*). Согласно Ж. де Виллардуэну и составителю «Константинопольского опустошения», после этого пожара «из города бежали уже все местные латиняне» (*Виллардуэн Ж. де.* Указ. соч. Гл. 203–205; Devastatio constantinopolitana // MGH SS, 16. P. 11).

[32] *Виллардуэн Ж. де.* Указ. соч. Гл. 247; Devastatio constantinopolitana. P. 12.

[33] *Nicetas Choniates.* P. 570.

санных в 1204–1208 гг., т. е. по свежим следам событий[34]. Однако точных сообщений о нанесенном людям и городу ущербе в самом сочинении мало, поскольку автор подробно останавливается лишь на разгроме храма св. Софии, а также на том, что приключилось с ним самим[35]. Лишь с опозданием осознав свое упущение, Хониат добавляет к своему сочинению нечто вроде памятной записки об уничтоженных завоевателями скульптурных памятниках Константинополя[36]. Вместо того чтобы по порядку перечислить совершенные в городе бесчинства и тем самым создать наилучшее обвинение завоевателям, Хониат заполняет свой рассказ о взятии Константинополя пространными выдержками из библейских книг – Исайи, Иеремии, Плача Иеремии, Псалтири и др.[37] Таким образом случившееся косвенно сопоставляется с падением Иерусалима в 587 г. до н. э, подключается к ходу священной истории и возвышается до уровня поистине вселенского несчастья, но в то же время и оказывается скрытым под покровом ветхозаветных образов. Как бы оправдывая нехватку подробностей в своем повествовании, Хониат прямо заявляет о нежелании «воспевать дела варваров и сообщать потомкам о военных деяниях, в которых эллины не побеждают»[38]. Подмена понятия «описание» образом «воспевание» сама по себе вовсе не является чем-то новым[39], но в данном случае у нее, похоже, особое предназначение – извинить не вполне объяснимую для очевидца нехватку точных сведений в повествовании, ведь ждать от историка похвал собственным врагам никто и не мог. Любопытно, что речь Хониата и на самом деле местами почти превращается в песнь, причем это начинает происходить как раз тогда, когда его изложение переходит к рассказу о падении Константинополя[40]:

[34] *Dieten I.A. van.* Praefatio // Nicetas Choniates. P. C.

[35] *Nicetas Choniates.* P. 573–574, 587–591.

[36] Ibid. P. 647–655.

[37] Ibid. P. 577–582, 585.

[38] Ibid. P. 580, 585.

[39] *Аверинцев С.С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. С. 193–194.

[40] Такое же наблюдение делает и Д.Е. Афиногенов, согласно которому характер текста Хониата «резко меняется» и становится насыщенным ораторскими фигурами как раз тогда, когда историк переходит к описанию самого захвата города крестоносцами (*Афиногенов Д.Е.* Рассказ Никиты Хониата о падении Константинополя: некоторые замечания о стилистической структуре // Византия и Запад. Тез. докл. XVII всероссийской научной сессии византинистов. С. 13).

...εὔοδα τὰ ἐν ποσίν, εὔκολα τὰ ἐν χερσί,
τὰ ἐν στενωποῖς εὐδιάβατα, τὰ ἐν τριόδοις ἀπρόσκοπα,
ἀπὸ πολέμων ἀσφάλειαν, ἀπὸ πολεμίων ὠφέλειαν[41]...

Точно так же историк играет словами, описывая творимые завоевателями бесчинства:

...ἀλλ' ἐπρονόμευον ἀδεῶς, ἀλλ' ἐσκύλευον ἀναιδῶς[42]...
Ὢ μοι τῆς ἀτίμου τῶν προσκυνητῶν εἰκόνων κατεδαφίσεως
καὶ τῆς τῶν λειψάνων τῶν ὑπὲρ Χριστοῦ παθόντων κατὰ
τόπων ἐναγῶν ἀκοντίσεως[43].
...πάντας ἀποξενώσαντες χρημάτων καὶ κτημάτων,
οἰκημάτων τε καὶ ἐσθημάτων[44]...

Как видно, о несчастье своих соотечественников Хониат тоже рассказывает переходящими в песнь причитаниями:

...ἐν τριόδοις ὀδυρμοί, ἐν ναοῖς ὀλοφυρμοί,
ἀνδρῶν οἰμωγαί, γυναικῶν ὀλολυγαί,
ἑλκυσμοί, ἀνδραποδισμοί,
διασπασμοὶ καὶ βιασμοί[45]...
...οἱ τῷ γένει σεμνοὶ γυμνοὶ περιῄεσαν,
οἱ τῷ γήρᾳ γεραροὶ γοεροί,
οἱ πλούσιοι ἀνούσιοι.
Οὕτως ἐν πλατείαις, οὕτως ἐν γωνίαις,
οὕτως ἐν τεμένεσιν, οὕτως ἐν καταδύσεσιν[46]...

Наконец, посредством подобным образом украшенной речи он прославляет былую красу византийской столицы и оплакивает ее упадок:

---

[41] «...то, что вблизи, – проходимо; то, что под руками, – легкодоступно; то, что в узких местах, – преодолимо; то, что на перекрестках, – безвредно; от сражений – безопасность, от врагов – помощь» (*Nicetas Choniates*. P. 572).

[42] «...но грабили смело, но мародерствовали бесстыже...» (Ibid. P. 572).

[43] «О, бесчестное поклоняемых икон ниспровержение и останков за Христа пострадавших со священных (буквально – "заклятых") мест низвержение!» (Ibid. P. 573).

[44] «...всех лишая денег и имений, домов и одежд...» (Ibid. P. 575).

[45] «...на перекрестках плачи, в храмах сетования, мужей вопли, жен рыдания, пленение, порабощение, разлучение и насилие...» (Ibid. P. 574).

[46] «...родом досточтимые бродили раздетыми, старостью почтенные – плачущими, богатые – нищими. Так на площадях, так на углах, так в святилищах, так в убежищах...» (Ibid. P. 574–575).

...ἄκουσμα παγκόσμιον, θέαμα ὑπερκόσμιον,
ἐκκλησιῶν γαλουχέ, πίστεως ἀρχηγέ, ὀρθοδοξίας ποδηγέ,
λόγων μέλημα, καλοῦ παντὸς ἐνδιαίτημα[47].
...μεγαλοπρεπὴς τὸ εἶδος, ἀξιοπρεπεστέρα τὸ μέγεθος,
νυνὶ δὲ κατερραγμένη καὶ διερρηγμένη τοὺς χλιδῶντας
χιτῶνας[48]...

В результате взгляд историка на события, очевидцем которых он был, представляется отстраненным, а его рассказ о захвате города выделяется не столько ожидаемыми от свидетеля подробностями происшедшего, сколько демонстрацией учености и художественного мастерства автора. Похоже, что такого рода образность повествования значила для Хониата не меньше, чем описание увиденного. Подобное явление не было новшеством для византийских исторических сочинений[49]; в частности, на него указывал Я.Н. Любарский, объясняя причины разнообразных отступлений от истины в «Алексиаде» Анны Комнины[50].

О падении Константинополя сравнительно кратко вспоминал в марте 1207 г. в эпитафии своему брату Иоанну Николай Месарит. Будучи, как и Хониат, очевидцем случившегося, он также не стал дополнять картину бесчинств завоевателей ссылками на имена пострадавших. Его речь не поднимается до уровня песни, однако в ней многие предложения и причастные обороты нанизываются друг на друга, соблюдая некое подобие размера: «...меченосцы безумствующие, убийством дышащие, железо сокрушающие и копья носящие... ужасно горделивые, нечто керберское лающие и нечто хароновское изрыгающие, святое грабящие, божественное попирающие, священное презирающие...»[51]. В этом

[47] «...молва всемирная, зрелище надмирное, церквей млекопитательница, веры начальница, православия путеводительница, слов попечение, всякой красоты обитель» (Ibid. P. 576).

[48] «...величественная видом, достойнейшая величиной, ныне же сорваны [с тебя] и разорваны роскошные одеяния...» (Ibid. P. 577).

[49] Так, по словам Я.Н. Любарского в «Алексиаде» Анны Комнины «чисто исторические задачи... действительно часто уступали перед целями художественными» (*Любарский Я.Н.* Послесловие // Анна Комнина. С. 690).

[50] Там же. С. 689–691.

[51] Νικόλαος Μεσαρίτης. Ἐπιτάφιος εἰς Ἰωάννην τὸν Μεσαρίτην // Heisenberg A. Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Kaisertums und der Kirchenunion. Sitzungsberichte der bayerischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse. Jahrgang 1922, 5. Abhandlung. München, 1923. S. 46.

отношении рассказы Хониата и Месарита являются противоположностью сочинениям двух западных очевидцев – Жоффруа де Виллардуэна и Робера де Клари, которые, не прибегая к таким украшениям стиля, описали взятие города с намного большим количеством подробностей.

Помимо художественной искусности повествований, Николая Месарита объединяет с Никитой Хониатом еще одна общая черта: когда они, вместо упражнений в красноречии и зачастую общих обвинений в адрес завоевателей, обращаются к происшедшему с ними самими или с их близкими, оба сообщают при этом о «латинянах» также и нечто положительное. Так, из рассказа Хониата явствует, что защиту и убежище ему и его близким в те тяжелые дни предоставил некий венецианец, который сам со своей семьей раньше, во время осады города, нашел укрытие в доме историка[52]. Никита сообщает и о том, как на его глазах некий «варвар» вознамерился овладеть покидавшей столицу гречанкой, однако был вынужден отказаться от этого из-за вмешательства других западных воинов, внявших просьбам о помощи ее отца и обличительной речи Хониата[53]. По словам Николая Месарита, грабившие город завоеватели не посмели тронуть его брата, находясь под впечатлением его монашеского благообразия[54]. Прослышав о достоинствах Иоанна, один из военачальников крестоносцев послал за ним, а при его появлении тут же встал и уступил ему первое место. Выразив восхищение добродетелью своего собеседника, этот же «инородец» (ἀλλογενής) обеспечил того впоследствии ежедневным пропитанием[55].

Крайне плохо отзываясь о поведении «латинян» в святилищах города, греческие писатели приводят об этом мало точных сведений. Так, известно, что крестоносцы разделили на части многоценный алтарь и присвоили церковную утварь собора св. Софии[56]. Однако сомнителен перечень захваченных в этом храме сокровищ, содержащийся в небольшой русской повести «О взя-

---

[52] *Nicetas Choniates.* P. 588.

[53] Ibid. P. 590–591.

[54] Νικόλαος Μεσαρίτης. S. 47.

[55] Ibid. S. 48.

[56] *Nicetas Choniates.* P. 573; Κωνσταντῖνος Στιλβῆς. Τὰ αἰτιάματα τῆς λατινικῆς ἐκκλησίας ὅσα περὶ δογμάτων καὶ γραφῶν καὶ ἑτέρων πολλῶν // REB, 21. 1963. P. 82.

тии богохранимого Царяграда»[57]. Согласно Хониату, завоеватели ввели в храм мулов, чтобы вывезти богослужебную утварь и серебряное покрытие амвона, а когда некоторые из животных поскользнулись на полу, воины (непонятно, почему) закололи их, осквернив священное место навозом и кровью. Константин Стилв повторяет это сообщение с тем отличием, что он упоминает только об одном убитом в церкви муле[58]. По всей видимости, то же самое происшествие имеет в виду и Николай Месарит, когда пишет, что «на священных жертвенниках пролилась смертная кровь (αἷμα βροτεῖον), и вместо жертвуемого агнца Божьего, словно некие бараны, влачились и лишались кожи многие (ὡς ἀρνειοί τινες εἵλκοντο καὶ ἀπεδειροτομοῦντο πολλοί), и на священных гробах дерзкие [воины] убивали ничем не согрешивших (τοὺς μηδὲν ἀδικήσαντας)»[59]. Мысли о том, что будто бы здесь под жертвами завоевателей подразумеваются жители города, противоречит вывод, который делает из своего рассказа Месарит: «Таково-то почтение к божественному у носящих на плече крест Господень...»[60] Очевидно, что, если бы речь шла тут об убийстве людей, происшедшее свидетельствовало бы скорее о неслыханной жестокости «варваров», чем об их неблагочестии; о какой-либо расправе путем снятия кожи с живых людей молчат в своих повествованиях и Никита Хониат, и другие очевидцы. Наверное, все то же описанное выше событие, но в чуть искаженном виде упоминается в принадлежащем неизвестному автору рассказе «О том, как усилился против нас латинянин», согласно которому в дни захвата города, «где [раньше] была кровь таинственной жертвы, там была заклана свинья и овца»[61].

---

[57] *Творогов О.В.* Повесть о взятии Царьграда фрягами // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1987. С. 353; Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 48–50. Автор «Повести» рассказывает, помимо прочего, о бегстве Алексея IV из заключения в бочке и об ослеплении дожа Дандоло византийцами, а также принимает титул фландрского графа за его имя; эти ошибки показывают, что неизвестный россиянин был не лучшим образом осведомлен о происшедшем, и тем самым снижают доверие к содержащемуся в «Повести» перечню расхищенных церковных богатств.

[58] Κωνσταντῖνος Στιλβῆς. P. 81–82.

[59] Νικόλαος Μεσαρίτης. S. 46.

[60] Ibid. S. 47.

[61] Περὶ τοῦ ὅπως ἴσχυσε καθ' ἡμῶν ὁ Λατῖνος // Архим. Арсений (Иващенко). Три статьи неизвестного греческого писателя начала XIII в. в защиту православия и обличения новостей латинских в вере и благочестии. М., 1892. С. 85.

Кроме того, согласно Хониату в храме св. Софии какая-то «бабенка» (γυναικάριον), усевшись на сопрестолии, распевала «ломаную» песнь и при этом болтала ногами[62]; по словам Константина Стилва, также описавшего это происшествие, ее ввели в храм крестоносцы[63]. Сопровождала ли эта особа паломников еще из Западной Европы, была ли она из среды местных «латинян» или гречанкой, неизвестно; за время похода женщинам дважды было предписано покинуть войско крестоносцев – в Венеции по приказу кардинала Петра[64] и накануне взятия города 12 апреля[65]. Тот же Стилв утверждает, что завоеватели изуродовали иконы в больнице св. Сампсония, использовав их для устройства уборной[66], а в церкви Архангела в Анаплусе некий кардинал приказал замазать известью фрески и присвоил мощи святых[67].

Прочие обвинения против крестоносцев в кощунственном поведении со стороны греческих писателей никак не соотносятся с определенными местами или лицами. Хониат в общих словах заявляет, что завоеватели выливали и бросали на землю Св. Дары, ломали и захватывали дарохранительницы, низвергали наземь иконы и останки святых[68]. По его словам, западные воины, не различая священное и мирское, беззаботно вставляли изображения Христа и святых в сиденья и скамейки для ног[69]. Большей частью в столь же общих словах, не называя по имени собор

[62] *Nicetas Choniates.* P. 574.

[63] Κωνσταντῖνος Στιλβῆς. P. 82. О. Клеман допускает сразу три неточности, говоря о том, что крестоносцы «посадили» на «патриарший» престол «проститутку» (*Клеман О.* Беседы с патриархом Афинагором. Брюссель, 1993. С. 472). Согласно как Хониату, так и Стилву (*αὕτη καθίσασα*), она уселась на сопрестолие сама; если труд первого из этих двух авторов оказался в данном случае источником для второго, остается неясным, присутствовали ли при описанном событии западные воины.

[64] Devastatio constantinopolitana. P. 10.

[65] *Клари Р. де.* Указ. соч. Гл. 73.

[66] Κωνσταντῖνος Στιλβῆς. P. 83.

[67] Ibid. P. 85.

[68] *Nicetas Choniates.* P. 573. О. Клеман пишет, что западные воины выбрасывали св. мощи в нужники (*Клеман О.* Указ. соч. С. 471). Хониат сообщает о τῆς *τῶν λειψάνων... κατὰ τόπων ἐναγῶν ἀκοντίσεως*, что можно понять и как «выбрасывание мощей... в находящиеся под клятвой (проклятые, нечистые) места», и как «выбрасывание... с освященных мест». Согласно Стилву, крестоносцы бросали мощи «в обычные места как нечто нечистое» (εἰς τόπους βεβήλους ὥς τινα ἄγη, – Κωνσταντῖνος Στιλβῆς. P. 83).

[69] *Nicetas Choniates.* P. 595.

св. Софии или какую-либо другую церковь, рассказывает о варварских поступках иностранцев и Николай Месарит. Однако при этом он ничего не говорит об их кощунственном отношении к Св. Дарам или св. мощам, хотя и утверждает, что западные воины низвергали наземь иконы[70]. Так же поступает и автор сочинения «О том, как усилился против нас латинянин», который, ни словом не упоминая об осквернении крестоносцами Св. Даров или св. мощей, пишет, что завоеватели «попрали... всесвятые иконы». Сверх того, он обвиняет западных воинов во вскрытии гробниц, в мирском употреблении литургических сосудов, в превращении храмов в конюшни (при этом могло иметься в виду, по всей видимости, уже упомянутое происшествие в храме св. Софии). По словам греческого автора, завоеватели «отдавали блудницам незапятнанные плащаницы Господнего тела», так что какая-то непотребная женщина прямо заснула в них, а образ[71] Господень «был подостлан седалищам нечестивых»[72]. Тот же писатель упоминает о захвате св. мощей (в частности, главы Иоанна Крестителя[73]) и о превращении женских монастырей города в мужские[74]. Наконец, Константин Стилв повторяет по сути дела почти все указанные обвинения других греческих писателей, добавляя или удаляя некоторые подробности[75]. Так, по его словам, церковные сосуды не только использовались завоевателями для своих застолий, но и были отчасти переплавлены на кольца, ожерелья и прочие украшения, а покрова, антиминсы и священные одеяния служили мужчинам и женщинам одеждой, подстилками и седлами[76].

Остается неясным, однако, насколько достоверны подобные сообщения греческих источников. Так, вряд ли приходится сомневаться в правдивости сведений о разграблении собора св. Софии, поскольку в то время легко можно было отыскать свиде-

---

[70] Νικόλαος Μεσαρίτης. S. 46.

[71] Согласно Евстафию Солунскому, после захвата Фессалоники норманнами в 1185 г. блудницы одевались там в священные одежды (Eustazio di Tessalonica. P. 122).

[72] Περὶ τοῦ ὅπως ἴσχυσε καθ' ἡμῶν ὁ Λατῖνος. P. 85.

[73] Истории обнаружения этой главы в Константинополе крестоносцами посвящено целое сочинение: *Ricardus de Gerboredo, ep. Ambianensis*. De capta et direpta a latinis Constantinopoli // Exuviae sacrae. P. 35–44.

[74] Περὶ τοῦ ὅπως ἴσχυσε καθ' ἡμῶν ὁ Λατῖνος. P. 86.

[75] Κωνσταντῖνος Στιλβῆς. P. 81–84.

[76] Ibid. P. 82–83.

телей происшедшего, способных подтвердить или опровергнуть рассказ историка. Однако нельзя было подобным образом проверить сведения, никак не соотнесенные с определенными храмами византийской столицы. Слова о сорванных со своих мест иконах встречаются во всех названных греческих сочинениях и поэтому выглядят правдоподобными, но иначе обстоит дело с обвинениями в кощунственном обращении со Св. Дарами и св. мощами, так как об этом говорится лишь в произведениях Хониата и Стилва. Не менее важно другое обстоятельство: если Никита Хониат и Николай Месарит были очевидцами взятия Константинополя, то присутствие там в апреле 1204 г. автора сочинения «О том, как усилился против нас латинянин» и Константина Стилва ничем не подтверждено. Что касается последнего, то ему, как кажется, были известны соответствующие главы «Истории» Хониата, сведения из которых он мог использовать в своей работе[77]. Кроме того, нещепетильность Стилва заметно снижает доверие к его рассказу: в том же своем сочинении он возводит явную напраслину на «латинян», обвиняя их в отказе почитать апостола Павла, Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова и всех других «нелатинских» святых, приписывая папе и подчиненным ему епископам грех симонии, а западным клирикам в целом – отказ считать любодеянием безмолвное соитие в полной темноте[78].

Наконец, приведенные сообщения греческих писателей вступают в некоторое противоречие с тем, что известно из западных источников о настроениях крестоносцев. В сочинениях латинских очевидцев захвата города нет никаких нападок на веру или богослужебные обычаи греков. Наряду с прочими достопримечательностями византийской столицы Робер де Клари с вдохновением описывал и хранившиеся там многочисленные святыни: орудия страстей Господних (части креста, гвозди, наконечник копья, терновый венец), тунику Иисуса и даже пролитую им кровь, столб, к которому он был привязан перед распятием, плиту, на которую был положен после смерти, плащаницу, нерукотвор-

---

[77] Если о прямых заимствованиях говорить не приходится, то влияние Хониата можно заподозрить как в общем строении рассказа, где случившееся в храме св. Софии поставлено на первое по порядку место, так и в отдельных совпадениях: τὸ θεῖον αἷμα καὶ σῶμα... χεόμενον καὶ ῥιπτόμενον (*Nicetas Choniates*. P. 573) – ἅγιον αἷμα καὶ ἅγιον ἄρτον... ἐξέχεάν τε καὶ ἐξέρριψαν (Κωνσταντῖνος Στιλβῆς. P. 82).

[78] Κωνσταντῖνος Στιλβῆς. P. 70–71.

ный образ на полотне и на черепице, одеяния Девы Марии и главу Иоанна Крестителя, останки св. апостолов[79]. Французский рыцарь явно не воспринимал эти священные предметы как чуждые ему самому по вероисповедным причинам. Захватив при одной стычке в феврале 1204 г. чтимую греческую икону, крестоносцы не только «радостно возликовали... и унесли [образ] с превеликой радостью и торжеством в свой лагерь», но и отметили это событие праздничной службой, которая состоялась в находившейся там греческой церкви[80]. Согласно «Морейской хронике», латинские священники не раз служили в греческих храмах еще до захвата города западными воинами[81].

Считая Константинополь «дурным городом, полным хитростей и недостойным солнечного света», а его обитателей – «народом, неленивым лишь на обман, непокорным царю и неподвластным никакому закону»[82], Гунтер Пэрисский не называл византийцев схизматиками или еретиками и отмечал лишь, что они «не соглашались с католической верой»[83]. Еще более сдержанно отзывались о вероучительных разногласиях прочие западные очевидцы похода, которые свое отрицательное отношение к жителям Константинополя связывали главным образом с расправой, учиненной там над Алексеем IV. Так, Робер де Клари передает слова находившихся при войске проповедников о том, что «греки – предатели и убийцы и им чужда верность, ведь они убили своего законного сеньора, и они хуже евреев»[84]. Тот же участник похода, определяя «латинян» как тех, «кто исповедовал веру по римскому закону»[85], полагает, что тому же закону подчинялись до недавнего времени и византийцы. Слово «схизматики» по отношению к грекам появляется лишь в послании Иннокентия III крестоносцам

---

[79] *Клари Р. де.* Указ. соч. Гл. 82–83, 87, 92.

[80] Там же. Гл. 66.

[81] Recueil des historiens des Croisades. Historiens grecs. T. 1. P. 613.

[82] *Guntherus Parisiensis.* Op. cit. P. 84.

[83] ...a fide catholica dissidebant (*Guntherus Parisiensis.* Op. cit. P. 78).

[84] *Клари Р. де.* Указ. соч. Гл. 73. Старофранцузское juès (совр. juifs) можно передать на русский и как «евреи», и как «иудеи». Последняя возможность в данном случае выглядит более уместной, поскольку Робер де Клари явно основывался в своих словах на восходящих к Евангелию от Иоанна представлениях, согласно которым «иудеи» были основными виновниками распятия Христа – их собственного царя.

[85] Там же. Гл. 18.

«Legimus in Daniele», написанном осенью 1204 г., т. е. уже после второго и последнего захвата ими города[86]. Само понятие «схизма» встречается только в одном из всех западных сочинений, повествующих о походе, в «Константинопольском опустошении», где оно отнесено, однако, к разногласиям между венецианцами и духовенством других «латинян» после их общей победы[87].

Судя по произведениям самих крестоносцев, наличие богословских или обрядовых различий с Греческой церковью не влияло на действия завоевателей. Из всех западных историков похода один Гунтер Пэрисский, принадлежавший к духовенству, упоминал о разнице взглядов на исхождение Св. Духа и состав литургического хлеба[88], т. е. о двух главных спорных предметах в XI и XII вв. Однако этими разногласиями он объяснял причину плохого отношения Иннокентия III к византийской столице и не связывал их с мотивами действий крестоносного войска[89]. Впрочем, Жоффруа де Виллардуэн приводил одно соображение религиозного характера как причину для поворота пути от Св. Земли на Константинополь: стремление вернуть «Романию в подчинение Риму». Согласно его рассказу, впервые эта идея была предложена послами Филиппа Гогенштауфена и занимала второе место среди мотивов движения к византийской столице вслед за призывом восстановить на престоле свергнутого императора Исаака II, сын которого приходился шурином германскому королю[90]. По словам того же историка, после решения в июле 1203 г. первой задачи похода (возвращения к власти Исаака II) этот император в числе прочего подтвердил данное его сыном обязательство привести империю в повиновение апостольскому престолу, но никакого удовлетворения это требование в то время не получило[91]. Наконец, уже в 1204 г., по словам Виллардуэна, «неподчинение» Риму приводилось латинским духовенством на военном совете как до-

[86] PL 215, col. 456.

[87] Devastatio constantinopolitana. P. 12.

[88] *Guntherus Parisiensis*. Op. cit. P. 78.

[89] Молчание об этом остальных авторов выглядит естественным не только потому, что вероучительные споры выходили за пределы их внимания: на Западе эти вопросы и ранее привлекали намного меньше внимания, чем среди византийцев (см.: *Бармин А.В.* Греко-латинская полемика XI–XII вв. Опыт сравнительного рассмотрения и классификации // Византийские очерки. М., 1996. С. 103).

[90] *Виллардуэн Ж. де.* Указ. соч. Гл. 91–93.

[91] Там же. Гл. 188–189.

полнительное основание для начала военных действий против «цареубийцы», т. е. против Алексея V Мурцуфла[92].

В связи с этим особую ценность представляют высказывания Гунтера Пэрисского, который, в отличие от Виллардуэна, принадлежал к духовному сословию и потому должен был в своих воспоминаниях отражать религиозные вопросы с большей точностью. Константинополь он называл «мятежным» по отношению к Римской церкви, сам же поход представлялся ему удачной возможностью для того, чтобы вернуть город «церковному единству»[93]. Соответствующую задачу западных воинов он определял, однако, весьма осторожно: «призвать этот [греческий] народ обратно... к миру и согласию святой вселенской церкви»[94]. Отсутствие сведений о каких-либо переговорах по поводу церковного единства за полгода совместного правления Исаака II и Алексея IV (июль 1203 – январь 1204 г.) свидетельствует о том, что крестоносцы, в составе которых находилось сразу три латинских епископа, были в целом мало обеспокоены этим вопросом. Решение поставить в Константинополе нового патриарха из числа участников похода, включенное в состав мартовского договора 1204 г. между руководителями похода и дожем Энрико Дандоло, было принято лишь вместе с решением об избрании латинского императора и разделе Византии в случае успешной осады города[95].

Наконец, основной части западного войска обращенные к грекам требования церковного характера, по всей видимости, были просто неизвестны; они не упоминаются и в небольших сочинениях «Константинопольское опустошение», «О земле иерусалимлян», «О паломничестве в Грецию» (так называемые Суассонский и Гальберштадтский анонимы). Мало осведомленный о происходившем среди руководства крестоносного воинства, Ро-

---

[92] Там же. Гл. 224–225.

[93] *Guntherus Parisiensis*. Op. cit. P. 83.

[94] ...ad pacem et concordiam Sanctae universalis Ecclesiae revocare (Ibid. P. 85).

[95] PL 215, col. 517–519. Папа поначалу отказался признать нового патриарха Фому Морозини, избранного венецианскими клириками, однако позже смягчился и определил, что отныне всякий новопоставленный патриарх должен уже после своего посвящения отправить послов в Рим за паллием и по его получении принести присягу папе (Ibid., col 516, 578). По выражению Иннокентия III, тем самым он рассчитывал сохранить и поощрить «свободу канонического избрания» в Константинопольской церкви (Ibid., col. 579).

бер де Клари всего лишь однажды обратил внимание на церковные разногласия «латинян» с византийцами: перед второй осадой города западные епископы и священники указали рыцарям на недавний выход греков из повиновения «римскому закону», как и на их оскорбительное отношение к исповедующим «римскую веру»[96]. Однако в проповеди перед последним боем речь шла не об этом, а о предательстве византийцами «своего законного господина» – Алексея IV Ангела, злодейски убитого в начале февраля. Именно в этом вероломстве, а не в каких-либо вероучительных ошибках греков французский рыцарь усматривал причину того, что Божья помощь сопутствовала крестоносцам, а не их противникам[97]. Ничего не сообщал о религиозных задачах западного войска в Византии прибывший в Константинополь уже после его взятия крестоносцами кремонский епископ Сихард[98], хотя, представляя на Востоке папу в переговорах о церковном единстве с киликийскими армянами, он мог бы обратить на это внимание в своем рассказе о причинах похода на греческую столицу.

Если в сочинении «О том, как усилился против нас латинянин» крестоносцы обвинялись лишь в кощунственном поведении в городских святилищах, то Никита Хониат, Константин Стилв и Николай Месарит отнюдь не останавливались только на этом упреке. Согласно Месариту, завоеватели «целомудренных [девиц] развращали (τὰς σοφρονούσας διέφθειρον), почтенных [женщин] (или «настоятельниц», τὰς πρεσβυτίδας) обнажали, старух мучали, назиреев (т. е. монахов) крутили, били кулаками и по груди били ногами, [их] почтенные тела стегали и терзали кнутом»[99]. Эти заявления греческого очевидца находят себе частичное соответствие в древнерусской повести «О взятии богохранимого Царяграда», по словам которой фряги «черньче же и чернице и попы облупиша, и неколико их избиша»[100]. Константин Стилв в конце

---

[96] *Клари Р. де.* Указ. соч. Гл. 72.

[97] Там же. Гл. 74.

[98] Cronica fratris Salimbene de Adam // MGH SS, 32. P. 23–25.

[99] Νικόλαος Μεσαρίτης. S. 46. Поскольку τὰς σοφρονούσας обозначает исключительно лиц женского пола, а об убийствах мужчин Месарит ничего не говорит, представляется более разумным понимать здесь διαφθείρω в смысле «развращать», а не в смысле «губить».

[100] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. С. 49. Главное значение древнерусского слова «избити» – «убить, истребить» (Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). М., 1990. Т. 3. С. 457–458), и именно

своего рассказа о захвате города уклончиво заявляет о том, что он опускает описание «порчи» девушек и монахинь, прелюбодеяний с женщинами и продажи в рабство свободнорожденных детей[101]. В главном византийском источнике о падении Константинополя, а именно в «Истории» Никиты Хониата, ничего не сказано о каких-либо случаях нападения на священнослужителей, зато не раз говорится о бесчестном обращении победителей с женщинами. Так, судя по риторическому вопросу историка, западные воины щадили «преданных Богу и взявших в удел девство» не более, чем «богобоязненных жен и замужних дев»[102]. Тот же Хониат сообщает, что после разграбления города одни оплакивали гибель имущества, а другие – похищенную дочь или потерю супруги[103]. Поскольку греческий глагол βιάζω означает в целом любое принуждение, могут пониматься как указание на половое насилие и слова историка о том, как завоеватели ради потехи возили на украшенных тимпанами и подвесками лошадях «изнасилованных» или «принужденных» ими к тому (βιασθείσας) женщин[104].

Впрочем, некоторые сообщаемые Хониатом обстоятельства смягчают эту неприглядную картину. Из его слов становится также известно, что покидавшим город девицам их близкие приказывали обмазывать лица грязью, чтобы их миловидность не привлекала готовых на худшее спутников[105]. Как видно, в данном случае угрозу женской чести ожидали не от западных воинов, а от самих же греков. Тогда же первые встреченные Хониатом крестоносцы по его призыву о помощи освободили молодую гречанку от попытавшегося завладеть ею одного из их соратников, пригрозив тому посадить его на кол за пренебрежение принесенной всеми паломниками клятвой[106]. Таким образом, среди победителей были люди,

---

так его здесь понял Д. Фрейданк (*Freydank D.* Die altrussische Erzählung über die Eroberung Konstantinopels 1204 // Byzantinoslavica, 1968. S. 343). Иначе думал М.А. Заборов, согласно которому завоеватели лишь «подвергали... избиениям» греческих священников и монахов (*Заборов М.А.* Известия русских современников о крестовых походах // Византийский временник, 1956. 31. С. 102).

[101] Κωνσταντῖνος Στιλβῆς. P. 85.

[102] *Nicetas Choniates.* P. 574.

[103] Ibid. P. 587.

[104] Ibid. P. 594. Значения глагола βιάζω см.: Benselers griechisch-deutsches Schulwörterbuch. Leipzig; Berlin, 1904. S. 146.

[105] *Nicetas Choniates.* P. 589.

[106] Ibid. P. 590–591.

не только признававшие себя связанными общим обетом, но и готовые при необходимости наказать его нарушителей, преступавших как подразумеваемое самим паломничеством обязательство не иметь плотского общения с женщинами, так и ту присягу, которую незадолго до взятия города дали все участники похода. Как сообщает Робер де Клари, тогда крестоносцы клялись на св. мощах, что они «не учинят насилия ни одной женщине и не будут срывать с нее платье, в которое она одета, а тот, кого застанут совершающим насилие, будет предан смерти»[107].

При этом чуть ли не самое суровое обвинение западным воинам принадлежит не представителю пострадавшего греческого населения, а римскому папе Иннокентию III, по словам которого крестоносцы «обагрили мечи в крови христиан, не имея пощады ни к сану, ни к возрасту, ни к полу»[108]. Сами же авторы византийских источников о взятии Константинополя проявляют в этом отношении скорее странную для них сдержанность. Родившийся в 1217 г. Георгий Акрополит наверняка слышал от очевидцев рассказы об этом событии, однако он отказался поведать о нем подробно, заметив только, что «всякий может помыслить, какие несчастья случаются с захваченными городами – убийства мужей, пленение женщин, грабежи...»[109] Нет ни слова о каких-либо расправах над побежденными в сочинении «О том, как усилился против нас латинянин». Не упоминая прямо об убийствах крестоносцами греков, Николай Месарит делает загадочное заявление, согласно которому завоеватели ἐπαιδοφθόρουν τὰ νεογνά – «портили новорожденных»[110]. Глагол παιδοφθορέω обозначает у раннехристианских писателей растление детей[111], которое трудно представить себе по отношению к грудным младенцам. Поскольку как раз в этом месте «Эпитафии» речь идет о дурном обращении западных воинов с женщинами, а существительное παιδοφθορία означает также «истребление плода», нельзя ли предположить, что слова очевидца событий относятся к случившимся тогда выкидышам? Исключением среди греческих авторов, описавших

[107] *Клари Р. де*. Указ. соч. Гл. 68.

[108] PL 215, col. 701.

[109] Γεώργιος Ἀκροπολίτης. Χρονικὴ συγγραφή // Recueil des historiens des Croisades. Historiens grecs. P., 1860. T. 1. P. 566.

[110] Νικόλαος Μεσαρίτης. S. 46.

[111] *Lampe G.W.* A Patristic Greek Lexikon. Oxford, 1961. P. 997.

взятие Константинополя, является Константин Стилв, чье присутствие там в апреле 1204 г. остается неподтвержденным. Вслед за обвинениями в кощунстве он пишет и о том, что победители убили «многих» из духовенства и мирян внутри городских церквей, не приводя их названий[112].

Наконец, совсем ничего об убийствах обитателей города не сообщает автор самого пространного греческого рассказа о захвате византийской столицы Никита Хониат. Согласно ему, при вступлении в Константинополь враги «обнажали меч против всякого возраста и пола»[113], поступая так и позже в отношении тех, кто осмеливался хоть малость возразить им[114]. Однако выражение «обнажать меч», оставаясь иносказанием для описания боевых действий, все же необязательно значит «проливать кровь»[115]. По замечанию историка, завоеватели «некоторым наносили побои, со многими обходились по-доброму, угрозами же пользовались по отношению ко всем»[116]: такое поведение совсем не напоминает ту жестокую расправу, о которой с чужих слов писал Иннокентий III.

Нарисованная Хониатом картина не противоречит, однако, сведениям западных очевидцев, которые писали о множестве византийцев, убитых 12 апреля в сражении или при бегстве с поля боя, и не сообщали о нападении крестоносцев на мирное население. Так, согласно Жоффруа де Виллардуэну, его соратники при захвате города «били греков и... овладевали их ездовыми лошадьми и боевыми конями, и мулами, и жеребятами мулов, и прочим добром»[117], а в «Константинопольском опустошении» вслед за сообщением о произошедшем в тот день «величайшем избиении греков» тут же говорится об их ответном нападении на крестоносцев[118]. Автор повествования «О земле иерусалимлян» обращает

---

[112] Κωνσταντῖνος Στιλβῆς. P. 84.

[113] *Nicetas Choniates.* P. 570.

[114] Ibid. P. 574.

[115] В этой связи показательна разница между рассказами Хониата о взятии Константинополя в 1204 г. и Евстафия Солунского о захвате Фессалоник норманнами в 1185 г. Евстафий не только прямо пишет об убийствах горожан завоевателями (Eustazio di Tessalonica. P. 112, 114), но даже называет приблизительное число погибших – семь тысяч (Ibid. P. 120).

[116] *Nicetas Choniates.* P. 586.

[117] *Виллардуэн Ж. де.* Указ. соч. Гл. 244.

[118] Devastatio constantinopolitana. P. 12.

внимание на то, что западные воины при захвате города пощадили тех византийцев, которые изъявили готовность повиноваться[119]. По словам Гунтера Пэрисского, после взятия стен «хотя они [победители] и могли убивать сколько угодно... умерщвлены были лишь очень немногие... ибо находившиеся в лагере монахи... часто увещевали их не марать по возможности своих рук кровью»[120]. В тот день, согласно его повествованию, погибло около двух тысяч греков, но от рук не крестоносцев, а мстительно настроенных местных «латинян», оставивиивших Константинополь после погрома их жилищ летом 1203 г.[121] Из рассказа Робера де Клари явствует, что внутри самого города никакой битвы не было[122], и в этом его сведения полностью согласуются с повествованием Никиты Хониата[123]. Подобное обстоятельство позволяет предположить, что приведенные сообщения западных очевидцев о погибших в тот день византийцах относятся лишь к штурму городских стен и овладению непосредственно прилегавшими к ним улицами.

В целом же рассказы самих крестносцев содержат картину происходившего, заметно отличающуюся от сообщаемой греческими авторами. Как пишет Робер де Клари, наряду с обещанием не совершать насилий над женщинами, участники похода накануне штурма обещали также не поднимать руки «ни на монаха, ни на монашенку, ни на священника, разве только вынуждены будут к самозащите, и что они не разрушат ни церкви, ни монастыря»[124]. Согласно этому очевидцу, победители сдержали свое слово, поскольку далее он замечает, что после взятия города завоеватели «не причинили зла ни беднякам, ни богачам»[125]. По всей видимости, в целом такого же мнения об образе действий своих соратников придерживался и Жоффруа де Виллардуэн. Отмечая нечестность некоторых из них при разделе общей добычи, он восклицает: «О, как достойно они вели себя до сих пор!»[126]

[119] *Anonymus Suessionensis*. De terra Iherosolimitana // Exuviae sacrae. P. 7.

[120] История крестовых походов в документах и материалах. М., 1977. С. 267 (= *Guntherus Parisiensis*. Op. cit. P. 102).

[121] *Nicetas Choniates*. P. 552; *Виллардуэн Ж. де*. Указ. соч. Гл. 205.

[122] *Клари Р. де*. Указ. соч. Гл. 78.

[123] *Nicetas Choniates*. P. 569–572.

[124] *Клари Р. де*. Указ. соч. Гл. 68. Жоффруа де Виллардуэн ничего не говорит о таком обещании. Об анафеме нарушителям указанных правил упоминает продолжатель Гийома Тирского (L'estoire de Eracles empereur. P. 274).

[125] *Клари Р. де*. Указ. соч. Гл. 80.

[126] *Виллардуэн Ж. де*. Указ. соч. Гл. 253.

Ввиду отмеченной риторичности рассказа Никиты Хониата о взятии города, зачастую общего характера выдвигаемых в греческих источниках против крестоносцев обвинений, противоречий между западными и восточными авторами представляется невозможным восстановить полную и точную картину случившегося в Константинополе в апреле 1204 г. Похоже, что какие-то участники похода или же присоединившиеся к ним и постоянно проживавшие в византийской столице выходцы с Запада и в самом деле запятнали себя насилиями. Поскольку в рассказе об этом Хониат не использовал понятие «крестоносцы», поступки мстительно настроенных по отношению к грекам местных «латинян», бежавших летом 1203 г. из города, могли легко смешаться в его рассказе с действиями участников крестового похода. Не исключено также, что некоторые из западных воинов тогда действительно пренебрегли обетом воздержания, западные же историки-очевидцы могли остаться в неведении об этих случаях или оставить их без внимания. В свою очередь, и греческие авторы могли позволить себе преувеличения в своих рассказах – точно так же, как Никита Хониат преувеличил строгость данного крестоносцами обещания, приписав им клятву не только не иметь плотского общения с женщинами, но «даже не вступать с ними в беседу»[127]. Обвинять победителей в развратных действиях было тем легче, что иные из них, согласно Николаю Месариту, искали скрываемые драгоценности в укромных частях тела обитательниц города[128].

Хотя западные воины и восприняли как чудо свою победу над превосходившими их численно в несколько раз и укрывшимися позади мощных оборонительных сооружений греками[129], впоследствии они оценивали поход далеко не только положительно. Робер де Клари был настолько возмущен несправедливым разделом добычи, что видел в поражении при Адрианополе и гибели императора Бодуэна отмщение с небес за это «ужасное преступление» своих соратников[130]. Немало горьких и недовольных замечаний о поведении венецианцев и баронов делает автор «Константинопольского опустошения». Не совсем однозначно относился к походу и Жоффруа де Виллардуэн, который последовательно

[127] *Nicetas Choniates.* P. 575.

[128] Νικόλαος Μεσαρίτης. S. 46.

[129] *Виллардуэн Ж. де.* Указ. соч. Гл. 251.

[130] *Клари Р. де.* Указ. соч. Гл. 112.

отмечал в своем сочинении случавшиеся с крестоносцами разного рода несчастья: неприсоединение к ним Готье де Бриенна и его спутников, смерть Тибо Шампанского и Жоффруа Першского, непоявление в Венеции части паломников и т. д., вплоть до гибели Бонифация Монферратского в 1207 г.[131] Правда, тот же историк в конечном счете не испытывал сомнений в правильности решения о походе на Константинополь вместо Св. Земли[132].

Неоднозначное восприятие похода его участниками объясняется противоречиями самого разного рода, постепенно проявившимися в этом предприятии: внутри самого руководства, между франками и венецианцами, между баронами и простыми ратниками. Изначальная цель всего предприятия так и осталась неосуществленной: крестоносцы не только не вернули Иерусалим, но даже не достигли Св. Земли, забыв в конечном счете о своих обетах, а начавшееся с благочестивыми намерениями вооруженное паломничество завершилось завоеванием христианского государства. Похоже, никогда прежде развитие крестового похода не определялось столь заметным образом денежными вопросами, значительно повлиявшими на принятие решения о повороте движения на Константинополь, и это обстоятельство может быть сопоставлено с переменами в сознании, обусловленными развитием товарно-денежных отношений в Европе того времени[133]. Новой исторической действительности соответствовало переосмысление благочестия, произошедшее в начале XIII в. вместе с появлением нищенствующих орденов. Два года спустя после захвата греческой столицы один из молодых жителей Ассизи увидел во сне дом со множеством оружия, которое таинственный голос назвал принадлежащим ему и его воинству[134]. Это видение обозначило не только начало его собственного обращения, но и появление новой духовности в Европе. Молодой итальянец стал позже известным миру под своим семейным прозвищем Франциск, т. е. «французик»; по случайности как раз таким именем (φραγγίσκοι) с пренебрежением называл западных завоевателей в своей «Истории» Никита Хониат[135].

---

[131] *Виллардуэн Ж. де.* Указ. соч. Гл. 34, 40, 46, 57, 500.

[132] Там же. Гл. 229–231.

[133] Ср.: *Le Goff J.* La bourse et la vie. P., 1986. P. 10.

[134] *Фома Челанский.* Первое житие св. Франциска Ассизского. Кн. 1, 5 // Истоки францисканства. Assisi, 1996. С. 201.

[135] *Nicetas Choniates.* P. 553, 569, 588, 597, 647.

Нанесший тяжелый удар по Византии и приведший к появлению латинской Романии поход выявил кризис крестоносного движения как такового. Своим разграблением византийской столицы, а затем завоеванием балканских территорий империи участники похода сильнейшим образом содействовали росту противозападных настроений среди греков. В то же время сведения сохранившихся источников о взятии Константинополя зачастую оказываются весьма общими или взаимнопротиворечивыми, и многие подробности этого события уже не могут быть достоверно установлены[136].

[136] Благодарю С.И Лучицкую за предоставленную мне возможность ознакомиться с книгой: Contemporary Sources for the Fourth Crusade / A. Andrea. Leiden; Boston; Köln, 2000.

Г.В. Вдовина

ФРАНСИСКО СУАРЕС ОБ ANALOGIA ENTIS: ПРОБЛЕМА АНАЛОГИИ СУЩЕГО В СХОЛАСТИКЕ XVI в.

Посвящаю эту статью Н.А. Федорову не как преподавателю латинского языка, а как переводчику Лейбница

Постановка проблемы

Учение об аналогии сущего – одна из сквозных тем схоластической философии начиная с XIII в. В своих истоках она восходит еще к Аристотелю. Правда, вопрос о том, можно ли применительно к Аристотелю говорить об аналогии сущего в собственном смысле, остается спорным. Зато бесспорно, что уже в аристотелевском трактате «Об истолковании» заложена логическая основа для будущей разработки проблемы аналогии и предложена терминология, в которой эту проблему можно сформулировать и обсуждать. Речь идет о различении тех способов, какими имена соотносятся с обозначаемыми предметами и с понятиями в уме, и о приложении этого логического учения к теологии и метафизике. Имя сказывается омонимично (в латинском переводе термина – «aequivoce»), если обозначает несколько не связанных между собой одноименных предметов, и сказывается синонимично (лат. «univoce»), если обозначает предметы, которые не только одинаково называются, но и обладают одним и тем же определением сущности (например, роды по отношению к своим видам). Наконец, имя сказывается аналогически, если обозначает предметы, которые хотя и различны по своей сути, но каким-то образом связаны между собой. При этом аналогический термин может обозначать одно понятие или некоторую совокупность взаимосвязанных понятий. В первом случае аналогия сближается с унивокацией, во втором – с эквивокацией. Однако термины «унивокация» и «аналогия» имеют не только логико-семантический, но и онтологический смысл.

В онтологическом плане унивокация означает, что некоторые предметы тождественны по своей сущности, аналогия – что предметы, различаясь сущностно, подобны друг другу в некотором отношении.

В христианской мысли проблема аналогии встает в связи с тем, как следует понимать «бытие» применительно к Богу и к тварному миру. Имеет ли оно в обоих случаях один и тот же смысл? Если да, как это возможно? Если нет, как соотносятся эти смыслы, обозначенные одним и тем же именем? Эти вопросы активно разрабатываются у Фомы Аквинского и других схоластов со второй половины XIII в. В дальнейшем, по мере того как схоластический синтез высокого Средневековья постепенно распадался и все большую самостоятельность приобретала собственно онтологическая тематика, дело осложнилось новым поворотом проблемы: каким образом «сущее» соотносится со своими конкретными родами и видами? Особенно остро вопрос встал в схоластике XVI в., когда усилиями ранней иезуитской школы, и прежде всего Франсиско Суареса (1548, Гранада – 1617, Лиссабон), наиболее известного и влиятельного схоластического автора эпохи, было разработано учение о едином понятии сущего как такового, которое объемлет собою не только весь тварный мир, но и самого Бога и составляет адекватный предмет науки метафизики. Не означало ли утверждение такого понятия, что различие между тварным и нетварным сущим полностью стирается и они становятся просто равноправными видами родового понятия сущего? Такое решение влечет за собой тяжкие последствия и для теологии, и для онтологии. В самом деле, для теологии это означает недопустимое уравнивание Творца и твари, для онтологии – столь же недопустимую логизацию бытия. Кроме того, отказаться от единства понятия сущего как такового означало для Суареса, во-первых, пойти против очевидности и, значит, впасть в интеллектуальное лицемерие; а во-вторых, разрушить предмет метафизики, выстроенной им как наука об ens ut sic. Поэтому он должен был найти решение проблемы, которую мы сформулировали бы следующим образом: возможно ли, и если да, то как и во имя чего, совместить учение о единстве понятия сущего как такового с учением об analogia entis. Удалось ли Суаресу решить проблему? Мнение большинства исследователей: нет. Единство понятия ens ut sic с фатальной неизбежностью диктует унивокальное понимание бытия несмотря на все усилия примирить его с аналогией.

Что касается самого Суареса, его даже обвиняли в интеллектуальной нечестности, поскольку он разделяет все доводы Дунса Скота в поддержку унивокального понимания сущего, но отказывается признать вытекающие из них следствия. Мы же полагаем, что Суарес, напротив, нашел решение проблемы, и постараемся обосновать это утверждение.

Для этого мы сначала рассмотрим, какие решения уже лежали перед Суаресом в готовом виде и чем они его не устраивали. После этого мы обратимся к анализу собственной позиции Суареса.

Суарес против Дунса Скота: опровержение унивокации

Положение об унивокации сущего – один из основополагающих элементов учения Дунса Скота. «Сущее унивокально во всем»[1], но самое важное заключается в том, что сущее унивокально по отношению к тварному и нетварному сущему. В самом деле, различие между Богом и творением – наибольшее, и если будет показано, что даже оно не препятствует образованию единого унивокального понятия, то относительно прочих уровней сущего показать это неизмеримо легче.

Что имеет в виду Дунс Скот, когда говорит об унивокации тварного и нетварного сущего? «Я говорю, что... Бог постигается... в некоем понятии, унивокальном Ему и твари. А чтобы не было споров о названии “унивокальность”, я называю унивокальным понятие, которое таким образом едино, что этого единства достаточно для возникновения противоречия при утверждении и отрицании одного и того же относительно одного и того же. Ибо [такого единства] достаточно для того, чтобы [это понятие] могло служить средним членом силлогизма и чтобы крайние члены, соединенные средним членом, обладающим такого рода единством, могли считаться соединенными между собой без логической ошибки эквивокации»[2].

Положение об унивокации Дунс Скот доказывает посредством нескольких доводов. Приведем наиболее сильные из них. 1) «Сущее» непосредственно означает единое понятие, общее

[1] «Ens est univocum in omnibus» – Ordinatio I, dist. 3, p. 1, q. 3, n. 150.

[2] Ibid., n. 26.

Богу и творениям, следовательно, «сущее» говорится о Боге и творениях не аналогически, а унивокально. В самом деле, человеческий интеллект в этой земной жизни уверен в том, что Бог есть сущее, однако сомневается, каково это сущее – конечное или бесконечное, тварное или нетварное. Следовательно, понятие сущего применительно к Богу отлично от понятий тварного и нетварного сущих, ни одно из которых не включает другое. Следовательно, оно унивокально по отношению к ним. 2) В интеллекте земного человека (in intellectu viatoris) любые реальные понятия порождаются только тем, что естественным образом приводит в движение наш интеллект. Естественной движущей силой интеллекта служат чувственные образы (phantasmata) или то, что представлено в чувственных образах. Но Бог недоступен чувствам и поэтому не может быть представлен в чувственном образе. Следовательно, Он не может мыслиться по аналогии с тварным сущим: ведь аналогия предполагает различие понятий, а внечувственное понятие божественного сущего не может быть независимо образовано активным интеллектом. Следовательно, земной интеллект может обладать естественным понятием божественного сущего только при одном условии: если оно унивокально тому сущему, которое представлено в чувственных образах. 3) Другой поворот той же темы: то, что с необходимостью принадлежит к внутренней сущности предмета, представлено в собственном понятии этого предмета. Но у нас нет такого понятия, в котором можно было бы схватить божественную сущность в ее необходимых внутренних свойствах. Следовательно, мы обладаем лишь несобственным понятием божественного сущего – благодаря тому, что оно унивокально сущему тварному. 4) Простые совершенства – совершенство мудрости и т. д. – должны быть формально общими Богу и творениям. Помимо прочего, это утверждение обосновывается тем, что «всякое метафизическое исследование осуществляется следующим образом: рассматривается формальная характеристика чего-либо; от нее отвлекают несовершенство, которое присуще ей в творениях, а саму формальную характеристику сохраняют и придают ей наивысшее совершенство, и в таком виде приписывают ее Богу». «Следовательно, всякое исследование о Боге предполагает, что интеллект обладает унивокальным понятием Бога, полученным из творений»[3].

[3] Ibid., n. 39.

Все это позволяет сделать несколько выводов относительно учения Дунса об унивокации. Во-первых, очевидно, что для Скота унивокация сущего необходима и возможна только на уровне мышления, т. е. на логическом, но не онтологическом уровне. Об этом свидетельствует как приведенное определение унивокации сущего и доводы, призванные ее обосновать, так и онтологическое учение Скота о бесконечном божественном сущем как первопричине конечного тварного бытия (Ord. I dist. 2, pars 1, q. 1–2). Во-вторых, унивокация сущего, по мысли Скота, есть следствие несовершенства и ограниченности разума человека в его нынешней, земной жизни (in statu viatoris). В-третьих, выбор в пользу унивокации обусловлен конкретными особенностями того, как именно Дунс Скот понимал логические отношения унивокации и аналогии. Именно этот, третий, вывод Суарес выбирает в качестве отправного пункта своей критики.

В учении Скота об унивокации Суарес констатирует двойную недостаточность: ограниченное понимание аналогии и ограниченное понимание самой унивокации. Фактически Дунс Скот отождествляет единство понятия и унивокальность, а необходимым признаком аналогии считает множественность понятий. Между тем аналогия отнюдь не сводится к тому ее типу, при котором один термин обозначает разные, хотя и взаимосвязанные понятия. Аналогия, определяющая отношение между сущим как таковым и его низшими ступенями, предполагает именно единство понятия[4]. Кроме того, единства понятия недостаточно для унивокации в собственном смысле: унивокальная характеристика должна быть к тому же абсолютно однородной по отношению к своим inferiora. Вот как это требование сформулировано у Суареса: «Унивокальное само по себе настолько лишено внутренних различий, что равно, без какой-либо упорядоченности или сопряженности одного с другим, нисходит к низшим ступеням»[5]. И еще (об унивокальности тварного сущего, но ход рассуждения тот же): «Он [Скот] верно утверждает, что “сущее” обозначает субстанцию и акциденцию посредством одного и того же формального и объективного понятия; однако мы отрицаем, что этого достаточно, чтобы оно было унивокальным в собственном смысле – разве что оно будет столь же совер-

---

[4] Подробнее об этом чуть ниже.

[5] *Suárez F.* Disputationes Metaphysicae, XXVIII. 3. 17.

шенно единым и лишенным различия в отношении к низшим ступеням»[6].

Выступая против именования сущего как такового унивокальным, Суарес в то же время безоговорочно поддерживает тот тезис Дунса Скота, ради обоснования которого, собственно, и было введено положение об унивокации: тезис о том, что понятие сущего как такового едино по отношению к тварному и нетварному сущему и тем более едино по отношению ко всем дальнейшим членениям сущего. Именно поэтому Суареса совершенно не удовлетворяют те доводы против учения Скота об унивокации, которые отправляются от неравенства производящей божественной причины и производимого следствия, от различия между божественным ipsum esse и тварным бытием по причастности и т. д. Во-первых, эти аргументы бьют мимо цели, потому что отстаивают онтологическую аналогию божественного и тварного бытия, тогда как Дунс Скот говорит об аналогии логических понятий. Во-вторых, и это главное, они опровергают не только унивокальность сущего, но и единство понятия сущего. А это было вовсе неприемлемо для Суареса, потому что разрушало всю его концепцию науки метафизики и ее предмета. Вот почему разделы трактата Суареса «Метафизические рассуждения», в которых рассматривается вопрос об аналогии сущего, оставляют впечатление, что Дунс Скот с его тезисом об унивокации по существу дела ближе Суаресу, чем те отстаивающие аналогию томисты, которые отвергали единство объективного понятия сущего как такового. Как станет ясным из дальнейшего, прежде всего Суарес имеет в виду Каэтана (Томмазо де Вио) – крупнейшего комментатора Фомы Аквинского на рубеже XV–XVI вв.

Предшествующие учения об аналогии: Суарес против Каэтана и Фомы

Схоластическое учение об аналогии сущего развивалось главным образом в рамках томистской школы. В средневековой схоластике важнейшая роль в его разработке принадлежит самому Фоме, а во второй схоластике – Каэтану. Именно к ним должен был в первую очередь обратиться Суарес, выстраивая собствен-

[6] Ibid., XXXII. 2. 14.

ную концепцию аналогии сущего. Начнем с трактата Каэтана «Об аналогии имен», который содержит нормативную для томистов XVI в. теорию аналогии (вплоть до публикации «Disputationes Metaphysicae» Суареса в 1597 г.).

Трактат Каэтана «Об аналогии имен»

Трактат Каэтана «Об аналогии имен» («De nominum analogia») написан в 1498 г. Эта небольшая работа состоит из двенадцати глав, в которых всесторонне описываются типы аналогии, их структура и свойства, разнообразные отношения между главным членом аналогии и соотнесенными членами, особенности употребления аналогических имен и условия познания через аналогию. Для нас особенно существенно то, что Каэтан, как и Суарес, рассматривает аналогию скорее в логической, чем в онтологической перспективе. Мы коснемся только самых общих положений теории Каэтана, непосредственно значимых для ее сопоставления с концепцией Суареса.

Термин «аналогия», отмечает Каэтан, греческого происхождения и означает «соотношение». Его часто понимают недопустимо расширительно, поэтому первым делом следует определить, что именно надлежит называть аналогией. Существует три вида аналогии: аналогия неравенства (analogia inaequalitatis), аналогия атрибуции (analogia attributionis) и аналогия пропорциональности (analogia proportionalitatis). Первые два вида представляют собой несобственные аналогии, и только последний вид есть аналогия в собственном смысле.

Аналогия неравенства подразумевает общность имени и общность понятия, представляющего некоторую единую природу, но при этом степень причастности к природе, или степень совершенства, в разных вещах различна. Так, имя и природа тела (именно как тела) – одни и те же применительно к любым телам; но степень совершенства телесной природы неодинакова у земных и у небесных тел. Вот почему такой тип аналогии называется также аналогией только по бытию: ведь аналогия в данном случае имеет место не между разными понятиями или формами, а только между степенями совершенства в бытии одной и той же природы.

Аналогия атрибуции подразумевает общность имени, обозначающего некоторый единый формальный смысл, к которому,

однако, разные члены аналогии находятся в разных отношениях. Классический пример – имя «здоровый» применительно к живому существу, лекарству и моче: во всех трех случаях используется один и тот же термин, обозначающий одно и то же: нечто относящееся к здоровью; но характер этого отношения различен: живое существо есть субъект здоровья и потому называется здоровым в собственном смысле; лекарство называется здоровым, поскольку оно доставляет здоровье, моча – поскольку она служит признаком здоровья. Аналогия атрибуции выстраивается в соответствии с четырьмя родами причин: материальной, формальной, производящей и целевой. Существует несколько подвидов аналогии атрибуции, но всем им присущи следующие основные характеристики: 1) в основе аналогии атрибуции лежит внешнее именование (denominatio extrinseca). Только главный член аналогии формально заключает в себе соответствующий смысл; прочие ее члены соотносятся с ним извне. Так, в приведенном примере ни лекарство, ни моча не содержат в себе здоровья как внутреннего свойства, но называются здоровыми в силу внешнего именования; 2) главный член аналогии входит в дефиниции остальных ее членов, потому что только в нем формально заключается приписываемая им характеристика; 3) отсюда следует, что аналогическое имя не имеет единого значения, которое одинаковым образом прилагалось бы ко всем членам аналогии атрибуции. А значит, аналогия атрибуции не допускает единства формального понятия, абстрагированного от понятий отдельных ее членов. Тождественным и общим здесь может быть только термин.

Наконец, третий тип аналогии, аналогия пропорциональности, подразумевает, что члены аналогии называются общим именем, и смысл этого имени *пропорционально* один и тот же. Так, видение телесным зрением и видение умом называют одним и тем же именем – «видеть», потому что интеллектуальное усмотрение так относится к душе, как телесное зрение – к одушевленному телу. Будучи отношением отношений, аналогия пропорциональности требует как минимум четырех членов. Этот третий вид аналогии занимает центральное положение в теории Каэтана.

Аналогия пропорциональности разделяется на два вида: метафорическую и собственную. Метафорическая аналогия имеет место тогда, когда формальный смысл, обозначаемый общим именем, целиком заключен в одном из членов соотношения и

прилагается к другому его члену исключительно в силу метафорического переноса. Каэтан приводит старый пример, который неоднократно фигурирует и у Фомы, и у Суареса: мы говорим, что зеленеющий луг смеется, потому что зеленый цвет можно так отнести к лугу, как смех – к человеку. Собственная аналогия пропорциональности имеет место тогда, когда общее имя прилагается к обоим членам соотношения в прямом смысле: например, душа является началом живого существа в том самом смысле, в каком фундамент является началом дома.

Именно к этому разряду аналогии – *аналогии пропорциональности в собственном смысле* – принадлежит, согласно Каэтану, *аналогия сущего*. Поэтому к ней приложимы все характеристики аналогии пропорциональности в собственном смысле.

Каковы эти характеристики? Во-первых, если посредством аналогии атрибуции мы познаем внешние предикаты вещи, то посредством аналогии пропорциональности мы познаем внутренние свойства. Во-вторых, со стороны реальности основанием для аналогии служит сходство вещей. Но если в случае унивокации вещи сходны между собой в абсолютном смысле, потому что одинаковым образом относятся к одной и той же общей природе, то в случае аналогии пропорциональности вещи сходны между собой пропорционально: душа есть начало для тела так же, как фундамент есть начало для дома. В-третьих, отсюда следует, что и с концептуальной стороны аналогия пропорциональности не может опираться на абсолютное единство понятия, как в случае унивокации. Пропорциональному сходству вещей в реальности соответствует не одно, а несколько понятий: каждая аналогия пропорциональности представлена несколькими *совершенными* понятиями, адекватно и совершенно представляющими каждый ее член, и одним *несовершенным* понятием. Но это единое несовершенное понятие представляет члены аналогии не так, как унивокальное понятие представляет свои inferiora: как нечто одно, одинаковым образом абстрагированное от всех низших ступеней. Несовершенное аналогическое понятие представляет один член аналогии совершенным и адекватным образом, а прочие – несовершенным и неадекватным (мы сейчас поясним это как раз на примере аналогии сущего).

Применительно к сущему это означает следующее. Во-первых, аналогия пропорциональности указывает на внутреннее отношение каждого разряда сущего к своему собственному бытию. Во-вторых, если при унивокации, например, природа живого

существа абсолютно неразличимым и одинаковым образом абстрагируется от отдельных видов живых существ, то субстанция, количество, качество и прочие категории не заключают в своей сущности ничего, что можно было бы таким же образом абстрагировать от них. Нет никакой природы сущего, которая своей общностью превосходила бы природу категорий, а значит, нет никакого надкатегориального сущего. Поэтому категории первичным образом различаются между собой, а называются общим именем сущего постольку, поскольку каждая из них так относится к своему бытию, как другие – к своему. Иначе говоря, сходство категориальных сущих имеет пропорциональный характер: субстанция как сущее тем подобна количеству как сущему, что так относится к субстанциальному бытию, как количество – к бытию количественному. В-третьих, понятием сущего в смысле той или другой категории – например, качества – адекватно представляется один член аналогии (а именно, само качество), а другие члены аналогии (например, количество или субстанция) представляются несовершенным образом: постольку, поскольку сущее в смысле качества пропорционально им в своем отношении к собственному бытию.

Какова позиция Суареса в отношении к этому учению? Суарес редко вступает в прямую полемику с Каэтаном и специально не рассматривает его сочинения об аналогии. Тем не менее он в разных местах «Метафизических рассуждений» достаточно ясно формулирует свои возражения почти по всем основным пунктам:

неверно, что формальное понятие совершенным образом представляет нечто одно и несовершенным образом – другое. Формальное понятие, будучи естественным знаком ментального языка, всегда и совершенно, т. е. адекватно и отчетливо, представляет нечто одно;

неверно, что для аналогии пропорциональности достаточно наличия любого отношения отношений[7]. Нужно к тому же, чтобы один член соотношения заключал в себе аналогическую форму абсолютным образом, а другой – не абсолютно, а лишь в сравнении с первым членом. А это значит, что всякая аналогия пропорциональности, даже собственная, предполагает некоторый перенос

---

[7] В принципе отношение отношений может быть и унивокальным – например, отношение пар чисел: 8 так относится к 4, как 6 относится к 3.

значения и что аналогическое имя прилагается к разным членам аналогии не в одном акте именования (unica impositione), а в нескольких (per diversas impositiones);

неверно, что аналогия атрибуции подразумевает только атрибуцию посредством внешнего именования. Существует также аналогия внутренней атрибуции;

неверно, что в аналогии атрибуции главный член всегда входит в определение остальных членов. Это невозможно тогда, когда главный член в силу своей общности является неопределенным;

неверно, что аналогия атрибуции в принципе не допускает единства аналогического понятия. Аналогия внутренней атрибуции как раз требует такого единства;

неверно, что аналогия сущего принадлежит к роду аналогий пропорциональности. Аналогия сущего есть аналогия внутренней атрибуции, и к ней относятся все указанные поправки;

неверно, что термин «сущее», фигурирующий в аналогии сущего, не имеет надкатегориального значения. Он обозначает именно единую надкатегориальную природу, пусть даже это единство имеет формальный характер, т. е. удерживается мыслью, непосредственно направленной на сущее как на свой объект.

Все это говорит о том, что собственная позиция Суареса в вопросе об аналогии сущего формировалась, скорее, в отталкивании от теории Каэтана, нежели в следовании ей. Но Каэтан был комментатором Фомы и, комментируя, переосмыслил его исходное учение об аналогии в соответствии с тенденциями своего времени. Поэтому теперь мы должны обратиться к самому Фоме и посмотреть, в каком отношении к нему стоит Суарес в этом вопросе.

Фома об аналогии сущего

На протяжении жизни Фома дважды менял свою позицию в вопросе об аналогии между Творцом и тварью. Причиной его колебаний являлась, видимо, несоизмеримость тварного и нетварного из-за бесконечности Творца, а значит, невозможности точно вымерить отношение между Богом и творением. Ранняя концепция Фомы, в которой отдается предпочтение аналогии атрибуции, представлена в Комментариях на «Сентенции» Петра Ломбардского. Здесь Фома последовательно устраняет возможность унивокального и эквивокального отношений между Богом

и творениями и утверждает, что это отношение имеет характер аналогической общности. «Но такая общность может быть двоякой: либо основанной на том, что некие два причастны к чему-то одному как первое и последующее, подобно тому как потенция и акт причастны форме сущего, и сходным образом субстанция и акциденция; либо основанной на том, что одно получает бытие и форму от другого, и такова аналогия твари Творцу. Ибо тварь обладает бытием не иначе, как сообразно своему происхождению от первого сущего; потому и сущим она называется лишь постольку, поскольку подражает первому сущему»[8]. Аналогия между Богом и творениями – это прежде всего аналогия между причиной и неравным ей по своей производящей силе (virtus) следствием: «Тварь происходит от идеи-образца в Боге как от причины, некоторым образом подобной ей по аналогии»[9].

Это свое учение Фома подвергает критике в «Спорных вопросах об истине». Любые имена, общие Богу и творениям, сказываются о них не унивокально и не эквивокально, а по аналогии. Но сходство по аналогии может пониматься двояко. Есть сходство между двумя членами, которые связаны между собой тем или иным взаимным отношением; и есть сходство, которое связывает между собой два или более отношений. «Первое... сходство есть сходство пропорции [= атрибуции], второе же – сходство пропорциональности»[10]. Первый вид аналогии, как теперь считает Фома, невозможен между Богом и творениями, потому что предполагает наличие некоторого отношения (habitudo), которым определяется сходство между членами аналогии. Но не может быть никакого отношения, способного определять в Боге его бытие, или мудрость, или другие совершенства, которые аналогически общи Ему и твари. Зато другой вид аналогии – аналогия

---

[8] Super Sent., q. 1 a. 2 ad 2: «Talis autem communitas potest esse dupliciter. Aut ex eo quod aliqua participant aliquid unum secundum prius et posterius, sicut potentia et actus rationem entis, et similiter substantia et accidens; aut ex eo quod unum esse et rationem ab altero recipit, et talis est analogia creaturae ad creatorem: creatura enim non habet esse nisi secundum quod a primo ente descendit: unde nec nominatur ens nisi inquantum ens primum imitatur».

[9] Super Sent., lib. 1 d. 3 q. 1 a. 3, Resp.: «...creatura exemplariter procedat a Deo sicut a causa quodammodo simili secundum analogiam».

[10] De veritate, q. 2 a. 11, Resp.: «...Prima ergo convenientia est proportionis, secunda autem proportionalitatis».

пропорциональности – не требует такого определенного и определяющего отношения между соотносимыми пропорциями и поэтому не препятствует некоторому имени аналогически сказываться о Боге и твари. Но и в этом роде аналогии различаются два вида. Во-первых, аналогическое имя может иметь такое основное значение, в котором оно не способно обозначать общность между Богом и творениями даже пропорционально. Таковы все случаи символического именования Бога, когда его уподобляют льву, солнцу и т. п. Во-вторых, имя может иметь основное значение, не препятствующее обозначению аналогической общности. Таковы имена, которые не имеют ущерба в своей дефиниции и не подразумевают зависимости от материи по бытию: «благое», «истинное», «единое», но в первую очередь – «сущее».

Однако решение в пользу аналогии пропорциональности не стало для Фомы окончательным. В обеих «Суммах» он возвращается к аналогии атрибуции. В «Сумме против язычников» Фома вновь говорит о двух типах аналогии атрибуции – двух членов к чему-то третьему и одного члена к другому – и относит аналогию между Богом и творениями ко второму типу. Предикация имен по аналогии, отмечает Фома, совершается в соответствии с двумя порядками: сообразно реальности, или сообразно обозначенной вещи (secundum rem, или secundum rem significatam), и сообразно именованию, или сообразно способу обозначения (secundum nomen, или secundum modum significandi). Эти два порядка могут совпадать или не совпадать. Они совпадают, когда первое в реальности является также первым в познании. Так, субстанция первее акциденций как по природе (ибо она есть причина акциденции), так и в познании (ибо она входит в определение акциденции); и поэтому «сущее» сказывается о субстанции первее, чем об акциденции, в обоих порядках – в порядке реальности и в порядке именования. Несовпадение же этих порядков имеет место тогда, когда первое по природе оказывается последующим в познании. Именно таков порядок предикации любых имен, в том числе имени сущего в отношении к Богу и творениям: в реальности обозначаемые ими совершенства первично принадлежат Богу, но к их познанию мы приходим через творения; «и поэтому говорится, что Бог именуется от своих творений»[11], т. е. в порядке именования оказывается последующим. В «Сумме теологии»,

[11] Contra Gentiles, lib. 1 cap. 34 n. 2: «Unde et nominari dicitur a suis causatis».

развивающей это учение, Фома подчеркивает, что аналогическое отношение направлено от творений к Богу, а не наоборот: «Что бы ни говорилось о Боге и твари, говорится сообразно тому, что имеется некоторая подчиненность твари Богу как началу и причине, в которой превосходным образом предсуществуют все совершенства вещей»[12]. Но подчиненность означает не рабство твари, а любовь, связующую Творца и творение: «Эта любовь божественна, нерасторжима и держит всё, понимать ли под нею ту любовь, которой сам Бог любит свою благость, которой Он держит всё и которая нерасторжима, ибо Он любит Себя по необходимости; или называть божественной ту любовь, которая божественным образом вложена во все вещи, и которой Бог удерживает всё, и которая не может расторгнуться, ибо всё по необходимости любит Бога, хотя бы в Его следствиях»[13].

Итак, в окончательном варианте учение Фомы Аквинского об аналогии тварного и нетварного сущего характеризуется следующими чертами: 1) сущее сказывается о Боге и твари сообразно аналогии атрибуции. Что именно здесь атрибутируется? Бытие, esse. Каков характер этой атрибуции? Фома еще не различает терминологически внешнюю и внутреннюю атрибуцию. Но бытие у него – это первичный и глубочайший акт сущности, внутренне присутствующий во всем, что есть сущее. Поэтому, видимо, будет справедливым назвать эту аналогию – в терминах Суареса и послесуаресовского томизма – аналогией внутренней атрибуции; 2) эта аналогия имеет в первую очередь онтологический и лишь во вторую очередь гносеологический характер; 3) в соответствии с онтологической перспективой на первый план выводится аналогия между Богом и творением как между причиной и следствием, в данном случае – между чистым актом бытия и сущими, обладающими бытием по причастности. Бог заключает в себе идеи-

---

[12] STh I, q. 13, a. 5, Resp.: «Quidquid dicitur de Deo et creaturis, dicitur secundum quod est aliquis ordo creaturae ad Deum, ut ad principium et causam, in qua praeexistunt excellenter omnes rerum perfectiones».

[13] In De divinis nominibus, cap. 10 l. 1: «Qui quidem amor est divinus et omnia tenens et insolubilis: sive hoc intelligatur de amore quo ipse Deus amat suam bonitatem, per quam omnia tenet et insolubilis est quia ex necessitate se amat; sive dicatur divinus amor qui est divinitus omnibus rebus inditus, per quem omnia tenentur a Deo et qui solvi non potest, quia omnia ex necessitate Deum amant, saltem in eius effectibus».

образцы всех тварных вещей и «по преизбытку любовной благости» производит все сущие, аналогически подобные Ему по бытию; 4) в соответствии с онтологической перспективой исключена возможность чего-то третьего, в чем Бог и творение неразличимо совпадали бы как в одном, потому что это третье оказалось бы тогда первее Бога, что невозможно. Поэтому мы приходим к выводу, что в концепции Фомы нет места природе сущего, объединяющей в себе, как нечто более универсальное, сущее тварное и нетварное. А значит, нет места и единому понятию сущего как такового.

Суаресовское учение об аналогии сущего сходится с учением Фомы в том, что в нем тоже говорится об аналогии внутренней атрибуции. А в чем не сходится? Во-первых, у Суареса бытие не может приписываться сущности как реально отличный от нее метафизический элемент. Во-вторых, у Суареса происходит кардинальная смена исходной перспективы – онтологической на эпистемологическую. В-третьих, этой сменой объясняется тот факт, что вместо причинно-следственных отношений между Богом и творением на первый план у него выступают отношения формальные. В-четвертых, благодаря всему этому у Суареса становится возможным и необходимым единое понятие ens ut sic, по отношению к которому божественное и тварное сущие суть talia entia.

Кардинальная смена перспективы наглядно проявляется в том, как именно Суарес объясняет необходимость единого понятия сущего. Когда говорят, что Бог сущностно заключает в себе все совершенство бытия, а творение заключает его лишь отчасти, то о Боге и творении говорят либо как об определенных сущих (talia entia), либо как просто о сущих. Если говорят в первом смысле, это не относится к делу, потому что мы ведем речь о сущем как таковом; если же во втором смысле, то это неверно. Ибо если одно сущностно содержит в себе то, чего нет в другом, это означает, что ни то ни другое не рассматриваются отграниченно, именно как сущие, но берутся в качестве talia entia. Значит, чтобы помыслить божественное и тварное сущее именно как сущее, необходимо отвлечься от дополнительных определяющих признаков. Но тогда они предстанут как нечто одно, и это одно с необходимостью будет схвачено в едином понятии, образованном посредством формальной абстракции[14].

[14] *Suárez F.* Disputationes Metaphysicae, XXVIII. 3. 9.

Учение Суареса об аналогии внутренней атрибуции сущего

Итак, в вопросе об аналогии сущего Суарес не был удовлетворен ни учением Каэтана, ни учением самого Фомы – в первую очередь потому, что они оба исключали возможность единого понятия сущего. За два десятка лет до Суареса с этой же проблемой столкнулся его собрат по ордену иезуитов португалец Педру да Фонсека и предложил свое решение. Аналогия сущего, по мнению Фонсеки, имеет двойственный характер: она совмещает в себе аналогию пропорциональности и аналогию атрибуции (In IV Metaph., cap. 4, q. 1, s. 7). Вводя двойную аналогию сущего, Фонсека стремился, с одной стороны, сохранить единство объективного понятия сущего посредством аналогии атрибуции, а с другой – сохранить несоизмеримость тварного и нетварного посредством аналогии пропорциональности. На это Суарес высказывает упомянутое выше возражение, что аналогия пропорциональности требует определенных условий, которые не соблюдаются в отношениях между божественным и тварным сущим. Поэтому решение Фонсеки он тоже признает неудовлетворительным и выдвигает собственную версию аналогии сущего.

Общая характеристика аналогии внутренней атрибуции сущего

Чтобы выявить аналогический характер сущего, необходимо и достаточно показать наличие аналогии между тварным и нетварным сущим, а применительно к тварному сущему – наличие аналогии между субстанциальным и акцидентальным сущим. Логично, что именно эти два вопроса Суарес рассматривает особо, посвящая им специальные разделы[15]. Но так как в обоих случаях его аргументация однотипна (что признает и он сам), мы не станем разбирать оба вопроса по отдельности, а постараемся изложить общий ход рассуждений Суареса, приводя его доводы из того или другого раздела в зависимости от того, где они более четко сформулированы.

---

[15] Первому – раздел 3 Рассуждения XXVIII, второму – раздел 2 Рассуждения XXXII.

Итак, «сущее», согласно Суаресу, есть не эквивокальное и не унивокальное, но аналогическое имя. К какому типу принадлежит эта аналогия? Уже установлено, что она не может быть аналогией пропорциональности; стало быть, речь идет об аналогии атрибуции. Но, вообще говоря, атрибуция одного другому может совершаться двумя разными способами. В одном случае форма, дающая имя членам аналогии, внутренне заключается лишь в одном из ее членов, а другим приписывается в силу внешнего именования. Именно такой тип атрибуции имеет место, когда называют «здоровым» живое существо и лекарство, и аналогия между ними называется, соответственно, аналогией внешней атрибуции. Когда старые томисты говорили об аналогии атрибуции, то подразумевали обычно именно этот ее тип. В другом случае именующая форма внутренне заключена в каждом члене аналогии, хотя в одном из них она заключена абсолютно, а в других – через отношение к иному. Иначе говоря, одна и та же внутренняя форма заключается в каждом из членов аналогии, но не одинаковым образом, а сообразно определенному порядку или тому отношению первого и последующего (prius et posterius), в котором они находятся между собой. Этот тип аналогии называется аналогией внутренней атрибуции. Именно такова аналогия имен, обозначающих трансцендентальные (т. е. надкатегориальные) понятия, и в первую очередь аналогия сущего.

Между обоими типами аналогии атрибуции существуют кардинальные различия. Во-первых, в аналогии внешней атрибуции аналогическое имя приписывается вторичным членам лишь в несобственном смысле, как бы в силу некоторого метафорического переноса, тогда как в аналогии внутренней атрибуции именование является в высшей степени собственным, потому что дается от внутренней формы или от собственной природы именуемого. Во-вторых, в аналогии внешней атрибуции вторичные члены как таковые с необходимостью определяются через главный член, который входит в их дефиницию. Например, чтобы определить, что означает «здоровое» лекарство, мы говорим, что оно производит или сохраняет здоровье в живом существе. В аналогии внутренней атрибуции такой необходимости нет. Возьмем, например, акциденцию: в своем качестве акциденции она определяется через субстанцию, но сущим она является абсолютно и безотносительно к субстанции. В-третьих, в аналогии внешней атрибуции нет единого понятия, общего всем ее членам; в аналогии внутренней

атрибуции, напротив, наличествует «единое... понятие, потому что члены аналогии собственным и внутренним образом являются таковыми и поистине совпадают друг с другом в той природе, которую разум способен абстрактно и отграниченно постигать в едином общем понятии»[16]. Наконец, в-четвертых, в аналогии внешней атрибуции аналогическое имя не способно служить средним термином силлогизма. Ведь термин является средним термином не потому, что он есть некоторое имя, а потому, что он обозначает некоторое понятие. Но так как в данном случае имя подчинено нескольким понятиям, оно из-за своей многозначности не способно играть роль среднего термина. В аналогии внутренней атрибуции дело обстоит прямо наоборот.

Итак, согласно Суаресу, аналогия внутренней атрибуции подразумевает не просто аналогию имени, но аналогический характер самого понятия, обозначаемого аналогическим именем. В своих содержательных элементах эта аналогия уже присутствовала у Фомы (и у некоторых схоластов последующих двух столетий, добавим в скобках), однако осталась неформализованной, а у Каэтана и вовсе исчезла. Так что именно Суарес формально ввел этот тип аналогии в существующую классификацию.

Каким образом общая характеристика внутренней атрибуции преломляется в аналогии сущего?

Прежде всего следует подчеркнуть, что «творение называется сущим абсолютно – от своего бытия, а не от какого-либо отношения, в котором оно находится к Богу. Последнее доказывается тем, что творение называется сущим не через внешнее именование от сущести Бога... Творение... в качестве сущего не определяется через Бога... Природа сущего постигается в творении в абсолютном, внутреннем и собственном смысле. Более того, если говорить о нас, то она скорее постигается людьми в тварном сущем, нежели в нетварном»[17]. Точно так же и в отношении акциденции «сущее способно сказываться абсолютно»[18]. Творение называется сущим в абсолютном смысле потому, что обладает собственным внутренним бытием, составляющим формальную причину его существования. При этом не имеет значения, что тварное бытие не равно

[16] *Suárez F.* Disputationes Metaphysicae, XXVIII. 3. 14.
[17] Ibid., XXVIII. 3. 4.
[18] Ibid., XXXII. 2. 18.

божественному и зависимо от него: эти характеристики дополнительно определяют его в качестве tale ens, но не в качестве ens как такового.

С другой стороны, абсолютная природа сущего неодинаковым образом выражена в сущем нетварном и тварном, субстанциальном и акцидентальном; в противном случае имела бы место унивокация. Неравенство природы на разных ступенях сущего говорит о том, что эта аналогия имеет опору в самой действительности. В ней общее имя «означает такой формальный смысл, который сам по себе подобает многим вещам сообразно их порядку и отношению между собой», тогда как аналогии внешней атрибуции основываются лишь на именованиях и атрибуциях нашего интеллекта[19].

Наконец, аналогия «по вертикали», т. е. между разными уровнями сущего, соединяется у Суареса с унивокацией «по горизонтали». Так, все полные и целостные субстанции одинаковым образом заключают в себе природу сущего, между ними не существует иерархических отношений, и поэтому они унивокальны друг другу как сущие. Точно так же все акциденции унивокальны друг другу вне независимости от их категориальной принадлежности: они все совпадают в своих характеристиках акцидентального сущего[20]. Более того, отношение между сущими в потенции и сущими в акте тоже по необходимости унивокально. В самом деле, те сущности, или природы, о которых говорит Суарес, это не сущности Фомы, взятые отдельно от собственного существования и в определенном смысле противостоящие ему. Сущности Суареса абстрагированы от потенциальности и актуальности; поэтому то, благодаря чему они являются сущими, никак не затрагивается их актуальной осуществленностью или неосуществленностью. Другими словами, природа сущего в потенциальных и актуальных сущих тождественна абсолютным образом, т. е. унивокальна.

Механизм аналогии сущего

Из всего сказанного следует, что механизм аналогии сущего, как его мыслит Суарес, нужно искать именно в том неравенстве, с каким ratio entis реализуется на разных уровнях сущего. Но что

[19] Ibid., XXXII. 2. 16.
[20] Ibid., XXXII. 2. 21 – 22.

представляет собой это неравенство и как оно сочетается с абсолютным единством понятия сущего как такового?

Высказывания Суареса об аналогическом отношении между тварным и нетварным сущим кажутся противоречивыми и, может быть, в наибольшей степени навлекли на него обвинения в непродуманном и непоследовательном эклектизме. Так, Суарес пишет: «Творение как сущее определяется не через Творца или через бытие Бога, но через бытие как таковое... ведь если присоединять сюда его соотнесенность с Богом – например, то, что творение есть сущее в силу причастности божественному бытию, – то таким образом творение определялось бы уже не как сущее, но как определенное сущее, а именно, сущее тварное» (XXVIII. 3. 15). И здесь же: «Всякое творение является сущим через некоторую соотнесенность с Богом, а именно, поскольку оно причастно бытию Бога или некоторым образом подражает ему» (XVIII. 2. 16). Или: когда творение называют сущим через причастность божественному бытию, «это не следует понимать в том смысле, что речь идет о творении с точки зрения предельно абстрактного и предельно смутного понятия сущего как такового...» (XXVIII. 3. 15). И здесь же: «Необходимо, чтобы сущее, взятое именно как смутное понятие, было либо унивокальным, либо аналогическим» (XXVIII. 3. 19). Наконец, в одной фразе: «Хотя общая природа сущего, взятая смутно, – одна и та же, она не совсем одна и та же...» (XXVIII. 3. 21). Итак, видимое противоречие заключается в том, что Суарес говорит о понятии ens ut sic то как об абсолютно смутном и единообразном, то как о скрывающем в себе внутреннее неравенство; соответственно, о тварном сущем он говорит то как об идентичном божественному сущему с точки зрения ratio entis, то как о сущем, которое именно в качестве сущего внутренне зависимо от Бога.

Попробуем разобраться в том, что же, собственно, имел в виду Суарес, прибегая к этим противоречивым формулировкам. Для этого мы должны обратить внимание на суаресовскую дистинкцию природы сущего как абстракции и той же природы сущего, мыслимой абстрактно (II. 2. 35). Сам Суарес упоминает об этом различении лишь мельком. Более отчетливо оно сформулировано у Каэтана в трактате «Об аналогии имен»: «Надлежит знать, что... абстракция означает разные вещи, когда мы говорим, что интеллект абстрагирует "живое существо" от человека и лошади, и когда мы говорим, что "живое существо" абстрагируется

от человека и лошади. Ведь в первом случае абстракция означает саму операцию интеллекта, которая относительно них [человека и лошади] направлена на нечто одно и не касается прочего; а во втором случае абстракция означает внешнее именование от этой операции интеллекта, благодаря которой познанная вещь именуется абстрактной»[21]. Применительно к сущему как таковому это означает, что единая и смутная природа сущего есть результат внешнего именования от абстрагирующей операции интеллекта. Она действительно единообразна и в едином акте именования приписывается любым сущим. Но эта же природа, взятая не как продукт интеллектуальной операции, а как ее объект («как мыслимая абстрактно»), сама по себе различна в тварном и нетварном сущем, как различна в субстанции и акциденции. Речь идет об одном и том же понятии, обозначаемом одним и тем же термином, но взятом с двух разных точек зрения: как предельное понятие в ряду интеллектуальных абстракций и как понятие, обозначающее конституирующий принцип каждого конкретного уровня сущего, вплоть до единичных вещей: «Хотя общая природа, как абстракция, сама по себе едина, однако природы, конституирующие единичные сущие, различны, а ведь именно они как таковые абсолютным образом конституируют каждое из них в качестве сущих» (XXXVIII. 3. 21). Сущее как смутное и лишенное внутренних различий понятие обретает единство от внешнего именования; сущее как аналогическое понятие, потенциально заключающее в себе начала всех своих низших ступеней, представляет саму реальность: «Аналогия сущего в целом опирается на сами вещи и происходит из самих вещей, которые таким образом подчинены друг другу, что с необходимостью соотносятся в качестве сущих с чем-то одним» (XXVIII. 3. 22). Так объективное понятие сущего как такового оказывается у Суареса точкой схождения двух реальностей: мыслимой и вещной. Поэтому противоречие в формулировках – кажущееся и объясняется двойственным характером самого понятия сущего. Порой создается впечатление, что Суаресу про-

[21] *Caietanus.* De nominum analogia. Cap. V: «Qualis sit abstractio analogi ab analogatis»: 43. «Sciendum est, quod licet abstrahere diversa significet, cum dicimus intellectum abstrahere animal ab homine et equo, et cum dicimus animal abstrahere ab homine et equo: eo quod tunc significat ipsam intellectus operationem attingentem in eis unum et non alia; nunc vero significat extrinsecam denominationem ab illa intellectus operatione, qua res cognita abstracta denominatur».

сто недостает языковых средств, чтобы отчетливо выразить словами эту двойственность, столь ясную для его умственного взора.

Нам осталось сказать о том, каким образом внутреннее неравенство природы сущего выполняет функцию механизма аналогии, и ответить на вопросы, заданные в самом начале: благодаря чему у Суареса возможна аналогия сущего и почему она для него необходима?

С одной стороны, имеется иерархия определенных уровней сущего, в которые общая природа нисходит (descendit) неодинаковым образом. С другой стороны, абсолютная трансцендентальность сущего исключает возможность его определения чем-то отличным от его самого. Вывод: сущее само по себе определяется до своих модусов и высших родов, в то же время сохраняя в них внутреннее сходство и благодаря ему удерживая эти свои ступени в аналогическом отношении к самому себе. Благодаря чему возможно самоопределение ens ut sic, а значит, и аналогия сущих? Благодаря актуализации потенциально скрытых в нем различий. Что это за различия? Различия в сущем как таковом присутствуют в виде разных способов причастности к природе сущего, т. е. к бытию. Например, применительно к субстанциальному и акцидентальному сущему Суарес объясняет это так: «Те модусы, которыми тварное сущее определяется к бытию в качестве субстанции или акциденции, внутренне заключают в себе сущее как таковое, и потому говорится, что само сущее как бы содержит в себе то неравенство, которое характеризует его в субстанции и акциденции. Это неравенство состоит не в каком-либо различии в уровне совершенства, но в настолько разной причастности к бытию, что в субстанции она реализуется абсолютным и безусловным образом, а в акциденции – лишь умаленно и в силу соотнесенности с субстанцией» (XXXI. 2. 15). Таким образом, потенциальные внутренние различия присутствуют в ens ut sic в виде habitudines – формальных внутренних «соотнесенностей» или потенциальных сущностных способностей актуализироваться как тот или другой модус сущего (XXXII. 2. 14). Результат актуализации потенциальных внутренних различий сущего как такового: понятийная структура, воспроизводящая структуру внемысленного бытия.

Таким образом, аналогия сущего у Суареса выстраивается на основании формальных характеристик, которые в неактуализированном виде заключены внутри единого понятия сущего как потенциальные habitudines и которыми – при их актуализации –

сущности конституируются в качестве сущих того или другого уровня. Еще раз: аналогия сущего – это аналогия не разных степеней бытийного совершенства, как у Фомы, а разных формальных признаков сущностей (XXVIII. 3. 15).

Но почему аналогия так необходима Суаресу? Думается, в конечном счете она была ему необходима для того, чтобы избежать редукции сущего к чистой мыслимости. Если Фома придерживается последовательно онтологической перспективы, а Дунс Скот, напротив, тяготеет к тому, чтобы мыслить сущее как формальный элемент реальности, то Суарес находит гармоническое решение. При том что в сравнении с классическим томизмом точка фокуса в его метафизике явно смещается в сторону ноэтики, Суарес в то же время удерживает порождения творческой активности интеллекта в их жизненной связи с внемысленной действительностью. В самом деле, абстрактная смутная природа сущего – продукт абстрагирующего мышления, но habitudines коренятся во внешнем мире. Этим «соотнесенностям» сущего на уровне категорий и модусов отвечает «способность к существованию» (aptitudo ad existere) на уровне единичных сущих. Аналогия сущего, реализуемая через habitudines, в конечном счете призвана оберегать несводимость реального мира к игре мыслительных абстракций.

Отсюда очевидна неправомерность обвинений в интеллектуальном лицемерии, до сих пор выдвигаемых против Суареса. Он действительно разделял абсолютное большинство доводов Дунса Скота, которыми тот обосновывал унивокацию сущего. Но с точки зрения Суареса эти доводы свидетельствуют не об унивокальности, а о единстве понятия ens ut sic. Для подлинной унивокации требуется абсолютное равенство начал, конституирующих модусы и единичные субстанции сущего. Но как раз это равенство и невозможно для Суареса.

И.И. Ковалева

РИМ КАВАФИСА

С именем великого греческого поэта Константиноса Кавафиса неразрывно связано имя его родного города – Александрии. Этот город занимает центральное место в судьбе и творчестве поэта, в грекоязычной критике часто называемого просто Александрийцем (ο Αλεξανδρινός)[1]. Неудивительно, что «Александрия Кавафиса» стала излюбленной формулой исследователей[2] –

[1] Так, неоконченная книга Г. Сефериса о Кавафисе, которую младший поэт писал (с перерывами) несколько десятилетий, называется «Еще немного об Александрийце»: Σεφέρης Γ. Ακόμη λίγο για τον Αλεξανδρινό, *Δοκιμές* Α. Αθήνα, 1992.

[2] Интересно, однако, что пишет в только что упомянутой книге Сеферис, комментируя стихотворение Кавафиса «Вот Он» (1909), действие которого происходит в столице древнего царства Селевкидов – Антиохии: «Многие думают, что для Кавафиса совершенно естественно говорить об Александрии, поскольку он там родился и прожил всю жизнь. Но стоит, вероятно, задуматься вот над чем. В 1909 г. Кавафису исполнилось 45 лет, но Александрии он словно не видит. Он блуждает, отвергая одно за другим места, эпохи, наставников. Он приходит в Александрию, сделав круг, из Западной Греции [имеются в виду греческие колонии в Италии и на Сицилии, в частности Сиракузы, связанные с именем Феокрита, героя более раннего стихотворения «Первая ступень» (1899); заметим, однако, что Феокрит жил и в *Александрии*, и в тексте стихотворения нет указания на то, где именно происходит его действие. Но несомненно с Сиракузами связано – не только заглавием, но и местом действия – стихотворение «Тимолай-сиракузец» (1894), а с италийским греческим городом Тарент – «Граждане Тарента в ликованье»(1898). – *И. К.*] и Антиохии, так же как приходит в современную Александрию, сделав круг, из Александрии древней». – Σεφέρης Γ. Ακόμη λίγο για τον Αλεξανδρινό. Σ 412 (Пер. мой. – *И. К.*).

начиная от знаменитой книги Э. Кили «Александрия Кавафиса: исследование мифа в развитии»[3] и вплоть до сравнительно недавней статьи С. Ильинской «От Александрии Кавафиса к Риму Бродского»[4].

Между тем Рим в творчестве Кавафиса представлен почти так же широко, как и Александрия. Среди 154 стихотворений Основного свода 30 (пятая часть!) связаны с темой Рима, а вместе с «Отвергнутыми стихами» и не публиковавшимися при жизни поэта набирается более 50 «римских» стихотворений – совсем немало для Кавафиса, чье поэтическое наследие не слишком объемно.

При этом стихов, посвященных какому-либо яркому событию собственно римской истории, не так много: можно назвать «Мартовские иды» (написано в 1906 г., опубликовано в 1910 г.), связанные, естественно, с сюжетом убийства Цезаря, или обращенные к образу Нерона «Шаги» – одно из наиболее ранних свидетельств интереса поэта к римской теме: первый вариант под названием «Шаги Эвменид» был написан еще в 1893 г., в дальнейшем стихотворение несколько раз подвергалось значительной переработке, окончательный вариант опубликован в 1909 г. К теме Нерона Кавафис вернулся еще раз в стихотворении «Срок Нерона» (опубликовано в 1918 г.). Значительно больше стихов, в которых главное действующее лицо – римлянин, но действие происходит за пределами Рима, как правило, в какой-либо области грекоязычного мира[5]. Так, в одном из ранних «парнасских» стихотворений,

---

[3] *Keely E.* Cavafy's Alexandria: Study of a Myth in Progress. Harvard University Press, 1976. Рецензией на эту книгу было еще более знаменитое и многократно переиздававшееся эссе И. Бродского «Песнь маятника» (в русском переводе – «На стороне Кавафиса»).

[4] *Ιλίνσκαγια Σ.* Από την Αλεξάνδρεια του Καβάφη στη Ρώμη του Μπρόντσκι/Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός και Διαπολιτισμικότητα στο Έργο του Καβάφη. Ηράκλειο. Πανεπιστιμιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2000. Σ. 129–137. Ср. там же статью Паолы Марии Минуччи «Александрия Кавафиса и Унгаретти» (Σ. 139–148).

[5] Среди незавершенных стихотворений Кавафиса есть фрагмент, над которым поэт работал около 1925 г., посвященный убийству императора Домициана, однако интересна композиция этого фрагмента: сцену убийства Домициана *в Риме* видит в пророческом экстазе маг, пророк и чудотворец Аполлоний Тианский, находящийся в этот момент *в Эфесе*. Противопоставление Рима и грекоязычного мира налицо и здесь.

«Гораций в Афинах» (написано в 1893 г., опубликовано в 1897 г.), рисует время юности будущего великого римского поэта, время, когда он учился философии в Афинах и несколько легкомысленно развлекался (место действия этого стихотворения – дом афинской гетеры). Уже тогда Кавафис нащупывает основную антитезу, на которой будет строиться большинство его «римских» стихотворений – героями их станут *александриец в Риме* или *римлянин в Александрии*: два этих великих города словно «просвечивают» друг сквозь друга. В том же 1893 г. он пишет три стихотворения (три «парнасских» сонета), по-разному представляющих эту антитезу. Так, герой стихотворения «Александрийский купец» *в Риме* «продал партию гнилого ячменя втридорога»[6] и теперь спешит домой, «к *александрийским* улицам просторным»[7]. Тема «Гостеприимства Лагида» – противопоставление пышного приема, оказанного *александрийским царем* Птолемеем Филопатором (244–205 гг. до н. э.) прославленному софисту *в Александрии*, и грубость, с какой тот же софист в дни своей бедной юности был встречен «в развращающем *Риме*». В «Недовольном зрителе» действие, наоборот, происходит в Риме, а противопоставляются Менандр и Теренций, греческая и латинская комедия, греческий и латинский языки, а надменный зритель называет «варваром» латинского поэта. Такое противопоставление языков находим и в не публиковавшемся при жизни поэта стихотворении «Жители Посидонии» (1906), повествующем о печальной судьбе греческого города Посидонии, который в конце III в. до н. э. стал римским Пестумом. Жители его *забыли греческий* язык, смешавшись с римлянами и этрусками, и стали говорить *«по-варварски»*, т. е. по-латыни, что означало для Кавафиса быть «отторгнутыми от греческого мира» – «βγαλμένοι - ὢ συμφορά - ἀπ᾽ τὸν Ἑλληνισμό». Ужаснее судьбы, по Кавафису, не существовало. Ведь в другом стихотворении – «Эпитафия Антиоху, царю Коммагены» (1923)[8]

[6] Пер. Евг. Смагиной. Для удобства читателя греческие цитаты сокращены до минимума и заменены переводами. Излишне напоминать, что все наблюдения сделаны на основании греческих оригинальных текстов.

[7] Пер. Евг. Смагиной. Курсив в цитатах здесь и далее мой.

[8] В этом стихотворении тоже присутствует пара «властитель–софист», о которой речь пойдет чуть ниже: эпитафию царю по заказу его сестры пишет «Эфесский софист Каллистрат». Вообще образ софиста в творчестве Кавафиса – тема, далеко выходящая за пределы задач данной работы.

определения покойного царя как «справедливого, мудрого, щедрого» увенчиваются трудным для перевода Ἑλληνικός (не грек, но причастный эллинству, говорящий по-гречески), о котором сказано: «Нет у человечества отличья более почетного: выше этого – лишь боги».

Намеченная в «Гостеприимстве Лагида» пара «властитель–софист» появляется в написанном все в том же 1893 г., но позднее переработанном (хотя так и оставшемся при жизни поэта в его архиве) стихотворении, заглавием которому послужила строка Софокла – «Все остальное расскажу в Аиде», а затем в стихотворении «Враги» (1900). Консул, упоминаемый в нем, не позволяет предположить с большой степенью вероятности, *где именно* происходит действие, тогда как проконсул в предыдущем намекает на *римскую провинцию*, скорее всего, грекоязычную (где образованный проконсул читает Софокла и обсуждает его стихи с неким софистом) – это любимый пейзаж Кавафиса. О том, насколько устойчив в творчестве поэта образ «ученого софиста» в грекоязычной провинции, так или иначе соотносимой с Римом, свидетельствует более позднее стихотворение «Софист, покидающий Сирию» (1926):

Ты покидаешь Сирию, ученейший софист,
и сочинить задумал описанье Антиохии;
так не забудь упомянуть в том сочиненье Мевия...
...Да что там Антиохия –
в самой Александрии и, верно, даже в Риме
найдется вряд ли юноша пленительней, чем Мевий[9].

Александрия и Рим здесь упомянуты в одном ряду и противопоставлены Антиохии как более пышные и утонченные столицы. В стихотворении нет ничего, что указывало бы, в какое время происходит действие. Мевий – персонаж вымышленный, и речь идет только о его продажной красоте, но любопытно, что его имя (Μέβης) напоминает персонаж, известный по X эподу Горация, – плохой поэт Мевий (Maevius). Имя Горация, как мы уже видели, Кавафис использовал в одном из ранних стихотворений. В обоих случаях – и у Кавафиса, и у Горация – имеет место ситуация отъезда, только у Горация Мевий уезжает, а у Кавафиса уезжает софист, а Мевий, как и безымянный собеседник софиста, от лица

[9] Пер. Евг. Смагиной.

которого ведется повествование, остается в Антохии. Однако трудно утверждать, можно ли здесь говорить о чем-то большем, чем простое совпадение[10]. «Проконсула» и «софиста» находим в ироническом стихотворении «Филэллин» (1906, опубликовано в 1912 г.), рисующем такой «медвежий угол» где-то в Мидии, по сравнению с которым и Сирия – центр греческой культуры:

И наконец, не забывай, что иногда
И к нам из Сирии софисты забредают...[11]

Но и здесь присутствует вездесущее влияние Рима:

...чтоб ложно не истолковал проконсул,
во все он лезет, обо всем доносит Риму...[12]

В те же 1890-е годы проявляется интерес Кавафиса к римскому императору Юлиану, прозванному Отступником. В 1892 г. был написан первый вариант «Большого шествия священников и мирян», тема которого – смерть Юлиана в 363 г. н. э. и начало царствования императора Иовиана, восстановившего «отмененное» было Юлианом отправление христианского культа. Стихотворение «Юлиан, посвящаемый в мистерии» (1896) описывает, напротив, эпизод, относящийся к юности Юлиана:

Когда же оказался он во мраке
пугающих земных глубин, где следом
шли эллины, не чтившие Творца,
и вдруг во славе вспыхнувшей привычки,
оставшейся еще от набожного детства,
перекрестился машинально Юлиан...[13]

Фигура Юлиана чрезвычайно привлекала Кавафиса. Ему поэт посвятил в общей сложности более 10 стихотворений, об-

[10] Имя «Мевий» (Μέβης) носит персонаж еще одного стихотворения Кавафиса – «Симеон» (1917), современник ритора Либания (314–393), между прочим, друга императора Юлиана, посвятившего памяти последнего «Надгробное слово», и Симеона Столпника (ок. 389–459). Действие стихотворения происходит в Сирии на рубеже III–IV вв. н. э.; в нем содержится антитеза языческой софистической ученой литературы и христианской аскезы – круг тем, близкий к стихотворениям «юлиановского» цикла, о котором речь пойдет далее.

[11] Пер. Ю. Мориц.

[12] Пер. Ю. Мориц.

[13] Пер. С. Ошерова.

ращаясь к этой теме на протяжении всей жизни. Действительно, в Юлиане воплощено то, что более всего интересовало «поэта-историка»: эпоха перелома, сдвига, перехода от христианства к язычеству и обратно, безнадежная попытка повернуть историю вспять, лицемерие и фанатизм обеих противоборствующих сторон. Отметим, что в стихах, связанных с Юлианом, присутствует и вариант указанного выше топоса «римлянин за пределами Рима» – юный Юлиан, кузен правящего императора и сам будущий римский император, в Вифинии играет роль набожного христианина, одновременно погружаясь в языческую неоплатоническую философию («Юлиан в Никомидии», 1924); недолгое время своего правления (361–363 гг.) Юлиан провел по большей части на Востоке, в Антиохии, и погиб под персидским Ктесифоном[14]. Целый ряд стихотворений рисует конфликт императора с антиохийцами (и другими подданными-христианами), причем Кавафис не жалеет иронических красок при изображении фальшивого благочестия обеих сторон – и языческой, и христианской («Юлиан и антиохийцы», 1926; «Ты не познал», 1928; «В окрестностях Антиохии», 1933; ср. также сохранившиеся в архиве Кавафиса незавершенные стихотворения, над которыми поэт работал в 1920–1926 гг. – «Афанасий», «Епископ Пигасий», «Спасение Юлиана» и др.). Это обилие стихов, посвященных Юлиану, особенно впечатляет на фоне того, что у Кавафиса вообще не так много стихотворений связано с поздней римской империей: назовем три стихотворения, в заглавие которых вынесена дата «400 г. от Р. Х.» (о них речь пойдет ниже). Стихотворение «Если он скончался» (1897, 1910, опубликовано в 1920 г.): название его взято из сочинения Флавия Филострата «Жизнеописание Аполлония Тианского» (III в. н. э.), а в финале указано время действия – царствование императора Юстина (518–527)[15]. Здесь Кавафиса тоже занимает противоре-

[14] Очень сходное построение обнаруживаем в стихотворении «Смерть императора Тацита» (1896, опубликовано в 1897 г.): речь в нем идет о смерти престарелого *римского императора* (275 г. н. э.), отправившегося воевать с вторгшимися в Малую Азию готами. Смерть настигает Тацита в *каппадокийской Тиане*, т. е. опять-таки в грекоязычной восточной провинции.

[15] Строго говоря, концом «римской», т. е. Западной Римской, империи принято считать свержение малолетнего императора Ромула в 476 г. н. э. Однако официальным названием того, что мы называем Византией, было «Империя ромеев», т. е. римлян.

чие между официально исповедуемым христианством и тайным язычеством главного героя стихотворения:

...один язычник
из весьма немногих
оставшихся тогда; впрочем, вполне ничтожный,
трусливый человек, он притворялся
христианином и ходил исправно в церковь[16].

Так же, как мы помним, вел себя и юный Юлиан («Юлиан в Никомидии»). В стихотворении «Страхи» (1911) действие происходит *в Александрии* и датируется так: «в царствование Константа августа и августа Константина»[17], т. е. 337–350 гг. Герой стихотворения – «отчасти язычник, христианин отчасти»[18], мечущийся между жаждой наслаждений и привитым ему с детства духом аскетизма.

Отметим еще стихотворения, связанные уже не с римской, а с арабской угрозой: «Печаль Ясона, сына Клеандра, поэта, в Коммагене (595 год)» (1918, опубликовано в 1921 г.). Герой его – вымышленное лицо, а дата говорит о предчувствии конца еще одного эллинистического государства: в 638 г. н. э. Коммагена, находившаяся близ северо-восточной границы Сирии, была захвачена арабами. «Эмилиан Монаи, александриец (628–655 гг. по Р. Х.)» (1898, опубликовано в 1918 г.) говорит о жителе *Александрии*, переселившемся на Сицилию (и умершем там), вероятно, после (или накануне) того, как в 642 г. Александрия была взята арабами. Наконец, назовем еще два незавершенных стихотворения: «Зенобия» (1930) повествует о знаменитой царице Пальмиры; как это обычно для Кавафиса, стихотворение рисует момент наивысшего торжества перед катастрофой. Зенобия, захватив Сирию, часть Малой Азии и Египта, добившаяся того, что

теперь дивится ей Восток
и сами римляне ее боятся[19] –

хочет, чтобы ей составили соответствующую родословную, делающую ее потомком македонских царей Египта – Лагидов. Но в

---

16 Пер. С. Ошерова.
17 Пер. А. Величанского.
18 Пер. А. Величанского.
19 Пер. мой.

272 г. римский император Аврелиан победил Зенобию и отправил ее пленницей в Рим, где она и умерла. Еще один незавершенный, недатированный и неозаглавленный фрагмент повествует о неком рабе, чеканящем монеты для города Никеи «в царствование Севера», причем неясно, имеется ли в виду Септимий или Александр Север.

Написанное в 1898 г. знаменитое стихотворение «В ожидании варваров» занимает, как мы показали в другом месте[20], особое положение: оно посвящено по крайней мере падению Рима (на закате античности) и падению Константинополя (концу Византии) вместе, если не падению Константинополя преимущественно. В русском переводе текст сильно «латинизируется» благодаря словам «сенат», «император», «консулы» и т. п. Но греческие слова оригинала относятся не только к античной эпохе, они продолжали жить и в языке Византии. Если бы мы переводили их соответственно «синклит», «самодержец», «ипат» и т. п., «византийский» пласт смыслов выступил бы рельефнее. Примечательно, что Г. Сеферис в своей упомянутой выше книге о Кавафисе не включает «В ожидании варваров» в список «римских» стихов Кавафиса, зато связывает его с византийской традицией сатир Птохопродрома и со стихотворением самого Кавафиса «Граждане Тарента в ликованье» (1898)[21], о котором у нас уже была речь. «Варварские тоги» в нем, естественно, римские, т. е. «варварами» здесь (как это мы видели в «Недовольном зрителе») названы римляне.

По мнению Сефериса, Кавафис интересовался римской темой между 1897 и 1910–1911 гг., а затем оставил ее, ибо она «не давала ему характеры, которые он мог бы оживить»[22]. Позволим себе не согласиться с этим мнением: во-первых, мы уже обнаружили, что Кавафис занимался темами, связанными с Римом, в 1893 и даже в 1892 гг. Во-вторых – и в-главных, – Кавафис не расстался с римской темой, но нашел новый, необычный угол зрения, которому и будет преимущественно посвящена настоящая работа.

В другом эссе о Кавафисе Сеферис цитирует писателя П. Властоса, сравнившего стихи Кавафиса с «пьедесталами, на кото-

---

[20] См. подготовленную мною публикацию: *Константинос Кавафис.* В ожидании варваров / Пер., сост., вступ. статья И.И. Ковалевой // Иностранная литература. 2004. № 8. С. 216–230.

[21] Σεφέρης Γ. Ακόμη λίγο για τον Αλεξανδρινό. Σ. 393–395.

[22] Там же. С. 407–409. Пер. мой.

рых отсутствуют статуи», и отмечает, что «его (Кавафиса. – *И. К.*) стихи возбуждают эмоции *благодаря пустоте*»[23]. Тема Рима в творчестве зрелого Кавафиса все больше и больше находит выражение не впрямую, но через намек, аллюзию, а то и вовсе остается как бы «за кадром», и только знание исторических обстоятельств, образующих контекст описываемых в том или ином стихотворении событий, помогает понять его действительный смысл.

Римская тема Кавафиса кристаллизуется вокруг нескольких моментов истории. Один из них – гибель республики: гибель Помпея, диктатура и гибель Цезаря, война Октавиана и Марка Антония, битва при Акции, гибель Антония и Клеопатры, убийство сына Клеопатры Цезариона и пленение ее младших сыновей – финальный аккорд, знаменующий окончательное установление власти Октавиана и начало империи. В общей сложности этим сюжетам посвящено восемь стихотворений, но действие лишь одного из них – уже упомянутых «Мартовских ид» – происходит в Риме. Все остальные связаны формально с Александрией, но Рим присутствует в них как могучая, угрожающая, однако не называемая впрямую сила. Более ранние стихи – такие, как «Мартовские иды», «Теодот» (1911, опубликованы в 1915 г.), «Покидает бог Антония» (1910, опубликовано в 1911 г.) и его ранний вариант, не публиковавшийся при жизни поэта, – «Конец Антония» (1907) – содержат прямое выражение авторской оценки событий. Можно даже сказать, что в этих стихах и Цезарь, и Теодот, советник Птолемея XIII, египетского (т. е. *александрийского*) царя, научивший своего господина убить Помпея, искавшего спасения в Египте, и Антоний играют роль символов[24]. Так, в стихотворении «Теодот» упоминание головы Помпея *на окровавленном подносе* отсылает к иконографии Иоанна Крестителя[25]. Да и сам Кавафис не скрывает, что придает образу Теодота символическое измерение:

Ты думаешь, что жизнь твоя скромна,
течет без бурь, вдали от треволнений

---

[23] *Сеферис Г.* К.П. Кавафис и Т.С. Элиот: параллельные // Комментарий. 1998. № 15. С. 36. Пер. мой. Курсив Сефериса.

[24] Об этом со ссылкой на объяснения самого Кавафиса Лехонитису пишет, например, Сеферис: Σεφέρης Γ. Ακόμη λίγο για τον Αλεξανδρινό. Σ. 436–436.

[25] См.: *Ковалева И.И.* «Голова Орфея» versus «голова Иоанна Крестителя»: «голова поэта» (некоторые наблюдения) // В поисках «ориентального» на Балканах. Античность. Средневековье. Новое время. Балканские чтения–7. Тезисы и материалы. 24–26 марта 2006 г. Москва. М., 2003. С. 178–185.

и нет в ней места ужасам подобным?
Не обманись, быть может, в этот час
в соседний дом, такой спокойный, мирный,
неслышной поступью заходит Теодот
и столь же страшную главу с собой несет[26].

В этих стихотворениях поэт обращается с назиданием к читателю:

...прочти немедля
посланье важное Артемидора.
(«Мартовские иды»)[27]

...внемли и наслаждайся каждым звуком,
прощаясь с Александрией, которую теряешь.
(«Покидает бог Антония»)[28]

В более поздних стихотворениях тактика Кавафиса меняется. Стихотворение «Александрийские цари» (1912) целиком посвящено описанию блистательного праздника в честь детей Клеопатры, красоты Цезариона и великолепия его наряда. Это событие имело место в 34 г. до н. э., когда Антоний преподнес в дар Клеопатре и ее детям царства, некогда входившие в державу Александра Македонского. В финале стихотворения приведено мнение «александрийцев»:

...а знали ведь, что ничего не стоят,
что звук пустой – цари и царства эти[29].

За этим мнением – известное читателю Кавафиса продолжение: битва при Акции, поражение и гибель Антония, самоубийство Клеопатры и убийство Цезариона. Однако в стихотворении *не названы* ни Антоний, устраивающий торжество, ни Октавиан, который вскоре станет причиной гибели основных действующих лиц. Смысл стихотворения складывается из напряженного контраста между *названным* – пышным ликованием – и неназванны-

[26] Пер. С. Ильинской.
[27] Пер. С. Ильинской.
[28] Пер. С. Ильинской.
[29] Пер. С. Ильинской.

ми, но присутствующими в сознании читетеля обстоятельствами ближайшего будущего героев. Рим в лице Октавиана находится «за сценой» как ощущение надвигающейся неумолимой, гибельной силы.

Развитие этой темы находим в стихотворении «Цезарион» (1914, опубликовано в 1918 г.), где изображается юный сын Клеопатры накануне гибели (в 30 г. до н. э. Цезарион был убит по приказу Октавиана: Цезарион считался сыном египетской царицы от Гая Юлия Цезаря и в этом качестве мог представлять угрозу для Октавиана, усыновленного Цезарем и в годы второго триумвирата и войны с Антонием позиционировавшего себя как мстителя за «отца»):

> ...как стоял ты
> перед Александрией, в прах поверженной,
> бледный и изнемогший, но совершенный даже в скорби,
> все еще надеясь, вдруг да пощадят
> подлые, те, что нашептывали: «Цезарей слишком много»[30].

В оригинале эта последняя сентенция представляет собой одно слово – «Πολυκαισαρίη» – «Многоцезарство», пародирующее гомеровское «многовластие» (*πολυκοιρανίη*, Il. II, 204: «Нет в многовластии блага; да будет единый властитель»[31]), о чем упоминал сам Кавафис[32]. Отметим, что в 30 г. до н. э. слово «Цезарь» было *только* именем собственным, не став еще титулом, однако в ситуации столкновения (пусть гипотетического) двух наследников Гая Юлия Цезаря в борьбе за власть оно буквально на глазах приобретает дополнительный нарицательный смысл. Кавафис, помимо прочего, в «Цезарионе» показывает нам и процесс рождения нового значения слова «Цезарь». Весь сюжет, связанный с этими обстоятельствами и с интересующей нас римской темой, – «кто будет наследником Цезаря? Кто завладеет властью над Римом?» – свернут у Кавафиса в одно слово.

Еще два стихотворения посвящены роковой для Антония битве при Акции, но в обоих нет никакого описания этого собы-

---

[30] Пер. А. Величанского.

[31] Пер. Н.И. Гнедича.

[32] См. комментарий С. Ильинской к этому стихотворению в издании· К.П. ΚΑΒΑΦΗΣ. ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ. *Εισαγωγή* – *Επιμέλεια* ΣΟΝΙΑ ΙΛΙΝΣΚΑΓΙΑ. ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ, *Αθήνα*, 2003. Σ. 450.

тия, кроме описания реакции на него жителей эллинистических государств, час которых пробил. Стихотворение «31 год до Р. Х. в Александрии» (1917, опубликовано в 1924 г.) содержит рассказ о «торговце из деревни», пытающемся продать в Александрии свой товар – благовония, и о ликовании народа:

...процессии повсюду, музыка, торжество[33].

Этот прием уже знаком нам по «Александрийским царям»: на переднем плане – изображение торжества, а за ним – катастрофа, о которой здесь читателю подсказывает заглавие (год битвы при Акции) и финальное двустишие:

...и слышит те же сказки, которыми народ
обманут, – дескать, в Греции Антоний верх берет[34].

Клеопатра первоначально пыталась скрыть от своих подданных известие о поражении Антония, но читателю Кавафиса развязка известна; и здесь смысл стихотворения создается за счет противопоставления явленного – комичной фигуры торговца, сминаемого ликующей толпой, – и оставленного «за кадром»: поражения Антония и подступающего Октавиана, рока, Рима[35].

В стихотворении «В малоазийском деме» названы и само событие – битва при Акции, и ее исход, и Октавиан, и *римляне*. Место действия – греческое поселение в Малой Азии, зависимое от Рима, жители которого лицемерно готовы приветствовать того, кто победил:

Известья об исходе битвы, при Акции, в открытом море –
совсем не то, чего мы ждали.
Но никакого нет резона писать нам новый документ.

---

[33] Пер. Евг. Солоновича.

[34] Пер. Евг. Солоновича.

[35] Можно сравнить композицию этого стихотворения с одой Горация (I, 37), также посвященной победе Октавиана над Антонием и Клеопатрой. Гораций тоже начинает с реакции на известие (правдивое) об этом событии (только реакции победителей-римлян, а не побежденных александрийцев), однако с 4-й строфы и до конца оды переходит и к описанию самого сражения, и к изображению самоубийства Клеопатры. Кавафис изображает только реакцию александрийцев на ложное известие о победе Антония; остальное читатель должен достроить сам на основании того, что он знает об этих событиях (в том числе и из оды Горация!).

Нам надо изменить лишь имя. И там,
в последних строчках, вместо: «Избавивший сегодня римлян
от гибельного самозванца Октавиана,
который сущая пародия на Цезаря»,
теперь поставим: «Избавивший сегодня римлян
от гибельного самозванца Антония».
Весь текст прекрасно нам подходит[36].

И здесь мы подходим ко второй большой – едва ли не главной – модификации римской темы у Кавафиса. Речь идет об изображении борьбы эллинистических государств с Римом на протяжении II–I вв. до н. э., в ходе которой эти государства одно за другим теряли политическую независимость и становились римскими провинциями. Если в предыдущей группе стихотворений героем чаще всего является *римлянин* (Помпей, Цезарь, Антоний) *в Александрии*, то сейчас мы часто будем видеть *александрийца* (или представителя других грекоязычных эллинистических царств) *в Риме*. Так, в стихотворении «Недовольство Селевкида» (1910, опубликовано в 1916 г.) Птолемей VI Филометор является в Рим просить поддержки римлян против своего брата Птолемея VII Евергета – это события 164 г. до н. э. В стихотворении «Александрийские послы» (1915, опубликовано в 1918 г.), посвященном тем же Птолемеям, пославшим послов к Дельфийскому оракулу, но куда больше заинтересованным известиями из Рима, формулируется роль Рима в судьбе соперничающих друг с другом эллинистических царей:

Στὴν Ρώμη δόθηκε ὁ χρησμός· ἔγιν' ἐκεῖ ἡ μοιρασιά.

«Пророчество-то в Риме прозвучало: там нынче наделяют и дарят»[37].

Второй заглавный герой «Недовольства Селевкида» – Деметрий Сотер, с именем и судьбой которого связано несколько стихотворений Кавафиса. Деметрий был сыном убитого римлянами сирийского царя Селевка IV. В описываемое в данном стихотворении время он жил в Риме заложником. Впоследствии он

[36] Пер. Ю. Мориц.
[37] Пер. мой.

вернулся в Сирию и царствовал там на протяжении 162–150 гг. до н. э., пытаясь – безуспешно – восстановить ее прежнее величие: этому посвящено стихотворение с недвусмысленным заглавием «Деметрий Сотер (162–150 до Р. Х.)» (1915, опубликовано в 1919 г.); Рим упоминается в нем как место, где Деметрий жил в прошлом в кругу знатной римской молодежи и слышал

...в речах друзей
едва скрываемое разочарование
в эллинском мире и его династиях, которые
давно уже себя изжили и не могут
вершить судьбой народов, государств[38].

Подразумевается, что вершить судьбу народов должен именно Рим[39]. И Кавафис снова и снова не столько изображает явно, сколько дает почувствовать неумолимую силу Рима, надвигающуюся на грекоязычные государства. В 150 г. до н. э. Деметрий Сотер был свергнут авантюристом Александром Валом, который выдавал себя за сына дяди Деметрия, Антиоха IV Епифана, царствовавшего в 175–164 гг. до н. э. С этими персонажами связаны еще два стихотворения – «Любимец Александра Вала» (1916, опубликовано в 1921 г.) и «Слово к Антиоху Епифану» (1911, опубликовано в 1922 г.). Первое рисует безымянного фаворита правителя, убежденного, что

Вся Антиохия моя держава[40].

Но читатель Кавафиса помнит, что торжество это ненадолго: Александр Вал был побежден сыном свергнутого им Деметрия, Деметрием II, и убит. Во втором стихотворении безымянный же «антиохиец юный», фаворит Антиоха, обращается к своему господину со словами ободрения накануне упоминаемого в финале поражения македонян, которое они потерпели *от римлян* при Пидне в 168 г. до н. э. В стихотворении «Темеф Антиохиец, 400

---

[38] Пер. С. Ильинской.

[39] Можно расслышать здесь отголосок знаменитого определения предназначения Рима у Вергилия (Энеида, VI, 851–853), если допустить некоторый анахронизм (Вергилий жил сильно позже Деметрия, но Анхиз, от имени которого дается это определение, разумеется, до). Думаю, однако, что Кавафис опирался больше на сходную оценку роли Рима у Полибия.

[40] Пер. Евг. Солоновича.

год» (1925) Кавафис делает Антиоха Епифана и его юного друга (которому здесь дается вымышленное имя Эмонид) героями поэмы еще одного вымышленного персонажа – юноши Темефа, живущего в Антиохии на закате античности, в еще одну переходную эпоху[41]. Наконец, к «сирийскому» циклу примыкают стихотворения «Битва при Магнесии» (1913, опубликовано в 1916 г.), герои которого – македонский царь Филипп V, потерпевший поражение от римлян в 197 г. до н. э. при Киноскефалах, и сирийский царь Антиох III, побежденный римлянами же в 190 г. до н. э. при Магнесии, и «Мастер кратеров» – вероятно, самое раннее обращение Кавафиса к этой теме: первый вариант был написан в 1903 г., но затем оно было переработано и опубликовано лишь в 1921 г. Герой этого стихотворения – ювелир, изготавливающий сосуд с изображением возлюбленного, павшего в битве при Магнесии четверть века назад: стало быть, действие стихотворения разворачивается в 165 г. до н. э. Кратер делается «для дома Гераклидов»[42]: Гераклид – еще один соперник Деметрия Сотера, упоминаемый также и в финале стихотворения «Деметрий Сотер (162–150 до Р. Х.)»:

Сирия ...
в руках у Гераклида с Валом[43].

Рим не упоминается в «Мастере кратеров» и «Битве при Магнесии»: первое сосредоточено на описании прекрасного произведения искусства – серебряного сосуда – и на чувствах мастера к давно умершему возлюбленному; второе описывает роскошный пир и душевные метания царя Филиппа, сочувствующего разгрому Антиоха, но не могущему забыть, что тот не помог, когда разбит был сам Филипп. Однако смысловой центр обоих стихотворений – названная впрямую битва при Магнесии, еще один значительный этап в завоевании римлянами эллинистического Востока.

---

[41] 400 г. н. э. вынесен в заглавие еще двух стихотворений – «Юноши Сидона (400 год)» (1920) и «Театр в Сидоне (400 год)» (1923). Вот как комментирует первое из них С. Ильинская: «Ключом к толкованию этого стихотворения должна послужить дата – 400 г. после Р. Х., пора глубочайшего кризиса Римской империи, уже теснимой готами и гуннами» (Русская Кавафиана. М., О.Г.И., 2000. С. 273).

[42] Пер. Евг. Смагиной.

[43] Пер. С. Ильинской.

Этой теме посвящено еще несколько стихотворений Кавафиса, которые мы упомянем в хронологической последовательности называемых (или не называемых, но подразумеваемых) в них исторических событий.

В двух достаточно поздних стихотворениях в заглавие вынесена дата – 200 г. до Р. Х. («В большой греческой колонии, в 200 г. до Р. Х.», 1928, и «В 200 г. до Р. Х.», 1931). Эта дата маркирует начало войны между Македонией и Римом, которая в ближайшем будущем завершится поражением Македонии в 197 г. до н. э. (это о нем вспоминает, как мы только что видели, царь Филипп в стихотворении «Битва при Магнесии»), а в более отдаленной временной перспективе – окончательной утратой эллинистическими государствами своей политической независимости (наиболее значима для Кавафиса, естественно, утрата самостоятельности Египта, Александрии). В первом из этих двух стихотворений рисуется атмосфера общего неблагополучия:

Чтоб убедиться, что дела в колонии идут не так как надо,
достаточно одного взгляда...[44]

Кавафис намеренно не называет место действия, создавая обобщенный образ кризиса эллинистических государств. Во втором стихотворении, посвященном победам Александра и созданию в результате этих побед «нового эллинского мира»[45], звучат, на первый взгляд, слова гордости и славы (весьма часто цитируемые):

Мы, наследники гордых предтеч.

Мы – от александрийцев до антиохийцев,
от египетских греков до греков сирийских,
селевкийцы, мидийские греки
и персидские, и остальные...
...И Единое Наше Наречье
донесли мы до Бактра, до Индии донесли[46].

Однако и здесь у Кавафиса смысл складывается из контраста между явленным прямо и только чуть обозначенным (в дан-

[44] Пер. А. Величанского.
[45] Пер. Евг. Солоновича.
[46] Пер. Евг. Солоновича.

ном случае – датой в заглавии), между картиной торжества в настоящем – и знанием о предстоящей катастрофе, которым обладает читатель. Через век с небольшим после походов Александра эллинистический мир как будто бы находится на вершине могущества. Но через век с небольшим после отмеченной в заглавии даты он будет в агонии; «Единое Наше Наречье» – все, что останется у этого мира от Александрова наследства.

После 200 г. до н. э. следуют события, изображенные в стихотворениях, названных нами «сирийским циклом» и разобранных выше. Дальше еще один важный этап борьбы Рима и эллинистического мира отмечен в стихотворении «Сражавшиеся за Ахейский союз» (1922): это стихотворение стало предметом особого внимания Сефериса. Вот что он пишет: «Первый временной ориентир, который дает нам это стихотворение, – год, когда ахейцы пали в Левкопетре, сражаясь с “вечными победителями” – римлянами, уничтожающими последние остатки греческой независимости: 146 г. до Р. Х.»[47]. Сеферис отмечает связь этого стихотворения с «Битвой при Магнесии», «Деметрием Сотером...», «Недовольством Селевкида» и «Словом к Антиоху Епифану» и указывает на особый смысл даты, стоящей под стихотворением: 1922 г., накануне еще одной всегреческой катастрофы – малоазийской (поражения в греко-турецкой войне и депортации греческого населения Малой Азии). По мнению Сефериса, Кавафис отождествляет древние и современные события «благодаря связующему звену, третьему, промежуточному временному ориентиру: седьмой, предпоследний, год царствования Птолемея IX Латира, 109 г. до Р. Х. – столь же бурная эпоха, отмеченная позором, падением и бесконечными интригами, эпоха, которую венчает бегство Птолемея из Александрии. А в это время всемогущий Рим все туже стягивает свои сети вокруг жалкого царства Лагидов»[48]. Отметим, что в этом стихотворении римляне упомянуты описательно – как «всюду победившие», πανταχοῦ νικήσαντες. Еще одно стихотворение, связанное с этими событиями, – «На италийском берегу» (1925), описывающее прибытие в Италию трофеев из взятого и разграбленного римлянами Коринфа.

«Все туже стягивающиеся сети» Рима касаются не только «жалкого царства Лагидов», но и других, даже самых окраин-

---

[47] *Сеферис Г.* Указ. соч. С. 27. Пер. мой.

[48] Там же. С. 28. Пер. мой.

ных, пределов эллинистического мира. В стихотворении «Дарий» (1917, опубликовано в 1920 г.) вымышленный персонаж – поэт Ферназ – сочиняет поэму о греко-персидских войнах в тот самый момент, когда Митридат VI Евпатор начинает (в 73 г. до н. э.) войну против римлян, которой суждено будет оказаться для него роковой. Ирония Кавафиса очевидна: стихотворение построено на параллели между древним персидским царем Дарием, затеявшим гибельную для персов войну с Грецией, и его отдаленным потомком, взявшимся воевать с могучим Римом. В этом стихотворении – редкий у Кавафиса случай – римляне названы впрямую:

О, римляне опасные враги!
Достаточно ли мы, каппадокийцы,
сильны, чтобы не уступить? Способны ли
мы римским легионам дать отпор?[49]

Зато в стихотворении «Александр Яннай и Александра» (1929) мы находим уже привычную схему: на переднем плане изображение торжественной процессии, в которой участвуют иудейские царь и царица (Александр Яннай правил Иудеей в 103–76 гг. до н. э.): празднуется завершение освобождения Иудеи от власти Селевкидов, но уже недалек тот час (о чем не догадываются персонажи стихотворения, но зато знают поэт и его читатель), когда Иудея попадет сперва в частичную зависимость от Рима, а затем станет и римской провинцией. «Вот он, пьедестал, – пишет об этом стихотворении Сеферис[50]. – Царь и царица, “счастливые”, “исполнены довольства”, в сознании своей мощи, в миг торжества, стойкие в вере и верные своему народу, гордые тем, что продолжили дело предков. Государство более никого не боится; великолепная процессия, движущаяся по улицам Иерусалима, – внушительный символ суверенитета: все тут – расцвет, успех, сила.

Но где же статуя, которой не хватает? <...> Иудеям словно в бреду или во сне видится триумф Александра Янная, его царица, великий Иуда Маккавей со своими четырьмя славными братьями. Но через миг они проснутся, разбуженные катастрофой, и грядут: оккупация, великое рассеяние, гонения и все бес-

[49] Пер. Евг. Солоновича.

[50] *Сеферис Г.* Указ соч. С. 37. Пер. мой.

предельные муки еврейства. Катастрофа – вот статуя, которой не хватает»[51].

Среди незавершенных стихотворений Кавафиса есть стихотворение «Тигранокерт» (1929), посвященное новой столице Армении, выстроенной в 77 г. до н. э. царем Тиграном I в Северной Месопотамии. Безымянный герой стихотворения, от лица которого ведется повествование, прибыл туда в надежде разбогатеть, но он осознает шаткость этих надежд – римская угроза слишком велика:

О, место дивное Тигранокерт!
Пока стоит, конечно: нет сомнения,
что римляне в конце концов его возьмут.
Витает в облаках, похоже, царь Тигран.

Но мне-то что за дело! Я останусь
Здесь месяц-два – не дольше – а потом бежать!
И наплевать тогда мне совершенно, если римляне
Возьмут Тигранокерт...[52]

Тревоги эти небеспочвенны: в 69 г. до н. э. Тигранокерт был взят.

Наконец, в незавершенном стихотворении «Агелай» (1932) Кавафис словно подводит итог разработке этой темы. В 217 г. до н. э. этолиец Агелай призывал эллинов объединиться против Рима и Карфагена под эгидой македонского царя Филиппа V (уже знакомого нам по другим стихотворениям):

Мудрые речи. Но пропали втуне.
В ужасные, чудовищные дни
Киноскефал, Магнесии и Пидны,
должно быть, вспоминали греки их –
те речи мудрые, оставшиеся втуне[53].

Кавафис, как видим, перечисляет здесь все те же знаменитые поражения эллинистических монархий (отметим, что поэт

---

[51] Ср. стихотворение «Аристобул» (1918), рисующее как будто внутрииудейскую борьбу за власть: царь Ирод Великий (ок. 73–4 гг. до н. э.) в 35 г. до н. э. приказал утопить Аристобула – брата своей жены Мариамны и сына Александры. Но не забудем, что Ирод – ставленник Рима, а униженная Александра подчеркнуто названа Первой Царицей. С гибелью Аристобула оборвалась династия Хасмонеев.

[52] Пер. мой.

[53] Пер. мой.

называет их совокупно «греки»: важно не то, македонцы они или подданные сирийско-месопотамской державы Селевкидов, но то, что они говорят на «Едином Нашем Наречье»).

Подведем итоги и мы. История Рима интересовала Кавафиса не сама по себе, но там, где она пересекалась с историей эллинистического мира. Отметим, что классическая история Греции тоже не слишком привлекала поэта, если иметь в виду не гомеровские реминисценции и не упоминания мифологических персонажей (тоже весьма немногочисленные), собственно *классической греческой истории* посвящены, пожалуй, только «Фермопилы» (1901, опубликовано в 1903 г.), но и в них доблесть защитников Фермопил используется как символ, подобно тому, как мы видели выше символическое использование упоминаний об убийстве Цезаря или Помпея. В «Сатрапии» (1905, опубликовано в 1910 г.) поэт использует некоторые моменты биографии полководца Фемистокла, вынужденного в конце жизни бежать из Афин к персидскому царю Артаксерксу и получившего в управление Магнесию и Лампсак. Но, согласно указанию самого Кавафиса, героя стихотворения следует воспринимать символически, как некого художника или ученого, потерпевшего неудачу на родине и отправляющегося к Артаксерксу в надежде изменить жизнь к лучшему[54]. В других случаях события греческой истории подаются как тема сочинений авторов (обыкновенно вымышленных) более поздней, т. е. эллинистической, эпохи. Так, в уже упомянутом стихотворении «Дарий» поэма Ферназа о войне V в. до н. э. дана на фоне войны I в. до н. э., а в стихотворении «Демарат» история спартанского царя, жившего на рубеже VI–V вв. до н. э., является темой, предложенной для риторической разработки «молодым софистом» Порфирием – нечто подобное могло иметь место, например, во II в. н. э., в эпоху «второй софистики», когда подобные упражнения были в моде[55].

[54] Καβάφης Κ.Π. Απαντα τα ποιήματα. Εισαγωγή – Επιμέλεια Σόνια Ιλίνσκαγια. Νάρκισσος. Αθήνα, 2003. Σ. 444–445.

[55] Подобным же образом герои римской истории – от Сципиона до Цезариона – становятся предметом работы «Тианского скульптора» (1893, 1903, опубликовано в 1911 г.): еще один представитель грекоязычного мира, работающий, по утверждению Кавафиса, *в Риме*. Но славные римляне для него – такой же отстраненный материал, как и персонажи древней мифологии: недаром в композиции стихотворения перечисление сделанных ваятелем статуй открывается мифологическим персонажем – Реей, потом следует каталог римлян, потом снова боги – Посейдон и Гермес.

Главный интерес для Кавафиса, как это неоднократно отмечалось, представляла эллинистическая история. Сеферис, однако, уже показал на примере стихотворения «Сражавшиеся за Ахейский союз», что события древности подчас были для Кавафиса способом выразить свое отношение к современности. Мир эллинистических монархий для него был миром, к которому принадлежал он сам: Египет, где жил поэт, совершал непростой переход от турецкого владычества к британскому, и в этих условиях существовала египетская греческая община, зависимая то от одних, то от других хозяев и покровителей. Рим оказался идеальным символом Рока – неумолимой, хотя и невидимо, силы, и связанные с ним стихотворения характеризуются своеобразной *поэтикой умолчания.* «Римские» стихи Кавафис писал бóльшую часть жизни: самые ранние из них относятся к 1892–1893 гг., последние – к 1933 г. Наиболее ранние события римской истории, упомянутые (а точнее – «умолчанные») Кавафисом, относятся к III в. до н. э.: завоевание Римом древнейших греческих колоний в Италии. В 273 г. до н. э. Посидония-Пестум стала римской колонией, обладающей правом римского гражданства; в 272 г. до н. э. римским «союзником» стал Тарент. Наиболее поздние события реальной римской истории, подчеркнем, *римской,* а не ранневизантийской, о которых говорит Кавафис, – смерть Юлиана Отступника и царствование Иовиана (363–364 гг. н. э.). Иовиан, упомянутый в стихотворении «Большое шествие священников и мирян», подписал мирный договор с персами (войну с которыми начал и не смог выиграть Юлиан), по которому отказался от Месопотамии и Армении: эти территории оказались потеряны для Рима навсегда[56].

Сам Кавафис, очевидно, считал символическими границами интересовавшего его периода «200 г. до Р. Х.» и «400 г. от Р. Х.», вынеся их в заглавия своих стихов, как уже было сказано: первую дату дважды, вторую – трижды. Между ними располагаются века, на протяжении которых «всемогущий Рим все туже стяги-

---

[56] В еще одном недатированном и незавершенном фрагменте, примыкающем к «юлиановскому» циклу, упоминается «первый год правления Феодосия» (379 г. н. э.) и специально указывается, что «прошло пятнадцать лет» (после смерти Юлиана). «Молодой *александриец*», герой стихотворения, улыбается, вспоминая указ Юлиана, запрещавший христианам преподавать в школах тексты Гомера и Гесиода. Вероятно, эту дату и можно считать самой хронологически поздней датой римской истории у Кавафиса.

вал сети» вокруг «греческого мира», завоевывая одно за другим эллинистические государства (разумеется, не только эллинистические, но победы Рима над западными и северными варварами Кавафиса не интересуют, его дело – ὁ Ἑλληνισμός), а затем теряя их под ударами новых завоевателей. Отметим, что первому процессу Кавафис уделяет несравненно больше внимания, чем второму: не гибель Рима важна для него, а участь Византии, но эта тема выходит за пределы настоящего исследования. «Внутри» же римской темы Кавафиса, естественно, более всего занимает судьба Александрии, поэтому мы находим у него столько стихов, посвященных династии Лагидов и их отношениям с Римом («александрийцы в Риме»), в частности последней представительнице этой династии, после смерти которой Египет (и его столица Александрия в том числе) стал собственностью римских императоров («римляне в Александрии»). Задуманное в последние годы жизни поэта стихотворение «Зенобия» должно было, по всей видимости, стать своего рода ироническим эпилогом к этой теме.

С точки зрения поэтической техники «римские» стихи Кавафиса эволюционировали от использования лиц и фактов римской истории как символов («Мартовские иды», «Теодот») к напряженному ожиданию катастрофы – тем более напряженному, что *в тексте* стихотворения на нее едва указано – одной фразой, одним словом, датой, а то и вовсе *ничем*, кроме, пожалуй, описания торжеств и ликований («Александр Яннай и Александра»): опытный читатель Кавафиса должен насторожиться всякий раз, когда он читает о чем-то подобном: обычно за венками и пирами, драгоценностями[57] и шествиями скрывался намек на предстоящие бедствия.

Отметим, что из всех тем, связанных с Римом, Кавафис отбирает собственно историю, проявляя удивительное равнодушие к римской литературе. Все, что мы у него находим, – указанные выше пренебрежительное упоминание «Теренция, Гавренция» и изображение Горация в роли молодого повесы. Это равнодушие тем более поразительно, что помимо греческой литературы (от Гомера до современных поэту авторов) Кавафис, как можно судить и по стихам, и по прозаическим сочинениям, живо интересовался английской литературой (Шекспиром, Теннисоном,

[57] См. мою статью «“С двойным узором аметистов и сапфиров”: о поэтике каталога у Кавафиса» (в печати).

Китсом, Рескином, дружил и переписывался с Форстером, читал Р. Грейвза и т. д.), Бодлером, Данте...Нельзя сказать при этом, что Кавафис *не знал* римской литературы: в своем наиболее раннем опубликованном тексте – заметке «Коралл сквозь призму мифологии» (1886) – Кавафис ссылается на Овидиевы «Метаморфозы» и даже цитирует средневековые латинские стихи, посвященные кораллам[58], а в эссе «Конец истории Одиссея»[59] (1894) упоминает Вергилия не только как проводника Данте в странствии по Аду, но и как автора «Энеиды». Однако *в стихах* Кавафису римская литература не понадобилась. В каком-то смысле он смотрел на римлян так же, как Вергилиев Анхиз[60]: у Кавафиса, как мы видели, римляне – *πανταχοῦ νικήσαντες*. И если причастность к греческому миру, по Кавафису, – «отличье, почетней которого у человечества нет», то однажды у него нашлись и слова, признающие право римлян на особую гордость своим положением. В стихотворении «Конец Антония» проигравший сражение Марк Антоний останавливает «плач женщин, о беде его причитавших»:

Не нужно его оплакивать, не подобает.
Подобает скорее прославить его:
был он всесильным властителем
и обладал несметными благами.
И если пал он теперь, то не униженно,
а как римлянин, поверженный римлянином[61].

---

[58] Рус. пер. см.: *Кавафис К.* Проза. М., Итака – комментарии, 2003. С. 45–47.

[59] Там же. С. 82–93.

[60] См. выше примеч. 39.

[61] Пер. С. Ильинской.

М.Я. Паит

ГОРАЦИЙ, ДЕРЖАВИН И КАПНИСТ: ЗАМЕТКИ К ТЕМЕ

Среди ранних стихотворений Г.Р. Державина, не публиковавшихся при жизни автора, мы встречаем следующее:

Идиллия

Не мыслю никогда за Пиндаром гоняться
И бурным ветром вверх до солнца подниматься;
Чтоб фениксом не стать, боюся я того
И с жару б не сгореть в полвека моего,
Не треснуть бы с огня.
Стихи мои слагать, –
Довольно для меня
Зефиру подражать:
Он нежно на цветы и розы красны дует
И все он их целует;
Чего же мне желать? Пишу я и целую
Анюту дорогую (III, 459)[1].

Это стихотворение неизменно привлекало внимание исследователей творчества Державина. Я.К. Грот отмечает, что Державин в молодости «как будто колебался в выборе рода поэзии и по временам сознательно отказывался от торжественной оды. Рукописное собрание его мелких стихотворений начинается именно

[1] Оды Г.Р. Державина цитируются по академическому изданию Я.К. Грота (Сочинения Державина. С объяснительными примечаниями Я.К. Грота. Издание Императорской академии наук. 1864–1883). После цитаты римской цифрой указывается номер тома, арабской – номер страницы.

выражением этого намерения в небольшой идиллии, которая, конечно, только потому и заслуживает внимания: “Не мыслю никогда за Пиндаром гоняться...”»[2].

Интересно привести отрывок из биографии Державина, написанной В.Ф. Ходасевичем: «Для торжественных од и важных предметов он не располагал ни ученостью, ни знанием жизни. Олимпийцев он путал, царя видывал разве что на разводах. Он решил впредь не гнаться за Пиндаром и петь попросту, в таком роде:

Чего же мне желать? Пишу я и целую
Анюту дорогую.

Впрочем, никакой Анюты в действительности не было»[3].

В.А. Западов называет «Идиллию» программным произведением, в котором Державин «отрекается начисто от “высокой поэзии”»[4].

Не отрицая того факта, что в своих ранних произведениях Державин задумывался о выборе жанра собственной поэзии, отметим, что стихотворение «Идиллия» представляет собой попытку перевода начала оды IV, 2 Горация.

Ода IV, 2, 1–4

Pindarum quisquis studet aemulari,
Iulle, ceratis ope Daedalea
Nititur pinnis, vitreo daturus
Nomina ponto[5].

С Пиндаром кто состязаться дерзает,
Тот и крылами, и долей печальной
Сходен с Икаром, давшим прозванье
Влаге кристальной[6].

---

[2] *Грот Я.К.* Жизнь Державина. М.: Алгоритм, 1997. С. 180–181.

[3] *Ходасевич В.* Державин. М.: Книга, 1988. С. 46.

[4] *Державин Г.Р.* Стихотворения / Вступ. ст. и примеч. В.А. Западова. М., 1983. С. 3.

[5] Оды Горация цит. по: *Horatius*. Opera / Edidit Fridericus Klingner. Lipsiae in aedibus B.G. Teubneri, 1959.

[6] Здесь и далее приводятся переводы од Горация, принадлежащие А.А. Фету. Переводы цит. по: *Квинт Гораций Флакк* / В переводах и с объяснениями А. Фета. 2-е изд. СПб.: Изд. А.Ф. Маркса. Б/г.

В стихотворении «Идиллия» можно проследить зарождение тех черт, которые будут присущи державинским переложениям од Горация, выполненным через десятки лет, в последние годы XVIII и в начале XIX в. Эти черты таковы.

1. Изменение и упрощение образов, трудных для понимания читателей, незнакомых с античной мифологией и реалиями.

Вместо Икара, летящего на крыльях, скрепленных воском, и дающего вследствие своего падения имя морю (Гораций, рассчитывая на просвещенного читателя, сознательно разрывает цепь звеньев этой истории и умалчивает о таянии воска, упомянув лишь о начале и финале путешествия Дедала и Икара, и не называет имени Икара), в стихотворении Державина появляется образ феникса и боязнь «не треснуть бы с огня».

Заметим, что образ феникса, не вполне уместный в этом стихотворении, возможно, навеян Державину не только образом Икара, но и образом лебедя, с которым сравнивается Пиндар в этой оде Горация:

Multa Dircaeum levat aura cycnum...

2. Резкий отход от горацианского текста в финале стихотворения – Державин цитирует не все стихотворение Горация, а лишь первые строфы.

В «Идиллии» неожиданно появляется «дорогая Анюта», которой, по слову Ходасевича, «в действительности не было».

Обратимся, например, к стихотворению Державина «Весна», написанному в 1804 г. и адресованному его дальнему родственнику Ф.П. Львову. Начальные строфы этого стихотворения представляют собой перевод оды I, 4 Горация.

Гораций, ода I, 4

Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni
Trahuntque siccas machinae carinas,
Ac neque iam stabulis gaudet pecus aut arator igni
Nec prata canis albicant pruinis.

Iam Cytherea choros ducit Venus imminente luna,
Iunctaeque Nymphis gratiae decentes
Alterno terram quatiunt pede, dum gravis Cyclopum
Volcanus ardens visit officinas.

Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto
Aut flore, terrae quem ferunt solutae.
Nunc et in umbrosis Fauno decet immolare lucis,
Seu poscat agna sive mavit haedo.

Pallida Mors aequo pulsat pede pauperum tabernas
Regumque turris. O beate Sesti,
Vitae summa brevis spem nos vetat incohare longam;
Iam te premet nox fabulaeque Manes

Et domus exilis Plutonia: quo simul mearis,
Nec regna vini sortiere talis
Nec tenerum Lycidan mirabere, quo calet iuventus
Nunc omnis et mox virgins tepebunt.

Суровая зима от вешних уст слетела,
Рычаг уперся в бок сухого корабля,
Нет стойла у скота, огня у земледела,
И белым инеем не устланы поля.
Венера при луне уж хороводы водит,
И скромно грации и нимфы в землю бьют
Ногой искусною, пока Вулкан разводит
Огни, сулящие циклопам новый труд...
Пора пахучие власы иль миртом юным,
Иль с тающей земли цветами перевить,
И фавну в рощице ягненка с белым руном,
Иль, если б предпочел, козленка приносить.
Смерть бледная равно стучит своей ногою
В лачуги бедняков и терема царей.
Нельзя нам, Сестий, жить с надеждою большою;
Тебе грозит уж ночь и темный мир теней!
В дому Плутоновом не будешь ты главою
Попойки радостной, на царском месте сев;
Не будет Лицидас прельщать тебя красою,
Отрадой юношей и близким счастьем дев.

Начало оды Державина

Тает зима дыханьем Фавона,
Взгляда бежит прекрасной весны;
Мчится Нева к Бельту на лоно,
С брега суда спущены.

Снегом леса не блещут, ни горы,
Стогнов согреть не пышет огонь;
Ломят стада, играя, затворы,
Рыща, ржет на поле конь.

Нимфы в кругу, под лунным сияньем,
Став в хоровод вечерней зарей,
В песнях поют весну с восклицаньем,
Пляшут, топочут стопой.

Ода Горация завершается размышлениями о смерти; в державинском стихотворении за приведенными строфами следуют горячие утешения Львову, расстроенному неприятностями по службе:

Едешь – и зришь злак, небо, лес, воды,
Милу жену, вкруг рощу сынов;
Прелесть всю зришь с собой ты природы,
Счастлив сим, счастлив ты, Львов!

Что ж ты стоишь так мало утешен?
Плюнь на своих лихих супостат!.. (III, 154).

Перевод из Горация, присутствующий среди наиболее ранних стихотворений Державина, как представляется, может опровергнуть категорическое утверждение Я.К. Грота, что внимание Державина на Горация обратил Капнист[7]. С В.В. Капнистом Державин близко сошелся в конце 1770-х годов, через несколько лет после возвращения в Петербург из командировки, связанной с подавлением пугачевского восстания.

Лексика, ритм, общее настроение стихотворения «Идиллия» дают право исследователям датировать его 1760-ми годами – вре-

[7] *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 189.

менем, когда Державин, служа в Преображенском полку, «довольно много писал в различных родах; сочинял мадригалы, идиллии, сатиры, эпиграммы, басни»[8] и размышлял о выборе жанра для своих произведений, но ни в коем случае не 1770-ми годами. В 1760-х годах Державин едва ли мог внимать советам Капниста, родившегося в 1758 г.

Кроме того, напомним, что сам Державин поместил «Идиллию» в самое начало рукописного собрания своих ранних стихотворений, которые он записал, вернувшись в Петербург в 1776 г. [9] Это косвенно свидетельствует о значении, которое Державин придавал своему стихотворению.

Теперь настало время задуматься над вопросом: каким путем пришло творчество Горация в Россию, в частности к Державину, родившемуся в 1743 г., три года посещавшему казанскую гимназию и владевшему совершенно свободно только немецким языком?

По мнению Вольфганга Буша[10], Гораций пришел в Россию двумя путями: первый путь Буш характеризует как «польско-украинский» – Гораций входил в число латинских авторов, творчество которых читалось и анализировалось в Киевской духовной академии. Как известно, программы этого учебного заведения составлялись по образцу программ иезуитских школ, также появившихся в России в XVII – начале XVIII в. Приведем цитату из статьи П.Н. Беркова «Ранние русские переводчики Горация»: «Можно даже полагать – основанием для этого являются многочисленные рукописные пиитики конца XVII – начала XVIII в., что знакомство русских читателей и поэтов с творчеством Горация началось именно с De arte poetica, и прежде всего в классах оратории и поэзии Киево-Могилянской и Славяно-греко-латинской академий»[11].

Второй путь, которым творчество Горация пришло в Россию, – это «кружной» путь через французский классицизм. Интерес к творчеству Горация в Европе пережил период возрождения

[8] *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 181.

[9] Первые литературные опыты Держáвина были сожжены им при проезде через карантинную заставу в 1770 г. См.: *Державин Г.Р.* Записки. М., 2000. С. 33–34.

[10] *Busch W.* Horaz in Russland; Studien und Materialen. München: Eidos Verlag, 1964. S. 16.

[11] *Берков П.Н.* Ранние русские переводчики Горация: К 2000-летию со дня рождения Горация // Известия АН СССР, 1935. Т. 8. С. 1039.

после появления в конце XVII в. трактата Буало «L'art poétique». Буш утверждает, что «российский читатель познакомился с Горацием при посредничестве Буало; поэтому нет ничего удивительного в том, что первые "горацианские" опыты русских писателей были переложениями "Послания к Пизонам" Горация и его сатир. Лирика римского поэта была "открыта" в России позже. Не только Кантемир и Тредиаковский находились под влиянием Буало, но и Сумароков написал "Эпистолу о стихотворстве" в манере его трактата»[12]. Хотя в самый ранний период «освоения» творчества Горация в России в центре внимания находились его сатиры и послания (главным образом «Послание к Пизонам»), это не значит, что лирика Горация была совершенно неизвестна. Кантемир сочинял оды, наполненные реминисценциями из од Горация, Тредиаковский и Сумароков переводили отдельные оды римского поэта.

Что касается Державина, то, во-первых, можно предположить, что произведения Горация, в частности его оды, входили в учебную программу казанской гимназии, где учился будущий поэт. Во-вторых, с одами Горация Державина «познакомили» немецкие поэты XVIII в., стихотворения которых он знал с молодого возраста[13].

Немецкий исследователь Эрнст Август Шмидт отмечает, что немецкую литературу, прежде всего поэзию XVIII в., можно, без сомнения, назвать «aetas Horatiana»[14]. Гораций (в первую очередь, безусловно, Гораций – автор од) был известен, цитируем и любим как никакой другой поэт античности; «liebenswürdige», «Freund», «Liebling» – так называют его и обращаются к нему немецкие поэты. «Начиная с Фридриха фон Гагедорна (1708–1754) можно утверждать, что лирическая Муза XVIII века была сестрой Музы Горация»[15].

---

[12] *Busch W.* Op. cit. S. 17.

[13] Достаточно упомянуть о том, что первой публикацией Державина было переведенное им в 1772 г. с немецкого послание из «Героид» Овидия (напечатано под заглавием «Ироида, или Письмо Вивлиды к Кавну» во второй части петербургского журнала «Старина и новизна»); 1770-м годом помечено стихотворение «Нине», представляющее собой перевод из Клопштока (*Державин Г.Р.* Записки. С. 279).

[14] *Schmidt E.A.* Zeit und Form. Dichtungen des Horaz. Universitätsverlag. Heidelberg, 2002. S. 383.

[15] Ibid.

Шмидт утверждает, что на восприятие творчества Горация в поэзии Германии XVIII в. оказали существенное влияние произведения Буало (L'art poétique, Discours sur l'Ode). В свете его теории лирика воспринималась как главная форма поэзии, а ода – как главная форма лирики. Лирика Горация, охарактеризованная в трактате Буало «L'art poétique» как «le beau désordre» стала для немецких поэтов примером и образцом свободного, смелого, не связанного никакими оковами творчества (вспомним мнение Квинтилиана о Горации – verbis felicissime audax est); осознание личности поэта как творца, а поэтического дара как божественного избранничества, открытие лирической индивидуальности поэта – все эти революционные процессы в немецкой поэзии были обусловлены, по мнению Шмидта, знакомством с лирикой Горация и своеобразным ее восприятием[16]. Неслучаен тот факт, что именно ода Горация IV, 2 *Pindarum quisquis studet aemulari...* где говорится о божественной свободе творчества Пиндара, вызвала интерес немецких читателей к греческому поэту[17]. Итак, можно предположить, что среди произведений Горация, с которыми познакомился юный Державин, были немецкие поэтические и прозаические переводы и поэтические переложения од римского поэта.

В-третьих, Державину были, безусловно, известны «горацианские» опыты его предшественников – русских поэтов XVIII в. – Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова.

Я.К. Грот в своих комментариях не раз высказывает следующее предположение: Державин читал Горация не в оригинале, а в немецких переводах и переводил его оды на русский язык, пользуясь переводами и переложениями, сделанными немецкими поэтами XVII – начала XVIII в., главным образом Гагедорном, Рамлером и Фосом.

Присутствие в державинском архиве двух подстрочных переводов произведений Горация – оды III, 4 к Каллиопе (этот перевод «писан неизвестной рукой») и второго эпода (этот перевод написан рукой друга и родственника Державина поэта В.В. Капниста) – служит для Грота явным доказательством правильности

---

[16] Ibid. S. 411–412.

[17] Подробнее об этом см.: Geschichte des Textverständnisses am Beispiel von Pindar und Horaz. Wolfenbütteler-Forschungen. München, 1981. Bd. 12. S. 173–191.

его мнения. Безусловно, Я.К. Гроту было также известно свидетельство младшего друга и современника Державина – поэта И.И. Дмитриева – о том, что, кроме немецкого, Державин не знал никакого иностранного языка и его знакомство с произведениями зарубежной литературы осуществлялось только через русские и немецкие переводы[18]. Кроме того, сам Державин в автобиографических произведениях неоднократно с горечью говорил о недостатках и пробелах своего образования[19].

Против предположения, что Державин читал и переводил только «немецкую версию» од Горация, можно привести следующие доводы.

1. В казанской гимназии, где учился Державин в течение трех лет (с начала 1759 по начало 1762 г.), наряду с другими предметами преподавался латинский язык. Как известно, гимназия в Казани была создана по образцу Московской университетской гимназии, открывшейся в апреле 1755 г. По свидетельству того же Я.К. Грота, «для учреждения новой (Казанской. – *М. П.*) гимназии Университет вызвался отправить туда в преподаватели нескольких студентов. При посредстве Шувалова это представление было одобрено»[20]. Латинский язык преподавал студент университета Никита Морев. Грот сообщает, что учитель Морев «ежедневно занимался латынью, а по субботам русским правописанием»[21]. Так

---

[18] *Державин Г.Р.* Сочинения. М., 1985. Гл. «Державин в воспоминаниях современников». (*Дмитриев И.И.* Взгляд на мою жизнь). С. 495.

[19] Мысль о необразованности Державина была в XIX в. распространенной; например, в трудах Белинского неоднократно встречается следующее соображение: именно в невежестве Державина находится причина глубокой народности его творчества. «Вообще надобно заметить, что его невежество было причиною его народности, которой, впрочем, он не знал цены; оно спасло его от подражательности, и он был оригинален и народен, сам не зная этого...» «Державин, между тем, не только не знал древних языков, но и вообще лишен был всякого образования...» «Лишенный всякого образования... Державин не был слишком причастен ни нравственной порче, ни истинному прогрессу того времени и, в сущности, нисколько не понимал его... Державин в молодости не имел возможности приобрести, по части языка, ни познаний, ни навыка» (*Белинский В.Г.* Сочинения Державина. Ст. 1–2 (1843) // Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: АН СССР, 1955. Т. VI). Так создавался миф о некоей «герметичности» поэтического мира Державина.

[20] *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 32.

[21] Там же. С. 35.

как сам Московский университет был открыт весной 1755 г., Никита Морев принадлежал к числу первых студентов, которые по указу Синода были откомандированы в новое учебное заведение из Славяно-греко-латинской академии и из российских духовных семинарий[22]. Как нам кажется, эти сведения показывают возможность того, что квалификация учителя, преподававшего Державину латинский язык, была достаточно высокой.

Державин был призван из гимназии на службу в Преображенский полк в феврале 1762 г.; таким образом, его обучение в гимназии прервалось через три года после начала. Однако нормативный курс латинского языка в Московской университетской гимназии был рассчитан как раз на три года; на третьем году обучения гимназисты должны были толковать произведения признанно трудных – «высоких» – латинских авторов и писать латинские сочинения[23]. Можно предположить, что студент Морев в общих чертах следовал проекту обучения в Университетской гимназии, написанному Ломоносовым и Шуваловым.

Державин преуспевал во всех науках: газета «Московские ведомости» № 64 от 10 августа 1759 г. называет Гаврилу Державина в числе шести гимназистов, «достойных похвалы» «за свою прилежность, успехи и доброе поведение».

Ни у кого не вызывает сомнения, что Державин прекрасно знал немецкий язык; он читал по-немецки сложнейшие стихотворения Клопштока (в 1760-е годы Державин занимался переводом «Мессии»), Клейста, Гагедорна, Рамлера и многих других поэтов, произведения Гердера, труды по истории философии и литературы. Однако из его автобиографических «Записок» мы узнаем, что немецкий язык он изучал в той же казанской гимназии, а до этого – у каторжника Иосифа Розе, который, по словам Державина, «был сам невежда, не знал даже грамматических правил ... и упражнял только детей твержением наизусть вокабул и разговоров и спи-

[22] *Грот Я.К.* Указ. соч. С. 130.

[23] В «Проекте о Учреждении Московского Университета», сочиненном, скорее всего, М.В. Ломоносовым и подписанном И.И. Шуваловым, задачи курса латинского языка определяются так: «...обучать... в нижнем классе первыя основания латынского языка, вакабулы и разговоры, в среднем – толковать нетрудных латынских афторов и обучать переводам с латынского на российской и с российского на латынский язык, в верхнем – толковать высоких афторов и обучать сочинениям в прозе и в стихах». Цит. по: *Пенчко Н.А.* Основание Московского университета. М.: МГУ, 1953. С. 157.

сыванием оных, его, Розы, рукою прекрасно, однако, писанных»; кроме того, этот учитель «наказывал своих учеников самыми мучительными, но даже и неблагопристойными штрафами». Тем не менее Державин признает, что «чрез несколько лет, посредством такого учения, разумел уже здесь упомянутый питомец (т. е. он сам. – *М. П.*) по-немецки читать, писать и говорить...»[24].

Итак, у нас есть основания предполагать, что начальные знания, полученные им в юности, Державин умножал самообразованием, сильной способностью к которому обладал.

2. На полях рукописи своей оды «На Счастие», написанной в 1789 г., напротив слова «Беатус» Державин замечает: «Так начинается ода Горация, которую я, в показание моей учености и что я мало доволен своим состоянием, почастую в беседах читаю» (I, 256). Из того, что Державин цитирует в оде латинское слово, явствует, что «в беседах» он читал второй эпод Горация именно по-латыни.

3. В собственных «Объяснениях на сочинения Державина...» Державин отмечает, что переложение первой пифийской оды Пиндара сделано им с немецких переводов Рамлера и Гедике[25]. На немецкие переводы Горация Державин нигде не ссылается.

4. Присутствие в архиве Державина подстрочного перевода второго эпода Горация, написанного рукой В.В. Капниста, едва ли может быть признано серьезным аргументом в пользу того, что Державин не знал латинского языка. Сейчас невозможно установить, кому и для чего предназначался этот подстрочник. Капнист, родственник и близкий друг Державина, нередко гостил в петербургском доме Державина. Есть сведения, что наряду с подражаниями одам Горация Капнист готовил к изданию сборник собственных прозаических переводов произведений римского поэта[26]; судя по найденным в его архиве черновикам, эти переводы должны были точно воспроизводить все детали латинского

[24] *Державин Г.Р.* Записки. С. 10.

[25] Собственный комментарий к переводу первой пифийской оды Пиндара Державин предваряет следующим замечанием: «Первая песнь Пиндара Пифическая. Переведена с немецких переводов г. Рамлера и Гедике в Петербурге в 1800 году» (III, 680); авторский комментарий к переводу первой олимпийской оды начинается так: «Переведена на Званке в 1806 году с тех же авторов немецких, как и вышеписанная ода» (III, 705).

[26] *Busch W.* Op. cit. S. 93.

текста[27]. Можно предположить, что подстрочный перевод, найденный в бумагах Державина, относился к рабочим материалам Капниста.

Кроме того, необходимо отметить, что сам Капнист не знал латинского языка и пользовался французскими и немецкими переводами Горация – об этом сообщает он сам в предисловии к собранию своих переложений од Горация[28].

Заметим, что Державин, неоднократно жаловавшийся на пробелы в своем образовании, в отличие от Капниста нигде напрямую не говорит о своем незнании латыни.

Подстрочник оды III, 4 «писаный неизвестной рукой» (т. е. рукой, неизвестной издателю Державина Я.К. Гроту), оказавшийся в державинских бумагах, также не может служить серьезным свидетельством о познаниях Державина. Я.К. Грот предполагает, что с этого подстрочника была переведена державинская ода «К Каллиопе», написанная в 1811 г. (III, 100). Если бы у Державина возникла необходимость в квалифицированной помощи при переводе этой оды Горация, он, скорее всего, обратился бы к своему младшему другу и помощнику – преосвященному Евгению (в миру – Евфимию Алексеевичу Болховитинову; в конце XVIII – начале XIX в. он занимал должность епископа старорусского и новгородского викария). Преосвященный Евгений, получивший образование в Московском университете и занимавшийся, среди прочего, историей и теорией литературы, с любовью и вниманием читал и комментировал сочинения Державина, а также давал своему старшему другу обширные справки по историко-литературным вопросам, о чем свидетельствует их многолетняя переписка (например, преосвященный Евгений предоставлял Державину множество различной

---

[27] А.В. Веселовский в статье «Капнист и Гораций» публикует план издания полного собрания сочинений Капниста, написанный самим поэтом. Горацию в этом собрании уделялась часть первого тома и весь второй том: «I т. Лирические сочинения. Духовные, торжественные, нравоучительные, элегические оды, также Горацианские и Анакреонтические. II т. Переводы и подражания большой половины Горациевых од в стихах с приложением литерального перевода тех же од, для сличения в чем русский перевод отступает от латинского подлинника. Причем приложено рассуждение о переводах вообще и примечания. Сия книга может быть полезной для училищ и вообще для российского юношества». (*Веселовский А.В.* Капнист и Гораций. Известия Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, 1910 . Т. 15. Вып. 1. С. 200–201).

[28] *Капнист В.В.* Собрание сочинений: В 2 т. М.; Л., 1960. Т. 2. С. 39.

информации о произведениях, написанных на латинском, древнегреческом, древнееврейском и других языках для теоретического трактата «Рассуждение о лирической поэзии»)[29]. С Державиным Болховитинов познакомился в конце мая 1805 г. Почерк Болховитинова был Гроту прекрасно известен.

Итак, приведенные выше факты делают достаточно основательным предположение о том, что Державин более или менее свободно (иногда с помощью немецких переводов) мог разбирать оды Горация. Общее мнение о совершенном невежестве Державина возникло, по нашему мнению, в первую очередь благодаря автобиографическим сочинениям самого Державина. На протяжении всей жизни он сожалел об отсутствии у него систематического и фундаментального образования. «Недостаток мой исповедую в том, что я был воспитан в то время и в тех пределах Империи, когда и куды не проникало еще в полной мере просвещение наук не токмо на умы народа, но и на то состояние, к которому принадлежу. Нас обучали тогда вере – без катехизиса; языкам – без грамматики; числам и измерению – без доказательств; музыке – без нот, и тому подобное». Этими словами Державин начинает свою речь «Рассуждение о достоинстве государственного человека», читанную в 1812 г. в «Беседе любителей российской словесности» (VII, 629).

Размышляя о своем поэтическом пути, Державин связывал начало своей известности с влиянием на него молодых тогда стихотворцев – Капниста, Львова, Хемницера, которые, будучи значительно моложе годами, обладали более глубокими познаниями в теории литературы: «Правила поэзии почерпал я из сочинений Тредьяковского, а в выражении и слоге старался подражать Ломоносову; но так как не имел его таланта, то это и не удавалось мне. Я хотел парить, но не мог постоянно выдерживать изящным подбором слов, свойственных одному Ломоносову, великолепия и пышности речи. Поэтому с 1779 года избрал я совершенно особый путь, руководствуясь наставлениями Баттэ и советами друзей моих, Н.А. Львова, В.В. Капниста и Хемницера, при чем наиболее подражал Горацию» (VI, 350).

В.Ф. Ходасевич в своей книге «Державин» оценивает влияние молодых друзей Державина на становление его поэзии следующим образом: «Его неопытность была очевидна Капнисту и

---

[29] Подробнее об этом см.: VI том издания Грота, в котором приводится переписка Державина с преосвященным Евгением.

Львову, но они, может быть, почуяли, что Державин превосходит их дарованием. В общем же почитали его себе ровней, видели в нем возможного соратника и старались просветить в духе новых веяний. Эти новые веяния были не слишком ясны им самим, но они зачитывались Горацием и находили великие откровения в теории Батте. Теперь мы можем сказать, что то были первые, остро переживаемые, но смутно осознанные влечения к реализму... Впоследствии Державину казалось, будто именно в это время, под влиянием Львова, Капниста и Хемницера, в его поэзии совершился глубокий перелом. В действительности такого перелома не было. Учителя неопытные и сами себе не вполне уяснившие сущность своего учения, Львов и Капнист не столько внушили Державину новые поэтические идеи, сколько попросту исправляли его просодические и стилистические ошибки, не умея, однако, дать в руки ученику верные способы избежать таких же ошибок в будущем»[30].

Приведем два примера «ученичества» Державина, которые убедят нас в том, насколько требовательным и бескомпромиссным он становился в тех случаях, когда речь шла об его поэтических произведениях, а также в том, насколько мало он в действительности поддавался влияниям своих друзей. С самого начала оговоримся, что эти примеры относятся к 1792 и 1797 гг.; возможно, в более ранние годы Державин с большей готовностью принимал поправки к своим сочинениям.

В 1792 г. Державин написал стихотворение «Ласточка», а через два года, после смерти любимой жены, изменил финал стихотворения, прибавив строфу, в которой произошло переосмысление образа ласточки: описательная ода превратилась в трагическое произведение о любви, жизни и смерти; «летняя гостья» – ласточка – стала символом бессмертной души. Можно предположить, что образ ласточки, столь важный для поэзии Мандельштама («слепая ласточка бросается к ногам / с стигийской нежностью и веткою зеленой», «...все ласточка, подружка, Антигона...»), имеет корни в этом стихотворении Державина. В бумагах Державина Я.К. Грот нашел написанный рукой В.В. Капниста вариант этого стихотворения; Державин не принял ни одной поправки своего друга. Рассмотрим первые строки, а также финальную строфу текстов Державина и Капниста, чтобы понять суть поправок последнего.

[30] *Ходасевич В.* Указ. соч. С. 120–121.

Державин

О домовитая Ласточка,
О милосизая птичка!
Грудь красно-бела, касаточка,
Летняя гостья, певичка!
Ты часто по кровлям щебечешь,
Над гнездышком сидя поешь,
Крылышками движешь, трепещешь,
Колокольчиком в горлышке бьешь.
...
Душа моя! Гостья ты мира:
Не ты ли перната сия? –
Воспой же бессмертие, лира!
Восстану, восстану и я, –
Восстану – и в бездне эфира
Увижу ль тебя я, Пленира?
(I, 573)

Капнист

О домовита сиза птичка,
Любезна ласточка моя!
Весення гостья и певичка,
Опять тебя здесь вижу я.
На кровлях ты часто щебечешь,
Над гнездышком сидя, поешь;
Крылами движешь и трепещешь
И в горлышке трещоткой бьешь...
...
Душа моя, ты, гостья мира!
Не ты ль пернатая сия? –
Бессмертие воспой, о лира! –
Восстану в вечности и я;
Восстану, и средь бездн эфира,
Узрю тебя опять, Пленира!
(I, 574)

Первое, что мы можем заметить в варианте, предложенном Капнистом, – правильный, без сбоев, четырехстопный ямб. Сглаживая неровности державинского стиха, он «не расслышал» и изменил прекрасную строчку «Крылышками движешь, трепещешь», в которой передается прерывистый ритм полета ласточки, нарушив попутно связь уменьшительных «касаточка» – «крылышками» – «горлышком»; из стихотворения исчезло также великолепное прилагательное «милосизая».

Финал стихотворения значительно переосмыслен. Возглас Державина «Восстану, восстану и я», торжественность которого можно сравнить с настроением пасхальной службы, сильно ослаблен уничтожением анафоры и прибавлением «в вечности»; вопросительный знак в конце стихотворения Державина заменен Капнистом восклицательным. Глубокая боль, тоска, которая ослабляет надежду на встречу в вечном мире, то трагическое многообразие чувств, которое мы видели в стихотворении Державина, превратилось в редакции Капниста в безусловную уверенность: «Узрю тебя опять, Пленира!»

Итак, для редакции Капниста, отвергнутой Державиным, характерна тенденция к сглаживанию любых проявлений «неоднородности» и «негладкости» в тексте Державина: на уровне ритма, лексики, чувств.

В 1797 г. Державин и Капнист обменялись стихотворными посланиями, посвященными друг другу; стихотворение «Капнисту» Державина является переложением оды II, 17 к Гросфу «*Otium divos rogat in patenti...*» Горация, а ода «Певцу Фелицы» Капниста является подражанием оде Горация к Элию Ламие I, 26 «*Musis amicus tristitiam et metus...*». В бумагах Державина сохранилось письмо Капниста с поправками последнего к державинской оде, ему посвященной; мы приведем первоначальный, посланный Капнисту вариант оды Державина, затем поправки Капниста[31] и в заключение приведем окончательный вариант произведения.

В скобках приведены примечания Капниста; все поправки, предлагаемые Капнистом, выделены курсивом; курсивом и жирным шрифтом выделены те из них, которые Державин принял; подчеркиванием выделены слова и словосочетания, измененные Державиным в окончательном варианте независимо от поправок Капниста.

Спокойства просит от небес
Застиженный в *Верейском* море

(На что, обращая на наше время, называть почти неизвестное море?),

Коль скоро ни луны, ни звезд
Не зрит за тучами, и вскоре
Ждет *корабельщик* бед от бурь;

(Лицо весьма далеко отнесено.)

Спокойства просит перс пужливый,

(Лучше *покою* ради повторения во втором куплете.)

Турк гордый, росс властолюбивый,
И в ризе шелковой манжур.

Покою, мой Капнист! Покою,
Которого нельзя купить
Казной серебряной, златою
И багряницей заменить.
Сокровищми всея вселенной
Не может от души смятенной
И самый царь отгнать забот,
Толпящихся *вокруг ворот.*

(Чьих ворот? Притом толпиться нельзя вокруг ворот.)

[31] *Капнист В.В.* Указ. соч. С. 593–594.

Счастлив тот, у кого на стол,
Хоть не роскошный, но опрятный,
Родительские хлеб и соль
Поставлены, и сон приятный

Не похищается его

(Далеко отнесено.)

Ни страхом, ни стяжаньем подлым,
Кто малым может быть *довольным*,

(Нет рифмы!)

Богаче *Креза* самого.

(Не всем известен и на наше время не относится.)

Ах, для чего ж в толь краткой жизни
Туды метаться и *сюды*?

(Слишком площадноречиво.)

В другие земли из отчизны
Скакать от скуки иль *беды*

(Да от беды и Бог знает куда забежать можно!)

И чуждым солнцем согреваться?
От пепелища удаляться,
От родины своей кто мнит, –
Тот самого себя бежит.

(Слишком утвердительно говорите, и в оригинале только сказано: странствующий из отечества может от самого себя уйти?)

Заботы наши и *беды*

(Не дай, Господи!)

Везде последуют за нами,
На кораблях чрез волны, *льды*

(На кораблях через льды не ездят, насилу между льдов осмеливаются.)

И *конницы* за тороками,

(Конница представляет войско.)

Быстрей еленей и погод
Летают, облака женущих;

(Глагол между существительным и его действующим прилагательным.)

Повсюду человеков сущих
Они терзают ***в род и в род.***

(*Сущих* вовсе не годится, почти столько же и ***в род и в род.***)

О! будь судьбе своей послушным,
Престань о будущем вздыхать;
Веселым нравом, равнодушным
Умей и горесть услаждать.
Довольным быть, неприхотливым,
Сие есть то, что быть счастливым:

(Лишняя частица.)

А совершенных благ в сей век
Вкушать не может человек.

Век Задунайского увял,
Достойный в памяти остаться!
Рымникского печален стал;
Сей муж, рожденный прославляться,
Проводит ныне мрачны дни:
Чего ж не может статься с нами?

(Повторяет рифму.)

Что мне предписано судьбами,
Тебе откажут в том они.

В Обуховке твоей стремятся
С блеянием стада на юг;
С зеленого холма глядятся
В стеклянный Псел, ***текущий вкруг;***

(Вокруг чего?)

Волы, британски кобылицы,
Четвероместной колесницы
Твоей краса и честь плугов;
О, сколько у тебя плодов!

(Восклицание не у места.)

Тебя в *волну темнозелену*,

(Отнюдь не ношу: этого цвета терпеть не могу.)

Подругу в золотую *шаль*

(Не только золотой шали, но и простой турецкой нема.)

Твою я вижу облеченну
И прочь от вас бежит печаль;
Как вкруг вас радости и смехи,
Невинны сельские утехи,

И хоры дев поют весну,
Вас скука не зовет ко сну.

(И вас, равномерно, я чаю; а потому и нейдет, а наипаче для противоположения: А мне...)

А мне судьба столичный град
Велела населять с Миленой,
Дала к отраде *дом и сад*

(Дом и сад между отрадою жизни воздвигнулись.)

Сей жизни суетной, стесненной,
Поэзий некотору тень,

(Тень поэзий, чтоб петь. Тень ради пения нейдет.)

Чтоб правду воспевать святую,
Дух твердый: презирать златую,
Злословну, площадную чернь.

Окончательный вариант

Спокойства просит от небес
Застиженный в Каспийском море
Коль скоро ни луны, ни звезд
Не зрит за тучами, и вскоре
Ждет корабельщик бед от бурь;
Спокойства просит перс пужливый,
Турк гордый, росс властолюбивый,
И в ризе шелковой манжур.

Покою, мой Капнист! Покою,
Которого нельзя купить
Казной серебряной, златою
И багряницей заменить.
Сокровищми всея вселенной
Не может от души смятенной
И самый царь отгнать забот,
Толпящихся вокруг ворот.

Счастлив тот, у кого на стол,
Хоть не роскошный, но опрятный,
Родительские хлеб и соль
Поставлены, и сон приятный

Когда не отнят у кого
Ни страхом, ни стяжаньем подлым,
Кто малым может быть довольным,
Богаче Креза самого.

Так для чего ж в толь краткой жизни
Метаться нам туды, сюды
В другие земли из отчизны
Скакать от скук или беды
И чуждым солнцем согреваться?
От пепелища удаляться,
От родины своей кто мнит, –
Тот самого себя бежит.

Заботы наши и беды
Везде последуют за нами,
На кораблях чрез волны, льды
И конницы за тороками,
Быстрей еленей и погод
Стадами облаки женущих,
Летят они, и всюду сущих
Терзают человеков род.

О! будь судьбе своей послушным,
Престань о будущем вздыхать;
Веселым нравом, равнодушным
Умей и горесть услаждать.
Довольным быть, неприхотливым,
Сие то есть, чтоб быть счастливым:
А совершенных благ в сей век
Вкушать не может человек.

Век Задунайского увял,
Достойный в памяти остаться!
Рымникского печален стал;
Сей муж, рожденный прославляться,
Проводит ныне мрачны дни:
Чего ж не приключится с нами,
Что мне предписано судьбами,
Тебе откажут в том они.

Когда в Обуховке стемятся
Твои стада, блея, на юг
С зеленого холма глядятся
В текущий стклянный Псел вокруг,
Когда волы и кобылицы
Четвероместной колесницы
Твоей краса и честь плугов,
Блестят, и сад твой – тьмой плодов;

Когда тебя в темно-зелену
Подругу в пурпурову шаль
Твою я вижу облеченну
И прочь от вас бежит печаль;
Как вкруг вас радости и смехи,
Невинны сельские утехи,
И хоры дев поют весну, –
То скука вас не шлет ко сну.

А мне Петрополь населять
Когда велит судьба с Миленой
К отраде дом дала и сад
Сей жизни скучной, развлеченной,
И некую поэта тень,
Да правду возглашу святую.
Умей презреть и ты златую,
Злословну, площадную чернь (II, 673).

Мы видим, что из 24 поправок Капниста Державин принимает 8; выявить закономерность в том, какие именно поправки кажутся Державину существенными, представляется очень трудным: Верейское море он заменяет Каспийским, однако замечание Капниста о том, что тот «терпеть не может» зеленого цвета, остается без внимания. Державин меняет заключительную часть пятой строфы, вызвавшую замечание Капниста по поводу порядка слов («быстрей еленей и погод...»), но оставляет практически в первозданном виде финальную строфу, где «дом и сад между отрадою жизни воздвигнулись». Мы видим также, что Державин, обращая внимание на строки, которые его ученый друг считает неудачными, действительно заменяет их, однако эти замены выполнены совершенно не так, как советует Капнист (в строке ***Вас скука не***

зовет ко сну Капнист протестует против *вас*, а Державин меняет *не зовет* на *не шлет*; по поводу строфы *Поэзий некотору тень* Капнист отмечает, что «Тень ради пенья нейдет», а Державин заменяет *тень поэзий* на *тень поэта* и *воспевать* на *возглашу*).

Итак, на примере стихотворений «Ласточка» и «Капнисту» мы могли убедиться, что мнение Капниста не имело решающего значения в редакторской работе Державина над текстами своих стихотворений.

В.В. Зельченко

ОБ ОДНОМ ЛАТИНСКОМ ПЕРЕВОДЕ Ф.Е. КОРША

Перевод пушкинского стихотворения 1818 г. «Мечтателю», выполненный профессором Московского университета и будущим академиком Петербургской академии наук Федором Евгеньевичем Коршем (1843–1915), появился, без каких-либо сопроводительных пояснений, в приложении к журналу «Филологическое обозрение» за 1895 г.[1] Насколько нам известно, никаких откликов эта публикация (последняя в представительном ряду латинских и греческих переложений Корша из Пушкина)[2] не вызвала; лишь много лет спустя Я.М. Боровский, другой выдающийся филолог и новолатинский поэт, высоко оценил ее в обзорной статье «О переводах стихотворений Пушкина на латинский язык»[3].

---

[1] Филологическое обозрение. 1895. Т. 8. Ч. 2. Прилож. С. 1–2. Перепечатано нами в составе подборки: Латинский Пушкин // Абарис. 2002. Вып. 3. С. 53–54.

[2] В итоговый поэтический сборник Корша (*Korsch Th.* Στέφανος: Carmina partim sua Graeca et Latina, partim aliena in alterutram linguam ab se conversa. Hauniae, 1886) вошли семь пушкинских стихотворений: «Поэт», «Поэт и толпа», «Поэт, не дорожи любовию народной...» и «Цветок» – переведены на латынь, а «Если жизнь тебя обманет...», «Туча» и двустишие «Слышу умолкнувший звук...» – на греческий.

[3] Временник Пушкинской комиссии. 1970. Л., 1972. С. 74–75: «В заключительных строках перевод достигает почти пушкинской выразительности и силы».

In quendam qui opinionis errore amare se putabat

Te iuvat occulto maerere cupidinis ictu
Et lacrimas semper fundere, amice, iuvat
Nec profecturas meditando accendere flammas
Et gerere in tacitis volnera pectoribus.
Crede mihi experto, quod tu modo fingere gaudes,
Crede mihi: nondum te tenet acer Amor.
Quodsi te, tristis qui quaeris gaudia mentis,
Iratae Veneris caecum agerent furiae,
Virus ut e tota pueri penetrale pharetra
Ureret arcanis viscera viva focis,
Et vigil in lecto longae per tempora noctis
Te versante diu solus amore gemens,
Dum falsum cuperes arcessere ab arte quietem,
Anxius invitos comprimeres oculos
Palliaque amplexu lacrimans tepefacta foveres,
Cum desiderio conficerere vago,
Talia, crede mihi, nolles ingrata tueri
Somnia quaesitis sponte cupidinibus,
Sed potius supplex tumidae prostratus amicae
Ante pedes, multo rore rigante genas,
Pallidus atque tremens, animi non compos et amens
Talibus orares caelicolas precibus:
«Numina magna, precor, mentem mihi reddite sanam,
Cedat ut ex oculis ista figura meis.
Sit satis hoc, superi; iam iam sum lassus amando:
Iam mihi sit tandem pace priore frui».
Tristis amor tamen et dominae fatalis imago
Te comitarentur funus ad usque tuum.

Мечтателю

Ты в страсти горестной находишь наслажденье;
Тебе приятно слезы лить,
Напрасным пламенем томить воображенье
И в сердце тихое уныние таить:
Поверь, не любишь ты, неопытный мечтатель.
О, если бы тебя, унылых чувств искатель,

Постигло страшное безумие любви;
Когда б весь яд ее кипел в твоей крови;
Когда бы в долгие часы бессонной ночи,
На ложе, медленно терзаемый тоской,
Ты звал обманчивый покой,
Вотще скрывая скорбны очи,
Покровы жаркие рыдая обнимал
И сохнул в бешенстве бесплодного желанья:
Поверь, тогда б ты не питал
Неблагодарного мечтанья.
Нет, нет: в слезах упав к ногам
Своей любовницы надменной,
Дрожащий, бледный, исступленный,
Тогда б воскликнул ты к богам:
Отдайте, боги, мне рассудок омраченный,
Возьмите от меня сей образ роковой;
Довольно я любил: отдайте мне покой...
Но мрачная любовь и образ незабвенный
Остались вечно бы с тобой.

Первая задача, которую приходится решать стихотворному переводчику на древние языки, – это выбор размера и, соответственно, того жанра (а зачастую и периода) античной литературы, сквозь призму которого будет рассматриваться оригинал.[4] Решение Корша в нашем случае выглядит закономерным: как отметил уже Я.М. Боровский, для переложения любовной элегии Пушкина он использует не просто элегический дистих, но и, так сказать, элегическую дикцию – тот условный sermo amatorius римских поэтов I в. до н. э., словарь которого написал Рене Пишон[5]. Достаточно сказать, что в переводе есть всего три слова, которые не встреча-

[4] Ср. в этой связи теоретические рассуждения Виламовица, подкрепленные (его же) блестящими примерами: *Wilamowitz-Moellendorff U. von.* Was ist bersetzen? (1891) // Wilamowitz-Moellendorff U. von. Rede und Vorträge. 4. Aufl. Berlin, 1925. Bd. 1. S. 19 ff. Насколько ответственным является этот этап переводческой работы, лучше всего показывают неудачи: к примеру, когда ученик и соперник Корша Г.Э. Зенгер в своем переложении первого псалма пользуется строфой горацианских эподов, да еще и с прямой реминисценцией («Beatus ille, qui procul conventibus...»; см.: *Зенгер Г.Э.* Метрические переложения на латинский язык. СПб., 1904. С. 3), общее впечатление получается едва ли не комическим.

[5] *Pichon R.* Index verborum amatoriorum. P., 1902.

ются у Тибулла, Проперция и Овидия-элегика, да и то два из них находят параллели в близких по времени и жанру текстах [6].

Опыт Корша демонстрирует, что пушкинское стихотворение переводимо на язык Тибулла и Проперция практически без потерь: едва ли не для каждого его образа, тропа, хода мысли находится соответствующее элегическое клише. (Любопытно, что единственное, чему не удается подобрать латинский эквивалент, – это сама фигура «мечтателя», ключевая для сентименталистской лирики, а римской любовной элегии I в. до н. э. чуждая: Корш вынужден опустить это слово в тексте стихотворения, а в заглавии передает его пространной перифразой, остроумно стилизованной под те inscriptiones, какими элегии Проперция и Овидия снабжались в гуманистических рукописях и у старых издателей.) Эта примерка Пушкину «элегических одежд» не только представляет собой виртуозно выполненное упражнение по латинской поэтической композиции, но и дает кое-что в плане лучшего понимания оригинала: к примеру, Корш акцентирует эксплицитно не выраженный, но, конечно, подразумеваемый Пушкиным мотив, который у исследователей римской элегии называется «magister amoris» – лирический герой предостерегает «мечтателя» именно потому, что сам некогда вынес любовные муки (crede mihi experto, quod tu modo fingere gaudes).

Итак, в качестве ориентира для своей работы Корш выбирает любовную элегию века Августа. Возможно ли еще более конкретизировать этот ориентир? На первый взгляд, нельзя. Корш еще в студенческие годы овладел искусством свободно излагать свои мысли по-латыни: доказательство тому – его латинский дневник начала 1860-х годов, в котором 17-летний юноша непринужденно, безо всякого налета литературности фиксирует свои жизненные впечатления – с такой же естественностью, с какой его сверстники предыдущего поколения делали это по-французски[7]. Также в латинских

[6] Это лукрецианское penetralis, «проницающий» (ст. 9), эпическое caelicola (ст. 21; но ср.: *Catull.* 68, 138) и прозаическое выражение compos animi (ст. 22; но ср.: *Ov. Met.* VIII, 35–36 – в описании любовных мук Скиллы).

[7] Ср., например: «Postquam domum revertimus, frater A. mihi narravit S. planissime mutatam esse: nam de natura grammatica verbi alicuius diu disseruisse, cum omnes saltarent. Nonne illud me sapit? Fortasse mea quoque opera factum est. Postea autem, cum illud ipsum e S. extorquere studerem, mihi nihil de hoc studio philologico dixit. Nescio, utrum S. me timeat an frater omnia ipse finxerit». Отрывки из этого дневника опубликовал А.А. Грушка в некрологе Коршу: ЖМНП. 1916 (апр.). Паг. 4-я. С. 89.

стихах – и оригинальных, и переводных – Корш не комбинирует, как это часто бывает, готовые сочетания из авторов, но, оставаясь в рамках античного поэтического языка и избранной им традиции (в данном случае элегической), с легкостью подлинного мастера создает новые. Этот «протеизм» Корша – новолатинского поэта ярко охарактеризовал А.А. Грушка в уже упоминавшемся некрологе: «Все эти античные по языку и форме стихотворения Ф. Е., в которых даже самый пристальный анализ не в состоянии раскрыть хотя бы единую черту, чуждую античной технике, отнюдь не были кропотливой мозаикой, набранной по кусочкам из греческо-римских стихотворных текстов, но являлись продуктом органического творчества, основанного на изумительной способности Ф. Е. к перевоплощениям. К такому выводу, помимо непосредственного впечатления при восприятии этих удивительных стихов, приводит и более тщательное рассмотрение сохранившихся <...> черновых набросков, которые заключают в себе иногда немало поправок, но все эти поправки имеют характер не филологических манипуляций ученого, в поте лица своего борющегося с чуждым ему языком, а свободных художественных вариантов, обычных у всех оригинальных поэтов, стремящихся возможно лучше воплотить в слове свои творческие замыслы»[8].

Так и в нашем стихотворении Корш не ставит себе целью стилизовать персональную манеру кого-либо из любовных элегиков I в. до н. э., и едва ли ему сопутствовали в работе индексы к авторам. Приведем несколько примеров: сочетание acer Amor (ст. 6) встречается только в Corpus Tibullianum (II, 6, 15; III, 8, 6); сочетание gaudia mentis (ст. 7) – только у Овидия (*Pont.* II, 1, 17); ст. 4 варьирует традиционное клише любовной элегии, но ближе всего, пожалуй, к *Prop.* III, 21, 32: lenibunt tacito volnera nostra sinu; оба – знаменательно малое число! – случая прямого заимствования индивидуальной авторской формулы восходят к Овидию (клаузула ст. 20 и *Ars am.* I, 532; первое полустишие ст. 3 и *Epist.* 5, 116, *Ibis* 520 и др.); напротив, зачин sed potius... (ст. 19) засвидетельствован у Проперция и у поэтов Тибулловского корпуса (*Prop.* IV, 5, 43; *[Tib.]* III, 1, 27; IV, 5, 15), но не в элегиях Овидия, а вводного crede mihi, естественного для Проперция, Овидия и Сульпиции, не употребляет Тибулл; и т. д. Особенно показателен для нашего рассмотрения ст. 18, сочетающий в себе, с одной сто-

[8] ЖМНП. 1916 (*апр.*). Паг. 4-я. С. 106–107.

роны, разговорное sponte без сопутствующего притяжательного местоимения, любимое Овидием (*Am.* I, 10, 24; 14, 28; II, 9, 37 etc.) и избегаемое другими элегиками, а с другой – пятисложное слово в клаузуле пентаметра, т. е. характернейшую «марку» раннего Проперция (ср., между прочим, ...cupidinibus в *Prop.* I, 1, 2).

Тем не менее предпринятый Коршем опыт побуждает задаться вопросом о латинских корнях элегии «Мечтателю», и здесь его работа помогает констатировать факт, на который исследователи до сих пор не обращали внимания. При всей традиционности отдельных мотивов, для которых нетрудно подобрать соответствия у каждого из трех элегиков, тема стихотворения (ее можно сформулировать так: «Полемические размышления о путях развития любовной поэзии[9], поданные в форме предостережения другу, который еще не испытал на себе разрушительной силы Амура») находит в римской словесности только одну параллель – мини-цикл элегий Проперция I, 5, 7 и 9[10]. В первой из них лирический герой предупреждает некоего Галла, решившего завоевать сердце Кинфии: если он не остановится, его ждет участь самого поэта, потерявшего покой и сон и молящего богов о пощаде. Вторая обращена к Понтику (эпику меценатовского кружка, автору «Фиваиды»): сколь ни почтенен избранный им жанр по сравнению с легкомысленной элегией, гордиться Понтику не стоит – ведь если он влюбится, то немедленно забудет об эпосе и станет товарищем Проперция по несчастью[11]. Наконец, в третьей звучит интонация мстительного торжества: что я говорил, Понтик влюбился! Далее поэт с притворным сочувствием разворачивает перед другом ожи-

---

[9] О литературно-критической подоплеке пушкинского стихотворения см.: *Городецкий Б.П.* Лирика Пушкина. М.; Л., 1962. С. 174–176; *Вацуро В.Э.* К истории элегии «Простишь ли мне ревнивые мечты...» (1981) // Вацуро В.Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 124.

[10] То, что в составе *Monobiblos* они расположены не подряд, а через одну, соответствует обычной практике Проперция (см., например: *Альбрехт М. фон.* История римской литературы / Пер. с нем. А.И. Любжина. М., 2004. Т. 2. С. 844–845).

[11] Интересно задаться вопросом, знал ли Корш о биографической легенде (отразившейся в записях П.В. Анненкова; см.: *Модзалевский Б.Л.* Пушкин и его современники: Избранные труды / Сост. и примеч. А.Ю. Балакина. СПб., 1999. С. 484), согласно которой элегия «Мечтателю» также обращена к другу-стихотворцу – В.К. Кюхельбекеру. В печати имя Кюхельбекера как возможного адресата стихотворения было впервые названо только в 1900 г., в комментариях В.Е. Якушкина ко второму тому академического собрания сочинений Пушкина.

дающие его перспективы: бессонные ночи, худобу и опять-таки тщетные мольбы, обращенные к гордой возлюбленной и к богам.

Входило ли в задачу Корша (напомним, профессионально занимавшегося как всеми латинскими элегиками, так и Пушкиным) выявить источник стихотворения «Мечтателю»? Иными словами, не приписываем ли мы переводчику ассоциации, которые возникли у нас при чтении его работы? Как кажется, есть одно основание, позволяющее ответить на первый вопрос положительно, а на второй отрицательно. Дело в том, что в трудах Корша–филолога-классика подобный прием – перевод текста на другой язык в целях выявления его литературной генеалогии – к 1895 г. уже был использован по крайней мере однажды[12]. В большой латинской работе «De Saturnino Latinorum versu», которая представляет собой разбор одноименной книги Луи Аве, Корш касается, в частности, одной из выдвинутых французским латинистом гипотез: Аве предлагал видеть в тексте оракула о войне с Вейями, данного римлянам в 397 г. до н. э. и пересказанного Ливием (V, 16, 8 sqq.), поэтический текст, написанный сатурнийским стихом. Доказывая произвольность этого построения, Корш сперва демонстрирует, как ценой небольших перестановок и конъектур можно придать форму сатурнийских стихов даже и самому соответствующему абзацу из статьи Аве, а затем уже вполне серьезно замечает, что, поскольку речь идет об ответе пифии, оракулу следовало бы быть изложенным не по-латыни, а по-гречески, после чего переводит пассаж Ливия ионийскими гексаметрами[13].

Наблюдения П.Е. Щеголева и особенно В.Э. Вацуро выявили в стихотворении «Мечтателю» реминисценции из элегий

---

[12] Для современного Коршу антиковедения эксперименты такого рода не были уникальны; к примеру, Э. Норден переводит на греческий отдельные стихи Вергилия, демонстрируя их эллинистический колорит (см., например: *Vergilius Maro P.* Aeneis: Buch VI / Erkl. von E. Norden. 2. Aufl. Leipzig; Berlin, 1916. S. 183, 191).

[13] *Korsch Th.* De Saturnino Latinorum versu // ЖМНП. 1882 (май). Паг. 5-я. С. 227 («Verumtamen oratio huius sortis tam insolens est tamque intricata et perplexa, ut et poetici dicendi generis vincula atque ambages et interpretis imperitiam haud difficulter sentias <...> Qua re motus, postquam periculum feci, siquid Graeci ex illis tenebris etiamnunc elici posset, hi versus heroi non ei quidem elegantes, sed pro illo operario scribendi genere non nimis mali paene sua sponte succreverunt <...> Quae ego ipse somnia dicerem, nisi Latina Graece prope ad verbum reddita numeros habere viderem»).

Парни, а также Дениса Давыдова, который в 1810-е годы выступил переводчиком и продолжателем французского поэта, развивая именно тот «психологический» аспект творчества Парни (в противовес аспекту условно-сентиментальному), который оказался близок молодому Пушкину[14]. Все эти переклички, впрочем, реализуются на уровне отдельных образов и речевых оборотов – прямой тематической аналогии пушкинскому стихотворению до сих пор обнаружено не было[15]. Непосредственное влияние Проперция, равно как и Тибулла, на Парни сомнению не подлежит (в 1803 г. в речи при вступлении во Французскую академию он рекомендовал всякому, кто почувствует в себе дарование любовного лирика, ограничить круг чтения двумя этими авторами); гораздо сложнее вопрос о влиянии Проперция на Пушкина. В опубликованном посмертно исследовании Д.П. Якубович так резюмировал отношение Пушкина к римским элегикам: «В 1825 году он, перечисляя “гениев” римской литературы, назвал имя Тибулла и не назвал Проперция, да и позже не проявлял к последнему особого интереса, хотя, несомненно, был знаком с ними (sic) в оригинале»[16] — и недавняя попытка пересмотреть этот тезис, предпринятая В.Н. Топоровым[17], как представляется, только упрочила его. Значительная часть работы В.Н. Топорова посвящена упоминаниям Проперция у Тредиаковского, Сумарокова и М.Н. Муравьева, библио-

---

[14] *Щеголев П.Е.* Пушкин: Очерки. СПб., 1912. С. 87–88; *Вацуро В.Э.* К истории элегии... С. 124; *Он же.* Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994. С. 185–192, особ. 186; *Он же.* Комментарий // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 20 т. СПб., 2004. Т. 2. Кн. 1. С. 531–534.

[15] Ср. в этой связи точные замечания В.Э. Вацуро: «Пушкин в ранние годы почти не переводил Парни; как и Батюшков, он пользовался его художественным арсеналом для создания своего элегического языка. Парни для него – своего рода модель новейшей любовной элегии, и точки соприкосновения возникают там, где определяются “общие места”, “loci communes” элегического жанра» (Французская элегия XVIII–XIX веков и русская лирика пушкинской поры (1989) // Вацуро В.Э. Пушкинская пора. С. 545).

[16] *Якубович Д.П.* Античность в творчестве Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1941. Вып. 6. С. 102.

[17] *Топоров В.Н.* Пушкин и Проперций: О «резонантном» пространстве литературы // Colloquia classica et Indo-Europeica. II / Под ред. Н.Н. Казанского. СПб., 2000. С. 292–315 (там же в примеч. 5 – ссылки на предварительные публикации автора по этой теме).

графии его русских переводов, выполненных Фетом и Майковым, выдержкам из «Письма Горацию» Бродского и т. п.; что до собственно параллелей между Проперцием и Пушкиным, то в качестве таковых фигурируют, например, Aut in amore dolere volo aut audire volentem (*Prop.* III, 8, 23) / «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать», или Ut meus oblitus pulvis amore vacet (*Prop.* I, 19, 6) / «Вдова должна и гробу быть верна». Показательна предельно осторожная формулировка, в которую автор облекает свои выводы: «Так или иначе, но к концу 10-х гг. XIX в. в русской литературе или, точнее, в том более широком контексте, ядром которого она была, склубляется некий “проперцианский комплекс”. Конечно, он был довольно разреженным и неясным в своих очертаниях, и в истории русской литературы он так и не прояснился в нечто вполне определенное. Но возник он именно в это время: нечто важное, главное в нем, кажется, было прочувствовано в индивидуальном поэтическом опыте, и хочется верить, что именно Пушкину приоткрылось это главное»[18].

В.Н. Топоров начинает свой интертекстуальный поиск с констатации: «Имя Проперция ни разу не упоминается в пушкинских текстах, и эту данность обойти никак нельзя»[19]. Между тем Пушкин прямо цитирует Проперция дважды, оба раза один и тот же гексаметр II, 10, 7: aetas prima canat veneres, extrema tumultus. Сперва эта строка была вынесена в эпиграф к «Стихотворениям Александра Пушкина» 1825 г., а затем использована в черновом варианте 4-й строфы Осьмой главы «Онегина» (начата в конце декабря 1829 г.), в окончательном тексте полностью переработанной: «Везде со мной, неутомима / Мне Муза пела, пела вновь / (Amores canat aetas prima) / Все про любовь да про любовь». Приводя эти сведения, мы, однако, не имеем в виду подкрепить позицию В.Н. Топорова дополнительным аргументом: если они и показательны, то именно в том отношении, что в памяти Пушкина афоризм Проперция существовал отдельно, в отрыве от какого-либо контекста. Так, на титульном листе сборника 1825 г. он превращается в обобщенную формулу поэтической

[18] *Топоров В.Н.* Пушкин и Проперций: О «резонантном» пространстве литературы // Colloquia classica et Indo-Europeica. II / Под ред. Н.Н. Казанского. СПб., 2000. С. 292–315 С. 303.

[19] Там же. С. 296.

эволюции (Пушкин полностью абстрагируется от того обстоятельства, что tumultus Проперция – это завоевательные войны Августа)[20], а в «Онегине» цитируется без учета модальности, т. е. так, как если бы в латинском тексте стояло не canat, а canit[21]. Безусловно, Пушкин не мог не узнать о Проперции хотя бы из «Лицея» Лагарпа и лекций Кошанского[22]; кроме того, в его библиотеке сохранилось издание triumvirorum amoris 1812 г., подаренное Александром Тургеневым как раз перед окончанием лицея[23]. Однако до появления более весомых доводов с гипотезами о прямом – без посредничества Парни – влиянии Проперция на автора элегии «Мечтателю», как кажется, благоразумнее повременить.

Скорее всего, такого влияния не предполагал и Корш: целью его переводческого эксперимента (в сущности, равнозначного филологическому исследованию) было указать не столько на непосредственный образец, сколько на прототип пушкинского стихотворения, возвести литературный мотив к его истокам – и к этой цели он пришел кратчайшим и, как представляется, самым убедительным путем.

---

[20] Естественно, что от него абстрагировались и читатели-современники. Так, Карамзин, увидевший в слове tumultus намек на декабрьское восстание, упрекал Плетнева в том, что тот не убедил Пушкина снять эпиграф («Что же вы это сделали! Зачем губит себя молодой человек!»); тот в ответ разъяснял, что имеются в виду бури душевные (см., например: *Сидяков Л.С.* Прижизненный свод пушкинской поэзии // Стихотворения Александра Пушкина. СПб., 1997. С. 408).

[21] Этого не учитывает Ю.М. Каган, заключающая на основании приведенной цитаты, будто «стихи Проперция Пушкин читал и знал так хорошо», что ему позволительно приписывать знакомство даже и с рукописными разночтениями проперцианского корпуса (*Каган Ю.М.* «Фламандской школы пестрый сор» // Новое литературное обозрение. 1993. № 3. С. 193–194).

[22] Соответствующие цитаты см.: *Якубович Д.П.* Указ. соч. С. 102; *Топоров В.Н.* Указ. соч. С. 297–298.

[23] *Модзалевский Б.Л.* Библиотека А.С. Пушкина: Библиографическое описание. СПб., 1910. № 714.

ПИСЬМА А.Н. ШВАРЦА И Ф.Е. КОРША С.И. СОБОЛЕВСКОМУ

Публикация, комментарии А.И. Любжина

Корпус писем А.Н. Шварца к С.И. Соболевскому хранится в Отделе письменных источников Государственного исторического музея (Ф. 310. Ед. хр. 9). Мы предлагаем читателю некоторые из этих писем, относящиеся к периоду директорства А.Н. в 5-й Московской гимназии и к эпохе его руководства Министерством народного просвещения, а также последнее письмо.

От всех писем сохранились конверты, на которых рукой С.И. Соболевского были сделаны карандашные пометы. В примечаниях они будут даны курсивом; подчеркивания в тексте писем выделяются разрядкой; неразборчивые слова отмечены обелами. Зачеркнутые фрагменты с соответствующим оформлением сохраняются в нашем тексте. Кроме того, мы включили в подборку письмо академика Ф.Е. Корша к С.И. Соболевскому, вошедшее в тот же комплекс бумаг великого филолога, хранящийся в ОПИ ГИМ (Ф. 310. Ед. хр. 8).

Письма публикуются в орфографии подлинника.

Письма А. Н. Шварца

I

ΕΠΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟ ΙΒ ΚΑΛΑΝΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΩΝ ΚΥΡΙΑΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΡΩΜΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΔΟΞΕ ΤΗΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΤΑΞΕΙ ΕΠΕΙ ΣΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΟΚΙΜΟΣ ΗΔΗ ΦΑΝΕΙΣ ΝΥΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΣΟΦΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΣΥΓΓΡΑΨΑΣ ΤΗΙ ΤΑΞΕΙ ΠΡΟΕΘΕΤΟ ΕΦ ΩΙΤΕ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙ ΣΟΦΙΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΞΙΚΕΣΘΑΙ ΕΑΣΑΙ ΑΥΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΚΕΙΝΩΙ ΤΩΙ ΒΙΒΛΙΩΙ ΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΑΣ ΔΕ ΑΥΤΩΙ ΑΠΟΔΕΙΞΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΟΞΗΙ ΤΗΙ ΤΑΞΕΙ ΗΓΩΝΙΣΘΑΙ ~~ΚΑΛΩΣ~~

ΟΡΘΩΣ ΕΠΑΙΝΕΣΑΙ ΣΕΡΓΙΟΝ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑΣ ΕΝΕΚΕΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΨΑΙ ΤΟΔΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΠΩΣ ΑΝ ΩΣΙ ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΔΟΤΕΣ ΟΤΙ ΕΠΙΣΤΑΤΑΙ ΧΑΡΙΤΑΣ ΑΠΟΔΙΔΟΝΑΙ Η ΤΑΞΙΣ

ΑΓΑΘΗΙ ΤΥΧΗΙ.

В архонтство Гавриила за 12 дней до апрельских календ на общем собрании филологического факультета, председателем коего был Матфей, сын Михаила, секретарем – Роман, сын Феодора, филологический факультет решил, что, поскольку Сергий, сын Иоанна, уже заслуживший одобрение, а ныне, написав книгу мудрую и прекрасную, представил факультету, имея в виду получить вторую степень из предложенных за мудрость, позволить ему о в книге оной сказанном диспутировать по законам. Оппонентами же ему назначить Феодора, сына Евгения, и Александра, сына Николая, и, если факультет решит, что он диспутировал ~~прекрасно~~ правильно, похвалить Сергия за честолюбие и записать это решение, чтобы многие становились честолюбивыми, зная, что умеет факультет воздавать за это благодарность.

II

20 Іюля 92. Москва

Дорогой Сергѣй Ивановичъ!

Прежде всего позвольте мнѣ отъ всего сердца поздравить Васъ съ назначеніемъ профессоромъ Моск. Унив. и выразить радость по поводу событія, которое, какъ я увѣренъ, совершилось на пользу и славу роднаго мнѣ учрежденія. Деньги тутъ, какъ Вы справедливо думаете, не играютъ роли: онѣ придутъ и скорѣе, чѣмъ Вы думаете, да вамъ онѣ пока и не до зарѣза нужны. Еще разъ примите поздравленія и пожеланія всего хорошаго!

Что до Вашей статьи, то она преисполняетъ меня только стыда за то, что из-за меня Вы подъяли столько труда. Стоитъ ли того моя книжка? Право, она писана была вовсе не изъ желанія «возвеличенія», употребляя Ваше выраженіе. Неужели и Вы настолько мало меня знаете, чтобы не знать, что я никогда не искалъ и не ищу величія? Вся моя гордость заключается въ томъ, чтобы воспитать хотя бы въ немногихъ ученикахъ любовь къ классической древности, и если нѣкоторые изъ нихъ со временемъ помя-

нутъ меня добрымъ словомъ, я буду считать это величайшей своей заслугой.

Спрашивать меня, поняли ли Вы меня, конечно, нечего. Только въ одномъ мѣстѣ я нашелъ возможность сдѣлать контръ-примѣчаніе, но это, кажется, потому, что въ книгѣ своей выразился, вѣроятно, неясно. Посмотрите, впрочемъ, начало 3 кн. Аристотеля и, надѣюсь, Вы согласитесь съ моимъ толкованіемъ дѣла. По поводу хронологіи я Зѣлинскаго не совсѣмъ понимаю. Кажется, онъ подмахнулъ свое согласіе съ Бауэромъ не вдумавшись въ дѣло и за это его уже кольнулъ, между прочимъ, Бузескулъ въ только что полученной мной книжкѣ Ж. Мин. Н. Пр. Измѣнять принятую хронологію, кажется, нѣтъ никакого основанія.

Языкъ лат. кот. Вы пишете, я считаю вполнѣ отвѣчающимъ цѣли, хотя, повторяю, очень жалѣю, что Вы такъ затрудняете себя.

А затѣмъ до свиданія. Завтра, тотчасъ по окончаніи засѣданія коммиссіи, ѣду назадъ въ Богородское. Я многое написалъ за лѣто и все надѣялся, что сегодня сообщу Вамъ кое-какія сдѣланныя мной соображенія и поправки по поводу вновь найденной рѣчи Гиперида, но Васъ не дождался, а самъ занятъ былъ съ дочерью, кот. пріѣхала со мной посовѣтоваться съ врачемъ, такъ что заѣхать лично поздравить Васъ не могъ.

Пишу Вамъ, поэтому, эти нѣсколько словъ, отъ души желаю Вамъ всего хорошаго и остаюсь

искренно преданный Вамъ А. Шварцъ.

III

Апр. 19 дня 1893 г.

Глубокоуважаемый Сергѣй Ивановичъ!

Ѳ.Фр. Зѣлинскій вступился за Васъ въ Апр. книжкѣ Фил. Обозр. и такъ какъ ред. предложила мнѣ отвѣчать, то я состряпалъ возраженіе. Но только, въ виду того, что привыкъ совѣщаться съ Вами въ вопросахъ грамматики, хотѣлъ бы и на этотъ разъ подвергнуть Вашему вниманію свой отвѣтъ: 1) стоитъ ли вообще отвѣчать, а 2) не можетъ ли показаться †обиднымъ† Зѣлинскому одно замѣчаніе насчетъ маленькой передержки съ его стороны. Странно нѣсколько, что я подвергаю Вашему усмотрѣнію замѣчаніе, направленное косвенно противъ Вашей теоріи, но, кажется, Вы стоите выше такихъ предразсудковъ и Васъ въ данномъ

случаѣ интересуетъ только истина, какъ и меня. Если Вамъ покажется мой отвѣтъ совсѣмъ слабымъ, я съ полной готовностью разорву его.

Не знаю, свободны ли Вы теперь. Я очень хворалъ и сейчасъ мнѣ еще не позволяютъ выходить. Что, еслибы Вы зашли ко мнѣ или завтра утромъ послѣ 12 или вечеркомъ? Вы искренно утѣшили бы преданнаго Вамъ

А. Шварца.

P. S. Болѣе получаса я во всякомъ случаѣ не задержалъ бы Васъ, такъ что, можетъ быть, Вы сочтете удобнѣе зайти entre chien et loup, во время Вашей прогулки. И то добре.

IV

5 Іюня 93.

Дорогой Сергѣй Ивановичъ!

Вчера, когда Вы ушли, мнѣ не спалось (вообще, что то очень мало сплю) и я, подъ вліяніемъ разговора съ Вами, взялся за Платона: подвернулось изд. de Legg. Шанца. Прочелъ я немного, но и въ томъ немногомъ нашелъ одинъ очень любопытный примѣръ, кот., кажется, вполнѣ Вамъ наруку, ибо, насколько могу судить, сильно поддерживаетъ Ваше ученіе. Посмотрите p. 648 A и B въ общей связи. Кажется, очень поучительно.

Весь Вашъ А. Шварцъ.

V

23 Февр. 908 Спб.

Дорогой Сергѣй Ивановичъ!

Сегодня у меня отыскалась минута свободная, и я поэтому спѣшу отвѣтить на Ваше любезное письмо от 22го.

Хотѣлъ уже давно поговорить съ Вами о своей библіотекѣ, да все было некогда.

Вотъ что я теперь предлагаю: Такъ какъ по случаю назначенія меня М–ромъ и, что важнѣе (на М–во я продолжаю смотрѣть какъ на нѣчто, весьма н е прочное), членомъ Госуд. Сов. мои денежныя дѣла, разстроившіяся вслѣдствіе моего изгнанія въ 1905 изъ Москвы, опять поправились, продавать книги мнѣ нѣтъ надобности;

но я врядъ ли теперь когда буду въ состояніи ими пользоваться. Та небольшая библіотека, кот–ую я выдѣлилъ себѣ раньше, вполнѣ удовлетворитъ меня въ будущемъ. Большую же часть книгъ мнѣ нѣтъ надобности удерживать, кромѣ только педагогич. сочиненій, особенно собранныхъ мной на Парижской выставкѣ статистич. работъ по этой части, кот. теперь могутъ мнѣ пригодиться (помните, ящикъ 4).

Не позволите ли поэтому 10 ящиковъ прислать въ Москву? Изъ находящихся въ этихъ ящикахъ книгъ то, что можетъ заинтересовать лично Васъ, я дерзнулъ бы просить Васъ взять себѣ въ знакъ воспоминанія о Вашемъ старомъ учителѣ и другѣ; все затѣмъ цѣнное и интересное я просилъ бы Васъ передать въ семинарскую (н е дробя между ней и Музеемъ Из. Иск.) библіотеку Моск. Университета, для служенія которому въ былые, счастливые годы моего профессорства эти книги вѣдь и собирались. Остающіяся затѣмъ книги я попросилъ бы продать тому, кто пожелаетъ, съ тѣмъ, чтобъ изъ этихъ денегъ уплатить расходы по пересылкѣ (вѣроятно, р. 70 или 75) и, если останется, за шкапъ для моихъ книгъ. Если же от продажи не выручите нужной суммы, то напишите, недостающее я пополню.

Вотъ въ общихъ чертахъ мое предложеніе, кот. вполнѣ отвѣчаетъ желаніямъ и всѣхъ моихъ. Правда, оно накладываетъ на Васъ много хлопотъ по полученію, сортировкѣ и т. д. книгъ, но, можетъ быть, Вы и не потяготитесь этимъ дѣломъ хотя изъ любви къ Университету и его библіотекамъ. Во всякомъ случаѣ предоставляю Вамъ рѣшеніе сего дѣла.

Склоненъ думать, несмотря на мнѣніе Никитскаго, что въ библіотекѣ моей есть не мало хорошихъ вещей, кот. студентамъ пригодятся. По нѣкот. вопросамъ, напр., собрана почти полная литература...

Если согласитесь, напишите; вышлю немедленно.

А затѣмъ до свиданія, дорогой Сергѣй Ивановичъ. Все надѣюсь, что Вы какъ-нибудь соберетесь въ Спб. А можетъ быть, что и я пріѣду въ Москву...

Крѣпко Васъ цѣлую.

Весь Вашъ А. Шварцъ.

Кстати: среди книгъ найдете нѣкоторыя греч. съ массой словъ на поляхъ еще изъ временъ студенчества. Изданія все неважныя. Ихъ просто бросьте въ печку.

VI

13 Апр. 908. Спб.

Шлю и я Вамъ свой пасхальный привѣтъ, дорогой Сергѣй Ивановичъ, съ наилучшими пожеланіями и привѣтствіями. Ваши письма для меня всегда большая радость, ибо это письма друга. Поэтому не прекращайте ихъ и, когда есть къ тому возможность, пишите. Какъ ни презираю я людскія мнѣнія, а все читать одну ругню подчасъ тяжело, хочется и чего-либо иного...

Не думайте, что я б. увлеченъ Георгіевскимъ. Его дурныя свойства мнѣ вѣдомы, но хочется думать, что он можетъ работать, а не будетъ, я быстро съ нимъ покончу. Къ тому же меня охраняетъ Ульяновъ, кот., кажется, расположенъ ко мнѣ.

Ваши занятія евангеліемъ меня очень утѣшаютъ. Я ими тоже увлекался. Тема для эллиниста – изъ благодарнѣйшихъ. Но она и очень трудна...

И до чего мы дошли съ нашей ненавистью къ греч. языку! Отцовъ Восточной Церкви вѣдь Нѣмцы издаютъ; – не мы. Это ли не позоръ. Да и участія принять не можемъ. Стыдъ и срамъ!

Будьте однако здоровы, дорогой мой. Крѣпко Васъ цѣлую.

Весь Вашъ А. Шварцъ.

VII

30 Авг. 908.

Каменноостр. пр. 12, 10.

Отъ всей души благодаренъ Вамъ, дорогой Сергѣй Ивановичъ, за Ваше поздравленіе, пришедшее по обыкновенію какъ разъ въ срокъ. Благодарю Васъ и за добрыя пожеланія. Должно быть именно благодаря Вашимъ и другихъ друзей моихъ пожеланіямъ я по прежнему держусь крѣпко, и физически, и морально. Меня вѣдь вся эта газетная ругня и травля очень мало смущаетъ...

Что собственно касается постороннихъ слушательницъ, то, откровенно говоря, тутъ и вопроса никакого нѣтъ: наблудили гг. профессора, надули барышень (въ Спб. напр. имъ даже дѣлали зачетъ и выдавали экзаменаціонные листы, имѣя въ виду «будущій» законъ И.И. Толстаго, т. е. исходя non de lege lata, sed de lege ferenda[1]), – имъ и поправлять дѣло!

[1] Не из закона, а из законопроекта *(лат).*

И Казанскимъ, и Харьковскимъ профессорамъ я уже отвѣчалъ, что, по моему, они или должны устроить переходъ дѣвушекъ на высшіе женскіе курсы, или дочитать имъ то, что они имъ, а не государство, обѣщали, въ любомъ помѣщеніи города. Но, видно, это имъ не по вкусу. И вотъ почему у Васъ предусмотрительный Мануйловъ заранѣе позаботился устроить барышень, ибо вѣдь на это отвѣчать трудно...

Въ Спб. же, какъ слышно, хотятъ устроить забастовку и прочія удовольствія. Чтоже, пусть попробуютъ. Одного ректора (втораго по счету) я уже предалъ суду Сената, предамъ и другого.

Разговаривать съ ними не стоитъ, ибо отвѣчаютъ дерзостями, какъ и Вашъ Совѣтъ, коему я послалъ рѣзкую бумагу за неумѣстность его возраженій; пусть ужъ разсуждаетъ высшее юридическое установленіе. Я знаю, что и Занчевскаго, и Пассека Сенатъ по головкѣ не погладитъ.

Именно поэтому такъ я и ненавистенъ, что иду путемъ закона. Впрочемъ, все это неважно. Упорядочить учебныя заведенія все равно мнѣ не дадутъ: русскіе все готовы вынести, кромѣ ученья... Завидую Вамъ, что Вы можете предаваться наслажденіямъ науки. Мнѣ не дала это сдѣлать судьба, но виноватъ въ этомъ, конечно, я самъ; пенять не на кого. Одна надежда, что скоро погонятъ...

Будьте, однако, здоровы. Крѣпко Васъ цѣлую.

Вашъ А. Шварцъ.

P. S. Что такое Гинзбургъ, зять Кузьмина, объ устройствѣ коего проситъ меня Софія Ивановна, будто бы безъ вѣдома В. И–ча. Я очень затрудняюсь, куда его пристроить. А очень бы хотѣлось уважить просьбу С. И–ны. Напишите, къ чему, по Вашему, онъ наиболѣе пригоденъ.

VIII

18 Сент. 908. Спб.

Дорогой Сергѣй Ивановичъ!

Пишу Вамъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ прочитанной мной сейчасъ статьи «Сп. Вѣдом.», подписанной Алексѣемъ Ивановичемъ. Въ первый разъ поднимается за меня голосъ мужественнаго человѣка, который рѣшается высказать правду не ради человѣка, но ради дѣла и безъ страха того, что скажутъ въ еврейскихъ газетахъ. Прямо, честно и открыто. Глубоко благодарю его за его

выступленіе и не зная, гдѣ онъ, прошу Васъ передать ему эту мою глубокую признательность. Я б. глубоко тронутъ, тѣмъ болѣе, что меня лично Ал. Ив. знаетъ мало, наблюдалъ за мной только издали и, слѣдовательно, если онъ сказалъ, то только руководствуясь совѣстью.

Боюсь только за него. Теперь все это опасно. Да хранитъ его Богъ.

А какъ живете Вы? Не забывайте искренно любящаго и преданнаго Вамъ

А. Шварца.

IX

25 Дек. 908.

Каменноостровскій пр., 12.

Не знаю, почему Вы, дорогой Сергѣй Ивановичъ, отговариваете меня всякій разъ писать; а я очень охотно бесѣдую съ Вами и не вѣрю, чтб. у кого либо нехватало времени если не сочинять письма, то хоть быть вѣжливымъ. Меня съ дѣтства учили que chaque billet demande une réponse[2], и я свято соблюдаю по отношенію ко всѣмъ это, внушенное мнѣ съ дѣтства правило.

Къ тому же мнѣ хотѣлось бы поздравить Васъ съ Новымъ Годомъ и пожелать всего хорошаго, что симъ и исполняю.

Ваши статьи почитываю и въ поистинѣ прекрасномъ изслѣдованіи о κοινή нахожу и для себя массу поучительныхъ соображеній. Очень радъ, что Вы напоминаете попамъ нашимъ и о необходимости изучения греч. яз. для богословія.

Я объ этомъ заговорилъ по другому поводу. Недавно пресловутый Оберъ-прокуроръ Св. Сvнода знакомилъ Совѣтъ М-ровъ съ постановленіями Кіевскаго собора, требовавшаго, между прочимъ, отъ отцовъ, идущихъ на борьбу с католичествомъ и лютеранствомъ, изученія гомилетики, предлагавшаго разныя мѣры для борьбы с невѣжествомъ нашего духовенства и ни однимъ словомъ не обмолвившагося о необходимости обстоятельнѣе изучать слово Божье.

Я, само собою разумѣется, обратилъ на это вниманіе и, вѣроятно, впервые въ Сов. М-ровъ преломилъ копье за греч. яз. Слушали, къ моему изумленію, внимательно и Извольскаго пошпыняли, но результата, конечно, не будетъ никакого.

---

[2] Каждая записка требует ответа (*фр.*).

Кстати, почему Вы ни слова не сказали о самомъ текстѣ и его изданіяхъ, особенно B. S. (I) и перевода LXX?

Какое изд. Вы считаете лучшимъ теперь?

Или Вы по этому поводу думаете писать особо?

Для того, кто соберется изучать по Вашимъ слѣдамъ языкъ κοινῆς, это б. было важно...

И зачѣмъ Вы позволяете Глубоковскому писать «проблеммы»?

А затѣмъ будьте здоровы. Вы можете быть увѣрены, что Вы этой статьей сдѣлали очень полезное дѣло[3].

Весь Вашъ А. Шварцъ.

X

22 Іюня 909. Спб.

Дорогой Сергѣй Ивановичъ!

Очень я огорченъ, что Вы все мучаетесь съ своей ногой и не будете, значитъ, въ состояніи въ достаточной мѣрѣ гулять, не смотря на всю необходимость для Васъ моціона послѣ зимняго сидѣнія.

Я тоже желалъ бы имѣть возможность походить, но удастся ли мнѣ что-нибудь въ этомъ направленіи сдѣлать, не знаю.

Положеніе жены все это время было оч. тяжелое и мы все время колебались между возможностью повезти ее куда-нибудь и оставленіемъ въ Спб. Кажется, въ концѣ концовъ все таки удастся отправить ее въ Ялту, но, быть можетъ, это будетъ тк. дорого (надобенъ врачъ, сидѣлка etc.), что мнѣ придется положить, что называется, зубы на полку: министрамъ платятъ не дурно, но и расходы на представительство колоссальны, тѣмъ болѣе что и дѣти въ Апр. и Маѣ потратили въ Ялтѣ не мало денегъ.

Я впрочемъ пока держусь. Несмотря на совершенно невозможную брань и клевету, которыми меня преслѣдуютъ, несмотря на почти непосильную работу, – особенно послѣднее время, когда отсутствовалъ Ульяновъ, – я еще въ силахъ исполнять свои обязанности. Подкузьмила меня, собственно говоря, болѣзнь жены, тк. что я чувствую, что отдохнуть было бы недурно. И отпускъ я имѣю с 1 Іюля по 1 Сент., но иногда и близокъ бываетъ локоть, да не укусишь его...

---

[3] Абзац отчеркнут на полях карандашом.

Оч. я жалѣю, что не имѣю Вашей рецензіи на Л. Толстаго. Я тоже носился въ 1907 г. съ мыслью на его примѣрѣ показать необходимость знанія того, о чемъ берешься писать, и собралъ не мало примѣровъ его невѣжества и самомнѣнія. Вы это сдѣлаете, конечно, лучше меня, но оч. бы хотѣлось посмотрѣть, сошлись ли мы съ Вами, и въ чемъ. Но поистинѣ, что будемъ мы, русскіе, дѣлать? Надвигаются серіознѣйшія событія, надобны люди по всѣмъ статьямъ, для всякаго рода работы и занятій, а гдѣ они въ Россіи? И когда начнемъ мы ихъ готовить?

Sed ego fortasse vaticinor et haec omnia meliores habebunt exitus: recordor enim desperationes eorum, qui senes erant adulescente me; eos ego fortasse nunc imitor, et utor aetatis vitio. Velim ita sit; sed tamen[4]...

Будьте здоровы, не подражайте въ пессимизмѣ Вашему старому учителю, вѣрьте въ Россію, какъ то рекомендовалъ Тютчевъ – въ общемъ впрочемъ плохой, по мнѣ, піита – и не сомнѣвайтесь въ искреннемъ уваженіи и любви Вашего

А. Шварца.

XI

21 Авг. 909.

Дорогой Сергѣй Ивановичъ,

Спѣшу сегодня же переслать Вамъ свою благодарность за всегдашнюю память и вниманіе, тк. кк. не знаю, дойдетъ ли до Васъ это письмо, если я отложу его писаніе дня на 2 или на 3. Въ Ялтѣ я получилъ одно письмо, посланное изъ Спасска (Каз. Губ.), на 17й день по отправленіи. Письма из Спб. получаются тамъ на 5й и на 6й день. Чего добраго, до Спб. они идутъ еще долѣе.

Что сказать Вамъ о себѣ?

Прежде всего не могу не замѣтить, что и Вы, и Лахтинъ напрасно думаете, будто я такъ ужъ тревожусь бранью газетъ по моему адресу. Я наоборотъ донельзя равнодушенъ къ ней, тѣмъ болѣе, что вообще газетъ читаю оч. мало. Меня огорчаетъ болѣе то, что изъ молчанія лицъ, хорошо ко мнѣ относящихся, можно

---

[4] Но, может быть, я прорицаю, а все это будет иметь лучший исход; вот вспоминаю отчаяние стариков во времена моей молодости; может быть, сейчас я подражаю им и предаюсь пороку, свойственному возрасту. Хотел бы, чтобы было так; однако... (*лат.*).

думать, что и они не одобряютъ моего образа дѣйствій, но и это чаще вызываетъ во мнѣ временную досаду, чѣмъ дѣйствительное неудовольствіе. Вообще и духомъ, а теперь, послѣ основательнаго лѣченья водами, и физически я чувствую себя хорошо. Безпокоятъ меня только болѣзни жены и дѣтей.

Вотъ это оч. отзывается на мнѣ, какъ Вы то, вѣроятно, наблюдали и въ Москвѣ.

Но что же дѣлать? Никто изъ насъ не вѣченъ. Жалко только именно жену, кот. такъ хвораетъ единственно по собственной винѣ, вслѣдствіе всегдашняго пренебреженія къ совѣтамъ врачей...

Будьте здоровы. Еще разъ спасибо за память.

Весь Вашъ А. Шварцъ.

Какъ я радъ, что Вы обратились къ Платону. По этому писателю, что касается языка, можно массу сдѣлать. Буду ждать Вашихъ наблюденій. Увѣренъ, что они будутъ донельзя любопытны. Въ добрый часъ!

XII

22 Окт. 909.

Каменноостровскій, 12.

Дорогой Сергѣй Ивановичъ!

Отвѣчу прежде всего на Ваши два вопроса.

Что касается до Кизеветтера, то назначеніе его будетъ зависѣть отъ того, принималъ ли онъ участіе въ подписаніи Выборгскаго воззванія, или нѣтъ. Одно кадетское направленіе препятствіемъ не послужитъ, ибо все равно 4/5 проф. – кадеты.

Что касается до студ., не знающихъ по греч., то я просилъ бы Васъ исполнять циркуляръ такъ, какъ Вы его начали исполнять. Вѣдь все равно Вы не знающихъ по греч. пускали въ Унив. вольнослушателями, но только создавали для нихъ какое-то исключительное положеніе. Я же считалъ возможнымъ поставить ихъ въ такое же положеніе, въ кот. стоятъ и всегда стояли, ну хотя бы изучающіе санскр. яз. Развѣ преподаваніе этого яз. не б. элементарнымъ?

Да и какъ же быть, когда теперь цѣлый рядъ гимназій не обучаетъ греч. яз.?

Лѣвые, очевидно, хотятъ филологамъ-вольнослушателямъ создать особыя права и затѣмъ распространить таковыя же на вольныхъ слуш. других факультетовъ.

Я противъ этого.

Къ тому же, если требовать греч. яз., надо или низвести требованія до нуля или закрыть цѣлый рядъ филол. фак.

И то и другое – неудобно. А надо просто свыкнуться съ мыслью, что филологи не знаютъ по греч. и учить ихъ. Ничего другого не выдумаешь.

То, что Вы пишете объ унив. жизни повторяется повсюду, но у Васъ, слава Богу, проф. не стали мошенниками, но проф. Казанскаго, Одесскаго и отчасти Спб. уже приходится притягивать къ суду за болѣе, чѣмъ некрасивыя дѣйствія, а Ваши проф. Техническаго уч. просто жулики, проф. Харьковскаго Ветер. Инст. мошенники.

Дир. послѣдняго Инст. пришлось выгнать, Гавриленка вызываю сюда и если он дастъ неудовлетворит. показанія, тоже выгоню *безъ* прошенія: онъ допускаетъ просто расхищеніе казеннаго имущества.

Вотъ до чего дошли гг. проф.!

Мошенникомъ оказался и Цвѣтаевъ, каковымъ впрочемъ я всегда его считалъ. Въ Сенатѣ ахнули, прочтя мое донесеніе. Его замѣнить хотѣлось бы Никитскимъ, очень тяготящимся Оренбургской сатрапіей, или Вашимъ братомъ, если бы онъ пошелъ на сіе.

†Долгова† я тоже знаю...

Будьте здоровы. Крѣпко Васъ цѣлую. Спасибо за память.

Вашъ А. Шварцъ.

Если поѣду въ Саратовъ къ 6 Дек., увидимся, вѣроятно, въ Москвѣ.

XIII

24 Дек. 909

Спасибо Вамъ, дорогой Сергѣй Ивановичъ, за неизмѣнно доброе отношеніе и участіе ко мнѣ. Здоровью моему теперь снова гораздо лучше, хотя инфлуэнца сдѣлала свое дѣло и одно время оч. повредила сердцу. Молоко продолжаетъ дѣйствовать на меня прекрасно, и имѣемъ мы этотъ продуктъ оч. хорошій, хотя по бас-

нословной цѣнѣ (15 к. бутылка въ 2S стакана). Кромѣ молока я теперь получаю еще немного куринаго мяса или рыбы, фрукты, каши и т. п. Вообще я *не* голодалъ и голода не ощущалъ, да и слѣдитъ за мной все время оч. хорошій врачъ, д–ръ Чигаевъ (кстати, антисемитъ). Но и онъ, конечно, совѣтуетъ мнѣ чаще отдыхать и не волноваться, совѣтъ оч. хорошій, но неисполнимый, особенно по моей должности. Оч. былъ бы радъ отъ нея отдѣлаться, но, увы, меня не пускаютъ.

Въ успокоеніе я, грѣшный человѣкъ, не вѣрю, т. е. охотно допускаю, что студенты желаютъ учиться, но спокойствия не хотятъ гг. профессора[5]. Вѣдь не даромъ же въ Окт. они даже ввели въ Унив. полицію безъ всякой нужды и безъ всякаго указанія ни моего, ни П.А. Столыпина. Не удалось поджечь такимъ образомъ, смущаютъ молодежъ выходомъ въ отставку проректора и ректора Спб. университета. Вообще все какъ въ 1905 г. Сначала начинаютъ окраины (Финляндія!), затѣмъ семинаріи, потомъ высшія уч. заведенія и т. д., и т. д.

И помочь ничѣмъ невозможно, ибо ничего путнаго черезъ думу не проведешь, а съ существующими правилами, ведущими свое начало отъ 1905 г., и съ разными распоряженіями г–на Кауфмана чтоже можно сдѣлать? Съѣзжаются напр. сейчасъ ко мнѣ разные представители экзаменаціонныхъ коммиссій и разсказы ихъ по истинѣ повергаютъ меня въ отчаяніе. Образовалъ теперь особую университетскую (перманентную) коммиссію для разбора разныхъ университетскихъ дѣлъ. Посмотримъ, чѣмъ можно горю помочь, но думается, что унив. въ ихъ теперешнемъ видѣ, по крайней мѣрѣ въ большинствѣ случаевъ, какіе то гніющіе трупы.

Оч. бы хотѣлось поскорѣе бросить все и скрыться въ нѣдрахъ Г. Совѣта. Пора мнѣ успокоиться: какъ ни какъ, а 62 года. Надо дать мѣсто другимъ.

Будьте здоровы и дай Богъ Вамъ побольше сдѣлать для науки.

Весь Вашъ А. Шварцъ.

[5] Предложение отчеркнуто на полях карандашом.

XIV

19 Іюня 1910. Каменноостровскій, 12.

Дорогой Сергѣй Ивановичъ!

Оч. б. утѣшенъ Вашимъ письмомъ, съ большимъ интересомъ читалъ Ваши сообщенія о Дух. Академіи (кстати, новый уставъ, по мнѣ, тоже плохо заботится о греч. яз., этой *основѣ* академич. дух. образованія) и университетѣ и радовался, что вы уже въ теплѣ, кот. Вы такъ любите (я, наоборотъ, совсѣмъ его не переношу и въ Крыму въ Авг. чуть совсѣмъ не погибъ) и на травкѣ. Вамъ это по Вашимъ трудамъ необходимо. А что Вы много и хорошо трудитесь, я хотя никогда не сомнѣвался, но радъ б. получить новое подтвержденіе тому въ письмахъ Ѳ.Е. Корша объ унив. экзаменахъ.

Вашему старому другу б. до нельзя пріятно читать *совершенно восторженный* отзывъ о солидности и глубинѣ Вашихъ познаній отъ нашего академика, оч., какъ Вамъ извѣстно, неподатливаго на похвалу. Нѣсколько любезныхъ словъ онъ еще сказалъ по адресу Виппера, но Васъ превознесъ до небесъ.

Это б. мнѣ большой радостью. Авось, догадается провести Васъ и въ Академію!

Что скажете Вы о себѣ?

Что я ухожу, это Вы знаете уже, вѣроятно, изъ газетъ. Столыпинъ долго меня удерживалъ (я прошусь на покой еще съ Дек., сейчасъ немного упирается Государь, но принципіально вопросъ рѣшенъ).

Причина – плохое здоровье. Хотя я ни одного дня не пропустилъ по службѣ, но съ Дек. страдалъ такъ же, какъ въ Варшавѣ, нарушеніемъ компенсаціи въ дѣят. сердца подъ вліяніемъ склероза аорты. Какъ мнѣ Богъ помогъ выпутаться и на этотъ разъ, не знаю, но, надо думать, спасъ суровый режимъ: 6 мѣс. на одномъ молокѣ и сухаряхъ, теперь съ оч. легкимъ обѣдомъ и все на томъ же молокѣ. Какова должна быть будущая жизнь, поймите изъ слѣдующаго:

Жары избѣгать, у моря не жить, на горахъ не ходить, вообще не двигаться по возможности, рѣзкихъ движеній во всякомъ случаѣ не дѣлать, не волноваться ни подъ какимъ видомъ и многоглаголанія избѣгать. Хорошо?

Лучше всего при этихъ условіяхъ было бы вѣрнуться въ Сенатъ, но я уже сдѣланъ чл. Г. Совѣта; значитъ, тамъ и надо сложить свои кости...

Россія, какъ пишутъ «Русск. Вѣд.», конечно, возликуетъ. Возликуетъ, по показанію «Нов. Врем.», давно уже – въ имени моемъ звукъ чуждый не взлюбя, – преслѣдующая меня, и Спб. бюрократія.

Какъ и почтенный мой прадѣдъ, я не сумѣлъ угодить никому, тк. кк. позволялъ себѣ смѣть, свое сужденіе имѣть.

Еще одинъ неудачный Мръ, скажете Вы. – Вѣрно, хотя я всетаки представилъ схему всего образованія во всей совокупности.

Много значило также создать новыя формы дѣятельности вѣдомства при законодат. учрежденіяхъ: одно составленіе смѣтъ и оправдат. къ нимъ документа такого потребовало труда, а, пожалуй, и искусства.

Безъ хвастовства скажу, что при такихъ усиліяхъ мѣсяцъ надо считать за годъ, а я пробылъ на этомъ проклятомъ посту 2S года.

Ищутъ теперь новаго М–ра.

До 15 Іюля я останусь, а 15 Іюля – 10 Окт. мнѣ даютъ отпускъ, а 1 Окт. будетъ назначенъ новый М–ръ. Пора, я очень усталъ. Могу сказать какъ Пушкинъ —

Давно, усталый рабъ, задумалъ я побѣгъ
Въ обитель ~~чистую~~ дальнюю трудовъ и чистыхъ нѣгъ.
(Кажется, такъ; нѣтъ подъ рукой книги).

Цѣлую Васъ. Отдыхайте, набирайтесь знаній и подарите насъ еще многими трудами.

P. S. А всетаки die griech. christl. Schriftstellerei der ersten 3 Jahrhunderte есть нѣм., а не русское изд.! Ужасно обидно...

XV

23 Дек. 914. СПб.

(Никакъ не могу привыкнуть къ Петрограду, тоже вѣдь не особенно по русски звучащему).

Дорогой Сергѣй Ивановичъ!

Не знаю даже, какъ благодарить Васъ за Ваше всегда доброе и такое участливое ко мнѣ отношеніе, которымъ я, какъ вы знаете, такъ дорожу, но, кажется, подчасъ и злоупотребляю.

Спасибо Вамъ и за поздравленія, которыя мы всей семьей шлемъ и Вамъ, присоединяя, конечно, и всевозможныя пожеланія къ Н. Г.

Вы впрочемъ такой уравновѣшенный и непритязательный человѣкъ, что Вамъ не знаешь, чего и пожелать, развѣ только

здоровья, которое всегда и всѣмъ одинаково нужно. Примите же пожеланіе побольше имѣть этого великаго дара Божія и вмѣстѣ уже пожелаемъ скорѣйшаго водворенія мира на землѣ.

Я, признаться сказать, не ожидалъ, чтобы война длилась столь продолжительное время. Мнѣ все казалось, что государства и особенно народы не выдержать долго такого напряжения и принудять свои правительства мириться хотя бы и на тяжелыхъ для извѣстной стороны условіяхъ. Но оказывается, всѣ такія надежды оказались напрасны и война длится разсудку вопреки и даже наперекоръ стихіямъ.

И подумать, что по волѣ одного человѣка возможны такія звѣрства. А мы еще приходили въ ужасъ, что Аѳиняне на высотѣ цивилизаціи позволяли себѣ истреблять населеніе какого-ниб. Мелоса. Когда читаешь то, что дѣлается въ Бельгіи или у насъ, въ Польшѣ, просто стынетъ кровь...

Вы спрашиваете обо мнѣ.

Что сказать Вамъ? Шалитъ опять сердце и аорта, такъ что ходить почти не приходится, но лѣчусь. Можетъ быть, врачи и помогутъ. Но вѣдь и года мои не маленькіе. Пора и честь знать.

Сверстники мои сходятъ въ могилу одинъ за другимъ. Фортунатовъ, Миллеръ, Кулаковскій – всѣ скончались въ одинъ какой-ниб. годъ, а мы вѣдь родились въ 48...

Пока живу, работаю, много читаю, готовлюсь къ засѣданіямъ Гос. Сов., въ этой сессіи котораго пойдетъ много нашихъ дѣлъ, вообще не лѣнюсь, но отъ общества держусь далеко и здѣшняго общества особенно не люблю.

А отчего Вы такъ рѣдко и мало о себѣ пишете?

Я всегда интересуюсь всѣмъ, что Вы дѣлаете и прошу Васъ не забывать искренно любящаго Васъ и душевно преданаго Вамъ

А. Шварца.

Письмо Ѳ.Е. Корша

XVI

15 Янв. 1890.

Многоуважаемый Сергѣй Ивановичъ!

Прошу извинить меня, что такъ долго оставлялъ Ваше письмо безъ отвѣта: за дѣлами или, вѣрнѣе сказать, за quasi-дѣловыми пустяками, которые развлекаютъ меня болѣе, чѣмъ дѣло, я сначала не могъ отвѣтить Вамъ своевременно, а потомъ, чего добраго,

и позабылъ бы объ интересующихъ Васъ вопросахъ, если бы не встрѣтился съ Алексѣемъ Ивановичемъ, представшимъ мнѣ, какъ живой упрекъ.

1) ⏑⏑⏑∧⏑⏑— если бы я писалъ на досугѣ и довелъ бы свою мысль до конца, пожалуй, и самъ назвалъ бы двумя анапестами, оговорившись, что продолжительность ~~долгой~~ сильной части ~~втораго~~ перваго изъ нихъ, *вѣроятно*, была несколько короче соотвѣтствующей части втораго.

2) Nub. 663 я имѣлъ въ виду сначала, но потомъ какъ-то позабылъ. Вы совершенно правы въ томъ, что это настоящій анапестъ + ямбъ; но и здѣсь я считаю конецъ слова послѣ первой краткости сильной части анапеста существеннымъ условіемъ, безъ котораго не можетъ быть надлежащаго распорядка удареній, т. е. такого, чтобы три слога подъ рядъ не были лишены ударенія (ср. ниже).

3) Ваше ритмическое объясненіе Ach. 1023 я считаю вполнѣ правдоподобнымъ. Въ дополненіе къ сказанному прежде обращу Ваше вниманіе на то, что и въ ⏑⏑⏑∧ (= ⏑⏑—) и въ ⏑⏑∧ (= ⏑—) конечная гласная слова – длительная (какъ и всегда по-гречески), что въ физіологическомъ отношеніи не лишено важности. Но на εἶεν ни въ Choeph. 657 (638 Kirchh.), ни гдѣ бы то ни было, я не сослался бы, потому что этотъ случай можетъ быть особеннымъ: εἶεν въ уступительномъ смыслѣ представляетъ собою формулу; не даромъ возможно въ ней протяженіе послѣ *долгаго* слога и вообще безъ смягчающихъ обстоятельствъ.

4) 3 краткихъ безъ ударенія не встрѣчаются и въ анапестахъ, такъ какъ первая краткая слабой части произносится во всякомъ случаѣ со второстепеннымъ удареніемъ, особенно при сколько-нибудь замедленной ἀγωγή (какъ и въ ⏑⏑⏑∧ на послѣдней лишь второстепенное удареніе). Сравните въ отрывкахъ того-же Аристофана стихъ[6]

⏑̀⏑ | ⏑́⏑⏑̀⏑ | ⏑́⏑ || ⏑̀⏑ | ⏑́⏑⏑̀⏑ | —́

τίς ὄρεα βαθύκομα τάδ᾽ ἐπέσυτο βροτῶν;

съ нашими такъ называемыми трохеями въ родѣ

⏑̀⏑ | ⏑́⏑⏑̀⏑ | ⏑́⏑ || ⏑̀⏑ | ⏑́⏑⏑̀⏑ | —́

Ахъ вы, сѣни, мои сѣни, сѣни новыя мои,

гдѣ уже самое названіе такихъ стиховъ трохеями указываетъ на то, что мы слышимъ удареніе не только на 3-ей, но и на первой морѣ (или слогѣ) каждой стопы.

---

[6] Frg. 698. – *А. Л.*

5) Даже изъ σοὶ ἐς я не могу вывести σοὺς, такъ какъ іота при стяженіи выбрасывается только въ союзахъ и т. п. частицахъ и въ окончаніяхъ, начинающихся съ согласной, какъ καὶ, μέντοι, ται, σι, а не въ μοι, σοι, которыя кстати не подлежатъ элизіи по неустранимости іоты.

6) Elementa doctrinae metricae годится развѣ какъ сборникъ примѣровъ, но при провѣркѣ по лучшимъ текстамъ; а Christ[1] употреблять можно.

Преданный Вамъ Ѳ. Коршъ.

Примечания

I. Л. 13.

На конверте (л. 15): Его Высокоблагородію Сергѣю Ивановичу Соболевскому. Москва, у Горбатаго моста, по проѣзду Прѣсненскихъ прудовъ, свой домъ. *Извѣщеніе о днѣ моего диспута въ формѣ греч. надписи.*

II. Л. 72–73.

На конверте (л. 74): Его Высокоблагородію Сергѣю Ивановичу С о б о л е в с к о м у. Отъ А. Шварца

20 Іюля 1892 Поздравляетъ меня съ э.-о. пр.

О моей статьѣ въ Mnemosyne

Онъ не искалъ величія

Рецензия С.И. Соболевского: Ξενοφῶντος Ἀθηναίων πολιτεία / Ed. A. Schwartz. Mosquae, 1891. Scripsit Sergius Sobolewski, Mnemosyne, 1893. XXI. P. 182–195. Статья Зелинского, о которой идет речь в письме, – рецензия на докторскую диссертацию А.Н. Шварца: [Ξενοφῶντος] Ἀθηναίων πολιτεία. О государстве афинском, сочинение неизвестного автора V в. до Р. Х. Критическое исследование. Филологическое обозрение. 1892. Т. 2. Отд. 2. С. 29–34. В общем и целом оценка Ф.Ф. Зелинского довольно высока: «Таким образом унитарной теории Рошера, эпитомарной теории Кобета и диаскевастической теории Кирхгофа г. Шварц противопоставляет свою, теорию интерполяционную, или, выражаясь точнее, аггрегационную. Не берусь решить на месте, прав ли он или нет; но мне кажется, что его теория имеет будущность. Она проста и убедительна, с помощью ее задача решается легко и без остатка – преимущества, которыми не могут похвастаться предшественники г. Шварца» (с. 33).

Хронологический вопрос связан с датировкой третьей Мессенской войны. Ф.Ф. Зелинский пишет: «Но вот найдена новая книга Аристотеля... а согласно ей третья Мессенская война – допуская, что она была десятилетней – длилась от 459 до 449 года (ср. Bauer, Literarische und historische Forschungen zu Aristoteles Ἀθηναίων πολιτεία стр. 85), так что экспедиции спартанцев в Фокиду (448/447) и Аттику (446/445) были последствиями окончания третьей Мессенской войны» (с. 32), в то время как традиционная датировка, которой придерживался Шварц, – 464–455 гг.

Бузескул Владислав Петрович (1858–1931) – заслуженный профессор Харьковского университета, автор многочисленных трудов по истории Греции. Действительный член АН СССР с 1922 г.

III. Л. 90.

На бланке директора 5-й Московской гимназии.

На конверте (л. 92): З д ѣ с ь . Его Высокоблагородію Сергѣю Ивановичу С о б о л е в с к о м у. Нижне-Прудовая ул. на Прѣснѣ, свой домъ.

19 Апр. 1893. Хочетъ посовѣтоваться о научныхъ вопр.

Полемика, о которой идет речь, была начата А.Н. Шварцем в рецензии на книгу Соболевского (*Sobolewski S.* Syntaxis Aristophaneae capita selecta: de sententiarum condicionalium temporalium relativarum formis et usu. Mosquae, 1891 (X + 181 in 8°. Филологическое обозрение. М., 1893. Т. 4. Отд. 2. С. 3–13). Возражение Шварца: «Как ожидает, вероятно, и сам автор, наиболее возражений встретит в его третьей главе утверждение касательно того, будто даже условие, относящееся к будущему времени, может быть выражено по греч. ирреальной формой условных периодов. Может быть, при неточном способе выражения, такие случаи на самом деле иногда встречаются у других писателей, но те примеры, которые приводит автор из комедий Аристофана, как кажется, нисколько не уполномочивают нас на такое заключение» (с. 6). Далее следует (на наш взгляд, весьма убедительный) разбор *Eccl.* 191–192. Возражение Зелинского («Irrealis futuri»): Там же. Отд. 1. С. 152. Ответ Шварца — «К вопросу об irrealis futuri» – с. 167–169.

IV. Л. 93.

На конверте (л. 95): Его Высокоблагородію Сергѣю Ивановичу Соболевскому. На Нижне-прудовой ул., у Горбатаго моста, свой домъ. З д ѣ с ь .

5 Іюня 1893. Научное.

V. Л. 439.

На конверте (л. 441): *Москва* Прѣсня, у Горбатаго моста, Верхнепрудовая ул., свой домъ.

Его Высокородію Сергѣю Ивановичу С о б о л е в с к о м у.

23 Февр. 1908

Дарить библіотеку. Часть мнѣ дарить.

Членом Государственного Совета А.Н. Шварц был назначен 6 декабря 1907 г., а министром народного просвещения – 1 января 1908 г. Под изгнанием имеется в виду вынужденный уход с поста попечителя Московского учебного округа 16 ноября 1905 г. по инициативе тогдашнего министра И.И. Толстого и его товарища О.П. Герасимова.

Никитский Александр Васильевич (1859–1921) – филолог, специалист по греческой эпиграфике, магистр греческой словесности Санкт-Петербургского университета, проф. Новороссийского и Московского университетов, в 1902–1909 гг. – декан филологического факультета, академик (1917 г.).

VI. Л. 455.

Л. 457. *Москва.* Прѣсня, у Горбатаго моста, Верхнепрудовая улица, свой домъ.

Его Высокородію Сергѣю Ивановичу *Соболевскому.*

13 Апр. 1908. О Георгіевскомъ.

Георгиевский Лев Александрович (р. 1860) – директор Лицея цесаревича Николая в Москве (1896–1908), товарищ министра народного просвещения (1908–1911).

VII. Л. 461–462.

На конверте (л. 463): М о с к в а , Прѣсня, ул. Верхнепрудовая, свой домъ.

Его Высокородію Сергѣю Ивановичу С о б о л е в с к о м у.

30 Авг. 1908 (не см.)

Вопрос о посторонних слушательницах – противозаконный допуск лиц женского пола, в том числе с недостаточным образованием, к прослушиванию университетских лекций, практиковавшийся с момента введения университетской автономии при попустительстве министров И.И. Толстого и П.М. Кауфмана, бывших сторонниками совместного обучения. А.Н. Шварц счел возможным оставить записавшихся в течение одного семестра, но дальнейшую запись прекратить. Впоследствии (31 октября) этот вопрос был решен Высочайшим повелением в обход А.Н. Шварца в пользу вольнослушательниц, что едва не вызвало отставки А.Н. Шварца.

Мануилов Валерий Аполлонович (1861–1929) – экономист, член кадетской партии, ректор Московского университета в 1905–1911 гг., министр просвещения во Временном правительстве.

Занчевский Иван Михайлович (р. 1859) – доктор прикладной математики, профессор Новороссийского университета.

Пассек Евгений Вячеславович (1860–1912) – юрист, профессор и первый выборный ректор (с 1906 г.) Юрьевского университета.

VIII. Л. 464.

На конверте (л. 466): М о с к в а , Прѣсня, Верхнепрудовая ул., свой домъ.

Его Высокородію Сергѣю Ивановичу С о б о л е в с к о м у .

18 Сент. 1908 (не см.)

О статьѣ А.И. Соболевскаго.

IX. Л. 482–483.

На конверте (л. 484): М о с к в а , Прѣсня, Верхнепрудовая ул., у Горбатаго моста, свой домъ.

Его Высокородію Сергѣю Ивановичу С о б о л е в с к о м у .

25 Дек. 1908 (не см.).

Хвалитъ мою κοινή. *Сражался въ Сов. Мин. за греч. яз.*

Извольский Петр Петрович (1851–1916) – товарищ министра народного просвещения (1905–1906), обер-прокурор Синода (1906–1909), член Государственного совета.

Глубоковский Николай Никанорович (р. 1863 г.) – богослов, историк церкви, профессор МДА, редактор «Богословской энциклопедии» с 1905 г.

1 октября 1910 г. С.И. Соболевский прочел в МДА речь «Отношение классической филологии к богословию» (*Проф. С. Соболевский.* Речь, читанная на акте Московской Духовной академии 1 Окт. 1910 г. Сергиев Посад, 1910), которую закончил такими словами: «Итак, предоставим пользование одним только переводом без подлинника людям, желающим лишь получить некоторое понятие о содержании произведений автора. А мы, люди науки, должны работать по оригиналу, имея перевод лишь в виде пособия для понимания текста и не следуя ему рабски, а относясь к нему критически. Если специалист, изучающий светскую литературу, считает себя обязанным быть знакомым с нею в подлиннике, то на сколько более обязан богослов знать в подлиннике как источник богословия – Св. Писание, так и вообще древнехристианскую литературу! Я не хочу сказать, что филология должна стать целью для богослова; нет, богослов всегда

должен помнить, где его истинная цель; но в филологии он должен видеть средство, и средство необходимое для достижения намеченной им цели: филология должна быть для него верной помощницей богословия» (с. 29–30).

X. Л. 497–498.

На конверте (л. 499): К р ы м ъ, Е в п а т о р і я. Мойнакская гостиница.

Его превосходительству Сергѣю Ивановичу С о б о л е в с к о м у.

22 Іюня 1909. Брань газетъ. Непосильная работа.

Рецензия, о которой идет речь, – «Граф Л.Н. Толстой, как переводчик и истолкователь Св. Евангелий» – была опубликована С.И. Соболевским в духовном журнале «Странник» (СПб., 1909. Февраль. С. 184–191) и представляет собой отзыв на книгу: *Граф Л.Н. Толстой.* Соединение, перевод и исследование 4-х Евангелий. СПб., 1906 (Особое приложние к журналу «Всемирный вестник»). Приведем некоторые выдержки из этой рецензии: «Перевод Евангелия Толстого во многих отношениях напоминает собою книгу Морозова “Откровение в грозе и буре”: – у обоих “беспредельность невежества” относительно греческого языка, у обоих вместе с тем беспредельность самомнения, вследствие чего они считают свой перевод единственно правильным и с глубоким презрением смотрят на переводы специалистов-богословов, выработанные трудами многих веков и поколений; оба на основании неверных переводов строят свои теории; оба, наконец, враждебно относятся к Церкви.

Вся или почти вся богословская теория Толстого есть сплошное недоразумение. Может быть, какие-нибудь крупицы истины в ней и найдутся, но эти крупицы во всяком случае совершенно тонут в море невежества» (с. 184). «Появись такой перевод за границей, он был бы предан осмеянию и забвению; только неспособность нашей публики отнестись критически к переводу с греческого и слепая вера в авторитет Толстого могли доставить этому безграмотному переводу и основанным на нем богословским воззрениям автора – вместо презрения – ореол величия» (с. 185).

Ульянов Григорий Константинович – товарищ министра народного просвещения (1908–1910), сенатор.

XI. Л. 500.

На конверте (л. 502): С о ч и, Ч е р н о м о р с к о й г у б. Гост. Ривьера.

Его превосходительству Сергѣю Ивановичу Соболевскому.
31 Авг. 1909. Равнодушенъ къ брани.

XII. Л. 503.

Л. 505. Москва, Прѣсня, у Горбатаго моста, верхнепрудовая ул., свой домъ.

Его превосходительству Сергѣю Ивановичу Соболевскому.
22 Окт. 1909. О студ. без греч. яз. Профессора-мошенники.

Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933) – известный историк, ученик В.О. Ключевского, один из лидеров партии конституционных демократов, депутат II Государственной думы. Вопрос, на который дает ответ А.Н. Шварц, связан с назначением его на кафедру русской истории; видеть его своим преемником желал и сам В.О. Ключевский. Это назначение не было утверждено министерством, несмотря на то что Кизеветтер не был депутатом I Думы, не участвовал в выработке выборгского воззвания и неодобрительно относился к нему. Сам Кизеветтер так писал об этом в своих мемуарах: «Тотчас вслед за диспутом Ключевский внес в факультет предложение об избрании меня в профессора Московского университета, и мне более всего приятно вспомнить, что и в факультете и в Совете это избрание прошло без сучка и задоринки, без малейшего намека на те осложнения и личные препирательства, которыми столь часто сопровождаются академические выборы. Осложнения начались уже в министерстве, но не на академической, а на политической почве, ибо кадетская марка не пользовалась благоволением правительства» (*Кизеветтер А.А.* На рубеже двух столетий. Воспоминания 1881–1914. М., 1997. С. 321). Впоследствии – уже в 1911 г., в министерство Л.А. Кассо – А.А. Кизеветтер вынужден был покинуть Московский университет.

Гавриленко Александр Павлович (1861–1914) – инженер-механик, выпускник, с 1895 г. – профессор, с 1905 г. – директор Московского высшего технического училища.

Цветаев Иван Владимирович (1843–1913) – историк, искусствовед, профессор Петербургского, Варшавского, Киевского и Московского университетов.

Сам он так описывает обстоятельства дела в письме М.П. Степанову (ОПИ ГИМ. Ф. 310. Ед. хр. 5. Л. 1–2):

«Музей Изящныхъ искусствъ
имени Императора Александра III
при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ

"5" декабря 1911 г.

Глубокоуважаемый Михаилъ Петровичъ!

Прошу Васъ принять для Вашей библіотеки эту брошюру, только-что полученную мною изъ Лейпцига, гдѣ я напечаталъ её минувшимъ лѣтомъ. Быв. мой факультетскій товарищъ, давно за спиной у меня ехидствовавшій надъ хлопотами надъ "фантастическимъ Музеемъ Колымажнаго двора", не только не съумѣлъ обвиненій своихъ въ Сенатѣ доказать, но и скрылъ отъ Сената и Государя все то *доброе* и *полезное*, что составляло *существо* моей 28лѣтней службы въ Румянцевскомъ Музеѣ. Видя, что Сенатъ не становится на его сторону, А.Н. Шварцъ послалъ всеподданнѣйшій докладъ лѣтомъ 1910 года, на Штандартъ и этимъ средствомъ достигъ моего увольненія съ директорскаго мѣста, не давъ за 28 лѣтъ музейской службы даже пенсіи.

Я, постигнутый этимъ горемъ, въ скромной формѣ изложилъ въ данной брошюрѣ забытыя и замолчанныя стороны изъ моей усердной тамъ дѣятельности, въ упованіи, что авось найдется путь для достиженія ея къ Его Императорскому Величеству. Я желаю не кары А.Н. Шварцу, а лишь прекращенія моего матеріальнаго разоренія и моего публичнаго безчестья. Сенатъ Шварцу отказалъ и "дѣло" прекратилъ; но мое разореніе остается ничѣмъ невознагражденымъ. Его можно бы избѣгнуть назначеніемъ пенсіи за музейскую службу. Назначеніе и увеличеніе пенсій, и по основнымъ Законамъ, составляетъ прерогативу Монаршей власти. Но какъ доложить объ этой брошюре Государю Императору, я пока не знаю <...>».

XIII. Л. 509–510.

На конверте (л. 511): Прѣсня, у Горбатаго моста, Верхнепрудовая ул., свой домъ.

Его превосходительству Сергѣю Ивановичу Соболевскому.

24 Дек. 1909 (объ унив. дѣлахъ).

XIV. Л. 515–516.

На конверте (л. 517): Ессентуки, Терской области, дача Эльдорадо.

Его превосходительству Сергѣю Ивановичу Соболевскому.

19 Іюня 1910. Уходъ изъ министровъ. Отзывъ Корша обо мнѣ.

Корш Федор Евгеньевич (1843–1915) – филолог-классик и востоковед, профессор Московского и Новороссийского университетов, академик.

Виппер Роберт Юрьевич (1859–1954) – историк, профессор Новороссийского и Московского университетов, академик. В 1924 г. эмигрировал в Латвию; профессор Рижского университета (по 1940 г.). После присоединения Латвии к СССР вернулся в Москву. Отличался широтой интересов; писал труды по истории античной Греции, России, христианской церкви (докторская диссертация – «Церковь и государство в Женеве в XVI в. в эпоху кальвинизма», 1894 г.).

Месяц за год засчитывался защитникам Севастополя (*Керсновский А.А.* История русской армии. М., 1999. Т. 2.)

XV. Л. 640–641.

В конце письма карандашная приписка С.И. Соболевского:

εἰ δὲ θανόντων περ καταλήθοντ' εἰν Ἀΐδαο
αὐτὰρ ἐγὼ καὶ κεῖθι φίλου μεμνήσομ' ἑταίρου.
Ζητήσω σ' αἰεί· σὺ δέ γ' εἰ θέμις, ἐν φθιμένοισι
Τῆς Λήθης ἐπ' ἐμοὶ μή τι πίῃς ὕδατος!

Первые два стиха – цитата из «Илиады» (Il. XXII, 389–390 в переводе Н.И. Гнедича: «Если ж умершие смертные память теряют в Аиде, / Буду я помнить и там моего благородного друга»); вторая – из Палатинской антологии (AP VII, 346, 3–4: «Я всегда буду тебя искать; ты же, если это только возможно, среди умерших не пей летейской влаги, чтобы забыть обо мне!»).

Фортунатов Филипп Федорович (1848 –1914) – выдающийся филолог-языковед.

Миллер Всеволод Федорович (7 апреля 1848 – 5 ноября 1913) – языковед, этнограф, профессор Московского университета, директор Лазаревского института восточных языков (1897–1911), академик (с 1911 г.).

Кулаковский Платон Андреевич (26 июня 1848 – 18 декабря 1913) – филолог-славист, профессор славянских наречий Варшавского университета.

На конверте: Его Превосходительству Сергѣю Ивановичу Соболевскому.

Свой домъ, Верхне-прудовая ул. у Горбатаго моста, Прѣсня, Москва.

Послѣднее.

XVI. Л. 1–2. На конверте (Л. 3) надпись: Нижне-прудовая улица (против Зоологическаго сада), дом Соболевскаго.

Его Высокоблагородію Сергѣю Ивановичу Соболевскому.

А.В. Подосинов

О ЧТЕНИИ, ПЕРЕВОДЕ И ИЗДАНИИ ЛАТИНСКИХ АВТОРОВ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Хотя Николай Алексеевич Федоров преподает в высшей школе, его влияние на преподавание латинского языка в средней школе огромно, многосторонне и разнообразно, идет ли речь о воспитании будущих школьных учителей латыни, или о воздействии его методики преподавания, его учебных пособий на гимназические учебники, или о его участии в проведении Московских городских олимпиад по латинскому языку и античной культуре и т. д. Поэтому, когда в апреле 2005 г. во время открытия VIII Московской городской олимпиады в РГГУ я, предоставляя слово для приветствия участников олимпиады Николаю Алексеевичу, сопредседателю оргкомитета олимпиады, сказал несколько слов о личности и трудах Николая Алексеевича, подчеркнув, что бóльшая часть учителей, приведших своих воспитанников на олимпиаду, – его ученики, зал взорвался долгой бурной овацией. Это было признанием заслуг Николая Алексеевича и перед школьным преподаванием латинского языка.

Проучившись в МГУ пять лет латинскому языку у Николая Алексеевича (не будет преувеличением сказать – пять лет и всю жизнь), я постоянно в практике моего собственного преподавания и работы над учебными пособиями по латинскому языку возвращаюсь мысленно к тем незабываемым дням, месяцам, годам общения с Николаем Алексеевичем в университетской аудитории и невольно стараюсь быть похожим на своего Учителя, постоянно сверяясь с тем, как это делал или сделал бы Николай Алексеевич, хотя, конечно, преподавательская и человеческая высота, на которой находится Николай Алексеевич и которую он задает всем нам, представляется совершенно недосягаемой.

В настоящих заметках я хотел бы рассказать о некотором опыте преподавания латинского языка в средней школе, в котором, пожалуй, наиболее заметно влияние Николая Алексеевича, столь много времени и сил уделяющего чтению, переводу и комментированию латинских авторов.

Наш учебник, по которому мы преподаем латынь в школе[1], рассчитан на три года преподавания по два часа в неделю. И когда это происходит в трех старших классах, мы к концу школы успеваем пройти только три части учебника, включающие всю элементарную грамматику, и на чтение оригинальных латинских текстов времени не остается. Конечно, и наш учебник содержит фрагменты или целые произведения классических авторов (Катулла, Вергилия, Проперция, Овидия, Марциала, Цезаря, Цицерона и некоторых других), которые читаются и иногда заучиваются наизусть (это касается стихотворений). Но неторопливого («медленного») чтения античных авторов в большем объеме не получается. А ведь, как известно, именно такое чтение прививает вкус к филологии, приносит наибольший образовательный эффект, позволяет отрабатывать навыки работы с текстом.

В одной из школ, где я преподаю латынь (это так называемая Лига школ в Ясенево – № 1199), мне выделили необходимые для преподавания языка часы в 8–9-х классах. Эта ситуация, которая сначала мне не очень нравилась (хотелось учить более взрослых учеников), оказалась в итоге весьма благоприятной именно с точки зрения возможности продолжения курса латыни после прохождения обязательного. Наиболее талантливые и склонные к изучению языков ученики, не удовлетворясь пройденным элементарным курсом, потребовали продолжения латинских занятий, что вылилось в создание постоянно действующего в школе факультативного семинара «Античная литература на языке оригинала».

Этот семинар посещают учащиеся 10–11-х классов, его факультативность отсекает тех, кто равнодушен к латыни или недостаточно способен, а значит, в нем собираются действительно энтузиасты, с которыми можно плодотворно работать. В первые годы мы читали всего понемногу: то Понтийскую элегию Овидия,

[1] *Подосинов А.В., Щавелева Н.И.* LINGUA LATINA. Введение в латинский язык и античную культуру: Учебное пособие для гимназий, лицеев и школ с гуманитарным профилем. Ч. I–V. М., 1995–2002.

то несколько стихотворений вагантов, то фрагмент «Энеиды» Вергилия, то главки из «Записок о Галльской войне» Цезаря, то «Письмо к потомкам» Петрарки, то античные надписи, то «Пиноккио», – благо наша двухтомная «Хрестоматия латинских текстов», составляющая IV часть учебного комплекта, давала достаточно возможностей для этого.

Но в 2002/03 учебном году кто-то из учеников предложил прочитать за год что-нибудь одно, но большое и значимое. Выбор пал на Первую речь Цицерона против Катилины. Уже в начале работы мы решили фиксировать наш перевод на бумаге, что означало, что перевод должен был перейти из стадии интеллектуально-чувственного вживания в текст и его понимания в стадию вербального закрепления этого понимания. А это потребовало от всех огромных усилий по выработке терминологического аппарата, адекватного цицероновской речи, большого внимания к стилистической стороне перевода, владения русской речью, знакомства с теорией и практикой перевода и многих других навыков, которые и отрабатывались в процессе перевода. Кроме того, решено было попутно составлять краткий историко-филологический комментарий. Вскоре мы поняли, что, добавив некое вступление и латинский текст, мы сможем в конечном итоге опубликовать результат нашего труда (в школе есть возможность на средства и при технической поддержке родителей-спонсоров публиковать несколько раз в год альманахи с плодами творчества учащихся). Перспектива увидеть результаты нашего труда опубликованными, с одной стороны, здорово воодушевила участников семинара, с другой – заставила их ответственнее относиться к работе.

Итак, задачей семинара стало возможно более глубокое проникновение в язык и стиль речи Цицерона, освоение ее лексических, грамматических и риторических особенностей, изучение обстоятельств ее произнесения и исторической ситуации, сложившейся в Риме во время консульства Цицерона и заговора Катилины. Конечным итогом нашей работы должен был стать новый русский перевод речи.

Естественно, что в процессе коллективного перевода было много споров о его принципах. Мы все время пытались лавировать между сциллой неудобоваримого для русского уха буквализма и харибдой далекой от оригинального текста литературщины. Переводя текст, мы не пользовались другими переводами, но ког-

да работа была завершена, мы сравнили наш перевод с другими русскими переводами (В.А. Алексеева / Ф.Ф. Зелинского, В.О. Горенштейна и Т.В. Васильевой), потратив на это несколько заседаний семинара. Эта работа также была полезна: ребята прони-кались уважением и хорошей завистью к предшествующим переводчикам там, где их перевод был удачнее, и радовались, когда наш перевод оказывался лучше. В любом случае, это сравнение позволило уточнить наше понимание текста и убедиться в состоятельности нашего перевода.

Для написания вступительной статьи, в которой было три раздела – «Жизнь Цицерона», «Литературная деятельность Цицерона» и «Катилина и его заговор», участникам семинара пришлось прочесть литературу общего характера о Цицероне, что также было полезно для их развития и образования. Все тексты читались, обсуждались и корректировались коллективно во время заседаний семинара.

В результате в мае 2004 г. появилась симпатичная книжка[2], содержавшая введение, латинский текст речи, ее русский перевод, комментарии и список использованной литературы. На одной из страниц обложки была помещена фотография участников семинара – авторов книги (вот их имена: Оля Жиронкина, Павел Кострюков, Ася Плешивцева, Никита Проценко, Стас Федотов). Книга вышла перед выпускным вечером, и те участники семинара, которые заканчивали в том году школу, успели получить авторские экземпляры на вечере и могли приложить их к документам на поступление в вуз как свои печатные работы. В Приложении к настоящей статье я публикую перевод речи с комментарием – пусть это будет нашим подарком юбиляру.

Год спустя мы решили испытать свои силы в переводе поэтического текста и остановились на Вергилии. Выбор «Энеиды» Вергилия был не случаен: в рамках истории мировой литературы, читаемой в нашей школе, Вергилию отводится особое место, многие строки «Энеиды» выучиваются учениками наизусть, многие цитаты из Вергилия встречаются в курсе латинского языка, фрагменты его произведений помещены в «Хрестоматии латинских текстов», используемой для внеклассного чтения. Первая книга «Энеиды», которую мы избрали для перевода, содержит многие

[2] *Марк Туллий Цицерон.* Первая речь против Катилины / Под общ. ред. А.В. Подосинова. М.: Лига школ, 2004 (препринт).

важные для понимания всей поэмы сюжетные ходы, отличается драматичностью и красочностью действия, оказываясь тем самым вполне интересной и для школьников.

Как и в случае с Цицероном, принимаясь за перевод «Энеиды», мы быстро поняли, что было бы интересно помимо точного прозаического перевода, который мы практиковали во время семинарских занятий, попробовать сделать также поэтический перевод, упражняясь в построении гекзаметра. Это тоже было непросто, поскольку потребовались специальные занятия по просодии латинской поэзии, по теории и практике русского гекзаметра. За год мы смогли перевести таким образом и прокомментировать всего 158 строк первой песни «Энеиды», остановившись на прибытии Энея в Африку.

Опираясь на прошлый опыт, мы и в этот раз решили готовить наш перевод к школьному изданию вместе с латинским текстом, комментарием и вступительной статьей.

В качестве вступительной статьи мы поместили в нашу книжку статью крупнейшего знатока римской литературы в дореволюционной России, профессора Казанского университета Д. Нагуевского. Эта статья была опубликована в школьном издании первой песни «Энеиды» Вергилия, вышедшем в знаменитой в конце XIX – начале XX в. серии «Иллюстрированное собрание греческих и римских классиков с объяснительными примечаниями, под редакцией Льва Георгиевского и Сергея Манштейна». В какой-то степени возрождая традицию издания текстов античных авторов *ad usum scholarum*, мы, публикуя статью Д. Нагуевского, отдавали тем самым дань памяти замечательным ученым прошлого, не гнушавшимся писать для школьников и писавшим умно и доходчиво.

Над переводом и комментированием «Энеиды» работали участники семинара, ученики 9–11-х классов Оля Жиронкина, Родион Лозовский, Николай Маслов, Юрий Пеков, Слава Терешков. Кстати, некоторые из них были призерами московских городских олимпиад по латинскому языку и античной культуре. Иллюстрации к нашему переводу выполнила ученица «Лиги школ» Надежда Свенцицкая.

В этот раз в процесс подготовки книги включились некоторые преподаватели нашей школы: Борис Александрович Панов и Наталия Ивановна Цуцерова критически прочитали наш перевод и

сделали ряд ценных замечаний. Книжка вышла в мае 2005 г.[3] Наш перевод с комментарием также публикуется ниже в Приложении к статье.

В другой школе, где я преподаю латинский язык, – в Первой московской гимназии – вместе с преподавателем английского языка и завучем гимназии С.В. Арзуманян нам удалось в 2004–2005 гг. осуществить проект по созданию и публикации мультилингвального школьного словаря латинского языка, который составляли сами школьники, изучающие в гимназии латинский язык с 5 по 9 класс. Работа шла под девизом «Lingua Latina est mater linguarum Europae».

Известно, какой большой лингвистический и общекультурный интерес представляет словарная работа, которая ведется на каждом занятии и заключается в поиске в современных языках слов, происходящих из латинского языка (такие слова мы называем *дериватами*). Изучая латынь, ученики осознают, какое огромное лексическое и семантическое наследие получили от латыни современные языки, как романские, так и германские, и славянские. Это знакомство с латинскими дериватами существенно расширяет культурно-исторический и языковый горизонт учащегося, позволяет ему легко распознавать и тонко чувствовать интернациональную лексику и терминологию, успешнее изучать новые языки, лучше понимать свой собственный. Актуальность такой работы подтверждается, в частности, тем обстоятельством, что в последние годы почти одновременно были опубликованы две научные книги, посвященные судьбам латинского наследия в русском языке[4]. Наша книга представляет как бы детский, популярный, вариант этого направления.

Работа над дериватами выросла в составление схем, наглядно показывающих, как шло заимствование латинских слов современными языками. Изучение латинских афоризмов дало возможность показать жизнь изучаемых слов в контексте античной культуры, а художественная фантазия ребят позволила проиллюстрировать приводимые в словаре слова. Так образовалась струк-

---

[3] *Публий Вергилий Марон.* Первая книга «Энеиды» / Под общ. ред. А.В. Подосинова. М.: Лига школ, 2005 (препринт).

[4] *Воронков А.И., Поняева Л.П., Попова Л.М.* Латинское наследие в русском языке: Словарь-справочник. М., 2002; *Ильинская Л.С.* Латинское наследие в русском языке: Словарь-справочник. М., 2003.

тура нашего словаря. Для начала мы избрали около полусотни латинских слов, понимая, что эта работа может быть продолжена практически до бесконечности.

Структура каждой словарной статьи одинакова: после латинского афоризма, в котором встречается описываемое слово, идет само это слово с русским переводом. Иногда существительное дается в двух формах – именительного и родительного падежей, а глагол – в неопределенной форме и в форме супина (практически в форме причастия прошедшего времени страдательного залога); это делается для того, чтобы была видна основа слова, от которой происходят те или иные дериваты. Стрелки от латинского слова ведут к словам современных европейских языков, сначала это группа романских языков (итальянский, французский, португальский и испанский), затем – германских языков (нидерландский и немецкий), а несколько ниже – славянских языков (польский и русский). Как известно, романские языки выросли непосредственно из латыни, поэтому латинские слова хорошо представлены и легко узнаваемы в лексике этих языков. Из германских языков, как могут убедиться читатели нашего словаря, английский язык заимствовал наибольшее количество слов латинского происхождения, но и другие языки этой группы имеют много латинской лексики. То же можно сказать и о славянских языках, что наглядно видно из дериватов польского и русского языков. Таким образом, мы учли все основные группы европейских языков индоевропейской языковой семьи.

Следует сказать несколько слов о наших схемах и характере заимствования латинских слов в европейских языках. Конечно, большинство латинских слов входило в новые языки (особенно в славянские) не прямо, как показано стрелками на наших схемах, а через другие языки. Стрелки, связывающие латинский язык с другими языками, отражают только тот факт, что данное латинское слово присутствует также и в данном языке. В случаях безусловных мы отмечали непрямое происхождение слов из латыни (например, русское слово *компьютер*, произошедшее от английского слова *computer*, которое восходит, в свою очередь, к латинскому слову *computare* – «считать»). Но во многих случаях такие непрямые заимствования остаются неочевидными и спорными (см., например, о слове «педаль» в книге Л.С. Ильинской «Латинское наследие в русском языке»: «через итал. *Pedale* или же через франц. или нем., куда вошло из итал.»). Понятно, что проводить

собственное расследование или рисовать множество предположительных линий в такой ситуации невозможно.

Работа над нашим словарем имела и еще одну полезную сторону – она приучала учащихся пользоваться словарями. Для многих это была первая в жизни серьезная работа со словарем, ведь большинство слов нашего словаря надо было разыскивать в словарях разных, часто незнакомых языков, что поначалу было непросто. Кроме того, работа над дериватами латинского слова в разных языках довольно рельефно проявляла характер (часто закономерный) фонетических изменений оригинального слова, так что по материалам только нашего словаря можно давать задания по определению этих закономерностей.

Нижняя часть страницы содержит рисунок, иллюстрирующий данное латинское слово, часто спонтанный и бесхитростный, иногда карикатурно-озорной, иногда философский. Думается, в этой непрофессиональной спонтанности и непосредственности, вопреки мнению некоторых критиков, заключается большая доля привлекательности нашего издания. Кстати, все словарные статьи и рисунки авторские, т. е. указаны их авторы.

Издавая в 2004 г. первый выпуск словаря[5], мы надеялись, что наглядность отображения дериватов из латинского языка в нашем мультилингвальном (т. е. многоязыковом) словаре сделает книжку полезной для изучающих латинский язык в школе.

Отзывы на наш словарь – в основном положительные – побудили нас продолжить работу. В 2004/05 учебном году ученики нашей гимназии обработали еще более пятидесяти латинских слов, которые мы добавили к словам, изданным в первом выпуске. Красочные рисунки для обложки в первом и втором изданиях выполнили преподаватели живописи нашей гимназии М.Б. Корото и М.С. Циркина.

Итак, в 2005 г. вышло в свет второе, расширенное и исправленное издание словаря[6], содержащее наряду со старыми словами

---

[5] Латынь – мать европейских языков. Lingua Latina est mater linguarum Europae: Мультилингвальный школьный словарь. Составлен учащимися Первой московской гимназии / Под общ. ред. С.В. Арзуманян и А.В. Подосинова. М., 2004.

[6] Латынь – мать европейских языков. Lingua Latina est mater linguarum Europae: Мультилингвальный школьный словарь. Составлен учащимися Первой московской гимназии / Под общ. ред. С.В. Арзуманян и А.В. Подосинова. 2-е, расшир. и испр. изд. М., 2005.

50 новых слов, обработанных по той же схеме. Некоторые образцы словаря я привожу ниже в Приложении.

Нисколько не идеализируя положение классического образования в российской средней школе, я считаю, что существует много способов разнообразить занятия и делать привлекательным изучение латинского языка. Особенно эффективно проходят такие занятия, когда есть возможность создать (и издать) нечто, представляющее интерес и для других учащихся. В таких случаях творческая активность заметно возрастает и дает свои плоды.

Приложение

Первая речь Цицерона против Катилины

Перевод учеников «Лиги школ»
под руководством А.В. Подосинова

I. Доколе же, Катилина[1], ты будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго это твое неистовство будет над нами издеваться?[2] До какого предела[3] будет распространяться твоя разнузданная[4] дерзость? Неужели тебя нисколько[5] не трогают ни ночная охрана Палатина[6], ни городские дозоры, ни страх толпы, ни собрания[7] всех добропорядочных[8] граждан, ни особая защищенность[9] места заседания сената, ни выражение лиц[10] сидящих здесь людей? Ты не понимаешь, что твои замыслы известны? Ты не ви-

---

[1] **Catilina** – Цицерон неожиданно начинает речь обращением не к созванному им же сенату, а к Катилине, дерзко явившемуся на это заседание, хотя тот знал (или мог догадываться), что оно будет посвящено обсуждению и решительному осуждению его самого и его сторонников.

[2] **èludet** – выражение, заимствованное из гладиаторской борьбы, когда один ловко уклоняется (**eludit**) от ударов другого.

[3] **Quousque tandem... quam diu etiam... quem ad finem** – риторические вопросы введены синонимичными выражениями, но оратор умело варьирует их во избежание монотонности.

[4] **effrenata** – метафора, вызывающая перед слушателями образ коня, оборвавшего узду.

[5] **nihilne... nihil...** – прием, обратный предыдущему: вместо одинаковых по смыслу, но разных по форме выражений повторяется одно и то же слово перед каждым подлежащим (риторическая фигура *анафора*), проникая в слух и сознание присутствующих.

[6] **Palatii** – Палатинский холм – излюбленное место жительства знати, важный стратегический пункт города, при тревогах охранялся усиленной стражей.

[7] **concursus** – очевидно, перед храмом собралась толпа.

[8] **bonorum** – *vir bonus* в терминологии Цицерона – это «благонамеренный, добропорядочный гражданин».

[9] **munitissimus... locus** – Цицерон созвал сенат не в Гостилиевой курии, как обычно, а в храме Юпитера Статора на Палатинском холме под усиленной охраной.

[10] **ora vultusque** – фигура речи *гендиадис*: обозначение одного сложного понятия двумя синонимичными сочиненными между собой словами (см. *Грамм.* С. 124); здесь: «выражение лиц».

дишь, что твой заговор уже скован знанием о нем всех собравшихся здесь? Кто из нас, по-твоему, не знает, что ты делал прошлой ночью, что позапрошлой[11], где ты был, кого созывал на тайные собрания, какие решения принимал? (2) О времена, о нравы! Сенат это понимает, консул видит, а он еще жив! Жив? Более того, даже в сенат приходит[12], участвует в обсуждении государственных дел, глазами отмечает и обрекает на смерть[13] каждого из нас; мы же, мужи храбрые[14], кажется, достаточно делаем для государства, лишь избегая твоей ярости и уворачиваясь от твоих стрел. Давно уже[15], Катилина, нужно было тебя предать смерти по приказанию консула, на тебя следует наслать погибель, что ты уже давно[16] против нас замышляешь. (3) Вот ведь почтеннейший Публий Сципион[17], верховный жрец, будучи частным лицом, убил Тиберия Гракха[18], всего лишь пытавшегося расшатать устои государства, а

---

[11] **proxima ... superiore nocte** (abl. temporis) – Цицерон произносит речь 8 ноября (по современному исчислению), следовательно, *proxima nox* – с 7 на 8, а *superior* – с 6 на 7.

[12] **in senatum venit** – Катилина имел формальное право заседать в сенате, так как еще в 68 г. был претором, так что Цицерон негодует, имея в виду не юридическую, а моральную сторону дела.

[13] **notat et designat** – метафора, заимствованная из практики жрецов, которые намечали и клеймили (*notare*) животных, назначенных ими для жертвоприношения.

[14] **fortes viri** – ирония, что подчеркивается необычной постановкой прилагательного перед существительным.

[15] **iam pridem** – 21 октября, когда было вынесено постановление сената о введении чрезвычайного положения (см. ниже примеч. 22).

[16] **iam diu** – планы переворота Катилина начал строить еще в 66 г.

[17] **P. Scipio** – Публий Корнелий Сципион Назика, бывший консулом в 138 г., а в 133 г. – верховным жрецом и, следовательно, частным лицом, а не магистратом.

[18] **T. Gracchum** – Тиберий Семпроний Гракх, бывший в 133 г. народным трибуном, пытался провести ряд реформ с целью остановить разорение крестьянства и укрепить государство и армию. Значение Тиберия Гракха Цицерон намеренно преуменьшает, чтобы подчеркнуть особую опасность заговора Катилины, и прибегает для этого к эффектным, симметрично построенным периодам:

частное лицо	**pontifex maximus privatus** -	**nos, consules**	*высшие магистраты*
решительная акция	**interfecit**	**perferemus**	*выжидательная тактика*
всего лишь!	**T. Gracchum, mediocriter labefactantem statum rei publicae**	**Catilinam, orbem terrae... vastare cupientem**	*замахнулся на весь свет!*

Катилину, стремящегося опустошить весь мир убийствами и пожарами, мы, консулы, будем терпеть[19]? Я уже не буду говорить[20] о столь давних временах, когда, например, Гай Сервилий Агала своей рукой убил Спурия Мелия, задумавшего нововведения. Была, была[21] в этом государстве такая доблесть, что храбрые мужи суровыми наказаниями останавливали граждан, несущих гибель государству, рассматривая их как заклятых врагов. Есть у нас постановление сената[22] против тебя, Катилина, – грозное и серьезное; нет недостатка[23] ни в государственной мудрости, ни в решениях этого сословия, мы, мы, консулы, заявляю прямо, недостаточно решительны.

II. (4) Постановил когда-то[24] сенат, чтобы консул Луций Опимий следил за тем, чтобы государство не понесло никакого ущерба – не прошло и ночи, как был убит из-за некоторых подо-

---

[19] **...interfecit; ...perferemus** – чтобы больше оттенить контраст между судьбой Гракха и Катилины, Цицерон использует риторический прием *асиндетон* – опущение союзов между предложениями (см. *Грамм.* С. 124).

[20] **Praetereo** – риторическая фигура *умолчания* (aposiopesis, или praeteritio), состоящая в том, что оратор обещает обойти молчанием что-либо, но сейчас же об этом говорит и тем особенно привлекает внимание слушателей. Решив обойти молчанием весьма древние факты, Цицерон упоминает лишь один (*quod* – «то, как»), относящийся к 439 г. до н. э.: богатый римский всадник Спурий Мелий во время голода раздавал хлеб из своих запасов, чем снискал широкую популярность среди бедняков. Патриции расценили это как стремление к узурпации власти, и Гай Сервилий Агала, начальник конницы (помощник диктатора Цинцинната), убил на месте Мелия, отказавшегося явиться на суд.

[21] **fuit, fuit** и ниже **nos, nos** – *анафора* (см. *Грамм.* С. 123).

[22] **senatus consultum** [ultimum] – чрезвычайное сенатское постановление, которое сенат вынес, как сказано выше, 21 октября; его текст: Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat – «пусть консулы следят, чтобы республика не потерпела никакого ущерба»; согласно этой краткой традиционной формуле (legem brevem esse oportet!) консулы должны были назначить диктатора или сами облекались диктаторскими полномочиями; эти полномочия, однако, не были формально узаконены, а основывались на *mos maiorum* (обычай предков). Поэтому консула могли, по истечении срока консульства, привлечь к ответственности за превышение власти (что и случилось с Цицероном).

[23] **non deest** – *литота* (см. *Грамм.* С. 125).

[24] **quondam** – снова Цицерон ссылается на исторический прецедент: Луций Опимий, консул 121 г., облеченный диктаторскими полномочиями, способствовал тому, что был убит Гай Гракх, младший брат Тиберия, продолжавший его реформы.

зрений в мятеже Гай Гракх – человек, имевший знаменитого отца, деда, предков[25]; убит был со своими детьми и консуляр Марк Фульвий[26]. Таким же постановлением сената[27] государство было вверено консулам Гаю Марию и Луцию Валерию; разве государство отсрочило хотя бы на один день смертную казнь[28] народного трибуна Луция Сатурнина и претора Гая Сервилия? А мы вот уже двадцатый день[29] терпим, что острие сенатского постановления притупляется[30]. Ведь у нас есть такое же решение сената, поистине заключенное в протоколы, как меч, вложенный в ножны[31]; из этого постановления следует, что тебя, Катилина, нужно было немедленно убить. А ты живешь, и живешь, не укрощая своей дерзости, а распаляя ее. Желал бы я, отцы сенаторы[32], быть снисходительным, желал бы я[33] в такое опасное для государства время не показаться небрежным, но уже сам себя я обвиняю в бездеятельности и беспечности. (5) Военный лагерь разбит в Италии против римского народа на подступах к Этрурии[34], с

---

[25] **clarissimo patre, avo, maioribus** – отец Гая и Тиберия – Тиберий Семпроний Гракх – заслужил известность, дважды избирался консулом и получил два военных триумфа; дед с материнской стороны – Публий Корнелий Сципион Африканский Старший – знаменитый полководец во 2-й Пунической войне; Семпронии и Корнелии – два заслуженных старинных римских рода.

[26] **M. Fulvius consularis** – Марк Фульвий Флакк, консул 125 г. до н. э., народный трибун в 122 г., был убит вместе с сыновьями как сторонник Гая Гракха.

[27] **simili... consulto** – событие относится к 100 г., когда Луций Сатурнин и Гай Сервилий Главций прибегли к помощи вооруженных крестьян в борьбе за землю для них и хлеб для плебса.

[28] **mors ac... poena** – *гендиадис* (см. выше примеч. 10): «смертная казнь».

[29] **vicesimum... diem** – Цицерон округляет: 8 ноября – восемнадцатый день с 21 октября.

[30] **aciem hebescere** – метафора: строгость сенатского постановления уподобляется острию меча.

[31] **in vagina** – («в ножнах») продолжается метафора, уподобляющая сенатское постановление карающему мечу.

[32] **patres conscripti** – официальное обращение к сенаторам: сенат первоначально состоял из патрициев (*patres*), затем стал пополняться представителями знатнейших плебейских родов, приписанными (*conscripti*) к первым; здесь утрачен стоявший ранее союз *et*; другое объяснение: термин может означать просто «старейшины, занесенные в список».

[33] **cupio... cupio** – *анафора* (см. *Грамм.* С. 123).

[34] **in Etruriae faucibus** – у прохода, ведущего среди невысоких гор из Лация в Этрурию, невдалеке от города Фезул стояло лагерем войско катилинария Гая Манлия.

каждым днем растет число врагов; начальника[35] же этого лагеря и вождя врагов мы видим здесь в стенах Рима и даже в сенате, где он ежедневно изнутри замышляет погибель государству. Если я прикажу, чтобы тебя, Катилина, схватили, чтобы убили, то я верю, что мне надо будет опасаться скорее обвинений со стороны всех добропорядочных граждан в чрезмерной медлительности, чем со стороны кого-то в чрезмерной жестокости. На самом деле я по одной причине еще не готов к совершению того, что следовало бы совершить уже давно. Тогда только ты будешь убит, когда не найдется уже никого столь бесстыдного, столь пропащего, столь похожего на тебя, что станет утверждать, что это сделано не по закону. (6) До тех пор пока найдется хоть кто-то, кто осмелится тебя защищать, ты будешь жить, и жить будешь так, как живешь сейчас, сдерживаемый моими многочисленными и крепкими заслонами, с тем чтобы ты не смог выступить против государства. Кроме того, глаза и уши многих будут следить за тобой и контролировать тебя, даже не подозревающего слежки, как это до сих пор и происходило.

III. Так чего же ты еще, Катилина, ожидаешь, если ни ночь не может сокрыть своей тьмой нечестивые собрания, ни частный дом удерживать внутри своих стен голоса заговорщиков, если все становится явным и прорывается наружу? Изменись же, поверь мне и забудь об убийствах и пожарах. Ты окружен со всех сторон; яснее света нам все твои планы, которые мы могли бы сейчас с тобой припомнить. (7) Помнишь ли ты, как я сказал в сенате за 12 дней до ноябрьских календ[36], что Гай Манлий[37], спутник и помощ-

---

[35] **imperatorem** – злая ирония: это звание во время республики давалось как почетное выдающемуся полководцу.

[36] **a. d. XII Kal. Novembres** – 21 октября. В римском счислении дней месяца («за столько-то дней до календ, нон или ид») считался как обозначаемый день, так и тот, до которого шло счисление. Поэтому в русском переводе латинское выражение «за 12 дней до ноябрьских календ» иногда передается как «за 11 дней», поскольку обозначаемый день в русском языке обычно не входит в подсчет дней. В своем переводе мы оставляем число дней латинского оригинала, каждый раз отмечая в комментарии, о каком дне современного календаря идет речь.

[37] **C. Manlium** – Гай Манлий, был центурионом в войске Суллы и получил от него землю в Фезулах. Один из ближайших соратников Катилины, готовившийся выступить на его стороне в Этрурии. Погиб в последнем сражении против правительственных войск при Пистории в начале января 62 г. вместе с Катилиной.

ник твоей дерзости, возьмется за оружие в определенный день, а день этот будет за 6 дней до ноябрьских календ[38]? Разве я ошибся, Катилина, назвав не только само событие, столь жестокое и столь невероятное, но и его дату, что еще более поразительно? Не я ли сказал в сенате, что ты назначил убийство лучших людей на день за 5 дней до ноябрьских календ, тогда, когда многие влиятельные в государстве люди бежали из Рима не столько ради собственного спасения, сколько для противодействия твоим замыслам[39]? Разве ты можешь отрицать, что ты как раз в этот день благодаря принятым мною мерам и моим стараниям не смог выступить против государства, говоря, что, коль скоро прочие бежали, ты удовлетворишься нашей смертью, – смертью тех, кто остался в городе? (8) Ну и что? Когда ты собирался в сами ноябрьские календы захватить ночным штурмом Пренесте[40], разве ты не почувствовал, что эта колония укреплена именно по моему приказанию гарнизонами, часовыми, ночными патрулями? Все, что ты делаешь, все, что ты затеваешь, все, что ты замышляешь, я не только тотчас слышу, но и вижу и даже как бы ощущаю.

IV. Наконец, припомни со мною ту позавчерашнюю ночь[41], и ты поймешь, что я с бóльшим рвением забочусь о благополучии государства, чем ты о его погибели. Я утверждаю, что позапрошлой ночью ты пришел к «Серповщикам»[42] и – не буду скрывать – в дом Марка Леки[43]; туда же пришли многочисленные сторонники того же безумного преступления[44]. Неужто ты осмелишься отрицать это? – Что же ты молчишь? Я разоблачу твою ложь, если ты станешь отрицать это. Ведь я вижу, что здесь в сенате есть

---

[38] **a.d. VI Kal. Novembres** – 27 октября.

[39] **sui conservandi... tuorum consiliorum reprimendorum** – Цицерон иронизирует над панически настроенными оптиматами, которые бежали, оказывается, не для самосохранения, а для того, чтобы помешать замыслам Каталины.

[40] **Praeneste** – Пренесте, древний город в Лации в 30 км к юго-западу от Рима.

[41] **noctem... superiorem** и дальше **priore nocte** – как было сказано выше, ночь с 6 на 7 ноября (это устанавливается по речи Цицерона «За Суллу»).

[42] **inter falcarios** – название улицы, его обычно переводят «У серповщиков», «Серповщики»: *falcarius* – кузнец, изготовляющий именно серпы (falx) и косы.

[43] **M. Laecae** – Марк Порций Лека, катилинарий, принадлежавший к одному из лучших родов Рима.

[44] **amentiae scelerisque** — *гендиадис* (см. *Грамм.* С. 124).

люди, которые были там с тобою. (9) О бессмертные боги! В какой стране мы находимся? В каком городе мы живем? Какое у нас государство? Здесь, здесь среди нас, отцы сенаторы, в этом священнейшем и достойнейшем в мире совете находятся те, кто замышляет убийство всех нас, гибель этого города и даже всего мира! Я, консул, их вижу и спрашиваю их суждения о делах государства и тех, кого уже давно следовало пронзить оружием, не смею даже ранить словом! Итак, ты был, Катилина, в ту ночь у Леки; ты разделил на части Италию; ты решил, куда каждый должен отправиться; ты выбрал тех, кого ты оставляешь в Риме, а кого с собой выведешь из города; ты наметил части города для сожжения; ты подтвердил, что сам уже скоро уедешь; ты сказал, что некоторой помехой является теперь то, что я еще жив. Тут же нашлись двое римских всадников[45], которые захотели освободить тебя от этой заботы и пообещали убить меня в собственной постели этой самой ночью незадолго до рассвета. Обо всем этом я узнал, как только ваше сборище было распущено. (10) Я с бóльшей тщательностью укрепил и защитил свой дом, я не принял тех, кого ты послал приветствовать[46] меня утром, потому что пришли как раз те[47], чей приход именно в это время я предсказал многим высокопоставленным лицам.

V. Поскольку это так, Катилина, продолжай начатое, покинь, наконец, город; ворота открыты: отправляйся в путь! Заждались тебя – своего полководца – в твоем Манлиевом лагере. Выведи с собой и всех своих сообщников, или, если не всех, то как можно больше; очисти город! От большого страха ты меня освободишь, лишь когда между мной и тобой окажется стена. Ты больше не можешь находиться среди нас; я этого не перенесу, не потерплю, не допущу[48]. (11) Велика должна быть благодарность бессмертным

---

[45] **Duo equites Romani** – Саллюстий рассказывает о всаднике Гнее Корнелии и сенаторе Луции Варгунтее, которые должны были убить Цицерона («Заговор Катилины», гл. 28).

[46] **salutatum** – в Риме был обычай приходить с утренним приветствием к видным гражданам (клиенты к патронам).

[47] **illi ipsi** – «как раз те» лица, о которых стало известно Цицерону от его осведомителей; среди них была некая знатная женщина Фульвия, о чем упоминает Саллюстий в 23-й главе своего сочинения о заговоре Катилины.

[48] **non feram, non patiar, non sinam** – риторическая фигура *асиндетон* (см. *Грамм.* С. 124).

богам и вот ему[49] – самому Юпитеру Статору – древнейшему защитнику этого города, за то, что мы смогли столько раз избежать столь отвратительной, столь ужасной и столь опасной для государства заразы. Но не следует более подвергать опасности высшие интересы государства по вине одного человека. Когда ты, Катилина, строил мне козни, пока я был консулом-десигнатом[50], я защищался, не прибегая к общественным средствам защиты, но исходя из собственных возможностей. Когда ты захотел на последних комициях по выбору консулов[51] убить на Марсовом поле меня, уже консула, и своих соперников по выборам[52], я подавил твои нечестивые происки[53] с помощью и на средства друзей, не поднимая официально тревоги; наконец, сколько бы ты ни посягал на мою жизнь, я противостоял тебе самостоятельно, хотя и видел в моей смерти великую опасность для государства. (12) Теперь же ты открыто посягаешь на все государство, на храмы бессмертных богов, на городские дома, на жизнь всех граждан, наконец ввергаешь всю Италию в погибель и разорение. Так как я пока не осмеливаюсь сделать то, что следовало бы сделать в первую очередь и что соответствовало бы нашему государственному устройству, завещанному предками, то я, пожалуй, сделаю то, что, с одной стороны, будет не слишком жестоко, с другой – будет весьма полезно для общественного блага. Ведь если я прикажу тебя убить, то в государстве останутся еще и прочие заговорщики; а если же ты уйдешь, к чему я давно уже тебя побуждаю, то за тобой из города последуют все твои сообщники – эти многочисленные и опасные для государ-

---

[49] **huic ipsi Iovi Statori** – Цицерон показывает на статую Юпитера Статора, находившуюся в храме Юпитера, где шло заседание сената. Название *Stator* объясняется тем, что по легенде Юпитер *остановил* (*sistebat*) бегство римского войска во время войны с сабинянами, за что Ромул и построил храм Юпитера Статора.

[50] **consuli designato** – консулом-десигнатом называли человека, уже избранного консулом, но еще не приступившего к исполнению своих обязанностей. Имеется в виду избрание в конце 64 г. Цицерона консулом на 63 г.

[51] Имеются в виду центуриатские комиции, которые Цицерон созвал 28 октября 63 г. до н. э. на Марсовом поле, чтобы избрать новых консулов.

[52] **competitores** – соискателями на должность консулов и соперниками Катилины были избранные на 62 г. консулами Децим Юний Силан и Луций Лициний Мурена, а также Сервий Сульпиций Руф, в последний момент отказавшийся от соискательства.

[53] Плутарх рассказывает, что Цицерон явился в этот день на комиции в панцире под тогой и в сопровождении охраны, чтобы показать всем, какую опасность представляет собой Катилина (*Плутарх*. Цицерон, 14, 3).

ства подонки. (13) Ну так что, Катилина? Неужели ты медлишь совершить по моему приказу то, что ты и сам собирался сделать? Консул приказывает врагу уйти из города. Ты спрашиваешь меня, означает ли это ссылку? Я не приказываю[54], но, если тебя интересует мое мнение, советую.

VI. Что же, Катилина, может еще удерживать тебя в этом городе, где тебя все боятся и ненавидят, кроме этой твоей кучки отпетых заговорщиков? Какое позорное клеймо еще не выжжено на твоей личной жизни? Какое бесчестие в личных делах не отягощает твоей репутации? Какой похоти не знали твои глаза, к какому преступлению не тянулись твои руки, к какому омерзительному деянию не было причастно все твое тело? Есть ли среди молодых людей, которых ты завлек в сети приманками соблазна, такие, кому ты не совал в руки оружие для дерзких преступлений и не подталкивал к разврату? (14) А что ты ответишь на это? – Когда недавно ты освободил свой дом для нового брака, убив свою предыдущую жену[55], разве ты не усугубил этого преступления еще и другим невероятным преступлением[56]? Но об этом я не стану говорить и охотно соглашусь обойти молчанием, чтобы не показалось, что в этом городе столь ужасное преступление, будучи обнаруженным, осталось безнаказанным. Я не стану также говорить о твоем разорении, неизбежность которого ты ощутишь в ближайшие иды[57]; я перехожу к тому, что относится не к твоей позорной и

---

[54] Уклончивость ответа Цицерона на возможный вопрос Катилины связана с тем, что римские граждане, состоявшие под судом, имели право до решения суда отправиться в добровольное изгнание. Катилина же официально еще не состоял под судом.

[55] **superioris uxoris** – об убийстве Катилиной своей предыдущей жены сообщает только Цицерон.

[56] **alio incredibili scelere** – Цицерон намекает здесь на убийство Катилиной собственного сына, о чем рассказывает Саллюстий: «Впоследствии его (т. е. Катилину) охватила любовь к Аврелии Орестилле, в которой, кроме ее красоты, человек порядочный похвалить не мог бы ничего; но так как она, боясь иметь взрослого пасынка, не решалась вступать с ним в брак, Катилина (в этом не сомневается никто), убив сына, освободил дом для преступного брака» («Заговор Катилины», гл. 15).

[57] **proximis Idibus** – Цицерон предрекает финансовый крах Катилине в ближайшие иды (13 ноября), так как именно в иды каждого месяца кредиторы предъявляли своим должникам претензии; предполагается, что, узнав о крахе заговора Катилины, все кредиторы предъявят к нему свои иски и это приведет его к разорению.

порочной частной жизни, не к твоим личным трудностям и бесчестию, а ко всему государству и к жизни и благополучию всех нас. (15) Разве доставляет тебе удовольствие, Катилина, оставаться в этом городе и дышать его воздухом, коль скоро ты знаешь, что все, здесь находящиеся, знают, как ты накануне январских календ[58] в консульство Лепида и Тулла стоял на комиции с оружием в руках, готовил шайку для убийства консулов и первых людей государства, и при этом помешали твоему безумному преступлению не какой-то твой здравый смысл или страх, но удача римского народа. Но и об этом я умолчу (ведь и позже ты совершил много всем известных преступлений). Сколько раз ты пытался убить меня, когда я был консулом-десигнатом, и сколько раз, когда действующим консулом. Сколько раз я увертывался одним только, как говорится, ловким телодвижением от твоих выпадов[59], задуманных так, что, казалось, от них невозможно уклониться! Хотя все твои действия, все старанья, все замыслы оказались напрасны, ты, однако, не отказываешься от своих происков и намерений. (16) Как часто ты ронял свой кинжал, как часто по воле случая он выпадал и выскальзывал из твоих рук! Однако ты не можешь обходиться без него; я не знаю, какими таинствами был освящен этот кинжал, но думаю, что это было совершено, коль ты считаешь, что его необходимо вонзить в тело консула.

VII. Ну и какова же теперь[60] твоя жизнь[61]? Ведь теперь так я с тобой буду говорить, чтобы ясно было, что мною движет не ненависть, как следовало бы, но милосердие[62], которого ты вовсе не заслуживаешь. Вот ты пришел сегодня в сенат. Кто из столь многочисленного собрания, из стольких твоих друзей и близких тебя поприветствовал? Такого не случалось еще ни с кем на че-

---

[58] **pridie Kalendas Ianuarias** – 31 декабря 66 г. в консульство Тулла и Лепида. В этот день Катилина готовил покушение на консулов 65 г. Луция Котту и Луция Торквата (подробнее см.: *Саллюстий*. Заговор Катилины. Гл. 18).

[59] **parva declinatione et... corpore effugi** – Цицерон прибегает здесь к терминологии фехтования.

[60] **Nunc** – т. е. после раскрытия заговорщицких планов Катилины.

[61] **...vita** – перенос подлежащего на необычное место, в конец предложения, должен был привлечь особое внимание слушателей.

[62] **non odio... sed misericordia** – из риторических соображений Цицерон притворно выражает некоторую жалость к врагу отечества ввиду его безвыходного положения. Начинается ряд полных пафоса риторических вопросов.

ловеческой памяти; и ты ожидаешь, что кто-то возвысит свой голос в твое осуждение, хотя ты уже уничтожен молчанием – этим суровейшим приговором? А что ты думаешь по поводу того, что с твоим приходом эти скамьи вокруг тебя опустели и что консуляры[63], которых ты не раз приговаривал к смерти, стоило тебе к ним подсесть, покинули все до одного[64] эту часть зала? Как, по-твоему, следует воспринимать это? (17) Право же, если бы мои рабы так же меня боялись, как тебя боятся твои сограждане, то я бы счел необходимым покинуть свой дом; а ты не считаешь нужным покинуть город? И если я увидел бы, что мои сограждане без оснований подозревают меня в весьма серьезных преступлениях и смотрят на меня недоброжелательно, то я предпочел бы удалиться от их враждебных взглядов, чем быть на виду у них всех. А ты, хотя признаешь свою вину и соглашаешься с тем, что всеобщий гнев справедлив и давно тобой заслужен, не спешишь бежать с глаз долой от тех, чьи мысли и чувства ты оскорбляешь? Если бы родители тебя боялись, а близкие ненавидели, и ты никоим образом не мог бы добиться их расположения, то ты бы удалился куда-нибудь с их глаз, не так ли? Теперь же родина – наша общая мать[65] – ненавидит тебя и боится и давно уже считает, что ты ни о чем не помышляешь, кроме как о ее убийстве; и ты не устрашишься ее весомого мнения, не подчинишься ее приговору, не убоишься ее силы? (18) Так она обращается к тебе, Катилина, и неким образом молча говорит[66]:

«Уже несколько лет не совершается ни одного преступления, в котором ты не был бы замешан, ни одно бесчестное деяние, в котором бы ты не участвовал; тебе одному сходили с рук убийства[67] многих граждан, лишь ты мог безнаказанно притеснять и грабить[68] союзников; всю свою жизнь ты не только презирал законы и суды, но и делал все, чтобы их ниспровергнуть и уничтожить. Те твои прежние деяния, хотя и они были непроститель-

---

[63] **consulares** – консуляры – бывшие консулы, члены сената.

[64] **nudam atque inanem** – *гендиадис* (см. *Грамм.* С. 124).

[65] **nunc... patria, quae communis est parens** – Цицерон прибегает здесь к риторической фигуре олицетворения (*персонификации*, см. *Грамм.* С. 126).

[66] **tacita loquitur** – риторический оборот речи *оксюморон* (*Грамм.* С. 125).

[67] **neces** – Цицерон намекает на деятельное участие Катилины в расправе сторонников Суллы с последователями Мария.

[68] **vexatio direptioque sociorum** – намек на притеснения населения и лихоимство, допущенные Катилиной в бытность его пропретором в Африке в 67 г. до н. э.

ны, я, как могла, стерпела; теперь же я не буду терпеть того, что я пребываю в постоянном страхе, коего ты – единственная причина, что при малейшем шорохе следует опасаться Катилины и что в любом злом умысле против меня не обходится, как мне кажется, без твоего участия. Поэтому уйди и избавь меня от этого страха; чтобы я осталась жива, если он имеет основания, а если нет, то чтобы я хоть когда-нибудь перестала бояться».

VIII. (19) Если бы родина говорила с тобой так, как я сказал, то разве она не должна была добиться этого, даже не имея возможности применить силу? Ну а как ты объяснишь то, что ты сам себя сдал под арест, что ты во избежание подозрений заявил, что хочешь жить у Мания Лепида[69]? Не принятый им, ты посмел явиться даже ко мне и попросил держать тебя под стражей в моем доме. Когда же ты и от меня получил ответ, что я никоим образом не могу быть в безопасности с тобой в стенах одного дома, коль скоро я сильно рискую, находясь с тобой в стенах одного города, ты пришел к претору Квинту Метеллу[70]. Отвергнутый им, ты перебрался к своему приятелю, достойнейшему мужу Марку Метеллу[71], которого ты, очевидно, посчитал самым усердным в надзоре, самым проницательным в раскрытии твоих замыслов и самым суровым в пресечении их. Но насколько же близок должен быть тюрьме и кандалам тот, кто сам себя объявляет достойным содержания под стражей!

(20) Коль скоро это так, Катилина, если уж ты не можешь мужественно расстаться с жизнью, что ж ты медлишь уйти в другие страны и вести свою жизнь, спасенную от заслуженного и справедливого возмездия, в изгнании и уединении? Ты скажешь: «Вынеси это на обсуждение сената», ведь ты этого требуешь и говоришь, что если это сословие постановит изгнать тебя из Города, ты подчинишься. Я этого не сделаю, поскольку это противоречит моим взглядам[72], и, однако, я добьюсь того, чтобы ты понял, какого

---

[69] **ad M'. Lepidum** – Маний Эмилий Лепид был консулом в 66 г. до н. э.

[70] **ad Q. Metellum** – Квинт Метелл Целер был претором этого года и активно участвовал в подавлении заговора Катилины (см. *Саллюстий.* Заговор Катилины. Гл. 30).

[71] **ad M. Metellum** – Марк Метелл из других источников не известен.

[72] **abhorret a meis moribus** – Цицерон хочет представить дело так, что это его собственная гуманность мешает ему заставить Катилину отправиться в изгнание. На самом деле он не имел правовых оснований для такого действия, так как вопрос об изгнании римского гражданина решался в Риме только на народном собрании или на суде, а вовсе не в сенате.

они о тебе мнения. Уйди из Города, Катилина, освободи государство от страха, отправляйся в изгнание, если этого слова ты ожидаешь. Так что ж, Катилина? Разве ты не замечаешь, разве ты не обращаешь внимание на их молчание? Они терпят – молчат. Зачем ты ожидаешь высказанного вслух приговора, если ты и так прекрасно видишь, что означает их молчание? (21) А ведь если бы я то же самое сказал вот этому замечательнейшему юноше Публию Сестию[73] или доблестному мужу Марку Марцеллу[74], то на меня – на консула! – в этом самом храме сенат с полным правом сейчас же наложил бы свою карающую десницу. По отношению же к тебе, Катилина, они, бездействуя, одобряют, терпя, выносят приговор, сохраняя молчание, вопиют; и не только сенаторы так поступают, чье решение тебе якобы дорого, а жизнь ничего не стоит, но и римские всадники, достойнейшие и наилучшие мужи и прочие доблестные граждане, которые сейчас окружают сенат; несколько ранее ты имел возможность увидеть их многочисленность, ощутить их настроения, услышать их голоса. Я давно уже едва сдерживаю их кулаки и оружие, направленные против тебя; и их же я легко склоню к тому, чтобы они торжественно довели тебя до ворот[75], когда ты решишься покинуть то место, которое ты уже давно стремишься разорить.

IX. (22) Впрочем, к чему я это говорю? Разве сломит чтонибудь твое упорство? Разве исправишься ты когда-нибудь? Разве задумываешься ты о какой-нибудь ссылке? О, если бы бессмертные боги сумели[76] внушить тебе эту мысль! Однако я вижу, что если ты, устрашенный моей речью, решишься отправиться в изгнание, какая буря ненависти будет угрожать мне, если не теперь, когда свежа еще память о твоих преступлениях, то, во всяком случае, в будущем. Но я иду на это, лишь бы беда, от тебя происходящая, коснулась только меня, а не представляла опасности для государства. Но нельзя же требовать от тебя, чтобы ты усты-

[73] **P. Sestio** – Публий Сестий занимал в то время должность квестора и был сторонником Цицерона.

[74] **M. Marcello** – Марк Марцелл был позже (в 51 г.) избран консулом.

[75] **usque ad portas prosequantur** – ирония этого выражения заключается в том, что обычно до городских ворот торжественно провожали полководцев, отправлявшихся на войну.

[76] **duint** – архаическая форма оптатива от глагола *dare*, оставшаяся ко времени Цицерона почти исключительно в молитвах и заклинаниях.

дился своих пороков, чтобы ты устрашился законного наказания, чтобы ты умерил свои притязания, когда государство в затруднении. Ведь ты, Катилина, не таков, чтобы тебя когда-нибудь или стыд отвратил от позорных деяний, или страх от опасных затей, или здравый смысл от безумных поступков. (23) Поэтому, как я уже много раз говорил, уезжай и прямой дорогой отправляйся в изгнание, если ты хочешь возбудить ненависть ко мне – к твоему, как ты заявляешь, врагу; трудно мне будет вытерпеть пересуды людей, если ты это сделаешь; трудно мне будет вынести груз твоей ненависти, если ты уйдешь в игнание по приказу консула. Если же ты предпочитаешь послужить моему прославлению, выйди из города со своей командой наглых преступников, отправляйся к Манлию[77], подстрекай пропащих граждан, отделись от добропорядочных, объяви войну родине, упивайся своим нечестивым разбоем, так чтобы стало ясно, что ты ушел в изгнание не выброшенный мной к чужим людям, но приглашенный к своим. (24) Впрочем, зачем я тебя приглашаю уйти; ведь я знаю, что ты уже послал своих вооруженных людей ждать тебя у Аврелиева форума[78]; я знаю, что ты уже твердо условился с Манлием о сроках; я знаю, что уже выслан вперед тот знаменитый серебряный орел[79], который, как я верю, будет гибельным и пагубным для тебя и твоих союзников и для которого в твоем доме было установлено святилище, вдохновляющее тебя на преступления. Ведь разве ты можешь долго оставаться без орла, которого ты всегда так благоговейно почитал, отправляясь на убийство, и с алтаря которого ты так часто направлял свою нечестивую десницу на смерть сограждан?

X. (25) Ты все-таки когда-нибудь уйдешь туда, куда уже давно влекла тебя эта твоя разнузданная, бешеная страсть; и ведь не страдания приносит тебе это дело, но какое-то невероятное наслаждение. Для этого безумия природа тебя породила, воля воспитала, судьба сохранила. Все, к чему ты так страстно стремился, будь то в мирное или в военное время, всегда было нечестивым.

---

[77] **ad Manlium** – о Гае Манлии см. выше примеч. 37.

[78] **ad Forum Aurelium** – Аврелиев форум – небольшое торговое место в Этрурии на Аврелиевой дороге, соединявшей Рим с Пизой.

[79] **aquilam illam argenteam** – по преданию, этот серебряный орел находился в войске Мария во время войны с кимврами. Согласно Саллюстию, в последней битве при Пистории Катилина сражался под этим орлом («Заговор Катилины», гл. 59).

Тебе удалось сколотить шайку злодеев, составленную из людей пропащих и лишенных не только состояния, но и надежды. (26) Как ты будешь радоваться среди них, каким восторгом переполняться! Как ты будешь наслаждаться в своих вакханалиях, не найдя средь стольких своих товарищей ни одного порядочного мужа! Для поддержания этого образа жизни и служат эти твои так называемые подвиги: ты можешь лежать на голой земле не только для удовлетворения низких страстей, но и для совершения преступления, бодрствовать, злоумышляя не только против сна мужей, но и против имущества беспечных сограждан. Тебе есть, где проявить эту твою хваленую способность[80] переносить голод, холод и всяческие лишения; вскоре ты почувствуешь их губительное воздействие на себе. (27) Только того я и достиг, помешав твоему избранию консулом, что ты можешь теперь терзать государство скорее как изгнанник, чем как избранник, а также, что преступно задуманное тобою называется не войной, а разбоем.

XI. Теперь, отцы сенаторы, чтобы были окончательно отклонены от меня некие справедливые, вероятно, сетования родины, обратите, пожалуйста, особое внимание на то, что я скажу, и глубоко запечатлейте это в ваших душах и умах. Если бы родина, которая мне много дороже моей жизни, если бы вся Италия, если бы все государство в целом заговорили со мной, вот что они сказали бы[81]:

«Марк Туллий, что ты делаешь? Неужели ты тому, в ком ты распознал врага отечества, в котором ты видишь предводителя грядущей войны и о котором ты знаешь, что в стане врага его ожидают как полководца, этому зачинщику преступления, главе заговора, подстрекателю рабов и падших сограждан позволишь уехать, так что может показаться, что не из города он тобой выслан, но, наоборот, в город заслан? Неужели ты не прикажешь бросить его в оковы, осудить на смерть и подвергнуть самой жестокой казни? (28) Что же тебе препятствует это сделать? Обычаи предков? Но ведь они часто в этом государстве, даже будучи частными лицами, предавали смерти погибельных для государства граждан[82].

---

[80] **praeclaram patientiam famis, frigoris, inopiae rerum omnium** – также и Саллюстий отмечает, что «телом он был невероятно вынослив в отношении голода, холода, бодрствования» («Заговор Катилины», гл. 5).

[81] **Loquatur** – о риторической фигуре *персонификации* см. *Грамм.* С. 126.

[82] **privati... morte multarunt** – пример этого был приведен выше (см. об убийстве Тиберия Гракха Публием Сципионом в I, 3).

Законы, которые были приняты по поводу наказаний римских граждан[83]? Но в этом городе всегда те, кто поставили себя вне государства, теряли гражданские права. Или ты боишься ненависти потомков? Велика же будет твоя благодарность римскому народу, который тебя, человека известного лишь своими личными заслугами[84], столь рано[85] вознес по всем ступеням должностной лестницы к вершине власти при полном отсутствии у тебя знатных предков, коль ты пренебрегаешь благополучием твоих сограждан, боясь ненависти или каких-то опасностей. (29) Но даже если и существует какой-то страх перед ненавистью, то ненависть, вызванная строгостью и мужеством, не так страшна, как вызванная бездействием и леностью. Неужели ты думаешь, что не сгоришь в пожаре ненависти, когда Италия будет опустошена войной, города разграблены, дома сожжены?»

XII. Я кратко отвечу этим священным речам государства и мыслям тех людей, которые придерживаются того же, что и я, мнения. Я, отцы сенаторы, если бы счел наилучшим предать Катилину смерти, не дал бы этому разбойнику и часу жизни. Ведь если почтенные люди и именитые граждане кровью Сатурнина, Гракхов, Флакка[86] и многих других их предшественников себя не только не запятнали, но даже прославили, то уж, конечно, мне не следует опасаться того, что, лишив жизни этого нечестивого убийцу сограждан, я вызову какую-то ненависть к себе. Но даже если бы эта ненависть мне действительно угрожала, то я всегда был того мнения, что ненависть, порожденная мужеством, – вовсе не ненависть, а слава. (30) Хотя есть в этом сословии люди, которые или же не видят здесь угрозы, или же видят, но притворяются, что не видят; люди, которые вскормили надежды Катилины мягкостью своих суждений и укрепили только зарождавшийся

---

[83] **leges, quae... rogatae sunt** – имеются в виду законы Валерия, Порция и Семпрония, согласно которым запрещалось казнить или бить римских граждан.

[84] **hominem per te cognitum** – Цицерон принадлежал к так называемым *homines novi* – «новым людям», которые достигли высокого положения в обществе своими собственными заслугами, а не из-за знатности своих предков. Цицерон, чьи родители не блистали старинностью и знатностью своего рода, очень гордился своей карьерой.

[85] **tam mature** – Цицерон стал претором на 40-м, а консулом – на 43-м году своей жизни.

[86] **Saturnini et Gracchorum et Flacci** – см. о них выше в I, 3 и II, 4.

заговор своим неверием в его существование. Основываясь на их мнении, многие, не только люди порочные, но и неискушенные, скажут, вероятно, что если бы я его наказал, то это было бы деяние жестокое и тираническое. Теперь я понимаю, что если он придет туда, куда собирается, – в лагерь Манлия, то не найдется никого столь глупого, чтобы не видеть, что заговор составлен, и никого, столь беспечного, чтобы это отрицать. Если же его одного убить, то я понимаю, что тем самым можно на некоторое время подавить, но нельзя раздавить окончательно эту заразу для государства. А если же он уберется из этого города и уведет с собой своих приспешников, а прочих отовсюду сошедшихся пропащих людей соберет в одно место, то будет окончательно уничтожена не только эта, столь развившаяся зараза государства, но и корень и семя всех зол.

XIII. (31) И ведь уже давно, отцы сенаторы, мы живем среди опасностей и заговоров, но я не знаю, каким образом все эти преступления, застарелая ярость и дерзость созрели и проявились во время нашего консульства. Ведь если из всей этой бандитской шайки убить только одного его, то, может быть, на короткое время покажется, что мы освободились от заботы и страха, однако опасность останется и будет таиться глубоко в жилах и во всем организме государства. Подобно тому как тяжелобольные люди, терзаемые жаром и лихорадкой, выпив ледяной воды, чувствуют сначала облегчение, а потом впадают в гораздо более тяжелое состояние, так и эта болезнь нашего государства, ослабев от наказания Катилины, еще более усилится из-за прочих его сотоварищей, оставшихся в живых. (32) Поэтому пусть порочные люди уйдут, пусть отделят себя от порядочных, пусть соберутся в одно место, отгородятся, наконец, от нас городской стеной, как я уже часто говорил; пусть они прекратят строить козни консулу в его собственном доме, толпиться вокруг трибунала городского претора[87], с мечами в руках осаждать курию[88], готовить зажигательные стрелы и факелы для поджога города, пусть будет, наконец, написано на лбу у каждого, что он думает о государстве. Я обещаю вам, отцы

[87] **circumstare tribunal** – Цицерон имеет в виду трибунал (четырехугольное возвышение для должностного лица) на форуме, где восседал в своем курульном кресле городской претор, рассматривавший судебные дела.

[88] **curiam** – имеется в виду Гостилиева курия, в которой обычно устраивались заседания сената.

сенаторы, что мы, консулы, будем столь усердны, ваше мнение – столь весомо, римские всадники столь доблестны, а все добропорядочные люди столь единодушны, что вы и сами увидите: после отъезда Катилины все его преступления будут обнаружены, выявлены, подавлены и наказаны.

(33) С таким вот напутствием отправляйся, Катилина, на свою безбожную и нечестивую войну, и это будет сопряжено с наивысшим благом для государства, с твоей полной погибелью и уничтожением тех, кто связан с тобой всевозможными преступлениями и убийствами. Ты, Юпитер, который был поставлен[89] здесь Ромулом тогда же и по тем же предсказаниям, по которым был основан Рим[90], и которого мы справедливо называем Защитником[91] этого города и всей державы, не позволяй Катилине и его приспешникам приближаться к твоим алтарям и другим храмам, к домам и стенам города, к жизни и имуществу всех граждан; этих недругов всех добропорядочных людей, врагов отечества, разорителей Италии, связанных между собой преступным заговором и нечестивым союзом, покарай их всех живых или мертвых вечными муками.

---

[89] **es constitutus** – Цицерон обращается здесь к статуе Юпитера, в храме которого проводилось это заседание сената.

[90] **isdem... auspiciis** – речь идет о гаданиях по полету птиц, которые позволили Ромулу стать царем – основателем Рима.

[91] **Statorem** – о значении *Stator* см. выше примеч. 49. Кроме первоначального смысла «остановитель» это слово приобрело также значение «хранитель», «покровитель».

Публий Вергилий Марон
Первая песнь «Энеиды»

Перевод учеников «Лиги школ»
под руководством А.В. Подосинова

Войны пою я и мужа[1], который первым из Трои[2],
Роком гонимый, в Италию прибыл к брегам Лавинийским[3].
Долго скитался он по земле и пучине глубокой
Волею высших богов, из-за гнева жестокой Юноны[4].
Многое он на войне претерпел, наконец, заложил он
Город и в Лаций[5] богов перенес[6]; латиняне оттуда
Родом, альбийские предки[7] и стены высокого Рима[8].

---

[1] Вергилий в первых двух словах обозначает предмет своей поэмы. Как «римский Гомер» он в одной поэме соединяет сюжетные линии двух произведений Гомера – «войны» (Троянская война в «Илиаде») и «мужа» (странствования Одиссея в «Одиссее»).

[2] Речь идет о сыне троянского царя Приама Энее, который после падения Трои смог бежать оттуда со своими спутниками, имея целью основать в Италии новый город (Рим), который должен был стать новой Троей.

[3] Лавинийскими берегами Вергилий называет западный берег Италии, где Эней впоследствии основал город Лавиний, названный так в честь его жены Лавинии.

[4] Как будет видно ниже (см. стихи 23–33), Юнона была главным противником Энея (и троянцев вообще), препятствовавшим его целям. В латинском тексте сказано «saevae memorem Iunonis ob iram», что в буквальном переводе означает «из-за памятливого гнева жестокой Юноны». Злопамятность здесь – атрибут самой Юноны, но согласовано это слово со словом «гнев». Такой стилистический прием называется *эналлагá* (подробнее см. *Грамм.* С. 127).

[5] Лаций – область в низовьях реки Тибр, где и был позже основан город Рим.

[6] Имеются в виду боги-лары (их изображения), которые Эней вывез из Трои. Теперь они должны были освящать и хранить Рим – новую Трою.

[7] То есть жители города Альба Лонга, основанного, по преданию, сыном Энея Асканием (или Юлом); его потомками были Ромул и Рем, основатели Рима.

[8] Мы решились оставить очередную *эналлагу* (см о ней. примеч. 4) в буквальном переводе, хотя более правильным было бы перевести «и стены высокие Рима».

Муза[9], яви мне причины, обидой какой уязвлена
И, отчего оскорбясь, благочестьем известного мужа[10]
В гневе царица богов[11] заставила столько страданий
Вынести, бед претерпеть... Так ужасен гнев олимпийцев?
Город старинный стоял, из Тира там выходцы жили[12] –
Карфаген, что лежит против устьев далекого Тибра,
Против Италии. Был он богат и славен войною.
Больше других городов, говорят, его чтила Юнона,
Даже сильнее, чем Самос[13]; оружье ее здесь хранилось,
Здесь колесница ее[14]. Хотела богиня народ сей,
Если позволит судьба, над другими возвысить родами.
Слышала все же она, что от крови троянской потомки
Произойдут и однажды низвергнут Тирийские башни;
Гордый войною народ, царящий почти над всем миром,
Ливии гибель неся, придет[15]; повелели так Парки[16].
Этой угрозы боясь и помня минувшие битвы[17] –
Первая билась Сатурния[18] в них за аргивян[19] под Троей –

---

[9] Обращение к музе (или музам) было свойственно эпической поэзии (так уже у Гомера и Гесиода). Музой эпической поэзии считалась Каллиопа.

[10] Эней постоянно характеризуется у Вергилия как «благочестивый» (pius).

[11] Имеется в виду Юнона, которая, будучи супругой верховного бога Зевса-Юпитера, также почиталась как «царица богов».

[12] Карфаген, как рассказывали античные легенды, был основан в результате финикийской колонизации Северной Африки выходцами из ближневосточного города Тира. В Африке переселенцы назывались пунийцами (Poeni).

[13] На острове Самос в Икарийском море находился знаменитый храм Юноны (Геры). Согласно античной мифологии, на Самосе Юнона выросла и вышла замуж за Юпитера (Зевса).

[14] Оружием Юноны, хранящимся в карфагенском храме, могли быть, по разным сведениям античных авторов, копье или щит. Колесницу, на которой ездила Юнона, описывает подробно Гомер (Ил. V, 720–732). Возможно, в карфагенском храме хранилась культовая повозка, на которой по праздникам вывозили статую богини.

[15] Имеются в виду потомки Энея римляне, в 146 г. до н. э. разрушившие Карфаген.

[16] Богини судьбы парки (Клото, Лахесис и Атропос) определяли не только судьбы отдельных людей, но и стран, и даже богов.

[17] Имеется в виду Троянская война, в которой Юнона была на стороне греков.

[18] Сатурния – одно из имен Юноны, дочери бога Сатурна.

[19] Одно из эпических наименований греков, происходящее от названия города Аргос; кроме этого имени Вергилий употребляет также Argivi, Grai, Achivi, Argolici, Pelasgi.

Гнева и скорби глубокой причин забыть не сумела.
В сердце ее оставались сокрыты обиды на Трою:
Суд неправый Париса, ее красоту оскорбивший[20],
Род ненавистный[21] и слава похищенного Ганимеда[22].
Этим еще воспалясь, троянцам Юнона мешала
Долго в Лаций прибыть, по морям вынуждая скитаться
Тех, кто данайцев[23] избег, беспощадного также Ахилла[24];
Долго блуждали они по морям, гонимые роком.
Вот что пришлось пережить основателям римского рода!
Только Сицилии берег оставили[25], в море открытом
Радостно парус подняв, они медью[26] пену взрывали,
Тут-то Юнона, под сердцем храня неизбывную рану,
Так сказала себе: «Мне ль оставить свои начинанья?
Не отвратить от Италии мне повелителя тевкров[27]?
Судьбы, конечно, препятствуют мне, но смогла же Паллада
Испепелить флот аргивян, самих утопить их в пучине,
Мстя за безумный проступок Аякса Ойлеева сына[28].
Быстро метнула она из небес Юпитера пламя[29],
Ветрами гладь всколыхнула морскую, суда разбросала.

---

[20] Как известно, Парис, выбирая прекраснейшую из богинь, отдал пальму первенства Афродите (Венере), отвергнув Геру (Юнону) и Афину (Минерву).

[21] Имеются в виду троянцы, потомки Дардана, который был рожден от Юпитера Электрой, дочерью Атланта; Юнона из ревности ненавидела Дардана и весь его род.

[22] Красивый мальчик Ганимед был похищен орлом Юпитера и вознесен на Олимп, где он прислуживал богам во время их пиршеств, заменив собой Гебу – дочь Юноны.

[23] Одно из эпических наименований греков, сражавшихся под Троей.

[24] Имеются в виду троянцы, которые вместе с Энеем спаслись от резни, устроенной греками (данайцами) после захвата Трои.

[25] Речь идет об Энее и его спутниках, которые намеревались проделать последний отрезок пути – из Сицилии в Италию.

[26] Под «медью» имеется в виду медная обшивка носа корабля.

[27] Тевкр был первым царем троянцев; по его имени всех троянцев могли называть также тевкрами.

[28] Речь идет об Афине Палладе; из-за оскорбления, которое Аякс, локрийский царь и герой Троянской войны, нанес у ее алтаря дочери Приама Кассандре (это было после захвата Трои), она уничтожила флотилию Аякса, когда тот возвращался домой (ср.: *Гомер*. Одиссея, IV, 499–511).

[29] Ignis Iovis – «огонь Юпитера», т. е. молния.

Локров царя, из пронзенной груди выдыхавшего пламя,
Вихрем схватила и к острой вершине скалы пригвоздила.
Я же, царица богов, и при этом сестра и супруга
Бога Юпитера[30], лет уже сколько воюю с одним лишь
Племенем! После того почитать кто же станет Юнону,
Кто на алтарь ей дары принесет и с молитвой возложит?»
В сердце своем воспаленные чувства лелея, богиня
Мчится в Эолию[31] – родину гроз, где шумят в изобильи
Австры[32] безумные. Царь здесь Эол в огромной пещере
Бури ревущие, вихри, что сами с собою дерутся,
Держит во власти своей, в заточенье их пыл усмиряя.
Гневно рокочут они, и гора им ответствует эхом,
Вкруг запоров гудят; на вершине горы восседает
С жезлом Эол, умиряя их гнев и смягчая их души.
Если б не он, то быстрые ветры смели бы, конечно,
Земли, моря и глубокое небо, с собой унеся их.
Чтобы такому не быть, всемогущий отец их запрятал
В темной глубокой пещере, а сверху на них взгромоздил он
Тяжесть высокой горы и царя дал, который умел бы,
Верный Юпитера воле, узду затянуть и расслабить[33].
С просьбой к Эолу Юнона явилась и так говорила:
«Царь людей и богов, прародитель тебе ведь доверил
Волны морские смягчать и вздымать их ветрами; по морю
Гладью Тирренской[34] плывет в Италию род ненавистный,
Перенося Илион[35] и пенатов своих побежденных.
Силу придай же ветрам, потопи корабли их, разрушив,
Или их флот разбросай, а тела разметай по пучине.
Есть четырнадцать нимф у меня красоты небывалой,

---

[30] По греческой мифологии, Гера (Юнона) вышла замуж за Юпитера, будучи его сестрой (они оба были детьми Кроноса и Реи).

[31] Эолия – один из Липарских островов, известный своими вулканическими свойствами и расположенный к северо-западу от Сицилии.

[32] Австры – южные ветра, несущие дожди и бури.

[33] Ср.: *Гомер.* Одиссея, X, 20–22:
...Был он (т. е. Эол)
Их (т. е. ветров) господином, по воле Крониона Дия, и всех их
Мог возбуждать иль обуздывать, как приходило желанье.
(Пер. В. Жуковского)

[34] Тирренским называлось море у западного побережья Италии от Сицилии до Лигурии.

[35] Илион – второе назвние Трои.

Деиопея[36] средь них своим обликом всех превосходит.
Крепким вас браком свяжу за высокие эти заслуги[37]
И супругой твоей ее нареку, чтоб с тобой проводила
Годы свои и красивым тебя одарила потомством».
Вот что ответил Эол: «О царица, твое это дело –
Так, как ты хочешь, решать, мне ж пристало лишь слушать приказы.
Ты мне дала это царство, Юпитера милость снискала,
Мне позволила пир разделить на Олимпе с богами,
Волей твоей наделен я над бурями грозными властью».
Так он сказал и древком копья пустотелую гору
В бок ударил – ветра, словно воинским строем поднявшись,
Там, где даны им врата, рванулись и землю взвихрили[38].
Вместе Эвр и Нот и Африк[39], грозы несущий,
Налетели на море, его до дна взбаламутив,
Вздыбили волны огромные, на берега их обрушив.
Крик раздается мужей и треск и скрипенье канатов.
Тучи внезапные небо и солнце закрыли от взоров
Тевкров, и черная ночь опустилась на мрачное море[40].
Весь загудел небосвод, и огнями эфир заискрился,
Все угрожает мужам неминуемой скорою смертью.
Стынет Энеева кровь, и от холода тело слабеет.
И застонал, и ко звездам ладони свои распростер он,

---

[36] Деиопея названа «азиатской» (из Лидии) нимфой в другом произведении Вергилия – в «Георгиках», IV, 334–344, где перечисляются все нимфы.

[37] У Гомера Гера (Юнона) таким же образом уговаривает бога сна Гипноса помочь ей, обещая за эту услугу выдать за него замуж юную Пазифею («Илиада», XIV, 267–269).

[38] Ср. сходное описание бури у Гомера в «Одиссее», V, 291–314, где Посейдон пытается погубить Одиссея.

[39] Эвр – восточный ветер, Нот – южный, Африк – юго-западный. Ср.: *Гомер.* Одиссея, V, 295–296:

Разом и Эвр, и полуденный Нот, и Зефир, и могучий,
Светлым рожденный Эфиром, Борей взволновали пучину.
(Пер. В. Жуковского)

[40] Ср.: *Гомер.* Одиссея, V, 293–294:

...Облако темное вдруг обложило
Море и землю, и тяжкая с грозного неба сошла ночь.
(Пер. В. Жуковского)

Голосом[41] так возопил[42]: «О, те счастливы дважды и трижды,
Перед отцами кому под высокими стенами Трои
Выпала смерть! О, Тидид[43] из данайского рода храбрейший,
О, зачем я не был сражен на полях Илиона,
Душу мою десница твоя почему не сгубила,
Там, где Гектор лежит, сраженный копьем Эакида[44],
И где мощный пал Сарпедон[45], Симоент[46] где волнами
Тащит тела мужей могучих, щиты их и шлемы»[47].
Так он стенал, а буря меж тем, ревя Аквилоном[48],
Дует навстречу, по парусу бьет, воды к небу вздымает.
Весла ломаются, нос корабля развернулся, подставив
Бок свой волне, крутая гора воды нависает...
Тевкров волна захватила, и воды под ними разверзлись,
Дно обнажив, клокочут песком безумные волны.
Три корабля захватив, на скалы их Нот направляет, –

---

[41] «Голосом так возопил – talia voce refert» – стилистическая фигура ***плеоназм***, когда мысль выражается избыточными средствами (voce здесь явно излишне), см. о плеоназме: *Грамм*. С. 126.

[42] Ср.: *Гомер*. Одиссея, V, 306–310, где Одиссей, как и Эней у Вергилия, восклицает в отчаянии:

О, троекратно, стократно (в греч. тексте – «четырежды») счастливы данаи, в пространной
Трое нашедшие смерть, угождая Атридам! И лучше б
Было, когда б я погиб и судьбу неизбежную встретил
В день тот, как множество медноокованных копий трояне
Бросили разом в меня над бездыханным телом Пелида.
(Пер. В. Жуковского)

[43] Имеется в виду сын Тидея Диомед, царь Аргоса. Гомер в «Илиаде» (V, 297–318) рассказывает о схватке Энея с Диомедом, в которой Эней едва не погиб, спасенный своей матерью Афродитой (Венерой).

[44] Эакид – внук Эака Ахилл, сразивший Гектора, сына троянского царя Приама.

[45] Сарпедон – союзник троянцев, предводитель ликийцев, пал от руки Патрокла (см.: *Гомер*. Илиада, XVI, 476–486).

[46] Симоент – река в Троаде, приток Скамандра.

[47] Ср.: *Гомер*. Илиада, XII, 21–23:

...священные волны Скамандра
И Симоиса, где столько щитов и блистательных шлемов
Пало во прах и легли полубоги, могучие мужи.
(Пер. В. Жуковского)

[48] Аквилон – северный ветер.

Скалы такие средь вод италийцы зовут Алтарями[49] –
В море гряды скалистые. Три корабля оттесняет
Эвр на мели и Сирты[50], и зрелище это ужасно!
На мелководье бросает, валами песка окружая.
Вдруг на глазах у Энея могучее море наносит
Страшный удар кораблю, где Оронт с ликийцами верный.
Падает кормчий тут вниз головою, и сразу же волны,
Трижды корабль повернув, заставляют носиться по кругу,
В водовороте кружат и в морскую уносят пучину.
Редкие люди еще на плаву, но в огромной воронке
Крутятся доски, копья, щиты и пожитки троянцев.
Шторм уже победил Илио́нея мощное судно,
Судно Ахата лихого, Абанта и старца Алета[51].
Все корабли, потеряв бортовые крепленья, морскую
Пьют смертоносную влагу сквозь щели раскрывшихся трещин.
Тут Нептун почувствовал – бурею море бушует,
Гулом ужасным наполнились воды, и, бывшее тихим,
Море взбурлило до самого дна. Над пучиной возвысив
Голову, он на морские просторы спокойно взирает.
Видит он флот Энея, разбросанный вихрем по морю,
Видит троянцев, раздавленных бурей с потоками ливня.
Гнев и хитрость Юноны от брата ее не укрылись.
Эвра к себе подозвав и Зефира, такое им молвит:
«Древностью вашего рода напрасно вы так возгордились.
Вздумали, воли моей не спросясь, и море и сушу
Перемешать, и такие валы взгромоздить дерзновенно?
Я вас! Утишьте скорее волненье, вы, буйные ветры,
После наказаны будете, скорой пощады не ждите.
Прочь убирайтесь, царю своему от меня передайте:

---

[49] По мнению античных географов, в Средиземном море между Карфагеном, Сардинией и Сицилией находились небольшие рифовые острова, называвшиеся Эгимуры.

[50] Большой и Малый Сирты – мелководные, опасные для судоходства заливы на Ливийском побережье Средиземного моря.

[51] Некоторые из этих героев упомянуты Гомером (Илионей в «Илиаде», XIV, 489 и Абант в «Илиаде», V, 148), хотя они в «Илиаде» погибают.

Жребием[52] власть над морями и мощный трезубец достались
Мне, не ему! Он владеет огромной горою, то дом ваш,
Эвр, пусть Эол в этом замке гордынь свою тешит,
Царствует пусть над темницей, в которой ветра запирает».
Молвит и слова стремительней бурную гладь усмиряет.
Скопище туч разогнав, возвращает сияние солнца.
Вместе Тритон с Кимофоей[53], напрягшись, со скал островерхих
Сталкивают корабли, их Нептун поднимает трезубцем,
Также гигантские Сирты вскрывает, смиряя волненье,
И по вершинам валов легко он скользит в колеснице.
Так же точно мятеж нередко вздымается шумный,
Сброд низкородный толпе будоражит сердца, по округе
Факелы, камни летят и оружье готовят безумцы.
Но лишь завидит толпа благочестием славного мужа,
Тут же все замолкают, готовые слушать покорно.
Помыслы он направляет словами и души смягчает, –
Так же и рокот морской утихает, когда, осмотревшись,
Бог, проезжая при ясной погоде в своей колеснице,
Гонит коней, в полете своем отпуская им вожжи.
Люди Энея, совсем ослабев, стремятся причалить
К берегу близкому и приплывают к Ливийским пределам[54].

---

[52] Братья Юпитер, Нептун и Плутон разделили по жребию власть над миром; Юпитеру достались небо и земля, Плутону – подземное царство, а Нептуну – море.

[53] Тритон и Кимофоя – морские божества, сопровождавшие Нептуна.

[54] Итак, вместо берегов Италии, куда направлялся Эней со своими спутниками, путешественники прибыли к берегам Ливии (Африки), где будет разворачиваться дальнейшее действие «Энеиды», связанное с Карфагеном и его царицей Дидоной.

VERSIONES

Д.В. Кейер
(Dionysius Keyer)

РУССКАЯ ЛИРИКА В ЛАТИНСКИХ ПЕРЕЛОЖЕНИЯХ

Е.А. Баратынский. «Ропот»

Красного лета отрава, муха досадная, что ты
        Вьешься, терзая меня, льнешь то к лицу, то к перстам?
Кто одарил тебя жалом, властным прервать самовольно
        Мощно-крылатую мысль, жаркой любви поцелуй?
Ты из мечтателя мирного, нег европейских питомца,
        Дикого скифа творишь, жадного смерти врага.

Undique cur volitans, aestatis pestis amoenae,
        nunc os nunc digitos, musca molesta, meos
vexas? Unde tibi, qua rumpis inulta puellae
        amplexus avidos Pegasidumve modos,
cuspis? Mollitiae Graiae modo mitis alumnus
        iam Scytha letifero Marte frui propero.

Из Пушкина

Saevis volutans turbinibus nivem
caligine atra velat hiems polum
rumpitque iam vocem ferinam,
iam nimis ut querulus dolorum

singultat infans; interea crepant
tecti obsoleti stramina culmine;
nec non, viator quaerat ut si
serus inire, tonat fenestra.

segnis potiri iam laribus parat
nostris Vetustas, Tristitiae soror;
quaeso tamen, seu te strepente
somnus habet radio sepultam,

seu te procellae perpetuo iuvat
dormire fletu, sedula anus, mero
mutare festina quietem,
fer calicem positura curas:

angore solvet cor Semelae genus.
nunc, o iuventae cara inopis comes,
vel fata Procnes, vel puellas
urna gravans Danai canenda.

Из Лермонтова

Paulum quidlibet ad famem levandam
mendicus prece supplici rogabat,
sole et frigore et esuritione
Aurorae prope siccior marito,
porrectaque tulit manu lapillum.
vae te, non aliter tuos amores
risit Lesbia, quam, Catulle, amasti.

Из Маяковского

Poma vel Hesperidum post turdos concoquat alvus:
ultima, crede, dies iam tibi, dives, adest.

Софокл
Эдип-царь. Второй стасим (ОТ 863–910)

Перевод З.А. Барзах

Ко мне, Судьба, будь благою, если я
Слов буду чистоту блюсти
И всех деяний, им же есть законы
Высокошагающие,

Эфиром рожденные свыше, и Олимп им
Единый Отец, а не
Природа смертных мужей
Их породила, и никогда не уснут, сокрыты.
Ибо сам Бог в них велик, да не ослабнет.

Питает дерзость тирана; дерзость, коль
Напрасно преисполнится
Того, что пользы не несет, ни блага,
Всех превыше вознесена,
С отвесной обрушится кручи в Неизбежность,
Откуда ничьей стопе
Не выйти. Благое же
Для града боренье, Бога молю, Бог да не разрушит.
Вечно я буду иметь помощником Бога.

Если же чрез меру некто дланью иль словом перейдет,
Уже не страшася Правды,
И Богов престол не чтя,
Да будет сражен Судьбою
За надменность тщетную,
Когда неправым делом богатеет,
Когда в нечестие он впал
Иль неприкосновенного коснулся.
Иначе любой, да, любой от боли стрел
Душу уберечь захочет,
Ибо, коль дела подобные в чести, –
Зачем тогда хор мой?

Не пойду во святое место более я, где пуп земли,
Ни в храм, что в Фебовых Абах,
Ни к Олимпии святой,
Коль это не будет правдой,
Явной правдой о любом.
Но, о Владыка, если Ты Владыка,
Зевс, общий Царь, о, не сокрой
Себя, Свою бессмертную власть над всеми.
Ведь Бога слова, Лаию реченные,
Пребывают в небреженье,
И не явен Феб чрез тех, кто чтит Его,
И нет больше Бога.

Герод
Мимиямб третий
(Учитель)

Перевод Е.С. Иванюк[*]

Метротима:

И верно, Ламприск.
Вот Музы тебе
Пожалуют всяческих благ.
С сплеча размахнись!
Пока мой балбес
Живехонек, бей его. Так!
На деньги играет!
«В монетки»! Ну вот...
Загубит он маму-бедняжку!
О, дом! О, хозяйство!.. Сыночка несет:
Ишь, мало играться в костяшки...
Оболтуса спросишь,
Как в школу пройти,
Не знает...
Хоть плачь, как Наннак[1]!
Где мамочке деньги за школу найти?
Ответит?
Да как бы не так!
А где всякий сброд,
Хоть... носильщик с рабом
Играют «в монетки», сынок?
Вот тут он покажет – знакомься любой.
Еще бы... он дока, знаток!
Раз в месяц дощечку для школы вощу –
Она под кроватью торчит!

---

[*] Перевод выполнен по изданию: *Herodas*. Mimiambi / Ed. I.C. Cunningham. Oxford, 1971. В основе примечаний комментарий Нейрна (The Mimes of Herodas / Ed. J. Arbuthnot Nairn. Oxford, 1904).

[1] Наннак – царь Фригии, который во время Девкалионова потопа собрал людей в храме и начал просить душераздирающе помощи небес (*Zenob*. VI 10). «Плакать, как Наннак» – плакать душераздирающе и в то же время безрезультатно.

Сироткой... У стенки...
А он не глядит,
Как будто дощечка Аид.
Полезное что написал бы...
Да вот,
Все что-то стирает, елозит,
Скребет.
Костяшек зато – целый дом!
А сверкают,
Как маслом натер их. Заляпал руками!
А сам – не читает! Уж а-то...
Всего лишь?
Не знает – пять раз обалдую повторишь!
Вон с папой недавно писали
М-А-Р-О-Н,
У этого гения вышел
С-И-М-О-Н[2].
Вот, думаю, глупая:
Пас бы ослов,
Чего не сдала
В пастушата?
Да где ему школа?
Такую нашла
Опору на старость... Куда там:
Спроси его я и отец-старичок,
(а папочка стар, нездоров...).
Ты школьный стишок
Прочитай-ка, сынок?
Простой, «Аполлон-зверолов...».
Да что, говорю, и бабуля прочтет.
Не учится бабушка в школах!
И раб прочитает... да хоть попадет
Дикарь и безграмотный олух!
А больше задай –
Он к бабуле сбежит.

---

[2] ΜΑΡΩΝ и ΣΙΜΩΝ. Коттал перепутал Μ и Σ (а именно: положил Μ на бок, и получилась другая буква); потом вместо Α (которой, как недавно выяснилось, он не знает) просто поставил прямую палочку, и вышла Ι; а следующую букву, надо полагать, писал наугад.

Три дня пропадает мальчишка,
Вдову обирает!
А то и сидит
С ногами на крыше... Мартышка!
А мне любоваться, злодей, каково?
И слов не найдешь,
Огорченье:
Уж осень... А крыша хрустит как печенье!
Хоть плачь, а плати за него.
И как... За прореху – обол с половиной[3]!
Соседи гудят: «Метротимина сына
Делишки...»
Конечно, а чьим еще быть?
И мамочке Коттала рта не раскрыть[4]...
Ты глянь на него! А испачкался как?
Рубашка лохмушками стала...
Ты в море болтался, делосский рыбак?
Что, буря тебя потрепала?
И дни все считает по звездам...
Горазд,
Куда до него астрономам!
И ночью не спит, а гадает:
Пора
Сидеть на каникулах дома?
Ламприск!
Я прошу ради Муз досточтимых,
Пускай бы ты им угодил!
Ты всыпь ему...

Ламприск:

Тише... Так-так, Метротима...
Где Эвтий? Где Коккал? Где Филл?
На плечи его! И сюда принесите.
Скорей, шевелиться должны!

---

[3] Τϱί' ἥμαιθα. Согласно Гезихию (s.v.), денежная единица τὸ ἥμαιθον равна Ómiwb1lion (пол-обола). Починить одну прореху, заложив ее черепицей, стоит полтора обола.

[4] Μηδ' ὀδόντα κινῆσαι (дословно: «и зубом не двинуть»); хотя Нейрн полагает, что это значит есть.

Вас ждать... И Акесий дождется луны[5]...
Ну-с, Коттал?
Похвально, вредитель!
Уже не играет, как дети, в костяшки?
Гляжу, зачастил наша умница
К носильщикам... сброду! Из дома медяшки
Уносит и знай себе дуется.
Сейчас ты отведаешь – станешь тихоней
И кротости просто девчачьей!
Где плетка ужасная? Даст ее кто мне?
Эй, в руки мне – хвостик бычачий,
Пока что я злющий! Я плеткой привык
Проказников потчевать школьных!

Коттал:

Ай, Музы!
Пожалуйста, дядя Ламприск!
Не бей меня плеткой, мне больно!
Гляди, бороды я касаюсь твоей,
Коттальчика-мальчика[6] ты пожалей!

Ламприск:

Ты мальчик плохой!
Да тебя и продай –
Не скажешь «хороший ребенок».
Ты, Коттал... железо грызущий мышонок!
Противней не сыщешь...

---

[5] Фразеологизм. «Акесиева луна» (Ἀκέσεω σεληναίη) обозначает неопределенный временной предел для очень медлительного человека и соответствует латинскому «на греческие календы» (Phot. Lex. II p. 212). Некий Акесий постоянно ждал полнолуния, чтобы поднять парус и пуститься в море. То, что говорит мальчикам учитель, примерно соответствует «вас только за смертью посылать».

[6] Коттал просит Ламприска не бить его ради Κόττιδος ψυχῆς (другое чтение: Κουτὶδος ψυχῆς). Коттида, возможно, женщина, имеющая отношение к Ламприску; но вероятнее, что это уменьшительно-ласкательное наименование Коттала (это два однородных родительных падежа, из которых один распространяет другой, т. е. не Котталовскую душу или жизнь, а душечку-Котталушечку, бедненького миленького Коттальчика). Коттал так сюсюкает, чтобы разжалобить преподавателя.

Коттал:

Ай-ай!
Ламприск! Сколько, сколько мученье мое
Продлится?..

Ламприск:
Вон мама, спроси у нее.

Коттал:
Ма, сколько? Ох!

Метротима:
Мама тебе я? Ну вот:
Терпи, сколько шкура, оболтус, снесет!

Коттал:

Ламприск! Ну не надо, пожалуйста, драться!

Ламприск:

А ты перестань, перестань баловаться!

Коттал:
Я больше не буду! Ламприск! Ради Муз!
Клянусь...

Ламприск:

Хулиган, а речистость какая...
А ну! Только пикни, сильнее возьмусь[7].

Коттал:

Прошу, не убей меня! Вот, умолкаю.

Ламприск:

Все, Коккал. Его отпустите, ребята...

[7] Πρός σοι βαλέω τὸν μῦν («уж я тебе добавлю мыша!»). Идиома? Вероятно, что-то вроде русского «я тебе дам дрозда».

Метротима:

Ламприск? И не думай, лупцуй... до заката!

Ламприск:

Но...

Метротима:

Глянь, егоза... Изворотливый змей!
Ему ты за чтение – так, пустячок –
Другую двадцаточку всыпь.
Не жалей,
Хотя и сулит, что, вернувшись домой,
Он будет читать лучше Клио самой!

Коттал:

Ой, мамочки, мамочки!

Ламприск:

Ну-ка, молчок.
Тсс! В мед бы ты лучше засунул язык[8]...

Метротима:

Пойду-ка домой... И чего мой старик
Мне скажет? Решим... И – с веревкою выйду!
Стреножим его –
Наскакался довольно!
Вот зрелище Музам, владычицам школьным,
Которым нанес он такую обиду.

---

[8] Λάθοις τὴν γλάσσαν ἐς μέλι πλύνας – «о, пусть лучше у тебя во рту был бы мед (и ты бы тогда не кричал)!» Именно это, вероятно, и хочет сказать педагог. Выражение оригинала неясно, папирус испорчен.

Гораций
Оды I 7, II 14

Перевод Д.А. Литвинова

I 7

Ты видишь – вышним снегом занесен –
блестит Соракт, леса полуживые
под грузом горбятся, и реки столбовые
сковал холодный сон.

Рассей мороз, мой Талиарх, и на
огонь клади поленья, не жалея
да от души черпни нам поскорее
сабинского вина.

А прочее богам оставь. Уже
они ветра на море постелили,
что днесь дрались. И ясени застыли –
стоят настороже.

Что ждет нас, не пытай. И день любой,
что случай подарил, держи за прибыль,
да почитай веселье, где б ты ни был,
и юную любовь.

Покамест своенравно седина
не села на виски, пускай нежнее
струится шепот, в сумерках темнея,
у милого окна.

И если вдруг потемкам вопреки
в углу ей скрыться сме́х-предатель не дал,
получишь ты кольцо, залог победы,
с уступчивой руки.

II 14

О Постум, Постум! Беглые года
стекают вниз. А старость зубы точит.
А смерть неукротима – не отсрочишь,
хоть трижды соблюдай

законы благочестия, хоть враз
при сотни каждый день вали двурогих –
Плутона не умаслишь! Многих, многих,
кто был покруче нас,

он усмирил летейскою волной.
И всем, кто рад еще земли подаркам,
маячит впереди она – монархам,
и нищим под стеной.

И пусть не тронет ни кровавый Марс,
ни хриплой Адриатики громады,
пусть осенью от ветряного хлада
хранят жилища нас,

но мы увидим – с черною ленцой
Коцит катится. Льются, льются муки
бесславных Данаид. Сизифа руки –
на камне под горой...

Оставишь дом, жену свою... И вниз
из вековых деревьев лишь единый
недолгого проводит господина
проклятый кипарис!

И вот наследник твой уже пошел
срывать запоры с погребов неверных,
и брызжет драгоценный сок Фалерна
на мозаичный пол.

Нонн Панополитанский
Дионисиада
Книга первая (отрывок)

Перевод Р.Н. Златинского

Кроноса сын, превратившись в быка, похищает невесту.
Мощной рукою Тифон потрясает небесную сферу.

Пой, о богиня, сиявшую огненно вестницу Зевса,
Молнию, блеском залившую брачное ложе Семелы,
Искру супруга, открывшую путь к разрешению чрева.
Вакха, не знавшего рук повитухи, двойное рожденье
Славь, расскажи, как из пламени поднял Кронид осторожно
Влажное тело младенца незрелого, позже избавил
Лоно мужское, рассекши бедро, он от бремени – чудо –
Мать и отца сочетал он в едином лице, вспоминая,
Как он Афину носил в голове отягченной со стоном,
В муках на свет произвел засверкавшую латами деву.
Жезл принесите мне, Музы, ударьте скорее в кимвалы,
В руку вложите мне тирс возносимого мной Диониса.
С ближнего острова Фароса бога Протея ведите,
В пляске готового быстро менять свои образы, пусть он
Разные лица покажет, сложу о них разные песни.
Если, извилистый след оставляя, змеей заскользит он,
Битву богов воспою я и змееволосых гигантов:
Толпы их пали под вакховым тирсом, плющом перевитым.
Если он львом ощетинится с гривой косматой, то стану
К Вакху взывать в ликованье, который у грозной богини
Реи сидел на коленах, кормясь, как и львы, ее грудью.
Если, обличье искусно меняя, в прыжке он взметнется
Бурном и, лапами оземь ударив, предстанет пантерой,
Зевсова сына восславлю, принесшего гибель индийцам:
Против слонов он, запрягши пантер, колесницы направил.
Если затем в кабана превратится, то сына Тионы
Славить начну, расскажу, как Кибелы дочь, вепреубийца
Аура – мать она третьего Вакха – в нем страсть пробудила.
Если водой обернется он вдруг, помяну Диониса,

В море нырнувшего подле одетого в латы Ликурга.
Если он деревом явит себя, на ветру шелестящим,
Стану Икария петь, как он некогда быстрой ногою
Ловко в давильне божественной мял виноградные кисти.
Дайте мне жезл, Мималлоны, на плечи и грудь повяжите
Вместо обычной одежды оленя мне пестрого шкуру,
Ту, что душистым нектаром Маронии вы напоили.
Пусть у Гомера, в пучине морской, где живет Эйдотея,
Тяжкие кожи тюленей герой Менелай караулит.
Козьи несите мне шкуры и вакховы бубны мне дайте,
Флейту, звучащую тоном двойным, поручите другому:
Феба нельзя мне обидеть, ведь звук ему дудки противен
Стал с той поры, как он, Марсия, спорить дерзнувшего с богом,
В схватке повергнув, сорвал с пастуха побежденного кожу,
Бросил на дерево, сделав игралищем бурного ветра.
Пой, о богиня, и Кадма, блуждавшего в поисках долгих.
Некогда Зевс, превратившись в быка статнорогого, вышел,
Страстное глоткой исторгнув мычанье, на берег сидонский.
Сладкий любовный укус испытал он. Эрот же младенец
Тело девичье руками обвил, охватил его дважды,
Деву вознес высоко. По воде между тем приближался
Бык, опустил перед всадницей сильную шею покорно,
Сбоку упав на колено, простер в ожидании спину,
Поднял Европу и быстрым копытом бесшумно разрезал
Влагу морскую, ступая стремительно, но осторожно.
Дева по водным просторам, бледнея от ужаса, мчалась,
Бычий упругий хребет не давал ей почувствовать качки,
Тело ее не смочила, упав, ни единая капля.
Кто бы увидел, назвал бы Фетидой иль, может, супругой
Землю трясущего бога, а то – Галатеей, а может,
Даже Кипридой, плывущей на шее Тритона. Дивился,
Видя быка, Посейдон темнокудрый. Тритон, уловивший
Рев изменившего облик Кронида, трубил на ракушке
Брачную песню в ответ. Изумясь и пугаясь при виде
Странного зверя с рогами высокими, плывшего мимо,
Старец Нерей указал на наездницу-деву Дориде.
Словно на судне высоком летела по морю невеста.
В страхе пред бурным порывом стремительной скачки держалась,
Как за кормило, за рог она, путь пролагало Желанье.
Хитрый Борей между тем, подчиняясь любовному чувству,

Ревность в себе затаив, колыхал ее платье и в складках
Нежно свистя, прикасался лукаво к груди ее юной.
Так Нереида какая-нибудь, возвышаясь над морем,
Мирную гладь бороздит, восседая на шее дельфина,
Словно пловец, поднимает покрытую каплями руку;
Влаги морской не давая коснуться ей в беге ретивом,
Круто хребет над водой выгибая, скользит по теченью
Путник, соленой росою омытый; следы прорывает
Рыбий раздвоенный хвост, глубоко погружаясь в потоки.
Зевс направлял так стопы, а Эрот между тем, как погонщик,
Рабски послушную шею быка бичевал своевольно.
Скинул свой лук он с плеча и, взмахнув им как палкой пастушьей,
Геры супруга кипридиной плетью погнал по просторам
Влажных лугов Посейдона. Афина стыдливо зарделась
Девственным ликом – рожденная Зевсом, – в смущении глядя,
Как по равнине несется Кронид с седоком своим – девой.
Зевс устремился по водной стихии, но струи прохлады
Страстного пыла его остудить не сумели: когда-то
Семя Урана приняв, Афродиту вода породила.
Кормчего с грузом в себе совмещая, Европа в молчаньи
Правила быстрым бесшумным движеньем быка. На просторах
Моря нежданно завидев подобие умного судна,
Греческий странник-моряк в изумленьи великом промолвил:
«Чудо, о очи! Откуда плывет, разбивая копытом
Волны бесплодные, бык, на зеленом пасущийся луге?
Волей Кронида неужто и суша теперь судоходна?
Пенные в море теперь колеи оставляют повозки?
В водах узрел я корабль удивительный: то не Селена ль
Держит свой путь на быке без ярма, из эфира спустившись?
Может, Фетида, пучины владычица, бег направляет?
Бык тот однако морской не похож на обычного: рыбий
Облик в нем виден, но нет Нереиды на нем обнаженной –
В длинный хитон облаченная дева быка погоняет,
Дивный скакун без узды неустанно шагает по волнам.
Может, Деметра, колосьями волосы пышно украсив,
Моря хребет голубой деревенским копытом буравит?
Коли действительно так, то оставь, Посейдон, свою бездну,
В поле иди и, обычному пахарю там уподобясь,
Борозды режь для Деметры, на судне морском восседая,
Плыть приготовься по ветру, который по суше гуляет.

Предал, о бык, ты стихию свою: никогда еще не был
Старец Нерей пастухом, и Протей не возделывал землю,
Главк не пахал, ни низин нет болотистых в волнах, ни пастбищ,
Лишь моряки, по глубокому морю плывущие, режут
Воду бесплодную – вовсе не плугом железным – кормилом.
Слуги земли колебателя в тучные нивы не сеют
Злаки: растенья – трава здесь морская, вода здесь как семя,
Моря просторы – поля, земледельцы – матросы, а судно –
Плуг здесь. Откуда ты деву везешь на спине своей мощной?
Разве быки в безрассудстве любовном невест похищают?
Может быть, деву увлек за собой Посейдон вероломный,
Образ речного рогатого зверя приняв для обмана?
Может, он выдумал новую хитрость? С Тиро наслаждался
Только вчера он: на ложе взошел Энипею подобен,
Начал лукаво журчать, проливая притворные воды».
Молвил так эллин-моряк, проплывая и глядя на чудо.
Дева меж тем угадала желанье быка и взмолилась,
Волосы рвать на себе принялась в неизбывной печали:
«Воды безмолвные, в пенном прибое утесы немые!
Если способен внимать этот бык, то ему вы скажите:
“Сжалься над девой, жестокий!” – а рокотом вы возвестите
Милому старцу-отцу: “Далеко уж Европа от дома,
Бык-похититель по морю несет ее к брачному ложу”.
Матери прядь с головы моей дайте, о буйные ветры!
Ты, о Борей, умоляю тебя, подними меня в небо,
Так же, как нимфу афинскую некогда поднял... но тише,
Глупый язык, ведь Борея обымет неистовство то же».
Сетуя, дева, быка оседлав, продвигалась по морю.
Кадм, безутешный скиталец, по землям бродил неустанно,
Выйти пытался на след ненадежный быка и Европы.
Прибыл он к самой пещере Аримов, пророчившей гибель,
Горы дрожали, Олимп нерушимый вратами качался,
Боги пернатые в страхе над Нилом спокойным метались,
Птицам они подражали в своем поднебесном пареньи,
След оставляли причудливый крыльями в высях эфирных.
Свод семизонный страдал в это время: Кронид сочетался
В брачных покоях с Плуто, породить собираясь Тантала, –
Позже Тантал, обезумев, похитил божественный кубок.
Зевс схоронил перед этим доспехи в скалистой пещере,
Там он и молнию спрятал, но дым выдавал ее сразу,

Копоть на белой скале оседала, невидимой искрой
Острая пика кипеть заставляла подземные воды.
Круча Мигдонии грозно ревела, окутавшись паром
Бурных потоков, которые рвались из горных расщелин.
Матери Гее внимая, Тифон киликийский к пещере
Руки простер и оружие Зевса – примету ненастья –
Выкрал, разверз вперебой загудевшие страшные пасти:
Чудища равноголосые подняли вой леденящий.
Змеи, из тела растущие, морды пантер обвивали,
Всюду кишели, лизали косматые львиные гривы,
Крепко цепляясь хвостами, на бычьих рогах повисали,
Глотками длинноязыкими яд изрыгали, который
С пеной, кабаньи брылы покрывавшей, мешался, стекая

[Марк Фабий Квинтилиан]
Пчелы бедняка[1]
(«Большие декламации», 13)

Перевод М.С. Касьян

Пусть будет иск о причинении ущерба в результате противоправного повреждения чужого имущества.

Тема:

В деревне жили два соседа, бедный и богатый, имея сады, граничащие друг с другом. У богача в саду – цветы, у бедняка – пчелы. Богач пожаловался, что пчелы бедняка обирают его цветы. И уведомил[2] соседа, требуя, чтобы тот перенес <пчел в другое место>. Но поскольку бедняк пчел не перенес, то богач опрыскал свои цветы ядом. Пчелы бедняка все погибли. Богач является ответчиком по обвинению в причинении ущерба в результате противоправного повреждения чужого имущества.

Декламация:

[1] Уверен, судьи, что многие удивляются, как это я, человек весьма простой и бедный (таким был я и раньше, еще до того, как потерял то, что имел), осмелился тронуть богатого человека,

[1] *M. Fabius Quintilianus* [pseudo]. Declamatio maior, XIII. Apes pauperis. Латинский текст по изд.: *Marcus Fabius Quintilianus* [pseudo]. Declamationes XIX maiores Quintiliano falso ascriptae / Ed. L. Hakanson; Teubner, 1982 (Titulus et argumentum Laurentii Vallae). Учебная декламация на заданную тему; предпол. конец I – начало II в. Многочисленные аллюзии на Вергилия (прежде всего на IV книгу «Георгик») в переводе не отмечаются, поскольку это потребовало бы развернутого комментария. Хочу только высказать предположение, что бедняк, от лица которого произносится обвинительная речь, в данном случае является не только типичным персонажем риторических упражнений, но еще и «двойником» трудолюбивого Корикийского старика из «Георгик» (Corycius senex; см. Georg. IV, 127–146), только оказавшимся в другом времени и другом месте. Таким образом, бедственное положение героя декламации, помещенного в контекст «прозаической реальности» современной (автору) эпохи, контрастирует с «идеальной» судьбой его поэтического прообраза.

[2] Denuntiavit; denuntiatio как юридический термин означает уведомление, влекущее за собой в случае невыполнения требования предъявление судебного иска; но в данном случае иск богачом возбужден не был.

к тому же своего соседа, и вынуждаю его, известного несдержанностью нрава и жестокостью, опасного врага, даже не будь у него яда, во всей силе своего богатства, держать ответ пред судом. При этом я вполне сознаю грозящую мне опасность, испытав уже на горьком опыте, чего стоило один раз не выполнить его требования. Но для бедняка непереносима такая потеря, этот *«восполнимый ущерб»* (при том, что богачей даже совсем ничтожный убыток приводит в волнение); и хотя почти уже ничего не осталось, что бы мог я терять, если все это останется безнаказанным, все же мне легче будет вынести его гнев, чем презрение. Не остается и впрямь, ради чего жить, если вдобавок к тяготам нашего низкого положения выходит, что когда мы что-либо имеем, то должны это <в другое место> переносить, а когда чего-то лишаемся – помалкивать. Прошу только об одном – чтобы причина моей тяжбы не показалась кому-нибудь из вас ниже вашего достоинства. Ведь, прежде всего, вы не должны предполагать, что я, человек бедный, потерял многое. Но как ни мало то, чего лишил меня богач, еще меньше он <мне> оставил. Однако кто сочтет недостойным отомстить за пчел, сформулировав иск, когда даже за цветочки можно мстить, воспользовавшись ядом? И несмотря на то что я совершенно раздавлен и никакой надежды не имею свести концы с концами при своей бедности, я бы перенес, судьи, и это вполне стойко, когда бы сознавал, за что понес наказание, пусть даже несоразмерное вине, и что ярость его обрушилась на меня вполне заслуженно. Но если рассмотреть внимательно все обстоятельства, то, думаю, ни в чем меня богач винить не может, кроме того, что я – ему сосед.

[2] У меня, судьи, есть небольшой надел, доставшийся по наследству от отца, – совсем узкая полоска худородной земли: ни виноград вырастить, ни зерна собрать, ни скот выпасти; лишь бесполезные кочки да низкий тимьян вокруг тесной бедняцкой хижины. Но даже это мне было весьма отрадно потому, что богатому не на что было тут позариться. И вот я решил, укрывшись в этом месте от городской сутолоки, провести отпущенный мне срок жизни, отказавшись от тщеславных помыслов и стяжательства, и, пока тягостный возраст, следуя закону природы, не придет к своему концу, дожить тихо и незаметно. И поскольку покой в моей душе превратил для меня этот крошечный клочок земли и низкую кровлю деревенской хижины в царские покои, то такое богатство было для меня совершенно достаточным, чтобы не желать ничего большего. А что толку?! Даже и в этом укрытии настигла

меня зависть. Сначала, судьи, не богач был моим соседом; по соседству жили люди одного со мной достатка и, несмотря на тесно расположенные поместья, обрабатывали небольшие наделы при полном согласии и добрососедстве. А теперь земля, что кормила наших сограждан, – сад одного состоятельного человека. Когда же один за другим стали выкорчевываться и валиться межевые камни близлежащих наделов, поглощаясь землей богатея; когда виллы были сравнены с землей, священные рощи селян порублены; когда старые обитатели с женами и малыми детьми, оглядываясь на отчий дом, переселились и образовалось одно безличное и пустынное огромное пространство, – вот тогда вплотную к пчелам моим подступило имение богача.

Я ведь, судьи, пока возраст позволял выполнять тяжелую работу, возделывал землю своими руками и, трудясь, преодолевал трудности, но выжимал все-таки из неподатливой почвы даже какой-никакой урожай. Быстро день пролетает, и жизнь клонится к концу. Иссякли силы, <растаяло> мое состояние, и старость, утомленная трудом, уже почти что смерть, ничего мне не оставила, кроме заботливости. [3] Поразмыслив, о чем же может проявить заботу немощная старость, самым лучшим показалось мне – стать пастухом и поддерживать бедность свою за счет приплода мирного стада. Но земля богача окружала меня со всех сторон, так что едва мог я найти тропку, где ногу для прохода поставить. Что же нам делать? Отовсюду, повторяю, нас теснит вал богатства: с этой стороны – сады богатея, с другой – пашни, там – виноградники, а здесь – ущелье; от земли нет никакого проку. Пожалуй, нужно нам найти такое животное, чтобы летать могло. А что природа породила более подходящее, чем пчелы? Они бережливы, верны и трудолюбивы. О существа, подобные беднякам! И все это как нельзя лучше подходило к условиям моего садика. В самом деле, он расположен на северо-восточном склоне, и место там солнечное, открытое со всех сторон. От соседнего источника течет небольшой ручей, чьи теплые воды мягко струятся среди нагретых на солнце камешков и зеленеющих берегов. Цветов росло в достатке, и зеленая крона деревьев, хотя и редких, была нарождающемуся народцу первым домом, откуда я частенько снимал плотно сплетшийся рой молодых пчелок со сгибающейся под их тяжестью ветви. И меня охватывала радость не только от того, что я собираю текущий из сотов мед, чтобы для покрытия издержек, существенных при моей бедности, отнести его в город и продать богатым людям.

Я радовался много больше тому, что вопреки всем тяготам преклонного возраста мне, старику, нашлось занятие: мне доставляло удовольствие переплетать гибкие ветви для весеннего выводка; промазывать мягким навозом зияющие щели, чтобы ни летний зной, ни зимняя стужа не проникали в ульи, где созревает потомство; выставлять снаружи мед для уставших пчелок; подгонять звенящей медью собирающийся вылететь рой или осаживать дерущихся, распыляя золу; и тогда, чтобы никому из них не грозила опасность, гнать подальше жадных птиц, оберегая маленькие существа от нападения, а тем временем осмотреть вскрытые пчелиные домики – как бы в пустых ячейках не завелась какая-нибудь гадкая зараза и не повредила бы им.

[4] Я, старый человек, смог тогда достойным образом отдохнуть от своих трудов. У меня были те, кто трудился за меня. Куда ты только не проникаешь, поганая жадность, и где укрыться от злобного недоброжелательства? Богач бедняку позавидовал! Когда, трепеща, я явился на его нежданный зов и стоял совершенно подавленный и оглушенный его богатством, то он сказал: «*Ты что ж, не можешь запретить своим пчелам залетать в частное владение, чтобы они не садились на цветы в моих садах и не собирали там росу? Убери, перенеси!*» О, невозможнейший тиран, – куда? Неужто у меня земля так велика, что пчелы ее перелететь не могут? Не был я никогда настолько силен духом, чтобы не прийти в совершеннейшее смятение от столь наглого «уведомления». Я хотел бросить дедовы лары, стены, помнившие моих предков, и эту родимую хижину; обреченный на изгнание, я уже принял решение покинуть бедный очаг, закопченную кровлю, посаженные своими руками деревца. Хотел я, о судьи, уйти, хотел, но не смог – не смог найти ни одного кусочка земли, где бы соседом моим не оказался богач.

Долго искать и не пришлось[3]. Как-то раз наступил ясный и безоблачный погожий день, и рой более радостно, чем обычно, вылетел тучей, побуждаемый к своим каждодневным занятиям ласковым теплом утреннего солнца. И даже я, сторонний наблюдатель их труда (ибо это мне доставляло особое удовольствие), вышел уже, предвкушая увидеть, как одни, трепеща крылышками, тащат свой груз; другие, сложив поклажу, спешно устремляются за новой добычей, толпясь у узкого летка, – но входящие выходя-

---

[3] Nec tamen licuit diu quaerere; можно перевести «Что было долго разбираться?» (quaerere – «разбирать, рассматривать дело в суде»).

щим ничуть не мешают; а иные, сплотившись грозно, гонят прочь праздное племя <трутней>; эти же, утомившись и запыхавшись от долгого пути, переводят дух, та – расправила крылышки под летним солнцем... Уж простите мне, бедному, мои причитания: [5] не цветочки я потерял, не бренные листочки, готовые слететь при первом порыве ветра; <...>[4] но лишился я спасительной поддержки в своей скудной жизни, я потерял отраду своей старости. Никогда ранее не ощущал я свою бедность так сильно. Меня встретила зловещая тишина, прерванные труды в пустом улье и недостроенные соты. Оцените[5], судьи, всю силу моего потрясения: я бы и сам, если б нашел, охотно выпил яду!

Такой урон нанес мне не пронизывающий холод ледяной зимы; не долгая засуха, иссушившая цветы, обрекла несчастных на голодную смерть и не жадность хозяина, не оставившего им ни капли меда; не неведомая болезнь лишила их сил; они не устремились в лесную чащу, изгнанные кем-то из своих домов. Я, жалкий бедняк, я разом потерял пчел. Прежде всего, злодей заготовил столько отравы, чтобы хватило на все его богатые сады, намазал цветы ядовитым зельем и сладкий сок превратил в яд. По всем цветам он разлил смерть – и насколько же больше при этом было попорчено, чем если бы их обирали пчелы! А они, торопясь приняться за свой ежедневный труд, с первым светом зари летят, бедняжки, на привычные пастбища, чтобы успеть, пока ночная влага не испарилась под солнечными лучами, собрать утреннюю росу и небесные капли унести в свои закрома, – но не для себя, а для дела. [6] Вот зрелище прискорбное и жалостное, но только не для того, кто учинил такое. Одна <пчелка> лишь пригубив губительного сока, смущенная необычным вкусом, бросается прочь, но бегство бесполезно; рассчитывая еще потрудиться, она взмывает ввысь, и жизнь покидает ее в воздухе. Другая умирает сразу, на первом же цветочке. Эта висит, перебирая коченеющими в предсмертной судороге лапками, будто запутавшись. А та, не имея сил лететь, вяло ползет еще по земле. Те же, кого смерть брала не столь быстро и кто смог все-таки добраться до родного дома, повисли под самым входом, как обыкновенно ведут себя больные, сбились в кучу, и только смерть разделила их, крепко сцепившихся друг с другом.

---

[4] Место испорчено.

[5] Aestimate; как юридический термин aestimare имеет значение «производить оценку, определять цену (утраченного имущества, ущерба).»

Кто может изобразить, кто в силах описать, сколь многочисленны обличья зла, сколь много было смертей и сколь они были многообразны! Словом, чтобы завершить мне это печальное изложение, надо сказать: я потерял всех! Этот полный жизни улей, столь дорогой сердцу его хозяина, обратился в ничто.

Возьмите же теперь вы, у кого осталось ради чего жить, на себя смелость затронуть богача, проявите свое достоинство свободных граждан в смелых словах, если он чем-нибудь <вас> заденет; а самое жестокое – яд, в этом он искушен вполне. Если бы судьба даровала мне силу характера, если бы была она ко мне благосклонна, то обвинение[6] по такому делу не постановления по частному иску заслуживало, а рассмотрения в уголовном суде как преступление против общества. Иметь, приобретать, даже интересоваться ядом запрещено законами, ядом, который несет неотвратимую гибель, отягощенную коварством. Плохо приходится честности там, где властвует тайное преступление. Мало того, что яд подействовал мгновенно, он был разыскан, приготовлен, дан. Разве важно, кто его выпил! Дал человек; и он мог быть дан человеку. К тому же поводов для ненависти хватает, так что вражда редкостью не стала; и как только кому-нибудь покажется, что невозможно больше сдерживать переполняющую его ненависть к другим людям, то захочется однажды протянуть руку чуть дальше и дать волю своим желаниям. Поверьте мне, судьи, труднее яд найти, чем врага.

[7] Но не позволяет мне прекратить горестные жалобы лишь сознание моего жалкого положения и бессилия. Ибо, судьи, я понес убыток, вернее сказать, я, бедняк, получил тяжелейшую рану. И пред вами свой урон мне следует дольше оплакивать, чем доказывать: что за труд изобличать преступника, если он признал вину? Богачи с нами не стесняются: мы же столь ничтожны в их глазах, что им и отрицать ничего не нужно. Далее, если есть признание вины, защитник добивается от суда не снятия обвинения, а снисхождения. Разбор такого дела имеет отношение к большему, чем я думал; наша тяжба не только о том, что случилось; если даже я каким-то образом поправлю свои дела, то богатому вновь дозволено будет убивать – вот о чем идет речь.

[6] Crimen (употребляется чаще не в гражданском, а уголовном судопроизводстве).

Ведь, как мог я понять, вопрос разделяется на две части: было ли нанесение ущерба и было ли совершено с применением противоправных действий? Он отрицает нанесение ущерба, поскольку я потерял животное свободное, могущее летать, легко перемещаться и мне не подчиняющееся. Он отрицает применение противоправных действий, ибо тех, кто ему наносил вред, истребил в своих частных владениях, и вообще, мол, пчелы сами собой перемерли, а он лишь ядом цветы опрыскал. Даже если бы на это нечего было мне возразить, разве так поступают с соседями? Но я рассмотрю каждое <из его возражений> отдельно и не раньше воспользуюсь своими доказательствами, чем отражу доводы противной стороны; ибо, конечно, главный вопрос: является ли ущербом потеря того, что приносит прибыль[7]?

[8] «*Свободное животное*» – пусть так; я уж не говорю о том, что новый выводок был принят моими собственными руками и помещен в безопасное жилище, что после того как я специально сохранил соты для будущего приплода, весенний рой (раз уж ты защищаешь права тиранов) народился в моих частных владениях. Пусть я нашел их, к примеру, в дупле дерева или в горных пещерах и принес домой; ведь во многих случаях на то, что было свободным, распространяется право свободного захвата, как происходит во время охоты или при ловле птиц. Ибо раз по божественному замыслу прочие живые существа сотворены на пользу человеку, то, что рождается для всех, <при наших усилиях> может стать усердию наградой. А кого природа создала несвободным? Умолчу о рабах, коих несправедливость войны отдала в добычу победителям, рожденных по тем же законам, в том же виде, по той же необходимости; они тем же воздухом дышат, и не природа, а судьба поставила над ними хозяина. Почему на необъезженных конях скачет обуздавший их всадник, почему выи быков мы самым несправедливым образом изо дня в день натираем ярмом, почему время от времени, чтобы иметь себе одежду, стрижем шерсть с овец? Умолчу о крови и о яствах, полученных в результате убийства. Если бы все, что свободным рождается, мы оставляли природе в том же состоянии, вы перестали бы богатеть. В самом деле, если положение таково, что любое из этих животных, когда человек их использует, становится его собственностью, тогда владение ими совершенно законно, и отнято может быть противоправными действиями; так, к примеру,

[7] То есть была ли в данном случае «упущенная прибыль».

бессловесная птица и прочие твари, что содержатся в сельских поместьях и откармливаются у богачей в клетках[8], их, бесспорно, собственность: и коровы, и вьючные животные, и всякого рода скотина.

[9] «*Но за ними кто-то специально присматривает*». А разве право у хозяина на свою собственность слабее в отношении того, чему сторож не нужен? Однако если вы утверждаете, что ничто не может быть полностью нашим из того, что может пропасть, то ни по какому делу, где ущерб связан с потерей животных, нельзя было бы сформулировать иск, поскольку скот обычно бродит всюду и «имущество»[9] убегает от владельца. И если в других случаях это тебе не мешает, то здесь угодно, чтобы пчелы не летали, не отправлялись трудиться, да еще надо и охрану вооруженную выставлять, чтобы каждый день учитывать от них прибыль. Разве они не прилетают домой по своей воле, сверяя с солнцем окончание своей работы, и все множество их не устраивается внутри привычных домов, проводя ночь в покое и тишине? Ну и еще, хотя нет бесспорного факта владения, пока они летают, но когда прилетают назад, раз возможно их запереть, перенести, подарить, раз могут вернуться, то, разумеется, они кому-то принадлежат. Как же может быть, чтобы то, что изо дня в день моим являлось, погибло и мне при этом не был причинен ущерб?

«*А также они ему не подчиняются*». Несмотря на то что нет возможности общаться с ними при помощи человеческой речи, удивительно, ей-богу, что жизнь их устроена так же, как и у других домашних животных: живут они в ульях, которые все же устроил им хозяин; если сильно расплодятся, то по их гудению мы узнаем, когда вот-вот вылетит новый рой. И даже если свита двух царей, сплотившись вокруг них и гневно жужжа, возбуждает ссору, то достаточно немного распылить золы или удалить в наказание одного зачинщика-вождя, как всякое волнение прекращается. Прилежание их, право, достойно восхищения: весь день напролет трудятся, и взятое, когда вновь приходят хозяева, восполняется. Ну если бы они и исполнять приказы могли, чего ты от них еще потребуешь?

Понимаю, что на эти пустые доводы ответ дан уже сверх необходимого. Если пчелы не мои, то и то, что они дают, конечно

[8] Cellis; cella также означает ячейку в сотах; слово выбрано с явным намеком на погубленных пчел.

[9] Mancipia – здесь «имущество в виде скота».

же, не мое, но усомниться в доходности меда – такого бесстыдства нигде не найти. Значит, что же, может каким-то образом так получаться, что то, что рождается, – моя собственность, а то, что это порождает, – чужая? [10] Ну а если у меня украдут все ульи, что ж, я не буду иметь право подать иск? Я же не корзину или мешок потерял и, имея уже решение суда по иску о возмещении их цены, прошу еще возместить и упущенную прибыль – что, мол, я потерял их пустыми. Но в случае кражи ульев, если не ошибаюсь, была бы произведена оценка и пчел. И наконец, если что-то нельзя отнять, что ж, убивать можно? Выходит, то, что я оказался в убытке, что потерял доход, урожай за целый год, средства к существованию при моей бедности – это все не ущерб? Не является ли ущербом, если взять самый простой пример, потерять то, что придется покупать, когда мне понадобится? Зачем же была нужна тебе отрава, если можно было просто порешить все разом: ульи вместе с пчелами либо сжечь, либо утопить? И найдется ли к тому же такое животное, которое извести можно только ядом?

«*Даже если это и было причинением ущерба*, – говорит, – *то по праву, в пределах моего частного владения*». Клянусь вашей честью, о судьи, слышали ли вы что-либо подобное? В таком случае речь идет не просто о каком-то бедном крестьянине, это должно стать достоянием общественности, и необходимо сплотить все силы, чтобы противостоять нарастающему произволу. Поверьте, вопрос серьезнее, чем обычная тяжба. Получается, судьи, что вам сегодня надо справедливо рассудить, ***где*** не дозволено совершать правонарушение. Почему же не ответить богачу то же самое, если он предстает пред судом за человекоубийство или за разбой? Ведь разница будет не в правовом отношении, а лишь по типу правонарушения. Открывается широкая дорога для безудержной ярости, и преступления, долгое время сдерживаемые крепкими засовами законов, прорываются в открытые настежь врата. Если правовые нормы не распространяются на частные владения, если при наиочевиднейшем нанесении вреда суду важен не сам этот факт, а то, где это происходило, тогда, значит, и земля у нас, к несчастью, поделена неравномерно. Ведь где ж теперь найти не частное владение богачей? [11] Мало того, что все прежние межи между соседями они сровняли с землей и границы своих частных владений проводят по рекам и горам, как бывает у иных народов. Они своими безбрежными владениями охватывают уже даже непроходимые ущелья и дремучие леса; над множеством свободно текущих

вод имеют контроль несколько человек; люди вытесняются из своих территорий; любой обширный надел одного богача упрется в земли другого. Доныне, однако, в такой формулировке в суде защищался лишь грабеж случайных прохожих или угон забредшего <в чужие земли> скота; а что, яд теперь уже тоже – «частная собственность»? И вновь и вновь напоминаю вам, о судьи, разберитесь внимательно: либо не дозволено совершать ничего противоправного, либо все, если в частных владениях.

«Но ведь это было справедливым возмездием тому, кто причинил <мне> ущерб». Говорить ли мне, что противодействие не равно действию и насколько это противоречит не только закону, но и угрожает покою граждан? «По обычаю» живут варварские народы, те, которые пребывают вне всякого человеческого правового общества и по <своей> природе близки к диким зверям. Мы же не для того от предков наших восприняли магистратуры и законы, чтобы каждый обиженный сам свой суд вершил, и у нас не прекращается разбор исковых дел, если «возмездие» похоже на преступление. Тебе был причинен ущерб? Был закон, форум, судья, разве только вам, <богачам>, стыдно карать виновных, прибегнув к закону. И, клянусь, если нам бросают вызов и спор о нанесении вреда приобретает опасный характер, если вместо закона дело решает гнев, то слабые и зависимые, конечно же, будут попраны, и простой народ, подмятый господством нескольких собственников, смирится с печальной участью рабов. Но ведь и бедняки могут быть обижены; и чем легче нам можно навредить, тем вам проще это сделать. В конце концов пусть тебе нравится быть заложником своего богатства; если это мне не мешает жить, то мы – равны.

[12] Итак, в чем же дело? Если какой-то ущерб нанесли тебе мои пчелы, то я бы не ушел от суда, а ты, быть может, иском в какой-то мере был бы удовлетворен. Ну а теперь на что тебе жаловаться? Думаю, на разоренные поля и попранные надежды, – ведь немалым должен быть ущерб, чтобы богатый человек не смог такое вынести. *«Они, – говорит, – цветы мои обирали».* Представляете, о судьи, какова должна быть величина моего горя, если это считать ущербом? *«От цветов убыло».* Да, действительно. А что, иначе бы ты их до старости сохранял и, если бы пчелы не прилетали в твой сад, они бы и поныне цвели? Можно ли найти что-нибудь менее долговечное? Ведь когда они, еще не вызрев, плотно одеты зеленой оболочкой, ты не назовешь их цветами. Затем постепенно из-

нутри все более и более <бутон> набухает живительным соком и на нем появляются беловатые прорези – но и это еще не цветок. А вот когда, прорвавши кожицу, сверху покажутся, будто вылупившись, кончики лепестков и уже видна их нежная зрелость, то в тот миг начинается и их умирание, даже безо всякого ветра – самой природой положено, чтобы, только раскрывшись, увядала бы их прелесть, и цветком считается лишь только что распустившийся. Поэтому я бы мог сказать, что они уносили то, что готово было погибнуть и что давно уже лежало бы на земле, уносили, обратив на пользу людям; однако пожалеть своего добра еще и пчелам – показалось бы неслыханной жадностью. Нужно ли пояснять, сколь мимолетно касание пчелы? Разве неизвестно, что, едва соприкоснувшись с цветком, она чаще всего улетает, что, быстро перелетая от одного к другому и пробуя, исследует каждый, а где задерживается, то зависает в воздухе, работая крылышками? Кто и когда, заметив пчелу с ее ношей, обнаруживал у себя пропажу? [13] Ведь то, что они собирают с садовых цветов, ничтожно! Их пастбище, как можно легко догадаться, – луга и леса, либо усыпанные плодами деревья, либо благоухающие тимьяном склоны гор. И не от всяких цветов берут они для себя полезное, но ищут на всех. Но и берут не даром – возмещают сразу же тем, что всюду, куда пчелы ни присядут, остается медовый аромат, таким образом, только прикоснувшись, они оставляют частицу своей сущности. И ты считаешь это ущербом? Ты борешься, применяя яд, с теми, кого и дымом отгонять было бы с твоей стороны, ей-богу, просто бесчеловечно?

Разве я не был тебе почтительным соседом, не посылал каждую весну тебе начатки моего урожая, не сохранял для твоего стола мед особо белый, если такой обнаруживался среди новых сотов, вложив скромно каждый раз в подарочки следующее подтверждение: «Шлют тебе сие мои пчелы»? Вот она, за все мне благодарность!

«*Я*, – говорит, – *предупреждал и уведомил, чтобы ты <их> перенес*». Значит, ты думаешь, что справедливо наказал упрямца? Вот уж не знаю, чем это пустое уведомление может помочь твоей защите; если не дозволено было делать то, на что теперь я подаю жалобу, то оно законной силы не имеет; если же дозволено, то – законно; но, так или иначе, оно – бесполезно. Ведь как искать защиты у закона, будучи виноватым, так и защищаться, проявляя наглость, – для позорного поступка плохое прикрытие! В конце

концов, если стойла твои, сколько бы их ни было повсюду, твой скот вместить не смогут; весь лес у тебя будет оглашаться мычанием; чтобы вспахать пашню, ты будешь запрягать быков стадами; а убирать урожай работников явится столько, что управляющие знать их не будут; и сгребут они в закрома твои хлеба достаточно, чтобы год кормить целый народ, – не будем ли мы завидовать, и не сочтет ли кто-нибудь, что слишком тяжел для него груз этого твоего богатства? А когда в тесном углу бедняцкого сада мы разместили немного пчел, которые вам же мед дают, то надо это переносить совершенно недостойным образом? И – что уж вообще вещь неслыханная – бедный сосед богатому в тягость? [14] Неужели своего добра настолько мало вам, что, хотя даже рабам вашим позволяется иметь собственность, вы считаете, что все, превышающее название нищеты, у нас вызывает зависть? И при уважаемых, как мы полагаем, законах мы, значит, до такой степени совершенно равны и свободны, что никакого вспоможения иметь нам нельзя, а вам яды – можно?

О судьи, знаю, конечно, что дальше не следует отвечать на защитительные аргументы богача, но не могу я спокойно переносить, что наглой защитой достоинство ваше выставлено на посмешище. «*Сами перемерли*, – говорит он, – *твои пчелы*». Это верно. После того как ты яда в цветы добавил. Разве не могу я счесть такое бесстыдством, раз ему нечего вам предъявить в оправдание, либо глупостью, раз он на это надеялся? Если бы он дал яд человеку, то утверждал бы, что он сам поднес чашу к губам; если бы поставил в узком проулке убийцу, то заявил бы, что убитый сам в засаду пришел; застрелив же кого-нибудь в темном месте, уперся бы, что тот по своей собственной вине на стрелу наткнулся. Что же, судьи, я имею в виду? Есть два отдельных вопроса, которые необходимо выяснять при любом преступлении, – намерение и результат. Какой был замысел у богача, когда он яд разбрызгивал? Чтобы пчелы погибли. Каков результат? Они погибли. И вообще, судьи, есть ли сомнение в том, что обвинению в причинении ущерба подлежит тот, без кого и ущерба не было бы?

[15] Я понимаю, что благоразумию вашему по этому делу больше ничего не требуется, а ваша добросовестность и благочестие не нуждаются в уговорах для справедливого решения. Так что же я медлю? Я во власти печали и тоскую по той радости, которую привык иметь. В деле этом есть нечто, что никаким наказанием не возместить. Возможно, покажется, что сам предмет таких чувств

не стоит, если мы, бедняки, можем любить лишь что-то незначительное и просто вынуждены дорожить тем, что больше никому не нужно. Я потрясен, что за час столько душ разом было уничтожено – они погибли, послужив мне верой и правдой[10]. Но даже то, как они умерли, усиливает негодование: они погибли от яда! Как сильна должна быть жадность, чтобы до такого дойти? Пчел – и ядом! И это в благодарность за то, что они неусыпно пекутся о нашем прибытке, что благодаря их упорному каждодневному труду местные жители, даже терпя ущерб, не покидают свои земли? Поистине, в то время как прочих животных, как мне кажется, природа породила для наших потребностей, этих – еще и для радости. Ведь пока мы добьемся толка от тех, кого используем для возделывания земли либо ускорения пути, приходится сильно потрудиться: за ними надо ухаживать, их надо кормить, и без человека они ни на что не способны, а пользу нам приносят лишь по принуждению. Пчелы же делают свое дело совершенно добровольно, и вся польза достигается сама собою, без какой-либо помощи со стороны человеческого разума. Добавь еще, что другие животные либо посевы потравляют, либо виноградники портят – ведь, как известно, попорченный урожай – первый повод принести животное в жертву. Но пчелы для получения своего продукта трудятся в лугах и лесах, не причиняя им никакого вреда.

[16] Какую хвалу мне вознести, чтобы была пчел достойна? Сказать, что существа эти в некотором смысле – малое подобие человека? Но человеческая искусность на такое не способна. Даже наш разум, извлекающий сокровища из-под земли, связавший своими наблюдениями моря и светила, не в состоянии ни производить такое, ни научиться этому, ни повторить. Мы, скорее, изобретаем яды. Прежде всего, восхваления достойно само вступление их в жизнь: они рождаются не от плотской похоти, и Венера, укротительница всего живого, имеющая власть даже над богами (как в свое оправдание люди рассказывали в мифах), исключила пчел из числа своих подданных. Желание, враг добродетели, отсутствует в их чистых телах без порока: из всех лишь они единственные потомство не производят, а сотворяют[11]. Понемногу, будто сгустившись в меду, они набирают жизненных соков, и, как и положено, в результате рождается трудолюбивое существо. Затем, когда мо-

[10] Quod perierint de me bene meritae – почти надгробная формула.

[11] Faciunt.

лодежь подрастет и, окрепнув, будет в состоянии заняться подобной работой, то для родителей освобождается место. Чтобы новое множество не стесняло прежних обитателей, словно проявляя врожденную почтительность, малый народец уходит; выводок, повиснув на ветвях соседнего дерева, ждет руки человека и доверчиво обустраивает предложенное ему жилище. В то время как при наших врожденных качествах и талантах, схожих, как мы самодовольно полагаем, с божественными, нам необходимо приложить много сил и усердия, чтобы чему-нибудь научиться, любая пчела рождается мастером. Что же иное, подумай, если не частица божественного разума, содержится в этих душах? Скажешь, что тут такого особенного? [17] Не в любых местах они устраиваются на ночлег, подобно другим, пасущимся свободно животным, которые выбирают себе ложе каждый раз какое придется, – нет, они остаются в безопасных жилищах; городам можно уподобить их хижинки и массу – народам. Не сегодняшним днем живут они, подобно диким птицам, которые озабочены лишь сиюминутным пропитанием; нет, они откладывают впрок столько пищи, чтобы хватило на всю зиму, и на весь год обеспечена им еда, если заполнены ячейки. Даже когда люди забирают часть их труда для своих нужд, всякий раз они стремятся восполнить потерю: чем больше ущерб, тем более разгорается у них рвение к труду, и пока все место не будет заполнено, пыл их не угасает. Встречается ли подобное единодушие в общем делании и подобная слаженность при такой сложнейшей работе у кого-нибудь из живых существ, лишенных связей разума и возможности общаться друг с другом словами? И каждая пчела обогащается не для своей личной пользы, как это свойственно испорченной человеческой природе; живут они для общего блага, и все запасы свои складывают открыто, и ни капли от них вкусить не дозволяется раньше, чем полные закрома не гарантируют безбедной жизни на многие месяцы. Какое горение в работе, как распределены обязанности: одни взято́к берут, другие принимают, третьи по местам раскладывают! А какова суровость, если надо наказать ленивых! Многое, достойное удивления, можно рассказать и увидеть: они предчувствуют ненастье́, при пасмурном небе не взлетают, не терпят даже близости облаков. Если ветер вдруг чуть усиливается, то, чтобы не отклониться в полете от намеченного пути, они удерживают равновесие при помощи небольшого камешка, зажав его в лапках. Они храбры и отважны: сплотив отряды для защиты царя, бросаются в бой и принимают достойную смерть за

вождя своего. И еще, когда какие-то пчелы становятся слишком стары или больны, то их прежде всего выносят из улья, беспокоясь более о продолжении <своей> работы, чем о погребении. [18] Ну и что, если пчелы облепляют цветы? Что, если, набрав в рот сока, уносят для общего блага? Но особое восхищение охватывает меня от самой их работы: и не подумаешь, что соты складываются как придется, и такая форма получилась случайно, и что нужны они лишь для складов еды; укладывается необработанный воск, и неописуемо красивый узор служит практическим целям. Вначале на прочных связях крепятся основания, а затем равномерно во все стороны оттуда растет их творение, и нет никакой, даже самой малой, еще не достроенной части, которая не была бы в своем роде совершенна. В любом месте <их строение> может считаться уже готовым, как если бы с другой стороны оно не нуждалось в продолжении. [Ведь сами углы <ячеек> в сотах плотно уложены один к другому, скрепляясь и слепляясь таким образом, чтобы то, что нужно, оказалось в середине.] Снаружи соты закупориваются двойным слоем, и, когда все скреплено (ибо ямкам с медом отводится столько пространства, сколько потребно пчелиной природе для выведения нового роя), их содержимое, огороженное со всех сторон, чтобы не вытекал мед, запечатывается. Кто же не будет изумлен, что такая постройка может возникнуть нерукотворенно и безо всякой науки быть столь искусной? Единственное, чем они от богов отличаются, – тем, что умирают! [19] Право же, мы чтим Либера, давшего нам вино, начатки плодов приносятся Церере, почитается и подарившая нам оливу Минерва; а разве меньшее благо породить мед и создать такое безмерное наслаждение вкуса, какое естественным образом даже сама природа вещей дать не смогла? Когда одолевают болезни, то от множества хворей мед – самое что ни на есть действенное средство, а что до разных яств, то богачам виднее. И вот кто-то таким существам смог устроить западню, устроить именно там, из чего они мед производят; при помощи губительного зелья он изощренным способом коварно довел их до смерти и, что самое чудовищное, чтобы легче удался обман, может, яду и в мед добавил? Что за бесчеловечная жестокость, какая неслыханная жадность! Нет, богач, не получить тебе никакой выгоды от защиты: будешь делать вид, что пострадал от ущерба в пару лепестков? Желая убить моих пчел, ты свои цветы тем самым сделал совершенно бесполезными!

Джон Фишер

МОЛИТВА К БОГУ ОТЦУ, НАПИСАННАЯ В ЛОНДОНСКОМ ТАУЭРЕ

Перевод, предисловие А.Л. Касаткиной

Джон Фишер и его молитва

Джон Фишер, епископ и теолог, известный в XVI в. во всей Европе своей полемикой с Лютером и мученической смертью, может быть знаком русскому читателю лишь по немногочисленным упоминаниям в связи с Томасом Мором и английским предреформационным гуманизмом. Поэтому я считаю необходимым предварить перевод молитвы Фишера абрисом его биографии.

Джон Фишер родился в 1469 г. в йоркширском городе Беверли, славившемся традициями народного театра. Он был одним из четверых детей Роберта Фишера, торговца со средним достатком. Когда Джону было восемь лет, его отец умер, и во втором браке мать родила еще пятерых детей. Из братьев Джона двое, Роберт Фишер и Эдвард Уайт, стали затем его помощниками, Ричард Уайт – священником, а сестра Элизабет Уайт – монахиней доминиканского ордена, ей Фишер посвятил оба трактата, написанных в тюрьме: «Духовное утешение» («A spirituall consolation») и «Путь к совершенной вере» («The wayes to perfect Religion»).

В тринадцать лет Джон отправляется в Кембридж, где учится в колледже Майклхаус (Michaelhouse), а в 1491 г. получает магистерскую степень и становится членом совета колледжа. Это стало первой ступенью в стремительной университетской карьере Фишера, дающей представление как о его личности, так и о среде, в которой интеллектуальный потенциал, талант руководителя и серьезная религиозность были постоянно востребованы и ценимы. В том же году дается специальное папское разрешение на рукоположение Джона Фишера, не достигшего обычных для этого 24 лет, и некоторое время Фишер служит в Норталлертоне (Northallerton), недалеко от Йорка.

В 1494 г. Фишер выбран на должность старшего проктора Кембриджского университета. Исполнение этих обязанностей требовало частых поездок в Лондон, в том числе для поддержа-

ния связей между университетом и королевским двором. К 1495 г. относится отчет двадцатипятилетнего проктора о том, что он обедал при дворе вместе с госпожой матерью короля («apud dominam matrem regis»), а ужинал с лордом-канцлером. Знакомство с леди Маргарет Бофорт, герцогиней Ричмонда и Дерби, матерью Генриха VII, определило дальнейшую карьеру Фишера и развитие Кембриджского университета. Леди Маргарет постепенно приняла Фишера в число близких и уважаемых ею людей, он стал ее исповедником и духовным руководителем. Через много лет в предисловии к одному из своих полемических сочинений Джон Фишер писал, что обязан леди Маргарет Бофорт так же, как собственной матери: «Хотя она выбрала меня своим духовником, чтобы я выслушивал ее исповеди и руководил ее жизнью, но я с радостью признаюсь, что научился у ее великой добродетели большему, чем мог бы сам когда-либо научить ее».

В 1497 г. Фишер был избран главой колледжа Майклхаус, в июне 1501 г. получил степень доктора теологии (о соискательстве которой он заявил, как только истек промежуток, полагавшийся после получения степени магистра), а десятью днями позже – годичную должность вице-канцлера Кембриджского университета. Леди Маргарет помогала Фишеру авторитетом и деньгами в его усилиях по улучшению университетского образования и по подготовке образованных проповедников. Ко времени исполнения Фишером обязанностей вице-канцлера относится папская привилегия, дающая университету право каждый год отправлять двенадцать рукоположенных выпускников проповедовать в разные города Англии. В 1503 г. по инициативе Фишера леди Маргарет учредила в Кембридже и Оксфорде профессорские проповеднические должности (the Lady Margaret Readerships in Divinity), и кембриджскую первым занял Фишер. В августе и сентябре 1504 г. Фишер, ставший к тому времени канцлером Кембриджского университета, произнес перед леди Маргарет и ее окружением серию из десяти проповедей на покаянные псалмы, а к 1508 г. герцогиня добилась от Фишера их издания (и это первая в истории серия проповедей, изданных по-английски).

Также в 1504 г. король Генрих VII сделал Фишера епископом Рочестерским и включил в число членов королевского совета. В письме к матери, желая заручиться ее согласием, король писал: «Я полагаю, что возвышение такого человека вдохновит многих на то, чтобы жить так же добродетельно, как он». Фишер

принял епископство не без колебаний, но совет Кембриджа пошел на множество уступок, освободив канцлера от второстепенных обязанностей и, самое главное, от обязанности почти постоянного присутствия в университете, потому что точно такое же условие присутствия в пределах епархии делало совмещение этих должностей формально невозможным (хотя множество должностных лиц, светских и духовных, открыто пренебрегали подобными ограничениями). В 1505 г. Фишер получил папское разрешение, освобождавшее его от непрерывного пребывания в епархии, и снова смог вернуться и к университету, и к исполнению своих личных обязательств духовника герцогини.

Под влиянием Фишера леди Маргарет восстановила и реформировала Годсхаус (Godshouse), который отныне стал называться Крайстс колледж (Christ's College) и статуты которого были, по крайней мере отчасти, написаны Фишером. Самым большим проектом леди Маргарет было основание нового учебного заведения, Сент-Джонс колледжа (колледжа Иоанна Евангелиста, St. John's College), но в апреле 1509 г. умер ее сын, король Генрих VII, а сама герцогиня Ричмондская – в июне того же года, успев увидеть коронацию своего внука Генриха VIII и его супруги Екатерины Арагонской. Джон Фишер покинул королевский двор, получив как душеприказчик леди Маргарет список касающихся университета планов, и был вынужден вступить в затянувшиеся на два года пререкания с новым королем, стремившимся урезать деньги и права Фишера на земли леди Маргарет. Епископ не остановился перед тем, чтобы расформировать два скандально прославившихся женских монастыря и распродать их имущество для продолжения строительства.

С тех пор как Фишер впервые получил должность канцлера, его переизбирали каждый год, пока в 1514 г. он не попытался отказаться в пользу кардинала Томаса Уолси, все более возвышавшегося и имевшего к тому времени гораздо больше возможностей поддерживать университет финансами и отстаивать его интересы при дворе. Уолси должности не принял, а члены университетского совета избрали Джона Фишера пожизненно (редкость в истории Кембриджа и, по-видимому, в основном с той целью, чтобы канцлеру уже было невозможно покинуть этот пост).

В годы, когда Фишер учился, университет был в жалком состоянии, библиотека состояла не более чем из трехсот книг. «Почти всеми нами владело отвращение к учению и науке», – писал

Фишер. Во время своего канцлерства Фишер наладил жизнь университета и поднял его престиж, ввел преподавание древнегреческого языка и иврита, реформировал выборы прокторов, основал издательство. Все эти нововведения не вызвали ропота, как в Оксфорде, где отношение к греческому языку раскололо преподавателей на два агрессивных лагеря. Президентами кембриджских колледжей стали единомышленники Фишера Генри Хорнби, Роберт Шортон, Николас Меткальф; благотворители жертвовали достаточно денег, чтобы возможно было приглашать лучших преподавателей: Эразм Роттердамский преподавал древнегреческий язык с 1511 по 1514 г., одновременно работая над латинским переводом Нового Завета, к которому Фишер относился с большим энтузиазмом, и именно под влиянием великого гуманиста Фишер сам взялся за изучение греческого в сорок семь лет, а через три года и иврита, и преуспел настолько, что мог сделать конъектуры в нескольких местах Нового Завета и увлечься каббалистикой. В статутах, написанных Фишером для Сент-Джонс колледжа, студентам разрешалось на территории университета разговаривать только на каком-нибудь из древних языков. Вообще во время канцлерства Фишера впервые Кембриджский университет по качеству образования поравнялся с Оксфордским.

Что касается епископской карьеры Фишера, то она явным образом контрастирует с университетской. Рочестерская епархия, самая маленькая и едва ли не самая бедная в Англии, была выбрана для «мастера Фишера», как и для большинства его предшественников на этой кафедре, явно в качестве трамплина, позволяющего потом получить назначение в епархию более богатую и обширную, а затем и доступ к государственным должностям. Ничего этого не произошло. В течение тридцати с лишним лет Джон Фишер по собственному желанию оставался епископом Рочестерским, шутливо сравнивая свою епархию со старой бедной женой, которую он не покинет ради самой богатой вдовы в Англии. Первые биографы Фишера, смотревшие на его жизнь через призму мученичества, должны были быть склонны преувеличивать стандартно превозносимые добродетели, описывая, как епископ сам раздает милостыню или молится у постели умирающих бедняков. Но современные исследования епархиальных архивов подтверждают взгляд на Фишера как на энергичного епископа, посещавшего все приходы, назначавшего и смещавшего настоятелей, собиравшего сведения о библиотеках монастырей. Ни одного еретика не было

казнено в епархии при Фишере – можно приписать это умению епископа убеждать, на которое он высказывает надежду в предисловии к издаваемой проповеди против Лютера: «Если этот последователь [Лютера] захочет прийти ко мне тайно и изложить достаточно откровенно свои мысли, то я обязуюсь сохранить тайну его прихода, а также найти время для него, чтобы вникнуть в его взгляды, и, если ему будет угодно, он выслушает снова мои, и я полагаюсь на Господа, что в конце концов мы окажемся настолько согласны, что либо он сделает меня лютеранином, либо же я приведу его к тому, чтобы быть католиком и следовать учению Христовой Церкви». Вообще проповеди Джон Фишер придавал необычно большое значение. Этим отношением проникнута вся его университетская деятельность, направленная в конце концов только на то, чтобы выпускники становились образованными глашатаями и толкователями Писания. Среди множества собственных обязанностей епископа проповеди всегда отводилось место, Фишер говорил в деревенских церквах, перед простыми людьми и считал недопустимым перестать доносить до грешного человечества призыв Христа к покаянию.

Об аскетизме жизни Фишера говорят его биографы и косвенным образом свидетельствует Эразм, советовавший Фишеру в письме не губить здоровье в допотопно и неправильно оборудованной библиотеке, в которой сам Эразм не смог бы провести и трех часов без того, чтобы не получить воспаления легких. Биограф Фишера замечает, что резиденция епископа скромностью напоминала монастырь, а ученостью – университет, вероятно, потому, что ближайшее окружение Фишера составляли его кембриджские друзья и коллеги.

В 1519 г., на пятидесятом году жизни, Фишер вступил в новую фазу своей деятельности, став теологом-полемистом. Известность Фишера была достаточно велика, судя по тому, что епископ был дважды, в 1512 и 1516 гг., приглашен на Пятый Латеранский собор как английский представитель (и оба раза политические события расстраивали его планы). Фишер уже при жизни считался образцом епископа, и трудно было выдвинуть кандидатуру с большим моральным авторитетом против такого гуманиста, как Жак Лефевр д'Этапль, утверждавший, что средневековый культ Марии Магдалины основывается на смешении трех разных персонажей Евангелия. По просьбе папского легата кардинала Кампеджо, Фишер, испытывавший сначала только легкий чисто научный

интерес к этой проблеме, разрабатывает опровержение аргументов Лефевра в трактате «О единственной Магдалине» («De unica Magdalena») и в последующих двух книгах, написанных в ответ на возражения Лефевра. Фишер открыто ставит авторитет Церкви выше научной истины и размежевывается с гуманистами, обладая при этом такой же научной базой и инструментарием, как и они.

Между тем первые книги Мартина Лютера начали продаваться в Англии. Джон Фишер, рассматривавший себя только под тремя углами зрения – как епископа и как теолога и, конечно, как грешника, принял на себя необходимость опровергать новую ересь, утверждая, что его духовный сан существует для поддержки более слабых братьев и что если чья-то душа погибнет по недосмотру пастырей, эта кровь будет на них. В 1521 г. Фишер по просьбе Уолси произнес в лондонском соборе св. Павла двухчасовую проповедь с разбором мнений Лютера об авторитете Писания и Церкви. Проповедь была издана и разошлась в Англии множеством тиражей (еще одна последует в 1526 г.), а на Фишера была возложена обязанность отвечать Лютеру на общеевропейском уровне. Распространенный в дебатах времен Реформации грубый и оскорбительный тон остался совершенно не свойственным Фишеру, способному залиться слезами, произнося акт отлучения от Церкви одного из кембриджских преподавателей, признанного еретиком. С 1522 по 1527 г., когда Фишер решил оставить полемику, он написал пять латинских трактатов: против гуманиста Ульриха Велена, в защиту историчности традиции, связывающей апостола Петра с Римом («Convulsio Calumniarum Ulrichi Veleni Minhoniensis, quibus Petrum nunquam Romae fuisse cavillatur», 1522), три тома против Лютера, включая «Опровержение утверждений Лютера» («Assertionis Lutheranae confutatio», 1523, а также «Sacri Sacerdotii defensio contra Lutherum», 1525 и «Assertionum regis Angliae de fide catholica adversus Lutheri Babylonicam captivitatem defensio», 1525) и колоссальный трактат против евхаристической доктрины шведского реформатора Эколампадия («De Veritate Corporis et Sanguinis Christi in Eucharistia», 1527). На Тридентском соборе в 1545 г. некоторые епископы знали учение Лютера только по сочинениям Фишера, еще много лет после этого остававшимся самым глубоким и полным анализом протестантизма.

Последние годы жизни Джона Фишера, проведенные им в противостоянии делу Генриха VIII о разводе и разрыву с папой, наиболее насыщены событиями и известны исследователям.

С самого начала сомнений короля в действительности его брака с Екатериной Арагонской Фишер вынужден быть одной из центральных фигур происходящего, так как Генриху VIII необходимо заручиться поддержкой епископа Рочестерского, «самого святого епископа в христианском мире». По поручению кардинала Уолси Фишер исследует вопрос о браке с вдовой брата (Екатерина была замужем за старшим братом Генриха, принцем Артуром, умершим через несколько месяцев после свадьбы) и приходит к положительному заключению. Как оказалось впоследствии, такой ответ вовсе не устроил короля, и Фишер, убежденный в истинности своих выводов, стал во главе оппозиции разводу, упорно и открыто защищая сторону королевы, исповедником которой он был. Он говорил в защиту брака в парламенте как член палаты лордов, он единственный при неудавшемся разбирательстве дела перед папскими послами в собрании высшего духовенства в 1529 г. противостоял королю и архиепископу Уорхэму, говоря, что его подпись на документах подделана, он не давал своего согласия на разлучение того, что сочетал Бог, но, напротив, готов, как Иоанн Креститель, умереть, защищая достоинство брака. Он написал такое количество сочинений, что на допросе в Тауэре не мог вспомнить, сколько же их было (до нас дошел один трактат, вывезенный из Англии и напечатанный в Испании в 1530 г., «De Causa Matrimonii»). Даже в 1532 г. он все еще громил с кафедры план короля жениться на Анне Болейн.

С 1529 г. не меньшую активность Фишер проявлял в организации сопротивления атакам Генриха VIII на английский клир, который в конце концов был вынужден собрать в королевскую казну сто тысяч фунтов и принять новый титул короля, «защитника и верховного главы английской Церкви и духовенства». Вероятно, именно Фишер был автором добавленных к титулу слов «насколько это дозволено божественным законом» («quantum per legem Dei licet»), превращавших этот титул в пустую формулу. Отношения между епископом и королем переходят в состояние открытой войны: несколько раз Фишер подвергается арестам, на него совершены два покушения, которые молва относит на счет семьи Болейн. В свою очередь, Фишер, всю жизнь сторонившийся политики, вступает в тайные переговоры с испанским послом и участвует в подготовке военного вторжения в Англию войск императора Карла V, которые должны были свергнуть Генриха VIII после того, как папа отлучил бы его от Церкви.

Серьезной попыткой избавиться от Фишера было предъявление ему обвинения в связи с делом Элизабет Бартон (девушки, ушедшей в монастырь под влиянием полученных ею откровений, и теперь пророчествовавшей), что в результате нового брака короля бедствия постигнут и его семью, и всю Англию. Она добилась встречи с самим королем и бросила слова обвинения ему в лицо, но в результате были казнены и она сама, и четверо священников, наиболее открыто поддерживавших ее. Элизабет Бартон встречалась с несколькими духовными лицами высокого ранга, в том числе и с Джоном Фишером, пославшим ей сначала список вопросов, по которым он надеялся оценить истинность духа, пребывающего в ней. По-видимому, ответы простой женщины на богословские вопросы убедили епископа, а при встрече искренность и храбрость Элизабет произвели на него большое впечатление, и, симпатизируя ей, он оказался среди обвиняемых. Фишер защищался, был признан виновным в недонесении и укрывательстве и отпущен с обязательством заплатить огромный штраф, примерно равнявшийся годовому доходу его епархии. Томас Мор, сложивший с себя полномочия лорда-канцлера после того, как король добился для себя права созывать английское духовенство по своему усмотрению, также был в списках обвиняемых, но он, всегда скептически относившийся к видениям и пророчествам, даже не виделся с Элизабет Бартон, и обвинение было снято с него как несостоятельное.

В ходе парламентских заседаний 1534 г. был разработан Акт о наследовании, включавший пункт о признании короля главой английского духовенства, которое целиком должно было присягнуть королю и таким образом отречься от власти папы. Джон Фишер, больной и с трудом державшийся в седле, был вызван из Рочестера в Лондон для подписания этой присяги. У него были все основания предполагать, что он не вернется, поэтому он отдал необходимые распоряжения, простился со слугами и, благословляя провожавший его народ, отправился навстречу судьбе.

И Томас Мор, и Джон Фишер (о которых Генрих VIII некогда говорил, что он счастлив быть королем в государстве, в котором есть два таких человека), вызванные первыми к присяге, отказались присягать и через несколько дней, данных на размышление, были отправлены в Тауэр, а их имущество конфисковано, так что, когда Фишера на лодке доставили в тюрьму через ворота, поднимавшиеся прямо над водой, у него не оказалось даже мел-

кой монетки для гребца, и он просил принять вместо этого его искреннюю благодарность.

Вначале достаточно многие отказались присягать. Одни были брошены в Тауэр, другие подверглись психологическому давлению, но когда в ноябре 1534 г. вышел новый Акт о главенстве (согласно которому «всякие воля, желание или намерение, выраженные словами, письмом или рисунком» и направленные против королевской персоны и любого из ее титулов, трактовались как государственная измена и карались мучительнейшей смертной казнью), многие отступили. Один из них был епископ Стоксли, давний единомышленник Фишера, вместе с ним изучавший иврит, другой – епископ Тенсталл, друг Томаса Мора и Эразма Роттердамского. Подписавшие присягу епископы были отправлены уговаривать Фишера, который ответил, что не собирается нарушать веления своей совести в угоду королю, тем более что жить, похоже, остается недолго, поэтому он лучше проведет это время, молясь за короля.

В течение года Фишеру было разрешено иметь книги и писать самому, так что он пользуется этим и создает два трактата по медитации: один на тему смерти, другой на тему божественной любви, а также пишет ту молитву, перевод которой я помещаю ниже. Братья посещают епископа в тюрьме, его друзья посылают ему еду и одежду и, рискуя, с уважением упоминают его в проповедях. В какой-то момент он получает письмо от преподавателей Сент-Джон колледжа, которые благодарят его за все, что он для них сделал, и сообщают, что молятся за него и будут молиться.

4 мая 1535 г. были казнены несколько монахов и священников, не согласившихся подписать присягу, но и это не заставило сдаться Фишера и Мора, перенесших в каменном мешке зиму, допросы и уверения в том, что все остальные подписали. В мае папа Павел III назначает Фишера кардиналом, может быть, в надежде, что это заставит короля смягчиться, но происходит обратное: король в ярости заявляет, что к тому моменту, когда привезут кардинальскую шапку, у Фишера уже не будет головы, и приказывает судить узника. 17 июня происходит суд над Джоном Фишером, признавший его виновным в государственной измене на основании того, что он «открыто и злонамеренно» высказывался о несостоятельности притязаний короля на главенство в Церкви. На возражение Фишера, что это вовсе не было злонамеренным, отве-

чали, что сам факт подобного высказывания предполагает злонамеренность. Епископ был приговорен к смерти.

Через два дня были казнены еще трое монахов-картезианцев. Они подверглись долгим мучениям, но старому епископу, который едва стоял на ногах от истощения и едва ли смог бы преодолеть дорогу к месту экзекуции, эта казнь была заменена отсечением головы на Тауэр-хилл. Католические биографы Фишера подробно говорят о последних минутах его жизни. В день казни, 22 июня, разбуженный в пять часов утра и выслушавший сообщение о предстоящей сегодня смерти, Фишер попросил разрешения поспать еще, а когда он, уже проснувшись, хотел надеть чистую рубашку, слуга спросил, зачем это ему, на что тот ответил: «Ты разве не знаешь, я венчаюсь сегодня?» Он был так слаб, что часть пути до эшафота тюремные служители несли его на стуле, за что он поблагодарил их с присущей ему доброжелательностью. Стоя перед народом, он громко и ясно обратился к нему со словами о том, что пришел сюда умереть за христианскую веру и что всемилостивый Бог поддерживает его, так что он совершенно не боится. Он попросил народ молиться за него, чтобы в самый момент удара топора он не испугался, не усомнился, не отступился от веры Христовой Церкви, и попросил также, чтобы собравшиеся присоединились к нему в молитве за короля и всю Англию.

В Рочестере была описана и вывезена вся огромная библиотека епископа, которую он собирался завещать университету, все его имущество, вплоть до трости, с которой он ходил, и вещей леди Маргарет Бофорт, которые он хранил. В Сент-Джонс колледже со стен построенной на пожертвования Фишера часовни был по приказу лорда-канцлера Кромвеля ободран декор – ребус, изображавший фамилию «Фишер» в виде повторяющихся рыбы и уха. Но преподаватели колледжа ясно продемонстрировали отношение к казненному канцлеру, когда выбрали своим президентом не королевского кандидата, а друга Фишера Николаса Уильсона, незадолго перед тем подписавшего присягу и освобожденного после трех лет тюрьмы. Из этой же кембриджской среды вышли первые биографы Фишера.

Современные исследователи не поддерживают традицию рассматривать Джона Фишера в дуалистической оценочной манере, равно свойственной и католической, и протестантской стороне, когда Фишер оказывается то воплощенной добродетелью, противостоящей монстрам, то злобным реакционером, пытаю-

щимся не дать прорасти духовной свободе. Как всякий выдающийся человек, Джон Фишер несет в себе собственную правду, только ему присущую интонацию жизни, которую можно попытаться почувствовать, удерживаясь от упрощения всякий раз, когда этот соблазн будет осознан. Лучший способ воздержаться от упрощения – это позволить человеку говорить самому и попытаться создать для него условия в пространстве чужого языка.

Молитва Фишера впервые была напечатана в 1952 г. в современной английской орфографии. В 2002 г. Сесилия Хэтт издала аутентичный текст молитвы, сверив его по трем существующим рукописям, две из которых – это черновики Фишера, а третья – тетрадь йоркширского священника Роберта Паркина, где молитва Фишера помещена среди молитв Томаса Мора и приписывается ему. Чистовик, который Фишер, по всей видимости, передал Томасу Мору, а тот – своему сыну Джону и с которого, вероятно, переписывал Паркин, не сохранился.

Перевод сделан по изданию: English works of John Fisher, Bishop of Rochester (1469–1535): Sermons and other writings, 1520–1535 / Ed. by Cecilia A. Hatt; Oxford University Press, 2002.

Библейские цитаты я не даю по синодальному переводу, а перевожу с английского текста Фишера.

Джон Фишер

Молитва к Богу Отцу, написанная в лондонском Тауэре

Помоги мне, Отче, дорогой, помоги мне, укрепи меня силой милосердия Твоего. Поддержи меня Твоим сострадательным вниманием. Выручи меня из этого множества опасностей, в которых я пребываю, ведь если Ты не захочешь спасти меня по бесконечной благости Твоей, то я просто пропал.

Ты ясно заповедал мне, чтобы я любил Тебя всем сердцем, всей душой, всем разумом, всеми силами. И признаюсь, я совершенно не достиг этой цели, но собрал на своем счету одни недолеты и промахи. Я понимаю это, вспоминая другие привязанности, которые испытывал прежде к созданиям Твоим. Ведь тех, кого я любил по-настоящему, я так любил, что только изредка мог их забыть. Они всегда были у меня в памяти, и почти постоянно мое сердце было занято ими, и моя мысль всегда бежала к ним, равно, будь они далеко или рядом со мной. Особенно когда их не было, я

еще больше мечтал оказаться вместе и быть там, где они, а иначе мое сердце никак не могло успокоиться и обрести мир.

Но увы, мой дорогой Отче! По отношению к Тебе все обстоит не так. Потому что я не храню Тебя в памяти, и не ношу Тебя в мыслях постоянно, и не занимаю сердце Тобой так часто, как должен бы, но ради любого пустяка, приходящего в мое сознание, я позволяю Тебе выскользнуть и выпасть оттуда. И ради любой фантазии, шевельнувшейся в моем сердце, я отставляю Тебя в сторону и быстро забываю. Я разрешаю множеству ничтожных мыслей беспрепятственно бесчестить мою душу, но с Тобой, мой дорогой Отче, я едва побуду и немедленно обращаюсь к воспоминаниям о Твоих творениях и в результате провожу с Тобой совсем недолгое время.

Что же? Восхищение Твоими созданиями вертит и гоняет меня туда и сюда. Мои жалкие страсти ослепляют меня. Этот лживый мир настолько вводит меня в заблуждение, что я забываю о Тебе, моем самом-пресамом настоящем и любящем Отце, который так хочет обладать моим сердцем и моей любовью.

А что такое Твои творения, как не творения, созданные Тобой? Ты сделал равно меня и их из ничего, и Ты неизмеримо далеко превосходишь их все. И что такое мои желания, когда они устремлены к Твоим созданиям, а не к Тебе, как следовало бы, – что они такое, как не жалкое сумасшествие, исполненное греха? И наконец, что такое этот мир, как не несчастное изгнание, полное опасностей и бедствий, абсолютно не похожее на ту прославленную страну, где Ты пребываешь въяве и показываешь Свое превосходящее все Величие в его предивной славе! Там Ты ясно виден всем Твоим благословенным ангелам и святым из твоей ликующей свиты, и они всегда находятся перед Твоим святым лицом.

О мой дорогой Отче, здесь должно бы быть мое сердце. Сюда должны устремляться мои желания и память, и если бы действительно я любил Тебя всем сердцем, то я должен был бы тосковать по возможности взглянуть на Твое святейшее лицо. Я должен был бы изо всех сил желать увидеть Твою страну, Твое царство, я должен был бы всегда жаждать присутствовать там, при Твоем преславном дворе.

Но, увы, я не делаю этого, и потому я сокрушаюсь о моей вопиющей нерадивости, я плачу о своей гнусной забывчивости, я скорблю о своей глупости, нет, не глупости, о моем просто-таки

безумии, что я вот так, ради ерунды и суеты, забываю своего дорогого и самого любящего Отца.

Увы, горе мне! Что я стану делать? Куда я могу обратиться? К кому я прибегну за помощью, где я буду искать лекарства против этой мирской или земной подавленности моего сердца? Куда надо мне скорее идти, чем к моему Отцу, к моему глубоко любящему Отцу, к моему милосерднейшему Отцу? К Нему, Который по Своей бесконечной любви и милосердию дал мне дерзновение звать Его: Отец. Чей Сын, Иисус, мой Спаситель, научил меня так называть Его и быть уверенным в том, что Он мой Отец и, мало того, что Он сильнее любит меня, чем любой земной отец своего ребенка.

Вот Его слова о земных отцах этого мира: «Если вы, будучи поражены злом, способны щедро дарить своим детям хорошие подарки, то насколько более ваш небесный Отец должен дать доброго Духа тем, кто просит Его об этом?»

Эти слова, милосерднейший Отче, – это слова Твоего любимейшего Сына, Иисуса, в которых он учит нас, что Ты – наш истинный Отец, и обещает от Твоего имени, что Ты дашь Твоего Святого Духа тем, кто обращается к Твоему Сыну с настойчивостью.

Ты хочешь, чтобы мы верили Ему и с надеждой полагались на Его слово. Потому что Ты свидетельствовал о Нем, что Он – Твой возлюбленнейший Сын, и просил нас слушать Его и полностью доверять Его словам.

Поэтому мы можем твердо знать три вещи.

Первая – это то, что Ты наш Отец.

Вторая – что Ты более добрый и любящий Отец, чем бывают по отношению к своим детям земные отцы в этом мире.

Третья – что Ты дашь Твоего Святейшего Духа тому, кто постоянно просит его у Тебя.

Мы можем быть совершенно уверены, что ради Твоей неоценимой благости и ради славы Твоего имени и вечной истины Ты не нарушишь этих обещаний постольку, поскольку они были сделаны Твоим возлюбленнейшим Сыном, Христом Иисусом, Которого Ты послал в этот мир научить нас истине и подтвердить нам ее драгоценнейшей кровью, которую Он пролил ради нас на кресте.

Отче! К кому мне тогда скорее обратиться за помощью в моей нужде, чем к Тебе, Кто хочет, чтобы я звал Его Отцом? Это

обращение, «Отец», – это имя величайшей любви и нежности, величайшей радости и восторга, оно побуждает сердце надеяться и быть спокойным и приносит много других прекрасных чувств. И если бы ничего не было больше, кроме одного этого имени, его хватило бы, чтобы придать мне непоколебимую уверенность в том, что Ты, Кто велел мне называть Тебя этим именем – Отец, поможешь мне и поддержишь меня, когда я прибегаю к Тебе. Но еще более потому, что мой Спаситель, Твой Сын, Христос Иисус, уверил меня, что Ты более добрый и более любящий меня Отец, чем был для меня мой собственный отец по плоти. Это уверение Твоего любимейшего Сына должно иметь большое значение для нас с Тобой.

Во-первых, меня это должно подвигнуть к тому, чтобы я возымел надежду и уверенность в том, что Ты будешь относиться ко мне соответственно этому обещанию.

Во-вторых, это также должно подвигнуть Тебя исполнить это обещание серьезно: так, чтобы показать, что Ты добрый и любящий Отец, на примере этой моей просьбы. Моя просьба, дорогой любимый Отче, опирается на то же самое обещание, сделанное Твоим возлюбленнейшим Сыном, моим Спасителем, Иисусом. Я прошу не о чем ином, как о Твоем добром и святом Духе, чтобы Он был дан мне по тому самому обещанию Иисуса, которое Он произнес.

Я знаю, всемилостивейший Отче, что Ты здесь присутствуешь со мной, хотя я Тебя и не вижу. Но Ты и видишь, и слышишь меня, и никакая тайна моего сердца не скрыта от Тебя. Ты слышишь, что я теперь прошу Твоего Святого Духа, и знаешь, что теперь я молю об этом и что я очень хочу получить Его. Взгляни, дорогой Отче, изо всех сил моего сердца я прошу Тебя дать мне твоего Святого Духа. Поэтому если Ты не хочешь нарушить обещание Твоего Сына Иисуса, Ты не можешь не дать мне этого Святого Духа.

И тогда я буду совершенно избавлен от этого несчастья, на которое я жаловался Твоей Благости вначале. Твой Святейший Дух, Он даст мне любить Тебя всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей силой. Потому что Он вдохновитель всякой настоящей любви, Он тот горн, в котором разгорается милость и щедрость, Он источник всех добрых чувств и благих желаний. Он духовный огонь, который зажигает благую любовь в сердцах тех, в кого Он входит. Он наполняет души тех, кто принимает Его, изобилием

милосердия, Он мягко обращает их сознание к благим желаниям и дает способность и силу бесстрашно следовать всякому духовному стремлению и особенно стремлению к Тебе.

Поэтому, дорогой Отче, раз Ты строго повелел мне любить Тебя всем сердцем, то я с радостью сделал бы это, но без Твоей помощи и без Твоего Святого Духа я не могу этого исполнить. Я прошу Тебя, излей в мое сердце Твоего Святого Духа, благодаря Чьему милосердному присутствию я могу быть согрет, раскален и воспламенен духовным огнем милости и сладкой любовью к добру, и тогда я могу мгновенно устремить свое сердце, душу и ум к Тебе и твердо верить, что Ты мой истинный Отец, и по этой вере могу любить Тебя всем сердцем, всей душой, всем разумом и всеми силами.

Аминь.

Приложение

«НАУЧИТЬ ЧИТАТЬ, ТО ЕСТЬ ПОНИМАТЬ...»
Интервью с Н.А. Федоровым

Это интервью было взято у Николая Алексеевича в 2004 г. студентами IV курса отделения античной культуры РГГУ в качестве практического занятия по курсу «История антиковедения в России» (ведет курс Н.В. Брагинская; интервью брали Борис Игнатов и Екатерина Перевезенцева). Устные ответы нимало не предназначались для публикации. Однако появление в печати в последнее время многих воспоминаний о кафедре классической филологии (воспоминания В.Н. Ярхо, С.К. Апта, М.Л. Гаспарова в «Записях и выписках») наводит на мысль о своевременности таких материалов, и редакция берет на себя полную ответственность за публикацию этого текста, неправленного и неавторизованного, но зато сохраняющего интонации живой беседы.

* * *

А зачем Вы пошли на античную кафедру?

В какой-то мере случайно. Потому что я поступал на филологический факультет без четкого представления, зачем и почему я это делаю. Конечно, я не бежал туда от черчения и математики, я даже пытался поступать в Историко-архивный институт, но он меня так испугал своей пыльностью и перспективой работы в архиве провинциального города, что я больше туда не заходил. Я даже несерьезно думал о юридическом факультете. У меня была ориентация на гуманитарию литературного плана – и поэтому я поступил на русское отделение.

Так как же Вы пришли к античности?

Тоже абсолютно случайно: когда я поступил, я стал слушать лекции и заходить на другие кафедры. На русской кафедре были вещи, которые меня не очень увлекали, как то: церковнославянский язык, например. Его как-то затхловато преподавали – и мне стало немножко страшно. В том числе я заходил и на лекции классического отделения. К ним я ходил на лекции по истории – их читал Анатолий Георгиевич Бокщанин. У него есть книжка по Древнему Риму. Не то чтоб он был серьезный эрудит, но читал он завлекательно и открывал перед студентами огромные античные перспективы – уже без античности, по нему, прямо никуда.

С другой стороны, я смотрел расписание и видел, что у них есть в расписании латынь, древнегреческий язык. И стали у меня возникать сомнения, не податься ли мне на классику. Кроме того, у меня было очень наивное представление: античное время закончилось, культура завершена – и стало быть, ею можно овладеть совершенно. А русская культура и литература продолжаются – они огромны и необъятны. Ну и, конечно, всякие разные слова о том, что античность – источник европейской и мировой культуры. Так что я за этими корнями и погнался.

Я тогда посоветовался с одним очень хорошим литературоведом и историком, который мне помогал покровительством, – Алексей Карпович Дживилегов, очень крупный театровед, большой специалист по итальянскому Возрождению. Он сказал: «Да-да, конечно, переходите на классику». И даже надарил мне тогда Тита Ливия, Геродота, Гомера – у меня сразу появилась своя античная библиотека. И потом я перешел. Это было тоже непросто: пришлось меняться с одной девицей, которая мечтала уйти с античности, – а я, наоборот, очень хотел по своим наивным и детским соображениям.

А до этого как-то Вы были знакомы с литературой, историей?

В 6-м или 7-м классе я начал читать «Одиссею» – и не осилил, но было интересно.

И Вы латыни до университета не знали?

Ни в малейшей мере. Более того, я вспоминаю, как в 6-м классе мы играли лермонтовских «Испанцев». И играл я там патера, который соблазненной девице говорил: «Вы не vici, потому что я де-ви-цы не видал!» Так я произносил «вы не ви-си», не замечая, что никакой рифмы не получается. Ну и еще в «Лекаре поневоле» приходилось произносить какие-то фразы из биологии и медицины.

А с изучением языков у Вас не было проблем?

Проблем особых не было. Я перешел на первом курсе. Во-первых, мне помогли ребята, хотя, конечно, глупостей я говорил достаточно и мог спокойно определять Indicativus, Conjunctivus – но это проделывали и другие люди, которые учились с первого сентября.

Больше всего я любил греческий язык.

А почему же потом Вы выбрали латынь?

Я не выбрал – это жизнь выбрала. Тут мне надо рвать на себе волосы и кричать, что лень человека сгубила: я долго занимался греческим – до конца аспирантуры. И уже когда я остался в университете, то основная работа была – преподавать латинский язык на общих отделениях. И вот инерция, отсутствие подлинного интереса заставили отойти от греческого языка. В какие-то годы я его преподавал, но я думаю, что подготовка моя была достаточно слаба, чтобы стать профессионалом в этом деле. А латынь шла-шла – и очень прочно въелась в мое существование. Это для меня огромная потеря.

Ни в коем случае нельзя отдать предпочтение одному – должно быть две ноги.

А так бывало, что не хватало греческого языка?

Думаю, что да. Конечно, я всегда мог посмотреть куда-то и вспомнить. Но я не мог обращаться с греческим так же свободно, как с латинским, – на ты.

Сколько вас было на первом курсе?

Очень много. Я поступил в сорок четвертом году – и в это время намечалась очередная реформа школы – по образцу старой гимназии, когда ввели вскоре раздельное обучение мальчиков и девочек, когда появилась гимназическая форма, совершенно повторяющая старинную форму. И тогда же осуществлялся проект введения в школе древних языков, латинского прежде всего, а еще логики и психологии. Даже общежитие МГУ должно было воспроизводить нечто имперское.

Поэтому был резко увеличен прием на классику. В том числе и потому, что нужны были учителя. По-моему, даже именно с 44-го года. В 43-м университет вернулся из эвакуации. В году 43/44 они занимались на Бронной, где сейчас ИФЛИ. И года через три и в Ленинском педагогическом институте было открыто классическое отделение. И прием там был 40 человек. Он не был реализован полностью, но 30 с лишним было. Это помогло мне поступить, потому что у меня была скользкая ситуация с баллами – их было 23 вместо 24.

А какой был конкурс?

А его практически не было. Потому что медалистов тогда принимали без конкурса и собеседования. Они автоматически становились студентами – и другим оставались какие-то пустяки. И они дрались за места. Так что то, что я попал, – тоже было счастье.

Почему открыли так много мест – это понятно.
А почему так активно шли?

Я думаю, что шли бездумно.

Романтика?

Никакой особенной романтики. Ну ведь и сейчас: в этом году приняли 15 человек, а сейчас осталось 7.

Потому что на античность легче поступить.

Именно. У нас было много хороших ребят, и многих соблазняло сознание того, что вы называете романтикой, а я назову в наше время сознанием особой культурной элитарности. А много людей у нас не имело никакого представления об античности, им было абсолютно все равно, учить ли русскую литературу или латынь. Кстати, потом из них вышли великолепные преподаватели русского языка и литературы в школе. Так что нельзя сказать, что все туда рвались за античной наукой. Достаточно стадное было ощущение.

Уходило много?

Нет. Но уходили. Уйти было не так просто, потому что набрать 30 человек было заданием партии и правительства – они готовились стать школьными учителями. И такое количество было еще один или два года. Еще два курса после нас были очень большие, потом количество стало уменьшаться. Когда мы кончали, нас было 23 человека. Это три группы. И так было еще только два года. Когда я начал работать, группы классиков были уже по 6–8 человек.

Как проходили занятия языком?

Приблизительно так же, как у вас, только не было смешения истории и филологии в занятиях. Наш факультет был филологический, и наша кафедра занималась только филологическим факультетом, а другая часть (они раньше были вместе) занималась историей.

И вы так же, как сейчас с нами, читали тексты?

Совершенно так. Я думаю, что вы сейчас так читаете тексты, потому что эта традиция идет от наших же учителей. Вот у их учителей было по-другому: тогда профессор сам читал, сам комментировал и никого больше не подпускал – и спрашивал только на экзамене.

Вы этого не застали?

Нет, мы застали обычную, традиционную систему обучения на чтение и анализ текста.

А что было другого?

Наше время отличало то, что преподаватели специализировались. Лучшие преподаватели занимались обоими языками. Я греческому учился у Павла Матвеевича Шендяпина, который с нами уже на 4–5 курсах занимался латинскими авторами. То же самое и с Александром Николаевичем Поповым, который начинал с младшими латынь, брал первый курс, чтобы заложить основы, – и потом отдавал другим. Хотя для него главным был греческий язык, а латынь у него была вторична. Потом была специализация: кто-то читал прозаиков, кто-то – поэтов. Деление, конечно, несущественное, но было. Они спокойно могли меняться, тем не менее у нас был не один преподаватель, а много.

Кто вас взял первым?

Греческим с нами занимался Павел Матвеевич Шендяпин, соавтор учебника латинского Попов–Шендяпин, лучшего в свое время учебника латинского языка, но он появился уже позднее. А когда мы начинали заниматься, тогда был один-единственный киевский учебник Крихатского. Была еще грамматика Соболевского – но 30-го года, ее было мало. А лет через пять вышел учебник Попова и Шендяпина, который выдержал аж пять изданий. Потом еще было первое издание Боровского. А большой грамматики греческого языка не было, Соболевский вышел много позднее, к тому времени я уже закончил учиться. В 41–42 годах вышла «Краткая грамматика» Александра Попова. Очень хорошая грамматика, но с существенным недостатком: все тексты там были только на древнегреческом языке. Даже у образцов не было перевода. Но именно по поповской грамматике мы и занимались. Там все хорошо подано в очень концентрированном и сгущенном виде.

К концу нашего обучения в тех же целях введения в школе латинского языка стала издаваться такая серия – «Римские классики», желтые мягкие книжечки, в которых были тексты с

довольно подробными комментариями, иногда даже слишком подробными, потому что давали не столько грамматический комментарий, сколько перевод ad hoc. Там Соболевский выпустил De bello Gallico с огромным своим комментарием, ссылками на грамматику. Их мы тоже использовали как пособия.

А словари?

Это было труднее: их нужно было покупать у букинистов. Они были редкие и дореволюционные. Греческий словарь – это Вейсман, латинские – Шульц и Петрученко. Тогда я смог их купить только потому, что мне Алексей Карпович Дживилегов деньги дал, и я смог купить одного Петрученко и Вейсмана – они у меня до сих пор лежат, из позапрошлого века. Потом появился уже словарь Королькова – тот, что теперь Дворецкого. Корольков – его настоящий автор. Дворецкий был его редактором, и довольно активным, а после смерти Королькова, у которого никаких наследников не было, он как-то мягко перешел в авторство, и упоминание о Королькове, по-моему, вообще исчезло. Но Дворецкий включил туда много новых слов, он много откапывал. И после смерти Дворецкого было внесено много средневековых слов. Поздняя античность и первые века Средневековья в нем хорошо представлены. Но в наше время его еще не было.

Вернемся к студентам: сколько из выпускников шло в науку? Кто чем занимался?

Год на год не приходился. Здесь вообще есть какая-то странная закономерность: график подъемов и спадов похож на кардиограмму: какая-то группа высокая, другая низкая. Хотя, конечно, группа – это виртуальная реальность, это просто набор людей, которые объединились совершенно случайно. У меня всю жизнь равномерно чередовались группы увлеченные и скучные, успешные в науке и обычные.

Из нашего курса в науку вышло два человека. Это Беатриса Борисовна Ходорковская, латинистка, доктор наук. Ее ученый фундамент сложился еще в университете: фундамент языка, серьезного интереса. Но научный опыт там не появился. А как у нее появилась наука? Она пошла в аспирантуру в Петербургский университет и стала аспиранткой академика Ивана Ивановича

Толстого и вращалась три года в атмосфере петербургской классической кафедры, что явно содействовало ее ученому формированию. Она теперь в университете Мориса Тореза. Она такой суховатый лингвист романского профиля, меньше интересуется собственно литературой. Вторая – Елена Николаевна Вольф, которая была самой младшей из нас, необычайно яркой одаренности – и она из классики ушла. Она занималась и на классическом, и на английском отделении. А потом стала заниматься испанским языком. И когда мы кончали университет, она защищала два диплома: по классической филологии и по английской кафедре. Но одновременно она занималась испанистикой и стала преподавателем испанского языка в МГУ. Там она сделала кандидатскую, докторскую – стала крупнейшим специалистом по иберийским языкам. Потом постепенно перетекла на Португалию и стала ведущим специалистом по португальскому языку. Она долго преподавала в Душанбе, писала учебник латинского и испанского языков для таджикского университета – потому что там муж служил. Она умерла несколько лет тому назад. Ярчайшая фигура в романистике.

Вы считаете, что она занималась такими многими и разными вещами, потому что кафедра ей чего-то недодавала?

Безусловно, хотя многие со скрипом одолевали только это, но она была очень одаренным человеком.

Еще был Максим Наумович Чернявский, инвалид войны, который после аспирантуры поступил в фармацевтический институт, который потом стал факультетом Первого меда, он стал завкафедрой, написал вместе с Ходорковской, которая там тоже какое-то время работала, учебник латыни для фармацевтов, а потом был автором нашей Фармакопеи. Но научных трудов у него нет. Хотя, если бы он жил в другое время, из него вышел бы замечательный литературовед: у него была прекрасная диссертация по Луцилию. И на этом все. Остальные ограничивались педагогической или редакторской работой.

А какие волны вокруг вашего курса? Курсами раньше, позже?

На курсах «до» были великолепные люди. Прежде всего, это Виктор Ноевич Ярхо, который был за курса три до нас. И у них

был перерыв на войну. У него вышла недавно книга воспоминаний «Внутри Садового кольца и вне его» – это уже о деятельности в ИФЛИ и в торезовском институте, где он заведовал кафедрой до своего отъезда во Францию. Умер он во Франции, уехал туда к дочери. Безусловно, одна из значительнейших фигур в классической филологии. К нему можно по-разному относиться и что-то оспаривать. Я всегда вспоминаю две статьи по классической филологии в девятитомнике «Истории мировой литературы»: статья Ярхо по греческой литературе и статья Гаспарова по римской литературе – и последняя выигрывает концептуальностью и научностью, хотя никаких особых деталей там нет. У Виктора Ноевича в статьях всегда были заметны следы большой лекторской работы, объемного популяризаторского чтения. Хотя он в последние годы крайне много работал – и это была уже не популяризаторская работа, а серьезная, по папирусным находкам например.

Его работы появились еще в студенческое время. Тогда стало складываться научное студенческое общество (НСО). На кафедре его не было, но оно было мощным настолько, что имело возможность публиковать свои работы. И первая работа Ярхо – про Аристофана – вышла этой брошюрой в издательстве Московского университета под грифом НСО. И еще одна его брошюра вышла – она была уже по-журналистски броская – о буржуазных ученых, критиках Аристофана, которые все неправильно понимали. И он их всех разоблачал и высмеивал. Это было неизбежное отражение стиля того времени, потому что во всех работах нужно было критиковать зарубежных ученых. И начинали говорить, что все эти ученые буржуазные, русские ученые до революции тоже недопоняли, классовой борьбы не знали.

А эти пресловутые буржуазные работы читали?
Они попадали в СССР?

Да, попадали, но эти советские ученые не знали, что с ними делать, как с ними работать. Но Виктора Ноевича Ярхо не обвинишь в том, что он не знает языка или чего-то не читал. Но про эти зарубежные работы нельзя было говорить в положительном ключе и признавать, что их автор что-то хорошее открыл.

Но если ты пишешь и хвалишь – это вычеркивали? Или просто прецедента не было?

Просто такого не писали. Я не знаю такого. А многие и сами не читали, а писали с чужого голоса. Конечно, я, наверное, немного утрирую, хотя работ наивных было предостаточно, особенно дипломных.

Еще одна очень известная фигура – Борис Александрович Серебренников, академик. Но он чистый лингвист. Он уже был кандидатом наук и читал нам историю языка, когда мы учились. Он из классики полностью ушел и стал крупным специалистом по финно-угорским языкам, принял участие в дискуссии по языкознанию 1952 г., выступив со статьей, которая как раз тогда была очень оппозиционная. Но его оценили, и он стал членом-корреспондентом, не будучи еще доктором наук. Так что его карьера была головокружительная. Он был один из уникальных сталинских довоенных стипендиатов. Он владел умопомрачительным числом языков еще в университете. Нам он читал историю греческого языка (а Михаил Николаевич Петерсон читал историю латыни).

Занятий языком он не вел – только теоретические курсы, довольно скоро совсем ушел из университета в Академию наук. Это фигура, безусловно, огромного масштаба.

В это же время, но, конечно, другого, по сравнению с Ярхо, масштаба – это Исай Михайлович Нахов. Он человек более легкого характера, поэтому хорошо пишущий, но немножко слишком попадавший «в струю» – и поэтому не гнушавшийся странностей. У него была большая работа на материале Лукиана по идеологии рабов, выразителем которой он был, и это отдавало духом времени. Ярхо подобных вещей не делал, хотя социологический аспект в его ранних работах тоже очень ясно прослеживается. И я увлекался его работами о социальной позиции у Аристофана, о социальности в трагедии. Я даже хотел писать диссертацию «Социальные тенденции в трагедиях Эсхила» – это мне надо было придумать такой идиотизм! Хоро́шо, что я ее не написал.

А можно было этого избежать в работе?

Наверное, можно. И избегали. Не литературоведы, но лингвисты. Они в своем языкознании были свободны.

Но что касается литературоведов, я не думаю, что они действовали под прессом. Характерно то, что люди искренне верят в то, что делают. Это двойное сознание. Человек знает, что дважды два – четыре, и верит, что дважды два – пять. Вот это очень важная вещь и была очень органична для моего времени. Совсем не то, что он там под гнетом что-то пишет. Нет. Он искренне верит, что дважды два – пять. Но и четыре, но тихо, про себя.

А Соболевский вам преподавал?

Нет, нашему курсу не повезло, я его видел буквально несколько раз. С курсом до нас он много занимался.

Да, я еще забыл сказать про Клару Петровну Полонскую. Она докторской не защищала, так сложилось, но авторитет ее был так велик, что это не имело значения. Она тоже поначалу занималась греческой литературой, а потом отошла к римской. Сейчас я забыл, почему это случилось. Но в какой-то момент она бросила свою греческую трагедию – и целиком сосредоточилась на римской литературе. Возможно, потому что требовался такой преподаватель для отделения: это была та ниша, которая раскрывала ее возможности. И она стала заниматься Римом. Как преподаватель она учила только латыни всегда. Ее смерть – очень большая потеря для кафедры.

Вы писали статьи в университете?

Нет. Что-то в своей жизни я, конечно, написал, но я с самого начала говорю, что я не ученый и не исследователь. Я должен знакомиться с литературой, входить в тему – и никогда не претендую быть ученым. И поэтому то, что я делал, – это были переводы, комментарии, хрестоматии, то, что является учебным пособием, и ни в коей мере не занимался истинно научной работой. Мой первый опыт был неудачным. Я, конечно, дописал эту ужасную диссертацию по Эсхилу (диплом тоже был по Эсхилу), но, слава богу, она оказалась неудачной – и я с этого пути свернул. Изначально ложное определение идеи и задач обусловило мою неудачу. С другой стороны, меня отвлекали и занятия общественной деятельностью, т. е. то, что полегче. Это создавало внутренний предлог, что ты занят делом, и поэтому не успеваешь. А на самом деле это было убиение времени. Те, кто этого

не делал, те сделали карьеру, как Ходорковская, например. А те, кто это делал, те не слишком удались. А для того чтобы быть научным, нужно быть таким человеком, как Нина Брагинская, для которой научная деятельность – это содержание ее бытия. А я в основном ограничивался методическими работами и созданием пособий.

А в университете Вы, конечно, как все, писали курсовые...

Представьте себе, нет. Не всегда. Мы писали на втором курсе по греческой литературе, на третьем – по римской литературе (и читали ее). Был семинар, который вел Сергей Иванович Радциг по греческой литературе, а по Риму с нами занимался Павел Матвеевич Шендяпин. Петровский, который обычно читал римскую литературу, уже ушел с кафедры. Это был третий курс, мы не успели. Я его застал только как лектора. Он с нами читал Лукреция и Горация. Я говорил, что у нас на кафедре была специализация по поэзии и прозе. Федор Александрович тогда готовил свое издание перевода Лукреция – и на нас отрабатывал комментарий и всякие прочие вещи. Одно из самых страшных моих воспоминаний – это экзамен у Петровского, когда он всем поставил пять. Большей оплеухи я никогда ни от кого не получал. Он всем задавал 2-3 вопроса, вне зависимости от ответа ставил пятерку.

Почему?

Думаю, потому что он соответствующим образом оценивал своего собеседника. Это заведомая оплеуха. Вы понимаете, что не отвечаете на пять, даже на четыре. И это было очень страшно.

Можно и по-другому, как Кочкарев в «Женитьбе»: «Плюнут в лицо... А платок-то на что?», но когда тебе плюют именно таким образом, в этом нет ничего, кроме презрения. Значит, с тобой и говорить не о чем.

А читал он интересно. Для меня это было скучновато. У него был очень долгий разговор про каждое слово, а где оно еще встречается, в каких вариантах бывает. Меня интересует, как сказано, структура фразы – поэтому я так и не стал лингвистом: я всегда жаждал, когда будет синтаксис в истории языка. Но так и не дождался ни греческого, ни латинского.

А он предполагался?

Наверное, курс истории языка должен предполагать синтаксис, поскольку он составляет язык. А весь курс сводился к истории фонем от индоевропейских корней, а меня это не интересовало. Хотя многие очень интересовались. Так что получалось, что этот курс Федора Александровича никому не нужен.

А что еще с ним читали?

Также мы с ним читали оды Горация. И все время уходило на метрический анализ. Что касается того, что там написано, это мало кого интересовало, а мне очень хотелось узнать именно это. Также с нами читал Николай Федорович Дератани уже на четвертом курсе «Менехмов» Плавта. И прочитали, кажется, всего строк двадцать. Потому что изучали только метрику: что во что распускается, что куда стягивается в каждом стихе. Я понимаю весь обскурантизм моих заявлений, но я предпочитаю понять игру слов (но не характеристику образа раба), то, как играет мысль, в чем суть комизма и живости. Плавт – это совершенный восторг, а сплошной анализ метрики для меня лишал все интереса. Хотя у меня сейчас есть молодые ребята, которых хлебом не корми – дай поговорить про долготы и краткости.

С Дератани вы читали только Плавта?

По-моему, да. Дело в том, что Дератани пришел к нам за год или два до нашего окончания, скорее, на пятом. Он пришел к нам после бурных волнений на отделении в 48–49 годах, когда мы по полной дурости своей бунтовали.

Против чего?

Против архаических методов преподавания. Нам не хватало научной теории Марра, которой мы не знали, но знали, что она научная. Нам не хватало научности, изволили давать оценки преподавателям, писали, что Радциг прочел курс неудовлетворительно, потому что, в нашем представлении, в основном пересказывал содержание. Мы не понимали всего, что он мог дать. И совсем даже не просто содержание пересказывал. И это кончилось тем, что до-

вели бедного Сергея Ивановича до тяжелого заболевания. Именно нашими воплями. И это затронуло и Ярхо – он в своей книжке вспоминает, какие гадости про него писали. Слава богу, не сказал, кто писал. Он вообще многих пощадил, не назвав по благородству души в книге. И тогда мы в министерство обращались. У нас была активная политическая деятельность, активная политическая позиция.

Конечно, это что-то дало положительное. Кстати, у нас не было семинаров. Только один семинар сопровождал курс греческой литературы и курс римской.

И все?

Еще нам два года Дмитрий Евгеньевич Михальчи читал курс романского Возрождения – и только его, два года, только для классиков. И ему мы писали тоже работы. Я очень хорошо помню, как я бегал в Библиотеку мировой литературы и читал там рукопись книги Бахтина о Рабле. Есть такая книжечка, но она очень сокращена по сравнению с самой диссертацией, которую защищал.

И чем вас увлекал Бахтин?

Он меня увлекал теорией готического смеха. И там мне хотелось писать научную работу, я ее написал и даже эксплуатировал потом на экзамене по французскому языку, излагая по-французски чужие мысли. Я не могу сказать, что я единственный, кто так делал.

К сожалению, обсуждений работ у Михальчи не было. Обсуждения были только по римской литературе. Я помню крики, скандалы, бросания обвинений, но не могу сказать, что это было научно – просто по-студенчески.

А чем разрешился тот скандал с министерством?

Ну, не с министерством, а с кафедрой и более всего с Радцигом, которого мы – а особенно наш курс – обвиняли в старомодности, в пренебрежении передовыми методами науки, в таком устоявшемся и старомодном учебном плане, в отсутствии семинаров. Но больше в этом было трепа – и трепа бессознательного, по

глупости. Все делалось на чистом комсомольском энтузиазме – и стоило Радцигу дорогого. И на этой волне к нам пришел Николай Федорович Дератани, который оппонировал и наши дипломные работы, Макса Чернявского и мою. На следующий год он стал завкафедрой (и был им до 58-го года). Недолго после его смерти заведовал Попов (до 62-го), а потом пришла Аза Алибековна Тахо-Годи, которая была тридцать лет и три года.

У вас был общий язык с преподавателями?

Пожалуй, нет. Наши преподаватели все были гимназическими учителями. Вузовских преподавателей почти не было, просто потому, что они заканчивали университеты в 14–15 годах. Но Дератани вот был уже приват-доцентом, после того как он стажировался у Нордена в Берлине года два, в конце 15-х годов. Радциг никогда не оставался в университете, его не любил Соболевский, который в свое время поставил ему двойку на экзамене и, по-моему, помнил и дальше. Так что Сергей Иванович был принужден из-за двойки служить в армии – охранял Царь-пушку в Кремле. Но он не оставался в университете, был профессором в Ярославле. После 23-го года никто, кроме Дератани, который был профессором института Красной профессуры, вообще не работал по специальности. Он был по типу похож на Брюсова, Фрича, Переверзева, Когана, быстро сблизившимися с новым порядком, тут же вступившими в партию. В свое время он был октябристом. В нем была своя очень четкая правильность.

А кто он был как ученый?

Довольно серьезный. Без великого полета, но диссертацию по Овидию писал по-латыни. Грушка о нем говорил, что в нем «много пота и мало таланта», потом он публиковал статьи во французских журналах и был достаточно продуктивен, но был всегда очень в струе. Дератани никогда не был впереди, поэтому в 20–30-е годы в нем преобладала вульгарная социология, откровеннейшая. «В соседней комнате ковали чего-то железного». Вы знаете издание Плавта?

Да.

Вот можете почитать там его статью. И увидите, он был суховат, сдержан, в футляре. Хотя не злой. Внешне он напоминал вот тот самый тип революционного интеллигента.

У вас были свои классические предметы, а были общие – со всеми остальными филологами?

Да, и вот одной из причин нашей пугачевщины была раздробленность этих самых курсов. Были серьезные проблемы. Настоящий план был только по языкам и примыкающим дисциплинам: по истории языка, литературы – так, как и сейчас. А все остальное было случайно: зарубежная литература не включала ни Средние века, ни Новое время (два года было романское Возрождение, за что спасибо кафедре), но общего курса не было. Классицизма не было – только романтизм, который читала Валентина Дынник. И все. На этом зарубежная литература кончалась. Русская литература у нас была, но тоже случайно. Немного XVIII века, потом я помню очень смутно. Серьезного Пушкина, Лермонтова и Гоголя не было, был какой-то кусок второй половины XIX века – это ведь зависело от того, кто мог читать. Была интересная история литературы, особенно семинары, которые вел Лев Озеров. Это было очень интересно: он нам рассказывал и про ИФЛИ, и про свою жизнь, и про сверстников, с которыми учился. Он ведь тоже с классики, хотя неполные пять лет там просидел – перевелся на французское. К нам он приходил чуть не в солдатских обмотках. Это был не семинар, а больше его рассказы.

Это отделение касалось всех филологов или только вам так плохо составили план?

Я думаю, что второе.

То есть комплект преподавателей был?

Был. Затрудняюсь сказать, конкретно почему, но курсы были обрывочные. Например, у всех в зачетках стояли пятерки по истории Древнего Востока, которой нам никогда не читали. Они просто спохватились, что читать поздно, – и просто вписали. И курс литературы был очень так себе.

Физкультура была?

Вероятно, но я никогда ею не занимался, у меня был пневмоторакс с 42 до 52 года, поэтому я ничем не занимался.

Как воспринимали классиков на факультете товарищи?

Наверное, нормально, без всякого... У меня было полным-полно друзей с других кафедр, это был цельный коллектив, не раздробленный. Конечно, были группы и люди, не связанные, не общающиеся, 9/10 я почти не знал, но друзей было много повсюду. И еще очень объединяла и примиряла общественная деятельность и комсомольская работа. Пустая – это другой вопрос, но она была реальная – и занимала мысли, отнимала время, кто-то делал на этом карьеру – и это был единый организм, который отрывал от учебы всех в одинаковой степени. Поэтому нас воспринимали не отдельно, а как часть общего студенческого организма.

А как вас тренировали как преподавателей?

Конечно! Это было. Педагогическая практика – прямо на нашем отделении. Мы должны были дать один урок первому курсу по греческому или по латыни. Потом решили давать и латынь, и греческий, два урока. А нам еще давали выбирать. Я давал урок по Цезарю у Константина Рудольфовича Мейера.

А вы помните, кому давали?

О, те, кому я давал уроки, были меня младше на два курса – и среди них был Сергей Ошеров, который перевел «Энеиду», Мария Георгиевна Лопатина, что работает сейчас на кафедре, кто-то стал публицистом и профессором исторического факультета, и покойная Зина Морозкина – блестящий, одаренный человек, так ничего и не сделавший, потому что страшно была больна – с рождения инвалид 1-й или 2-й группы. Она была блестящий человек, но из-за болезни всегда варилась в собственном соку, и это постепенно стало чуточку провинциальным, тем более что у нее первоначальный социологический уклон, от которого быстро отошла. Она по-настоящему проявила себя как переводчик. Ей Сережа Ошеров помогал печататься в собраниях Горация, Овидия, я брал ее в

римскую хрестоматию, которую мы делали с Мирошенковой. Но судьба трагическая, она уже несколько лет как умерла.

Это была ваша единственная практика?

Да. И я до сих пор с ужасом помню, как выдал за ablativus absolutus какой-то винительный падеж – и этого не заметил. Даже сейчас помню: conversa signa...

Вам поверили?

В том-то и дело. Конечно, мне потом Константин Рудольфович выдал...

Вы поступили, когда открылся большой прием на отделение. Это было общегосударственное мероприятие. Была идеология и риторика, зачем нужно столько античников?

В основном это были общие рассуждения об основах европейской культуры, т. е. то, что всегда говорится на вступительных занятиях и сегодня. Меня-то увлекла поначалу речь одного из профессоров – не помню кого.

Кафедра целиком состояла из преподавателей старой формации. Это были гимназические преподаватели. Они были страшно непохожи на нас – и на первых заседаниях кафедры они казались мне монстрами. А учитывая неизбежный идеологический фон времени, я их воспринимал как ретроградов, носителей идей проклятого прошлого. Это были старики. У меня на русском отделении был достаточно старый преподаватель Шеллер, с которым я бы никогда не полюбил латынь. Это всегда плохо воспринимается от старого преподавателя. Старый вызывает внутреннее раздражение. Он нам рассказывал, что надо учить слова с помощью двух спичечных коробков – ерунду, в общем. Скука смертная. Я бы, наверное, крепко возненавидел латынь, если бы не перешел на классику, где атмосфера была все же другой. И поэтому никаких доверительных отношений быть не могло. Но тот, кто хотел заниматься, тот мог это получить. Радциг никогда никому не отказывал. Была другая проблема: Сергей Иванович никогда не был в полной мере ученым. Он был эрудит, чрезвычайно знающий, прекрасный переводчик, знаток текста, прекрасный, увлекающийся лектор. Все считали, что он, если не сын, то внук Гомера, сам он

казался аэдом. И пел сам мелику. И с ним можно было говорить о конкретных фактах: о понимании места в тексте, о реалиях. Когда вы пытались выйти с ним на концептуальный уровень, то уже он увядал, ему это было не очень интересно.

И Ярхо своим научным учителем считал не Сергея Ивановича, у которого он защищал диплом и кандидатскую, а Иосифа Моисеевича Тронского и петербургскую школу. Он этого не стеснялся – и это правильно. Это как и с Ходорковской.

[Про театр]

...появились маленькие сценки: разумеется, что-то из Плавта. Это было раза два: «Мустеллярия» и еще что-то. Любовь Игоревна Грацианская играла некоего старца, Надя Малинаускене, теперь лингвист, играла. А через какое-то время, в начале 70-х годов, у меня был первый курс. И вдруг мы решили, почему бы нам не поиграть? Взяли пьесу, маленькую пьесу, «Дульциция». Там было шесть-семь девочек. И мы решили сделать именно ее, монастырскую драму. Но мы же не могли тогда ставить монастырскую драму! Это кощунственно и идеологически не выдержано. Но материал был: мы сделали полпьесы, потому что в конце были всякие чудеса, вознесение души мученицы и покарание грешников. А мы взяли моменты комические. Некий Дульциций, начальник караула, там есть воины. Поскольку девицы отказываются вступить в брак по языческим законам, их заключает Диоклетиан в тюрьму, требуя отречения. А они говорят: nulla sacrificabimus daemonibus. Дульциций собирается совершить над ними насилие, пробирается к ним, но на него нападает умопомрачение – и он принимает кастрюли и горшки за девиц. После чего он выходит, полагая, что имел дело с девицами, появляется весь грязный и страшный, от чего пугаются воины – и убегают. А Дульциций идет жаловаться к императору. Его грязного не пускают – и идет жаловаться жене, которая его жалеет. Мы сделали из пьесы мюзикл: включили весь текст, еще и тексты из Carmina Burana, которые так или иначе соответствовали ситуации, мы сделали хор стражников, который проходил через всю пьесу и пел: O Fortuna velut luna... Эти стихи сами ложились на частушечный мотив.

Идея была сочетать латинский текст и шлягерные или частушечные мотивы, «Утомленные солнцем», какие-то мелодии придумал известный лингвист Сережа Николаев, которого мы

прогнали с классического отделения за неуспеваемость. Но он находился в нежных отношениях с кем-то из девиц – и написал музыку. Какие-то мелодии слышали по радио, несколько текстов взяли из журнала Vox Latina.

С самого начала была одна группа. Мы с самого начала решили не быть самодеятельностью. Стыдно, это всегда плохо и ужасно. Значит, мы притворяемся, что играем, – там ведь были только девочки. Античный театр наоборот. Мы включили в текст ремарки, взятые из средневековой драмы: «Он входит, ставит стул, садится» и т. д. И эти ремарки произносили сами персонажи: «И тут он conversus ad virgines dixit, cantet!» Еще была очень хорошая ремарка, списанная из «De Ira» Сенеки, где описываются аффекты: caput movendo ac totum corpus ac terram pede pulsando. Это у нас говорил Диоклетиан, у которого в качестве символов власти был некий жезл и кочан капусты в качестве державы, потому что, как вы знаете, Диоклетиан после ухода с престола возделывал капусту. Как в кукольном театре, где сняли ширму – и видно актеров. Такие вещи нельзя было играть всерьез. Но надо было петь, танцевать. У нас был хор трех девиц.

А кто ставил?

Как кто? Я! Это же группа была!

Ну могли все вместе придумывать и ставить,
а могли все Вам подчиняться...

Ни в коем случае. Мы, конечно, придумывали все вместе – они были очень талантливые. Там была Наташа Германюк, была покойная Люба Якушева, позднее поэтесса. Она была и Дульцицием, и одновременно аккомпаниатором. Она немножко играла, а потом шла к пианино – и возвращалась быть Дульцицием. Она, например, играла тексты Carmina Burana на музыку «Лучинушки». Записи, к сожалению, погибли вместе со всей остальной фонотекой филфака.

Текст был прозаический, а стихи для песен включались из других текстов. Например, на мелодию «Манчестер–Ливерпуль» пели текст из «De Senectute» Цицерона.

А сколько шел спектакль?

Минут 25–30, потому что он кончался появлением жены Дульциция, которая его «жалела», давая звонкую пощечину. Недолго, но было вполне доступно первому курсу – и это дало очень серьезный толчок для включения в язык. Они стали осмыслять латынь как разговорный язык, что на нем можно общаться, что он доступен. Мы играли спектакль сначала на празднике посвящения. Потом мы показали его на международном конгрессе в Ереване. И потом мы ездили в Германию: немцам, которые были тогда в Ереване, это очень понравилось, и они нас пригласили в Иену, Халле, Лейпциг и Берлин и другие восточногерманские университеты, куда мы и съездили. В Германии принимали очень здорово! Последний спектакль, который мы играли в Берлине, шел постоянно под аплодисменты. Его захотели тут же снять для телевидения, но у нас уже не было дня, мы наутро уезжали.

За «Дульцицием» последовали плавтовские «Вакхиды», сделанные по тем же принципам.

Плавта ведь ставили не целиком?

Ни в коем случае! И не в стихотворном виде, а в прозе, иначе невозможно было бы понять из-за элизий. И сейчас Плавта в Европе ставят прозой. С этим спектаклем мы тоже ездили туда. Уже когда эти девочки кончили университет, в 1977 году, мы возобновляли «Дульциция», заглавную роль исполнял Кирилл Максимович, который сейчас читает патристику, но это было уже не так интересно: мужская фигура создавала некую реальность и разрушала условность. А «Вакхиды» мы успели сделать еще с девочками. Эти девочки оказались способными играть и придумывать очень много.

Когда мы поставили «Мустеллярию», там играли Ольга Леонидовна Левинская, мужскую роль, и Ирина Ковалева, ее однокурсница. Это было уже немножечко по-другому. Много времени спустя мы ставили «Эпиталамии» Катулла, когда решили посоревноваться с кафедрой фольклора, где был настоящий фольклорный театр, где безумно интересно показывали разные обряды. Мы решили, что сделаем античную свадьбу, которая была положена на музыку. И это был уже закат, хотя тоже уж 20 лет как прошло.

А кто зрители?

Это было на Дне посвящения в студенты, это были классики – все-таки мы хотели понимающую публику. А потом мы вышли и на более широкую аудиторию – мы на факультетских вечерах играли. Но в других спектаклях (я имею в виду после «Дульциция»), повторить это уже было нельзя, сам метод себя исчерпал.

Сравнивая с сегодняшним днем, конечно, очень изменились эстетические представления зрителей, и это уже никому интересно быть не может. Это было тридцать лет тому назад. Сегодня этот принцип контраста древнего текста и современного оформления уже не сработает. А это бралось из «Принцессы Турандот» Вахтангова.

Жалко, что это не записали...

Записали, но не сохранили... Но те, кто не видел спектакля, на слух это воспринимали с трудом.

А вы сами никогда не играли?

Никогда. Дело в том, что я в школе играл в драмкружке. Потом, когда меня отправили в театральную студию Дворца пионеров, меня туда не приняли – и правильно сделали. И после этого я уже никогда не пытался, хотя мне больше всего хотелось заниматься именно театром, опереттой.

А как вы думаете, если нельзя восстановить спектакль, то просто театр можно? Хотя бы в День посвящения в студенты?

Думаю, что нет. Мне кажется, то, что происходит сейчас, это формализованное действие. Сегодняшние молодые люди такое действо не могут воспринимать как праздник или делают вид, что воспринимают.

Вопрос совсем из другой области. Вы ведь преподавали только классикам? Или на общее отделение тоже попадали?

Конечно, как всякий классик, закончивший учиться, попадал и к заочникам, и на общее отделение. Но тогда отношение к

предмету было немножечко другое. Может быть, это ностальгия. Но у меня часто были с ними очень хорошие отношения, и из этих групп выходило много толковых людей. У Лени Крысина, например, только что вышел толковый словарь, он у меня занимался когда-то. Теперешний критик Алла Латынина когда-то была Аллой Бочаровой. Там были и одаренные люди – и интересовались и латынью тоже. Но это было давно – и мне было, ну, 28–30 лет. А потом это становилось все тяжелее и тяжелее. Студентам становилось все неинтереснее и неинтереснее. И я старался общих отделений избегать. Когда у меня начались спектакли, я уже сосредоточился на классиках.

Сейчас по материальным соображениям приходилось преподавать в других вузах на общих отделениях – я уже больше не могу это делать, только в Церковном университете. Я уже не могу, сжав зубы, тратить время впустую, у меня его осталось мало. Если тебе за .., то ты можешь преподавать, только если ты несешь какую-то сумму идей, если ты приходишь со своей лекцией, наукой, теорией. И тогда не важно, бормочешь ты или ты артистичен, стар ты или молод. Идея – главное. А на элементарных курсах старый преподаватель – вещь печальная и нежелательная.

На специальных отделениях это все-таки можно, потому что студент интересуется своей специальностью.

А в чем должно быть отличие преподавания классикам и неклассикам? С классиками понятно: вы передаете все, что знаете. А как не спугнуть неклассиков?

Часто по инерции преподают одинаково: то же, но небрежнее. Но для неклассиков надо так: если это лингвисты, то речь должна идти о чисто теоретическом моменте, чтобы показать структуру языка, фонемы – и не очень сосредоточиваться на тексте. Там, где литература и история, там речь должна идти о развитии культуры – и тексты должны быть подобраны соответствующе. Если поставлена задача только научить читать, т. е. понимать, то это приблизительно то же, что нужно и классикам, только в минимальных масштабах. Или дать лекции общекультурный характер – и этим ограничиться, тогда уже неважно, научил читать или нет: все равно пропадает втуне.

А для классиков главное научиться с 3-го, 4-го курса самому понимать текст, свободно с ним обращаться, чтобы я с моим багажом был уже вам не нужен, а был нужен кто-то с серьезным литературоведческим анализом, большим багажом.

Можно сказать, что студенты по эпохам различаются?

И да, и нет. В чем-то очень похожи. Трудный вопрос. Из классиков в последнее время вышло гораздо больше людей талантливых и продуктивных, чем лет 15–20 назад, как Ренессанс. Все идет волнами с разными периодами: то одаренности, то все сплошь тишь да гладь.

Если говорить о качестве защищенных работ, нынешнее поколение оказалось гораздо более мощным, чем наше. У нас буквально единицы остались в науке. Там есть титаны. Но и сегодня есть молодые титаны.

Была у меня гениальная группа: Александр Васильевич Подосинов; рядом с ним сидит Нина Владимировна Брагинская – теперь, когда я их вижу на кафедре, у меня очень странное ощущение. Там же была Галя Келлерман, которая уехала и теперь профессор Сорбонны и Тель-авивского университета. А еще один из этой группы стал иеромонахом в Вильнюсе.

Брагинская родилась ученым. Но я помню занятие, когда мы читаем что-то, а Нина Владимировна читает под столом очередную научную книжку, потому что ей скучно здесь. Не детектив, а научную книжку. То, что мы талдычили про какую-то конструкцию, ей было неинтересно, потому что она и так все прекрасно понимала.

А Вы ругались?

Конечно. Но не очень. И Подосинов в свое время даже не знал, куда поступает: он шел на классическое русское отделение изучать классическую русскую литературу. Он понятия не имел вообще, что существует классическая филология. Он с некоторым обалдением увидел, что тут какая-то латынь, древнегреческий. Но он остался. Из этой группы, где было 6–7 человек, 4 вышли в науку – еще одна стала знаменитым палеографом и сейчас в Штатах.

А бывает группа mera solitudo – чистая пустыня.

Может быть, самое последнее: Вы переводили и издавали. А с другой стороны процесса были? Участвовали в редколлегиях?

Нет, никогда. Сама по себе эта деятельность началась совершенно случайно: просто искали переводчика, потому что срочно было нужно. А потом, когда установились эти отношения с редакциями, я получил еще один перевод, редактор мне еще дал. А художественным переводом профессионально я никогда не занимался. Хотя мне хотелось бы переводить итальянских гуманистов, это интересно: текст хороший и легко идет. Но, к сожалению, никто меня больше не звал.

Еще один вопрос: нужна ли вообще история науки?

Думаю, что да. Безусловно.

А кто ее должен писать? Классик, который знает изнутри? Или простой историк, у которого есть свежесть взгляда?

Я думаю, что лучше... ну не знаю... наверное, классик с достаточной способностью широкого видения. Потому что смотрение со стороны без собственного опыта даст искаженную картину. Через это горнило нужно пройти, чтобы все понимать. Для всяких работ такого рода нужно еще и чувство юмора, способность критически относиться к проблеме: нужно уметь видеть и соизмерять с исторического расстояния ценность вещи.

Естественно, должен быть взгляд со стороны. Но он должен быть как перископ: подлодка под водой, а глазок наверху, чтобы было видно и окружающее, и внутреннее. Замечательно описывают состояние клинической смерти, когда душа поднимается на небеса – и видит, как внизу совершается операция. Я это скоро увижу, но, к сожалению, не смогу вам рассказать. Никому это не удавалось.

Человек, прошедший через это, сам должен объективно посмотреть. Брагинская может. Но только с чувством юмора и пониманием масштаба.

Мы в прошлой беседе упустили серьезную тему: были преподаватели, которые выдвигались, скорее, благодаря не научной деятельности, а партийной?

На нашей кафедре не очень много. Могу начать с самого себя – я массу времени потратил на общественную деятельность. И это сказалось: я не был ориентирован на Дело. Ведь если человек погружен в Проблему, он не будет больше ничем заниматься.

Кто-то пользовался этим, чтобы ездить, смотреть, общаться. А кто-то старался приспособиться, как вы говорите. На нашей кафедре было немного. Но было. Тем тяжелее, что это было с людьми достаточно одаренными: Исай Нахов, человек безусловно одаренный, способный хорошо изучать, но посвятивший свою главную работу жизни Лукиану и идеологии рабов, которой не существовало. То же с Николаем Федоровичем Дератани. Во всяком случае, не в преподавании. Он в преподавании был очень сух и зашорен, но материал знал великолепно. А вот в научной деятельности... исследовал Овидия, когда про него сказали «много пота, мало таланта», хотя вполне добросовестное исследование. И тут же рядом были его социологические статейки, которые очень нравились редакторскому начальству, но на деле представляли собой ничтожную величину.

Говорить о парторге кафедры не имеет смысла, потому что она даже не была специалистом – кроме партийной работы она больше ничего не умела делать.

То есть кафедры это не очень касалось?

Кафедры, скорее, нет. Это касалось судьбы человека. Могло касаться. Могли попортить настроение или задержать карьеру.

А в послевоенные репрессии кто-то пострадал на кафедре?

В отличие от Петербурга, где пострадали такие люди, как Аристид Иванович Доватур и Зайцев, который был даже младше меня... Но пострадали и на кафедре у нас. На курс младше нас учились и были арестованы в 1947 году на третьем курсе Яша Меерович, Гена Файбусович и Галя Полонская (не родственница Клары Полонской, она сейчас в Испании живет), которая после выхода

стала энтомологом или кем-то еще, во всяком случае далеким от классики.

Что касается Яши Мееровича, то не знаю, где он сейчас, но он был поэтом. Они получили по 20–25 лет за то, что «хотели взорвать мавзолей». А всего-навсего просто были студенческие встречи и явный навет. Есть предположения про источник навета. В частности, называли декана нашего факультета Самарина, что он сыграл роль, хотя и не прямую. Была статья в «Литературке» про это. Источник назывался только намеками, понятными тем, кто в этом варился, остальным – нет. Яша Меерович, очень приятный и умный человек, когда вернулся в конце 60-х, стал учиться и кончил факультет. Кончил отделение классической филологии и занимался литературным переводом. Он писал работу и защищал диплом по римской элегии. Но он остался в том времени, когда его заставили прекратить учебу, в той литературе, в тех взглядах 40-х годов; когда же он защищал работу через 20 лет, это выглядело очень грустно, потому что наука ушла очень далеко в методологии, терминологии, в подходах. А это было что-то архаичное. Ему оппонировала Наташа Старостина, человек намного моложе, очень талантливый и яркий, ей ничего не оставалось, как сделать хорошую мину при плохой игре. Было бы непристойным сказать что-то дурное про эту работу.

Это были три человека, которые пострадали. Это все очень фильм напоминает «Покаяние»: рыли тоннель из Бомбея в Лондон.

Еще интересна судьба Симы Маркиша, который недавно скончался в Швейцарии: одареннейший человек, хотя его работа о Гомере отдавала журнализмом. Его отец, еврейский поэт Перец Маркиш, в 1948 году был расстрелян, и Сима Маркиш не должен был остаться в университете. Но зато Александр Николаевич Попов сделал все, чтобы Сима, который был на пятом курсе, сдал экзамены и защитил диплом – и уже с дипломом должен был ехать в ссылку в Казахстан. Потом он был реабилитирован, уехал в Швейцарию, стал известным русистом, человек крайне одаренный, но он должен был оставить факультет, хотя досрочно закончил университет. Я по-разному относился к Александру Николаевичу Попову, но этот поступок был очень мужественный и человечный.

Contents

DISCIPVLI MAGISTRO

Nikolai A. Fedorov — the Man and the Legend 11

DE LITTERIS LATINIS

A.V. Andreev, N.N. Kazansky. Contributions to the dictionary of Latin antonyms 17

A.M. Belov. The mora question: opposition of the repetition factor in Greek and Latin 53

A.I. Solopov. «Black» and «white» in Latin toponymics 74

A.Ye. Kuznetsov. The beginnings of Roman drama: discussion on chronology in ancient Roman philology 82

M.M. Sokol'skaya. Once again on the 4th eclogue 110

O.V. Zubakina. Pindar and Horace: the structure of Ode 4.8 130

N.V. Drachiova. The term «ratio» in the linguistic theory of Marcus Terentius Varro 150

A.B. Chernyak. Helvidius Priscus and his drama «Paris and Oenone» (*Suet.* Dom.10,4) 162

P.P. Shkarenkov. Language of rhetorical thought (linguistic transformation in late antiquity) 170

DE LITTERIS GRAECIS

N.K. Malinauskene. The formation of the vocabulary of sense perception in Homeric époque 183

V.V. Fayer. Textological work of the Alexandrian philologists: some problems yet unsolved 193

A.V. Zakharova. The Argonauts' myth in the archaic Greek epic 207

Z.A. Barzakh. Θυμῷ βέλη (Soph. OT 892 – 893: text and interpretation) 224

I.V. Rybakova. «Marine formulas» in the «Argonautica» of Apollonius Rhodius: apprehension and transformation of the epic tradition 232

N.V. Braginskaya. A bay and a sinus, or how to read Greek prose vertically: «Leucippe and Clitophont» 248

O.L. Levinskaya. A donkey with lyre (on one Greek proverb) 270

L.I. Gratsianskaya. Strabo's notion of the Northern Black Sea region 278

E.V. Yanzina. Ancient boxing. Some interpretations of Greek and Latin sports terms 292

DE POSTERIS

M.M. Pozdnev. Catharsis in the early Middle Ages: apprehension of Ar. *Poet.* 49b27 (... δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν) by Syro-Arabic translators 333

A.V. Barmin. Crusaders in Constantinople 345

G.V. Vdovina. Francisco Suarez on *analogia entis*: the problem of the analogy of being in XVIth century scholastics 370

I.I. Kovaleva. Cavafy's Rome 393

M.Ya. Pait. Horace, Derzhavin, and Kapnist: notes to the comparison 416

V.V. Zel'chenko. On one latin translation by F.E. Korsch 438

Letters of A.N. Schwartz and F.E. Korsch to S.I. Sobolevsky *Publication and notes by A.I. Lubzhin* 448

A.V. Podosinov. On reading, translating and publishing Latin authors for secondary education 473

Appendix

M. Tullius Cicero. In Catilinam oratio I 482

P. Vergilius Maro. Aeneidos I 500

VERSIONES

D.V. Keyer. Some Latin versions of Russian lyric poetry 511

Sophocles. Oedipus Rex. Second stasimon. *Transl. by Z.A. Barzakh* 513

Herondas. Mimiambus III. Transl. by *E.S. Ivanyuk* 515

Horace. Odes I 7, II 14. Transl. by *D.A. Litvinov* 521

Nonnus Panopolitanus. An extract from Dionysiaca, book *I. Transl. by R.N. Zlatinsky* 523

[Quintilian]. Bees of a poor man. *Transl. by M.S. Kasyan* 528

John Fisher. Prayer to God, the Father, written in the Tower of London. *Transl. with introduction by A.L. Kasatkina* 543

Appendix

«Teaching to read, that is, to understand...» (an interview with N.A. Fedorov) 558

Discipuli Magistro: Festschrift for N.A. Fedorov on his Eightieth Birthday.

This volume of *Orientalia et Classica* series published by the Insitute of the Oriental and Classical Studies, Russian State University for the Humanities is dedicated to the anniversary of a distinguished scholar and professor of Latin, Nikolay A. Fedorov. It contains articles written by his disciples and colleagues dealing with a vast range of problems in Greek and Latin literature, history and linguistics. The collection also includes, along with an interview with Prof. Fedorov, a number of original publications and translations, both from classical languages into Russian, and from Russian into Latin.

Discipuli Magistro: К 80-летию Н.А. Федорова. М.: РГГУ,
D611 2008. 584 с. (Orientalia et Classica: труды Института восточных культур и античности; вып. 15.)
ISBN 978-5-7281-1050-7

Выпуск серии Orientalia et Classica Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета посвящен 80-летию ученого-латиниста, профессора Николая Александровича Федорова. В сборник вошли статьи, написанные его учениками и коллегами, по различным проблемам греческой и латинской литературы, истории и языкознания. Включены переводы как с классических языков на русский, так и с русского языка на латынь, а также интервью с Н.А. Федоровым.

Для филологов-классиков и широкого круга читателей.

УДК 800(091)
ББК 80я43

Научное издание

Disciplui Magistro
К 80-летию Н.А. Федорова

Составители
Гринцер Николай Павлович
Торшилов Дмитрий Олегович

Художественный редактор
М.К. Гуров

Корректор
Н.П. Гаврикова

Компьютерная верстка
А.Ю. Ефимова

Подписано в печать 06.10.2008.
Формат 60x90 $^{1}/_{16}$
Уч.-изд. л. 37,1. Усл. печ. л. 37,0.
Тираж 300 экз. Заказ № 223

Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125993, Москва, Миусская пл., 6

Низами
Лайли и Маджнун

Серия «Orientalia et Classica», вып. XIII

Поэма «Лайли и Маджнун» Низами Ганджави (XII в.) принадлежит к числу лучших образцов романического эпоса в мировой литературе. В течение многих веков поэты, художники, композиторы Ирана, Турции, Средней Азии и Северной Индии черпали из этой книги сюжеты и образы для своих произведений. Издание содержит филологический перевод поэмы на русский язык с подробными комментариями, аналитическую вступительную статью, указатели, а также персидский текст.

Книга представляет интерес для ученых, занимающихся культурой Ирана, для студентов, изучающих персидскую литературу и стремящихся читать сложные поэтические тексты в оригинале, а также для всех, кто интересуется средневековой поэзией.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РГГУ
Готовится к печати

INDOLOGICA
Сборник статей памяти
Т.Я. Елизаренковой

Книга I

Серия «Orientalia et Classica», вып. XX

Сборник посвящен памяти выдающегося русского индолога Татьяны Яковлевны Елизаренковой – автора многих работ по грамматике ведийского языка, по грамматике пали и новоиндийских языков, исследований по стилистике и поэтике Ригведы, переводчика ведийской литературы, одной из тех, кому пришлось возрождать классическую индологию в России. В сборник вошли статьи по широкому кругу проблем индологической науки.

Для специалистов-индологов, студентов, аспирантов.